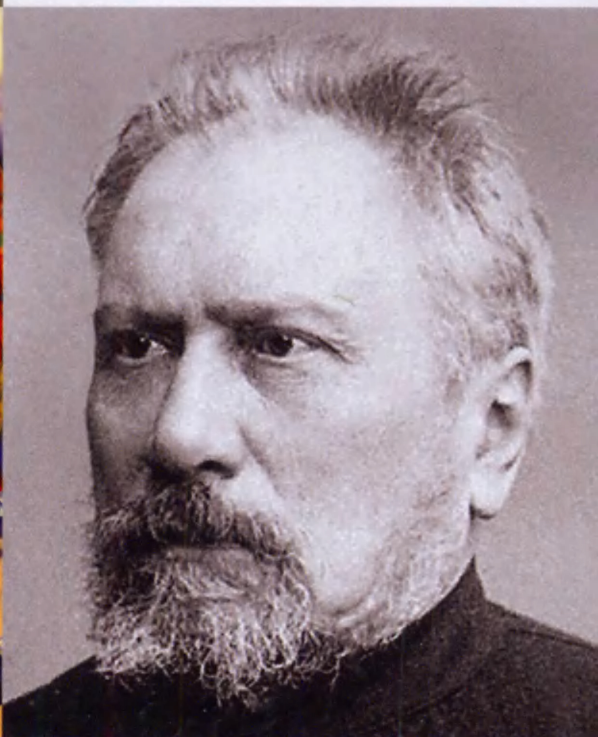


# ЛЕСКОВ



Майя  
Кучерская



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ





ЖИЗНЬ®  
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ  
ЛЮДЕЙ

*Серия биографий*

Основана в 1890 году  
Ф. Павленковым  
и продолжена в 1933 году  
М. Горьким



**ВЫПУСК**

**2090**

---

**(1890)**



Майя Кучерская

# ЛЕСКОВ

## ПРОЗЁВАННЫЙ ГЕНИЙ



МОСКВА  
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ  
2021

---

УДК 821.161.1.0(092)  
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8  
К 96

*Издание второе, исправленное*

*В оформлении переплета использованы  
иллюстрации Кукрыниксов и Олега Пархаева  
к произведениям Н. С. Лескова.*

знак информационной  
продукции **16+**

**ISBN 978-5-235-04466-1**

© Кучерская М. А., 2021  
© Издательство АО «Молодая гвардия»,  
художественное оформление, 2021

---

---

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Лесков был человеком разорванным. Его постоянно «вело и корчило», растаскивало между скепсисом и восхищением, гимном и проклятьем, идиллией и сатирой, нежным умилением и самой ядовитой иронией, ангелом и *аггелом*\*<sup>1</sup>, праведниками и злодеями.

Формула его художественного мира включала два полюса одновременно — плюс и минус<sup>2</sup>. Присоединяться к одному из них ему было скучно, незачем; другое дело — держать в поле зрения оба, глядеть, как растет напряжение, вспыхивает молния, блещет текущий огонь.

Статья о петербургских пожарах, неудачная по интонации и не слишком глубокая по мысли, подорвала его репутацию, едва он начал путь в литературе. Написанный вскоре после этого роман «Некуда» о роковом заблуждении одних, нечистой игре других и глупости третьих, который приняли за пасквиль и донос, испортил ее окончательно. «Господин Стебницкий» — псевдоним, под которым он опубликовал «Некуда», — стал писателем нерукопожатным на долгие годы вперед: прежде чем широкая читательская публика снова повернулась к нему, должна была смениться не одна эпоха.

Жизнь Лескова, вместившая смерть маленького сына, безумие жены, несправедливое увольнение с государственной службы, многолетнюю травлю, отторжение современниками, вполне потянула бы на трагедию. Но всё в ней вечно скатывалось в водевиль, оползло в житейский скандал. И не потому, что Лескову недоставало масштаба, — изменилось время, и герой его вместе с ним. Там, где раньше бунтовали, стрелялись, гибли на дуэли за единственное

---

\* Аггел — падший ангел, служитель дьявола.

слово, где устраивали шумные дружеские пиры, теперь стоял грязный трактир, шумела попойка. Вместо дуэли могла разразиться лишь мутная разночинная драка, взамен прежних сражений разливалась дрязга.

Всю жизнь Лесков напряженно искал, что можно этому противопоставить, на что опереться, а набредал всё на одно: золотое иконописное небо, вечность, красота кроткой и умной души и сокровищницы родного языка.

Лучше многих про него сказал Чехов: «Этот человек похож на изящного француза и в то же время на попа-расстригу»<sup>3</sup>, — проницающая самое важное в Лескове-художнике: обостренное эстетическое чувство, тяга к прихотливому словесному узору, задорной языковой игре сочетались в нем с поповским началом, любовью к церковной культуре и жизни, пронизанной вместе с тем духом отторжения государственного православия (потому и «расстрига»). Официально Лесков не принадлежал к духовному сословию — священствовали его прадед и дед, отец после семинарии пошел в чиновники, — но в облике его и круге интересов всё-таки жили неистребимые поповские черты. Не один Чехов это в нем разглядел\*.

Лесков и в самом деле очень верил в очеловечивающую силу христианства: действенная любовь, жертвенное служение ближнему, чистота души, внутренняя цельность — для него всё это было не безвкусной жвачкой из очередной воскресной проповеди, а предметом веры. Он искал тех, кто обладает этими сокровищами. Людей до такой степени кротких, героических, добрых, смелых, кажется, не существовало на белом свете — тогда он их придумывал.

«Осенним расцветом идеализма» назвал эту особенность Лескова любивший его критик Михаил Осипович Меньшиков<sup>4</sup>. Лесков — христианский идеалист. Он никогда не был таким изощренным психологом, как Достоевский

---

\* Известный еврейский историк, публицист и общественный деятель С. М. Дубнов (1860—1941) вспоминал посещение петербургской квартиры Лескова на Сергиевской улице (с 1923 года — улица Чайковского) в начале 1880-х годов: «На стенах висело много картин, преимущественно произведения иконописи. Что-то поповское было в лице хозяина, грузного пожилого мужчины с хитрыми хохлацкими глазами и несколько циничными манерами. При всём своем вольнодумстве, Лесков с особенною нежностью говорил о культе икон и о ликах святых, изображения которых висели у него на стенах» (*Дубнов С. М. Книга жизни: Воспоминания и размышления: Материалы для истории моего времени.* СПб., 1998. С. 100).

или Толстой; наоборот, ему особенно удавались персонажи, существовавшие словно вне психологических законов, люди-иконы, обладатели образцовой нравственности или умений: старичок-травник Крылушкин, молочник Голован, княгиня Протозанова, мастер-волшебник Левша, солдат на часах Постников. Часто он находил их в прошлом, в старой сказке.

И вместе с тем остро волновала современность, злободневные вопросы и темы, но всерьез любил он, кажется, кроме праведников, только людей старинных, которых называл «антики», их и весь русский патриархальный мир, на глазах опускавшийся в Лету, и описывал его с неизменной улыбкой — печальной, теплой. Целовал в макушку, не боясь показаться смешным. Это не мешало ему оставаться поклонником европейского просвещения, общественного прогресса, безграмотность и рабство вызывали в нем отвращение и ярость. По широте взглядов, например, на еврейский вопрос Лесков намного опередил свое время. Он проповедовал внимание и терпимость к чужой культуре и ценностям в те времена, когда принцип толерантности еще не был сформулирован в пространстве светской мысли, хотя слова «...ни эллина, ни иудея...», конечно, давно уже были произнесены.

Он мечтал жить среди ангелов, в мире, где нет ни схваток, ни подлости, ни страстей, еще и потому, что слишком хорошо знал их разрушительную силу. Его самого жгли черная зависть, злоба, жадность к деньгам. «Ты о Христе пишешь, а сам чёрт чёртом, только рогов недостает», — сказала ему однажды его приемыш Варя, которой он дал две пощечины за то, что посмела завить себе волосы<sup>5</sup>. «Лесков говорит о милосердии, а в глазах у него черти бегают»<sup>6</sup>, — записала в своем дневнике литератор и актриса Софья Ивановна Смирнова-Сазонова.

Гнев, раздражительность, деспотизм топило в себе другое неистовство.

«О необузданном, садистическом темпераменте Лескова на сексуальной почве ходили среди писателей чудовищные слухи... — вспоминал другой его современник. — За кофе с ликером Николай Семенович мечтательно заметил: “Какой-то кесарь засыпал своих гостей розами, так что они под ними задохнулись. Я также, вероятно, задохнусь. Но не от роз... А хотел бы я, чтобы на меня сыпались женские сердца... сотнями, тысячами... красные, горячие... Я валялся бы среди них, целовал бы их враскоряку, разрывал бы их

пальцами, грыз бы зубами, и задохнулся бы от сладострастия!»<sup>7</sup>.

Литератор Павел Пильский сохранил удивительное свидетельство критика Александра Измайлова. Тот увидел в кабинете на столе у Лескова «прекрасный крест на слоновой кости, чудесной работы, вывезенный из Иерусалима». Однажды, «в минуту откровенности», Лесков обратил внимание Измайлова на вставленное в перекрестье кругленькое стеклышко. Приблизив крест к подслеповатым глазам, Измайлов оторопел: под стеклышком была неприличная картинка<sup>8</sup>.

«Красивые женские лица, нежные и томные, а рядом с ними старинного письма образ или картина на дереве — голова Христа на кресте в несколько сухом стиле Альбрехта Дюрера»<sup>9</sup> — так описывала его кабинет писательница Любовь Яковлевна Гуревич.

Тот же Измайлов, однажды зайдя к Лескову невзначай, увидел, что он стоит на коленях, отбивая земные поклоны.

«Измайлов осторожно кашлянул, Лесков быстро оглянулся, заерзал по ковру и растерянно, быстро заговорил, как бы оправдываясь:

— Оторвалась пуговица, знаете... вот, всё ищу, ищу... никак не могу найти...

И он для вида стал шарить рукой по ковру, будто и в самом деле что-то искал.

Все, знавшие этого человека, в один голос упоминают о его прожигающих глазах, светившихся распаленной огненностью<sup>10</sup>.

Лесков для сегодняшнего российского читателя — автор «Левши», для зарубежного — «Леди Макбет Мценского уезда», которую знают по опере Шостаковича. Но на самом деле его рассказ-визитка — «Чертогон»: дядюшка рассказчика ныряет в бешеный ночной разгул, с пьяным пиром, музыкой, цыганами, а нагулявшись всласть, так же пламенно замаливает ночные грехи в женском монастыре перед богородичной иконой. В другом рассказе, «Дворянском бунте...», отец Василий, алкоголик с добрым сердцем, после запоя, на покаянной молитве «просветлевал до прелести», «невыразимой и неописанной», так что при красноте лица своего напоминал «огненного серафима»<sup>11</sup>.

Многое из того, что делает человека человеком, — образование, профессия, дружба, супружество, отцовство — у Лескова или было «разбито на одно колено», как говорил он о своем первом браке, или вовсе отсутствовало. Систем-

ного образования он не получил — имел за спиной три гимназических класса. Профессиональным писателем стал не сразу и не до конца, всегда искал других, более надежных занятий. С официальной женой не ужился, с «гражданской» — тоже. Дочерью Верой почти не занимался; сына Андрея, будущего своего биографа, больше мучил, чем воспитывал. О «сиротку» Варю, которую приютил уже стариком, скорее грелся — буквально: борясь с одиночеством, клал ее, маленькую, с собой в постель; страшно подумать, как это интерпретировали бы сегодня. Приятели в его жизни случались, как и внезапные сближения, но дружба, требующая доверия, искренности, постоянства, — никогда.

Возможно, именно эта неприкаянность, неспособность пристать ни к одной из испытанных традицией пристаней определили интерес к нему в колеблющемся XX веке. Дожив почти до конца XIX столетия, он действительно стал фигурой переходной. Лесков едва ли не первым из русских прозаиков осознал, что объектом изображения может стать слово как таковое, его журчание, клекот, цоканье, мычание, чавканье, кашель, скрип, криканье, звон. И отправился в свободное плавание — в живой язык, русский письменный, русский устный. Страсть к редким, диковинным словечкам, которые Лесков собирал по крупицам в записные книжки, чтобы потом гурмански раскатать по нёбу, спустить в горло мелкими глотками, была не слабее, чем все другие.

Его тяга к эстетическому наслаждению была тягой к запретному, потому что сталкивалась с иной линией, мейнстримом российской словесности второй половины XIX века, который и сам он открыто поддерживал: литература должна воспитывать. «Я совершенно не понимаю принципа “искусства для искусства”»; нет, искусство должно приносить пользу — только тогда оно и имеет определенный смысл»<sup>12</sup>, — говорил он уже стариком, повторяя то же, что заявлял в молодости\*. Должно-то должно, но чем дальше, тем сильнее он любил красоту слова как такового, от

---

\* В 1861 году в статье «О замечательном, но неблагоприятном направлении некоторых современных писателей», опубликованной в «Русской речи», Лесков писал: «Пользоваться неразвитием общественных вкусов и понятий и стараться морить общество со смеху, когда нужно говорить о деле, — недостойно литературы, от которой в настоящее время русская жизнь вправе требовать серьезного служения ее интересам» (Лесков Н. С. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 1. М., 1996. С. 379).



проповеди отдаленного. Поэтому и отношения с читателем Лесков выстраивал иные, более отстраненные и прохладные, чем Толстой, Достоевский, Тургенев и Гончаров, зато с языком — интимные, влюбленные. Читатель ему этого не простил. Но то, что помешало любить Лескова читателям XIX века, определило интерес к нему в первые десятилетия века следующего.

О нем думали и писали Василий Розанов, вглядывавшийся в суть лесковского консерватизма, Максим Горький, любивший его за демократизм, оригинальность таланта и называвший «волшебником языка». Языковая вязь и стилистические игры Лескова привлекали и Дмитрия Мережковского, и Алексея Ремизова, и Евгения Замятина, и Бориса Пильняка. «Достоевскому равный, он — прозёванный гений. / Очарованный странник катакомб языка!» — писал Игорь Северянин в стихотворении «На закате (1928).

Но хотя странствия по катакомбам языка сближали Лескова с литературным модерном, как сказал Северянин в том же стихотворении, «никаким модернистом ты Лескова не свалишь» — он был шире.

Всё русское — уклад, душу, веру — он понимал не умом, не сердцем — печенью. И видя мрачные бездны и героизм русского характера, его благочестие и дикость, авантюризм и апатию, желание оседлать, а еще лучше обхитрить судьбу, но вместе с тем и покорность ей, любил его именно таким. Это трезвое русопиятельство, не исключавшее глубокого почтения к европейской цивилизации, — еще один ключ к миру Лескова.

Напоследок о том, как написана эта книга.

Я люблю сочинять художественные тексты: придумывать несуществующих мужчин и женщин, детей и бабшек, их встречи, сны, разговоры, озарения, а заодно рассказывать о том, как светится только что вылупившийся из почки лист в луче апрельского солнца, как трещит крыльями юная стрекоза над заросшим кувшинками прудом. В равной степени я люблю искать реалии, литературные и жизненные, которые легли в основу того или иного художественного произведения, выяснять, как эпиграф соотношен с замыслом текста и кто тот забытый автор, чье сочинение послужило основой... словом, заниматься филологией, комментированием и историей литературы. Люблю тишь библиотек, гору ветхих журналов на столе с

внезапным инскриптом, приютившимся между лиловой библиотечной печатью и экслибрисом; особенный запах старых книг, рассыпающуюся брошюру, принесенную в картонной коробочке, обвитой волосатым шнурком, которую так интересно разглядывать и нюхать под железной зеленой лампой.

Работая над книгой, которую читатель держит в руках, я решила не снимать очевидного противоречия, не переключать в себе филолога на писателя и наоборот.

В конце концов мой герой тоже соединял в себе и писателя, и публициста, и исследователя; сложись его судьба иначе, он мог бы стать серьезным ученым. Поэтому в этой книге немало ссылок, в том числе на архивные документы (многие обнаружены и упомянуты впервые), и литературоведческих соображений. Отсутствие ссылок — сигнал читателю: перед ним реконструкция, основанная на мемуарах, документах, текстах Лескова. Особенно последовательно события и факты реконструируются в начале книги, описывающей то время, когда Лесков для потомков нем. Первое его сохранившееся письмо датировано декабрем 1859 года, когда автору было без малого 29 лет; до этого — ни слова, ни звука! Остается восстанавливать, как всё было в эпоху его безмолвия, по его поздним скупым свидетельствам и сторонним документам, вооружась здравым смыслом, а иногда фантазией. Едва мы вступаем во времена, когда Лесков, наконец, заговорил, вольных догадок в этой книге заметно убавляется, зато разборов лесковских сочинений прибывает. Слова писателя суть дела его.

Надеюсь, что переключение из одного регистра в другой не потребует серьезных усилий. Впрочем, на читателя, вовсе не готового к ним, я и не рассчитываю.

Самое время поблагодарить всех тех, без чьей читательской и профессиональной помощи я ни за что бы не справилась: Е. Н. Ашихмину, А. А. Бородина, М. А. Вишневецкую, Е. С. Коробкову, А. В. Машукову, О. Е. Майорову, М. С. Макеева, В. А. Мильчину, М. С. Неклюдову, Т. К. Слуцкую, Л. И. Соболева, М. Л. Степнову, С. И. Труфанову; А. В. Полозову (Центральный государственный исторический архив Украины, Киев), увы, уже покойную Т. А. Евневич (Государственный архив Пензенской области), стоически прочитавшую самый первый, а затем и последний вариант Е. С. Холмогорову, моих первых читателей и библиографов В. И. Буяновскую, М. Р. Хамитова, а также сотрудников Российского государственного архива

литературы и искусства, Рукописного отдела Пушкинского Дома, Рукописного отдела Литературного музея города Орла и Дома-музея Н. С. Лескова, и, конечно, моего мужа и постоянного советчика А. Л. Лифшица.

А теперь увяжем покрепче узлы, бросим в ноги холщовый мешок с провизией, усядемся поудобнее в легкую бричку. Вперед, за нашим героем!

Он немало времени провел в пути, многих своих персонажей сделал странниками, путниками дурных русских дорог. Несколько его сочинений — один из первых очерков «В тарантасе», роман «Некуда», повести «Смех и горе», «Очарованный странник», рассказ «Отборное зерно», очерк о Гоголе «Путимец» — открываются дорожными сценами. Его герои вообще часто перемещаются по белу свету, все они — путимцы, которые ищут правду.

Вот и писателем Лесков стал, кажется, в дороге: его литературная карьера началась с путевых писем, полных сценок, которые он подглядел, историй, которые подслушал.

В путь!

---

---

## Глава первая

# ДОРОЖНЫЕ СНЫ

*Чудная вещь старая сказка!*

Н. С. Лесков. Соборяне

### Проводы

Юноша спит, слегка посвистывая во сне. Новенький суконный картуз сполз на нос — из-под широкого козырька видны только темные усы, круглый подбородок в прозрачной поросли, губы — пунцовые, пухлые.

Ветерок омывает лицо и шею, в скулу бьет вдруг тугая пуля — очнувшийся шмель или муха; юноша вздрагивает, сдвигает картуз, поводит сонными испуганными глазами. Вдоль обочины толпятся березки в легком сиянии первой листвы, в птичьей трескотне. За березками — распаханное поле. По острой зеленой травке всходов удивленно расхаживают черные грачи.

Даль ясна, как бывает лишь ранним утром в мае; дорожная лента видна на много верст. Пыль прибил мимолетный дождь на рассвете, колеса стучат глухо, бубенчик погромыхивает в такт. Юноша клюет носом вместе с другими пассажирами пожилого тарантаса, едва вместившимися в эту «помесь стрекозы и кибитки», как изволил пошутить один полузабытый сочинитель — тень его еще мелькнет на страницах нашего повествования. Тот тарантас, впрочем, скрипел на русских ухабах много раньше, теперь же на дворе 1850 год \*.

---

\* Согласно большинству имеющихся сведений (см. Хронологическая канва жизни и деятельности Н. С. Лескова / Сост. К. П. Богаевская // *Лесков Н. С. Собрание сочинений*: В 11 т. Т. 11. М., 1958. С. 801), Лесков в первой половине 1850 года жил в Киеве. Однако недавние архивные находки свидетельствуют, что в апреле он, скорее всего, находился в Орле: подписанный им собственноручно «Репорт Орловской Градской Полиции», который разумеется, составлялся в орловской палате Уголовного суда, датирован 11 апреля (см.: *Ашихмина Е. Н.* Лесков в Орловской палате Уголовного суда: новые автографы писателя // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». 2009. № 1. С. 184). Как бы то ни было, мы позволили себе посадить молодого Лескова в тарантас, направлявшийся в Киев в начале мая указанного года.

Кавказская война идет на убыль, имам Шамиль уже готов сдаться русским.

Лев Толстой твердо решает покончить с беспутной светской жизнью, делать гимнастику и вести дневник.

В столице начинаются гонения на философию: польза от нее не доказана, а вред возможен.

В петербургском Дворянском собрании проходит последний в сезоне бал, а в ночи маскарад, цена билета на маскарад — два рубля.

Достраивают Николаевскую железную дорогу.

Достоевский только что отметил свою первую в Омском остроге Пасху.

Тургенев нарисовал толстую собачку в письме Полине Виардо.

Днепр освободился от ледяных оков, и англичане вновь с жаром принялись за строительство моста.

Газета «Северная пчела» сообщила о рождении козленка с ястребиной головой.

Юноша сладко спит. По устам его скользит улыбка, словно и во сне он помнит, что едет в далекое, взрослое путешествие, в чудный Киев, к дядюшке.

Остается лишь скользнуть беззвучно сквозь густой ресничный лес, заглянуть по ту сторону дрожащих век нашего героя, отметив по пути: сыровато, уж не пустит ли он вот-вот слезу?

Ба, да он на пиру! Сизый табачный дым стелется над столом с остатками закусок, лепится клоками к желтеньким обоям, заслоняет дешевую народную картинку. Кто там? Бова на коне, Еруслан на хвостатом драконе? Не разглядеть. Возле стены — батарея пустых бутылок, одна прилегла — сил стоять нет. Гости расшумелись, раскраснелись, поют.

*Дым столбом — кипит, дымится пароход... Православный веселится наш народ!*

Регентует чернокудрый Евген, стоит посреди комнаты, густым голосом ведет неумелый хор. Глистовидный Георгиевский в коричневом франтове, добытом по случаю на Ильинке, вьется рядом, машет руками, совсем не в лад. Рябоватый Лавров, Жданов с красной шишкой на скуле оседлали стулья и скачут. Гладко выбритый Вася Иванов, дядька Опанас в вышиванке поют тоже. *И быстрее, шибче воли мчится поезд в чистом поле!*

Ни один из них в настоящем поезде пока не ездил, поезда не видал. Только через 20 лет дотянется до Орла железная дорога. Но песня веселая, тема в масть.

Один хозяин не поет, стоит, опершись о дверной косяк, смотрит, будто издалека. Ему тянет душу: хоть и рассказывал всем, будто покидает Орел на месяц-другой — поглядеть на Киев, осмотреться, знал — не вернется ни за какие пряники, вцепится в скупое дядюшкино гостеприимство зубами, и... ни за что. Глохлый, прогорелый город, прощай. И не задорный мальчишник это, не проводы — похороны.

Никогда больше ему не пить с ними, не петь, не ворочать в канцелярии пыльные связки дел, не кунать перо в помадную банку с чернилами, не курить на дворе под анекдоты и молодецкий гогот.

...Только зачем же лошади скачут мимо, под густой окрик ямщика, почему захлебывается колокольчик?

Юноша распахивает глаза. Воздух рвется от звона — взбивая пыль, мчит курьерская, с колокольчиком и бубенцами. Он смаргивает слезу, промакивает щеку ладонью. Звук тает. Как и не было сытой тройки с крытым экипажем. Впереди только избенки выступившей за поворотом деревни. Попутчики его тоже начинают потягиваться, просыпаться. Он глядит на них сквозь ресницы, ему лень знакомиться, что-то говорить.

Прямо напротив широко зевает плотный русобородый купец: взгляд цепкий, глаза в зелень, чистый крыжовник, а руки ленивые, полные, мягкие. Рядом мелко моргает тщедушный приказчик, он при купце, судя по стриженной челке и чинному виду, из староверов. Слева посапывает, откинувшись назад, кудрявый молодец, кровь с молоком. Возница придерживает лошадей — навстречу бредет стадо. Несет навозом и бедностью; коровы за зиму исхудали, идут, покачиваясь, норовят ушипнуть по дороге хоть листик жмущейся к забору ботвы. За ними плетется белобрысая девка, тоже будто после болезни: щеки бледные, под глазами синева, едва держит кнут, на ходу спит.

Голова раскалывается, во рту мертвая послепопоечная сушь. Юноша судорожно сглатывает, снова ныряет в забытие. Слышит сквозь дрему, как соседи знакомятся и сейчас же сближаются друг с другом, как умеют сближаться в дороге одни лишь русские люди.

Звучит раскатистый смех, льются-переливаются слова — вещество, воровство, погуливать...

— ...Где народ, там и воровство, — рокошет сочный купеческий голос.

— Ну, нет-с. У немцев воровства не бывает. Мне артельщики из Петербурга сказывали, — сыплет звонкий тенор. — И у шведов нигде не встретишь.

— Брежут, — обрывает купец.

— Чего им брехать? *Брежет брох о четырех ног.*

Брох, черный молодой пес в ржавых подпалинах, привязан на базарной площади к телеге, дышит теплым паром; по вытоптанному на площади снегу шагает гусь, глинистого окраса, любимец протодьякона. Навстречу ему — белый крепыш квартального. Слышится яростный гогот, рыжий пух вспархивает над бойцами, но внезапно меркнет ясный снежный свет...

Он опять в тарантасе, кудрявый сосед тормошит его и странно булькает горлом.

— Гы-гы-гы. Вот так спит, хоть в гроб клади...

— Рано еще совсем, рано, — бормочет юноша.

— Неравна рана, иная рана бывает с полбарана, — слышит он в ответ и не понимает ни слова. — Вылезай, говорят, прибыли! То-то и оно, что не убыли, а прибытку-то всякий рад.

Юноша окончательно просыпается. Смотрит на балагура. Глаза у юноши — черные, злые, на дне плещет досада. Такой оборвали сон... А вдруг протодьяконский одержал бы верх!

Тройка стоит возле дверей неказистого заведения, сильно вытянутого и деревянного. У склоненного набок крыльца яростно чешется по-весеннему грязный пес, не обращая внимания на новых посетителей. Все уже заходят в трактир.

— Как прикажете величать?

— Николаем, — хмуро цедит молодой человек и добавляет через паузу: — Семенов сын. Пить охота!

— Николай Семенович, — с иронией в голосе повторяет приказчик. — Ну а я Судариков буду, Никита Андреевич, из Нижнего. Ехали долгонько, решили заглянуть в заведение. Не угодно ли будет... Вот и попьете.

Подкрепясь в честной компании «бальзаном» со стерлядью, вновь рассевшись в тарантасе, в разговор затягивают наконец и черноглазого юношу. Николай Семенов сын рассказывает, что служил в Орловской уголовной палате, нынче же едет в Киев, к дяде-профессору, чтобы поступать летом в Киевский университет. Говорит, как пишет, врет — глазом не моргнет и сам себе верит. Русобородый купец



знал, оказывается, его отца — тот приезжал к ним в Елец расследовать одно дело. Всякий трепетал тогда Семена Лескова... Незаметно летят за разговором версты.

— Кромы! — басовито роняет возница.

Снова вставать, разминать сомлевшие члены. Слезли, отряхнулись, потянулись, опять пошли пыхтеть за самоваром.

Кромы Николай знал как свои пять пальцев, до последнего кривого проулочка — сколько раз проезжал здесь гимназистом, по пути в родной Панин хутор с отцом или кучером Антипом, забиравшим его на каникулы.

Городок славился крепкими лукошками и фальшивыми паспортами. Но сейчас стоял мирно, застенчиво, зацветали яблоневые сады — в Кромах особенно густые, тенистые. Оторвавшись от остальных, Николай пошел по знакомым улицам. Потолкался на Крупчатной и дождался-таки — паренек с кулем на плече сыпанул в него мукой шулки ради, забелил рукав сюртука. Обернулся, закричал ему грозно, но баловник уже нырнул в какую-то незаметную дверь.

Пошел к Главной. На ней когда-то стоял дом, в котором зимовал сам батюшка Степан Тимофеевич Разин, но сейчас пройти тут можно было только по тонкой досочке — с весны и до самой сухой жары Главная превращалась в глянцевитый коричневый пруд. Повернул к Московской, самой нарядной, с несколькими каменными домами, с нее на Рядскую: здесь тянулись лавки со съестным и железным и стоял трактир. На цирюльне сколько уж лет висела фанерка с надписью: «Сдеся кров пускают и стригут и бреют Козлов». Перечитал и в который раз засмеялся.

Из раскрытой двери трактира дохнуло запахом вареной гречки — и он вспомнил вдруг свой дорожный сон целиком: гусями он только закончился, на гоготе оборвался. До этого ему привиделись снег и пахнувший гречкой родной Орел, который чем дальше отодвигался, тем становился милее.

## Старинный город

Зимой город хорошел, стоял как обряжен.

Черную бездонную лужу у недостроенного собора, ветхие флигели усадьбы графа Каменского с подушками вместо стекол, груды досок у домов вечно строившихся

мешан, канавы, разрытые вдоль дорог свиньями, — всё покрывал милосердный снег. Соборная лужа стекленела, кривые улочки, побелев, прямели. Снежным светом искрились сады; домишки, нахлобучив на тесовые крыши снеговые шапки и словно подбоченясь, глядели первостатейными купцами.

Тишина над городом вставала такая, что, когда в Девичьем звонили часы, в домах у Плаутина колодца разговор прерывался: требовалось переждать, как отзвонят. Даже лошади ступали по снегу беззвучно. Разве изредка всхрапнет какая да вскрикнет с долгой зимней докуки петух.

В любое время года жизнь города к середине дня замирала, всё погружалось в послеобеденный сон, но зимой правило это обращалось в закон непреложный, почти священный.

Даже медник Антон, городской антик и изобретатель, прекращал лазить каждую ночь на крышу, глядеть в плезирную трубку на зодии\* — слишком скользко. Сидел в своей каморке, шлифовал стекла.

Блаженный Фотий, с жуткими розовыми глазами, на время холодов поселялся Христа ради в баньке купцов Акуловых. И Голован-молочник не стучал по вторникам и четвергам в дверь.

Исчезали и запахи, в воздухе звенела одна сиреневая свежесть.

Пристань, хлебная да соленая, в летнее время тесная от грузчиков, подрядчиков и десятских, замирала вместе с Окой. Суда зимовали под снегом по правому и левому берегу. Рабочий люд, из тех, кто нанимался весной на барки, затягивал пояса потуже, считал копейки и позевывал во весь рот, уже и не ропща на зимнюю тяготу — ропщи не ропщи, у всех теперь два друга — мороз да выюга. Живи летними запасами и отсыпайся вволю.

Только по утрам зимнее царство ненадолго оживало: вспрыгивал упругой дугой колокольный звон, из печных труб вылетал дым — особенно пахучий в Заокской части, самой бедной, ветошной. Дрова заокским были не по карману, вот и топили гречневой лузгой, а кто и навозом. От такой топки и морозный утренний сумрак теплел, делался духовитым.

---

\* Плези́рная тру́бка — подзорная труба; зодии — 12 зодиакальных созвездий.

В кромском трактире Николай заказал гречневую кашу. Как там в Киеве — варят ли, любят ли гречу? Хотел запастись ее вкусом и запахом впрок.

Вскоре хозяйский сынок, чернявый отрок с напомаженным вихром и удивленным взором, поставил перед ним целый горшок с разваристой и душистой гречкой, следом и огурчики из зимних запасов, и квашеную капусту. Он вдыхал, ел, вспоминал дальше.

Он любил и этот гречнево-навозный запах, и мороз. Мальчиком, едва вставала Ока, бежал с ребятами на берег, тащил на гору ледянку-плетушку, вымазанную коровьим навозом, снизу политую водой и замороженную. Великая драгоценность — ледянка! И метили ее, и прятали — всё равно случалось не уследить. Ему соорудил плетушку Антип, их дворовый, кучер и мастер на все руки. И всё-таки в одну зиму у него ледянку стащили, так и не нашел — что ж, съезжал на «заднем колесе», а потом Антип смастерил ему новую.

В праздники ходил с братьями глядеть, как под монастырем на льду бьются на кулаках мещане с семинаристами, стена на стену. Бивались на отчаянность. Правила были: бить в подвздох, по лицу — ни боже мой и не класть в рукавицы медяки. Только правила эти не всегда соблюдались. Вот и получалось: побьют парня до бесчувствия, стащат на руках домой — и отысповедовать не успеют, как уже преставился.

На Кромской площади спускали бойцовских гусей. Гусь отца протодьякона, когда дрался, гоготал так, что дети визжали, бабы крестились, жутко делалось даже мужикам и смешно своего страха. Только и протодьяконский перед гусем квартального Богданова тушевался. Богданов не чаял в нем души, нянчился, как с младенцем. Знакомую площадь Николай и увидел во сне, причем сверху — приснилось ему, будто над городом он летал.

Квартальный шагал по Кромской грузно, важно, за спиной плетеная клеть, в ней — сокровище, серый богатырь, доблестный воин. Хозяин не спускал с него глаз: лишь бы не навредили, не накормили моченым горохом, не подбросили под лапы гвоздик. И никогда ведь герой не подводил. Случалось, во время сражения входил в такой раж, что и у живого бойца крыло отрывал.

Первым прыгнул серый, глинистый загоготал раскати-сто, жутко... тут Николай проснулся под гыканье Судари-кова, пустобреха.

Гусиными и кулачными боями в Орле развлекались издавна; об этом Николаю рассказывали и дед, и отец. Но и во времена его детства город жил еще по-старинному.

«Табашников» презирали, бабушка по материнской линии Акилина Васильевна Алферьева плевалась и крестилась при одном только слове «табак». И торговала табаком единственная лавка в городе. Трактир тоже был долгие годы один, и, если кто из молодых парней туда заглядывал, такого клеймили «трахтиршыком». Что значило: тьфу, в женихи не годится! Полиции в городе не было, караулили сами жители: ходили вокруг и стучали колотушкой, опасаясь не воров, а пожаров.

Старинная сказка глядела, чуть насупясь, из каждого окошка в наличниках, подперев кулаком голову в чепчике, завязанном под подбородком бантиком.

Акилина Васильевна помнила, как в Орел прибыли пленные французы — голодные, рваные, замотанные в тряпье, «косматые, яко звери». Их жалели, подавали хлеб, кидали одежду, но принимать басурман на квартиру боялись — пленных опередил слух, что они заразные, оттого и мрут. На ночь французов загнали в нетопленные казармы, наутро половину повезли хоронить. Нашлось доброе сердце, повивальная бабка Василиса Петровна. Жила она на краю Новосельской заставы и на собственный вкус выбрала себе несколько самых жалких пленников. Поселила их в своем доме и ухаживала, как за родственниками. Гнать французов дальше не торопились, так что вскоре Василиса истратила на их содержание всё, что имела, и начала ходить по городу, собирать постояльцам на пропитание. Акилина Васильевна обязательно ей подавала.

Когда постой кончился и ее пленных «робят» вместе с другими повели из города, Василиса расколола всю посуду, которой они пользовались, на мелкие черепки и выкинула в поганую яму. Есть из плошек, из которых ели «нехристи», она не собиралась.

Кое-кто из доходяг остался в Орле — учить дворянских детей. Когда в 1825 году в город проездом из Таганрога в столицу был доставлен гроб с телом императора Александра, все рассеявшиеся по Орлу и ближайшим поместьям французы собрались на панихиду в собор. И не так уж мало их оказалось; отец шутил, набралось бы на полковой оркестр.

Собственный дом Лесковых стоял на Третьей Дворянской улице — в зеленом, живописном месте, третьим от реки Орлик, в самой чистой части города, где располагались казенные здания и жило «общество». Между прочим,

на Второй Дворянской когда-то проживал крепкий старик с огромной, вросшей в широкие плечи головой, на которой белые волосы стояли дыбом. «Голова тигра на геркулесовом торсе», — сказал про него Пушкин, заглянув однажды к нему в гости. То был «неудобный русский человек», генерал Алексей Петрович Ермолов, легендарный покоритель Кавказа. Пушкин заехал к нему в 1829 году, до рождения Лескова, а вскоре генерал покинул Орел, хотя впоследствии еще приезжал сюда — навещал могилу отца. На том же кладбище, по собственному завещанию, был погребен и сам 85-летний генерал. Он не раз потом попадал в сочинения писателя Лескова — и в роман «Некуда» под именем генерала Стрепетова, и в статьи о «Войне и мире» Толстого, и в заметки «Пресыщение знатностью» и «Геральдический туман», а напоследок стал героем отдельного биографического очерка.

Неподалеку от генерала жили подполковник Дмитрий Николаевич Тютчев (дядя поэта), Василий Петрович Шеншин (двоюродный дед другого поэта, Фета), в подаренной супругой орловской усадьбе бывал Сергей Николаевич Тургенев (отец писателя). Как с тайной иронией выразился однажды Лесков, Орел «вспоил на своих мелких водах столько русских литераторов, сколько не поставил их на пользу родины никакой другой русский город»<sup>13</sup>. В свое время те же «мелкие воды» вспоят еще двух знаменитых русских писателей, Ивана Бунина и Леонида Андреева.

Отец нашего героя, Семен Дмитриевич Лесков, приобрел в Орле одноэтажный деревянный дом в августе 1832 года\*, как только выхлопотал себе должность заседателя в Орловской палате гражданского суда и начал получать регулярное жалованье. Семейство его — супруга Мария Петровна и младенец Николай, — жившее до этого у родных жены в сельце Горохове, впервые обрело собственное гнездо.

Обвенчались Семен Дмитриевич и Мария Петровна за два года до этого, в 1830-м, на Красную горку, в приходском храме села Собакина, оно же Архангельское (село называли и так, и эдак — то по имени владельцев, то по названию расположенной здесь же церкви Архангела Михаила).

---

\* События, происходившие в Российской империи, датируются по юлианскому календарю, а за границей — по григорианскому. В случае двойной датировки первой указана дата по юлианскому календарю.

Жениху было уже 39 лет. Он успел и помыкаться, и послужить, и поездить по России. Невесте, которую он еще недавно обучал наукам как домашний учитель, исполнилось семнадцать.

Первенец Николай появился на свет 4 февраля 1831 года в Горохове. Мать его сама еще выглядела красивым милым ребенком. 11 февраля Николушку крестили в храме, где венчались его родители. Обряд совершил тот же священник Алексей Львов, старый знакомый семьи. Восприемником согласился стать Михаил Андреевич Страхов, крупный помещик и большой сумасброд, а выражаясь прямее — человек ужасный и, возможно, безумный. Михаил Андреевич, глядевший, как священник окунает младенца в воду, и морщившийся от жалкого писка, даже в дивном сне не мог увидеть, что память о его диких выходках и тиранстве не растворится навек в едких водах неумолимой Леты и бессмертие он получит из рук вот этого красного пискуна\*, который, едва его вынули из купели, пустил лимонную струйку прямо на рясу батюшке.

Когда Лесковы перебрались в Орел на Третью Дворянскую, Марии Петровне, тогда худой, быстрой, было 19 лет. Подобрав юбки, гремя ключами, она буквально бегала по новым владениям, казавшимся ей огромными и необыкновенно богатыми. Возле дома стояли и погреб, и ледник, и амбар!<sup>14</sup> Отперла погреб — сыро, холодно, темно; спустилась на две ступени, разглядела на полу пустую рассохшуюся бочку. Припахивало мышами и дохлятиной; что ж, и вычистит, и приберет, сам погреб удобный — глубокий, просторный.

За домом раскинулся сад с яблонями, обсыпными — урожайный выдался год! Сохла несобранная смородина, зеленел крыжовник, темнела вишня; сорвала, пожевала — кислая, мелкая. Сад был сильно запущен, а руки на что? Между садом и забором тянулся огород, с другой стороны находились конюшня и каретный сарай — оттуда уже неслись бормотание Антипа и храп доморощенных косматых лошадей, впрочем, только что благополучно доvezших их из Горохова. Теперь забыть бы это Горохово вовсе!

Там они жили бедными родственниками. Дня не проходило, чтобы удары палками, розгами, охотничьим арап-

---

\* Страхов стал прототипом сердитого помещика в рассказе Лескова «Зверь», безжалостного князя Сурского в романе «Обойденные» и чудаковатого князя Одоленского в повести «Смех и горе».

ником или кучерским кнутом по спинам крепостных не отсчитывались на конюшне сотнями. Сам барин Михаил Андреевич нередко присутствовал при истязаниях, но будто и не глядел — равнодушно чистил розовые ногти под мольбы о помиловании. Немало утопленников принял в свои тинистые воды пруд в большом парке имения; кто-то от отчаяния и безысходности резался, кто-то вешался на чердаке. Старосту Антона барин сам избил до смерти<sup>15</sup>.

В Горохове у Марии Петровны только и было занятий, что следить, как бы Николаша не заплакал не вовремя, не испортил по младенчеству хозяйского, а Семен Дмитриевич не ляпнул по прямоте характера дерзость, — нельзя было подвести отца, много лет прослужившего у Страхова управляющим. Не дай бог обидеть лишний раз и старшую сестру Наталью Петровну, и без того обиженную — юной девушкой ее отдали в жены чудовищу Страхову в оплату за благодеяния.

Михаил Андреевич пригласил Петра Сергеевича Алферьева в управляющие в трудную для семейства минуту, освободил от уже подступавших унижений бедности. Бежав из Москвы в 1812 году, Алферьевы потеряли свое состояние: все драгоценности, сбережения и серебро закопали у дома, но он сгорел в московском пожаре. Выгорела вся улица, осталось черное поле без единого деревца и иных примет, клад было не отыскать.

Горохово стало их спасением. И когда 46-летний Страхов попросил руки пятнадцатилетней красавицы Натальи, можно ли было ему отказать? Неудивительно, что переезд на безопасное от Горохова расстояние — добрых 47 верст, жизнь в собственном доме с тремя комнатами, детской и кабинетом наполняли Марию Петровну весельем и бодростью. С ролью хозяйки она освоилась быстро.

Вскоре на Третьей Дворянской воцарился спокойный, умный порядок: сухие деревья в саду были спилены и выкорчеваны, яблоки собраны и отчасти съедены, отчасти превращены в варенье, как и остатки смородины с вишней. Ненужную ветошь из кухни и амбара выгребли и сожгли во дворе. Погреб подсушили и вычистили.

Возле дома Мария Петровна разбила большую клумбу, на которой уже через год цвели красные и кремовые розы, нежно-розовые георгины, лимонный лилейник. По краю, не мешая их пышной красоте, высажена была желтенькая пижма, хорошо помогавшая от болей в животе и геморроя, а ее запах отпугивал вшей и клопов. Мария Петровна



обильно посыпала высушенными цветками диваны, стулья, по шкафам подвешивала их в мешочках, сшитых собственными руками.

Жизнь семьи покатилась, наконец, по сухой, ровной дороге. Казалось, так теперь будет долго, всегда.

Семен Дмитриевич каждый день с утра уходил на службу, шел в присутствии пешком — благо близко: по Карачевской и Болховской, по мосту через Орлик. Из Гражданской судебной палаты он перевелся в Уголовную — заседателем «по выбору от дворянства»\*. Местные дворяне, за глаза посмеиваясь над угловатыми манерами бывшего бурсака, ценили его за честность и дельность. Семен Дмитриевич и в самом деле стал вскоре одним из лучших в губернии следователей, проницательным, неподкупным. В сложных случаях именно его приглашали в уездные и заштатные города Орловской губернии.

Мария Петровна занималась хозяйством: сама работала в огороде, шила, штопала, покрикивала на дворника, кухарку, но особенно грозно на Аннушку — гувернантку и няньку, крепостную девку, ровесницу, за кипучий нрав прозванную Шибаенок. Аннушка, или Анна Стефановна Калядина (со временем Лесковы начали называть ее Анной Степановной), умерла на 99-м году жизни, успев поведать кое о чем из прошлых лет сыну Николаю Семеновичу Андрею, летописцу его жизни. Правда, выудить из бывшей крепостной, по гроб жизни преданной хозяевам, удалось немного. Но внутренний ужас, с каким она приступала к одеванию и причесыванию молодой барыни, Анна Степановна помнила и через 80 лет.

Николай стал первым ее воспитанником.

Усидеть дома Аннушке было трудно, и она вела мальчика за калитку, к Орлику. Там на выгоне паслись соседские коровы, у одной родился теленок. Наглядевшись, как он

---

\* Судебная палата включала в себя назначаемых председателя и советника и четверых выборных заседателей — по два от дворянства и от купечества (см.: *Трощина К.* История судебных учреждений в России. СПб., 1851. С. 323). В аттестате С. Д. Лескова, датированном 27 февраля 1839 года и воспроизводящем формулярный список за 1838-й, указывается, что он поступил на службу 15 февраля 1833 года «по выбору от дворянства» и «во время последнего служения по назначению начальства произвел несколько следствий», а также «два раза по губернскому правлению исполнял должность советника от двух до четырех месяцев» (цит. по: *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова: По его личным, семейным и несемейным записям и памятям: В 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 423).

сосет мамку, как неловко и смешно ступает по траве, бредет к оврагу с обрывистыми краями и Солдатской слободе, где с весны до осени учили рекрутов. Прокопченные, как картошка на костре, в пыльной форме, солдатики шагали и разворачивались, строились и расходились. Когда кто-то сбивался, офицер, коротенький, плотный, визгливо кричал на виноватого, бил его палкой. Глядя, как вскрикивает солдат, как закрывает голову от ударов, мальчик плакал. Аннушка уводила его скорее прочь.

По дороге в городской парк они садились на широкую скамью передохнуть, глядели на обмелевшую от плотины Оку. Внизу на воде плескались голышом ребятишки — визжали, брызгались, катались на старой створке ворот, ловили в завязанные мешком рубахи мелкую серебристую рыбешку. Николаю хотелось плескаться с ними! Нельзя: он — барич. «В городе Семена Дмитриевича все знают, — наставляла Аннушка, — а ты его сын. Другое дело на воле, в деревне: при мужиках можно и выкупаться, кому что за дело, никто слова не скажет».

Нагулявшись, возвращались к Орлику. На берегу ютились хибарки Пушкарской слободы, в небе, блестя крыльями, кружили голуби, вспыхивал крест на Васильевской колокольне. Николай молился прямо туда, в сияющее синью небо: сделай, исполни, так, чтобы мне поехать в деревню, чтобы купаться там в речке, ловить рыбок, плавать на плоте, как *они*.

Молитва его была услышана.

## Панин хутор

В тот день Семен Дмитриевич вернулся домой молча, скинул на руки Аннушке шинель, заперся в кабинете. Выдвинул из-под стола выдавший виды дорожный сундук, откинул крышку.

Вот они, старые семинарские тетради, так и лежат высокой стопкой. В семинарии учили не только риторике, философии и богословию, но и геодезии, медицине, сельскому хозяйству.

Первой Семен Дмитриевич вынул тетрадь в черном коленкоровом переплете, стер обшлагом пылищу, раскрыл в середине. На пожелтелой странице было выведено: *Ради повышения плодородия почвы потребно удобрять ее обильно. Перелистнул: Для сохранения пчел от мокроты, зноя и холо-*

да закрывать улей по бокам соломой. Что ж, отчего бы и не завести пчел — мед полезен. Вспомнил, как зубрили стихи про пчел из Вергилия: *Venturaeque hiemis memores aestate laborem...*\* Не вышибешь семинарскую науку! Если сосредоточиться, мог бы вспомнить и всю эту песнь, когда-то выученную наизусть.

Следующей лежала голубенькая тетрадь — как раз по латыни, на которой и преподавали в семинарии большую часть наук. Прочел среди латинских фраз и русские строки:

Тучных овец стада пастухи весною пасут,  
В мягкой траве лежат, услаждая свирелью слух.

Quintus Horatius Flaccus. Впервые за эти дни Семен Дмитриевич улыбнулся. Сам отроком переводил когда-то из Горация — лучшего римского поэта.

Медлить довольно, забудь все расчеты, дерзай!

Нет у них Меценатов. Зато есть разум, воля, руки — заживут в деревне не хуже Горация. Обоснуются в сельце живописнее, в скромном бревенчатом доме. Станут подниматься по крику петуха, завтракать парным молоком и собственным хлебом. Пастух погонит поутру тучное стадо на заливные луга. Хозяин строго, но ласково будет наставлять мужиков, когда лучше сеять, как удобрять почву и получать обильные урожаи (читай черную тетрадь по сельскому хозяйству), а встанут потверже на ноги — займется и пчелами. Будут лечиться медом, печь медовые пироги, варить золотую хмельную медовуху к престольным праздникам. Семен Дмитриевич ясно ощутил в комнате сладкий и тяжеловатый аромат меда, различил гудение пчел, увидел, как по пестрому от желтых и сиреневых цветов лугу идет за стадом белоголовый пастушок, как молодые крепконогие бабы шагают с пением после работы в поле.

Толцые, и отверзется вам. *Surge et age. Scientia vinces*\*\*.

Упрямо повторял он знакомые поговорки, точно частокол выставлял вокруг, пока не ощутил себя в надежной крепости.

Семен Дмитриевич ободрился, глянул в заиндевшее окошко — на улице давно стемнело, в стекло царапал мел-

---

\* Помня о скором приходе зимы, предаются работе...» (Вергилий. Георгики. Пер. С. Шервинского).

\*\* Встань и действуй. Знание победит (лат.).

кий снег, — сложил тетради в сундук и пошел сообщать Маше о своем непреклонном решении: уйти из чиновников в отставку, сделаться помещиком, жить на доходы от собственного имения.

Маша ахнула. На какие доходы? От какого имения? Где оно? Ей мечталось, всё так и будет идти, как наладилось в последние годы: служба супруга в присутствии, его поездки по казенной надобности, завершавшиеся обычно триумфом и недурным вознаграждением, тихое, но неуклонное движение по служебной лестнице вверх, прибавление жалованья. В теплые летние вечера — самовар, ужины на веранде под пение соловьев и благоухание сада, беседа с милыми сердцу гостями. А публика среди приходивших к ним на Третью Дворянскую была пестрая: сослуживцы Семена Дмитриевича, отец Павел из собора, отец Евфимий из гимназии, ближние и дальние соседи — гости и купеческой, и мешанской конструкции, и дворяне. И вот всё рушилось. Почему? Она еще надеялась, что не решено, что муж только советуется с ней, — напрасно.

Семен Дмитриевич слов на ветер не бросал. Объявляя жене о решении уйти в помещики, он уже подал в отставку, не успев выслужить себе пенсии, ничего не сосчитав и не взвесив.

К тому времени семейство Лесковых выросло: в 1836 году появилась на свет Наташа, ставшая впоследствии монахиней Геннадией, никем, начиная с Марии Петровны, в семействе не любимая, в следующем — Алеша, напротив, материн любимец, будущий доктор, опора киевской части семьи. Двухлетний Петя, рожденный в 1834 году, умер в 1836-м; его похоронили на Троицком кладбище, описанном позже в «Тупейном художнике»<sup>16</sup>.

Много лет спустя Николай Семенович так объяснял внезапную отставку отца: «Он имел какое-то неприятное столкновение с губернатором Кочубеем (кажется, Аркадием Васильевичем), в угоду которому при следующих выборах остался без места как “человек крутой”. От отца требовали какой-то уступки губернатору, которую он будто бы мог оказать в виде вежливости, съездив к нему с визитом. Я помню, как несколько дворян приезжали его к этому склонить, но он додержал свою репутацию “крутого человека” и не поехал, а дворяне не нашли возможным его баллотировать»<sup>17</sup>. Это объяснение художника — психологически достоверное, но с фактическими ошибками.

В 1839 году губернаторский пост в Орле занимал уже не Кочубей, а Николай Васильевич Васильчиков. Незадолго

до отставки Семена Дмитриевича он ходатайствовал о награждении того чином за выслугу лет, и коллежский асессор Лесков сделался надворным советником. Производство в чин состоялось в мае 1838 года, а в отставку Семен Дмитриевич вышел в январе 1839-го. Что за кошка пробежала между ним и губернатором в эти полгода, неясно. Понятно одно: что-то в происходившем противоречило представлениям «крутого человека» о справедливости; судя по демонстративности жеста — выход в отставку без объяснений! грохотание дверью! — то была размолвка именно с губернатором. Возможно, и в самом деле ничего, кроме визита вежливости, от Лескова-старшего не требовалось, и в самом этом визите не таилось ни малейшего унижения его достоинства. Не захотел.

Позднее в цикле «Мелочи архиерейской жизни», включающем множество автобиографических деталей, Лесков описал один эпизод из своей семейной истории. Глава Орловской и Севской епархии Никодим (Быстрицкий), по прозвищу «архилютый крокодил», вопреки закону регулярно отдавал в солдаты представителей духовного сословия. Среди них были и единственные сыновья у родителей, и обремененные семьей дьячки и пономари. Однажды сдал он в рекруты и сына Пелагеи Дмитриевны, вдовой попады и родной сестры Семена Дмитриевича.

Отец, рассказывает Лесков в «Мелочах архиерейской жизни», поехал к епископу Никодиму восстанавливать справедливость и «в собственном его архиерейском доме разделался с ним очень сурово»<sup>18</sup>. Спасти племянника от службы в армии Семену Дмитриевичу не удалось, но по этому случаю можно судить о его прямоте, смелости и вместе с тем безрассудстве — грубить духовному начальству было небезопасно. Мог ли губернатор откликнуться на эту историю, сделать чиновнику выговор? Вполне. И тем самым разгневать Семена Дмитриевича еще больше.

Официально из Уголовной палаты Семен Лесков был 24 января 1839 года. Но уже в конце 1838-го, вероятно, предвидя отставку, он приобрел у генерала Александра Кривцова землю в Кромском уезде Орловской губернии — деревню Панино с прилагавшимися мельницей, сенными покосами и всеми угодьями, а также деревню Александровку и два сельца — Гостомлю и Кривцово, вместе с 49 ревизскими душами с семьями<sup>19</sup>.

Леса здесь росло немного, местность была степная, земля хлебородная. Ее хорошо орошали маленькие, чистые речки. Одна из них называлась Гостомка или Гостомля; отсюда и пошло уточнение к некоторым лесковским рассказам: «из гостомельских воспоминаний». Покупка деревень, вместе называвшихся Паниным хутором, обошлась Семену Дмитриевичу в 20 тысяч рублей ассигнациями, которые он обязался уплатить Кривцову в трехгодичный срок, надеясь на продажу урожаяев. Из домов, в которых могли бы жить господа, в Панине был тогда только «курничок» — мазанка под соломенной крышей. Но той же зимой Лесковы приобрели еще одно сельцо — Гавриловское, вероятнее всего, с помощью родителей Марии Петровны, вспомнивших (хотя, скорее, принужденных к тому) об обещанных, но так и не отданных дочери пяти тысячах приданого. Тесть, Петр Сергеевич Алферьев, стал управляющим и в Гавриловском — здесь, в отличие от Панина, располагался уютный господский дом, куда Лесковы и переехали в начале 1839 года по санному пути. Семен Дмитриевич не желал оставаться в Орле и лишнего дня. В Гавриловском они провели еще две зимы, 1839/40 и 1840/41 года, пока не пришлось продать его за долги и обосноваться в Панине — окончательно к лету 1841-го<sup>20</sup>.

Дом на Третьей Дворянской улице покинули, но не продали; отдавать в чужие руки обжитое гнездо Марии Петровне было жаль. К тому же Лесковы пока не теряли надежды вернуться или хотя бы наезжать временами и сберечь жильё для детей — им всё равно предстояло учиться в Орле.

Надеждам этим не суждено было сбыться.

Сначала дом сдали в аренду за 60 рублей в год, но через два с половиной года, в марте 1842-го, всё-таки продали, чтобы в оговоренный срок выплатить остаток долга Кривцову, не пожелавшему ждать. Денег всё равно не хватило. Выплатить долг целиком Лесковым помог Луциан Ильич Константинов — новый родственник, второй муж Натальи Петровны. Михаил Андреевич Страхов умер, когда ей было 27 лет, четыре года спустя она снова вышла замуж, на этот раз счастливо.

Луциан Ильич, отставной гусар Елисаветградского полка, красавец, шеголь, после женитьбы сделался «садоводом, художником и мечтателем», как описывает его Лесков, а также совестным судьей и председателем Орловской уголовной палаты. Константинов принадлежал к тем немногим родственникам, кто заслужил от племянника-писателя

ласковое слово. Лесков ценил «дядю» за благородство, прямоту и за то, что он, как сказано в «Несмертельном Головане», был дворянин *au bout des ongles*\*. Но взгляды Луциана Ильича были «племяннику» чужды: слишком консервативен, очень уж активно защищает власть. Впрочем, быть милым и добрым ему это совсем не мешало. Наталья Петровна счастливо прожила с ним 38 лет.

Для Семена Дмитриевича и Марии Петровны переезд в деревню стал источником разочарований и едва посильных трудов, для их старшего сына — счастливой вольницей. Его подхватил поток свежих впечатлений, он нырнул в новые экзотические знакомства, неведомые прежде занятия и разговоры. Никогда в жизни он столько не гулял. Аннушку от него давно отставили: подрастали младшие — трехлетняя Наталья, двухлетний Алексей. Николаю зимой исполнилось восемь — совсем взрослый! Но не настолько, чтобы привлекать его к серьезной работе, и он бродил, где хотел, говорил, с кем желал, часто не возвращался даже к обеду. Родителям было не до него — они трудились: мать занималась младшими детьми, правила огород, гоняла кухарку, сушила матрасы и подушки, выписала из города письменный стол, чтобы отцу было где разложить бумаги. Крестьяне прозвали барыню Лесчихой. Даже небольшое имение требовало немалых усилий. «Панок» уже не из книг и тетрадей постигал азы земледельческой науки, бился с мужиками, как мог.

Николай купался с ребятами в Гостомке, ловил пескариков, смастерил из тальника лук и пускал стрелы с шариком вара на конце. Он выучился ездить верхом и ходил в ночное, под тихий храп лошадей и клики ночных птиц слушал, наслушаться не мог рассказов у ночного костра. «Бежин луг» Тургенева он прочел много лет спустя и, как сам писал потом, «весь задрожал» от представленной там правды: с такими же деревенскими мальчишками он сам сидел летними росистыми ночами, варил в котелке «картошки», и говорили о том же.

О русалке, что сидит на дереве, спрятав в листве рыбий хвост, чешет волосы золотым гребнем и заманивает путников.

---

\* До кончиков ногтей (*фр.*).



О жутком разбойнике Кудеяре, кинувшем в колодец красавицу Василису, которая так и плачет там до сих пор. О зарытых имкладах.

О колдунах. Мальчики знали их по именам.

Самый страшный, Гусак, еще недавно жил в Гавриловском, в крайней избе, ближней к лесу. Он умел исцелять людей и скот, а мог навести порчу. Посадили его раз за колдовство в тюрьму, нарисовал он лодочку на стене, плеснул на нее водой — разлилось прямо в камере озеро. Сел Гусак в лодку, только его и видели... Снова стал колдовать. Беглеца опять поймали, крепко всыпали и назначили в наказание дворником в один орловский дом без жильцов. Так он и живет там, метет двор, в котором нет ни листочка и ни единого человека, любит только осень да зиму, когда летит листва, когда сыплет снег.

Николаю казалось, что он знает, где тот двор, чудилось, что и дворника этого он видел, когда гулял с Аннушкой: косматый седой мужик с бородой по пояс — Гусак это, видно, и был.

Слушал, слушал ночные рассказы у костра, укрывшись продымленным овечьим тулупом, задремывал незаметно. Гусак прямо на глазах уходил в сырую землю. На поля, в васильках и лютиках, выезжал добрый молодец на коне — молодой Егорий светлохрабрый, по локоть в красном золоте, по колено в чистом серебре. Во лбу всадника розовое солнце, в тылу — месяц, по плечам — звезды переходящие.

Николай поворачивался спиной к костру. С небес опрокидывался ливень, разноцветного всадника размывало, краски текли каждая сама по себе, сливались в цветные озерца. Он тянул их через тут же подобранную соломинку.

Первым пригубил пурпурный — и горящий этот цвет сейчас же окатил жаром легкие, сердце, затек в живот, налил свежей силой; всех теперь можно было одолеть. Следующий — перламутровый — сделал его лучезарным; изумрудный — прозрачный, как роса на траве в утренних лучах, — наполнил весельем.

Вот что он будет делать, как вырастет, — рисовать красками. Всадника Егория в розовом рассвете, страшного Гусака с метлой, пропитанное дымком ночное в красноватых отблесках.

Днем Николай заходил к дедушке Илье, мельнику, и сказка складывалась дальше.

Под мельничным колесом жил водяной — мирный, прирученный, свой. Не то что леший — тот гулял по чаще, любил посвистать, дерзал даже приблизиться к самой мельнице и густевшему рядом ракитнику, чтобы вырезать себе новую дудку, а потом играть на ней в тени у запруд-сажалок, пугать рыбу. У родников и речек хоронились его подружки-русалки и одна дальняя родственница — кикимора.

Как-то раз брызнул грибной дождик, Николай забежал в пустой амбар, смотрит — в углу кто-то сидит, скромно потупившись, вроде женщина, в пыльном повойнике, с золотушными глазами, но лицо что-то очень уж странное... она! Кинулся прочь, побежал куда глаза глядят. В лесу его страх сейчас же заметили: филины загукали, леший засвистал в зеленую дудку, а чтобы попугать посильнее, схватил Кольку за ногу, прижал намертво к земле. Насилу вырвался, еле жив воротился домой.

После всех этих ужасов Николая, чистосердечно признавшегося родителям, как он потерял каблук, засадили за Священное Писание, а мельнику Илье строго-настрого велели не дурить мальчику голову и держать свои небылицы при себе. Несколько дней Илья в разговоры с барчонком не вступал, отворачивался и уходил, пока принесенная из родительского сада чашка вишен не растопила его сердце.

Шло последнее для семьи Лесковых спокойное лето. Отец еще был бодр душой, охвачен горячкой нового дела, не сомневался, что и здесь добьется успеха. Мать помогала ему во всём и тоже поверила, что и на новом месте жизнь будет выстроена, вот-вот. Но 1839 год, первый помещичий год Семена Дмитриевича, выдался неурожайным: хлеба почти не собрали, продавать осенью было нечего, значит, нечем и возвращать долги. Понадеялись на следующее лето, но весной крестьяне наотрез отказались сеять яровые, по приметам поняв, что и в этом году урожая не будет. Семен Дмитриевич говорил им об удобрении почвы, о перегное; мужики пожимали плечами и хоронились один за одного, долдоня прежнее: *по всему*, барин, сеять никак нельзя. Самые бойкие даже объясняли ему: мало выпало снега зимой, сосульки висели внутри пустые. На Сретение, барин, какая мела метель! Еле откопались. А это самая первая примета, что урожая не жди. Посеешь осенью последние семена — зимой нечего будет есть, и тогда смерть.

Сама птичница Аграфена, которая — в это верила вся деревня — видела вещие сны, прорекала скорый и страшный голод. На Аграфенин роток не накинешь платок — она

была из вольных однодворок, женщина честная и гордая, и никто не сомневался, что сны ее скоро сбудутся.

Что было делать с этим глухим, но неодолимым сопротивлением?

Ненависть к телесным наказаниям Семен Дмитриевич вынес еще из бурсы, крепостных своих никогда не сек. Барыня в семинариях не училась и мужниных взглядов на битье не разделяла. Позднее Николай не раз вымаливал у нее милости для отосланных на конюшню; пока же Лесчиха только осваивалась с новой ролью. В конце концов ново-явленный помещик всё-таки повелел засеять пашни — и свои, и крестьянские — собственным, купленным впрок зерном, чтобы затем вместе с урожаем забрать у мужиков данное взаймы.

Но мужики и сновидица Аграфена оказались правы — весной не взошло ни колоса. Наступил страшный, голодный 1840 год, о котором Лесков рассказал много лет спустя в «Юдоли» (1892) с самыми живописными и жуткими подробностями: ели детей, девки отдавались за кусок хлеба. Во время этого голода умер еще один младший ребенок Лесковых, Миша, двух лет от роду (следующего сына назвали потом его именем); умерли несколько лесковских крепостных, умирали и многие вокруг.

После этой беды Семен Дмитриевич не мог заплатить генералу Кривцову не только долг, но даже проценты за него; Гавриловское и Кривцово были поспешно проданы, орловский дом на Дворянской улице сдан пока в аренду, но вырученные за это 60 рублей не спасали дела.

Так и получилось, что с покупки Паниного хутора и Гавриловского начался медленный финансовый крах семейства Лесковых.

### **Севск: бурса**

Отобедав гречкой, он успел как раз вовремя: в тарантас уже рассаживались знакомые пассажиры. Судариков спорил с молочным купцом, где лучше ярмарка — в Севске или Глухове. Ямщик озабоченно заметил, что в Севск надо бы поспеть засветло, там и заночевать.

В Севске когда-то учился Семен Дмитриевич. Николай никогда там не бывал, вот и поглядит, где родитель провел лучшие годы.

Отец... Так и не поговорили толком по душам, хотя однажды просидели вместе за книжками целую зиму, отец готовил его к гимназии — и подготовил. Семен Дмитриевич никогда не давил, а всё-таки легким человеком не был. Легкость, гибкость, уклончивость, дипломатия — дурные товарищи прямоте, честности и упрямству, отличавшим его с юных лет.

Семен Лесков происходил из «колокольных дворян», то есть порвал с родной средой духовных и получил потомственное дворянство вместе с чином коллежского асессора. Был он не робкого десятка и трудолюбец. Всё в нем — живое, энергичное лицо, оспинки на щеках, поступь, манеры — свидетельствовало: этот человек хорошо испробован и многое в жизни выдержит. Так оно и было, до поры.

Отец его, священник Дмитрий Петрович Лесков, служил в Казанской церкви села Лески (местные жители произносят название с ударением на первый слог) Карачевского уезда Орловской губернии\*, где в 1791 году Семен и родился. Происхождение названия села довольно очевидно — его окружали дремучие леса<sup>21</sup>. Упоминаются Лески с начала XVII века, находятся на речке Колохве. В 1770 году там на средства владельца, помещика Евтихия Ивановича Сафонова, началось строительство храма в честь Казанской иконы Божией Матери, оконченное только десять лет спустя.

Весь XVIII век в Лесках служили несколько поколений Лесковых. Сначала в храме Флора и Лавра — прапрапрадед писателя Семен, затем его сын Тимофей, дальше прадед Петр<sup>22</sup>, а уже в новой Казанской церкви дед Дмитрий. Дмитрий Петрович окончил Севскую духовную семинарию, служил при отце дьячком, в 1784 году женился на поповне из села Бутре Марфе Ивановне, а после смерти отца был рукоположен и поставлен на родной приход<sup>23</sup>.

Память о Марфе Ивановне в семейных преданиях Лесковых стерлась напрочь, даже имя ее выяснили только в XXI веке. Неудивительно: как и все матушки-попадьи, жила она безгласно, занималась хозяйством, рожала и растила детей — кроме Семена были еще Алексей, на два года старше, и Пелагея, появившаяся на свет в 1798 году. Ей и предстояло унаследовать приход в Лесках.

---

\* Ныне — Навлинский район Брянской области.

Лески стоят и поныне, пережив все бедствия русского XX века. В 1917 году усадьба последних владельцев села Муравьевых — Сергея Владимировича и его детей — была разгромлена крестьянами<sup>24</sup>. В 1920-м здесь был создан Лесковский сельский совет. Брянская газета «Наша деревня» за 1925 год описывает, как напившийся милиционер с компанией устроил в Лесках пьяный дебош<sup>25</sup>. В начале XX столетия здесь было около двух тысяч жителей, по материалам Всероссийской переписи 1928 года — 1889 человек в 330 дворах, по данным 2013-го — 194 человека.

Я была в Лесках в конце марта 2019 года\*. Часть села — покосившиеся брошенные избушки, другая — живая, с трактором, горками нарубленных дров, лошадьми, рыжими курами и бойкими петухами, то и дело перебегающими дорогу. Живет в селе в основном старшее поколение. Вырваться отсюда трудно: даже автобус до ближайших деревень перестал ходить. Из кирпичей здания сахарного завода, построенного С. В. Муравьевым в начале XX века, в 1927 году сельчане сложили двухэтажную школу, которая и проработала до 2010-го. Когда школа закрылась, детям и их родителям нечего стало здесь делать.

Рядом с опустевшей школой — останки Казанской церкви, в которой служил дед писателя: фундамент, частично стены. Самый высокий, в небо уткнувшийся обломок, — в нахлобучке аистиного гнезда.

Немцы захватили Лески в 1941 году. В сентябре 1943-го, отбиваясь от советских войск, они поставили пулемет на колокольню, в ответ наши били прямой наводкой, но церковь до конца не разрушили. Советские саперы вроде бы хотели ее взорвать, но она так до конца и не поддалась. Тут-то и выяснилось, что помещик Сафонов строил крепко: толщина стен — шесть кирпичей. Выкорчевать кирпичи было почти невозможно — «лябастра закубрённая», как выразилась местная жительница. И всё же с тем, с чем не совладали снаряды, справились сельчане, постепенно растащив храм на печки и разобрав по домам иконы. Каждый год аисты прилетают и выводят на церковных руинах потомство; здешние жители их очень ждут, ими гордятся.

В 1950-е годы на волне интереса к Лескову Министерство культуры выделило деньги на создание в Лесках музея в его честь, но местные власти от щедрого предложения отказа-

---

\* Благодарю журналиста и поэта Евгению Коробкову за участие в организации поездки и за компанию.

лись: сам Николай Семенович в Лесках не бывал, отец его покинул село в 1810-е, а ради деда не стоило и затеваться.

Прихожане Казанской церкви конца XVIII века этому решению наверняка бы удивились: батюшку они очень уважали, ценили за честность, скромность и прямоту. Из соседнего села Шаблыкина к отцу Дмитрию приезжала чета Киреевских — Василий Александрович и Елизавета Федоровна — просить молитв о наследнике. И когда долгожданный сын родился, его мать в благодарность Богу и отцу Дмитрию за молитвы подарила храму богато украшенную Богородичную икону стоимостью в две тысячи рублей, а позже делала пожертвования регулярно — очень кстати: приход в Лесках был бедным. Вымоленный мальчик, Николай Васильевич Киреевский (1797—1870), стал кавалергардом, а по выходе в отставку — страстным охотником, знаменитым на всю Россию. Об охоте на зайцев, волков, лисиц и медведей, о любимых борзых собаках, назвав каждую поименно, он написал книгу «Сорок лет постоянной охоты: Из воспоминаний старого охотника» (1855).

Николай Семенович деда-священника никогда не видел — отец Дмитрий и его супруга умерли задолго до его рождения. Внук знал о них только из рассказов их дочери, своей тетки Пелагеи, и утверждал, что протопоп Савелий Туберозов в «Соборях» списан с родного деда, добавляя, впрочем, что реальный отец Дмитрий был проще, но протопоп «напоминал его по характеру». Если действительно так, значит, дед был характеру «нетерпячего», горяч и прямодушен. Судя по тому, как он обошелся с сыном, это похоже на правду.

Дмитрий Петрович отдал Семена в ту же Севскую духовную семинарию, где сам прошел курс наук. Перед Семеном Дмитриевичем лежал нелегкий, но понятный путь: по окончании семинарии служить в родовом приходе Казанской церкви — сначала дьячком на клиросе, затем подыскивать невесту, жениться, а там и принять по наследству из рук отца приход и почтение прихожан. На каникулах Семен возвращался домой, помогал матери в огороде, отцу в храме; был остер, памятлив, чист сердцем. И насчет будущего отец Дмитрий не тревожился: *левитский род Лесковых яко финикс процветет, яко кедр, иже в Ливане, умножится*. Но всё получилось по-другому. По преданию, изложенному его сыном-писателем в «Автобиографической заметке», Семен, вернувшись после семинарии в родное село, не стал лукавить, тянуть, отсыпаться после казенного житья на до-

машних перинах, отъедаться матушкиными пирогами — брякнул сейчас же, за семейным обедом: в попы идти не намерен.

Отец Дмитрий уронил вопрос, другой; сын отвечал твердо, как о давно решенном. Батюшка побагровел, сказал кратко: «Вон!» Семена точно ветром отнесло в сени. Страшен был отцовский гнев, но коса стукнулась о камень. Котомка, не разобранная с дороги, так и лежала у самой двери свернувшимся щенком, словно предчувствуя всё и дожидаясь хозяйина у порога.

Вскоре юноша, покорясь отцовской заповеди, уже спешил из родимого дома вон, с мешком и 40 копейками меди за пазухой халата, которые мать едва успела всучить ему с заднего крыльца. Марфа Ивановна знала не хуже сына: спорить, убеждать, молить мужа о милосердии — бесполезно. И дня она не поглядела на Семушку, даст ли Господь свидеться еще?

Не дал. Это была их последняя встреча. Семейные предания, утверждавшие, будто бы столь резко прерванная духовная карьера Семена и ссора до того огорчили отца, что вскоре свели его в могилу, видимо, не соответствуют действительности: отец Дмитрий умер уже после 1815 года — через четыре-пять лет после изгнания сына. Марфа Ивановна скончалась раньше, но когда именно, неизвестно.

Семен бежал не из отцовского дома, не из Лесков — из священнического звания. Что гнало его прочь? Что придавало решимости нарушить порядок, поддерживаемый несколькими предыдущими поколениями Лесковых? Выйти из духовного сословия было не так-то просто. Николай Семенович написал потом, что причиной побега стало «неодолимое отвращение к рясе», которое Семен Дмитриевич испытывал «всегда». Положим, «всегда» — фантазия; разве мог мальчик, впитавший церковную жизнь с молоком матери, росший рядом с правдивым, любимым прихожанами отцом, с самого рождения ненавидеть отцовское дело? Очевидно, что «отвращение к рясе» зрело медленно и сошло уже в годы учения в Севске.

Севская семинария располагалась на территории Спасо-Преображенского монастыря. Но монастырских помещений для всех ее нужд не хватало. Общежития в семинарии не было, мальчики снимали жилье в городе, ютились в тесных квартирах, по несколько человек в комнате. Хуже

других было тем, кто поселился в Замарицкой части города: путь оттуда шел через заболоченный луг, перебираться через него приходилось, сняв сапоги и засучив штанины, — и так до холодов, пока лед не сковывал хляби. Кровати были не у всех, бурсаки часто спали прямо на полу, завернувшись в тулуп или халат. Чесотку, простуду, вечный кашель и голод по равнодушию юных лет и непривычке к другой жизни можно было пережить — или не пережить: смертность была высокая. И всё же ужаснее голода и холода для вчерашних домашних мальчиков оказывалось бесчеловечие, обращенное в закон. За семинарские годы им предлагалось не только выучить латынь и богословие, но и преодолеть бездну между словами о любви к Богу, снисхождении к ближнему, которые им твердили на всех уроках, и реальностью — ежедневными порками, унижениями, пьянством преподавателей, жестокими потасовками учеников, беспощадной травлей слабых.

Семен начинал учиться вместе со старшим братом Алексеем — тот помогал ему обжиться на первых порах, защищал от старших драчунов, — а окончил семинарию один. Алексея забили до смерти в «каком-то семинарском побоище и из-за какого-то ничтожного повода»<sup>26</sup> — очень вероятно, у Семена на глазах.

Семинарские дрались друг с другом, с гарнизонными солдатами, с деревенскими, у которых с голодухи и из удалства воровали овощи на огородах. В «Соборянах» дьякон Ахилла рассказывал Савелию Туберовзову:

«...однажды он, еще будучи в училище, шел с своим родным братом домой и одновременно с проходившей партией солдат увидели куст калины с немногими ветками сих никуда почти не годных ягод и устремились овладеть ими, и Ахилла с братом и солдаты человек до сорока: “и произошла, — говорит, — тут между нами великая свалка, и братца Финогешу убили»»<sup>27</sup>.

Братца Семена Лескова убили, кажется, однокашники, будущие священники, которым предстояло служить литургии, проповедовать милосердие и жертвенность. Во что верили, чему поклонялись эти немытые, сопливые, вечно голодные, обозленные на весь мир бурсаки? Ни во что и ничему, кроме кулака. Сила помогала выжить, да еще изворотливость и физическая выносливость. Силачам вообще жилось вольготнее, слабым, в особенности чувствитель-



ным — невыносимо. Бояться, болеть сердцем, тем более плакать считалось постыдным.

Били они, били и их. Секли на воздусех и на полу, розгами солеными и в две пары. Битье и зверства нередко сопровождалось прямой подлостью — воспитанникам приказывали сечь друг друга: аудитору\* — того, кто не смог ответить на уроке, а подопечному — своего аудитора, «налгавшего» учителю.

Началось всё, едва отец Дмитрий отвез сына в бурсу. Встретив во дворе, как потом выяснилось, учителя арифметики, мальчик поклонился старшему. Учителю это понравилось. Узнав, в какой класс определен новый воспитанник, он потрепал его по плечу и произнес мечтательно: «Жаль, голубчик, не ко мне ты попал, уж как бы я тебя сек!..»

Так они и жили — молодым полудиким стадом, которое то резвилось, играя в свои первобытные игры, то, набычась, долбило уроки и угрюмо шагало и шагало к выпуску, не чая его дожидаться. Единственным надежным лекарством от болезни, тоски, обиды, душевной боли был глоток спиртного. В старших классах к нему прибегали часто. Самый знаменитый летописец семинарских будней, автор «Очерков бурсы» Николай Помяловский, заболел известным русским недугом как раз в годы учения, чтобы потом полжизни провести в кабаках, трущобах и умереть, не дожив до тридцати лет. От той же напасти гибли десятки, сотни вчерашних обитателей духовных училищ.

По окончании первой ступени обучения и переходе из училища в семинарию, наждаком огрубив души учеников, подготовив к взрослой жизни под архиереями и навек выбив веру в справедливость от высших, порки наконец прекращали. Но лгать, хитрить, зубрить от доски до доски нужно было по-прежнему — этому в семинарии учили превосходно, а вот молиться, любить — нет. О том, что души учеников нуждаются не только в окрике и лозе, не думали даже лучшие педагоги. Семен Дмитриевич не хотел иметь со всем этим ничего общего, никогда.

Помилуй Бог, неужели в бурсацкой жизни и в самом деле вовсе не бывало хорошего и семинарию населяли одни лицемеры?

---

\* А в д и т о р (аудитор) — здесь: семинарист, назначенный учителем проверять задания у товарищей.

Семен Егорович Раич, соученик Семена Дмитриевича, впоследствии поэт, переводчик с древних языков и домашний учитель Федора Ивановича Тютчева, свидетельствует: бывало и доброе.

Судьбы двух Семенов отчасти схожи. Семен Раич родился на год позже тезки, в 1792-м, а по окончании семинарии также вышел из духовного звания. На бедном сельском приходе служил и дед его, и отец, но отец к моменту поступления сына в духовное училище уже умер. Изначально Семен носил фамилию Амфитеатров, но в 1820 году взял другую — родовую.

Его старший брат Федор, в монашестве Филарет, также окончил семинарию в Севске, а вскоре сделался ее ректором и опорой осиротевшей семьи. Со временем Филарет стал митрополитом Киевским и Галицким и не раз бывал героем прозы Лескова. И во «Владычном суде», и в «Печерских антиках», и в «Мелочах архиерейской жизни» этот «благoduшнейший иерарх русской Церкви» описан с самым теплым чувством: «Он родился со своею добротою, как фиалка со своим запахом, и она была его природою»<sup>28</sup>. Аромат его добродетелей донесся и до ХХI века — в 2016 году он был канонизирован Русской православной церковью.

Севскую семинарию Филарет возглавил в 1802 году, в 25 лет. Сам недавний ее выпускник, он старался беречь учеников — его даже прозвали Милостивым, как и его святого покровителя Филарета, византийского землевладельца VIII века. Севск стоял на болотах, климат был гнилой, свирепствовали болезни, многие ученики умирали. Филарет начал ходатайствовать о переводе семинарии в губернский Орел. Делал он это в обход своего непосредственного начальства, епископа Орловского и Севского Досифея, понимая, что тот его не поддержит, — и оказался прав: Досифей, узнав о планах ректора, так разгневался, что велел схватить его, запереть в башню монастыря и пригрозил наказать батогами. Доброжелатели спасли Филарета от расправы и заключения, но не от перевода в захолустную Уфу, в бедную неустроенную семинарию. Досифей очень старался, но и он оказался не всесилен; в конце концов и от уфимского плена Филарет был избавлен. Однако семинарию из Севска в Орел перевели только 20 с лишним лет спустя, в 1827 году.

Тем не менее Семен Раич о годах учения вспоминает с благодарностью, не забыв отметить, что семинаристов берегли от простуд: «Конечно, наши семинарии имели — может быть, и теперь имеют — свою черную сторону, но есть у

них и белая сторона. Не знаю, как в мое время развивалось умственное и нравственное образование в других епархиях, но в Орловской оно, несмотря на крайнюю ограниченность средств, было, можно сказать, в цветущем состоянии; этому способствовали по преимуществу две замечательные особы: епископ Досифей и ректор семинарии Филарет, теперешний киевский митрополит... Обе эти особы умели пробудить в нас любовь к наукам не строгими, жестокими мерами, но кротостию, снисхождением; они вели нас в храм просвещения не по тернам, а по цветам; в доказательство приведу два-три примера. При наступлении весны, во время ростепели, мы, из опасений простуды, недели по две освобождаемы были от классов и занимались по квартирам экстраординарно; весь май слушали мы учителей без обязанности ежедневно сказывать им уроки — короче, мы беззаботно праздновали у весны на новоселье. Весною и летом классы наши устраивались под открытым небом, в рощах (у нас их было две: одна березовая, другая дубовая), — и это нисколько не мешало учению, не останавливало его, напротив, подвигало вперед, давая простор мыслям и в то же время развивая и укрепляя физические силы; “*mens sana in corpore sano*” — вот правило, которого благоразумное начальство наше никогда не теряло из виду. Задавали нам темы для сочинений в классе пиитики или риторики — и мы, бывало, разбредемся по рощам, по полям, вдохновимся и, увенчанные васильками, колосьями или молодыми древесными ветвями, возвращаемся с готовыми сочинениями и читаем их по тетрадам или импровизациею...»<sup>29</sup>

С таким же восторгом Раич описывает своих учителей, в особенности преподавателей пиитики и риторики. Среди них были и в самом деле люди замечательные — например, Яков Сильвестров, переведший с немецкого трехтомное философское сочинение Иоганна Фридриха Даленбурга «Бог в натуре, или Философия и религия природы», и Иван Михайлович Фовицкий, знаток российской и польской словесности, впоследствии ставший в Варшаве наставником Павла Константиновича Александрова, побочного сына великого князя Константина Павловича. В семинарии выписывали журнал «Вестник Европы», и значит, воспитанники читали не только Овидия, Горация, Вергилия, но и современных отечественных авторов.

---

\* В здоровом теле здоровый дух (*лат.*). Раич переводит этот афоризм как «Здоровая душа в здоровом теле».

Семен Егорович вспоминает, что наказывали бурсаков относительно мягко — лишением высшего места в классе или блюда за столом. В серьезных проступках воспитанники должны были признаваться публично, после вечерней молитвы — так начальство боролось с наущничеством. Для натуры свободолюбивой и этот обряд вряд ли был приятен. И всё же допустить, что в Севской семинарии во времена Филарета нравы были мягче, чем в иных духовных школах, можно — конечно, с поправкой на то, что Раич был родным братом ректора, и на его идеалистический склад ума, который позднее друзья-литераторы называли «олицетворенной буколичкой»<sup>30</sup>.

Но в чем-то он точно был прав. Например, в Севской семинарии, по-видимому, действительно хорошо учили древним языкам и российской словесности. Недаром Семен Дмитриевич, потерпев фиаско в сельскохозяйственных преобразованиях, утешался переводами древних авторов, в особенности Горация. Любовь эта, а вовсе не отвращение и ненависть, которую испытывали к латыни многие бывшие семинаристы, была привита ему, конечно, в Севске и в трудную минуту скрашивала тяготы деревенской жизни.

И всё же ни Семен Раич, ни Семен Лесков не пожелали остаться в духовном звании. Раич всегда хотел сделаться поэтом и начал писать стихи уже в семинарии, но вынужден был их сжигать. После семинарии он мечтал вовсе не об отпеваниях и крещениях на приходе, а об учебе в Московском университете, занятиях изящной словесностью, сочинительством и переводами. Все сбылось, но совсем не сразу: до поступления в университет он намыкался — служил и подканцеляристом, и домашним учителем. Выйти из духовного сословия было трудно. «Боже мой, сколько надобно было твердой надежды на Промысел Небесный для того, чтобы решиться на этот переход», — писал Раич. В его случае помогли частые лихорадки (последствие севского климата) — он сумел уволиться из церковного звания по болезни. Трагедии, подобной той, что разыгралась в доме Лесковых, не случилось — некому было укорять его, кроме Филарета, но владыка был сострадателен, хотя за глаза выбор младшего брата не одобрял.

«Весьма не нравится мне и самое-то житишко Семени колотырное (то есть бедное и суетное. — М. К.)... да и ремесло-то его и занятие какое-то журнальное. Пиитическое, а главное, всё фантастическое... существенного ни-

чего нет»<sup>31</sup>, — сокрушался он 2 июня 1832 года в одном из писем родным. И это в ту пору, когда Семен Раич был уже известным литератором и переводчиком, переложившим на русский «Георгики» Вергилия, знаменитые рыцарские поэмы «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо и «Неистовый Роланд» Лудовико Ариосто, — «существенное» в его занятиях обнаружить было несложно. Но там, где Филарет ворчал, Дмитрий Петрович Лесков неистовствовал.

Однако и выход Семена Лескова из духовного звания бил по его родным больнее: он отказывался от главного семейного достояния. Собственный приход, ради получения которого многие плели хитрейшие интриги, лишь бы жениться на поповне, Семену доставался даром, на травяном блюдецке их скромного села. Он же развернулся и пошел в другую сторону.

Впрочем, за ворота отчего дома Семен Лесков выходил не с одной котомкой за плечами и материными копейками, но и с багажом обширных знаний — не только по греческому, латыни, немецкому и богословию, но и по медицине, географии, основам землемерия, к тому же с закалившейся за время бурсацкого житья волей, воловым терпением, звериной выносливостью. Это давало ощущение всеисилия. Он всё мог! Он не побоялся самого страшного — отцовского проклятия.

Не учел Семен Дмитриевич одного: отпечаток, который оставила на нем бурса, всегда будет сквозить в его повадках, манере говорить, слушать, мыслить и действовать. Как бы далеко ни отгрелся он от своего сословия в житейском и карьерном плане, он навсегда остался «поповичем»\*.

В семинарии Семен Дмитриевич не утратил веры не только в себя, но и в Божий промысел, он по-прежнему был христианином, хотя и не совсем православным. Свой склад вероисповедания — почитание Христа, но не церковный обряд — Лесков-старший передал и сыну. Вот как пишет об этом сам Николай Семенович:

«Религиозность во мне была с детства, и притом довольно счастливая, то есть такая, какая рано начала во мне мирить веру с рассудком. Я думаю, что и тут многим обязан

---

\* «Природные» дворяне всегда несколько брезгливо относились к выходцам из духовенства (см.: *Манчестер Л. Поповичи в миру: духовенство, интеллигенция и становление современного самосознания в России.* М., 2015. С. 47—50).

отцу. Матушка была тоже религиозна, но чисто церковным образом — она читала дома акафисты и каждое первое число служила молебны и наблюдала, какие это имеет последствия в обстоятельствах жизни. Отец ей не мешал верить, как она хочет, но сам ездил в церковь редко и не исполнял никаких обрядов, кроме исповеди и святого причастия, о котором я, однако, знал, что он думал. Кажется, что он “творил сие в его (Христа) воспоминание”. Ко всем прочим обрядам он относился с нетерпеливостью и, умирая, завещал “не служить по нему панихид”. Вообще он не верил в адвокатуру ни живых, ни умерших и при желании матери ездить на поклонение чудотворным иконам и мощам относился ко всему этому пренебрежительно. Чудес не любил и разговоры о них считал пустыми и вредными, но подолгу малывался ночью перед греческого письма иконою Спаса Нерукотворенного и, гуляя, любил петь: “Помощник и покровитель” и “Волною морскою”. Он несомненно был верующий и христианин, но если бы его взять поэкзаменовывать по катехизису Филарета, то едва ли можно было его признать православным, и он, я думаю, этого бы не испугался и не стал бы оспаривать»<sup>32</sup>.

Николай долго оставался внешне воцерковленным, читал и обряд, и Церковь; но из приведенного фрагмента становится ясно, откуда тянется его позднее увлечение протестантизмом и толстовством.

Из родительского дома Семен Лесков направился не в уездный Брянск, а в губернский помещичий и купеческий Орел. Учитель из семинаристов — обычное дело: кого было брать к детям, как не их? Добросовестный, безупречно честный Семен Дмитриевич немедленно вошел в моду, дворяне вставали на него в очередь. В конце концов его переманил к себе Михаил Андреевич Страхов. Вместе со страховскими детьми Семен Дмитриевич начал учить и дочь управляющего, Петра Сергеевича Алферьева. Маша ему приглянулась, хотя, как потом говорили в семье Лесковых, четырнадцатилетняя ученица первая полюбила учителя. Характер у Марии Петровны был сильный, и вполне вероятно, что именно она подсказала Семену Дмитриевичу, кого ему выбрать в жены.

Но вчерашний бурсак без гроша за душой понимал, что пытаться получить в жены дочку управляющего, к тому же дворянку — дело безнадежное. Семен Дмитриевич отправился на Кавказ, служил там при винных операциях, скопил небольшое состояние (около семи тысяч рублей), выслужил чин коллежского асессора; пусть это было и

«кавказское ассессорство»\*, однако право на потомственное дворянство давало и оно.

В этом, уже «невздорном» (VIII класса) чине Семен Дмитриевич вернулся в Орел и предложил Марии Петровне руку и сердце. Родителям, как и следовало ожидать, жених не показался: чужак, бурсак, без обхождения, излишне прям; образован, но к чему в науке совместной жизни философия и древние языки? Семен Дмитриевич так и не стал для Алферьевых своим, и всё же они рады были сбыть с рук младшую дочь, почти бесприданницу, за которой, впрочем, пообещали пять тысяч рублей, хотя отдали их очень нескоро.

Дальнейшее известно.

Чиновничью карьеру Семен Дмитриевич самовольно оборвал, как до этого поповскую, а после неудач в ведении панинского хозяйства остыл и к помещичьим затеям. Преодолевать трудности, шагать напролом было ему почти в радость, играть по сложным житейским правилам он умел, а вот бороться с ползучей деревенской невзгодой, эпидемиями, неурожаями, с топкой мужичьей философией, в которой вязнешь хуже, чем в болоте, — словом, с тем, что не победить ни сильной волей, ни природной сметкой, можно только принять как стихию, как волю небесную, — оказался не в силах.

Вместо масштабных задач и неизбежных трудностей, сопряженных с чиновничьей службой, в Панине было только «маленькое однодворческое хозяйство, в котором не к чему было приложить рук»<sup>33</sup>. «Сам приказчик, сам боярин, сам холоп и сам крестьянин, — сам и косит, и орет, и с крестьян оброк дерет», — гласил куплет одной забытой пьесы<sup>34</sup>. Тратить себя на хозяйственную маету, следить, когда поспеют греча и овес, зазывать помольцев на свою мельницу, убеждая в доброкачественности жерновов и честности мельника, искать покупателей на пеньку, уток, индюшек... Для столь ничтожных целей стоило ли беспокоиться, двигаться, жить? Безжалостный сын написал потом: «Неурожаи, дразги мужичьи, грозы, падежи и прочие прелести,

---

\* Во время Кавказской войны (1817—1864) для привлечения чиновников на службу в учреждения Кавказского наместничества производство в коллежские ассессоры проходило в обход установленного порядка — без экзамена и минуя несколько ступеней карьерной лестницы; получивших чин таким образом в шутку называли «кавказскими ассессорами».

о которых мы позабываем, предаваясь буколистическим мечтаниям, так его выгладили, что из него в пять лет вышла дразга»<sup>35</sup>, — и никогда, похоже, не простил отцу слабости, слома.

Мать не переломили ни долги, ни голод, ни малодушие мужа. «Марья Петровна была женщина большой воли, трезвого ума, крепких жизненных навыков, чуждая сентиментальностей и филантропии, властного нрава... Несмотря на большую разницу лет между супругами, домом и всем хозяйством правила она. Резко отличалась от своего, в панинские годы, чудившего мужа, была всесторонне деловита и практична, радея о насущном и не возносясь выспрь»<sup>36</sup>, — писал о ней внук Андрей в знаменитой биографии отца.

Сельского быта не понимала и Мария Петровна, но у нее было свое большое дело: накормить, обшить, вылечить. У Лесковых, имевших троих детей — Николая, Наталью (1836—1920) и Алексея (1837—1903), — в Панине родились еще четверо: Михаил (1841—1889), Василий (1844—1872), Ольга, в замужестве Крохина (1846—1893), и Мария (1847 или 1848—1860), умершая от кори подростком. Смастерить из собственного старого платья бешметы сыновьям, закрыть дыру на башмаке сахарной бумагой, отдать местному умельцу прохуdivшиеся сапоги, чтобы залатал их козырьком отцовской фуражки, — забот у Марии Петровны хватало.

Муж от домашних дел держался в стороне. С окрестными дворянами он не водился, жил анахоретом, хандрил над книгами. Для уездной аристократии Семен Дмитриевич был чужак и чужак. В конце 1830-х — начале 1840-х годов русское барство еще не истощилось. Помещики содержали охоту, дворню, шутов, приживальщиков, устраивали балы и спектакли, играли в карты, пировали — благо крепостные поставляли к столу всё необходимое. Они жили в свое удовольствие, мало беспокоясь о том, что их имение заложено или даже перезаложено в Опекунском совете. Как было принять этот вечный пир разночинцу, человеку труда, никогда не знавшему праздности? Ни охотиться, ни танцевать он не умел.

И всё же изредка Лесковы выезжали — например в соседнее Зиновьево, где жило большое и самое образованное в округе семейство Ивановых. В зрелые годы Лесков утверждал, что пристрастился к чтению благодаря двум здешним



младшим барышням (всего их было четыре), начитанным и даровитым: «Им я обязан первым знакомством с литературою, которая потом для несчастья моей жизни скоро обратилась в неодолимую страсть»<sup>37</sup>. Страсть эта поддерживалась большой домашней библиотекой, из которой Николаю давали книги. Особенным авторитетом, и не только у домашних, пользовалась бабушка, Настасья Сергеевна Иванова, племянница писателя Константина Петровича Масальского. Настасья Сергеевна стала одним из прототипов мудрой и прямой княгини Протозановой в «Захудалом роде» и «боярыни» Плодомасовой в «Соборяхнах». Семен Дмитриевич в этих выездах, похоже, не участвовал, тосковал дома один.

Однажды летним вечером он пошел прогуляться, развеять грусть. Домой принес завернутые в платок грибы, собранные на прогулке, попросил Марию Петровну зажарить их в сметане на ужин и с аппетитом поел<sup>38</sup>, а через сутки внезапно умер — считалось, что от холеры<sup>39</sup>. Похоронили Семена Дмитриевича в простом деревянном гробу, сколоченном мужиками, на Добрынинском погосте в Панине.

Старшего сына в это время в Панине не было — он уже сделался служилым человеком, трудился канцеляристом в Орловской уголовной палате и обстоятельства смерти отца узнал от родных<sup>40</sup>.

Прощальное письмо с заповедями тогда еще единственному сыну Семен Дмитриевич написал задолго до кончины, в 1836 году, видимо, заболев и собираясь в последнее свое путешествие:

«...Итак, выслушай меня и, что скажу, исполни: 1-е. Ни для чего в свете не изменяй вере отцов твоих. 2-е. Уважай от всей души твою мать до ее гроба. 3-е. Люби вообще всех твоих ближних, никем не пренебрегай, не издевайся. 4-е. Ни к чему исключительно не будь пристрастен; ибо всякое пристрастие доводит до ослепления, в особенности ж к вину и к картам; нет в мире зол заманчивей и пагубнее их. Я просил бы, чтоб ты вовсе их не касался. 5-е. Вообще советую тебе избирать знакомых и друзей, равных тебе по званию и состоянию, с хорошим только воспитанием. 6-е. По службе будь ревностен, но не до безрассудства, всегда сохраняя здоровье, чтобы к старости не быть калекою. 7-е. Более всего будь честным человеком, не превозносись в благоприятных и не упадай в противных обстоятельствах. 8-е. Между 25 и 35 годами твоего возраста советую тебе искать для себя подруги, в выборе которой наблюдай осторожность, ибо от нее

зависит всё твое благополучие. Ни ранее, ни позднее сих лет я не желал бы тебе вступать в супружеские связи. 9-е. Уважай деньги как средство, в нынешнем особенно веке, открывающее пути к счастью; но для приобретения их не употребляй мер унижительных, бесславных. 10-е. Будь признателен ко всем твоим благодетелям. Черта сия сколько похвальна, столько ж и полезна. 11-е. Уважай девушек, дабы и сестра твоя не подверглась иногда какому ни есть нареканию. 12-е. Кстати о сестре, она тебя моложе пятью годами. Когда будешь в возрасте, замени ей отца, будь ей руководителем и заступником. Нет жалчее существа, как в сиротстве девица, заметь это и поддержи последнюю мою о ней к тебе просьбу, ты утетишь тем меня даже за могилу. 13-е. Преимущественно хотелось бы мне, чтоб ты шел путем гражданской службы, военная по тягости своей и по слабости твоего сложения скорее может тебя погубить»<sup>41</sup>.

Адресату было тогда пять лет; после этого Семен Дмитриевич прожил еще 12 лет и порадовался рождению нескольких сыновей. Николай Семенович прочитал это завещание уже после смерти отца и сохранил его в своих бумагах. Едва ли не все отцовские заповеди он впоследствии нарушил, хотя путем гражданской службы идти всё-таки попытался — поступил служить в Орловскую уголовную палату.

Второй сохранившийся документ, написанный Семеном Дмитриевичем, — ходатайство на имя председателя уголовной палаты Дмитрия Николаевича Клушина, в котором отец просит о «внимании» к его старшему сыну — «с характером сильным» и способностями «достаточными». Письмо так и осталось в бумагах Николая Семеновича, возможно, как раз и проявившего характер и не пожелавшего, чтобы отец о нем просил.

## Глухов — Киев

Глухов встретил тарантас колокольным звоном — отходила обедня. Вдоль дороги теснились заросли развесистой вербы; когда колокола начинали петь высоко, казалось, перекликаются серебристые шарики на острых темно-вишневых ветках.

На въезде в город тарантас качнулся, закатился в яму неведомой глубины, стукнул передними колесами и накре-

нился. Пассажиры охнули, возница стегнул лошадок раз и другой; те поднатужились, коренной дернулся, захрипел, пристяжные потянулись. Вывезли. Но до того твердая поступь тарантаса стала робка и нерешительна, будто он совершил какую-нибудь глупость. Еле доползли до станции. Кучер, молодой румяный парень, соскочил с козел, пощупал, пошатал спицы и сообщил, что от удара о невидимое препятствие, находившееся в той самой яме, в переднем колесе лопнула шина, а в заднем вывалились три спицы.

Раньше обеда выезд не предвиделся.

Николай пошел бродить по городу, искать знаменитую Малороссийскую коллегию и дворец гетмана Скоропадского, о котором столько читал и слышал, но ничего не нашел — ни коллегии, ни дворца. Глухов из резиденции малороссийского гетмана сделался самым обыкновенным уездным городом — с выскакивающими из дворов пыльными курами, лужами в улицу шириной, унылыми торговыми рядами, широкой площадью и зевающими во весь рот приказчиками за прилавками.

Все разочарования купил трактир рядом со станцией — опрятный, с приличной мебелью, чисто одетым половым, мешавшим русский с малороссийским.

Малороссия уже поглядывала отовсюду: умывальный кувшин был покрашен в густой васильковый цвет, по рушнику вился розовый узор, борщ подали с салом и пампушками. К борщу прилагались морс и сливянка — да с таким ароматом, будто прошла самая деликатная панночка с раздушенным платочком в белой руке. Сливянка и сытный обед подняли дух утомленного долгой дорогой путешественника. Отяжелев, но повеселев, он отправился на станцию, где узнал, что их румяный возница проявил недюжинную расторопность, тарантас в полной исправности и готов отправиться в путь.

Все снова расселись; Судариков примолк, от самого Севска ему неможилось — в севском трактире встретил старого приятеля, и они славно кутнули. Теперь Судариков сидел прозрачный, бледный, не ел и не пил. «Порастрясло добра молодца», — не без удовольствия повторял купец, сверкая крыжовенными глазами, а приказчик моргал строго, глядел с укором.

Тронувшись, повозка уже за околицей въехала под широкую сливовую тучу, которая немного проползла над ними и начала побрызгивать дождиком. Стало сыро, сум-

рачно и как-то серо. Мелкий дождь так и сыпал на распаханые поля, деревни — и, несмотря на пробившуюся везде свежую зелень, дорожная скука надавила на сердце. Попутчики задремали, а ему не спалось.

Как-то встретит его дядюшка? Ученый, доктор, профессор, а он-то, он... Недоучка — так звала его в сердцах мать. И про университет Киевский он всем этим дорожным соседям соврал. Поступить он туда никак не мог: Орловскую гимназию бросил, не окончив третий класс, дальше учиться не пожелал. Потом он всё придумает, объяснит, уже стариком напишет, что свершилось это по великой тяжкой необходимости:

«Обучался в Орловской гимназии. Осиротел на шестнадцатом году и остался совершенно беспомощным. Ничтожное имущество, какое осталось от отца, погибло в огне. Это было время знаменитых орловских пожаров. Это же положило предел и правильному продолжению учения. Затем — самоучка»<sup>42</sup>.

Но сиротство было тут ни при чем: он покинул гимназию 31 августа 1846 года, за два года до смерти отца. Да и горел Орел в другое время. «Мать корила сына и леностью, и безучастием к интересам семьи, как и к своим собственным, — писал Андрей Николаевич Лесков. — Через сорок лет, за полгода до своей смерти, на мой вопрос, в чем тут было дело, она, без тени прощения или забвения давней обиды, жестко отрезала: “Не хотел учиться!”»<sup>43</sup>.

Так же как когда-то отец, сообщил он своим родителям, что желает изменить свою жизнь и в гимназии учиться дальше не станет. Семен Дмитриевич, уже бессильный, кротко листавший любимых римлян, от охватившей душу апатии, а возможно, вспоминая о собственном молодом бунте против рясы, почти не возражал. Мать бушевала и всё не могла понять.

Почему отказывается учиться? Ленится? Недостает усердия или любви к наукам? Но она знала: когда хотел — был он и усерден, и терпелив, и дотошен. Первые два года Николай действительно показывал неплохие успехи, но в третьем классе был оставлен, отсидел за партой еще год — и снова не был переведен в четвертый. Учиться в том же классе в третий раз было невозможно, позорно. Но и уйти из гимназии в письмоводители — понижение статуса. Гимназист в «хороших домах» был своим, подканцелярист — чу-

жим. Ему предстояло немало унижений, объяснений — мучительных, до конца жизни.

Юный Лесков об этом не думал. Он этого пока не знал. Не «не хотел» — не мог больше выносить эту мертвую скуку, зубрежку и ложь. Он их ненавидел, почти всех. Только математик Бернатович ему нравился да отец Ефим, давний приятель отца, остальные — инспектор Азбукин, с удовольствием отправлявший гимназистов на порку, злобный пьяница Функендорф, засыпавший его «единицами» по немецкому, директор Кронеберг, проклинаемый всеми, отвешивавший ученикам пощечины, а в ответ получивший от них письмо, что его дом скоро подожгут, — нет!

Довольно.

Едва Николаю исполнилось 16 лет, он был причислен ко второму разряду канцелярских служителей Орловской палаты уголовного суда, с жалованьем 36 рублей серебром в год. Обыкновенные, крепко сшитые сапоги стоили девять рублей. Будь Лесков дворянином, его зачислили бы писцом не второго, а первого разряда с окладом в два раза большим, 72 рубля. Но Семен Дмитриевич за 15 лет после получения асессорского чина, дававшего право на потомственное дворянство, так и не собрался подать прошение о его получении. Только теперь, поддавшись уговорам семейства, он отослал наконец необходимые бумаги. Год спустя, в 1848-м, надворный советник Семен Дмитриевич Лесков был, наконец, официально утвержден в дворянском достоинстве; сам до этого он уже не дожил, зато Николая сейчас же причислили к канцелярским служителям первого разряда. Сильно ли порадовало его повышение?

Как только началась служба, нудная, пыльная, в комнате с годами не мытыми окнами, стертыми лицами — во сто крат унылей гимназической тягомотины, к сердцу подступила обида... на себя, на отца. Нужно, совершенно необходимо было окончить гимназический курс, перетерпеть; отец обязан был настоять, крикнуть, пригрозить, а не строить униженные рекомендательные письма. А теперь что? Уголовные дела.

*О подкинутом младенце;  
о краже золотого кольца;  
о нанесении рядовому Мамонтову удара;  
о намеревавшейся лишить себя жизни дворовой девке Филипповой;  
о похищении денег из орловской Успенской церкви;*

*о краже дворовым человеком князя Голицына Матвеем Исаевым из церкви села Богодухова 147 р. 90 коп. серебром;  
о подкинутом к дому брагинского мещанина Ефима Долгинцева неизвестного мужского пола младенце.*

Он захлебывался в этих мелких, крупных и средних кражах, хищениях, потасовках. Любопытно было только первые две недели, после этого обнаружилось: самого интересного — убийств — не случалось, драки редки, курьезы одни и те же: кражи да хищения, хищения да кражи, буква к букве, бумага к бумаге. И так целую жизнь?

Нет, дорога в университет не была перед ним закрыта — требовалось только дожидаться исхода пяти лет, отсчитав от 1843 года, когда он поступил в третий класс. Закон давал ему время пройти курс наук самостоятельно, если не желает учиться со всеми. Затем, после 1848 года, он мог ехать хоть в Петербург, хоть в Москву, хоть в Киев, держать вступительные экзамены и стать студентом. Только, чтобы сдать экзамены, требовалась подготовка; нужно было заново зубрить латынь, немецкий, французский, историю, алгебру — когда? Он ежедневно ходил в присутствие. И на какие деньги? Пусть репетиторы стоили гроши, он со своим жалованьем был почти нищим. Поэтому пока так.

*Об избиении в питейном доме села Хотетова помещиком того же села П. Р. Анненковым и малороссиянином А. Лысенковым мещанина Ф. Клевцова;*

*о сгоревшем рождественском доме;*

*о неправильно испрашиваемом от dobroхотных дателей подаянии на построение церкви в селе Уткино крестьянами помещика Снечинского Александром Архиповым и Сергеем Волковым;*

*о подозрении в краже орловским мещанским сыном Максимом Петровым Пшенкиным.*

Однообразна, убога жизнь присутствия. Так и тянуло вывести вместо всей этой тоски: *Орел да Кромы — первые воры; город Карачев — на поддачу; город Ливны — всем ворах дивны; город Елец — всем ворах отец.*

Быть себе господином — вот чего он желал, но лишь теперь увидел: он им и был. В гимназии он жил на воле, мать с отцом трудились в Панине, он жил не тужил, снимал угол у повивальной бабки Антонида Порфирьевны, вкусно ел, сладко пил.

Жительницы Орла по причинам самого естественного порядка никогда не оставляли Антонида Порфирьев-

ну вниманием: приносили чаю, сахару, кофе, варенья на именины, на большие и малые праздники, в «причащениев день», а после каждого принятого ею новорожденного оставляли еще «на кашицу» — вареного, печеного, жареного. Сама Антонида Порфирьевна употребить эти раблезианские горы, понятно, не могла, так что постоялец ее, как и сын Никишенька, и служанка, давно заплывшая жиром, не голодали. Можно было и позубрить, и почитать учебники, можно было дотерпеть<sup>44</sup>.

А теперь... но не возвращаться же в класс! Вот смеху будет, ляжет позорное пятно на целую жизнь. Нет уж, служи, яко гоголевский Акакий Акакиевич, скрипи усердно перышком, дыши пылью и не чихай.

*О краже муки у купца Меркула Федорова;  
о намерении крестьянина Косачева украсть лошадь;  
о случившемся в доме мещанина Голикова пожаре;  
об оказавшемся мертвом теле Ивана Шевмакова;  
о краже у портного Данилова имущества.*

Всей радости — стремительно, небрежно подписаться «Письмоводитель Н. Лесков» да посмеяться на заднем дворе с такими же канцеляристами над очередным казусом или посудачить о загадочном случае. Не оттуда ли, не с тех ли пор и появилась у него любовь к краткой законченной истории, анекдоту?

И вот что еще он успел понять, пока служил: человек, даже хорошо ему знакомый, угодив в «дело», менялся — внезапно наливался новым значением, точно попадал в книжку про самого себя. Занесенная на бумагу реальность преображалась. Вроде и тот же Уточкин, какого знал он по торговым рядам, — жилистый, с красным яйцом лысины, вылезшим из-под картуза, с пегой бородашкой и быстрым, хитрым зырком таких же пегих глаз, а как начнешь записывать «о покраже у Орловского купца Уточкина из лавки сахару, чаю и денег», уже другой — серьезный, осанистый. Матвей Сергеевич.

Вынесен был из казенной службы и другой урок. В дни выплаты жалованья сослуживцы звали его «закидывать щенков». Пили молодые люди сильно: «...целой компанией до бесчувствия; просыпаясь, находили себя в комнате на кровати, на диване, на голом полу, без подушек, без одеяла, — одетыми, полуодетыми и совершенно раздетыми, с головой на чужих ногах. Страшное было время!..»<sup>45</sup>

Проезжали село, большое, небогатое: соломенные крыши, зеленые сады, сбрызнутые розовым, — яблони, вишни; потянуло цветочным ароматом. Над садами поплыла песня — сразу в несколько голосов, на малороссийском наречии, под тихое бречание гитары. Николай вздрогнул. Эту песню он знал.

Скажи мени правду, мий добрый козаче,  
Що дияты сердцу, як сердце болить?

Стройно выпевали парни и девушки, и спокойный ритм и сила наполняли эту как будто грустную песню весельем, счастьем или, по крайней мере, обещанием его.

Як сердце застогне и гирко заплаче,  
Як дуже без щастя воно защемить...

Пан Опанас ее спивал. Николай разулыбался.

Пан Опанас — Афанасий Васильевич Маркович (1822—1867) — вот кто светил ему на темную дорогу. В разные гости хаживал Николай в Орле: благодаря отцу, чье происхождение в городе не забыли, посещал духовных; благодаря тетке Наталье Петровне и второму ее замужеству был вхож и в высший орловский свет. Видел в ее доме даже грозного губернатора Петра Ивановича Трубецкого. Бывал и у давних товарищей, еще с гимназической поры; часто заглядывал к Якушкиным — Виктор, а недолгое время и Семен были его однокашниками; про старшего, Павла, будущего фольклориста, в гимназии ходили шуточные легенды. У Якушкиных Лесков и познакомился с паном Опанасом.

Тот жил в Орле «на высылке». Выпускника Киевского университета Марковича сослали сюда по «костомаровскому делу». Николай Иванович Костомаров, университетский профессор, историк, создал с единомышленниками очередное общество — Кирилло-Мефодиевское братство. В него вошла разночинная киевская интеллигенция, в том числе известные литераторы Пантелеймон Кулиш, Тарас Шевченко, Николай Савич. «Братчики» желали создать на месте Российской империи соединяющую все славянские народы федерацию с Украиной во главе и отменить на ее территории крепостное право. Перейти от обсуждений к делу они не успели. По доносу одного бдительного студента общество было разгромлено, а «братчики» отправлены



в ссылку кто куда: зачинщик Костомаров после года заключения в Петропавловке — в Саратов, Кулиш — в Тулу, Шевченко — рекрутом в Оренбургский край, Опанас Маркович — в Орел. Здесь его как человека, за которым нужно приглядывать, назначили служить в канцелярию губернатора<sup>46</sup>.

С длинными казацкими усами, круглолицый, плотный, вольнодумец по судьбе и образу мыслей, Афанасий Васильевич пленил юношу смелостью суждений, «еретическими» соображениями, наверняка обсуждал с ним романы и критику в свежих журнальных книжках и, конечно, плавил сердце украинскими песнями. Едва закручинится Николай, едва подумает горько, сколько ж ему еще чахнуть над бумагами писарем, пан Опанас поглядит лукаво и заведет густым басом: *Дивлюсь я на небо та й думку гадаю, / Чому я не сокил, чому не летаю...* И сразу веселей на душе.

Песен в памяти Афанасия Васильевича хранилось несметное количество; он их собирал, изучал и незаметно вслед за тезкой Лескова, воспевшим Диканьку, влюблял его в Малороссию. Пан Опанас и сам с удовольствием пел — и под гитару, и так, и один, и с другими. Громче всех подпевал ему Павел Иванович Якушкин, тоже собиратель песен, только русских.

Чудаковатый, вечно нестриженный и нечесаный, сын дворянина и крепостной, Якушкин носил мужицкое платье — плисовые шаровары, рубаху — и очки. Еще в гимназическую пору язвительный Функендорф прозвал его «мужицким чучелком»: с юных лет Павлуша не желал стричься, ходил патлатым. С него был отчасти списан Овцебык, герой одноименного рассказа Лескова. Якушкин появился и в «Смехе и горе», и в «Загадочном человеке», и, конечно, в посвященных ему «Товарищеских воспоминаниях», сочиненных для сборника его памяти. В них Лесков сообщил об орловском «чучелке», пьянчужке и антике всё самое смешное и забавное, смолчав о главном — о том, что Павел Иванович был одним из первых профессиональных собирателей фольклора, подвижником, положившим жизнь на записывание народной поэзии. Возможно, Лескову не хотелось повторять общеизвестное, о чем и так «все напишут»; не исключено, что он ревновал. Приятнее было изобразить земляка и старшего товарища героем анекдотов и «божьем человечком», каковым Якушкин тоже, несомненно, являлся, а гонимым лите-

ратором со сложной судьбой в том же очерке представить самого себя.

Но тех, кто ценил Якушкина именно за знание народных песен, было немало. Специально, чтобы пообщаться с ним, в Орел приезжал другой собиратель песен Петр Васильевич Киреевский, благо ехать было близко — Слободка, имение Киреевских, располагалось в семи верстах от города. Якушкин работал вдохновенно и без усталости, терпел холод, нужду, болезни, проходил десятки верст от деревни к деревне, но на регулярные усилия был не слишком способен. Записанные им песни аккуратный Киреевский приводил в порядок и кое-что публиковал — разумеется, с согласия самого собирателя.

Всё это шумное собрание знатоков народной песни, не последних людей не только в губернском Орле — во всей русской литературе, вскоре украсилось юной Марией Александровной Вилинской.

Четырнадцатилетняя Мария приехала под опеку к богатой тетке Екатерине Петровне Мардовиной, в доме которой собиралось лучшее орловское общество. Маркович тоже был здесь принят, обласкан и незаметно очарован Марией Александровной. Темно-русые косы, прямой глубокий, несколько тяжелый, но притягательный взгляд, жадность к новому — она впитывала всё, что он говорил, и чутко откликалась: вопросы ее были остры, суждения неожиданны и обнаруживали в неулыбчивой девушке ум, страсть, энергию, твердую волю — одаренность. Афанасий Васильевич оказался в ряду многочисленных поклонников Марии, а через несколько лет попросил ее руки.

Обвенчались они в домашней церкви Киреевского. Маркович был влюблен, околдован, Мария Александровна годы спустя скажет, что вышла замуж в шестнадцать лет без любви, стремясь к независимости. Муж не только подарил ей, бесприданнице, независимость — он открыл ей, что народный украинский быт может стать источником творчества. Образование Мария получила в елецком пансионе — с обучением танцам, французскому, игре на фортепьяно. Хотя, по преданию, деда ее были с Киевщины и украинскую речь она впервые услышала в детстве, именно после знакомства с Афанасием Васильевичем она начала собирать украинские пословицы, песни, слова для словаря живого украинского языка и разглядела, сколько солнца и озорства в малороссийской теме. Первые рассказы Марии Александровны из малороссийского народного

быта и на малороссийском наречии «Народні оповідання» (1857, 1862) были опубликованы под псевдонимом Марко Вовчок, крепким и круглым, как репа — с кивком то ли на фамилию вдохновителя, то ли на казака Марка, мифического родоначальника Вилинских. Но это произошло годы спустя. Пока же Мария Александровна была почти девочкой, начитанной, умной, привлекательной, а Афанасий Васильевич — молодым человеком с ореолом изгнанника. У Марии была чудная память, она запоминала и мелодию, и слова со слуха — и вскоре уже подпевала Марковичу.

Пели они всегда об иной, лучшей жизни — не в душном Орле, а на червонной Украине, под тенью черешен, в зелени тополей, на вольном берегу Днепра, где дышится легче, живет веселей.

Мог ли Лесков поверить, что однажды Сергей Петрович Алферьев, строгий, капризный, многого добившийся киевский дядюшка, пригласит его к себе (видимо, мать умолила брата), позовет в Киев отведать иного життя — его, неудачника, бунтаря, жалкого письмоводителя в присутствии?

Через полтора года переписывания дел, в сентябре 1848-го, Николай получил назначение на должность помощника столоначальника Орловской уголовной палаты, что, учитывая его юные годы, было карьерной удачей, началом возможного восхождения. Но ему не нужно было продолжение. Ему хотелось бежать.

Орел щемил недавним жизненным проигрышем, давил недоумением родных. И, став уже известным писателем, от своей «малой родины» Лесков отрекся. «Меня в литературе считают “орловцем”, но в Орле я только родился и провел мои детские годы, а затем в 1849 году переехал в Киев»<sup>47</sup>, — писал он, как обычно, несколько искажая факты: он провел в Орле не только детские годы и покинул его, по тогдашним меркам, отнюдь не ребенком — восемнадцатилетним юношей с жизненным опытом за плечами.

Дорога тянулась через зеленый бор. По всем приметам приближались к Киеву. Паломников, бредущих вдоль дороги к киевским мощам, становилось всё больше. Плотневший на глазах светло-серый поток, сбрызнутый то здесь, то там цветными бабьими платками, кой-где и девичьим венком, тек безмолвно, погруженный в созерцание, наполняя и лес, и дорогу, и повозки с пассажирами тишиной, предчувствием встречи.

Внезапно всё зашевелилось, точно очнулось от полусна, обернулось на запад. Над серой грядой тумана расцвел золотой город.

Сияющие купола церквей, блеск крестов, пестрядь городских построек парили в воздухе, взмыв над юной зеленью деревьев. Еще выше, над церквями, домами, лесом сияла лазурь.

Ступенью в небо был этот город.

Купец и приказчик начали размашисто креститься, самые ревностные паломники пали прямо в дорожную пыль — несколько мгновений спустя ничего уже было не видно. Город поманил и скрылся. Спряталось и солнце — не было ему больше дела, нечего стало освещать.

Спустя два часа город появился снова, теперь уже совсем рядом. Справа возвышались Киево-Печерский и Михайловский монастыри, Святая София, церковь Андрея Первозванного — купец щедро делился с Николаем, где здесь что; чуть выше зеленел Подол. Воздух похолодел, отсырел. Прямо перед ними Днепр катил серые волны, слегка подбрасывая длинные суда.

Пока пересаживались, перекладывались на шаткий днепровский паром, нагнало тучи, сделалось пасмурно. Вскоре Николай уже торопливо застегивал пуговицы новенького сюртука (утром нарочно переоделся — ветер был свеж). Стоявшие рядом паломницы с круглыми недоуменными лицами вздрагивали от любого толчка, крестились и бормотали молитвы. Чуть поодаль сидел на узкой скамье ветхий седобородый старец. Устремив взгляд к пещерам, он тоже молился вслух, читал дрожащим голосом из Иоанна Дамаскина: *Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти...*

И всё это вместе — златоверхие храмы, слепенькие хатки впереди, величаявая река с островами, смиренный старец с серебряной бородой, которой играл ветер, слова молитвы и всё ближе подступавшие зеленые берега — наполнило сердце таким волнением, таким предчувствием счастья, что Николай тоже начал молиться — о будущем, деятельном и умном, о том, чтобы не было впереди ни унижений, ни вопля, ибо прежнее прошло.

Так и случилось: *чудный, странный, невероятный* город подарил ему немало минут чистого восторга, беспримесного счастья. Потом, уже став профессиональным сочините-

лем, о любимой Украине Лесков писал с обожанием, щедро бросая на холст самые яркие краски. В рассказах о гостомельских временах, об Орле поэзия неизменно мешалась с тоской, вздохом о духе рабства, вечном насилии барина над крестьянином, мужа над женой, матерью над дитятей. Там печалилась и болела русская жизнь, здесь — подбоченьясь, сверкала улыбкой малороссийская. Бренчала в блеске чистого летнего вечера бандура, не утихая лились песни, разряженные хлопцы и дивчины отплясывали гопака, в рот валились галушки.

Наконец-то Николай оказался на солнечной стороне.

---

---

*Глава вторая*  
**КИЕВСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ**

*Гоголь всё мурлыкал песенки,  
вертелся, подсвистывал на коней,  
сгонял прутиком оводов и в шутили-  
вом тоне заговаривал с ямщиком.  
Но ямщик на эту пору попался им  
самый несловоохотливый, и как  
Гоголь его ни заводил на разговоры,  
наконец должен был от бесед с ним  
отказаться.*

Н. С. Лесков. Путимец

**Лестница в небо**

Киев отогрел. Полыхнул куполами, окатил мягким жаром южного края, раздвинул зрение ширью просторного университетского города.

Киевские островерхие тополя по сравнению с орловскими липками показались Николаю великанами. Толпа, заполнявшая вечерами улицы, словно вечно праздновала что-то, нарядная, говорливая. И так же пестро, непривычно она звучала: малороссийский напев мешался с польским пришепетом, русский говор с еврейской картавостью. По вечерам то и дело из раскрытой рамы, из палисадника выпархивала песня. Из трактиров неслись крики шумно гулявших буршей — так здесь звали студентов-старшекурсников. Кареглазые дивчины глядели украдкой, но держались намного свободнее великоросских.

И пахло здесь иначе — акации росли прямо у стен дядушкиного дома и наглухо закрывали окна. Едва Николай приехал, почки как по команде выстрелили белыми цветками. Сладкий дурман проникал по вечерам в комнату, Лесков засыпал под него. Но и снаружи дышалось по-другому: ароматы цветущих вишен, персиков, каштанов составляли странную вкусную смесь, здешний «воздухец» можно было глотать и «кушать» (этот съедобный воздух он вставит потом в одну свою повесть).

Всюду, в любых гостях киевляне угощали борщом, наливкой, домашним вареньем, которое считали особенным,

и обязательно хвастались рецептом — «поди не орловское», «не то что у москалей»!

Впрочем, первые недели Николаю было не до визитов — он буквально бегал по городу: с Малой Житомирской, где жил, мчался вверх, к Софии. Ликовал от покойной мощи византийской архитектуры, удивленно впитывал тихий свет человеческого достоинства, льющийся от ликов на фресках прозрачной волной, не слушая, что там объясняет бывалый хохол паломникам, разинувшим рты. Глядел на цветные мозаики в куполе, подпевал стройным литургийным песнопениям, твердил, как в полусне, забыв себя: *не вемы, на небеси ли есмы были или на земли*. Приложившись к кресту и иконам, выбирался из храмовой прохлады в уже отогретый солнцем город, шел гулять.

С паперти церкви Андрея Первозванного открывался вид на Подол с узенькими переулками, грязными площадями, низенькими домами и неутихающим движением.

Подол был гоголевский, и ничто, казалось, не изменилось здесь со времен богослова Халявы и философа Хомя Брута. Так же на Контрактовой площади у резервуара с водой стояла выкрашенная яркой масляной краской деревянная статуя голого человека, разжимающего пасть дикому зверю размером с собаку — это Самсон побеждал льва. Как и прежде, толпились возле старинного фонтана хохлы в смушковых шапках и с длинными усами, насупленно дивясь подвигу библейского богатыря. Сновали с тетрадкарами под мышкой бурсаки — Киевская духовная академия так и располагалась при Братском Богоявленском монастыре. Шумел неподалеку от монастыря рынок, распространяя манящие ароматы. Громко зазывали прохожих торговки, чуть не в лицо тыкая свежие бублики, булки и маковники.

Под благовест лаврской колокольни Николай шагал на Андреевский спуск, по набережной, разглядывал суда, скользившие по Днепру, шел сквозь царский сад к Печерской лавре.

Не сразу он добрался сюда. Всё не складывалось, всё как-то не получалось. Наконец сподобился. Истории из Киево-Печерского патерика мать читала ему на ночь, и чуть не всех подвижников он помнил по именам. Прохор Лебедник, умевший хлеб из лебеды делать сладким; силач Моисей Гробокопатель; иконописец Алипий; Моисей Угрин, облегчающий плотскую страсть. Все — богатыри, чудотворцы, наивные и святые, как большие дети. Давно они были ему родные, свои. Но, сойдя в пещеры, Николай оторопел.

Как потерянный бродил он в полумраке, не разгоняемом дрожащими огоньками лампад, прикладывался к мощам и старался не глядеть подолгу в строгие лики: стыдно, как в детстве — до жара, до слез. Не без облегчения вернулся на свет божий и, ободрясь, зашагал навстречу снисходившим к слабостям человеческим деревянным домикам Печерска.

Разгул здесь был совсем не орловский — горячий, ласковый.

Чистенькие окошки с горшками красного перца и бальзамина под кружевом зашпиленных занавесок глядели кротко, но весело. На крышах грелись голуби, во дворе хлопотали куры, гоготали гуси. Местные куртизанки принимали гостей «по-фамильному», с домашней простотой и казачьим хлебосольством. Гости приносили угощение — горилку, колбасу, сало, рыбицу, девушки в ответ готовили пир, который продолжался до рассвета, строго до второго звона в Лавре. Едва колокол ударял второй раз, казачка крестилась, громко произносила: *Радуйся, Благодатная, Господь с тобою*, — бестрепетно выгоняла гостей и гасила огни. На местном наречии это называлось «досидеть до Благодатной»<sup>48</sup>.

И всё было можно, и всё хорошо, а что не благословлено, то прощено всемилостивым Господом. Мир повернулся наконец к Николаю лицом, сотней лиц, одно другого краше. Все смотрели на него, и все ему улыбались: удалая дивчина с ямочками на щеках; сухопарый легонький богомаз из Печерского монастыря, взобравшийся под самый купол храма; усердный старовер из «шияновских нужников»; университетский профессор с ироничным взором сквозь пенсне; нахохленный, голодный студент — бесстрашный забияка кабацких побоищ; исхудалый паломник с черными страшными ногтями на руках, прошедший по обету три сотни верст пешком...

Жизнь, как шар круглого афонского светильника, сверкала огнями, жизнь была *вертоград многоцветный*, населенный разными людьми — поэтами, учеными, чудаками, и каждый был такой славный, умный, добрый. Точно в молочной реке он купался в тот первый свой киевский год. Всё было важно, везде интересно. Он кидался то в храмы, то в кабаки, то в университетские аудитории — слушать лекции, то в городской сад — вести беседы о смысле существования земного. Времени и сил доставало на всё.



В Орле жило несколько любимых семей — в Киеве очень много очень разных людей. У них он вольно или невольно учился.

Первым в списке — не обойдешь — значился дядюшка.

Сергей Петрович Алферьев (1816—1884) — ординарный профессор киевского Императорского университета Святого Владимира, декан медицинского факультета — цену себе знал. Спуску не давал ни студентам, ни пациентам. Тем не менее на прием к нему (у него была своя практика) неизменно сидела длинная очередь — и трепетала. Известно было: чуть что профессору придется не по нраву, закричит, затопают, только держись! Ему всё прощали, он был один из лучших терапевтов Киева. Но анекдоты об Алферьеве ходили самые уморительные. Вот такая история случилась с широко известным в Киеве фабрикантом Н. К. Кобцом.

Как-то раз старик Кобец, владелец крупного кожевенного завода, занемог. Испытаны были все домашние средства: травяные отвары, грелки — без толку. Сыновья посоветовали ему пойти на прием к профессору Алферьеву.

Но Кобец кое-что слышал о знаменитом враче.

— Говорят, он грозен. А я робок, не люблю, когда на меня кричат.

— Да не всегда же он кричит. Только под горячую руку. А и покричит, что за беда? Была бы польза...

— Нет, я боюсь, когда на меня кричат.

— Да ведь он гневается, когда пациент мямля, слишком долго раздевается. Вы вот что, папенька, сделайте: расстегните пуговицы на сюртуке и на жилетке заранее. Как войдете в кабинет — пиджак уж и сброшен. Пациент к осмотру готов. Он и не станет кричать.

Старый Кобец всё это выслушал и отправился на прием. Начал профессор принимать, сидит Кобец в очереди ни жив ни мертв. Из кабинета то и дело раздаются грозные крики.

Сердце у Кобца замирает. Снял он шляпу, расстегнул одну за одной все пуговицы на сюртуке, потом и на жилете — готовится войти в кабинет.

Вот и его очередь!

Не успел профессор произнести его имя, как старик сбросил сюртук и очутился перед доктором в одной нижней рубахе.

— Этта еще что? — закричал профессор. — Вы этта... что себе позволяете?

Кобец застыл.

— Или вы в баню пришли?

Старик начал пятиться — профессор за ним.

— В бане вы или в кабинете доктора?!

Перепуганный Кобец к дверям и как был — без шляпы, с сюртуком в руке — перебежал улицу, бросился к извозчику: «Гони!»

Приехал домой, едва успокоился. Нет уж, говорит, больше меня к нему и калачом не заманишь. А болезнь? Она так напугалась доктора Алферьева, что отступила.

Таков был Сергей Петрович — «надменнейший», как назвал его один из мемуаристов. Однако дело свое он знал превосходно, всего добился сам, причем, как свидетельствует Лесков, без интриганства<sup>49</sup>. Алферьев блестяще учился, окончил Санкт-Петербургскую, а затем Московскую медико-хирургические академии (вторую — с серебряной медалью), был на два года отправлен за казенный счет в Берлин «для усовершенствования во врачебных науках», а вернувшись, стал ординарным профессором — сначала в Московской медико-хирургической академии, затем в Киевском университете Святого Владимира.

Блеск его свершений становится особенно очевиден при взгляде на его родителей — деда и бабушку Николая Лескова. Если Петр Сергеевич Алферьев, человек достаточно образованный, до катастрофы 1812 года служил в Московском департаменте Сената, а потом умело справлялся с обширным именем сурового Страхова, то его супруга Акилина Васильевна, из купеческого рода Колобовых, была полуграмотная. Главная радость ее состояла в паломничествах.

Светлая, религиозная старушка, конечно, воспринималась сыном не без высокомерия, ее писульки он не хранил, упаси боже увидят. Уцелела только одна, от 30 января 1855 года. Сергей Петрович к тому времени давно жил в Киеве, и, судя по письму матери, поздравить ее с Рождеством профессору было недосуг. «Края удивляед меня друг мой милой Сергей Петрович твое молчание, — пишет не ведавшая о знаках препинания и правилах орфографии Акилина Васильевна, — ... (нрзб.) и придумать что это значид ведь последнему письму твоему от 20 сентября прошло уже 4 месяца». Излив на бумагу свои упреки, она признаётся: «...и самая жись моя становится тягость одно воображение что идинствино сын мой и вся моя надежда ставил меня даже и не пишед и о себе»<sup>50</sup>.

К киевской поре родители и полунищая юность давно остались в прошлом, немного стыдном, но можно было зажмуриться — вот и нет его, словно и не было никогда. В настоящем Сергея Петровича знал весь город, его чтили, ценили и, к счастью для его непутевого племянника, навещали университетские коллеги. С самыми молодыми из них Николай подружился. Это были Игнатий Федорович Якубовский, блестящий лектор, просветитель, специалист по сельскому хозяйству и лесоводству, учившийся в Петербурге и Штутгарте, правоведы Иван Мартынович Вигура и Савва Осипович Богородский, адъюнкт-профессор по кафедре энциклопедии законоведения Николай Иванович Пилинкевич.

В теплое время вечерами молодые люди собирались в городском саду, слушали Якубовского и Пилинкевича, говоривших умно, вдохновенно и так искренне! О познании и мировом духе по Гегелю, о прекрасном и возвышенном по Канту, о единстве природы по Шеллингу. Лекции перерастали в общий разговор, в бурный спор — про будущность человечества и России, про Бога и правду, про эмпиризм и мировую душу, про стихотворения Фета и нового поэта Тютчева, недавно воспетого в главном столичном журнале. Липы благоухали, цикады катили по щебню невидимые тележки. Философия, науки, искусства, стрекот и ароматы — всё смешивалось, всё было связано, всё одно. Сердца горели, юношеские голоса сбивались на фальцет, а ночь летела — тихо, плавно. Вдруг раздавался посвист первой утренней птицы, воздух светлел, и все расходились, веселые, трезвые, со сладкой усталостью на душе.

Николай возвращался домой по пустым улицам пешком, улыбаясь себе и небу, — после этих бесед звезды словно спускались ниже. Перехватив часок-другой сна, он просыпался бодрым, свежим и отправлялся на службу.

Но не только Аполлону приносились в жертву чудные киевские ночи. С приятелями помоложе Николай служил совсем другому божеству — кудрявому Бахусу в пурпурном плаще и венке набекрень.

Пили в Киеве много: на квартирах, в «пивнице» на Крещатике, в цукерне пана Розмитальского, в трактирах Бурхарта и Круга, у Каткова на Подоле, в стенном погребке Братского монастыря, а когда хотели «засточертить», шли к Днепру, плыли на дубовых лодках в слободку на Труханов остров — в знаменитый трактир Рязанова. А уж там...

Старая добрая горилка.

После нее, особенно в студеные дни, хорошо *заходила* сладко дымящаяся варенуха: мед, травы, сушеные груши, вишни, сливы, гвоздика с корицей — бросай, что пожелаешь, что только найдется, в чугунок со спиртом, ставь его скорей в печь!

А пока преет варенуха, испытай наливочку, да не одну. Вишневка, сливянка, персиковка — все с давленными косточками; тертуха на землянике, спотыкач на черной смородине. Хлебни чарку, другую, пятую — вот тебе и рай Богометов<sup>51</sup>, лучше всё равно ничего не сыщешь даже в Малороссии.

«Этими-то вкусными и относительно дешевыми наливками прибывавшие из Киева студенческие банды упивались у Рязанова до зела, пока иные не начинали ползать аки скоты польские или гады, пресмыкающиеся по земле. Потом, очнувшись как-нибудь, поздним вечером, а еще чаще совсем ночью, банды эти с песнями переплывали назад на тех же дубах в Киев и приставали всегда у Рождественской церкви, на Подоле, так как тут по обоим взвозам, — Александровскому и особенно Андреевскому, тогда было множество веселых приютов, где подкутившие студенты могли еще вволю покуражиться и пошуметь, и иногда кончали свой разгул большими безобразиями»<sup>52</sup>.

Тогда, в конце 1840-х годов, в Киевском университете действовало четыре главных кружка. В первый входили создатели местного живого эпоса — ратоборцы и забияки, «подвиги которых далеко разносились в сказаниях по хуторам и весям» и «забавно живописались в беседах хуторных “панянок” и вообще “панского” общества». Второй был кружок пиитический, лучшим творением его почиталась эротическая поэма «Павлиниада» уроженца Черниговщины некоего Рудольфа, написанная задорно, бойко, снискавшая популярность, выходившую далеко за пределы университета и даже города. Еще действовали кружки серьезные — позитивистов и патриотов, собиравших малороссийские песни и сказки<sup>53</sup>.

Рядом с университетским жил — пусть не так буйно, но тоже заметно и звучно — артистический Киев.

В начала 1850-х годов здесь развлекали публику сразу несколько частных театров; в них играли русские труппы, но чаще и с большим успехом польские. В Киев приезжали с концертами и итальянские знаменитости, особенно активно во время *Контрактов* — своего рода торговой биржи,

когда в город собирался торговый люд со всей губернии. Однако любили киевляне и долгие домашние вечера, проводя их за зелеными ломберными столами, вытеснявшими даже танцы.

Читали не очень много. Тем не менее книжных лавок в городе было пять.

В «Печерских антиках» Лесков с улыбкой вспоминает поэта и отставного капитана Павла Петровича Должикова, открывшего при своем магазине «Аптеку для души», она же «Кабинет муз» и «Кабинет для чтения новостей российской словесности». В «Аптеке для души» можно было почитать свежие газеты и литературные журналы — Павел Петрович их исправно выписывал, а вот новых книг почти не покупал.

За литературными новинками ходили на Крещатик, к Степану Ивановичу Литову, державшему лучший в Киеве книжный магазин. У Степана Ивановича можно было найти и Пушкина, и Гоголя, и Тургенева, самые свежие издания, учебники, карты, справочники; он лично ездил заказывать книги в Москву, Петербург и Львов. Но и о доходах не забывал, за что и удостоился сомнительной чести быть помянутым в самой первой заметке Лескова — о Евангелии на русском языке, которое продавалось у Литова слишком дорого.

Книгами в Киеве торговали, петербургские и московские газеты читали, но литературная жизнь в начале 1850-х была скудная, отчасти комическая, полная самых диковинных экземпляров.

Страннолепный богатырь Виктор Ипатьевич Асоченский был из них первый. Бурный, безвкусный, но даровитый, из бывших семинаристов — говорили, что он выглядит, как «переодетый архиерей». Поповичей Лесков отличал сразу — по повадке, осанке, словечкам — и почти против воли испытывал к ним родственные чувства. Родных ведь не обязательно любишь, но куда денешься — своя кровь. Асоченский, сын священника, действительно отучился не только в семинарии, но и в Киевской духовной академии, был статен, недурен собой, из него и в самом деле наверняка получился бы славный владыка. Но в духовные он не пошел, служил воспитателем детей киевского военного губернатора Дмитрия Гавриловича Бибикова, одевался броско и смешно — носил шляпу и панталоны не в цвет; всем дерзил, сыпал грубоватыми остротами, сочинял то едкие, то лирические стихи, а вместе с тем написал серьезный обличительный труд о недостатках русского университет-

ского образования. Девицы с Подола от Виктора Ипатьевича были без ума. Про легендарную силу его рассказывали анекдоты; говорили, что господина Аскоченского в гости звать даже опасно: без погнутой ложки он хозяев не оставлял, а входя в раж, гнул и подсвечники.

Во времена его академической юности, когда инспектор отобрал у студентов чубуки и отнес их отцу ректору, Аскоченский дерзко явился за своей собственностью. Ректор, естественно, указал ему на дверь. Тогда взбешенный студент схватил лежавшие на столе трубки и в одно движение все их переломил на колене<sup>54</sup>. С годами его молодцеватость и дерзость, свободомыслие и критический настрой по отношению к системе духовного образования и особенно монашеству ушли в желчь, злые басни, яростные сражения с нигилистами, «прогрессистами» и «поджигателями» (например, в знаменитом романе «Асмодей нашего времени»). Остервенелость нападков не охлаждали и имевшиеся среди его сочинений «тихие песни» в стихах и прозе, прославлявшие людей незаметных, косноязычных, малогласных, но праведников — не видные миру светильники под спудом<sup>55</sup>. Аскоченский их жадно искал, как потом и Лесков.

Их внутреннее сходство первыми уловили литературные враги Лескова и советовали ему «почаще целоваться и пить на брудершафт с Аскоченским»<sup>56</sup>. Но Аскоченскому отмерено было заметно меньше таланта художественного, больше критического, публицистического и научного; недаром проза, пьесы и стихи его были забыты, а репутация нелепого обличителя «гнилого Запада» (его слова), издателя никем не читаемой «Домашней беседы» сохранилась. О том, что Аскоченский еще и автор фундаментального труда по истории Киевской духовной академии<sup>57</sup>, также предпочитали не вспоминать — шуту не пристало быть историком.

Лесков в ранней своей публицистике также не упускал случая пнуть Аскоченского — за ограниченность взглядов и занудство. В одной из заметок он издевательски рассуждает о волшебной власти имени Аскоченского: «...стоит в первых строках самой скучной статьи найти случай упомянуть имя г. Аскоченского и напечатать его курсивом», как читатель непременно дочитает статью до конца — в ожидании «забавного казуса»<sup>58</sup>.

Лесков не желал видеть, что Аскоченский словно бы из любимых его героев — житейски неустроенный антик и

чудодей, к тому же несчастливый. Невзгоды не оставляли Виктора Ипатьевича: он похоронил двух жен, а последние два года жизни провел в психиатрической больнице из-за воспаления мозга.

К киевским литературным диковинкам, хотя и меньшего калибра, относилась и девица Елизавета Сентимер. Ее переполняли стихи, и она выпускала сборник за сборником. Один из них назывался «Чувства патриотки»; книгопродавец и балагур Павел Петрович Должиков предлагал посетителям: «Вместо сыру и водки — вот “Чувства патриотки”»<sup>59</sup>.

Трогательной, но совершенно безответной страстью к литературе был томим и Альфред фон Юнг — сочинитель водевилей, куплетов, песен и подробного руководства по варке варенья. Юнгу, кажется, просто нравился вид напечатанного текста, поэтому издавал он всё, что возможно. Именно он начал выпускать первую в Киеве газету «Телеграф». В «Печерских антиках» Лесков рассказал о Юнге и его газете несколько анекдотов.

«По правде сказать, “Телеграф” юнговского издания представлял собою немало смешного, но всё-таки он есть дедушка киевских газет. Денег у Юнга на издание долго не было, и, чтобы начать газету, он прежде пошел (во время Крымской войны) “командовать волами”, то есть погонщиком. Тут он сделал какие-то сбережения и потом всё это самоотверженно поверг и сожег на алтаре литературы. Это был настоящий литературный маньяк, которого не могло остановить ничто, он всё издавал, пока совсем не на что стало издавать. Литературная неспособность его была образцовая, но, кроме того, его и преследовала какая-то злая судьба. Так, например, с “Телеграфом” на первых порах случались такие анекдоты, которым, пожалуй, трудно и поверить: например, газету эту цензор Лазов считал полезным запретить “за невозможные опечатки”. Поправки же Юнгу иногда стоили дороже самых ошибок: раз, например, у него появилась поправка, в которой значилось дословно следующее: “во вчерашнем №, на столбце таком-то, у нас напечатано: пуговица, читай: богородица”. Юнг был в ужасе больше от того, что цензор ему выговаривал: “зачем-де поправлялся!”

— Как же не поправиться? — вопрошал Юнг, и в самом деле надо было поправиться.

Но едва это сошло с рук, как Юнг опять ходил по городу в еще большем горе: он останавливал знакомых и, вынимая из жилетного кармана маленькую бумажку, говорил:

— Посмотрите, пожалуйста, — хорош цензор! Что он со мною делает! — он мне не разрешает поправить вчерашнюю ошибку.

Поправка гласила следующее: «Вчера у нас напечатано: киевляне преимущественно все онанисты, — читай оптимисты»<sup>60</sup>.

В те годы проживал в Киеве и «старик Подолинский». Хотя на деле Андрей Иванович Подолинский, рожденный в 1806 году, стариком в конце 1840-х не был, но литературная слава его лучших поэм «Смерть поэта» и «Нищий» давно отшумела, а новых он пока не сочинил.

Всех их Лесков вспоминал потом умиленно и слегка покровительственно. Но в ту же пору появился у него и знакомый, на которого он смотрел снизу вверх и всю жизнь называл своим учителем, повторяя, что тот помог ему в юности понять: «добродетель существует не в одних отвлечениях»<sup>61</sup>.

Дмитрий Петрович Журавский (1810—1856) — хворый, желтый, с длинными зачесанными за уши волосами, — не имел дара нравиться, быть приятным, а умение вовремя улыбнуться, поддакнуть почитал за лицемерие. Он общался холодно, почти принужденно, без снисхождения к собеседнику; разглядеть его внутреннее благородство, жертвенность и доброту не всем было под силу.

Журавский написал трехтомный труд «Статистика Киевской губернии» (1852) о природе, населении, сельском хозяйстве и промышленности региона, своротив эту махину в одиночестве. Но не в том заключалась его сила: все чаяния, все помыслы, все проекты Журавского были сосредоточены на участи крепостных. Управляющий пензенскими имениями Льва Александровича Нарышкина, он хорошо знал, как живут крестьяне, и составил проект их постепенного освобождения: предлагал уменьшить оброк, прощать недоимки, снабдить новыми сельскохозяйственными орудиями и, главное, приравнять труд крепостного к военной службе и после двадцати лет работы отпускать крестьян на волю.

Дмитрий Петрович любил повторять, что обвинять крестьян в лени, беспечности, невежестве нелепо — это пороки, общие для всего рода человеческого, распространенные и среди образованного класса: «Поистине я нахожу их еще слишком честными, слишком добрыми, когда подумаю об их положении»<sup>62</sup>. Журавский был убежден: если и самых опустившихся, бедных, безлошадных, бездомных снабдить



избами, лошадьми, коровами, овцами, они станут трудолюбивыми — он убеждался в этом на собственном опыте. Помещикам он предлагал перейти на «саксонский плужок и железную борону», снизить оброчный оклад и цену за аренду земель, выкупать крестьян на свои деньги. Сам он, человек небогатый, сумел выкупить десять семейств.

Журавского не слышали, не слушали, а как только появился высочайший манифест об освобождении крестьян, идеи его безнадежно устарели. Сам Дмитрий Петрович до Крестьянской реформы не дожил, умерев в 1856 году, но всё-таки не был забыт, в том числе благодаря Лескову, выходя то из одной, то из другой створки его рассказов и повестей\*. Правда, опубликовать доставшиеся ему письма Журавского, посвященные преобразованиям, Лесков, несмотря на старания, не смог.

Таков был Киев домашний, литературный, университетский, дружеский. И всё же основное время Лесков проводил не в ученых беседах с Журавским, не в трактире Рязанова и печерских домиках. Вскоре по прибытии к дяде он начал служить.

### **Столоначальник Лесков**

Официально Николай был определен в Казенную палату помощником столоначальника по рекрутскому столу ревизского отделения 24 февраля 1850 года. Но, похоже, в Киев он попал несколько позже: в Государственном архиве Орловской области обнаружился документ, подписанный Лесковым 11 апреля того же года в Уголовной палате Орла, где, очевидно, он в апреле и находился<sup>63</sup>. Как такое могло случиться? Возможно, по просьбе влиятельного и всем необходимого доктора Алферьева для его племянника просто держали место в Киевской казенной палате, пока тот завершал свои дела в Орле. В сентябре 1849 года он уже приезжал в Киев на два месяца — очевидно, «на разведки», взяв в Орле отпуск. А может быть, дело было в чем-то ином.

Переехав в Киев окончательно, Лесков вновь сел за писарский стол. Он оформлял молодых людей для отправки в армию.

---

\* «Русские общественные заметки» (1869), «Смех и горе» (1870), «Из глухой поры: Переписка Дмитрия Петровича Журавского и два письма Льва Александровича Нарышкина. 1843—1847» (1870—1871), «Захудалый род» (1874), «Фигура» (1889), «Загон» (1893).

Первые годы службы Лескова в Киеве пришлось на бибиковские времена. Киевский военный губернатор Дмитрий Гаврилович Бибиков был любимцем императора Николая I: в прошлом боевой офицер, потерявший левую руку в Бородинском сражении. Это не мешало ему ни прижимать к сердцу прекрасных дам, до которых он был большой охотник, ни управлять многонациональным краем, с военной жестокостью уничтожая в нем польское влияние и гетманское свободомыслие. «Хотя у меня одна рука, но я в ней держу три миллиона человек, а вас-то и подавно удержать сумею. Можете водиться с девками, можете разбивать бардаки — всё это я скорее прощу вам; но Бог вас сохрани нарушать дисциплину: первый вновь попавшийся в том будет немедленно выгнан из университета»<sup>64</sup>, — внушал Дмитрий Гаврилович студентам Киевского университета, собрав их после очередной шалости.

Прослужив в должности киевского военного губернатора и подольского и волынского генерал-губернатора 15 лет (1837—1852), Бибиков успел сделать для города немало доброго. Участник ключевых для России событий, он ценил историческое знание; по его инициативе в Киеве открылся Центральный архив, были созданы временная комиссия для разбора древних актов и постоянная комиссия для описания юго-западных губерний.

Как водится, губернатор любил строить: в его правление заложили знаменитый Цепной мост — первый постоянный мост через Днепр в Киеве, воспетый Лесковым и в «Запечатленном ангеле», и в «Печерских антиках»; возвели величественный Институт благородных девиц с колоннадой, изящное женское училище графини Левашовой (оба здания и сейчас стоят в Киеве) и многие другие каменные строения в стиле позднего классицизма. Заработала обсерватория, появился ботанический сад, был создан кадетский корпус. Город стал наряднее и свежее.

Но как раз этого не могли простить ему местные жители и Лесков: губернатор уничтожал городскую старину — не благообразную, зато живописную, живую. В пору бибиковских перемен Печерск, который Лесков успел застать прежним, на глазах лишался патриархального и запорожского духа: ветхие, кое-как натканные домики сносили, их жителей, невзирая на стон и вой, выселяли. Жаль было и хаток, что лепились над днепровской кручей: они, ностальгически отмечал Лесков в повести «Печерские антики», «придавали прекрасному киевскому пейзажу особенный

теплый характер и служили жилищем для большого числа бедняков». «Бибиков, конечно, был человек твердого характера и, может быть, государственного ума, но, я думаю, если бы ему было дано при этом немножко побольше сердца, — это не помешало бы ему войти в историю с более приятным аттестатом», — итожил он<sup>65</sup>. «Капрал Гаврилович Безрукий» — аттестовал киевского губернатора Тарас Шевченко в недописанной поэме «Юродивые». Та же язвительная прохладца сквозит и во множестве анекдотов о Бибикове, выпекавшихся по рецепту, очевидному из историй, приведенных выше: вельможное хамство смешивалось с природным остроумием, а иногда и благородством.

Например, губернатор не прочь был подпустить туалетного юмора, особенно общаясь с поляками. На вопрос польской дамы, напечатаны ли подписи в альбоме с вклеенными акварелями (*est-ce que c'est drouqué?*), он, не моргнув глазом, ответил: *Non, madame, c'est pissé!*<sup>\*66</sup>

В заметке «Бибиковские “меры”» Лесков напомнил случаи, как один киевский студент за попойки и шалопайство был выпорот прямо на глазах его светлости, а не стерпевший обиды и ударивший учителя гимназист высечен в присутствии других учеников розгами до беспамятства<sup>67</sup>. Но сохранилось немало свидетельств и тех, в чьей судьбе губернатор принял участие, кому помог, поддержал, чью вину простил.

Вот история про холеру. Во время эпидемии 1847 года Бибиков приказал открыть лазарет в знаменитом Контрактовом доме — одном из самых красивых зданий города, где не только заключались контракты, но и проводились концерты (в январе того же года здесь играл заехавший на гастроли Ференц Лист), а также давались самые большие городские балы. Киевское купечество прислало к военному губернатору делегацию с просьбой отменить распоряжение о лазарете: «Дочери наши танцуют здесь же, а тут холерные...» Тогда Бибиков призвал полицмейстера Голядкина и приказал: Контрактовый дом очистить, все кровати с больными разместить в домах этих господ! Немая сцена. «Больше ничего не добавите, господа? — уточнил Бибиков. Молчание. — Тогда я добавлю, вы — не киевские купцы, а киевские суки, а вы не киевская городская голова, а киев-

---

\* Соль анекдота в том, что дама, не зная, как будет по-французски «печатать», использовала на французский манер польский глагол *druśować*, а Бибиков в ответ употребил французский глагол, созвучный русскому «писа́ть», но переводящийся как «мочиться».

ская городская жопа»<sup>68</sup>. Холерные были спасены, купцы и полицмейстер получили урок.

Лесков Дмитрия Гавриловича застал, анекдоты о нем запомнил, но зенит его службы пришелся на правление сменившего Бибикова Иллариона Илларионовича Васильчикова. От предшественника Васильчиков отличался мягкостью и добротой. И анекдоты о нем рассказывали совсем другие:

«Как-то раз, в самом начале киевской службы, когда не все еще горожане знали его в лицо, князь Васильчиков встретил на улице гимназиста в мундире нараспашку.

— Почему вы не застегнуты? — нахмурившись, спросил князь, стараясь выглядеть как можно более строгим. — Если встретит вас генерал-губернатор, с вас сурово спросят!

— Да нет, — ответил гимназист, застегиваясь, — наш князь очень добрый и наверняка простит!..»

В сочинениях Лескова Васильчиков тоже оказался в лестной роли. В рассказе «Владычный суд» губернатор принимает прямое участие в деле спасения еврейского мальчика, несправедливо забранного в кантонисты. Вполне вероятно, так всё и было.

Служба Лескова особенно оживлялась во время рекрутского набора, проходившего в мирное время один раз в год. Он должен был записать всех новоприбывших, выписать им обмундирование, деньги, квитанции о зачислении, попутно разобрать поступившие жалобы.

Молодой делопроизводитель взялся за дело рьяно. Вскоре, правда, выяснилось, что, попав из орловского присутствия в киевское, угодил он *из кулья да в рогожку*: лица стертые, как старые пятиалтынные, спертый воздух, вонючий запах папирос и составление бумаг до одури. Годы спустя Лесков вспоминал в рассказе «Владычный суд», во многом автобиографическом:

«Целые дни, иногда с раннего утра до самых сумерек (при огне рекрут[ов] не осматривали) надо было безвыходно сидеть в присутствии, чтобы разъяснять очередные положения приводимых лиц и представлять объяснения по бесчисленным жалобам, а также подводить законы, приличествующие разрешению того или другого случая. А чуть закрывалось присутствие, начиналась самая горячая подготовительная канцелярская работа к следующему дню. Надо было принять объявления, сообразить их с учетами и очередными списками; отослать обмундировочные и порционные деньги; выдать квитанции и рассмотреть целые горы ежедневно в великом множестве поступавших запутаннейших жалоб и каверзнейших доносов. Канцелярия, состоя-

шая из командированных к этому времени из разных присутственных мест чиновников, исполняла только то, что составляло механическую работу, то есть ее дело вписать и записать, выдать, всё же требующее какой-нибудь сообразительности и знания законов лежало на одном лице — на делопроизводителе. Поэтому к этой мучительной, трудной и ответственной должности всегда выбирались люди служилые и опытные; А. К. Ключарев, по свойственной ему во многих отношениях непосредственности, выбрал в эту должность меня — едва лишь начавшего службу и имевшего всего двадцать один год от роду... Мучения мои начинались месяца за полтора до начала набора, по образованию участков, выбору очередей и проч.; продолжались месяца полтора-два во время самого набора и оканчивались после составления о нем отчета. Во всё это время я не жил никакой человеческою жизнью кроме службы: я едва имел час-полтора на обед и не более четырех часов в ночь для сна»<sup>69</sup>.

Но не в одной работе без продыха заключались мучения. В 1827 году, вскоре после восшествия на престол, Николай I издал указ о распространении воинской повинности на группы населения, прежде не подлежавшие призыву. Указ прицельно бил по евреям. Он к тому же позволял забирать еврейских, финских, польских, цыганских мальчиков с двенадцати лет в кантонистские школы, где из них готовили унтер-офицеров, военных музыкантов, топографов, аудиторов, писарей.

По закону кантонистов-иноверцев не должны были заставлять менять вероисповедание, но угрозами и побоями их всё равно вынуждали креститься. Учитывая их нежный возраст, сделать это было нетрудно. Так мальчики лишались не только дома, семьи, но и своей религии. Лесков во «Владычном суде» пишет:

«Эта приемка жидовских ребятишек поистине была ужасная операция. <...> Пользуясь таким взглядом, еврейсдатчики вырывали маленьких жидочков из материнских объятий почти без разбора и прямо с теплых постелей сажали их в холодные краковские брики и тащили к сдаче... К самой суровости требований закона, ныне — слава Богу и государю — уже отмененного, присоединялась еще к угнетению бедных вся беспредельная жестокость жидовской неправды и плутовства, практиковавшихся на все лады. Очередных рекрут[ов] почти никогда нельзя было получить, а приводились подочередные, запасные и вовсе неочередные; а так как наборы были часты и производились с замечательною строгостью, то разбирать было некогда и

неочередные принимались “во избежание недоимки” с условием перемены впоследствии очередными; но условие это, разумеется, никогда почти не исполнялось»<sup>70</sup>.

Новейшие исследования историков об армейских наборах при Николае I, воспоминания современников, обнаруженные нами архивные документы в один голос подтверждают: запись в кантонисты так примерно и проходила<sup>71</sup>.

Зачисление мальчиков действительно сопровождалось множеством злоупотреблений, причем как со стороны военачальников и чиновников, правдами и неправдами заталкивавших иудеев в православие, так и со стороны еврейского кагала, постоянно сдававшего в кантонисты детей вне очереди, в том числе еще не достигших двенадцати лет, чьи родители не могли откупиться. В итоге в кантонисты иногда отправляли десяти-, девяти- и даже восьмилетних мальчиков.

Забирали в рекруты и кантонисты и негодных к службе — инвалидов, чахоточных, умалишенных. Случались и курьезы: мещанин Мельников в 1854 году потребовал взять его старшего сына вместо младшего — «за аморальные поступки»<sup>72</sup>. А кто-то делал свой маленький бизнес: похищал чужих детей, обычно из бедных семей, и продавал в кантонисты\*. Каждый кирпич мрачной казенной комнаты, в ко-

---

\* Сами названия дел за годы службы Лескова (1849—1857), сохранившихся в фонде 442 в Центральном государственном историческом архиве Украины, г. Киев (ЦГИАК), свидетельствуют о творившемся достаточно красноречиво: дело по представлению Киевского губернского правления о побуждении Херсонского губернского правления и Киевской казенной палаты к доставке сведений по делу о евреях, скрывающихся от исполнения рекрутских повинностей, 6 марта 1848 года — 4 июня 1849 года (Оп. 160. Д. 8); дело о жалобе бердичевского еврейского общества об обременении их чрезмерной рекрутской повинностью 1849 года (Оп. 82. Д. 462); дело по прошению Владимирского еврейского общества в числе 68 человек о прекращении преследования в связи с рекрутским набором евреев, не подлежащих по возрасту рекрутской повинности, 20 июля 1849 года — 7 июня 1854 года (Оп. 160. Д. 474); дело о принятом в рекруты Ковельским рекрутским присутствием еврее Янкевиче, непригодном к военной службе, 4 июня 1849 года — 23 июня 1861 года (Оп. 82. Д. 288); дело о производстве следствия о рекруте Э. Зингере, оказавшемся неспособным к военной службе, 1851 года (Оп. 84. Д. 362); дело о принятии в рекруты А. Ройзмана, который впоследствии оказался негодным к военной службе (Оп. 84. Д. 194); дело о нападении евреев м. Белая Церковь на дома уполномоченного еврейского общества Смоленского и рекрутского старосты Дубенского III за набор рекрутов, 1 февраля 1855 года — 4 мая 1856 года (Оп. 32. Д. 67).

торой вершились судьбы, замечает Лесков, «наверно, можно было бы размочить в пролившихся здесь родительских и детских слезах»<sup>73</sup>.

Николай провел в этой казенной комнате несколько лет. Поступив на службу в должности помощника столоначальника, два с половиной года спустя, в октябре 1853-го, он сделался столоначальником. В Центральном государственном историческом архиве Украины, г. Киев (Центральний державний історичний архів України, м. Київ), хранится несколько дел с его личной подписью: «письмоводитель Лесков», «столоначальник коллежский регистратор Лесков», «столоначальник Лесков».

В основном это рутинные, связанные с очередным призывом бумаги, разъясняющие основные, вполне шаблонные шаги, которые следовало произвести рекрутскому присутствию\*. Лишь один из сохранившихся документов, подписанных Лесковым, не такой унылый — это дело о злоупотреблениях Белоцерковского еврейского общества от 3 декабря 1854 года, свидетельство еще одной безуспешной попытки иудейской общины отдать в рекруты неочередных людей «по неосновательным причинам».

В трех из найденных нами дел за подписью Лескова упоминается и он сам, всегда в похожем контексте: ему как столоначальнику отпускают «на заготовление бланков и приобретение писчей бумаги для производства дел по набору сто руб[лей] сереб[ром] под расписку» с обязательством по окончании набора представить Казенной палате подробный отчет о расходовании этой суммы.

Казалось бы, вызывающая зевоту бюрократия, пыльные бумажки, рутина — если бы не даты. Годы службы Лескова в рекрутском присутствии — с 1853-го по 1855-й. Это время Крымской войны. После недолгой патриотической горячки началась череда военных неудач. С юга через Киев, располагавшийся недалеко от театра военных действий, потянулись обозы с ранеными, зачастую лежавшими в возах и арбах на грязной соломе. Вместе с успехами российских войск таяло и всеобщее воодушевление.

---

\* См.: «Дело о распоряжении по XI частному рекрутскому набору. 1854 г., мая 31, февраля 13», «Дело о распоряжении по произведению XII-го частного очередного рекрутского набора. 1854 г., сентября 24», «Дело о принятии к зачету квитанций. 1854 г., ноября 10».

Значит, Лесков не просто принимал к зачету квитанции, закупал писчую бумагу и канцелярские принадлежности — он глядел в лица людей, которых отправляли умирать. Он был частью государственной машины, приносившей богу войны человеческие жертвы, поставлявшей на его пиры пушечное мясо.

От дядюшки Сергея Петровича Лесков знал, как дурно обстоят на войне дела с лазаретами, от родственников — как процветают «крымские воры», поставщики провианта в армию.

Недаром одна из первых его публицистических заметок будет посвящена взяточничеству врачей, состоящих при рекрутских присутствиях; там же он коснется и незаконного зачисления в кантонисты еврейских мальчиков, не достигших двенадцатилетнего возраста. Крымскому воровству Лесков посвятит рассказ «Бесстыдник», но о своей службе в присутствии напишет лишь однажды — и, видимо, не случайно это будет история с хорошим концом.

«Владычный суд» (1877) рассказывает, как еврейский мальчик, попавший в набор, был вызволен благодаря самоотверженности его бесправного отца, примчавшегося спасать сына в Киев, помощи военного губернатора Васильчикова и, главное, митрополита Филарета (Амфитеатрова). Подзаголовок рассказа — «быль». Лесков любил выдать небывлицу за реальную историю, но в данном случае описываемые события, видимо, действительно имели место.

Предположить, почему о жителях Киева и собственных досугах, о гарных дивчинах и обитателях Печерска, о еврейском вопросе он потом писал часто, охотно, о службе в рекрутском присутствии — почти никогда, несложно. Вероятно, потому что в воспоминаниях этих было мало приятного и что-то навсегда «засело в печенях».

## Призвание

И всё же главное, что принес Николаю Киев, — призвание, осознание того, для чего он отправлен в этот мир.

Совсем не сразу Лесков это разгадал. Ни в гимназии, ни в орловском, ни в киевском присутствии он и не помышлял о сочинительстве. Гоголь, Пушкин, Бенедиктов, Тургенев были недосыгаемы, киевские литераторы — слишком нелепы.

И всё же именно в Киеве он впервые всерьез соприкоснулся с искусством — глядя на фрески, иконы, слушая ико-



нописцев, с которыми свел знакомство. В 1874 году Лесков написал довольно странную повесть о пути к призванию, назвав ее сначала «Блуждающие огоньки», а позднее «Детские годы (Из воспоминаний Меркула Праотцева)».

Ее герой, молодой человек, изгнанный за шалости из кадетского корпуса, ищет себя. Он живет со своей строгой матерью в Киеве и однажды знакомится с художником Лаптевым, расписывающим храмы. Лаптев — человек раздвоенный и говорит о себе: «Пою и пью, священные лики изображаю и ежечасно грешу: чем не сумасшедший...»<sup>74</sup> Он берет Меркула в подмастерья и буквально посвящает в таинство искусства: «Гармония — вот жизнь; постижение прекрасного душою и сердцем — вот что лучше всего на свете!»<sup>75</sup>

Повторяя эти слова наставника, Праотцев засыпает. Ему снится, что его вводят в античный Храм искусства. Храм этот наполнен отнюдь не ангелами и праведниками, свою красоту ему являют совсем иные существа:

«...все девы и юные жены стыдливо снимали покрывала, обнажая красы своего тела; они были обвиты плющом и гирляндами свежих цветов и держали кто на голове, кто на упругих плечах храмовые амфоры, чтобы под тяжестью их отчетливее обозначились линии стройного стана — и всё это затем, чтобы я, величайший художник, увенчанный миртом и розой, лучше бы мог передать полотну их чаровничью прелесть»<sup>76</sup>.

Как видим, самое прекрасное в этом сне внезапно оказывается воплощено в девах и юных женах, к тому же обнаженных.

Лаптев открывает Меркулу, что у того есть художественный дар:

«Как же ты не художник, когда душа у тебя — вся душа наружи — и ты всё это понимаешь, что со мною делается? Нет; тебя непременно надо спасти и поставить на настоящую дорогу»<sup>77</sup>.

И он ставит ученика на эту дорогу, объясняет ему, что занятие искусством подобно монашеству:

«Искусство... искусство, ух, какая мудреная штука! Это ведь то же, что монашество: оставь, человек, отца своего и мать, и бери этот крест служения, да иди на жертву —

а то ничего не будет или будет вот такой богомаз, как я, или самодовольный маляришка, который что ни сделает — всем доволен. Художнику надо вечно хранить в себе святое недо-вольство собою, а это мука, это страдание, и я вижу, что вы уже к нему немножко сопричастились... Хе, хе, хе! — я всё вижу!

— Отчего же, — говорю, — вы это видите? я ведь вам, кажется, ничего такого не говорил, да и, по правде сказать, никаких особенных намерений не имею. Я поучился у вас и очень вам благодарен — это даст мне возможность достав-лять себе в свободные часы очень приятное занятие.

Лаптев замотал головой.

— Нет, — закричал он, — нет, атанде-с\*; не говорить-то вы мне о своих намерениях не говорили, это точно — и, мо-жет быть, их у вас пока еще и нет; но уж я искушен — и вы мне поверьте, что они будут, и будут совсем не такие, как вы думаете. Где вам в свободные часы заниматься! На этом никак не может кончиться.

Меня очень заняла эта заботливость обо мне веселого живописца — и я, испытав его пророческий дух, спросил:

— А как же это кончится?

— А так кончится, что либо вы должны сейчас дать себе слово не брать в руки кистей и палитры, либо вас такой чёрт укусит, что вы скажете “прощай” всему миру и департамен-ту, — а это пресладостно, и прегадостно, и превредно.

Я рассмеялся<sup>78</sup>.

Судя по вступительной части, которую Лесков не напе-чатал (видимо, по требованию цензуры), Меркулу предсто-яло стать монахом, но необыкновенным — вместе с тем и «артистом», играющим на флейте и виолончели, и живопис-цем, расписывающим храмы. Незадолго до выхода повести «Детские годы» в свет, в марте 1874-го, Лесков напечатал в журнале «Русский мир» публицистические заметки «Днев-ник Меркула Праотцева», используя это имя как псевдоним. Под тем же псевдонимом в 1871 году он предлагал выпустить и другую свою повесть — «Смех и горе». Нетрудно предпо-ложить, что в образе Меркула, которого киевские фрески подтолкнули к творчеству, проступают черты автопортрета, пусть и достаточно вольного. Очень похоже, что «Детские годы» — поздняя, идеализированная версия собственного пути, роман воспитания по-лесковски.

Герой его сражается за себя, за свою «художественную жилку» с чужой, навязываемой ему правильностью, сухой

---

\* Хватит, довольно (фр.).

и ясной, которую в повести воплощает мать. Она мечтает превратить жизнь сына в листок с расписанием, не ведая, как близка к гибели и вот-вот сломается под гнетом собственной гордыни. Вот какой она видит жизнь своего сына:

«Окончив чтение Библии, мы будем пить наш чай; потом девятый час пройдет в занятиях греческим языком, который очень интересен и изучение которого тебя, конечно, чрезвычайно займет. От девяти до десяти мы будем заниматься историей, — я хочу проверить твои знания, и за этим же легким предметом ты немножко отдохнешь от первого урока. Затем одиннадцатый час отдадим латинскому языку и потом будем завтракать, после чего ты будешь ходить на службу. Что ты там будешь делать в канцелярии — я этого, конечно, не знаю, но старайся, разумеется, всё, что тебе поручат, делать усердно и аккуратно»<sup>79</sup>.

Неудивительно, что от такого выверенного, взвешенного и расфасованного по мешочкам существования герою хочется спрятаться, а перед этим опрокинуть и разбить весы. Только вот спрятаться — куда?

«Да не всё ли равно: хоть под паруса церкви на люльку Архипа, хоть на подмостки театра в тоге командора, словом, куда бы ни было, но только туда, где бы встретить жизнь, ошибки и тревоги, а не мораль, вечную мораль добродетели и забот о своем совершенстве...»<sup>80</sup>

Праотцеву помог нащупать верную дорогу Лаптев, Лескову — никто. Но прежде чем сознательно ступить на путь творчества и служения искусству, он женился.

## Муж

Где история страсти, томления, ухаживаний, возможно, борьбы? Ничего похожего. Если они и были — томление, трепет, — то нигде, ни разу Лесков о них не упомянул. Женился, будто во сне. И про его избранницу мы знаем страшно мало: киевлянка, дочь купца с именем киевской княгини Ольга Васильевна Смирнова. Это почти всё. Точный возраст ее был неведом даже Андрею Николаевичу Лескову, главному эксперту по семейным обстоятельствам отца, писавшему, что была она «не то однолетней, не то на год младше или старше»<sup>81</sup>. Документы, обнаруженные нами

в архиве после долгих поисков, несколько расширяют эти скудные сведения.

Запись в метрической книге Киево-Печерской Феодосиевской церкви по крайней мере позволяет назвать точный возраст супруги Лескова: «№ 43. Восьмого июля 1834 года у киевского купца Василия Елизарова Смирнова и второбрачной жены его Евдокии Евграфовой родилась дочь Ольга, которая молитвована и крещена священником Семионом Ясинским. Требу совершали: священник Симеон Стефанов сын Ясинский, диакон Яков Мошинский, дьячек Софроний Олофинский, пономарь Иван Селиванович»<sup>82</sup>.

Значит, Ольга Васильевна была младше мужа на три года.

Из исповедных росписей Киево-Печерской Спасо-Преображенской церкви известно, что Ольга была у родителей первенцем, через четыре года родился Олимпий, а еще через десять лет Елизавета<sup>83</sup>. Купец Василий Елизарович Смирнов (1799—1871) был маклером Киевской конторы Государственного коммерческого банка. Интересно, что в его доме на Крещатикской площади уже в конце 1850-х на втором этаже снимал квартиру художник и фотограф И. В. Гудовский, к которому заглядывал в гости Тарас Шевченко, а в августе 1859 года даже остановился у него<sup>84</sup>.

По данным А. Н. Лескова венчание Николая и Ольги состоялось в апреле 1853 года, на Красную горку, но согласно метрической книге Старо-Киевской Трехсвятительской церкви брак был заключен на полгода позже: «№ 1. Январь 20. Орловской Губернии Дворянин, служащий в Киевской казенной палате Столоначальником Коллежский регистратор Николай Семенов Лесков Православного исповедания первым браком. 24 лет. Киевского второй гильдии Купца Василия Елеазарова Смирнова дочь Ольга Православного вероисповедания, первым браком»<sup>85</sup>. Здесь же ошибочно указывается, что Ольге Васильевне было на тот момент 17 лет. На самом деле ей было 19, ему — без малого 23.

Как мы помним, Семен Дмитриевич Лесков заповедовал сыну искать себе жену после двадцати пяти лет. Согласно данным метрической книги, Николай эту заповедь нарушил, но незначительно.

В мире супруги прожили совсем недолго, начали ссориться — бурно, страшно — и продолжали до тех пор, пока после восьми лет взаимных мучений не разорвали отношения окончательно.

Но чем же в таком случае был вызван этот брак? Очарованием минуты? Стал странным итогом юношеского разгула, который Лесков решил остудить взрослым поступком?

Понятно ведь: инициатива исходила от него. У Ольги, старшей дочери в купеческой семье, очевидно, особого выбора не было: молодой столоначальник, неглуп, речист, дворянин, близкий родственник знаменитого доктора — чем не партия? Девушка на выданье, подрастает сестра; еще несколько лет, и будет поздно, останется вековой. Не исключено также, что родители замечали в поведении дочери некоторые странности, а значит, тем более обрадовались предложению Лескова. Но чем пленился он?

В заметках «Из одного дорожного дневника», описывая ночь, проведенную на постоялом дворе в Гродно, Лесков признавался:

«Под звуки свежих женских голосов моих соседок я вспомнил другой полупольский город, стоящий не в холодной Литве, а в роскошной Украине; вспомнил маскарады, желтый дом, комнатку над брамой (воротами), белокурые локоны на миловидном личике и коричневое платьице на стройном стане. Потом пошли другие воспоминания, розы смешались с шипами; потом розы совсем куда-то запропастились и остались одни иглы, всё иглы, иглы, и вот я одинокий и разбитый лежу в холодной комнате литовского заязда\* и волей-неволей слушаю разговор двух польских помещиц, рассуждающих о приданом»<sup>86</sup>.

Очень похоже, что обладательницей миловидного личика и стройного стана была Ольга Васильевна.

Не здесь ли кроется ключ к их сближению? Маскарад, всеобщее возбуждение, танцы — что не померещится в горячечном праздничном вихре?

В повести «Детские годы» юный Меркул Праотцев (как мы помним, альтер эго Лескова) случайно увидел на балу молодую женщину:

«...у нее были прелестные белокурые волосы, очень-очень доброе лицо и большие, тоже добрые, ласковые серые глаза, чудная шея и высокая, стройная фигура, а я с детства моего страстно любил женщин высокого роста»<sup>87</sup>.

Несмотря на мимолетность встречи, чудесная дама эта сделалась его идеалом:

---

\* Постоялый двор (*польск.*).

«Странная, прекрасная и непонятная женщина, мелькнувшая в моей жизни как мимолетное видение, а между тем мимоходом бросившая в душу мне светлые семена: как много я тебе обязан, и как часто я вспоминал тебя — предтечу всех моих грядущих увлечений, — тебя, единственную из женщин, которую я любил, и не страдал и не каялся за эту любовь! О, если бы ты знала, как ты была мне дорога не тогда, когда я был в тебя влюблен моей мальчишеской любовью, а когда я зрелым мужем глядел на женщин хваленного позднейшего времени и... с болезненной грустью видел полное исчезновение в новой женщине высоких воспитывающих молодого мужчину инстинктов и влечений — исчезновение, которое восполнят разве новейшие женщины, выступающие после отошедших новых»<sup>88</sup>.

Но напоминала ли Ольга Васильевна стройную блондинку из повести о Меркуле, неизвестно.

В дальнейшем она стала прототипом всех стервозных жен в прозе Лескова. Супруга главного героя романа «Некуда» доктора Розанова, многое перенявшего от Лескова, капризна, бесцеремонна и невежественна до непристойности. Она устраивает мужу публичные скандалы, требует внимания и любви, ничего не давая взамен. Зовут ее Ольга, правда — Александровна. И почти все дурные жены в лесковской прозе нарисованы по тому же лекалу: каждая из них вздорная, неблагодарная, всем недовольна и терзает супруга, сложного, но отнюдь не плохого, работающего и в общем милого и доброго человека.

Несчастлив в семейной жизни и сын Рошихи (очевидная калька с Лесчихи) из очерка «Ум свое, а чёрт свое» (1863): его супруга до того нравна, что не дает спуска ни свекрови, ни мужу, который с горя «шатается» с ружьем.

В написанном вскоре после кульминации собственной семейной драмы очерке «Страстная суббота в тюрьме», посвященном отнюдь не семейной жизни, — из уст репортера внезапно вырывается:

«Ах, амур проклятый! Какие шутки он шутит со смертными... А сколько честных, рабочих людей, без разгибу гнувших свою спину, которые не встречают от своих законных сопутниц ни ласкового слова, ни привета, ни участия, ни благодарности?... Сколько людей, работающих только для насаждения хлеба семье и не слышавших ничего, кроме капризов, стонов, брани, упреков в роде того, что “я не так бы жила, если бы вышла за другого”, или “ты обязан” и т. п. Да!»<sup>89</sup>

Семейные неурядицы Лесков описывает крайне однообразно, зато реалистично. Удивительно, но семейное счастье в его текстах тоже одинаковое — это идиллия, гармоничная, иногда почти приторная, очевидный плод мечты, а не опыта.

Андрей Николаевич, словно заразившись недовольством отца, также пишет об Ольге Васильевне с негодованием: «По дружным отзывам, жившим потом в нашем родстве, в ней не было ума, сердца, выдержки, красоты... Обилие ничем не возмещаемых “не”»<sup>90</sup>. Бледное пятно, отрицательная частица, «минус» вместо живого человека, будто и не Лесков ее для себя выбрал. Но почему, собственно, дочь киевского купца должна быть умна, сердечна, иметь тонкое обхождение? К тому же она оказалась психически нездорова, хотя выяснилось это совсем не сразу.

Двадцать третьего декабря 1854 года у Николая Семеновича и Ольги Васильевны родился сын Дмитрий, названный в честь деда по отцовской линии. Но вскоре их постигло горе: первенец умер в младенчестве — если верить рассказу «Явление духа»<sup>91</sup>, на постоялом дворе. Андрей Николаевич Лесков предполагает, что сцены его писаны отцом с натуры: мальчик умер вскоре после посещения Панина, куда отец возил его и супругу познакомиться с родными<sup>92</sup>.

Через полтора года после его смерти, 8 марта 1856-го, появилась на свет дочь Вера. Вера Николаевна Лескова, в замужестве Нога, дожила до XX века, скончалась в Петербурге в 1918 году; мы еще вспомним о ней.

Расхождения супругов во взглядах, очевидно, начали обостряться после первых шагов Лескова в литературе. Его идеалы, его цели сделались более определенными, ему хотелось расти и развиваться на новом поприще, Ольга Васильевна вряд ли могла это оценить: замуж она выходила за молодого чиновника, оказалось — за литератора, журналиста.

Николай Семенович бежал из Киева в Москву, но Ольга Васильевна нагнала его и там, приехав с дочкой. Алексей Сергеевич Суворин, будущий известный писатель, крупный издатель, но тогда, в начале 1860-х, такой же молодой провинциал, приехавший из Воронежа, делавший первые пробы пера и живший в Москве вместе с Лесковым, уверял, что тот «шипал и бил» супругу. «Мерзавец большой руки», — резюмировал Суворин в одном из писем тех лет<sup>93</sup>. Другой литератор, очень не любивший Лескова, Иероним Иеронимович Ясинский добавляет подробностей: «...бед-

ная женщина не могла открыть плечей, потому что они были черные!»<sup>94</sup>

Точку в отношениях супругов поставил отъезд Лескова в Петербург в декабре 1861 года. Еще два десятка лет Ольга Васильевна прожила беспокойно: крупный киевский банк, в котором она хранила деньги, доставшиеся в наследство от отца, лопнул, и она потеряла почти все сбережения. Ольга Васильевна металась, тяготилась дочерью. Киевские родные пытались помочь ей, как умели, но это было невозможно. Наконец для всех стало очевидно, что Ольга Васильевна психически больна.

Последние 30 лет из отмеренных ей восьмидесяти она провела в петербургской психиатрической больнице Святого Николая на Пряжке<sup>95</sup>. Психические болезни диагностировали тогда плохо; быть может, то, что Лесков в молодые годы принимал за вздорность характера, было первым вестником заболевания.

Уже в начале 1890-х годов Вера Николаевна, навещая старушку-мать в скорбном доме, спросила, помнит ли она Лескова, своего мужа.

«После явно больших усилий трудно работавшей мысли, всматриваясь куда-то полуприкрытыми глазами, она едва приподняла разверстые кисти восковых рук и, как бы доискиваясь чего-то в сумраке дальнего прошлого, чуть шевеля концами исхудавших пальцев в ритм отдельно слетающих с уст слов, без интонации прошептала: “Лесков?.. Лесков?.. Вижу... вижу... он черный... черный... черный...”

Напряжение иссякло. Луч сник. Всё замкнулось, погрузилось во вновь охватившее больной мозг безмыслие... Глаза закрывались... Больная утомленно умолкла...»<sup>96</sup>

Однако мы слишком забежали вперед. Пока еще супруги жили в Киеве вместе, растили маленькую дочку; Лесков ходил на службу, хотя и тяготился ею всё больше. Но вдруг в жизни его наступила отрадная перемена.

## Коммерсант

Сборы были недолгими. Сложил чемодан, подхватил из рук кухарки корзину со снедью, чмокнул в лоб спящую годовалую Верочку, обнял жену, с восторгом думая, что теперь не понадобится гадать, чем она снова недовольна. Поглядел невидящими глазами и покатил в «новую историю» — в село Райское Городищенского уезда Пензенской



губернии, снова к «дядюшке», но уж к другому, Александру Яковлевичу Шкотту.

Точно благовест прозвучало его приглашение. Не иначе как тетка Александра Петровна, на которой Шкотт был счастливо женат, замолвила за Николая словечко.

Отец Александра Шкотта Джеймс Джеймсович приехал обустройства России из Англии.

Управляющий имениями графа Перовского и Нарышкина Джеймс Джеймсович, быстро превратившийся в Якова Яковлевича, смекнул: деревянные соха и бороны скоро совершенно истощат и неглубокий орловский чернозем, и девственные почвы приволжских степей. Пахать легкими железными плужками — вот что было необходимо. К чёрту «гостомыслы ковырялки»! Спасти русскую землю. Помочь русским братьям.

Яков Яковлевич взялся за дело. Плуг пошел на соху, соха на плуг — кто кого? Лукаво шерилась бороны. Шкотт выписал в Россию на пробу три удобных и легких плуга Джеймса Смолля<sup>97</sup>, проверил, и раз, и два, и семь — английский плуг по всем статьям превосходил и великорусскую соху, и тяжелый малороссийский плуг: оставлял образцовую борозду, узкую, но идеальной глубины, был удобен и легок — даже баба или ребенок могли им пахать.

Только кто ж того англичанина слушал? Одно слово — немец. Уж не из тех ли немцев, что в Одессе покупали у русских хлеб? «Станем их плужками пахать, у кого сами будем хлеб покупать?» — цедили мужики и пахать привозными плужками отказывались. Так и заржавели они в пожарном сарае. Ну а степи... их стало заносить песком. Старый Шкотт быстро сдался. Но его сын верил: у него получится. Нужно только укрепить тылы, врасти в русскую землю покрепче.

Шкотт-младший пошел служить в русскую армию. В мае 1827 года он поступил в Глуховский кирасирский полк рядовым, через шесть лет, уже в Рязанском пехотном полку, дослужился до подпоручика. На этом можно было остановиться — обер-офицерский чин давал право на потомственное дворянство. Шкотт им воспользовался и сделался русским дворянином<sup>98</sup>. Оставалось подыскать жену.

Николай любил своего «дядюшку». Сухошавый, подтянутый, надушенные усы, умный, внимательный взор. Лесков подобрал Шкотту и историю женитьбы ему под стать, переодев англичанина в Павла Якушкина: по лесковской легенде, Шкотт, нарядившись «молодцом» при ко-

робейнике, торговавшем вразнос всякой мелочью, поехал по дворянским домам, в которых были дочери на выданье, оглядывал барышень, выходивших к торговцу не в бальных платьях, а в будничном уборе, и слушал, как говорят они с коробейником, как торгуются, как требуют и капризничают. Одна девушка ничего не требовала, улыбалась приветливо, говорила кротко — это была Александра Петровна, самая ласковая и добрая из трех сестер Алферьевых.

Молодые обвенчались в январе 1839-го в уже знакомом нам Собакине. В сентябре следующего года у Шкоттов родился первенец Петр, в 1842-м — Яков, ставший потом известным московским хирургом. Кузен называл их «шкотята».

Александр Шкотт был человек «дивных способностей» — веселый, бодрый, неутомимый. За словом в карман не лез и никого не боялся. Обидчика запросто мог вызвать на дуэль, а то и прибить<sup>99</sup>. Выйдя в отставку, он вслед за отцом служил управляющим у графа Льва Александровича Перовского и Нарышкиных и прослыл «практиком», хитрым, предприимчивым, но совершенно порядочным. Русские помещики часто приглашали в управляющие иностранцев — возможно, в надежде, что те лишены известных русских пороков, склонности к воровству и веры в «авось». О том, что случилось порой с такими не в меру ревностными управляющими «из немцев», свидетельствуют и сам Лесков в рассказе «Язвительный», и Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо», а также многочисленные документы о крестьянских бунтах.

Но Александр Яковлевич вел дело с умом, и во вверенных ему имениях не бунтовали. Получал он около сорока тысяч рублей в год — сумму баснословную: годовое жалованье русского управляющего составляло от 600 до 1800 рублей. Многие у него отлично складывались, потому что он неплохо изучил русских, понял и почти полюбил.

Он придумал даже, как лечить баб-кликуш, которые бились в жутких припадках, валились на землю, очень некстати выли и были неспособны к работе. Подобрал в книге богослова Фомы Кемпийского места позагадочнее, Шкотт торжественно зачитывал их вслух, а потом молился вместе с больной. Когда та была уже в должной мере умягчена и утешена, Александр Яковлевич сливал в один стакан заранее приготовленные соду и лимонную кислоту. Смесь шипела

и пенилась. «Бес шумит и улетает!» — радовалась кликуша и исцелялась полностью<sup>100</sup>. Отбоя от несчастных баб не было. Исцелились бы еще многие, если бы не болтливый фельдшер. Он раскрыл крестьянам секрет чудесного порошка, после чего тот сейчас же перестал действовать.

Хитер был Шкотт, а русский мужик хитрее. И переломить его не под силу было и упрямому Александру Яковлевичу, разумеется, желавшему крестьянам только хорошего. Как ни старался Шкотт — не сумел переселить сведенных в Пензенскую губернию орловских мужиков в удобные кирпичные дома под черепичными крышами, построенные для них предыдущим владельцем Райского Николаем Алексеевичем Всеволожским. Мужики использовали подаренные им кирпичные строения в качестве уборных, а сами селились рядом в наспех поставленных деревянных курных (без дымоходов) избах, предпочтя светлому и просторному жилью привычное, закопченное и тесное. Быть может, не так уж они были дики, как казалось Шкотту. «Иностранные маратели бумаг с ужасом кричат 200 лет в один голос, что народ наш живет в черных избах и ест черный хлеб; а того ни один еще не заметил, сколь нужно топить избу в зимнее время, что дым чистит воздух, истребляя испарения»<sup>101</sup>, — писал граф Ф. В. Ростопчин, также переживший увлечение английским плугом, но потом сделавшийся «защитником сохи» и «черной избы». Ростопчин рекомендовал своим оппонентам «поездить по России, посмотреть хорошенько и поговорить с бородами, в коих столько же ума, сколько и здравого рассудка».

Александр Яковлевич достаточного здравого рассудка в «бородах» не разглядел. В лесковской повести «Загон» он рассуждает, почему крестьяне не оценили «улучшенные орудия»:

«— Всё это не годится в России.

— Вы шутите, дядя!

— Нет, не шучу. Здесь ничто хорошее не годится, потому что здесь живет народ, который дик и зол.

— Не зол, дядя!

— Нет, зол. Ты русский, и тебе это, может быть, неприятно, но я сторонний человек, и я могу судить свободно: этот народ зол; но и это еще ничего, а всего-то хуже то, что ему говорят ложь и внушают ему, что дурное хорошо, а хорошее дурно. Вспомни мои слова: за это придет наказание, когда его не будете ждать!»<sup>102</sup>

Правда, говорил это Шкотт уставший и почти разорившийся. Русского крестьянина он изменить не смог, но Лескова научил многому. Это Шкотт расположил «племянника» и к просвещенному европеизму, и — вслед за Семеном Дмитриевичем — к протестантизму, а значит, подготовил и его позднее увлечение толстовством. Это Шкотт продемонстрировал ему впервые, с каким спокойным уважением и вниманием работодатель может относиться к работнику и его нуждам. Однажды в сельской школе, которая стараниями Всеволожского была открыта в Райском, а потом поддерживалась Шкоттом, Лесков увидел рукописный задачник, составленный англичанином, и поразился: придуманные Шкоттом задачи предлагали не складывать, вычитать и умножать абстрактные литры в резервуарах и секунды в часах, а подсчитывать, сколько зерна потребуется для посева, а овчин на полушубок и тулуп, каков вес мытой и немытой шерсти, какое количество подошв можно выкроить из одной шкуры и сколько гвоздей понадобится для изготовления пары сапог. Всё было приспособлено к крестьянским нуждам. Деревенским детям, приходившим в школу, решать эти задачки было, возможно, интересно<sup>103</sup>. И это Шкотт со своими железными английскими плужками, которым русские мужики по-прежнему предпочитали соху, помог потом Лескову придумать прославившую его сказку про то, как русские мастера обездвигили сделанную англичанами механическую блоху-танцовщицу. Наконец, это Шкотт открыл ему Россию, которой он никогда не увидел бы, не начни служить у Александра Яковлевича.

На волне охватившей страну либерализации экономики Александр Яковлевич погрузился в «новую ересь» — открыл вместе с компаньоном собственную торговую компанию «Шкотт и Вилькенс», в которую и пригласил Лескова.

В мае 1857 года губернский секретарь Николай Лесков взял четырехмесячный отпуск и отправился испытать новую жизнь. Призрак свободы, живое дело, наверняка и размер жалованья<sup>104</sup> будоражили воображение, будили надежды.

Штаб-квартира компании располагалась в селе Райском Пензенской губернии.

Для начала Шкотт поручил Лескову принять участие в переводе крепостных графа Перовского из густонаселенных Орловской и Курской губерний в саратовские степи и Жигулевские горы. На новое место крестьяне должны были добираться по суше и потом плыть на барках.

Министр уделов Лев Алексеевич Перовский, один из самых активных и просвещенных российских сановников, выступал за ограничение крепостного права и искоренил немало злоупотреблений. Перовский обратился к Шкотту с просьбой облегчить положение крестьян, переводимых в новые губернии. До графа, вероятно, дошли мужицкие жалобы на грубость и жестокость провожатых, и он попытался принять меры. Если верить Лескову, для этого Александр Яковлевич и призвал его. Рассказав, что крестьян повезет Петр Семенов — «умный мужик, но тиран», хитрый Шкотт предложил «племяннику» сыграть роль миротворца:

«Вот я и хотел бы испробовать эту маленькую конституционную затею, чтобы один казнил, а другой миловал. Отправляйся-ка ты с ними, и вникай, и Петру распоряжаться не мешай, но облегчай, что возможно. Я тебе дам главную доверенность с правом делать всякие амнистии... Официальное значение твое будет высоко над Петром, но ты, однако, смотри — не испортить дело: царствуй, но не управляй. Пусть на Петра жалуются, а ты *только милуй*»<sup>105</sup>.

Предложение это начинающему коммерсанту было, конечно, лестно. Он не мог предвидеть, что угодит в ад.

Лесков был еще довольно молод (26 лет), но уже не неопытен: послужил и в Уголовной палате, и в рекрутском столе, знал, каково человеческое горе, вблизи наблюдал и полное бесправие, и непробиваемость тех, кто обеспечивал бесперебойную работу государственной машины: полицейских, исправников, подкупленных врачей. Казалось, ничем его не удивишь. Но на барках Шкотта ему пришлось — нет, не удивиться — испытать потрясение такой силы, что оно не зажило и в зрелые годы.

Что означало переселение крестьян в конце 1850-х годов? Крепостное право еще не отменили, но разговоры о реформе уже велись\*, и многие помещики торопились за-

---

\* Александру II пришлось 30 марта 1856 года произнести специальную речь перед московским губернским и уездными предводителями дворянства, опровергающую скорое освобождение крестьян: «Слухи носят, что я хочу дать свободу крестьянам; это несправедливо — и вы можете сказать это всем направо и налево; но чувство, враждебное между крестьянами и их помещиками, к несчастью, существует, и от этого было уже несколько случаев неповиновения помещикам» (Конец крепостничества в России: Документы, письма, мемуары, статьи. М., 1994. С. 85).

селить крепостными новые земли. Крестьян сгоняли с обжитых мест, отрывали от родных могил, храма, где крестили детей, венчались, отпевали умерших и они, и их отцы и деды. Увозили от земли, которую они знали наизусть, до последнего перелеска и ручья, до каждого грибного места и земляничника. Хорошо, если их везли семьями; но когда помещик желал сэкономить, жены и дети оставались на прежнем месте. Счастливыми оказывались те, кому доставалось двигаться с обозом, а не плыть.

На барку мужик не мог взять ни любимой лошади, ни привычных вещей: ложек, плошек, корыта, колесного стана. На барке было скучно и тесно. В обозе он мог хотя бы глазеть по сторонам, в городах и местечках заходить на базар, торговаться всласть — всё легче переносить невзгоды.

«Ни на что он не жалуется, и не скучно ему. Ночлег на мокром выгоне, под рваной свитенкою — штука некомфортабельная, но мужичок и о ней мало заботится. Бабу с ребятами на телеге лубком накроет, а сам прислонится на корточках к оглобле или к колесу, подберет под локти свой рогожный плащ, надвинет на брови шляпенку да так и продремлет чутким сном до тех пор, пока на востоке забрезжится первая светлая полоска ранней зари. Да и велика ли летняя ночь тому, кто днем намаялся и спит только одним глазом, а другим смотрит, “как бы чёртов цыган коня не схимостил или хвост не отлямчил”. А пошлет Господь наутро ведрышко — в обозе рай пресветлый: вчерашняя нудьга забыта, на сердце светло, как на небе. Переселенцы обчищаются, оскребаются с острым словом да с прибауточкой, самое горе-то свое осмеют и снова тянутся длинною вереницею в свой дальний путь. Дорогою тоже весело. Идет мужичок по лесу, недозрелый орех найдет: сорвет его, расколупает и дает мальчикам высосать белое, рыхлое тесто сырого плода. Найдет диких пчел, достанет у них медку “губы посластит”; а нет ничего съедобного — сорвет листок с дерева, положит его на левый кулак, а правою ладонью расхлопает; либо из подорожничкового листка конька ногтем вырежет, с встречной бабой приятным словом обменяется, проежнему барину с дороги не своротит (потому — “обоз”, нельзя, значит, воротить). Всё весело, не то что на барке»<sup>106</sup>.

Однако не скука и не расставание с любимой клячей были главной казнью попавших на барки людей. В пути нигде было помыться. В холодной речной воде мужики мыться отказывались, а бабы стеснялись раздеваться при них. Последствия были страшные.

В очерке «Продукт природы» Лесков описывает, как бессовестный провожатый, «тиран» Петр Семенов, осветил фонарем кормящую младенца крестьянку. На груди ее «что-то серело, точно тюль, и эта тюль двигалась, смешиваясь у соска с каплями синего молока, от которого отпал ребенок»<sup>107</sup>. Это были вши, заполонившие всё на барках. Другой эпизод:

«...в довершение картины и для большего мучения моих чувств выскочил какой-то мужичонка и начал тыкать мне в глаза маленького умирающего мальчика, у которого во всех складках тела, как живой бисер, переливали насекомые.

— Вот! — кричал мужик, — вот, смотри это! — а потом он швырнул ребенка на пол, как полено, и обнажил свои покрытые лохмотьями ребра, и тут я увидел, что у него под мышками и между его запавшими ребрами нечто такое, чего не могу изобразить и чего тогда я не мог стерпеть...»<sup>108</sup>

Мужики молили Николая Семеновича помиловать их, дать сойти на берег, в баню: «Осlobони!» Можно ли было не помиловать? Сумрачного и жестокого Петра Семеновича в тот момент не было рядом, и Николай всех отпустил: «С Богом, братцы, только возвращайтесь скорее». 40 человек, благословляя своего спасителя, постанывая, покрикивая, под присмотром старшего быстро уселись в лодку, а ступив на землю... бросились бежать в родные места, к покинутым избам, к брошенным огородам, к любимой реке, к черным баням. Там и помоемся небось.

Беглецов поймали, хорошенько выпороли. Незадачливого сопровождающего отправили назад в Райское — Петр Семенов в одиночку доставил крестьян до места.

Чудовищный, непоправимый провал! Что скажет Шкотт молодому сотруднику? А что тот ответит «дядюшке», так хладнокровно его подставившему?

Но Шкотт только усмехнулся. Искус пройден, Николай, можно работать дальше.

Только мог ли он работать дальше? После такого жуткого урока он так же, как мужики рванули домой, должен был рвануть в Киев, в Казенную палату. Там скучно, зато понятно, действуют ясные правила, а самое страшное насекомое — муха, проснувшаяся по весне. И никаких двусмысленностей, никаких «царствуй, но не управляй».

Он думал, взвешивал, всматривался в покинутую чиновничью жизнь. Отчетливо видел: в составлении бумаг с разъяснениями правил рекрутского набора и указанием сумм на канцелярские расходы, в сонном восхождении по лестнице

чинов, в постоянной оглядке на начальство и невольном соучастии в его грехах подрагивало безвкусное желе предсказуемости, несвободы, смерти. Хотелось жить. Пусть с завшивевшими мужиками, их больными детьми и бабами, пусть с горькими обидами и погружением в черную, безысходную русскую тоску. И Лесков сделал следующий, самый большой шаг навстречу своему призванию: в сентябре 1857 года, по окончании четырехмесячного отпуска, подал прошение об увольнении с коронной службы «по болезни» и стал работать у Александра Яковлевича Шкотта на постоянной основе.

Когда уже пожилого Лескова спросили, откуда он черпал материал для своих произведений, он указал на свой лоб: «Вот из этого сундука. Здесь хранятся впечатления 6—7 лет моей коммерческой службы, когда мне приходилось по делам странствовать по России; это самое лучшее время моей жизни, когда я много видел», — и добавил через паузу: «Мне не приходилось пробиваться сквозь книги и готовые понятия к народу и его быту. Я изучал его на месте. Книги были добрыми мне помощниками, но коренником был я. По этой причине я не пристал ни к одной школе, потому что учился не в школе, а на барках у Шкотта»<sup>109</sup>.

«Барки Шкотта» действительно заменили ему системное образование, стали основным источником знаний о России, о коммерции и экономике, о русских людях. «На барках Шкотта» — метонимия: на самом деле и на тарантасах, бричках, повозках, в избах, на постоянных дворах, в грязных и чистых гостиницах, в вечной дороге. «Барки Шкотта» и в самом деле оказались чудесным бездонным сундуком, из которого долгие годы Лесков черпал и черпал сюжеты, сцены, лица, слова. «Барки Шкотта» сформировали его как писателя. Служба в коммерческой компании, возможно, стала главным, что случилось с ним в писательской жизни. Без нее Лесков, скорее всего, вообще не смог бы сочинять прозу; во всяком случае, она была бы совершенно иной.

Но куда он ездил, зачем?

Компания «Шкотт и Вилькенс» занималась тем, что сегодня назвали бы аутсорсингом:

«...мы и пахали, и свекловицу сеяли, и устраивались варить сахар и гнать спирт, пилить доски, колоть клепку, делать селитру и вырезать паркеты — словом, хотели эксплуатировать всё, к чему край представлял какие-либо удобства.



За всё это мы взялись сразу, и работа у нас кипела: мы рыли землю, клали каменные стены, выводили монументальные трубы и набирали людей всякого сорта, впрочем, всё более по преимуществу из иностранцев»<sup>110</sup>.

Понятное дело, иностранцам Шкотт доверял больше.

В Райском образовалась целая колония сотрудников компании, среди них и Лесков. Он трудился контрагентом, по сути — подрядчиком: принимал заказы на тот или другой вид работы. Заказчики компании жили не только в Пензенской губернии, и Лесков ездил от Астрахани до Рыбинска, от Каспия до Невы. В Среднем и Нижнем Поволжье он познакомился с башкирами, татарами, там узнал и изучил конское дело. Всё это — орловские поместья с конными заводами, «азиатская ярмарка» в Пензе, заволжские степи, пахнущие полынью и овцой, Нижний с его крупной торговлей, горячий песок Бугского лимана под Николаевом, ледяной простор Ладоги, шумные балаганы на Адмиралтейской площади в Петербурге — отзовется потом, впитается в его рассказы, раскинется в «Очарованном страннике» бескрайней ширию. Но пока контрагент Лесков просто катил в тарантасе.

«В тарантасе» — так назывался один из первых его очерков, без сюжета, без активного действия, явно списанный с натуры. Весь он — вереница разговоров, которые вели в дороге купец, приказчик большого коммерческого дома, два молодца при нем и торговый крестьянин. Эти истории, анекдоты, легенды, услышанные от случайных попутчиков, и были главной отрадой начинающего очеркиста Лескова.

Постепенно шуточные перебранки, обмен байками, прибаутки — живые ростки устной речи — разрастутся в цветные полотна сочного нарратива. Лесков уже тогда влюблен в «самовитое слово», уже тогда идеально его слышит, хотя всерьез играть с языком начнет еще не скоро, пока только копит материал, сам того не осознавая.

Осознать это ему помогли. Так, по крайней мере, он сам рассказывал, утверждая на закате жизни, что первое читательское признание получил именно в дни коммерческой службы, отсылая в Райское письма с отчетами. Писал он их до того «интересно, что, когда в доме Шкотта получался синенький конвертик, все домашние и бывавшие у него часто соседи говорили “от Лескова” и заставляли хозяина читать письмо вслух»<sup>111</sup>.

Так и выяснилось: контрагент Лесков не только трудолюбив и сметлив — у него отменный слог, бери выше — дар описывать дорожные приключения и людей занятно, язвительно, узнаваемо. О том, что подмечал в своих странствиях Лесков, не писали ни в газетах, ни в книгах. И его письмами зачитывались; слушая их, покатывались со смеху; их цитировали, ими гордились. Их похвалил заезжавший в гости к Шкотту помещик Федор Иванович Селиванов, владелец соседней деревни Боголюбовки и еще одной, Богословки, той же Пензенской губернии. (Позднее, когда Шкотта не стало, — а умер он, оставив родных почти без средств, — Селиванов приобрел Райское у его вдовы.)

В «Заметке о себе самом» (1890) Лесков писал о себе в третьем лице:

«Он изъездил Россию в самых разнообразных направлениях, и это дало ему большое обилие впечатлений и запас бытовых сведений. Письма, писанные из разных мест к одному родственнику, жившему в Пензенской губернии (А. Я. Шкот[t]у), заинтересовали Селиванова, который стал их спрашивать, читать и находил их “достойными печати”, а в авторе их пророчил “писателя”»<sup>112</sup>.

Вот так контрагент и превратился в писателя.

Инициалы Селиванова в «Заметке...» были благоразумно опущены.

Лесков незаметно заменил одного Селиванова, доброго соседа Шкотта по имению, другим — известным писателем. Само собой, читатель, о Федоре Ивановиче Селиванове не ведавший, решал, что речь идет об Илье Васильевиче Селиванове (1809—1882), авторе криминальных очерков из народного быта, одном из родоначальников детективного жанра в России. Прозу Селиванова в конце 1850-х с удовольствием публиковали самые разные издания, в том числе некрасовский «Современник». Его очерки выпускались и отдельными сборниками, самый известный — «Провинциальные воспоминания» — закрепил за сочинителем звание «автор “Провинциальных воспоминаний”». Лесков Селиванова внимательно прочел и нет-нет да и ссылался на него<sup>113</sup>. Только вот в конце 1850-х, когда Лесков разъезжал по делам компании «Шкотт и Вилькенс», Селиванов-писатель жил в Москве и возглавлял тамашнюю Уголовную палату. Имение его жены Малое Маресево отстояло от Райского примерно на 200 верст, так что регулярно «спрашивать и читать» письма Лескова, тем более находить их «достойными печати» Илья Васильевич не имел физической возможности.

Вся эта вполне намеренно устроенная Лесковым путаница понадобилась ему по очевидной причине: так домашние похвалы доброго соседа, почти ровесника, вероятно, и в самом деле звучавшие, превращались в благословение известного писателя на занятие литературой.

Дебют Лескова в художественной прозе состоялся довольно поздно. Он пришел в российскую словесность словно бы ниоткуда. Спрыгнул на литературный берег с барки Шкотта. Вообще-то подобным образом в 1860-е в литературу приходили многие. Но Лескову было от этого не по себе. Судя по всему, даже в поздние годы ему так и не удалось изжить комплекс литературного самозванца.

И всё же одного совпадения фамилий было бы, конечно, недостаточно. Но Илья Селиванов имел еще и достойную репутацию: просветитель крестьян, один из первых в Пензенской губернии отпустивший своих крепостных на «вольный оброк», автор очерков, о коррупции и беззаконии в уездных судах. В литературные покровители Лесков назначил себе пусть и не перворазрядного писателя, но порядочного человека и либерала.

Интересно, что Селиванова в роли крестного отца Лескову всё же показалось мало; в «Заметке о себе самом» он упоминает, что первые его литературные опыты одобрял и другой известный литератор: «Беллетристические способности усмотрел и поддерживал или поощрял Аполлон Григорьев»<sup>114</sup>. Лесков явно колебался, каким словом лучше обозначить отношение Аполлона Александровича к его «беллетристическим способностям». Один из двух глаголов — «поддерживал» и «поощрял» — здесь явно лишний, а будучи разделены союзом «или», они окончательно запутывают читателя: так поддерживал или всё же поощрял? или и то и другое? Но зачем тогда «или»?

Увы, ни в одной из известных на сегодняшний день работ Аполлона Григорьева имя Лескова, как и Стебницкого (псевдоним, которым Лесков подписывал свои публикации в 1860-е), не встречается. Григорьев умер осенью 1864 года; к этому времени Лесков как беллетрист успел опубликовать всего несколько сочинений, хотя среди них были объемный рассказ «Овцебык», повесть «Житие одной бабы» и больше половины романа «Некуда». Заметил ли эти тексты начинающего литератора маститый коллега, в последний год жизни писавший преимущественно о театре? Нет никаких свидетельств ни об этом, ни о симпатии Григорьева к отдельным персонажам «Некуда», кроме упоминаний самого Лескова<sup>115</sup>. Правда, оба одновременно сотрудничали с жур-

налом братьев Михаила и Федора Достоевских «Время», а в журнале «Якорь», возглавляемом Григорьевым, был опубликован ранний очерк Лескова «Язвительный» за подписью «М. Стебницкий». Установить степень участия Григорьева в выходе «Язвительного» сложно — он в то время постоянно пренебрегал своими редакторскими обязанностями. Но, быть может, именно факт этой публикации позволил Лескову говорить об одобрении со стороны известного критика.

Правда, во второй половине XIX века и «передача лиры» вовсе не воспринималась как обязательный элемент писательской биографии. Во всяком случае, литераторы лесковского, а тем более следующего поколения, в том числе Блок и Бунин, вспоминая начало своего творческого пути, как правило, не упоминали о благословлявших их старших коллегах по цеху<sup>116</sup>. Тем не менее Лесков решил обезопасить себя от возможных упреков в самозванстве.

Поступив на службу к Шкотту, он постоянно находился в разъездах. Ольга Васильевна с дочерью и прислугой переехала в Райское и жила в новом флигеле, построенном специально для сотрудников компании. Жила, видимо, неплохо. 29 сентября 1859 года Шкотт рапортовал «племяннику» в Москву, где тот был по делам компании: «С[ело] Райское. Сижу в кабинете и занимаюсь управительскими делами, обе барыни сидят возле меня, обе очень растолстели, равно и Верочка. <...> Насчет твоей семьи ты можешь быть покоен, если что я не одобряю, то за грех считаю молчать, и сейчас всё поправляется, вчера я предлагал денег, но в них особой надобности еще нет, потому что 8 р[ублей] сер[ебром] еще есть от вырученных за солод. Обедаем вместе, хозяйки завели между собой очередь»<sup>117</sup>.

Лесков бывал дома нечасто, что, по-видимому, продлило его семейную жизнь еще на несколько лет.

Как вдруг всё оборвалось. Дела компании шли всё хуже. Император Александр II, всеми силами пытаясь вытащить страну из ямы, в которой она оказалась после Крымской войны, либерализовал торговлю, но это привело только к новому экономическому спаду. Шкотт, несмотря на упорство, хватку и ум, разорялся. На все неприятности наложилась еще и размолвка с «племянником», о которой сохранились глухие намеки. В мае 1860 года компанию «Шкотт и Вилькенс» пришлось ликвидировать. Лесков с семьей был вынужден вернуться в Киев.

## Вольный стрелок

Покинув Райское, Лесков надеялся найти в Киеве новое место на коммерческой службе, сладость которой уже вкусил. Но одно дело, когда тебя приглашает поработать глава компании, другое — когда ты сам просишься к незнакомым людям. Причисление к дворянскому сословию, когда-то с трудом выслуженное отцом, теперь оказалось препятствием, и неодолимым. «...торговые деятели смотрят на всякого соискателя торговых занятий, не принадлежащего к купеческому роду и не выросшего в приказчиьей среде, как на человека, не способного к делу, “дворянчика”, “белоручку”», — писал Лесков в заметке «О соискателях коммерческой службы». И почти с отчаянием, явно опираясь на личный опыт, добавлял, что «встречал от представителей торговли только советы обратиться за приобретением мест чиновников для поручений или следователей, мест, к которым он не чувствует никакого призвания»<sup>118</sup>.

Ссылки на «опыт работы» не помогали. Брать чужака, белоручку-дворянина, да еще много о себе понимающего (к этому моменту Лесков уже написал и отослал в столичный журнал основательные «Очерки винокуренной промышленности»), никто не хотел. Возможно, Шкотт мог бы снабдить «племянника» рекомендациями, но они расстались более чем прохладно. А в ближайшем кругу дядюшки Сергея Петровича были одни лишь доктора да профессора.

Оказавшись предоставлен сам себе, Лесков охотно заходил в книжные магазины, а уж когда появлялось что-нибудь стоящее — тем более. В мае 1860 года в свет вышло Евангелие на русском языке.

После публикации первого полного перевода Четвероевангелия с церковнославянского на русский язык прошло почти 40 лет, книга давно стала раритетом. В 1826 году с запретом деятельности Российского библейского общества замерла и работа над переводом Священного Писания. В 1858 году император Александр II позволил, наконец, переводить Библию под руководством Синода. Работа закипела, и в 1860 году обновленный перевод Евангелия вышел в Синодальной типографии в Санкт-Петербурге<sup>119</sup>. Едва том появился в продаже, многие отправились за ним в книжные лавки. Киевляне — к Степану Ивановичу Литову. Цена была объявлена заранее — 20 копеек. Но с рубля Лескову сдали 60 копеек! Он изумился: отчего книга продается в два раза дороже? Ему ответили грубостью: «Не берите; и по этой цене уже все почти разобраны, а еще никто не спорил»<sup>120</sup>.

Но правдолюбец Лесков, хотя и взял книгу, всё-таки решил поспорить, да не в лавке с невежливым приказчиком, а в печати. Так Лесков-журналист и появился на свет.

Об этом инциденте он написал дважды: кратко — в анонимной заметке, развернуто — в небольшой статье. Заметку опубликовал еженедельный петербургский журнал «Указатель экономический»:

«Это удвоение цены особенно отражается на посещающих Киев богомольцах, которые всегда покупают в Киеве книги духовного содержания, но которые так бедны, что нередко 20 к[опеек] с[еребром] составляет весь наличный капитал пешехода-богомольца. Переплатить лишний двутри-венный для него есть уже разорение, и он принужден отказать себе в приобретении Евангелия, недоступного для него по цене»<sup>121</sup>.

Статья, названная попросту «Корреспонденция», вышла в «Санкт-Петербургских ведомостях» 21 июня 1860 года с подписью «Н. Лесков», а затем была перепечатана журналом «Книжный вестник».

Она и считается первым лесковским выступлением в печати<sup>122</sup>. Многие писавшие потом о Лескове разглядели в этом дебюте символический смысл: писатель, который стал исследователем русской религиозности, проповедовал в публицистике и прозе свободное «евангельское» христианство, начал с заметки о распространении Нового Завета на современном русском языке. Красиво. Недоброжелатель без труда разглядел бы здесь символ иного рода, предвещавший скандал с «Некуда»: Лесков начал журналистскую карьеру с кляузы на владельца книжной лавки, постоянным посетителем которой он являлся. Литов, очевидно спасая репутацию, пытался противостоять перепечатке «Корреспонденции» Лескова в «Книжном вестнике», но не преуспел, а кончилось всё тем, что продажа Евангелий в его магазине была прекращена<sup>123</sup>.

И всё же «Корреспонденция» — лишь первое *подписанное своим именем* выступление Лескова в печати. По-настоящему первой его публикацией стала заметка о распространении трезвости, вышедшая в «Московских ведомостях» за подписью «Н. Г-в»<sup>\*124</sup>. Однако сам Лесков назвал «первой пробой

---

\* Н. Г-в (Николай Горохов) — один из псевдонимов Лескова, по названию его родного села Горохова.

пера» другую свою работу — большую статью «Очерки винокуренной промышленности (Пензенская губерния)», которую он, по-видимому, написал еще до отъезда из Райского<sup>125</sup>, хотя в свет она вышла уже после «евангельских» заметок.

В «Очерках...» Лесков основательно разобрался в проблемах производства спирта из зерна в Пензенской губернии, привел таблицы расходов и доходов винозаводчиков и пришел к заключению, что помещики-землевладельцы, которым правительство предоставило льготы для развития винокурения, предпочитают получение быстрой прибыли радению о процветании сельского хозяйства в России. Лесков писал, как подчинить винокуренную промышленность интересам сельского хозяйства. Нужно кормить скот отходами производства (бардой), а не сливать их в реку и пруды, как делают пензенские винозаводчики, навозом утучнять поля и так получать лучший урожай. Имея дополнительный корм, можно держать больше голов рогатого скота, откармливать его за зиму и в начале весны продавать с выгодой. Но всё, что требовало дополнительных усилий, пензенским заводчикам было не по вкусу.

Из этого следовало, что «покровительственные меры правительства, вверившего винокурение помещикам», не достигают цели и, значит, важно предоставить возможность заняться производством водки («хлебного вина») не одному привилегированному классу, а «вообще, без различия сословий, всем лицам, владеющим землею и занимающимся возделыванием ее: от этого вино как нужный для правительства продукт нимало бы не вздорожало, а земледелие заметно улучшилось бы»<sup>126</sup>.

Итак, Лесков предлагал лишить дворянство монополии на винокурение, допустить к производству водки оборотистое купечество, которое выгоды своей не упустит и, конечно, станет откармливать скот бардой (что уже и делает, арендуя у помещиков земли и заводы), — что будет способствовать развитию сельского хозяйства. В начале 1860-х годов, в эпоху экономических реформ, когда сильна была жажда обновления, статья Лескова соответствовала духу времени:

«Мы стали чувствовать дыхание новой атмосферы; освежающий воздух пробуждает нас от долгой томительной дремоты; и теперь только, раскрыв глаза, мы замечаем, как тесны, как жалки рамки нашего экономического быта. <...> Мы пришли к сознанию своей слабости, и это сознание составляет наше благо: оно залог нашего лучшего будущего»<sup>127</sup>.

То, о чем писал Лесков, не было оригинально и ново. Он формулировал проблемы давно назревшие. Наступило время их решать, и в 1863 году монополия дворянства на винокурение была отменена.

Пространная статья Лескова обнаруживала в нем человека дельного, осведомленного, практика, к тому же отлично владеющего слогом; ничто не выдавало, что автор — недоучившийся гимназист. Очерки о винокурении не принесли ему литературной славы; но всё же статья была опубликована в четвертом номере за 1861 год «Отечественных записок» — известного петербургского журнала, издаваемого А. А. Краевским, несопоставимого по популярности с «Указателем экономическим». «Очерки винокуренной промышленности» — не дебютная, но первая серьезная публикация Лескова. На вырезке ее из журнала сохранилась собственноручная запись автора:

«Лесков  
1-я проба пера.  
С этого начата литературная работа  
(1860 г.)».

Первая проба пера ждала выхода в свет около года; за это время Лесков из провинциального публициста «по мелочи» успел превратиться в профессионального журналиста. Это превращение случилось во многом вынужденно, и главной его причиной стало, похоже, отсутствие работы. В уже знакомой нам по истории с Селивановыми автобиографической заметке Лесков признавался:

«Писательство началось случайно. В него увлекли Лескова сначала профессор Киевского университета, доктор Вальтер, убедивший Лескова написать фельетон для “Современной медицины”, а решительное закабаление Лескова в литературу произвели опять тот же Громека и Дудышкин с А. А. Краевским. С тех пор всё и пишем»<sup>128</sup>.

Степан Степанович Громека, чиновник и литератор, автор разоблачительных очерков «О полиции вне полиции» (1857—1859), очевидно, был знаком с начинающим журналистом Лесковым; влияние его умеренного либерализма отчетливо различимо в ранних лесковских статьях.

Критик Степан Семенович Дудышкин и журналист Андрей Александрович Краевский возглавляли «Отечественные записки», в третьем номере которых за 1861 год были



Искрове

1<sup>я</sup> проба пера.

Съ 27-го ноября 1860 г.

## ОЧЕРКИ ВИНОКУРЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

(ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНІЯ).

Урожай у насъ — богатъ виною, вино-  
мъ — глѣзъ, вино Богъ продалъ. Цѣна на  
вино высока — стало бытъ, вино купитъ  
каждый; вино вино — вино купитъ каждый.

П. Искрове

Винокуренье, вино само-собой, какъ  
отраза промышленности, въ Россіи имѣетъ  
еще самую важность, если взглянуть на  
него съ точки зрѣнія виною, виною  
чужихъ интересовъ. Тестировать.

Съ нѣкотораго времени мы начинаемъ сознавать, что въ дѣлѣ на-  
роднаго благосостоянія мы шли по пути заблужденія, въ которомъ  
прежнее самодовольство заставляло насъ встрѣчать всякія про-  
тиворѣчія всякую пору, мысля, всякій новый пріемъ къ измѣненію  
или развитію какого-либо экономическаго начала. Мы стали чувстви-  
тельнѣе духавію новой атмосферы, освежающій воздухъ пробуждаетъ  
насъ отъ дѣловой томительной дремоты, и теперь только, раскрывъ  
глаза, мы замечаемъ, какъ тѣсно, какъ жалки рамки нашего эко-  
номическаго быта. Теперь только мы видимъ во всей наготѣ свое  
прежнее упрямство и сопротивленіе всякому движенію, посланному  
въ близлежащихъ формахъ нашего народнаго хозяйства. Замалили глѣ-  
заваніе насъ оцѣнки, и дѣятельность, коимъ своимъ го-  
лодъ, обивающій жалкое состояніе нашей торговли, промышленности  
и сельскаго хозяйства. Съ сѣрными чувствами мы имѣемъ со-  
бы въ предѣлахъ сознания всякихъ тѣхъ. Према и послѣдствія по-  
исчерпаннаго источника, изглажена Бирона. Мы пришли къ созна-  
нію своей слабости, и это сознание составляетъ наше будущее, оно  
задаетъ намъ лучшее будущее. Мы становимся уже не только, но  
которому оверкини насъ паролъ стало духъ къ своей цѣ-

«Очерки винокуренной промышленности» автор называл  
своей первой пробой пера. «Отечественные записки». 1861 г.

опубликованы статьи Лескова «Сводные браки в России», «О найме рабочих людей», «Практическая заметка», а затем и «Очерки винокуренной промышленности». Дудышкин Лескову благоволил и уже после катастрофы с «Некуда» заступался за него перед Краевским.

Упомянутый в автобиографической заметке профессор анатомии Киевского университета Александр Петрович Вальтер был добрым приятелем Сергея Петровича Алферьева. Медицине он учился сначала в Дерпте, у знаменитого хирурга Николая Ивановича Пирогова, затем в Берлине и Вене и в годы учения подхватил вирус просветительства. Вместе с доктором Григорием Даниловичем Деньковским доктор Вальтер начал выпускать в Киеве еженедельник «Современная медицина», посвященный «интересам русской медицины и физиологической школы»<sup>129</sup> и предназначенный для специалистов. Но многие медицинские темы были под силу и начинающему публицисту Лескову. Его первая развернутая заметка «О зданиях» посвящалась ужасающему состоянию отхожих мест в тюрьмах, школах, присутствиях. Поминал там Лесков и нашумевший очерк фольклориста Павла Якушкина, арестованного в Псковской губернии и обнаружившего, что в арестантской нельзя ни есть, ни лечь, потому что лавок в камере нет, а заключенные вынуждены «паскудить» прямо на пол.

«Чрезмерно большую цифру безвременных могил в России»<sup>130</sup> Лесков прямо связывает с дурным устройством отхожих мест и напоминает, что смертность в ней превышает аналогичный показатель в Англии почти в два раза. Но эта статья, как и следующая, «О рабочем классе», продолжившая тему гигиены уже в связи с бытом рабочих, не вызвала никакого резонанса — Лесков обсуждал вещи общеизвестные, о которых регулярно писали и другие издания. Зато одна из последующих публикаций сыграла в жизни нашего героя роль почти роковую.

Так и не сумев найти место в коммерческой компании, Лесков поступил, наконец, на государственную службу, в канцелярию киевского генерал-губернатора Васильчикова, а затем добился места следователя по криминальным делам<sup>131</sup>. То, чего он страшился, о чем обреченно говорил в заметке о коммерческой службе (искателю места коммерческой компании все советуют идти «в чиновники для поручений или следователи») и к чему не чувствовал «никакого

призвания»<sup>132</sup>, свершилось. Он не желал становиться следователем, потому что слишком хорошо знал — не только из полицейских и криминальных очерков Степана Громеки и Ильи Селиванова — и о коррупции, и о сговоре полиции с преступниками, и вообще о том, как соблюдаются в России законы. Знал, что честные одиночки, подобные его отцу, в бытность судебным заседателем не терпевшему компромиссов, были обречены. Знал — но деваться было некуда.

Однако всё оказалось даже хуже, чем он мог себе вообразить.

Новоиспеченному следователю Лескову, как нарочно (а возможно, именно нарочно, дабы проверить новичка), дали дело мутное, скользкое — о ночном ограблении полицейскими двух честных киевских граждан, чиновника Кунцевича и дворянина Логашевского. В паре с ним расследование предстояло вести штабс-капитану корпуса жандармов Крижицкому. Тот, калач тертый, пояснил новенькому без обиняков: дело лучше замять, полицейских выгородить<sup>133</sup>. Из соображений не только нравственных, но и совершенно прагматических — с первого же дня новой службы вступать в топь коррупции было нерасчетливо — Лесков этого и не захотел. Но оглядеться, укрепиться, разобраться в правилах игры ему не дали.

Шанс, что губернскому секретарю позволят проявить принципиальность, существовал — если бы как раз в эти дни, 6 октября 1860 года, в «Современной медицине» не вышла его заметка «Несколько слов о полицейских врачах в России». Это была уже вторая статья задуманной А. П. Вальтером серии; первая, «Несколько слов о врачах рекрутских присутствий», посвященная механизму поборов с рекрутов, появилась как раз в день зачисления Лескова на службу, 15 сентября, но прошла в общем тихо. А вот новая, задевавшая интересы гораздо более широкой части медиков, вызвала шум. Подписана она была, как и предыдущая, не без кокетства — Фрейшиц. По немецкому поверью, вольный стрелок — *Freischütz* — заключил договор с нечистой силой, а потому стрелял без промаха; образованному русскому читателю персонаж был знаком по знаменитой опере Карла Марии фон Вебера «Вольный стрелок», в основу которой легла одноименная новелла Иоганна Августа Апеля и Фридриха Лауна.

Выстрелы «Фрейшица» направлены были в сердце государственной российской кровеносной системы — кор-

рупцию. Статья открывалась эпитафией из «Ревизора» — в ранней публицистике Лесков вообще постоянно ссылаясь на Гоголя, словно бы навсегда задавшего матрицу описания чиновничьей России. «Это уж так самим Богом устроено, и вольтерьянцы напрасно против этого восстают», — цитирует автор слова гоголевского городничего Сквозник-Дмухановского, объяснявшего чиновникам, что у всякого человека есть «грешки».

Лесков подробно перечисляет основные статьи незаконных доходов уездных врачей, которые получают мзду за покровительство самых разных медицинских беззаконий на базарах, в булочных, кондитерских и публичных домах. К официальному годовому жалованью полицейского врача в 200 рублей серебром прибавляется, по подсчетам Лескова, около 4255 рублей — если речь идет об обычном уездном городе с 57 тысячами жителей. Лесков почти оправдывает врачей, раскрывая секрет Полишинеля: на взятки их обрекает нищенское официальное содержание: «Мы... протестуем против равнодушия тех, кто, зная невозможность существовать на 200 руб. годового содержания, не задает себе даже вопроса, чем поддерживается их существование»<sup>134</sup>, — и резюмирует:

«Пора бы и очень пора открыто поговорить, каким образом завести, вместо врачей-взяточников, просвещенных и добросовестных медиков, на недостаток которых теперь уже нельзя опираться. Одна беда — их годовой труд нельзя приобрести за такое ничтожное возмездие, которым обходятся теперешние горе-врачи, а этой-то беде нужно помочь во что бы то ни стало»<sup>135</sup>.

Удар по репутации полицейских врачей оказался настолько метким, что после первых возражений, опубликованных на страницах той же «Современной медицины» и в выходившем в Санкт-Петербурге «Друге здравия», сводившихся к тому, что обвинения Лескова огульны и напрасно задевают честь всей медицинской корпорации, в Киев пришел запрос министра внутренних дел Сергея Степановича Ланского. Министр указывал генерал-губернатору на необходимость прекратить описанные в статье злоупотребления, а если «статья заключает в себе лишь одну клевету», подвергнуть взысканию ее автора и редактора газеты<sup>136</sup>.

Запрос министра был получен 1 ноября 1860 года, а уже на следующий день Лескова отстранили от расследования

дела о совершённом полицейскими ограблении. Стало очевидно: новый следователь небезопасен. Отчасти повторилась история литературного наставника Лескова, Громеки, уволенного с государственной службы из-за цикла очерков о злоупотреблениях полиции, опубликованных в тогда еще либеральном журнале «Русский вестник». Служивший полицейским чиновником на Николаевской железной дороге Степан Громека писал свои очерки с натуры, но правда слишком больно колола глаза.

На счету Лескова к тому моменту было уже три публикации в местной газете, про полицейских врачей — четвертая; кто мог поручиться, что пятой не станет заметка о том, как полицейские сначала грабят честных граждан, а затем пытаются замять дело? Вольного стрелка необходимо было обезоружить. Но как? Не убивать же его, в самом деле. Поступили хитрее и не без извращенного остроумия — обвинили во взяточничестве самого Лескова. Интрига свелась к тому, чтобы доказать, что следователь Лесков вместе со штабс-капитаном Крижицким вымогал деньги у главного обвиняемого по делу об ограблении, полицейского пристава Крамалея. Даже «своего», Крижицкого, решено было, похоже, принести в жертву — до такой степени хотелось избавиться от следователя-публициста.

Жандармский подполковник Грибовский и чиновник особых поручений надворный советник Руккер произвели секретное дознание и сообщили о его итогах в рапорте губернатору.

Лесков пытался оправдаться. В подробном письме Васильчикову он объяснял, что не стал бы в первом же, испытательном, деле действовать столь «неестественно», что, конечно, не бросился бы «на первую подачку» и что вымогать деньги при свидетеле (Крижицком) не было никакой надобности, учитывая, что Крамалей предлагал ему встретиться на своей квартире и принять благодарность. Лесков называл губернатору и тех чиновников, с которыми советовался о расследуемом деле, посвящая их во все подробности, — вот кого можно было бы расспросить и убедиться в полной его невиновности. Добавим: эти чиновники могли бы и заступиться за Лескова, но, понятно, не стали. Завершалось письмо печально и предсказуемо: «В заключение моего объяснения позволяю себе доложить Вашему сиятельству, что я не могу нести безвозмездного служения, а к должности судебного следователя признаю себя не-

способным и потому, имея в виду другие занятия, нахожу необходимым просить у Вашего сиятельства распоряжения об освобождении меня от государственной службы»<sup>137</sup>. Он сделал единственное, что мог в этой ситуации и чего от него ждали, — вышел из игры.

Параллельно шло разбирательство вокруг статьи о полицейских врачах. И Лесков, и Вальтер написали подробные объяснения: доказать факты, приведенные в заметке, невозможно, о них все знают, но никто никогда по доброй воле не признается в лихоимстве; целью статьи было не наказать конкретных людей, но «путем литературным изыскать меры лучшего вознаграждения тех врачей по службе»<sup>138</sup>. Васильчиков предложил министру оставить дело без последствий, тем всё и завершилось. Просьбу Лескова об отставке губернатор наверняка прочитал с облегчением.

Остаться в Киеве было невозможно. Лесков оказался замешан сразу в двух скандалах, журнальном и полицейском, и теперь не только коммерческая, но и государственная служба стала для него недоступна.

В «Указателе экономического» от 19 ноября появляется анонимное «Извещение об ищущем места», очевидно, написанное Лесковым:

«Русский человек, не лишенный некоторого образования научного и практически приспособленный к торговому делу, знающий близко жизнь и потребности разных мест России от Саратова до Житомира и от С.-Петербурга до Одессы и не замеченный в склонностях не полагать границы между хозяйским и своим добром, предлагает кому угодно из торговых обществ или частных лиц избавить его от голодной смерти, купив его труд за такое вознаграждение, какого он окажется достойным по оценке. Предлагающий свои услуги, зная слабый кредит писанных аттестаций, желает принять обязанности с условием: всякое его движение, клонящееся ко вреду хозяйских интересов, предать общественному суду, путем печатной гласности, и находит такое условие достаточною гарантией за добросовестность своих действий. Те, кому нужен такой рабочий человек, благоволят открыть свои требования редакции “Экономического указателя”. Соискателю работы 30 лет от роду, и он — и телом, и умом здоров.

Он может представить за себя и обеспечение в женом недвижимом состоянии до 9 тыс[яч] руб[лей] сер[ебром]»<sup>139</sup>.

Возможно, этот крик отчаяния был услышан: с декабря Лесков числился представителем фирмы Биккенса, занимавшейся удобрением земель в Киевской, Волынской и Подольской губерниях. Но уже в двадцатых числах января он оставил эту службу<sup>140</sup>.

Безработное положение главы семьи вряд ли способствовало мирной семейной жизни. За душой у Лескова было несколько заметок, опубликованных в киевской «Современной медицине» и в петербургском «Указателе экономического». Главный редактор «Указателя...» Иван Васильевич Вернадский, очевидно, и пригласил Лескова в Петербург.

Он уже бывал там, гулял по Невскому, дивился на Медного всадника, рождественские витрины и ледяную сияющую Неву. Но то были поездки по делам компании Шкотта. Теперь он ехал не принимать на таможне машины из-за границы. Он ехал на писательство.

---

---

Глава третья  
**ЖУРНАЛИСТ**

*Вот и приходит Петр Петрович ко мне: «проедемтесь, батенька, в санках! первопуток!»*

*— Помилуйте, Петр Петрович, до санок ли мне! — воскликнул я, вскакивая из-за стола и кидая перо. — Мне надо на воскресенье написать фельетон, ничего в голову нейдет, а вы зовете кататься на санках...*

Н. С. Лесков. Санный путь

*Голубенький, чистый  
Подснежник-цветок!  
А подле сквозистый,  
Последний снежок...  
Последние слезы  
О горе былом  
И первые грезы  
О счастье ином...*

А. Н. Майков. Весна

**У Вернадского**

«В весеннем воздухе есть какое-то странное возбуждающее свойство: всякий человек как будто оживает; как будто новая, свежая кровь льется по его жилам. Душа требует мысли и деятельности. Мне кажется, что это самое чувствуют у нас теперь все благодаря тому времени, в которое нам пришлось жить, — писала в феврале 1858 года, вскоре после создания Главного комитета по крестьянскому делу, Мария Николаевна Вернадская, первая в России женщина-экономист. — Конечно, ни одна весна не может обойтись без того, чтоб не сломалось несколько колес и не заболело несколько лошадей; все это знают, но, несмотря на это, всякому живется как-то привольнее! Как всякой весной является множество вопросов, о которых не было и помину зимой... так и в наше время в сфере общественной явилось множество вопросов, важных и интересных, полезных и благородных, о которых прежде и не думали»<sup>141</sup>.



Лесков угодил в литературу в это весеннее, нервное, но счастливое время, когда всё вокруг дышало новизной и грезило о «счастье ином», как в те же самые годы писал поэт Аполлон Майков, включивший потом стихотворение об этом в цикл «На воле».

Время *воли* — эпоха реформ — началось, как известно, раньше календарных шестидесятых годов — с воцарением Александра II в 1855-м. Россия вкусила, пусть и совсем ненадолго, свободу слова. Под дождем гласности начали стремительно, как грибы, множиться новые газеты и журналы — в конце 1850-х — начале 1860-х они вырастали целыми полянами.

Российская пресса давно не переживала ничего подобного. В 1850 году, например, появилось всего одно новое периодическое издание — официальная газета «Ставропольские губернские ведомости», в 1852-м — четыре: три научных журнала и «Саратовские губернские ведомости». И так все семь мрачных лет, пока действовал Бутурлинский комитет — секретный орган, созданный Николаем I для надзора «за духом и направлением» российской печати. Весной 1855 года комитет был закрыт, и, хотя официальные цензурные правила смягчили спустя еще несколько лет, начали выходить десятки новых периодических изданий разной степени глубины — от академических до литературных, от педагогических и детских до развлекательных. Рекордсменом стал 1858 год, когда в России было зарегистрировано 59 новых изданий<sup>142</sup>. Замечательно, что изрядная их часть — уличные листки, юмористические, шуточные эфемериды: «Бардадым», «Бессонница-шутница», «Весельчак», «Дядя шут гороховый», «Ералаш», «Попугай», «Пустомеля», «Пустозвон», «Шутник», «Фонарь», «Чепуха», «Юморист». Один из таких листков, «Щелчок», сообщал, что его редакция «находится в кармане, карман в сюртуке, сюртук на редакторе, а редактор в Петербурге». Еще задорнее брэнчала «Бесструнная балайка» — «листок забавного смехословия и потешного пустословия», весь написанный раешным стихом.

Глядя на эти названия, физически ощущаешь прибавление весны и веселья в воздухе. Общество наконец задышало, ему дозволено было просто шутить, потешаться, в том числе над собой. Но в списке зарегистрированных в 1858 году изданий немало и серьезных. Почти все они были связаны с экономикой, землевладением, каждое уделяло внимание готовящейся крестьянской реформе: и основа-

тельный «Вестник промышленности» Федора Васильевича Чижова (это ему будет адресовано первое сохранившееся письмо Лескова за 1859 год), и идеологически близкая «Указателю экономическому» газета «Промышленный листок», и славянофильский журнал «Сельское благоустройство», и «Журнал землевладельцев», и «Экономист», основанный Иваном Васильевичем Вернадским как приложение к «Указателю экономическому». Параллельно, впрочем, расцвел и «Подснежник» Владимира Николаевича Майкова, родного брата критика Валериана и поэта Аполлона (не в честь ли стихотворения последнего названный?). Это был журнал для детей и юношества, быть может, чрезмерно благопристойный, но со своим лицом и сильным авторским составом. Опусы безвестных сочинителей приятно разбавлялись текстами И. А. Гончарова, Д. В. Григоровича, Марко Вовчка, Чарлза Диккенса и Гарриет Бичер-Стоу.

Но новым газетам и журналам нужны были новые авторы — сотни страниц ежемесячных, ежедневных литературных изданий необходимо было заполнять. «Время нас делало литераторами, а не наши знания и дарования»<sup>143</sup>, — заметит Лесков несколько лет спустя.

В изящную словесность приходили теперь не из лицеев и университетов, не из родительских библиотек, забитых французскими и английскими романами, которые так уютно читать в беседке наследственного имения, под несущиеся из распахнутых окон звуки рояля (матушка решила помузицировать), не из литературных салонов — теперь авторы срывались «кто с бора, кто с сосенки»<sup>144</sup>. Перли из семинарий и духовных училищ, из купеческих лавок, с барок и разъезжавших по пеклу и пыли российских дорог таратаек или прямо с трактов, по которым они упрямо шли день за днем, месяц за месяцем, как, например, писатель Александр Иванович Левитов, который дважды приходил в Москву пешком. В российскую изящную словесность притопали плебеи. Литературные аристократы отвернулись и зажали носы.

Почему они вдруг явились — эти нечесанные дети дьячков и священников, эти бурсаки, «моя консистория», как отечески звал их дворянин Некрасов, эти сыновья вчерашних крепостных или в лучшем случае уездных врачей, эти бывшие приказные, учителя народных училищ, не окончившие курс студенты-медики, а если уж дворяне, то «колокольные», как Лесков? Потому что литература нуждалась в них, как в воздухе, пусть воздух этот был пропитан вонью

постоялых дворов, мужицкого пота и навоза. Но это было даже хорошо. Язык не поворачивался назвать создаваемую ими новую словесность изящной, они изменили ее облик. Их деды, подобно деду тургеневского Базарова, землю пахали; но и у них самих под ногтями было черно — и это была грязь реальная, которую увидела в своем втором сне Вера Павловна, героиня романа Чернышевского «Что делать?», и убедилась, что в такой грязи ничего дурного нет.

Лесков спрыгнул в столичную журнальную жизнь с замызганного возка Шкотта. Его первые заметки проклюнулись из-под талого снега на обочинах столбовых дорог, выросли из разъездов по российским губерниям не под снежниками — молодыми упрямыми кустами в настырных почках.

Он умел говорить с торговым людом, ямщиком, ремонтером, хозяином постоялого двора. Житейского опыта у него было в избытке, литературного — ноль. По киевскому случаю с корреспонденцией о продаже Евангелия он уже испытал: слово может кое-что изменить. По истории с заметкой о полицейских врачах узнал и о том, что публичное слово в России страшит высокое начальство. Но не испугался. Доктор Вальтер защищал его, немногочисленные единомышленники были рядом, а государство далеко, высоко. Сражаться с ним было даже весело, и он отправился в Петербург — бороться за правду дальше. Он ведь ненавидел всяческую ложь.

Лесков ехал в столицу, чтобы стать профессиональным журналистом. Вряд ли тогда, в январе 1861 года, он думал о писательстве. В такую туманную даль он, скорее всего, не заглядывал. И без того он совершил поступок чрезвычайно дерзкий, поменяв не только место жительства, но и участь, порвав и с чиновничьим, и с коммерческим прошлым, ступив на совершенно новую дорогу.

И впервые оказался один, без родных. В Киеве его поддерживал дядюшка, в селе Райском — тетушка, ангелоподобная Александра Петровна, и ее энергичный супруг. Родственные связи создавали ощущение тыла — не самого надежного и, как выяснилось, не такого уж долговечного. Тем не менее на предыдущих поприщах рядом с ним шагали люди, для которых он был не обязательно любимый, но уж точно свой, по праву крови. В Петербурге всё оказалось иначе.

Давний приятель доктора Вальтера, уроженец Киева Вернадский готов был помочь способному журналисту,

но в известных пределах, ограниченных другими делами. К тому же он был скорее ученый, лектор, никак не литератор, от мира искусства человек далекий. Лескова же, похоже, тянуло именно в этот пока неведомый ему мир.

Сразу по приезде он отправился к Тарасу Григорьевичу Шевченко. Об опальном «кобзаре» он впервые узнал еще в Орле от Марковича и затем, наверное, встречал его в Киеве: некоторое время Шевченко жил в доме лесковского тестя. Они виделись год назад в Петербурге, куда Лесков приехал еще по делам компании Шкотта<sup>145</sup>. На этот раз они проговорили не так долго, Шевченко подарил ему свой «Букварь южно-русский», который составил для обучения грамоте на малороссийском языке в воскресных школах. Сам этот поступок — приехав в столицу, явиться к не самому близкому знакомому, однако поэту и художнику — выдает желание обрести связи в столичном литературном и артистическом мире. Встреча оказалась последней, через месяц Шевченко умер. Лесков посвятил его памяти теплую и печальную заметку<sup>146</sup>.

Именно к этому времени относится первый известный нам словесный портрет Лескова, исполненный библиографом и поэтом Петром Васильевичем Быковым:

«Впервые увидел я Лескова в редакции “Политико-экономического указателя”, издававшегося профессором Иваном Васильевичем Вернадским. Николай Семенович был здесь при одном из своих наездов в Петербург из Киева и доставил статейку “Об ищущих коммерческих мест в России”, где он хотел уяснить для читающей массы “разумение жизни”. Я сидел в приемной как раз против двери редакторского кабинета. Из нее вышел среднего роста, плотного сложения, красивый молодой человек, лет около тридцати. Профессор познакомил нас, и Лесков впери в меня взгляд, слишком внимательный, от которого мне стало как-то не по себе. Но в общем новый мой знакомый производил впечатление обаятельное. Таким предстал предо мною Лесков. Мне было в высшей степени приятно выйти с ним вместе из редакции и вести беседу, в которой сказывалась его необычайная деловитость, серьезность не по возрасту»<sup>147</sup>.

В достоверности приведенного описания есть серьезные сомнения<sup>148</sup>. Скорее всего, Быков познакомился с Лесковым значительно позднее и сочинил этот портрет, опираясь на дагеротипы той поры и свои поздние впечатления. К тому же коренаст, статен — да, но красив Лесков всё-таки не был. В любом случае Быков благоразумно размещает

эту, возможно, и мифическую встречу рядом с кабинетом профессора Вернадского.

Иван Васильевич Вернадский окончил словесное отделение Киевского университета, но вскоре, будучи отправлен в Европу изучать политэкономия, из словесника сделался экономистом и статистиком. Вернувшись в Россию, он получил звание профессора Киевского, а затем Московского университета. В 1856 году Вернадский переехал в Петербург, поступив на службу в Министерство внутренних дел, не оставив, впрочем, преподавания. Но быть может, самым удачным его предприятием стала женитьба.

Мария Николаевна Вернадская, урожденная Шигаева, одна из первых русских феминисток в самом спокойном смысле этого слова — та, что уловила дыхание весны в общественном воздухе, происходила из хорошей дворянской семьи. Отец ее служил в департаменте государственной экономии Государственного совета, затем был товарищем (заместителем) министра финансов, в молодости переводил Вальтера Скотта и Поля де Кока, так что разговоры и на экономические, и на литературные темы Мария Николаевна слушала с юных лет. Она не сомневалась, что экономические знания способствуют росту благосостояния граждан, и предложила мужу открыть первый в России специализированный политэкономический журнал.

В 1857 году еженедельник «Указатель экономического» начал выходить в свет, в 1861-м изменил название на «Указатель экономического, политический и промышленный». Здесь публиковались статьи о свободной торговле, защите труда, податях, популярных на Западе финансовых идеях, краткие обзоры дискуссий политэкономических обществ в Европе, переводы иностранных статей и рецензии на российские и зарубежные книги по политэкономии. Все это по преимуществу теоретические знания издатели пытались спроецировать на российскую действительность. Поэтому были здесь и заметки об «участи лошадей и состоянии дорог», и отчеты о ценах на зерно, масло, пушнину, и подробные сводки криминальных новостей в рубрике «Хроника несчастий в России», полные хтонической российской жути.

Хроники рассказывали, как крестьяне избивали, а часто и убивали своих жен, жены не оставались в долгу и травили мужей мышьяком; сообщали о бесчисленных несчастных случаях: кто-то случайно поджег собственную избу; другой опустил двенадцатилетнего сына в колодец для чистки на

гнилой веревке, веревка оборвалась, а мальчик погиб; измученные работой молодые крестьянки ночью часто «засыпали» (нечаянно душили) своих младенцев. «Губительно действует беспечность нашего простолюдина; но его ли вина, что он до сих пор остается в совершенном невежестве? Его ли вина, что мрачный быт его до сих пор не озаряется светом образования?» — вопрошал журнал, из номера в номер рассказывая о новых и новых несчастьях с одной лишь целью: напомнить о необходимости просвещения «народной массы, коснеющей в невежестве самом безотрадном».

Журнал с такими повесткой и идеологией остро нуждался в корреспондентах «с мест». Одним из них и стал киевлянин Лесков. Он познакомился с Вернадским, по-видимому, еще осенью 1859 года, когда приезжал в столицу как поверенный компании «Шкотт и Вилькенс». Вероятно, тогда же они договорились о сотрудничестве. Со второй половины 1860 года «Указатель экономический» постоянно публиковал корреспонденции Лескова под заголовком «Вести из Киева», без подписи. Лесков рассказывал читателям основные городские новости: о мощении улиц, об открытии книгопродавцем Барщевским кабинета для чтения, о курсе физиологии, который прочтет для желающих профессор А. П. Вальтер, об открытии в Киеве женских воскресных школ, о благотворительных музыкальных вечерах, об учреждении новых газет, о строительстве общественной бани и новой тюрьмы<sup>149</sup>. С политэкономией это напрямую связано не было, но давало ценную для журнала панораму российской жизни.

Приехав в Петербург, Марию Николаевну Лесков уже не застал в живых — она скончалась от болезни почек на руках у мужа в Гейдельберге, по пути на курорт Монтрё. Овдовевший Вернадский принимал Лескова спустя всего два месяца, вероятно, радуясь возможности заполнить образовавшуюся пустоту, еще вероятнее — из чувства долга.

Выпуск журнала продолжался. В «Указателе экономическом» появилось еще несколько публикаций Лескова, написанных всё в том же духе протеста против русского мрака: в 1860 году — «Заметка», «Письма к редактору», «Несколько слов о местах распивочной продажи хлебного вина, водок и меда», «Несколько слов об ищущих коммерческих мест в России»; в 1861-м — «Вопрос об искоренении пьянства в рабочем классе», «Торговая кабала».

Самое начало 1860-х стало еще и эпохой комитетов, которые должны были способствовать реформам. Вернадский

ввел Лескова в Политико-экономический комитет Императорского географического общества и в Комитет грамотности при третьем отделении Вольного экономического общества. Николай ходил на заседания с удовольствием, обсуждал то, что сам знал и видел, работая у Шкотта: положение и доходы управляющего имением, переселение крестьян на новые земли, аренду земли крестьянами, кредитование земскими банками, — а затем отправлял отчеты о работе комитетов в разные издания: «Экономист» (еще один журнал Вернадского), «Русскую речь», «Время», «Книжный вестник», что, впрочем, не помешало ему полтора года спустя назвать эти комитеты «говорильнями»<sup>150</sup>, а Вернадского пнуть за узость и устарелость экономических взглядов. Поиронизировал Лесков над комитетами и в повести «Смех и горе» (1871). Правда, статья о «говорильнях» вышла без подписи, но это не слишком меняет дело: быть благодарным Лесков действительно не любил, что подтвердила и более поздняя история с Е. В. Салиас-де-Турнемир.

Пока же бывший канцелярист и коммивояжер на глазах становился профессиональным журналистом и благодаря этому вошел в либеральные круги, оказавшись среди самых активных сторонников реформ и даже конституции. О необходимости конституции и ослабления цензуры начал писать и «Указатель экономического», но вскоре после этого, в марте 1861 года, был закрыт по постановлению Главного управления цензуры\*. Интересно, что, выступая за свободу торговли и частную собственность, за невмешательство государства в частное предпринимательство, издатель

---

\* Цензор А. В. Никитенко записал в дневнике 25 февраля 1861 года: «Вернадский, по словам члена, барона Бюлера (сотрудника Главного управления цензуры. — М. К.), неистовствуя в своем “Экономическом указателе” против правил цензуры, дошел, наконец, до того, что начал ясно говорить о необходимости конституции в России. Решено: призвать его в следующее заседание Главного управления цензуры и объявить, что, так как он уже неоднократно доказал, что не заслуживает доверия правительства, то ему при первой выходке запрещено будет издавать журнал. Некоторые из членов требовали немедленного запрещения, но я уговорил Тимашева (начальник штаба корпуса жандармов и управляющего Третьим отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии. — М. К.), сидевшего возле меня, удовольствоваться на этот раз выговором. С нами согласились и другие» (*Никитенко А. В. Записки и дневник: В 3 т. М., 2005. Т. 2. С. 243—244. См. также: Сурнина И. А. Цензура и «Экономический указатель» И. В. Вернадского 1857—1861 годов // Филологические науки: Вопросы теории и практики. № 2 (80). Ч. 2. С. 244—249.*

«Указателя экономического», в отличие от редакции «Современника», не считал нужным сохранять крестьянскую общину, по его мнению, плодившую тунеядцев. Однако, не совпадая во взглядах с социалистами и революционерами, профессор Вернадский не отказывал им от дома. Именно через Вернадского познакомился с ними и Лесков.

### В пылу либерализма

В квартире Ивана Васильевича жил тогда и Андрей Иванович Ничипоренко — он был репетитором сына хозяина, Николая. (Отметим, что самый знаменитый Вернадский, Владимир — академик, натуралист и философ, именем которого век спустя назвали московский проспект и станцию метро, — родился во втором браке Ивана Васильевича с кузиной Марии Николаевны Анной Петровной Константинович.)

Лесков и Ничипоренко подружились. Вместе ходили на заседания Комитета грамотности<sup>151</sup>, сотрудничали с «Указателем экономическим», после смерти Шевченко пришли в дом поэта почтить его память. Ничипоренко был известен тем, что разносил по домам Петербурга герценовский «Колокол», за что и получил, по свидетельству Лескова, прозвище «Андрея Удобоносительного»<sup>152</sup>.

Но в романе «Некуда», где Ничипоренко выведен под именем революционера Пархоменко, и в документальном очерке «Загадочный человек» (1870) Лесков пишет о бывшем приятеле брезгливо, почти с отвращением. Пархоменко в «Некуда» — «шальной, дурашливый петербургский хохлик, что называется “безглазая ледащица”»<sup>153</sup>. В «Загадочном человеке», где Ничипоренко назван уже своим именем, дан еще один его нелестный портрет:

«...замечательно нехорош собою от природы и, кроме своей неблагообразности, он был страшно неприятен своим неряшеством и имел очень дурные манеры и две отвратительнейшие привычки: дергать беспрестанно носом, а во время разговора выдавливать себе пальцем из орбиты левый глаз»<sup>154</sup>.

Нешадно ругая «первого русского революционера»<sup>155</sup>, впоследствии члена общества «Земля и воля», о своей, пусть и недолгой, дружбе с ним Лесков умалчивает, несмотря на то, что в 1861—1862 годах он, возможно, даже уча-



ствовал в составлении революционной прокламации «Русская правда»<sup>156</sup>. Два ее выпуска, вышедшие в марте и апреле 1862 года, посвящались польским событиям и выражали сочувствие полякам, гонимым русским правительством. Но в июле началось «дело 32-х» о связях оставшихся в России революционеров «с лондонскими пропагандистами» Герценом и Огаревым — один из самых крупных политических процессов 1860-х, продолжавшийся три года. Ничипоренко был арестован и не дожил до развязки — умер в Петропавловской крепости.

Лесков сделал всё, чтобы замаскировать свою близость с ним и его единомышленниками. Автобиографический персонаж романа «Некуда» доктор Розанов притворяется с подпольщиками, но индифферентен к их деятельности, а потом и вовсе сжигает отпечатанные в тайной типографии прокламации и выбрасывает в реку литографский камень. Сам Лесков едва ли жёг прокламации (во всяком случае об этом ничего не известно), однако о существовании тайной типографии он, конечно, знал и мог быть признан сообщником.

В записке 1866 года петербургского обер-полицмейстера говорится: «Елисеев. Слепцов. Лесков. Крайние социалисты. Сочувствуют всему антиправительственному. Нигилизм во всех формах»<sup>157</sup>. Обер-полицмейстер сильно опоздал с выводами — в 1866 году крайним социалистом Лесков давно не был.

И всё же вряд ли Лесков пытался отмежеваться от русских революционеров исключительно «страха ради иудейска»; к моменту написания «Некуда» он действительно давно перестал разделять их взгляды. А к некоторым друзьям революционной молодости он сохранил добрые чувства на всю жизнь.

Первый из них — Артур Бенни, англичанин по матери, полунемец-полуитальянец по отцу, на деле «безродный космополит»: вырос в Польше, социалистом и революционером стал в Лондоне. Лесков посвятил ему очерк «Загадочный человек», а в романе «Некуда» вывел в образе благородного, но немного нелепого Вильгельма Райнера. Бенни, искренне любивший и жалевший Россию, с детства владевший русским языком, приехал из Лондона в Петербург делать социально-демократическую революцию. Лесков любил его за благородство натуры, бескорыстие, верность высокой цели и почти умилялся наивности иностранца, который пытался помочь «русским братьям», не зная страны

и ее нравов. Вскоре новообетенные братья обвинили Бенни в связях с Третьим отделением, в сущности, объявили шпионом — как показал Лесков в «Загадочном человеке» и подтвердили позднейшие разыскания историков, совершенно необоснованно. В этой клевете Лесков подозревал Ничипоренко.

Бенни также был привлечен к «делу 32-х», но не арестован, а выслан из России, в которую никогда уже не смог вернуться. Бенни погиб в гарибальдийском отряде в январе 1868 года, вскоре после этого Лесков взялся за повесть о нем. В позднейшем письме Суворину Лесков писал, что именно «клевета на честнейшего человека»<sup>158</sup> окончательно оттолкнула его самого от революционного кружка.

Сам Суворин вспоминал о той поре: «Лесков пылал либерализмом и посвящал меня в тайны петербургской журналистики. Он предлагал мне даже изучать вместе с ним Фурье и Прудона по маленькой политико-экономической книжечке Гильдебрандта, явившейся летом 1861 года на русском языке...»<sup>159</sup>

Вероятно, примерно к этому времени относится и история спасения «падшей Маргариты», описанная С. И. Смирновой-Сазоновой: «Лесков еще юношей, когда только еще переехал в Петербург, попал квартирантом к одной гуляш[ей] даме; она отдавала комнату с мебелью. Потом он спасал из убежища еще одну такую Маргариту, дочь пастора Ольгу. Эта Ольга из дома терпимости попала в убежище для падших женщин, но и там ей не понравилось. Она умоляла Лескова найти ей место. Тот и определил ее бонной в семейн[ый] дом, к св[оим] родственникам, скрыв от них ее происхождение»<sup>160</sup>.

Итак, Лесков образца 1861 года — левый, неблагонадежный, антиправительственный, спаситель падших дам совершенно в духе героев Чернышевского и романтически настроенных радикалов и вместе с тем набирающий силу журналист. Ему заказывают материалы московский журнал «Русская речь», петербургские «Отечественные записки» и «Указатель экономический»; он пишет на самые разные злободневные темы: о способах искоренения пьянства в рабочем классе, о бесправии несчастных «торговых мальчиков», отправленных «в люди», о расселении крестьянства, о раскольничьих браках, о народном здоровье и женской эмансипации. Рассуждения его звучат задиристо, хлестко, самоуверенно, но не слишком самостоятельно. Пока это скорее интеллектуальная мимикрия. В прошлом чиновник

из канцелярии, затем практик «на возке», отчасти коммерсант, отчасти этнограф, Лесков в начале 1860-х кто угодно, только не мыслитель, и принимает на веру взгляды, которые исповедует его ближайший круг. Его статьи того времени — выжимки общелиберальных воззрений, оживленные бойкостью пера, наблюдательностью и житейским опытом.

Летом 1861 года создательница газеты «Русская речь» графиня Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир пригласила его погостить и осмотреться в Москве. Лесков откликнулся с охотой и любопытством. Он поселился на Большой Садовой во флигеле небольшой усадьбы, которую снимала Елизавета Васильевна. Жила она на средства младшей сестры Евдокии Петрово-Соловово, разбогатевшей благодаря удачному замужеству. Самой Елизаветы Васильевны в городе не было — летом она переехала на дачу в Сокольники, в Старую Слободку. Лесков часто приезжал туда, ныряя в совершенно новый для себя круг.

### «Русская речь»

В начале 1860-х Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир, урожденная Сухово-Кобылина, родная сестра знаменитого драматурга, с которым, правда, почти не поддерживала отношений, известный критик и писатель, выступала под псевдонимом Евгения Тур.

Раздражение — вот основное чувство, которое она стала вызывать у Лескова спустя совсем недолгое время. «Сальясиха» осталась в его памяти говорливой, шумной, фальшивой, недалекой, уже увядшей, слишком самоуверенной. Взгляды графини сформировались в 1840-е годы, но и спустя два десятка лет она жила, опираясь на идеалы юности, и пыталась руководить молодежью, быть властительницей дум — как смела?

Кажется, раздражала она не только его. «Elle est sèche et ardente\*», — говорил о ней один из самых любимых ее друзей, университетский профессор Тимофей Николаевич Грановский<sup>161</sup>, и непонятно, чего в этом лаконичном отзыве было больше — приязни или усмешки. Воспоминания других, самых разных и непохожих людей о Салиас-де-Турнемир также полны именно иронии.

---

\* Она суха и пламенна (фр.).

Она любила оказывать протекцию, помогать, и все дружно признавали ее доброту\*, но не могли простить взбалмошности, тревожности и какой-то безбашенной страстности, затмевавших ее достоинства. Над графиней смеялись даже самые близкие<sup>162</sup>. Вот и Николай Платонович Огарев, признавая за ней преданность и благородство, закончил всё-таки «чувством напряженного бешенства»; немаловажно, впрочем, что его с графиней недолгое время связывали романтические отношения<sup>163</sup>.

Елизавета Васильевна была одаренный литератор и не слишком счастливая женщина. В ранней юности она полюбила своего учителя, русского шеллингианца и университетского профессора Николая Ивановича Надеждина, но столбовым дворянам Сухово-Кобылиным сын сельского дьякона (снова попovich!), несмотря на всю его образованность, показался неровней. Судя по переписке влюбленных, они готовы были пренебречь родительским словом. Случилась даже таинственная история с неудачным похищением невесты — Надеждин, по свидетельству Герцена в «Былом и думах», его проспал. Любопытно, что среди домашних учителей юной Елизаветы Васильевны был и Семен Егорович Раич, поэт и переводчик, однокашник Семёна Дмитриевича Лескова.

Тогда Елизавета Васильевна и не подозревала, что впереди ее ждут гораздо более прямые пересечения с родом Лесковых. В конце концов она вышла замуж за французского графа, подарившего ей звучную фамилию Салиас-де-Турнемир, который приглянулся не ей, а *papa* и *tata* — за древность некогда славного рода. Попытавшись наладить в России производство шампанского, граф благополучно промотал приданое жены; шампанское вышло дурное, и никто не пожелал его покупать. Через восемь лет после женитьбы, в 1846 году, граф за участие в дуэли был выслан из Российской империи. Елизавета Васильевна с тремя детьми — Евгением, ставшим потом крупным чиновником

---

\* «Графиня русская, замужем за французом, который после одной дуэли вынужден был вернуться к себе на родину. Она остроумна, добра, искренна... Мы с ней большие друзья. Она вращалась в светском обществе, но потом отдалась от него. Она немолода, нехороша собой, но располагает к себе... а к тому же у нее и вправду настоящий талант», — характеризовал Елизавету Васильевну И. С. Тургенев (Тургенев И. С. Письмо Полине Виардо от 1 (13) декабря 1850 г. // Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 18 т. Т. 2. М., 1987. С. 373).

и известным писателем, Марией и Ольгой — за мужем не последовала, да он не особенно и звал. Чтобы не оказаться приживалкой у собственной сестры и зятя, она занялась литературой, которой и до того была не чужда — Надеждин когда-то публиковал в «Телескопе» ее переводы. «Ради заработка явилась в русской литературе Евгения Тур», — писал впоследствии ее сын<sup>164</sup>. Но еще до расставания с мужем Елизавета Васильевна сделалась хозяйкой салона. Здесь собиралась окололитературная и академическая публика: кроме Грановского, культ которого царил в ее доме, к графине заглядывали и Александр Иванович Тургенев, и Огарев. После отъезда супруга она окончательно утвердилась в роли эмансипированной литературной дамы.

В 1849 году «Современник» опубликовал дебютную повесть Елизаветы Васильевны «Ошибка» под псевдонимом Евгения Тур — о молодом человеке, который искренней привязанности предпочел брак по расчету. В следующем году вышел роман «Племянница» о жизни и любовных увлечениях девушки Маши, снискавший в том же журнале несколько двусмысленную похвалу Тургенева: признав в авторе несомненный талант, он разделал роман под орех за многословие и отсутствие четкой структуры. Салиас-де-Турнемир обиделась, но дружеские отношения с Тургеневым сохранила и продолжила публиковать новые повести одну за другой. В 1856 году она начала сотрудничать с тогда еще либеральным «Русским вестником» Михаила Никифоровича Каткова, среди прочего опубликовала там и статью о Жорж Санд<sup>165</sup>. Иногда и саму ее, сильно льстя, называли русской Жорж Санд.

В начале 1860-х, одновременно с переменной декораций на литературной сцене, салон графини Салиас стала посещать публика заметно более демократичная: уже упомянутые нами литературные разночинцы Александр Левитов, Василий Слепцов, Алексей Суворин и Лесков.

«Дом ее сделался мало-помалу сборищем, бог знает, какого люда, — вспоминает Евгений Михайлович Феоктистов, историк, ученик Грановского и учитель детей графини, а впоследствии начальник Главного управления по делам печати, душитель свобод и ненавистник Лескова, — всё это ораторствовало о свободе, равенстве, о необходимости борьбы с правительством и т. п.»<sup>166</sup>. Графиня ни революционеркой, ни социалисткой не была, но терпеть не могла цензуры, давления и прочих ограничений и не прочь была об этом повитийствовать. «Сама она, — вспоминал Феок-

тистов, — была, бесспорно, женщина умная, образованная, талантливая, но исполненная больших странностей... Она вся была пыл, экстаз, восторженность, но условливалось это не сердцем, а невероятною какою-то болезненной ее нервозностью... Никогда, даже в очень старческие годы, не удавалось ей достигнуть неопцененного блага — душевного спокойствия; она всё волновалась, выходила из себя; одно до последней крайности доведенное увлечение сменялось у нее другим, столь же крайним; беседа с ней представляла нередко очень много интересного, но гораздо чаще действовала утомительно. И, Боже мой, как любила она говорить! Это была для нее жизненная потребность, необходимое условие ее существования; она была в состоянии просиживать по целым часам даже с вовсе неумным человеком, лишь бы он с покорностью прислушивался к потоку ее речи. Под влиянием обычного своего возбуждения она постоянно создавала себе миражи, видела людей не такими, какими они были в действительности, а какими создавало их ее воображение; эта женщина, по натуре своей в высшей степени искренняя, извращала факты, выдавала за достоверное то, чего никогда не было и не могло быть, и всё это отнюдь не с умыслом, а с твердою уверенностью в своей правдивости»<sup>167</sup>.

Не только общение с Грановским, Огаревым, очеркистом Василием Петровичем Боткиным, писателем и переводчиком Николаем Христофоровичем Кетчером, но и пристрастие к обсуждениям и рассуждениям выдает в Салиас-де-Турнемир человека говорливых сороковых годов. В ее доме не смолкали споры, бурлили долгие, страстные речи. И газету свою она, графиня с нерусской фамилией, назвала «Русская речь». Лесков, с его-то слухом к этой самой речи, и тут не мог не поперхнуться.

На свое издание Елизавета Васильевна употребила небольшой капитал, подаренный сестрой. Газета выходила раз в две недели, публиковала М. В. Авдеева, В. В. Крестовского, А. С. Суворина (под псевдонимом Василий Марков), профессора Ф. И. Буслаева, Левитова, Слепцова, наконец, Лескова. Познакомившись с молодым журналистом лично, Елизавета Васильевна пригласила его в сотрудники редакции, поручив вести «внутреннее обозрение», то есть отвечать за материалы о так хорошо знакомой ему русской жизни. Лескову было назначено жалованье в 1200 рублей в год с отдельной оплатой его собственных статей и заметок.

Это была внушительная сумма; будучи губернским секретарем (чин XII класса по Табели о рангах) в киевской Казенной палате, он получал по крайней мере в десять раз меньше\*. Впервые журналистика стала полностью обеспечивать его материально. Получив это предложение, Лесков наверняка возликовал, но много лет спустя, вспоминая свою московскую редакционную жизнь, морщился. В ноябре 1888 года он писал Суворину:

«Сальяс и вообще наш тогдашний моск[овский] кружок были плохую школою для молодого, не бездарного и не глупого, но маловоспитанного и не приготовленного к литературе человека, каков был я, попавший в литературу случайно и нехотя»<sup>168</sup>.

Вероятно, он был прав: издание не было особенно известным и профессиональным. Но ни в задиристый «Современник», ни в основательный, но уже утрачивавший последние крохи либерализма катковский «Русский вестник», ни в благонамеренные «Отечественные записки» Краевского его работать не приглашали, а Салиас позвала и обласкала.

Конечно, «Русская речь» оказалась заложницей ее литературных интересов и предпочтений, при всей их пестроте довольно ограниченных. Язвительный М. Е. Салтыков-Щедрин обозвал это издание «журналом амазонок» — на самом деле оно получилось слегка жеманным, эклектичным, с расплывчатым обликом. Чтобы получить право на обозрение политических новостей, Елизавета Васильевна назначила главным редактором Феоктистова и расширила название: к исконной «Русской речи» присоединился «Московский вестник». Направления издания это не изменило, и фактически им по-прежнему руководила графиня.

---

\* Для сравнения: начинающие литераторы тогда получали от 30 до 50 рублей за авторский лист; следовательно, гонорар за роман в десять авторских листов мог быть до 500 рублей; жалование учителей в народных училищах составляло 300—500 рублей в год, в гимназиях — 900—2500 рублей, фармацевтов — 700—1000 рублей (см.: *Рейт-блат А. И. Русская литература как социальный институт // Рейт-блат А. И. Писать поперек: Статьи по биографике, социологии и истории литературы.* М., 2014. С. 29). Гораздо хуже обстояли финансовые дела у низших чиновников: титулярный советник, чиновник X класса, в конце 1850-х годов получал около 260 рублей в год, коллежский ассессор (VIII класс) — 715 рублей (см.: *Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в.* М., 1978. С. 80—84).

В результате «Русская речь» сочетала очерки о московских нравах, архитектуре, маскарадах и балах с рассказами об общественной жизни в Англии и обзорами французских изданий, криминальные хроники с финансовыми и промышленными, сообщавшими о ценах на зерно, пушнину и кожи и разбиравшими особенности акцизной системы питейных сборов. Исторические заметки профессора Московского университета Сергея Соловьева, очерк Федора Буслаева о русских духовных стихах (Лесков познакомился с ним лично, так как он вместе с Николаем Тихонравовым заведовал в журнале «отделом истории литературы и народности русской и западной»), письмо о необходимости женского образования, статья Петра Бартенева о Пушкине на Юге, анонимная рецензия на новую поэму Некрасова «Несчастные» и, само собой, критические обзоры Евгении Тур — в этом наборе трудно разглядеть продуманную политику и направление издания, если не принять за них любовь ко всему хорошему и интересному в культуре и гуманитарных науках. Впрочем, в тематический спектр газеты входили и вопросы русского общественного развития. Им и посвятил себя Лесков с конца июля по конец ноября 1861 года.

Он вполне предсказуемо приветствовал освобождение крестьян, общественные и правительственные реформы, призывал повышать экономический и культурный уровень России, беспокоился о народном просвещении, разоблачал коррупцию и антисемитизм, скорбел о смерти «одного из благороднейших и талантливейших представителей» отечественной словесности Николае Добролюбова. Трижды оплакал в «Русской речи» Тараса Шевченко<sup>169</sup>. Материалов, в которых сквозь либеральный джентльменский набор пробивалось свое, было не так много. Помимо публикаций о Шевченко, это разве что нашумевшая заметка «О замечательном, но неблагоприятном направлении некоторых современных писателей». Цензорам она показалась подозрительной и была задержана; в итоге ее опубликовали не в 57-м номере, как предполагалось, а в 60-м.

Укрывшись под псевдонимом В. Пересветов, Лесков скорбит в ней о «милом прошедшем» в «периодической литературе», сменившемся «шутовством, гаерством, паясничеством», невежеством и бранью, сердито отчитывает журналистов за «неуважение к личности и праву», за оскорбительность тона в адрес конкретных лиц, за жажду «ругаться и обругать»:



«Они не станут спорить о мнениях, как это делается в иностранных органах, выражающих стремление самых враждебных партий, а прямо *ex abrupto*\* обзовут автора “узколобым”, “тупоголовым”, а статью его “ерундою”, “ерундищею” и т. п.; если же можно, то не упустят случая: запустят свою грязную руку и в самую душу автора и поворочат в ней своими пальцами все, что автор как человек считает своею святынею и хранит от прикосновения дружеских рук с запачканными ногтями»<sup>170</sup>.

Русские публицисты и в самом деле друг с другом не церемонились, а либерализация общества обернулась тем, что в журнальной полемике припечатать оппонента похлеще да побольнее стало считаться хорошим тоном. «В. Пересветов» был совершенно прав. Прав, но бестактен. Как заметил критик и исследователь Лескова Александр Измайлов, «в блестящий 1861 год беспристрастный ценитель не имел никакого права говорить о развале и разрухе, о какой говорит так рано озлобленный Лесков»<sup>171</sup>.

Ведь о «милом прошедшем» и падении журналистских нравов он скорбел, когда российская печать наконец пригубила свободы — да, всё еще ограниченной цензурой, но значительно в меньшей степени, чем прежде. К тому же заметка о дурных журналистских нравах была написана в тот самый момент, когда на улицах Петербурга и Москвы появилась прокламация «Великорусс», критиковавшая Крестьянскую реформу за половинчатость, призывавшая отдать крестьянам землю, которой они пользовались до освобождения, и грозившая правительству пугачевщиной. Цензура вновь ужесточилась; статья Лескова «о неблаготворном направлении» попала под горячую руку и была задержана цензором за «площадные ругательства» (которые Лесков лишь цитировал и осуждал!), но после гневного письма Феофтистова всё же вышла в свет. Корить братьев-литераторов, за резкость выражений (явно метя в «Современник») летом 1861 года, было верхом недалекости, нарушением неписаных корпоративных норм.

Этим дело не ограничилось. В тот самый год, когда прогремевшие на всю Россию статьи Михаила Ларионовича Михайлова в «Современнике»<sup>172</sup>, наконец, сдвинули с мертвой точки вопрос о женском равноправии, когда в русском обществе заговорили о праве женщины на высшее образование, получение профессии, квалифицированный

---

\* Внезапно (*лат.*).

труд и материальную независимость от мужа, а значит, и свободный выбор в любви, Лесков написал довольно двусмысленную статью «Русские женщины и эмансипация» о том, что неверно истолкованные идеи о женской свободе легко могут привести женщин к «разнузданности» и «падению», а рабство сменится отказом от нравственных ограничений. Отчасти это было резонно: безмозглые последователи и последовательницы в состоянии испортить самую лучшую идею. Однако опять-таки о «растлевающей пропаганде французских эмансипаторов» Лесков писал в то время, когда у женщин появился, наконец, шанс попасть в университеты. Он сам не так давно приветствовал появление дам-вольершательниц на лекциях в Петербургском университете<sup>173</sup>, но всё же не смог удержаться от нравочужений и предупреждений об опасных последствиях неверно понятого феминизма. Асоченский в «Домашней беседе» запросто мог себе такое позволить — либеральному публицисту это было не к лицу. Но объяснить это Лескову, как видно, было некому — или он никого не слушал? Суворин писал своему воронежскому приятелю Михаилу Де-Пуле, что Лесков и графиня спорили<sup>174</sup>. Возможно, спорили они как раз о женском вопросе. Во всяком случае Салиас сочла нужным снабдить статью Лескова редакционным примечанием, в котором взяла идею женской эмансипации под защиту.

Взвешенный либерализм, умеренную оппозиционность, жоржсандизм и светский щебет «Русской речи» о французских книжных новинках внезапно вспарывали очерки о той самой Руси, которую было не разглядеть ни за публицистикой, ни за учеными статьями, ни тем более за статистическими отчетами о промышленности и финансах.

Василий Слепцов в дорожных заметках «Владимирка и Клязьма» рассказывал, как собирал по русским селам сведения об устройстве фабрик и строительстве железной дороги, как бродил по проселочным дорогам, заходил в дома и всюду натывался на страх державших фабрики купцов перед властью и любыми расспросами, нищету рабочих и пьянство как единственный способ отвлечься.

Благопристойную гладкость журнала взрывали и сочинения Александра Левитова: жутковатый рассказ «Московские нищие на поминках», очерк «Целовальничиха», где половина персонажей пьет или мечтает выпить, а измученный бесконечным пешим путешествием герой то и дело проваливается из яви в сон... И еще здесь звучит не салонная, но та самая *устная народная* речь, в которую с такой

жадностью вслушивался и Лесков. Приютившая путника сердобольная баба, ее непутевый муж-птицелов, деловая, резкая целовальничиха, ее кроткая сестра — все они у Левитова говорят и не могут остановиться, все рассказывают прохожему человеку, чем живы:

«— Ты куда же, красавик, собираешься-то? Ты вот отдохни возьми: в избе хошь, так в избе, а то бы на сеннице пошел, аль в сенях, может, хочешь? Ну, в сенях отдохни, — отдохни в сенях-то. Ишь вить, рай у нас в сенях-то. Ни мушки, ни блошки, ни комарика. <...>

— Иерусалим-то, стало быть, не в нашей стороне, а то солдатик один прохожий рассказывал мне, что до Иерусалима-то от нас только тысячу верст. А ведь дальше его, говорят, ни одного города нет. Там вон, солдатик-то говорит, за Иерусалимом-то — слышь? — и земля кончается, — там уж, он говорит, пошла вода одна да высь поднебесная. Ты не слыхал про это? Страшно, надобно быть, как там это вода-то около города ходит? <...>

— И вот ты слушай, Параша, хошь ты мне верь, хошь не верь, а я тебе вот что скажу: вчера на Наяновом бугре (знаешь, в соснечку-то?) в самую полночь клад я видал. Свечкой он, этта, да такой светлой, таким, этта, огнем разноцветным так и горит. Я к нему; а он взял с сосны-то дерев через пяток перелетел да и говорит мне (слышь?), человек ровно, и говорит: я, говорит, здесь лежу...»<sup>175</sup>

Тихо льется река человеческой речи, неторопливо плывет в ней герой очерка. Левитов, явно влюбленный в эту музыку говорения, с большим вкусом передает все ее звуковые и лексические оттенки.

Внимание к звучащей речи делает Левитова одним из самых близких Лескову писателей-шестидесятников. Разумеется, стилизация под народную речь к 1860-м годам давно не была новостью, во многом благодаря прозе Владимира Даля — без нее, а не только его словаря сочинения Левитова и Лескова скорее всего были бы другими.

Лесков впитывал всё, что читал и слышал, учился писать на общественные темы, думать, спорить; что-то в участниках кружка его смешило, что-то нравилось. Нравился и он — умный, яркий, даровитый, тогда казалось — «обучаемый». Он стал своим человеком у графини Салиас; домашнее, частное уже и не отделялось от редакционного, профессионального. Прошло спокойное, уютное лето, полное свободы и шумных, но мирных бесед. В Петербург Лесков пока не собирался — обжился, прижился на Большой Садовой.

И тут грянуло, загрохотало.

В Москву явилась Ольга Васильевна с Верой. За свободные от жены и дочки полгода Лесков словно бы подзабыл, что они живут где-то в далеком Киеве.

В надежде соединиться или поставить все точки над «і» и расстаться окончательно приехала Ольга Васильевна? Возможно, она и сама ясно этого не понимала. Наверное, устала быть «соломенной вдовой». В «Некуда» Лесков так описывает внезапный приезд жены героя, Дмитрия Петровича Розанова:

«Нынешний раз процесс этот совершился даже гораздо быстрее: Ольга Александровна обругала мужа к вечеру же на второй день приезда и объявила, что она возвратилась к нему только для того, чтобы как должно устроиться и потом расстаться. <...> Ребенок, по мнению доктора, был дурно содержан в течение лета. Девочка вернулась, нимало не поправившись, такая же изнеженная, слабая, вдобавок с некоторыми, весьма нехорошими, по мнению Розанова, наклонностями. С первого же указания на это Ольга Александровна поставила себя в отношении к мужу на военное положение. Ее всегдашняя бесцеремонность в обращении с мужем не только нимало не смягчилась от долговременного общения с углекислыми феями, но, напротив, стала еще резче. К тому же Ольга Александровна вообразила себе, что она в кого-то платонически влюблена и им платонически любима. При столь благоприятных шансах Ольга Александровна хотела быть нарочито решительною: — развод, и кончено. Прошла неделя, другая — содом не унимался. Розанов стал серьезно в тупик. Скандал скандалом, но и ребенка жаль, да куда же деться? а жить порознь в Москве, в виду этого самого кружка, он ни за что бы не согласился»<sup>176</sup>.

Немало зачерпнуто здесь из его собственной жизни: дочка, недовольство отца ее содержанием, скандалы с женой. В романе «Некуда» Розанов перед женой невиновен. А сам Лесков?

«Жили мы тогда, — вспоминал А. С. Суворин, — на Б[ольшой] Садовой, против Ермолая, во флигеле, который отдала нам графиня Салиас после того, как Н. С. Лесков, занимавший этот флигель, уехал в Петербург, после скандальных историй со своей женой... Она приходила к графине и Новосильцевым\* и жаловалась.

---

\* Сёстры Новосильцевы — Екатерина Владимировна (1820—1885), писательница, историк, и Софья Владимировна, в замужестве Энгельгардт (1828—1894), писательница, сотрудница газеты «Русская речь».

Раз она убежала от него, и он подал заявление в полицию»<sup>177</sup>.

Писатель И. И. Ясинский в романе «Лицемеры» (1893) выводит во многом списанного с Лескова купца Хаврушина, который рассказывает, как жил с женой: «Скопил я десять тысяч и стал задумываться, как от нее отделаться... Принялся я ее шипать, схвачу и поверну круто, прекруто; сделал одну браслетку, другую; стал надевать браслетку на браслетку, и так до плеч довел. Мозг у меня горит... Обвел ожерелье вокруг шеи — синее твоего са[п]фира, Эм[м]ануил Давидович; побежала у меня пена изо рта»<sup>178\*</sup>. Только в романе Ясинского заявление в полицию подает сама купчиха. Ясинский, бывший на 20 лет моложе Лескова, писал свою карикатуру, опираясь на слухи. Но слухи эти были до того устойчивы, что докатились до начала 1890-х.

Суворин 29 ноября 1861 года писал Михаилу Де-Пуле: «Лесков уехал — оказался негодяем страшным, и мы его выжили»<sup>179</sup>.

Этого «мы» Лесков так и не простил до конца участникам московских событий. Только с Сувориным он потом примирился, с остальными от всей души расквитался в «отмщевательном» романе «Некуда», дав уничтожающие характеристики и сестрам Новосильцевым, и Феоктистову, и бледному, вечно просящему займы Левитову, но с особенной безжалостностью разделался с графиней Салиас. Непоследовательная, легко увлекающаяся, но совершенно безвредная, безопасная, *добрая* «Сальясиха» помогла Лескову расширить круг литературных знакомств, углубить журналистский опыт, обеспечить достойным заработком и в итоге литературным именем — обо всем этом было забыто. Зато в «Некуда» появилась комичная и жалкая «углекислая фея» маркиза де Бараль, списанная с графини:

«Маркизе было под пятьдесят лет. Теперь о ее красоте, конечно, уже никто и не говорил; а смолоду, рассказывали, она была очень неавантажна. Маленькая, вертлявая и сухая, с необыкновенно подвижным лицом, она была весьма непрезентабельна. Рассуждала она решительно обо всем, о чем вы хотите, но более всего любила говорить о том, какое значение могут иметь просвещенное содействие или про-

---

\* Кроме того, в книге воспоминаний Ясинского есть реплика Атавы о том, как Лесков «шипал гусиным шипом свою жену на даче у Евгении Тур» (*Ясинский И. И. Роман моей жизни: Книга воспоминаний*. М.; Л., 1926. С. 339).

свещенная оппозиция просвещенных людей, “стоящих на челе общественной лестницы”. Маркиза не могла рассуждать спокойно и последовательно; она не могла, так сказать, рассуждать рассудительно. Она, как говорят поляки, “miała zająca w głowie\*”, и этот заяц до такой степени беспутно шнырял под ее черепом, что догнать его не было никакой возможности. Даже никогда нельзя было видеть ни его задних лапок, ни его куцого, поджатого хвостика. Беспокойное шныряние этого торопливого зверка чувствовалось только потому, что из-под его ножек вылетали “чела общественной лестницы” и прочие умные слова, спутанные в самые беспутные фразы»<sup>180</sup>.

Маркиза в «Некуда» нелепа, неумна и окружена как лживыми, так и беспардонными «друзьями». В ее доме живут канарейка и попугай. Попугай, между прочим, существовал в действительности и чуть не клюнул в начищенный сапог начинающего литератора Суворина, явившегося представиться графине.

За что же Лесков отомстил Елизавете Васильевне всего три года спустя после самого тесного сотрудничества?

За всё вместе. За беспутную, как казалось ему потом, литературную молодость; за старт в издании средней руки; за приятельство с людьми, которые вскоре станут его врагами. Но главное — за то, что графиня участвовала в его личной драме, пыталась примирить его с женой и явно жалела Ольгу Васильевну, приняв, как и весь московский кружок, ее сторону. И за то, что в ее глазах он «прослыл зверем»<sup>181</sup>. Позднее Лесков готов был признать, что с маркизой де Бараль всё-таки погорячился, и, кажется, даже передал Евгении Тур изысканный литературный привет. «Жемчужное ожерелье» называлась одна из поздних ее сказок, а потом и сборник<sup>182</sup>. «Жемчужное ожерелье» назвал один из лучших своих святочных рассказов 1885 года Лесков, ласково и весело окликнув в нем «матримониальную» тему, сквозную в прозе Елизаветы Васильевны, а возможно, и ее саму.

### «Северная пчела» и третий путь

С кружком Евгении Тур Лесков порвал вскоре после приезда супруги с дочкой — осенью 1861 года. До конца ноября он еще вел в журнале внутреннее обозрение, пока

---

\* Имела зайца в голове (польск.).

его не сменил Суворин. Из Москвы Лесков переехал в Петербург, теперь уже навсегда. С 1 января 1862 года он начал сотрудничать с газетой «Северная пчела». Это было во всех отношениях лучше: работа в крупной столичной газете позволила заострить публицистическое перо и шагнуть на следующий уровень журналистского мастерства.

В 1860 году «Северную пчелу» возглавил давний ее сотрудник и редакционный секретарь Павел Степанович Усов. Времена Булгарина и Греча, когда-то создавших эту газету и определявших ее политику на протяжении тридцати с лишним лет, ушли в прошлое. Жало ее давно затупилось, в материалах царила, по выражению Белинского, «золотая посредственность». Да и немодно стало сражаться с вольнодумцами и конституцией; теперь любое издание, желавшее быть на слуху, просто обязано было числить себя либеральным. И Усов делал всё, чтобы сложившаяся при Грече и Булгарине репутация «Северной пчелы» как газеты продажной, проправительственной и неприличной поскорее разрушилась.

У него были свои мании. Одна из них — англофильство.

Воспитанник частного английского пансиона Гирста, выпускник физико-математического факультета Петербургского университета, Усов с юности читал и любил английские газеты. Однажды он даже опубликовал в знаменитом британском журнале «Экономист» статью о торговле салом в России<sup>183</sup>. И теперь очень надеялся нацепить на «Северную пчелу» цилиндр истинного английского джентльмена, а именно — открывать каждый номер *leading article* — передовой статьей с обзорением внешней политики. Его мечта исполнилась даже до того, как он возглавил газету: именно «Северная пчела» образца 1857 года впервые в России опубликовала передовицу с обзором внешнеполитической ситуации. Этого не случилось бы без резолюции цензора Министерства иностранных дел, которым был тогда поэт Федор Иванович Тютчев, — именно он «безо всякого затруднения» дал передовицам «права гражданства»<sup>184</sup>.

Став в 1860 году у кормила «Северной пчелы» и одновременно сделавшись ее половинным владельцем (Булгарин продал ему свою часть, вторая половина принадлежала Гречу), Павел Степанович надеялся открыть газетные площади для свободного обсуждения острых общественных проблем, превратить свое издание в российский аналог лучших европейских — иначе говоря, создать авторитетную, респектабельную, космополитичную газету. Он пригласил

авторов совсем иного, чем у Греча с Булгариным, направления: социалистов Василия Слепцова и Артура Бенни, литературных пролетариев Александра Левитова и Федора Решетникова, собирателя народной поэзии Павла Якушкина, Марко Вовчка и Владимира Даля. Одновременно с газетой сотрудничал П. И. Мельников (Андрей Печерский), публиковавший в ней очерки о расколе и, между прочим, не скрывавший своих вполне консервативных взглядов, а также Евгения Тур («Северная пчела» разместила, например, ее знаменитую рецензию на тургеневских «Отцов и детей», предложившую новую формулу замысла нашумевшего романа: «ни отцы, ни дети»). Лесков относил себя к лагерю «постепеновцев», оппонентов «нетерпеливцев»\*. В той же умеренной партии желал числить себя и новый издатель «Северной пчелы», стараясь двигаться точно посередине между консерваторами и радикалами. Передовицы Лескова, занимавшие верхние столбцы газеты, это направление довольно последовательно центровали.

Лесков отстаивал право на независимость суждений, уже привычно упрекая либералов в том, что они «тирански кладут каждую личную свободу на прокрустово ложе», а журнал «Современник» — в «деспотствующем либерализме»<sup>185</sup>. Но пока не отбушевала общая радость по поводу повевшей в воздухе весны, состоявшихся и грядущих реформ, это не означало окончательного разрыва с «нетерпеливцами», «постепеновцы» всё еще были с ними во многом заодно. Но весна уже плавилась и таяла, близилось лето, воздух дышал жаром, вот-вот должны были вспыхнуть знаменитые пожары, спалившие последние иллюзии.

Однако пока Лесков стоял за «непонятный правильный прогресс», как выразилась одна героиня «Некуда» про доктора Розанова. Это значило: за просвещение крестьян, хотя бы и с помощью самой доступной народу книги — Библии, за борьбу с их невежеством в ведении хозяйства; за изучение как собственной, так и мировой истории\*\*:

---

\* Эти определения появились у Лескова в цикле очерков «Из одного дорожного дневника» и потом использовались им неоднократно: в романе «Некуда», очерке «Русское общество в Париже» (1863, 1867) и «Товарищеских воспоминаниях о П. И. Якушкине» (1884).

\*\* Передовицы Лескова, опубликованные в «Северной пчеле» в 1862—1863 годах, убедительно атрибутированы (см.: *Видуэцкая И. П.* Передовые статьи по вопросам внутренней жизни России в «Северной пчеле» (1862—1863) // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 787—858).



«...забывчивость, одна из наших слабостей... Что до нас, то мы... особенно скорбим о недостатке в нашем обществе знакомства с историею человечества. История учит многому...»<sup>186</sup>

Не раз говорил он и о преодолении изоляционизма, отказе от веры в уникальность русского пути, на которой настаивали славянофилы и газета «День», взявшая на себя роль «опекуна младенствующей и развращаемой западною цивилизацию Руси», который «с нежною любовью старого дядьки пестует своего тысячелетнего младенца»<sup>187</sup>. Лесков не сомневался, что на «гнилом Западе», как язвительно цитировал он оппонентов, люди «подняты цивилизациею на другую ступень гражданственности»<sup>188</sup> и что Россия уже движется похожим путем, но пока сильно отстает в развитии, а потому вполне может поучиться у просвещенных соседей.

Вот только двигаться к преобразению нужно постепенно, не выжигая старинных привычек огнем и мечом. Мгновенно изменить то, что складывалось столетиями, невозможно, да и не всегда нужно. *Вскачь не напашешься; воробы торопились да маленькими уродились.*

«*Если ты не с нами, так ты подлец*». Держась такого принципа, наши либералы предписывают русскому обществу разом отречься от всего, во что оно верило и что срослось с его природой. Отвергайте авторитеты, не стремитесь к никаким идеалам, не имейте никакой религии (кроме тетрадок Фейербаха и Бюхнера), не стесняйтесь никакими нравственными обязательствами, смейтесь над браком, над симпатиями, над духовной чистотой, а не то вы «подлец»!<sup>189</sup>

Опрометчивость либералов объяснялась, по мысли Лескова, незнанием и непониманием народа. И значит, им не следовало, с одной стороны, так самоуверенно учить и переставлять этот народ, с другой — противореча себе, его же «ставить на ходули». Несмотря на безусловные достоинства и красоту народной поэзии, стать учителем образованных сословий мужик всё-таки не может:

«Разве народная доблесть нуждается в лестях, в криках, что у нас всё хорошо? Я никак не думаю, что, отстаивая родную народность, следует видеть особую прелесть и в грязных ногтях, и в чуйке, и в сивушном запахе, а тем паче в стремлении к кривосудству...»<sup>190</sup>

Позднее, в 1886 году, в статье «О куфельном мужике и проч.» Лесков, полемизируя с Достоевским, утверждал, что людей высшего круга «куфельный» (кухонный) мужик не может научить «ничему отвлеченному ни в политическом, ни в теологическом роде», однако «научает жить, памятуя смерть», и приходится послужить страждущему»<sup>191</sup>. Он готов был признать, что народный быт верно описан в некоторых рассказах Щедрина, Николая Успенского и письмах Якушкина, но считал, что все эти тексты тонут в «благонамеренной болтовне», которая лишает читателя доверия к любому литературному высказыванию о народе.

### Первые рассказы

Его голос креп, позиция и взгляды делались более последовательными. Эта растущая уверенность в себе, убежденность, что уж он-то знает народ изнутри и сможет рассказать о нем не хуже прочих, очевидно, и привела к появлению первых небольших рассказов из народной жизни: «Погасшее дело»\*, «Разбойник» и «В тарантасе».

Два последних — диалогия со сквозными персонажами-путниками, едущими в тарантасе на Макарьевскую ярмарку и ведущими неспешную беседу. Оба текста погружают читателя в стихию бесконечного, но занимательного дорожно-го разговора: о лихих людях, что шалят на дороге и готовы срезать у путешественников «чумодан», о том, почему русские любят воровать, англичане торговать, а французы воевать, и правда ли, что в «Ерусалиме» расположен пуп земли. Подобно многим в тогдашней российской словесности, Лесков вслушивался в народную речь, но у него затейливые выражения собраны и выставлены на обозрение, словечко к словечку, как экспонаты в музейной витрине, в отличие от Левитова, у которого народный говор лился рекой.

«Правда-то нонче, брат, босиком ходит да брюхо под спиной носит»<sup>192</sup>.

«Аль одна дома? — спросил купец. — Одна! зачем одна? не одна, а с Богом»<sup>193</sup>.

---

\* Под этим названием рассказ был напечатан в журнале «Век» (1862. № 12. 25 марта); в издании 1869 года Лесков переименовал его в «Засуху», изменил имя священника, добавил и переделал отдельные эпизоды, написал другой финал (см.: *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений: Т. 1. С. 697—701).

«Бекет у лошинки поставили, а вчера тут вот сосед вез баринка в своем тож кипаже: весь задок-то истрошили».

«Животов отнимет, а то и веку решит!»<sup>194</sup>

«А ты пьешь? — спрашивает купец. — Теперь не пью, а как поднесут, так выпью»<sup>195</sup>.

Эти переключки отдельных реплик-колокольчиков в конце концов сливаются в густой звон анекдотов, страшных историй, старообрядческих апокрифов.

«Вот как разошлись это все, куда кого послал странник, воины и вернулись от царя с преболюшущим железным костылем\*, наставили этот костыль страннику прямо против сердца и пробили им насквозь его грудочку. А он ни разу и не вскрикнул, только воздохнул ко Господу и сказал воинам: “Скажите, говорит, вашему царю злочестивому, что на мое место, говорит, другие придут, из каждой, говорит, из капли моей крови по человеку вырастет, и станут те люди поучать народ любви и единодушию”, — да так и испустил свою душеньку ко Господу»<sup>196</sup>.

Где легенды, там и тонкие сны, и дивные видения. В финале «Разбойника» дюжий хозяин постоялого двора рассказывает, как испугался встреченного в лесу «разбойника», одетого в «лохмотенки суконные» и похожего на беглого солдата. Испугавшись, что бродяга отнимет у него деньги, хозяин ударил его палкой. Тот упал и лежал ничком, «словно лягушка какая». Но на обратном пути его уже не было, тела так и не нашли. Убил его хозяин или только пришиб, неясно. Заканчивается текст жуткой фантазией рассказчика:

«Укаченные ездою, все спали прекрасно, только мне все снился солдатик, о котором говорили с вечера.

Ползет будто он к лесу, а голова у него совсем мертвая, зеленая, глаза выперло, губы синие, и язык прикушен между зубов, из носа и из глаз сочится кровь; язык тоже в крови, а за сапожонком ножик в самодельной ручке, обвитой старой проволочкой, кипарисный киевский крестик да в маленькой тряпочке землицы шепотка. Должно быть, занес он ту земельку издалека, с родной стороны, где старуха мать с отцом ждут сына на побывочку, а может быть, и молодая жена тоже ждет, либо вешается с казаками, или уж на порах у бабки сидит.

Ждите, друзья, ждите»<sup>197</sup>.

---

\* К о с т ы л ь — большой гвоздь, несортовой. Костыли отковываются нарочно, и размер их соответствует надобности, для которой они предназначаются. (Прим. Н. С. Лескова)

В один абзац Лесков уместил целый мир, в котором соединились и сострадание рассказчика к солдатику, и вполне писательская внимательность к мелочам, и гоголевская Диканька, и стилизация под солдатскую речь, и злое отчаяние — до дома этому путнику не добраться. Вот она — мрачная жуть настоящей русской народной жизни.

И «Разбойник», и «В тарантасе», опубликованные в «Северной пчеле», четко обозначают вектор интересов раннего Лескова: он исследует сознание простого русского человека, пределы его фобий, страхов, особенности мировоззрения. Не идеализирует, не высмеивает, не презирует, только наблюдает и слушает — зорко, чутко.

В ряду самых ранних беллетристических сочинений Лескова выделяется рассказ «Погасшее дело», опубликованный в артельном журнале «Век»<sup>198</sup>. Хронологически это самый первый, законченный и полноценный опыт Лескова в прозе. Именно этот рассказ обнаруживает: сочинитель задиристых заметок, имевший все шансы вырасти в еще одного публициста средней руки, несчастливый муж, неумелый отец, не слишком верный товарищ внезапно оказался писателем большого дара с неповторимым голосом и оригинальной темой. Лесков как будто и сам сознавал, что вступает в новый этап литературного пути: именно «Погасшее дело» он впервые подписал псевдонимом «М. Стебницкий» и после этого использовал его регулярно вплоть до 1872 года\*. Происхождение псевдонима не совсем ясно; А. Н. Лесков связывает его с именем любимого орловского столоначальника отца Иллариона Матвеевича Сребницкого, библиограф произведений Лескова П. В. Быков — со словом «степь»<sup>199</sup>. Сам автор объяснений не оставил.

Путь от публицистической заметки, даже длинного журналистского расследования, каким, по сути, были «Очерки винокуренной промышленности», к художественной прозе неблизкий. Лесков проделал его, опубликовав три рассказа на границе художественной и документальной прозы.

---

\* Другие подписи и псевдонимы Лескова — «Фрейшиц», «В. Пересветов», «Николай Понукалов», «Николай Горохов», «Кто-то», «Дм. М-ев», «Н.», «Член общества», «Псаломщик», «Свяш. П. Касторский», «Дивьянк», «М. П.», «Б. Протозанов», «Николай-ов», «Н. Л.», «Н. Л.-в», «Любитель старины», «Проезжий», «Любитель часов», «N. L.», «Автор заметки в № 82», «Л.» (см.: *Лесков А. Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 129).

В «Погасшем деле» он рассказывает анекдот, как мужики одного дальнего села, борясь с засухой, по совету прохожего «грамотея» выкопали из могилы труп пьяницы-пономаря и выбросили его за церковную ограду, после чего дождь — «теплый, частый, благодатный» — полил как из ведра и шел двое суток, да так обильно, что водные потоки унесли мертвое тело в неведомом направлении. Мужики сначала приходили советоваться к священнику (тот, разумеется, им объяснил, что не надо выкапывать мертвых), а теперь явились покаяться, что его не послушались. Батюшка отправился в губернский город хлопотать, чтобы дело о вскрытии могилы и исчезновении покойника замяли. Сначала он попытался поговорить с секретарем консистории, но тот оказался недоступен; затем побывал у помещика, который и уладил дело, повелев только собрать с мужиков тысячу рублей, якобы отданную нужным людям за успешное разрешение казуса.

Спустя семь лет, в 1869-м, для издания «Рассказы Стебницкого» Лесков переименовал «Погасшее дело» в «Засуху» и многое переписал; в результате игривый анекдот о реальном закрытом юридическом деле превратился в рассказ с глубоким и страшноватым посылом.

Сравнивая две редакции текста, можно увидеть процесс превращения публициста и репортера в писателя.

В первом варианте у рассказа был эпиграф — пословица «Быль — не укор», придававшая тексту задора; во втором, более драматичном, Лесков эпиграф снял. Исчез и подзаголовок «Из записок моего деда», возможно, бывший не литературной виньеткой, а правдивой ссылкой. Речь шла о деде по матери Петре Сергеевиче Алферьеве: как сообщал Лесков в примечаниях к очерку «Борьба за преобладание (1820—1840)», тот вел «ежедневные записи всего, по его мнению, замечательного», в которых встречаются «любопытные рассказы»<sup>200</sup>. Эти бы записки почитать! Но судьба их неведома. Петр Сергеевич был, как мы помним, управляющим селом Гороховом, в котором появился на свет его внук, и немало сил положил на сражения с мужицкой верой в порчу, сглаз и колдунов<sup>201</sup>.

И всё же во втором варианте перед нами не просто жутковатая история о дикости мужиков, силе языческих верований в русском народе, взяточничестве консисторщиков и высокомерии помещика — для высказывания об этом достало бы ресурсов публицистического жанра. «Засуха» — полноценный художественный рассказ с главным

героем и тонко выписанными типажам: «серый мужичонка в рваном кафтанишке» — «олицетворение обдерганного крестьянского мира»; седой старик «с простодушным выражением лица», поехавший в город вместе с приходским священником; вальяжный брезгливый барин, презирующий и собственных крестьян, и сельского попа; остающийся за кадром грозный секретарь консистории Афанасий Иванович, который «лише змея желтобрюхого». У него одно про всех ухождение: «много не говорит, а за аксиосы да об стол мордою»<sup>202</sup>.

И главный герой — сельский священник, забитый, кроткий, глубоко сострадающий своим прихожанам, но не имеющий возможности развеять тьму их невежества. Это выглядит почти символично: в центре первого рассказа свежеиспеченного писателя оказался скромный батюшка, представитель сословия, внимательным и проникновенным портретистом которого и станет Лесков. Польская исследовательница Марта Лукашевич указывает, что это был первый рассказ в русской литературе со священником в роли главного героя — раньше беллетристы интересовались скорее семинаристами и их бытом<sup>203</sup>. Впрочем, с середины 1860-х годов ситуация изменилась, и священники всё чаще появлялись в изящной словесности\*, что и понятно: русскую литературу создавали теперь сыновья иереев и дьяконов.

Священник в рассказе Лескова, очевидно, был списан с реального, уже известного нам отца Алексея Львова из села Собакина, который венчал чету Лесковых, крестил их сына, будущего писателя, и потом не раз еще появлялся на страницах его сочинений<sup>204</sup>. В первом варианте рассказа — «Погасшем деле» — он выведен под своим именем, во втором переименован в Илиодора.

Отец Илиодор — посредник между крестьянским «миром», помещиком и также официальной Церковью, но представляет всё же интересы крестьян: два дня едет в своей неуклюжей тряской тележке в далекий губернский город, чтобы заступиться за мужиков; ласково утешает и дворовых девушек, набранных в городской барский дом из того села,

---

\* См.: «Озерской приход» Н. Ф. Бунакова (1863), «Ставленник» Ф. М. Решетникова (1864), «На погосте» — первая часть романа «Перед рассветом» Н. А. Благовещенского (1865), «Семейство Снежных» В. А. Райского (1871), «Жизнь сельского священника» Ф. В. Ливанова (1877), «Велено приискывать» Г. И. Недетовского (1877), «Господа депутаты» А. И. Краснопольского (1878) и др.

где он служит, и двоих своих сыновей, которые учатся здесь же в семинарии. В конце концов отец Илиодор спасает мужиков от каторги.

Один из опорных эпизодов рассказа — мимолетная встреча героя с сыновьями: грамматиком (второклассником) и ритором (четвероклассником).

«Домой он вернулся поздненько, погладил белокурую голову спящего сына, грамматика, и поговорил со старшим, ритором, об отце ректоре, о задачках, разрядах и тому подобных ученых волпросах... Каганец погасили, и в комнате всё стихло, только за досчатою перегородкою два семинариста долго за полночь бубнили вслух: один отчетисто, с сознанием своего собственного достоинства и достоинства произносимых слов, вырубал: “*Homo improbus aliquando dolenter flagitiorum suorum recordabitur*”\*, а другой залихватно зубрил: “По-латини Номо, человек, сие звучит энергично, твердо, но грубо; а по-французски человек *л’ом* — это мягко, гибко и нежно”.

Отец Илиодор всё это слушал, слушал и задремал, убаюкиваемый тихим, как бы перепелиным, воркотанием того же семинариста, заучивавшего на сон грядущий: *батю бато* — бить палкою; *батю бато* — бить палкою; *батю бато* — бить палкою»<sup>205</sup>.

Возможно, Лесков здесь еще и каламбурит — получается, что батю бьют.

Правда, неясно, спит ли грамматик, чью белокурую голову погладил отец, или зубрит латынь. А может, он нарочно проснулся, чтобы повторить урок? Положим, что так. Но важнее другое: оба мальчика заучивают непонятную абракадабру, никак не связанную ни с их нынешней, бурсацкой, ни с будущей пастырской жизнью, да даже и к латыни имеющую отдаленное отношение.

Форма «батю бато», вероятно, отсылает к латинскому глаголу *battuo* — бить, избивать. Семинарист явно заучивает основные формы этого глагола, но в загадочном порядке и с искажениями: «батю» — это, возможно, форма прошедшего времени *bat(t)ui* и означает «я избил», *bat(t)uo* — настоящее время: «я избиваю»\*\*. Но в таком порядке спряжения глаголов не учат. Можно, конечно, предположить, что Лесков к тому времени, когда писал рассказ, подзабыл гим-

---

\* Дурной человек когда-нибудь с прискорбием будет вспоминать свой бесчестный поступок (*lat.*).

\*\* Благодарю за консультацию Милу Назырову.

назические уроки. Но как раз с латынью дела у Николая обстояли не так уж плохо — в начале гимназического учения он получал «четверки»<sup>206</sup>, а в экзаменационной ведомости, составленной летом 1846 года, когда он, не переведенный в четвертый класс, покидал гимназию, по латинскому языку у него стояла «тройка», тогда как по алгебре — «единица», по немецкому и геометрии — «двойка»<sup>207</sup>.

Если предположить, что латынь Лесков знал прилично, то форма «батью бато», то есть «избивал избиваю», использована им в рассказе совершенно сознательно. Смысл этого соединения прошедшего и настоящего времени прост и печален: избиванию нет конца. Человека (*Номо*) в России били и бьют. Для усиления эффекта Лесков не только трижды устами гимназиста повторяет эту формулу, но и добавляет ей выразительности, переводя ее как «бить палкою», хотя в значении глагола *batuere* никакой палки нет — это просто «бить». Возможно, повлияло тут и французское «*bâton*» («палка»), но Лескову эта палка необходима — с ней битие из абстрактного слова делается конкретным действием, она усиливает ощущение неравенства: это уже не просто драка, в которой участники колотят друг друга на равных, а избивание.

Так сквозь мимолетную сцену проступает ключевая для Лескова тема человеческого достоинства, попираемого в России всегда и везде. Латынь внезапно оказывается языком описания российского бытия.

И если один семинарист — очевидно, тот, что помладше, — еще готов наполняться важностью от величавой загадочности латинских выражений, другому, долбящему латынь четвертый год, похоже, уже всё равно. Слова, которые повторяют мальчики, делят мир на два полюса: грубый, где человека «бьют палкой», энергично и твердо, и нежный, где человек может себе позволить быть мягким и гибким.

Последнее возможно лишь в недоступном мире французского языка и европейских просветительских ценностей. Помещик «с розовыми ногтями» в беседе с отцом Илиодором, конечно, недаром упоминает двух знаменитых французских священнослужителей XVII века: «Еще бы, загнали попа в село без гроша, без книги, да проповедника из него, Фенелона или Бурдалу требовать». Франсуа Фенелон — просветитель и воспитатель наследника престола, внука короля Людовика XIV, автор «Приключений Телемака», авантюрного и одновременно просветительского романа о том, как мудрый государь должен управлять своим народом и страной. Луи Бурдалу — один из самых знаме-



нитых французских ораторов XVII столетия, прозванный «королем проповедников и проповедником королей». Тот же помещик из рассказа Лескова говорит, что пастор у немцев и англичан — «это человек, это член общества». Там он пастырь, а в России, как остроумно замечает отец Илиодор, пастух: «Вы изволите говорить, что не пастыри-то, так я к этому: пастухи, говорю, сельская бедность... в полевом ничтожестве... пастухи...»<sup>208</sup>

Но не так прост и наш «пастух». Засыпая под бубнеж сыновей, он видит во сне семь тучных и семь тощих коров и смущается, что «сон не по чину»: в Книге Бытия подобный сон видит египетский фараон, а праведный Иосиф толкует его как предсказание грядущих семи лет изобилия и семи лет голода (Быт. 41:1—35). Погружая героя в сон, пронизанный библейской символикой, Лесков, возможно, намекает на его праведность и богоизбранность, хотя сам отец Илиодор ощущает только свое недостойнство.

Второе видение посетило отца Илиодора, когда он в тележке отправился домой, после того как старик-крестьянин сообщил ему: мужики не просто вынули тело пономаря из могилы, но и из содранного с трупа сала сделали свечку, зажгли — тут и полил дождь.

«Телеман-сорт, “корабль, погибающий в волнах”, припоминает отец Илиодор и сейчас же впадает в раздумье: что это, однако, такое телеман, телеман... телеман-сорт, где он слышал это французское слово?... Ах, какая досада: ни за что не вспомнишь! Семинарист ли это учил, или это он сам знал прежде? Да, это он сам знал: вот оно что! — он видел печать, на которой был вырезан корабль на волнах и над ним надпись, которую он вычитал и перевел себе таким образом: телеман-сорт — это “корабль, погибающий в волнах”.

Отец Илиодор заснул и, ныряя по кочкам, воображает самого себя кораблем, погибающим в волнах. И как отец Илиодор ни хочет спастись, как он ни старается выбиться — никак не выбьется: за ноги его сцапал и тянет тяжелый, как тяга земная, мучинко с разорванным воротом, а на макушке сидит давешний королевское еруслание и пихает ему в рот красную пробку.

— Вот это, — говорит королевское еруслание, — инструмент, чтобы ты, идучи ко дну, вслух отходной себе не читал»<sup>209</sup>.

«Телеман-сорт» (вероятно, искаженная французская фраза *tel est mon sort* — такова моя судьба) — еще одна отсылка к французской просветительской культуре, на этот

раз изобразительной, поскольку «корабль, погибающий в волнах» — это отнюдь не перевод вспомнившейся герою фразы, а, скорее всего, память о виденном им аллегорическом изображении тонущего корабля\*. Отец Илиодор ощущает себя таким кораблем. Но смысл, скрывающийся за этим образом, еще безнадежнее: такова судьба не только героя Лескова, но и любого сельского священника в России. Бедность, бесправие, темные мужики, которые никогда не двинутся дальше «королевского еруслания», как в рассказе назвал своего барина растерявшийся старик-крестьянин. Эта контаминация (вполне в духе будущего «Аболона Полведерского» из «Левши») «Бовы Королевича» и «Еруслана Лазаревича», героев двух самых популярных в России лубочных романов, — еще одно указание на предел народных знаний, почерпнутых преимущественно из тогдашних комиксов.

Неграмотный мужик затыкает пробкой рот своему пастырю, чтобы тот «вслух отходной себе не читал», и дальше, шире — потому что не желает слушать его проповеди. В этой жутковатой сюрреалистической сцене, возможно, скрывается понятный только близкому кругу намеков автора на печальный конец реального священника Алексея Львова, под конец жизни потерявшего рассудок<sup>210</sup>.

Дебютный рассказ Лескова, переписанный семь лет спустя, стал демонстрацией, с одной стороны, спектра его писательских возможностей, включающих психологизацию образов, мастерское изображение типажей, языковые ребусы, печальную иронию, с другой — набора любимых тем и вопросов, от судеб духовенства и необходимости просвещения крестьян до крепостничества в России.

### Лесков и разночинцы

Тринадцатого мая князь Владимир Федорович Одоевский записал в дневнике: «У меня Лесков — толковали о глупых прокламациях и о нелепости нашего социализма. “Уж если будет резня, — сказал Лесков, — то надобно резаться за Александра Николаевича” (императора Александра II. — М. К.). “Северная Пчела” начинает поход на социалистов»<sup>211</sup>. Князь был близок к «Северной пчеле», и, по-видимому, Лесков оказался у него именно как сотруд-

---

\* Благодарю за подсказку Марию Сергеевну Неклюдову.

ник этой газеты. Одоевский преувеличивал, подлинного похода на социалистов редакция так и не предприняла. Замечателен, однако, сам факт их встречи: Одоевский, представитель ушедшей литературной эпохи, имел совсем иной круг общения — был близок ко двору, в 1861 году стал сенатором — и давно отошел от занятий изящной словесностью, но молодым литературным поколением живо интересовался.

Они говорили на самую злободневную тему — по Петербургу разбрасывали прокламации с призывами к революции, в воздухе висело ощущение близкой катастрофы. Но пока до нее осталось еще две недели, попробуем разобраться, как Лесков ухитрился не пропасть, не сгинуть в пьяном чаду, в болезнях, в нищете вместе с теми, чьи имена уже столько раз появлялись на страницах этой книги, — с шестидесятниками XIX века.

Никто поначалу не осознал, что в литературу пришел не еще один Николай Успенский, Левитов, Якушкин, Решетников или Помяловский, а писатель, чем-то очень похожий на них и всё же совершенно иной по интересам и устремлениям. Вычти из раннего Лескова любого из перечисленных авторов — пропадут сказовая манера, интерес к народной речи, останется отец Илиодор со своими странными снами и нежным сердцем, сохранятся ажурное кружево литературной игры с источниками, вполне модернистской по духу, и языковые загадки.

Приход в литературу писателей-шестидесятников напоминал реку, вскрывшуюся после долгой чистенькой зимы.

Пошел черными трещинами лед мистической и светской романтической повести, лопнули искрившиеся кристаллические решетки эпистолярных романов. Все эти постылые марлинские с их псевдоразбойниками, говорившими с вальтер-скоттовским акцентом, — ни за что не потерпели бы их суровые русские леса; все эти лермонтовы, переносимые лишь в пародийных переделках (*И скучно и грустно, / И некого в карты надуть / В минуту карманной невзгоды...*); все эти искусственные страсти, тщательно выстроенные симметричные сюжетные схемы, заимствованные из европейских романов; все эти изящные треугольники и четырехугольники любящих сердец — разнесены были в осколки, в пыль. От прежнего блестящего паркета остались чумазные щепки, которые плыли рядом с полуштофом, экскрементами, в треске, в шуме. Бурный напор отдавал черной злобой, прежде литературе неведомой; на дне реки темно, холодно лежало отчаяние. Талая вода затопила

и идиллические избушки селян, и раскрашенные псевдоисторические декорации из романов Загоскина.

Придумывать они не умели, а когда придумывали, всё равно опирались на то, что видели и знали.

Но что они видели, что знали? Одну бесконечную русскую беду, горе-злочастие, злую кручину, которую не размыкать никак, никогда. Их очерки часто не имели последовательных сюжетов — какой у горя сюжет? Их судьбы были похожи так, будто шились по одним лекалам.

Николай Успенский — сын сельского священника, окончив семинарию и так и недоучившись в Петербургской медико-хирургической академии, пережил краткий миг славы в некрасовском «Современнике», публиковавшем его натуралистические очерки, безжалостные к дикости и убожеству крестьян, а закончил тем, что ходил по улицам Петербурга гаером с двухлетней дочкой. Пел под гармонику частушки, изображал сцены в компании с чучелом крокодила, чтобы не умереть с голода; в конце концов он совсем спился и зарезался прямо на улице. Федор Решетников — сын екатеринбургского почтаря, не имел даже семинарского образования, но опубликовал всё в том же «Современнике» повесть «Подлиповцы» об абсурдном русском крестьянском мире, тоже много пил и умер от отека легких, не дожив до тридцати. Помяловский, тяжелый алкоголик, скончался и того раньше — в 28 лет, каким-то чудом успев написать несколько очерков и повестей, в том числе легендарные «Очерки бурсы». Продолжать ли? Уже не раз упомянутый нами Александр Левитов по сравнению с ними долгожитель — протянул 41 год, последние пять лет полунимом, ютясь по чердакам и трущобам, и тоже запивал свое горе отнюдь не ключевой водой. Они сочиняли с голодухи.

«У нашего поколения, — напишет Глеб Иванович Успенский в 1888 году, — не было портфелей, но наброски были, только лежать в письменном столе они не могли, а тотчас же по напечатании сохранялись на прилавке в овощной лавке. Обо всём этом времени будет написана целая глава *литературных воспоминаний* о нашей неприютности, об отсутствии таких кружков, которые, как в 40-х годах, воспитывали наших писателей. Когда я появился в Петербурге в [18]61 г., то было два резких явления — начало движения молодежи и пьянство остатков и полуталантов людей 40-х годов, людей старого воспитания. Я жил между тем и другим. Аполлон Григорьев, Аверкиев, Курочкин, В. Якушкин, Левитов, Решетников, Помяловский, Кушевский, Демерт, С. В. Максимов (его спасло то, что он сде-

лался редактором “Полиц[ейских] вед[омостей]” и получал 5000 в год) и тьмы тем пьяных людей. Никуда нельзя было прийти, чтобы не натолкнуться на пьяные сцены. Я года два только и делал, что возил пьяниц в белой горячке в больницы, выправлял из квартала, звонил дворнику — “не ваш ли?” Хороших руководящих личностей не было. [В 18]61 г. в ноябре я видел Добролюбова в 1-й раз, в гробу, в [18]63 увезли Черн[ышевского] в Сиб[ирь]. Писарев до [18]67 был невидим, сидел в крепости. Некрасов написал стихи Муравьеву, Комиссарову. Салтыков был в Рязани начальн[иком] контр[ольной] палаты. Мих[айловский] еще не показыв[ался] на свет литературы. Я готов был наложить на себя руки, но, получив как-то случайно 300 р., уехал за границу и прожил с женой и ребенком там целых два года. Тут я пришел в себя и, несмотря на крайнюю бедность и нищету, стал писать уже по возможности сознательно. Наша хорошая молодежь, среди кот[орой] я был, окончательно прервала мои связи с пьяным миром»<sup>212</sup>.

Разночинный разгул был недоброй версией дружеского пира поэтов пушкинской эпохи. Но утраченная истина, которой питались отцы и деды, не открывалась в вине.

Лескова тоже коснулось это неистовство. Уже в зрелом возрасте, говоря о поэте Фофанове, еще одном известном любителе напитков, волнующих кровь, он сделал признание: «Это поэт с головы до ног, непосредственный, без выдумок и деланности. Он творит даже против воли. Но и пьет, может быть, против воли. Страшно пьет, как теперь в редкость, но как пивали мы когда-то»<sup>213</sup>.

Как Лесков не утонул в этом омуте?

Во-первых, был он рядом с ними, но всё-таки не разночинец — дворянин, хотя и «колокольный», и со своей средой так резко, как они, не порвал, принимал от семьи помощь. Сначала ему, письмоводителю, пусть и иронично шурясь, подал руку дядюшка-профессор, выволок из пыльного, «прогорелого» Орла, это его связи помогли племяннику не только начать служить в Казенной палате, но и сделать первые шаги в журналистике. Потом другой «дядюшка», англичанин Шкотт, позвал Лескова в контрагенты и подарил драгоценный жизненный материал.

Второй причиной был талант — вероятно, большего масштаба, чем у многих его современников-разночинцев, до дна исчерпавших свои личные впечатления и иссякших. Лесков обладал счастливой способностью описывать не только личный опыт, но и мир вокруг; каждый встреченный попутчик был ему интересен, каждый услышанный

анекдот увлекал. К тому же он был художник, рисовал редкими, подслушанными словами, а не хватало подслушанных — вымышленными, складывал фантастические языковые миры, создавал параллельную реальность, в буйных узорах, в лабиринтах которой всегда мог затеряться, спрятаться. Так и получилось: разночинные соблазны коснулись и покружили Лескова, но не затянули, не погубили. Его поджидали иные бездны.

## Горим!

Духов день, 28 мая 1862 года, выдался солнечным, теплым. Ветерок прихватывал, но казался нестрашным, летним. Холода откатили, ледяные дожди схлынули. Облетела черемуха, сирень еще доцветала.

По широким аллеям Летнего сада текла праздничная толпа. Сквозь гомон голосов, смех, вскрики булькала музыка — в разных концах парка играли духовые оркестры. Мраморные нимфы и музы рассеянно глядели, как, точно в танце, степенно приподнимаются над аккуратными лысинами черные циммерманы\*, плавно качаются зонтики-парасольки и женские шляпки, как ветер колышет голубые и розовые ленты, завязанные под нежными подбородками. Вспыхивают околыши фуражек приказчиков и чиновного люда, пестреют головные платки. Нет-нет да и вынырнут из цветной реки суровые бороды староверов — не удержались и тоже пришли на гулянье, тешить беса. Дамы бросают друг на друга зоркие взгляды, высматривают, что нынче носят; сынки, незаметно отстав от родителей, огрубевшими головами сговариваются, как сподручнее бежать от старших да и махнуть на Минерашки\*\*. Шныряют лавочные мальчиш-

---

\* Ц и м м е р м а н — мужская высокая круглая шляпа, называемая так по фамилии известного владельца фабрики и магазина головных уборов.

\*\* Так петербуржцы называли лечебницу с минеральными водами в Новой деревне, в которой с 1834 года действовал и сад с буфетом и музыкой (на одном из местных балов побывал и А. С. Пушкин с женой), а с конца 1850-х — открытый театр с живыми картинами и акробатами (см.: *Стеклова И. А.* Феномен увеселительных садов в культуре Петербурга—Петрограда // *Архитектура и культура: Сборник научных трудов.* М., 1991. С. 165—177; *Конечный А. М.* Петербургские общедоступные увеселительные сады в XIX веке // *Europa Orientalis.* 1996. Vol. 15. № 1. P. 37—50).

ки — и у них выходной. Цветочные ароматы перебивает тяжелый запах пачулей, дегтя, деревянного масла.

Праздно, приподнято, возбужденно — наконец-то тепло и после вчерашней Троицы выпал еще один праздник. А тревожные слухи, что на Троицу непременно подожгут Апрашку, не подтвердились — пустая трескотня.

Но в начале шестого часа кто-то крикнул высоким тенором: «Пожар!»

Через мгновение снова, уже густо, басовито: «Апраксин горит!» Апраксинцы заозирались. «Апраксин двор! Толкучий! Горим!» — неслось уже отовсюду.

Утратив и величие, и степенность, мужчины бросились к выходу — спасать товар. Началась давка; карманники не терялись — подхватывали бумажники, рвали цепочки, драли серьги из ушей. С кого-то тащили бурнус, с барышень — шали с брошками, с мужчин сдергивали жилетные часы. Музыканты еще играли, но уже вразнобой, потерянно, пока их совершенно не заглушили брань, вопли, рыдания, женский визг.

Те, кто вырвался, наконец, на Невский, всё еще надеясь, не веря, застывали: из середины Апрашки тянулся густой черный столб дыма, затмевая солнце и небо. Воняло гарью, рынок смердел. На Каменном мосту уже толпились загруженные вещами возы — когда успели? Мелькали помертвевшие от ужаса лица.

На самом рынке царил хаос. Все улицы и переулки, что вели на Садовую, были запружены снующими людьми, каретами, телегами с мебелью. Ножки стульев торчали вверх, громоздились тюки с товаром, оплавленные зеркала печально глядели в медленно смурневшее небо. Полицейские метались, расталкивая народ. Дорогу! Какое там... Лошади ржали, пожарные с бочками воды не могли пробиться — цеплялись за мебель, вставали, чтобы не подавить людей. Глухие удары, звон, скрежет — на улицу летели шубы, сапоги, картонки, отрезки сукна, подушки, исподнее. Ловкий худенький паренек лез по водосточной трубе; два плотных бородача, явно отец и сын, выламывали двери лавки; дюжий молодец в праздничной красной рубахе зачем-то сбивал вывеску. Кто-то пытался помочь, кто-то норовил украсть, кто-то, потеряв рассудок, пробивался сквозь толпу, бормоча несвязное.

Вдруг крикнули злобно: «Вот же, вот поджигатель! Лови!» Толпа рванула за молодым человеком с большим мешком, из которого тянулась струйка темного порошка. Останови-

ли быстро. Окружили кольцом. Парень в низко надвинутом картузе, бледный как полотно, не убегал, что-то пытался сказать, да кто его слушал! Сбили картуз: рыжий! Рыжий и есть! Толкнули, мешок порвался, содержимое посыпалось прямо в тлевшую под ногами ветошь, и ползший огненный язычок сейчас же угас. Не порох — песок он ташил, тушить! Эх... Беги-ка проворней! Разошлись разочарованно сразу, без лишних слов. И в тот же миг сгинул рыжий с мешком.

Пылал и соседний Шукинский рынок.

В птичьем ряду метались куры, горько пахло паленым пером. Клетки заперты, хозяев не видать. Клокотали индюшки, голосили петухи и гоготали гуси, на глазах превращались в обугленные тушки.

На Садовой шло другое веселье. Народ, окружив разорванные кули со сладостями, ссыпал в карманы орехи и пастилу, черпал чай горстями. Взять съестное — не грех, всё одно пойдет прахом! Молодые ребята из приказных уже набрали (знали?) на запас водки и шагали красные, бешеные. Кто поджег? Там и здесь вспыхивал злой шепоток: опять поляки!.. студент балует! Только попадись!

На Фонтанке торговцы сбрасывали товар на подхлывшие к берегу барки, лодки. Над чугунной решеткой гранитной набережной летели ружья и картины, миски и горшки.

Вспыхнул дровяной склад в Апраксином переулке, загорелись окружающие рынок дома. Жители, обезумев, выталкивали из окон перины, выбегали в шубах и теплых пальто, с иконами и шкатулками под мышкой.

Ветер делался всё сильнее и гнал пламя дальше, на Министерство внутренних дел. Вот уже огонь лизнул его крышу, еще миг — охватил и здание; белые бумаги полетели по набережной, а пламя перекинулось через Чернышев мост.

Розовое зарево дрожало над черными обгорелыми трубами. Сиреневело небо. Толпа погорельцев, гудя, валила к мосту. Вдруг крики, проклятия, вой стихли, подернулись восхищенным рыдающим выдохом: «Ур-ра!»

К Чернышеву мосту скакал верхом император.

Осунувшийся, белый, скорбно глядел он на свой народ, на алое сияние, осветившее ночь.

«Ура!» не смолкало. Народ тянул к нему руки, бабы падали на колени, голосили, плакали: кормилец, спаси! Сгорело всё, до последней ниточки. Глаза государя налились слезами.

Довольно. Я бросаю перо.



## «Пожарная» статья

Пламя полыхало всю ночь. Наутро солнце озарило то, что осталось после пожара: «...там, где кипела деятельность, где стояли сотни лавок, набитые товаром, где тысячи торговцев зарабатывали себе хлеб, было гладкое поле; только кой-где на земле тлелись уголья, да стояли почернелые остовы каменных строений и придавали еще более ужаса этой страшной картине разрушения»<sup>214</sup>. На месте скученного торгового города тянулся едкий дым.

«В несчастный день 28 мая... сгорел Апраксин двор, Толкучий рынок, Шукин двор, много капитальных домов частных владельцев, дом Министерства внутренних дел, Чернышев и Апраксин переулки и многие дома и деревянные дворы по левой стороне Фонтанки, Троицкий переулок от Пяти углов до Щербакова переулка, Щербаков переулок, барки и рыбные садки по Фонтанке»<sup>215</sup>, — писал Лесков 30 мая 1862 года в печально знаменитой статье «Настоящие бедствия столицы», опубликованной в «Северной пчеле», не подозревая, как скоро это пламя поглотит и его самого.

«Да когда же в России что-нибудь не горело? Из этого петербургского удивления перед пожарами и поджогами только видно, что Петербург в самом деле иностранный город»<sup>216</sup>, — язвил из Лондона Герцен. В самом деле, в то время редкая газетная хроника обходилась без сообщения об очередном пожаре — загорался то дом, то амбар, то сарай, то поленница, обычно по чьей-нибудь оплошности. Пламя уничтожало дома, улицы, кварталы. Тот же Орел полыхал многократно, за что и удостоился от Лескова презрительного «прогорелый». Но и на этом неизменном русском огненном фоне весенние пожары 1862 года выглядели страшно, необъяснимо.

За две последние майские недели Петербург пережил больше полутора десятков пожаров. Что-нибудь вспыхивало буквально ежедневно, иногда и дважды в день. Лиговка, Нарвская, Рождественская, Каретная, Московская часть, Петербургская сторона, Большая и Малая Охта. Эта системность наводила и простой народ, и власти на мысль о поджигателях. Но, перебирая кандидатов в злоумышленники, никто и думать не хотел о самом очевидном: правила пожарной безопасности не только не соблюдались — они попирались, высмеивались, особенно на Апраксином дворе.

В квадрат, ограниченный тремя улицами, а четвертой гранью прижатый к Фонтанке, был втиснут городок торговых лавок, набитых горючими вещами: ветошью, паклей, смолой, серой, воском, порохом и просто старым тряпьем, книжками — от кургановского «Письмовника» до старых номеров новиковских журналов, пачками литографированных портретов давно забытых генералов.

«Узенькие переулки лабиринта были вымощены сплошь тоненькими дощечками. В каждой лавчонке дымилась чайники с горячим чаем, — описывал Апрашку критик Александр Скабичевский. — Надо прибавить к этому громадную часовню среди лабиринта, где теплились массы неугасимых лампад и горели тысячи свечей, ежедневно ставившихся благочестивыми торговцами. Принимая всё это в соображение, остается только удивляться, как мог уцелеть такой базар в азиатском вкусе до 1862 года!»<sup>217</sup>

Зимой лавки не отапливались, торговцы стояли на сквозном ветре при любой погоде. Неудобно, тяжело, холодно — что ж... *Не гляди на лицо, гляди на обычай.* Обычай и грел, место было насиженное, отстраивать новые отапливаемые ряды в другой части города или даже по соседству никто не хотел. Покупатель приходил сюда по давней привычке, за любой надобностью, твердо зная: нигде не сыщешь — на Апрашке сыщешь. Мужик шел за подарками деревенской родне, барыня — за отрезом на платье, чиновник — за рождественской игрушкой для сына, хозяйка — за новой кастрюлей.

Было чему полыхнуть! К тому же ветер к вечеру обратился чуть не в ураган. И всё-таки в пожаре винили не ветер, не скученность, не лампадки — студентов, поляков, злых людей. Мещанина Ивана Петрова, просившего милостыню<sup>218</sup>; загадочного человека, шагавшего по набережной Мойки: на нем вдруг загорелось пальто, он сбросил его в реку и убежал. Полицейские выловили пальто из воды, обнаружили в карманах «стеклянку с спиртовой жидкостью, несколько газовых металлических рожков и связку ключей»<sup>219</sup>, но хозяина так и не отыскиали.

С этого, самого болезненного для всех вопроса — были ли поджигатели? и если да, кто же? — Лесков и начал свою злополучную статью «Настоящие бедствия столицы». Она вышла без подписи, но вскоре авторство Лескова стало общеизвестно. Выделим в цитатах курсивом те места, кото-

рые вызвали особенно острое возмущение самых придиричивых читателей.

«Среди всеобщего ужаса, который распространяют в столице почти ежедневные большие пожары, лишающие тысячи людей крова и последнего имущества, в народе *носятся слух, что Петербург горит от поджогов и что поджигают его с разных концов 300 человек. В народе указывают и на сорт людей, к которому будто бы принадлежат поджигатели, и общественная ненависть к людям этого сорта растет с неимоверною быстротою.* Равнодушие к слухам о поджогах и поджигателях может быть небезопасным для людей, которых могут счесть членами той корпорации, из среды которой, по народной молве, происходят поджоги... *Насколько основательны все эти подозрения в народе и насколько уместны опасения, что поджоги имеют связь с последним мерзким и возмутительным воззванием, приглашающим к ниспровержению всего гражданского строя нашего общества, мы судить не смеем.* Произнесение такого суда — дело такое страшное, что язык немеет и ужас охватывает душу... Но как бы то ни было, если бы и в самом деле петербургские пожары имели что-нибудь *общее с безумными выходками политических демагогов*, то они нисколько не представляются нам опасными для России, если петербургское начальство не упустит из виду всех средств, которыми оно может располагать в настоящую минуту. Одно из таких могущественнейших средств — общественная готовность содействовать прекращению пожаров»<sup>220</sup>.

Лесков пересказывает слух о том, что город поджигают «с разных концов 300 человек». Это очевидная нелепица. Чтобы запалить Апрашку и Шуку, а заодно устроить еще десяток-другой пожаров, 300 человек не нужны. Зачем же в ситуации, когда все раздавлены и напряжены, повторять глупости на страницах столичной газеты?

Дальше Лесков, с того же голоса улицы, дает примерный социальный портрет поджигателей: они принадлежат к определенной «корпорации». Какой? Имевший уши слышал в этом месте статьи не произнесенное автором, но повторяемое толпой слово: *студенты*.

Наконец, вслед за молвой Лесков связывает поджоги с «мерзким и возмутительным воззванием», не поясняя, что за воззвание имеет в виду. Но читатели и так понимали: это он о прокламации «Молодая Россия».

Сочинил ее сидевший в тот момент в полицейской камере в Москве студент-математик Петр Заичневский, а его

товарищи напечатали в нелегальной типографии и разбросали по столице незадолго до пожаров, в первой половине мая. Надо сказать, даже для начала 1860-х годов этот манифест молодых революционеров звучал необычайно резко, призывая к социальной и демократической революции, «кровавой и неумолимой». Для осуществления «великого дела социализма» предлагалось учредить Национальное собрание, повысить жалованье солдатам и сократить срок их службы, уничтожить институт брака, закрыть монастыри, дать независимость Литве и Польше. Начать преобразования предлагалось с истребления царской семьи и ее защитников: «...мы издадим один крик: “в топоры”, и тогда... тогда бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам!..»<sup>221</sup>

Герцен в «топоры» студентов не поверил и снисходительно списал всё на «юношеский порыв»: «Горячая кровь, а тут святое нетерпение, две-три неудачи — и страшные слова крови и страшные угрозы срываются с языка. Крови от них ни капли не пролилось, а если и прольется, то это будет их кровь — юношей-фанатиков»<sup>222</sup>. Но его благодушие разделяли не многие. А выкрик «В топоры!» молва связала с пожарами.

Оппоненты Лескова говорили потом, что необразованная чернь не ведала про прокламацию «Молодая Россия» и что вовсе не народ, а полиция распускала слухи о студентах-поджигателях<sup>223</sup>.

Если бы это было так, в Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии вряд ли летели бы тревожные доклады о том, что в народе в связи с пожарами беспокойство, подозрения и разговоры о подметных письмах. В архиве Третьего отделения сохранилась, например, анонимная «Записка о ропоте жителей в городе Санкт-Петербург на бездействие начальства против подозреваемых поджогов», составленная 24 мая 1862 года. Судя по дате, этот ропот поднялся еще до катастрофы, в день, когда в Петербурге вспыхнуло сразу семь пожаров.

В «Записке...» сообщалось не только о народном недовольстве бездействием властей, но и о носящихся в толпе слухах: «Больше всего подозрения изъявляются на студентов, правоведов и экстернов военно-учебных заведений, первых из них положительно обвиняют в поджогах, а о

последних говорят, что они научены студентами и им помогают. Злоба в народе до того сильна, что при малейшем подстрекательстве студентов всех перебили бы. На пожарах вообще не соблюдалось никакого порядка: публика сама брала подозреваемых ею лиц и заставляла полицию арестовать их»<sup>224</sup>. Интересно, что помощь студентов в тушении пожара была воспринята как хитрый маневр: «Уловка студентов, правоведов и экстернов, состоящая в том, что они, желая переменить в публике мнение о себе, качали сами пожарные трубы, совершенно не удалась им: их как раз поняли и осмеяли еще более, так что все они потом удалились»<sup>225</sup>. Похожую сцену, в которой толпа готова была растерзать двух молодых людей, взявшихся помогать пожарным, описывает в воспоминаниях Авдотья Яковлевна Панаева<sup>226</sup>.

Судя по «Записке...», неприязнь к студентам была разлита в воздухе еще до «исторических» пожаров. В другом отчете, составленном полковником жандармского корпуса Ф. С. Ракеевым по поводу пожаров, произошедших раньше, 24 мая, сообщается, что в связи с одновременными возгораниями «в семи различных местностях» Петербурга рассказывают «о появлении будто бы в городе писем, в которых злоумышленники предувещивают жителей, что по случаю неуспеха возбудить восстание все усилия их будто бы употреблены на распространение пожаров, произвели общий страх и общее негодование на недостаточность принимаемых мер по ограждению спокойствия и безопасности жителей»<sup>227</sup>. О том же 24 мая сделал запись в дневнике и цензор А. В. Никитенко: «Толкуют о поджогах. Некоторые полагают, что это имеет связь с известными прокламациями...»<sup>228</sup>. Итак, может быть, простой народ и в самом деле не читал кровожадного манифеста «Молодая Россия», но звон определенно слышал, давал свое объяснение происходящего и к моменту пожарной катастрофы был уже достаточно разогрет.

Таким образом, Лесков ничего не придумывает, а всего лишь пересказывает в газете действительно ходившие в столице слухи о связи пожаров и прокламации.

В «пожарной» статье он подхватывает вполне резонную идею, высказанную Артуром Бенни в том же номере «Северной пчелы», — о привлечении добровольцев. Пожарные команды явно не справлялись с огнем, помочь им вызывались многие, можно было придать стихийной инициативе законный статус. Но и это здравое предложение вызвало

только глухие смешки. Возможно, оппонентам Лескова казалось, что в минуту такого бедствия разговоры о каких-то волонтерах — пустая болтовня, люди и без того помогают друг другу: «Санкт-Петербургские ведомости», например, регулярно публиковали адреса жителей, готовых разместить у себя погорельцев.

К тому же не идею о волонтерах вменили Лескову в самую непростительную вину, не за то сочли агентом Третьего отделения. Он не просто передавал непроверенные слухи, не просто намекал на участие студентов — он предлагал «самое строгое и тщательное следствие, результаты которого опубликовались бы во всеобщее сведение»: «Скрываться нечего. На народ можно рассчитывать смело, и потому смело же должно сказать: основательны ли сколько-нибудь слухи, носящиеся в столице о пожарах и о поджигателях?»<sup>229</sup> Предложение было адресовано полиции — вот что по-настоящему покорило всех.

Одних — тем, что искать правду Лесков предлагал в полиции, к тому же в традициях риторики проправительственных изданий упомянул о «политических демагогах». «Северная пчела» уже два года стояла на умеренных, но отчетливо либеральных позициях, рискуя критиковать правительство и законы. Неудивительно, что статья с призывом к властям найти виновных была воспринята как предательство.

Других — собственно, самих представителей власти — неприятно поразило, что им указывают, как поступать. Следственная комиссия была без подсказок назначена тотчас же после пожара. Император Александр II особенно обиделся на пассаж о том, что пожарные команды должны выезжать «для действительной помощи, а не для стояния», поскольку лично видел, как истово они трудились, и начертил на полях газеты напротив этого места: «Не следовало пропускать, тем более что это ложь»<sup>230</sup>.

Пожарные и в самом деле работали не за страх, а за совесть, тушили огонь всю ночь на 29 мая. Измученные лица пожарных, сутками не видавших ни пищи, ни сна, мелькают почти во всех репортажах. Они не стояли, но и возможности пробраться к огню сквозь паникующую толпу и сваленный скарб — с лошадью, ташившей бочку с водой и насосом — часто не имели. Да и оборудование не всегда было исправно. «Что касается пожарных команд, то они содержались ниже всякой критики. Бочки были вечно раскошшиеся и не довозили воды до места надобности; рука-

ва, кругом продырявленные, поливали не столько пожар, сколько пожарных. Водопроводов еще не было. Воду возили водовозы, причем нельская вода ценилась несравненно дороже канальной, и бедный люд принужден был пить гнилятину из Фонтанки и Мойки. Таким образом, если пожар был в местах, отдаленных от воды, то могли сгорать десятки домов, пока довозили до пожара хоть одну бочку, да и ту наполовину пустую»<sup>231</sup>, — писал А. М. Скабичевский о состоянии пожарного дела в 1860-е годы. Так что, вероятно, Лесков в этом вопросе не совсем удалялся от истины.

Колумнист «Северной пчелы» был не единственным, кто оживил на страницах газеты смутные страхи в режиме реального времени. И всё же изданий, повторивших всеобщие слухи сразу же после бедствия, 30 мая, было мало<sup>232</sup>. «Современная летопись» Каткова устами отца Иоанна Беллюстина\* и немецкоязычная газета «Санкт-Петербургische цайтунг» устами анонима\*\* также говорили о поджигателях, не скрывая подозрений, что ими могут быть студенты и революционеры. Но инквизиторская репутация первого издания сложилась уже давно, а со второго спрос был невелик. Даже официальные «Северная почта», «Санкт-Петербургские ведомости», «Русский инвалид» в первые дни после пожара ограничивались только горестным опи-

---

\* «Но на кого указывает народ как на главную причину своих бедствий? Горько и тяжело, а нельзя скрыть — на учащуюся и ученую молодежь. Совершающиеся бедствия он ставит в неразрывной связи с предшествовавшими возгласениями, объявлениями — всею этою возмутительной нечистью, которую враги общественного спокойствия щедрою рукою сыпали в народ. Ради чести науки, ради стольких надежд, которые возлагались было на молодое поколение, не хотелось бы верить подозрениям народа. Но что если и тут есть своя доля правды?» (*Беллюстин И. С.* Из Петербурга // *Русский вестник. Современная летопись.* 1862. № 23).

\*\* «Из уст в уста передается таинственный страшный слух. И один нашептывает другому, из дома в дом распространяется ужас — не несчастный случай вызвал это бедствие, не недосмотр, не просто проступок, не ребяческое легкомыслие обрушило на нас этот страшный удар. Крадущиеся в темноте злодеи, преступники, чуждые роду человеческому негодяи, лишенные всякой человечности, — говорят, это они бросили искру и раздули пожар, который обрек многие тысячи на бедность и нищету. <...> Мы всё еще не можем и не хотим верить тому, что поджоги совершены революционерами...» (*St. Petersburgische Zeitung.* 1862. № 115. 30. Mai).

санием бед, не повторяя чужих смелых предположений и не делая собственных.

Первого июня «Санкт-Петербургские ведомости» сообщили о создании комиссии «для раскрытия причин необыкновенных пожаров в Санкт-Петербурге». Обывателей просили доводить до ее сведения всё, что поможет расследованию. Обер-полицмейстер призывал домовладельцев усилить «денной и ночной караульный надзор», а дворников — доставлять подозрительных людей в полицию, впрочем, «не дозволяя себе какого-либо самоуправства»<sup>233</sup>. Всех пойманных с горючими веществами или подозреваемых в поджигательстве грозились предавать военному суду в 24 часа. По распоряжению государя пострадавшим предоставлялись здания казарм и выдавались палатки. Император пожертвовал лишенцам 25 тысяч рублей серебром, государыня с детьми — 29 тысяч<sup>234</sup>. Чиновникам по высочайшему повелению полагалось пособие размером до годового оклада<sup>235</sup>. Жертвовали средства и петербургские купцы, и мещане, и все другие сословия. Но о причинах или возможных виновниках происшествия почти все молчали.

Только 5 июня проправительственная газета «Наше время» сообщила, что «целый город» говорит о «правильно организованной, многочисленной шайке поджигателей, имеющей связь с последнею гнусною прокламациею», и на следующий день повторила: «...во всех сословиях обвиняют в поджогах политических деятелей — уверенность в том общая!»<sup>236</sup>

Восьмого июня «Санкт-Петербургские ведомости» тоже, наконец, сослались на мнения тех, кто видел «связь между пожарами и теми листками, прокламациями и воззваниями, которые с некоторого времени стали распространяться в Петербурге». Но в политический подтекст газета не верила: «Если действительно существуют поджигатели, то это разбойники, воры, так называемые в народе “мазурики”. Но не демагоги, потому что если бы так действовали последние, то они действовали бы без всякого знания человеческой природы, без всякого знания народного духа, без всякого смысла...»<sup>237</sup> Бедствие, по мнению газеты, лишь соединяло народ с властью; помощь, оказываемая правительством и лично государем, вызывала в погорельцах благодарность.

В те же июньские дни «Санкт-Петербургские ведомости» опубликовали пространный текст И. П. Балабина «По поводу пожаров, материальных и нравственных», на-



прямую связавшего пожары с прокламацией и недоумевавшего, зачем «Молодая Россия» предлагает русскому народу французскую революцию: «Грустно, невыносимо тяжело становится, когда подумаешь, что есть у нас молодежь с пылкой, отважной кровью, исполненная самых жарких и доброжелательных чувств и стремлений к твердому установлению общественного благополучия, и между тем, молодежь эта, с каждым шагом, более и более сворачивает с пути истины, именно только от незнания края и народа, от непонимания той среды, в которой она действует»<sup>238</sup>.

Официальное издание решилось огласить ходившие в народе слухи лишь неделю спустя после событий. Эта неделя стоила Лескову репутации.

### Катастрофа?

Андрей Николаевич Лесков в книге об отце главу о «пожарной» статье назвал «Катастрофа»<sup>239</sup>. Мотив «катастрофы» подхватили и многие другие исследователи, утверждая, что после публикации в «Северной пчеле» от Лескова окончательно отвернулись радикалы, началась его травля<sup>240</sup>. Если это соответствует действительности, то история гонений на журналиста (а не на редакцию «Северной пчелы») довольно плохо задокументирована. Свидетельств восстания либеральных масс против Лескова практически нет, что и понятно: он ведь не подписал «пожарную» статью; пусть даже все знали, кто ее автор, но в публичном пространстве периодической печати его имя не называли.

Возникает естественное предположение: не преувеличены ли Андреем Николаевичем последствия публикации статьи, не позднее ли это смешение двух историй — «пожарной» и случившейся два года спустя, уже с романом «Некуда»? Очень на то похоже. Впрочем, есть очевидные свидетельства того, что и в июне 1862 года Лесков чрезвычайно нервничал.

Вскоре после публикации статьи «Настоящие бедствия столицы» он еще четыре (!) раза, также анонимно, возвращался к «пожарной» теме на страницах «Северной пчелы»: заверял читателей, что редакция газеты и не думала нападать на студентов, призывал восхищаться их самоотверженным поведением при тушении пожара — словом, всеми силами старался дезавуировать свое первое высказывание по этому поводу. 7 июня Лесков писал в «Северной пчеле»:

«Мы сами видели многих студентов во время бедствий 28-го мая и качающими пожарные трубы, и спасающими имущество погорельцев, и таскающими воду из Фонтанки, и спасающими дела министерства. Мы видели, как студенты, взяв несколько дрожek из загоревшегося экипажного ряда, подвозили их к дому Министерства внутренних дел, нагружали их делами и книгами и отвозили на себе к Александровскому скверу. Мы видели, наконец, студентов в лагере погорельцев; видели, как они подавали несчастным, быть может, последнюю копейку; мы слышали искренний, горячий ропот против поджигателей; мы были свидетелями отчаяния многих молодых людей по поводу недоброй молвы, до них касающейся... Это ли поджигатели? Нет, грешно, безбожно думать на студентов!»<sup>241</sup>

Что это, как не жаркая и, разумеется, покаянная речь? Но было поздно. Хотя, повторим, ругали не Лескова — ругали издание, его статью опубликовавшее.

«Искра» — еженедельный сатирический журнал — в ответ на новоявленные панегирики студентам только шипела: «Ну, прекрасно, зачем же вы прежнюю-то гнусную статейку напечатали? Зачем бросили искру в порох, — счастье только, что пороху не оказалось»<sup>242</sup>. Анонимный автор пояснял, что было гнусного в той самой лесковской статейке, и аргументы его предсказуемы: не следовало повторять на страницах столичной газеты неясные уличные слухи, связывать пожары с авторами прокламаций и ставить под удар «корпорацию», из которой якобы явились поджигатели. Заметим, однако, что автор «гнусной статейки» не назван по имени, все стрелы летят в «Северную пчелу».

В другом номере «Искра» опубликовала стихотворение Виктора Петровича Буренина, подписанное псевдонимом «Владимир Монументов», по-настоящему обидное:

---

\* Любопытно, что в редакционной статье от 13 июня Лесков извинился и перед разгневавшимся на его первую «пожарную» статью государем: «Во всех проявлениях, в которых можно было наблюдать народ в деятельности, произведенной пожарами, особенно резко выступали три черты: подозрительность, развитая до болезненности; недоверие к волнующим его слухам и воззваниям; любовь к Императору Александру II, с именем которого у народа неразлучно понятие о личной свободе и льготах, и, наконец, полнейшая готовность стоять за своего освободителя» (*Лесков Н. С. <Пожарные вариации на тему: «с одной стороны и с другой стороны»> // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 2. М., 1998. С. 613*).

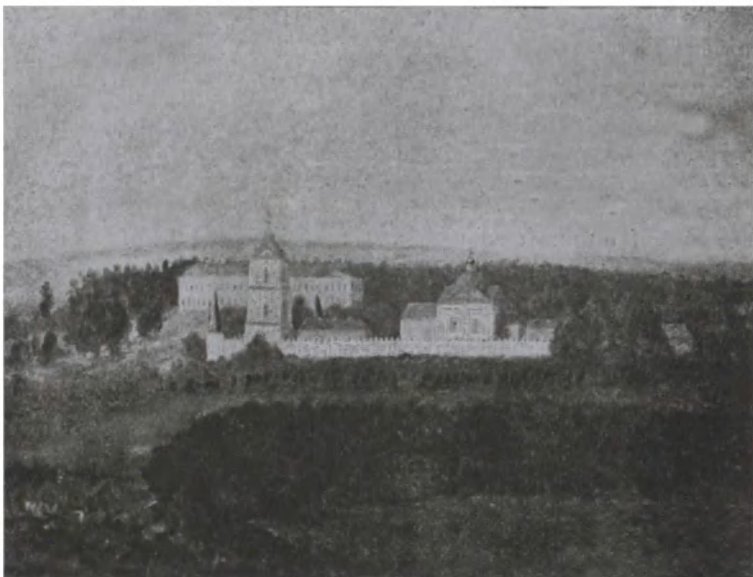


Александр Роксан



Развалины храма Казанской иконы Божией Матери в деревне Лески, где служил священником дед писателя Дмитрий Петрович Лесков

В семинарии на территории севского Спасо-Преображенского монастыря учились Дмитрий Петрович и Семен Дмитриевич Лесковы



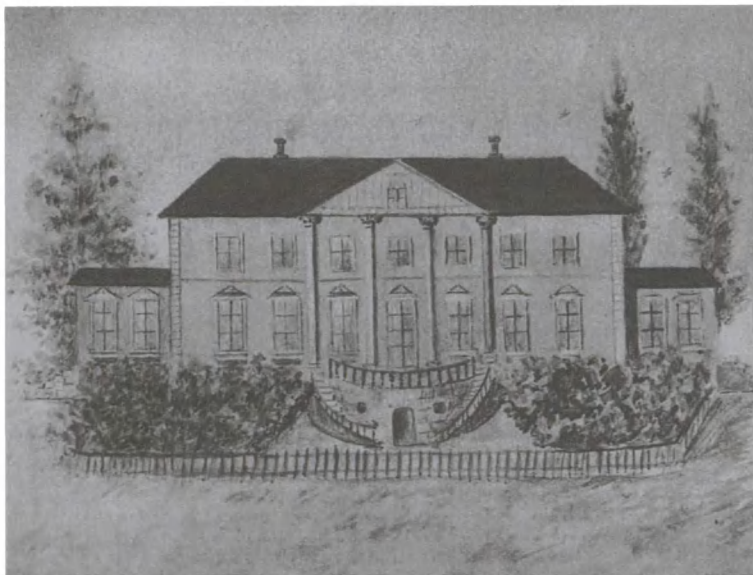


Мать Лескова Мария Петровна,  
урожденная Алферьева. 1873 г.



Бабушка Акилина Васильевна  
Алферьева

Дом в селе Горохове Орловской губернии, где родился Николай Лесков.  
*Акварель Шульца. Около 1887 г.*





Вид города Орла. Г. Цапф, 1830-е гг.

Дом-музей писателя на Октябрьской  
(ранее Третьей дворянской) улице в Орле





В Орловской мужской гимназии второгодник Николай Лесков учился с 1841 по 1846 год. 1900 г.

Присутственные места Орла — первое место службы будущего писателя, подканцеляриста Уголовной палаты. *Конец XIX — начало XX в.*







Орловские знакомые Афанасий Васильевич Маркович и его супруга Мария Александровна, урожденная Вилинская — писательница Марко Вовчок

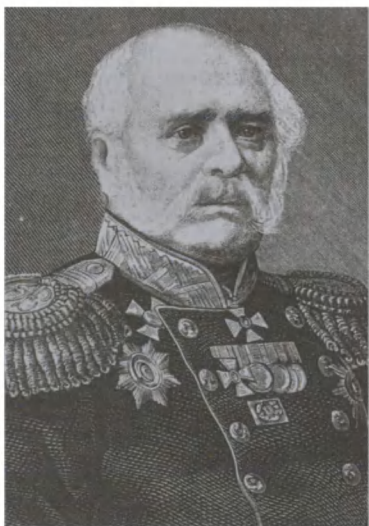
Дом Лесковых на Панином хуторе Кромского уезда Орловской губернии. *Литография первой половины XIX в.*







Собиратель фольклора Павел Иванович Якушкин. 1850-е гг.



В Киевской казенной палате Лесков служил при генерал-губернаторах Дмитрие Гавриловиче Бибикове и Илларионе Илларионовиче Васильчикове

Киев — лестница в небо. Гравюра 1840 г.





В доме на Малой Житомирской улице Лесков жил в 1849—1857 и 1860—1861 годах. 1970-е гг.



Киевский дядюшка Сергей Петрович Алферьев, профессор Императорского университета Святого Владимира



Митрополит Киевский и Галицкий Филарет (Амфиатов)

### Университет Святого Владимира





В окрестностях Киево-Печерской лавры Лесков присматривался к жизни «печерских антиков». *Гравюра 1872 г.*

Присутственные места в Киеве.

В Казенной палате Лесков служил столоначальником







Н. С. Лесков. 1860 г.



В Петербурге  
Лесков подружился  
с Артуром Бенни.  
*Между 1861 и 1862 гг.*



Издательница газеты  
«Русская речь»  
графиня Елизавета  
Васильевна Салиас-  
де-Турнемир  
ввела Лескова  
в круг писателей  
и открыла ему дорогу  
в литературу.  
*Между 1863 и 1864 гг.*

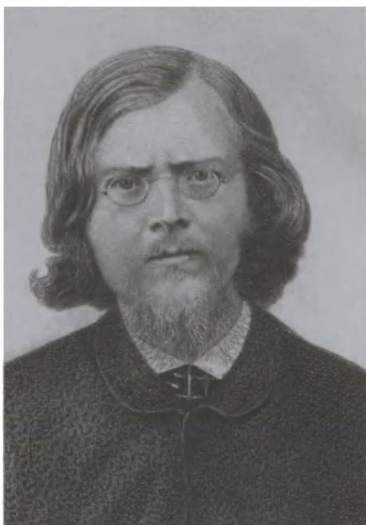


Пожар Апраксина двора в Петербурге 28 мая 1862 года и статья о нем сыграли роковую роль в судьбе Лескова. *Литография*

Еженедельник «Гудок» откликнулся на пожар карикатурой «Волонтеры, сформированные редакцией “Северной пчелы”». В центре — Лесков на ослике. 15 июня 1862 г.







Писатели Василий Алексеевич Слепцов и Александр Иванович Левитов — прототипы персонажей романа Лескова «Некуда»

Петербургский дом, где располагалась описанная в романе Знаменская коммуна (ныне — улица Восстания, дом 7).  
*Фото И. Курукина. 2020 г.*





Братья Лесковы:  
Василий, Михаил,  
Николай, Алексей.  
*1860-е гг.*



Сестра Наталья,  
в монашестве  
Геннадия

Люблю «Пчелы» я лист большущий  
И сикофантов в ней люблю,  
Люблю порой на сон грядущий  
Прочсть Юркевича\* статью<sup>243</sup>.

Греческое слово «сикофант» означало «доносчик». Это было очень серьезное обвинение, однако с весьма расплывчатым адресатом. Интересно, что 40 лет спустя Буренин, который при жизни Лескова пустил в него еще немало ядовитых стрел, после кончины оппонента отзывался о нем как о «свободном, самом дерзком писателе», а в направленных против него «послепожарных» слухах видел жандармский след\*\*.

Сатирический еженедельник «Гудок» 15 июня тоже откликнулся на «пожарную» статью, но и он издевался не лично над Лесковым — опубликовал карикатуру «Волонтеры, сформированные редакцией “Северной пчелы”». Сотрудники газеты предстают на ней в виде пожарной команды: в центре на ослике в шутовском колпаке — легко узнаваемый Лесков, рядом в костюме Арлекина с ба-

---

\* *Петр Ильич Юркевич* (?—1884) — драматург, театральный обозреватель «Северной пчелы».

\*\* Историк театра, филолог Б. В. Варнеке в письме А. Н. Лескову от 3 июня 1939 года передает свой разговор с В. П. Бурениным, состоявшийся четыре десятилетия спустя после «пожарных» событий: «“Про Лескова смело надо сказать, что это самый свободный, самый дерзкий русский писатель. Кто бил жандармов так жестоко, как он?” <...> В то утро, верно, у В. П. желудок подействовал, и он был разговорчив и продолжал: “Как нелепо и фальшиво осветил Флексер (критик А. Л. Волынский, настоящее имя — Х. Л. Флексер. — М. К.) всю историю с пресловутым письмом о пожарах. Автор ‘Русских критиков’ должен был знать, что за люди были те, кто заживо распял Лескова. В первую голову агитаторы. И их хором очень ловко дирижировало III отделение... Надо быть идиотом, чтобы сделать из него выводы, какие сделала ‘красная печать’. Ей их кто-то подсказал. Кто? полиция, конечно, одна знала виновников пожара и через них науськивала толпу на студентов. Пожар устроили поляки, но ведь они-то были очень [сильны] в департаментах. <...> ‘Письмо-донос’. И пошла писать губерния. <...> Я очень хорошо знаю эти круги. И это как раз жандармская хватка, искалечившая жизнь Лескова. Вот о чем надо было писать...” Конечно, через сорок лет слова В. П. я забыл, но суть речи — как раз та» (цит. по: *Борхсениус Е. И.* Мои воспоминания о Николае Семеновиче Лескове // В мире Лескова: Сборник статей. М., 1983. С. 354).

гром «для ловли поджигателей» — Мельников-Печерский\*. Остальные тоже легко идентифицируются, особенно благодаря групповой фотографии редакции: в верхнем ряду — А. Г. Ротчев, И. Н. Шилль (с ножницами), А. И. Бенни; в центре — П. С. Усов (с поводьями), П. И. Небольсин, К. С. Веселовский, Н. П. Пероziо, С. Н. Палаузов, В. В. Толбин<sup>244</sup>. Карикатура сопровождалась подписью: «Пожарный. А-а! вы... (следует трехэтажное крепкое слово) вот подождите, попадетесь ко мне под команду, — поставлю там, где чёрту жарко! (Волонтеры продолжают ехать, молча исполняя свое призвание)».

Активные нападки на «Северную пчелу», намеки на ее продажность продолжались в сатирических журналах весь 1862 год\*\*. Лесков даже посвятил ругательствам в адрес газеты отдельную язвительную статью, чем только подлил масла в огонь<sup>245</sup>. Критики «Северной пчелы» то и дело переходили на личности, упоминали и Усова, и Мельникова-Печерского\*\*\*; имя Лескова тоже изредка мелькало. Например, в 35-м номере «Гудка» в рубрике «Погудки» указывалось: «Когда г. Лесков писал “о врачах” в России, то ему следовало сказать: “врачу исцелись сам!”»<sup>246</sup>.

Но кто же всё-таки запалил петербургские дома и склады?

Выяснить это так и не удалось. Арестованных на пожарах «поджигателей» отпускали за отсутствием вины. Народная молва обвиняла не только студентов, но и поляков.

---

\* На это указывает прозрачный намек в объяснении редакции «Гудка» по поводу карикатуры два номера спустя: «Что же касается до четвертого ослика, оседланного арлекином, то этот ослик знаменит тем в особенности, что на нем ездят постоянно и на гору Парнас, и в раскольничьи скиты, и даже на крутые возвышенности влиятельных лестниц, за высокими чинами» (Гудок. 1862. № 24. 29 июня. С. 191).

\*\* В заметке «Листки новейшего оракула» предполагалось, что «у луны те же принципы, что и у “Северной пчелы”, только в последней гораздо больше темных пятен» (Гудок. 1862. № 25. С. 199). Там же предсказывалось, что в конце года «“Северная пчела” [изобретет] невод для ловли всех городских сплетен». В другом номере «Гудка» появилась карикатура, изображающая старичка, с диалогом: «Научи, старичок, как бы мне совладать с моей Пчелой? — Нешто балует? — Да как же! вместо меду дает какой-то дурман. — Так вот что, барин, пока еще не околела, наипаче оберегайте, чтобы с навозу меду не собирала» (Там же. № 5. С. 280).

\*\*\* В «Соннике, или Толкователе снов» говорилось: «Видеть во сне Усова — качать воду на пожаре. Видеть во сне Павла Ивановича Мельникова — получить награду и благодарность начальства» (Гудок. 1862. № 35. С. 280).

В. Ф. Одоевский предположил, что поджоги устраивали купцы, желавшие обнулить все расчеты<sup>247</sup>. Советский историк С. А. Рейсер винил во всём правительство, считая, что оно устроило сознательную провокацию для последующего закручивания гаек<sup>248</sup>. Если принять эту версию, придется признать, что цена вопроса была слишком высока — в пламени погребено и здание Министерства внутренних дел, а средства, выделенные казной для помощи пострадавшим, были огромны<sup>249</sup>.

Лесков будет возвращаться к «пожарной» статье на протяжении всей жизни (в очерках «Русское общество в Париже», «Загадочный человек»; «Обнищеванцы»), снова и снова объяснять, что написал совершенно не то, что ему инкриминировали, — и полюбит нет-нет да и поджечь что-нибудь в своих сочинениях. Загорится от молнии сосна в «Овцебыке». Страшным пожаром завершится драма «Расточитель» — обезумевший Молчанов решит отомстить «городскому авторитету», купцу Фирсу Князеву, убийце его отца, сломавшему ему жизнь; запалит и свое, и чужое: сгорят его фабрика, дом Князева, церковь. Герой романа «Некуда» корректор Арапов, глядя на московскую ночь, будет мечтать: «...что, если бы всё это осветить другим светом? Если бы всё это в темную ночь залить огнем? Набат, кровь, зарево!...»<sup>250</sup> Целых два пожара полыхают в романе «На ножах», один из них — тоже следствие поджога. Молния ударяет в дом вора Кромсая в повести «Юдоль»; в рассказе «Пустоплясы» очистительный огонь уничтожает дома грешников.

Как известно, и пожар, разгоревшийся в романе Достоевского «Бесы», также списан с петербургских событий 1862 года, свидетелем которых писатель был и которые позволили ему сформулировать мысль о темных желаниях, порождаемых зрелищем ночного пожара: «Большой огонь по ночам всегда производит впечатление раздражающее и веселящее; на этом основаны фейерверки; но там огни располагаются по изящным, правильным очертаниям и, при полной своей безопасности, производят впечатление игривое и легкое, как после бокала шампанского. Другое дело настоящий пожар: тут ужас и всё же как бы некоторое чувство личной опасности, при известном веселящем впечатлении ночного огня, производят в зрителе (разумеется, не в самом погоревшем обывателе) некоторое сотрясение

мозга и как бы вызов к его собственным разрушительным инстинктам, которые, увы! таятся во всякой душе, даже в душе самого смиренного и семейного титулярного советника... Это мрачное ощущение почти всегда упоительно»<sup>251</sup>.

Не секрет, что в знаменитом булгаковском романе Бегемот с Коровьевым недаром назвались Скабичевским и Панаевым: именно воспоминания А. М. Скабичевского и А. Я. Панаевой о петербургских пожарах послужили источником описания пожара, охватившего проклятый литературный дом Грибоедова по вине inferнальной свиты Воланда<sup>252</sup>.

«— Ни с места! — и тотчас все трое открыли стрельбу на веранде, целясь в голову Коровьеву и Бегемоту. Оба обстреливаемые сейчас же растаяли в воздухе, а из примуса ударил столб огня прямо в тент. Как бы зияющая пасть с черными краями появилась в тенте и стала расползаться во все стороны. Огонь, проскочив сквозь нее, поднялся до самой крыши грибоедовского дома. Лежащие на окне второго этажа папки с бумагами в комнате редакции вдруг вспыхнули, а за ними схватило штору, и тут огонь, гудя, как будто кто-то его раздувал, столбами пошел внутрь теткин-ного дома»<sup>253</sup>.

В пожаре 1862 года сгорели не только Толкучий, Апраксин, Щукин. Сгорели жилые дома на улицах вокруг.

Сгорели дома и на другом берегу Фонтанки, между Чернышевым и Шербаковым переулками.

Сгорело Министерство внутренних дел.

«Сгорели» журналы «Современник», «Русское слово», газета «День».

Воскресные школы, едва открытые.

Публичные лектории, которые только начали потчевать слушателей циклами лекций.

Читальные залы\*.

---

\* Правительственным распоряжением от 15 июня 1862 года издание «Современника» и «Русского слова» было приостановлено на восемь месяцев «за вредное направление». Славянофильская газета «День» тогда же была запрещена из-за отказа И. С. Аксакова объявить имя автора статьи, обратившей на себя внимание Александра II. Воскресные школы, появившиеся в самом начале 1860-х годов, были закрыты также за «вредное направление» (см.: Санкт-Петербургские ведомости. 1862. № 127. 14 июня), как и народные читальни, дававшие, как сообщалось в приказе петербургского воен-

Их закрыли, остановили, запретили. Иван Кельсиев, Андрей Ничипоренко, Николай Чернышевский угодили под арест.

Сгорел и Лесков.

Открытой травли пока не было, сатирические журналы язвили по его поводу примерно столько же, сколько и по поводу других сотрудников «Северной пчелы». Но дурной слух был пущен. Подающий надежды литератор, «постепеновец», талантливый автор в одночасье превратился в доносчика и — шептали — тайного агента Третьего отделения<sup>254</sup>. Оправдывайся теперь. Кричи.

Две его последние «пожарные» статьи, от 13 и 23 июня, напоминали рев раненого зверя. «К чему доходить до смешного в своих обвинениях? К чему видеть гнусные и адские умыслы там, где их нет?»<sup>255</sup> — взывал Лесков к разуму противников, обидевшегося на него государя, читателей. Но никто его, конечно, не слушал.

Тогда он поехал из столицы прочь. Редакция «Северной пчелы» отправила его в командировку. Нашелся и предлог: выяснить, каковы преимущества строительства новой Литовской, или Белостокско-Пинской, железной дороги, которая должна была соединить юг и север западных окраин России.

Можно вообразить, как счастлив он был вырваться из Петербурга. Перестать оправдываться, хоть на время. Прийти на вокзал, вдохнуть запах угля и свежей осенней прохлады, пойти по первому звонку к вагону, втиснуться в купе, пристроить чемодан, сесть. Погрузившись в *dolce far niente*\*, прикрыть глаза, наблюдать сквозь ресницы за пассажирами, вступать в нетребовательную дорожную беседу, без труда переходя с русского на польский.

ного генерал-губернатора, «средство не столько для чтения, сколько для распространения между посещающими оные лицами сочинений, имеющих целью произвести беспорядки и волнения в народе, а также безосновательных толков...» (Там же. № 120. 6 июня). Чтение публичных лекций в Санкт-Петербурге, согласно приказу Александра II от 10 июня, разрешалось отныне только «по взаимному соглашению» управляющего Министерством народного просвещения с министром внутренних дел, главным начальником Третьего отделения и петербургским военным генерал-губернатором (см.: Там же. № 126. 13 июня).

\* Сладостное ничегонеделание (*um.*).

Ехать в Вильну, потом в Гродну. В холодном гродненском заязде забежать в полусне в чужую семейную драму, тянущуюся за стеной, и вдруг припомнить свою. Получить от гостиничного метрдотеля неожиданный презент — «молодую полненькую евреечку» — и с негодованием его отвергнуть. В Белостоке покинуть поезд, нанять тройку за десять рублей, пробираться по вязкой песчаной дороге сквозь лес, мимо редких деревень и высоких деревянных крестов, поставленных, чтобы Господь заметил и послал урожай. Тянуться по ступицу в песок и наконец добраться до Беловежской Пуши.

Запись от 16 сентября — одна из самых длинных в «дорожном дневнике», который он составил потом для «Северной пчелы». 30 убористых страниц посвящены... зубрам: месту их обитания, особенностям размножения и питания, внешнему виду.

Вместе с дорожным товарищем Лесков отправился в зверинец, чтобы дожждаться встречи с диковинными зверями, на которых обещали устроить облаву, чтобы выгнать их из леса. В воздухе дрожала мглистая сырость, начинался дождь, длинная трава стала скользкой. Зубров не было — только уходящие ввысь сосны. Толстая шинель на вате разбухла от влаги. Вдруг послышались долгожданные звуки облавы. Проводник бросился в сторону, Лесков с товарищем — за ним, бегом, скользя на мокром валежнике, всё явственнее различая треск, топот и, наконец, увидев среди деревьев темные тени.

«Он был весь мокр и казался темно-карим или как будто осмоленным. Осторожно выдвинув на поляну переднюю часть своего исполинского тела, он повел глазами направо, налево и, постояв несколько секунд, вышел из леса и пошел через поляну к другой стороне. За ним разом вышло всё стадо, состоящее из одиннадцати больших животных и двух сосунков»<sup>256</sup>.

С жадностью мальчика, впервые попавшего в зоопарк, Лесков всматривается в диковинных зверей: тупая морда, шерсть, космы под челюстью, огромные, страшные рога, высокий горб. Но самые интересные, конечно, детеныши:

«Два зубренка, бежавшие за матками, очевидно, родились только нынешним летом. Теперь они не более обыкновенного 3-х, 4-месячного теленка. Черные, с комолами,



тупыми мордочками, почти без шей, с толстым чурбановатым тельцем, они прыгали на своих толстых, довольно неуклюжих ножках. <...> Вообще зубрята необыкновенно смешны и милы оригинальностью своего вида. Смотря на их маленькое, толстенькое, обрубоватое тельце, невольно вспоминаешь и карликов, и Собакевича, и его стулья <...> Они, как стулья Собакевича, как бы говорят: “А посмотри-ка на нас! Мы маленькие, и тоже Собакевичи. Под нами тоже будет хрустеть вереск, и другой тебе подобный ‘зверь, в штанах ходящий’, будет смотреть на нас, спрятавшись за дерево”. В этих двух маленьких фигурках есть какое-то неуловимо милое, смешное и наивное важничанье собою, какая-то забавная смесь неуклюжества и... своего рода грации»<sup>257</sup>.

Умилён, сокрушен, очарован. Где «Северная пчела», «Современник», едкая «Искра» с хриплым «Гудком», где плоские шутки, нелепые карикатуры, где литературные враги? Дети природы, почти нетронутой, затмевают всё. Не здесь ли, вглядываясь на этих угрюмых косматых великанов, он задумал «Овцебыка»? Составляя потом путевые заметки, Лесков, вероятно, сделал и другое открытие: путешествие — чрезвычайно удобная форма для соединения разрозненных событий и лиц. Как связать историю размножения зубров и обстоятельства пересечения границы, сопровождавшегося многочисленными поборами, рассказ о трудолюбивых евреях, живущих в Пинске, с суконной гарибальдийской шляпой, купленной во Львове вместо цилиндра, на который косились поляки?»<sup>258</sup>

Всех соединит и примирит дорога.

### За границей

Как турист и путешественник Лесков обращает внимание на архитектуру зданий, содержание уличных разговоров, настроения местных жителей, цены, погоду, качество гостиниц. Но еще среди достопримечательностей, которые он никогда не упускает из виду, всегда оказываются женщины, не давая читателю забыть: заметки эти составляет не просто наблюдательный журналист, даровитый писатель, но и молодой мужчина.

Положение женщины в обществе и ее поведение, манера одеваться, внешний облик — ничто не ускользает от его взгляда. То и дело попиная эмансипацию по-

французски, восхищаясь славянками правильной породы<sup>259</sup> и огорчаясь при виде других — изморенных, с потухшим взором, — он внимательно глядит им в глаза, и не только:

«Девушка пристально стояла у огня, сложив руки на молодой, очень красиво очерченной складками белой рубашки груди, и ни слова не сказала. Только по тонким устам ее милого, свежего и немножко хитрого личика снова промелькнула ироническая улыбка»<sup>260</sup>.

Сквозь рассуждения о свободных, развитых, но не фамильярных женщинах города Львова сквозит тоска об умной и ласковой подруге. На коленях ее сможет отдохнуть «голова сколько-нибудь развитого мужа», а сама она непременно поддержит «словом и делом в минуту душевной невзгоды». Воспитание польских женщин Лескову настолько по душе, что даже прелестницы известного сорта его чаруют:

«Львовская камелия не бросает по сторонам наглых взглядов, не толкает нарочно локтем, не заговаривает с прохожим, как наша невяская камелия, а гуляет себе пристойно, таким же шагом, как и прочие, и нужно обладать польскою ловкостью, чтобы, сохраняя всё наружное приличие, всё-таки дать заметить, что если вы пойдете за нею в десяти шагах, то, войдя в одни ворота, она вам тихонько шепнет: “proszę”<sup>\*</sup> и... расстояние совсем исчезнет»<sup>261</sup>.

Но и краковские дамы оказались не хуже.

В Кракове он тоже нашел себе паненку — точнее, это она выдернула его из толпы зевак. И впервые в жизни Николай Семенович Лесков посреди города, на центральной рыночной площади, танцевал мазурку.

Сначала он мирно наблюдал за шумным, но не крикливым торжищем, как вдруг из-за угла послышалась мелодия, показался шарманщик.

«Он играл на своем инструменте “мазура”, а около него пар двадцать отхватывали отчаянную мазурку. Кованые каблуки кракусов (краковчан. — *М. К.*) звонко отбивали такт по каменной мостовой, а маленькие ножки полек в белых чулочках и краковских сапожках подлетали на воздух, едва прикасаясь к земле. Восхитительно танцуют! В несшихся за шарманщиком парах было несколько пар, составленных необыкновенно оригинально: так, я помню маленького

---

<sup>\*</sup> Прошу, пожалуйста (*польск.*).

мальчика лет 14-ти, который неистово неся с стройной, высокой девушкой в красной юбке и черном спензере\*. Одна ее рука была в руке мальчика, а в другой она держала корзину, из которой выглядывали красные хвостики моркови, помидоры и кочан капусты; другая пара — старая дворничиха с метлой на плече, в огромном белом чепце».

Мазурка, как волна, захлестывала всех.

Торговки бросали свой товар, покупательницы ставили на мостовую корзины и, схватив первого встречного, пускались с ним в пляс. И вот уже одна задорная черноглазая кракуска, в зеленой юбке и белом переднике, кинулась к одному из зевак — Лескову.

«Она схватила меня за руку и, крикнув: „Tańce chłopcze!“\*\* — вышвырнула меня в свою бешеную мазурку — меня, человека, привыкшего к самым чинным движениям на Невском проспекте! Господи! что я только вынес, проклиная мою бесцеремонную даму. Агта-Тролл\*\*\* стал бы тут в тупик, не только я, русский человек, которого вертит краковская полька, да еще и не хочет выпустить; не хочет верить, что есть на свете люди, не умеющие танцевать мазурки. Сначала я было попробовал упираться, но задний кракус так ловко поддал меня сзади своим коленом, что я налетел на переднего танцора и уж решился прыгать. В мазурке я ничего не понимал, но русская сметка спасла меня. Мне показалось, что если я стану подражать русской пристяжной лошади, то я еще могу быть спасен и выйду целым из моего плачевного положения. Я взглянул на мою мучительницу, дернул ее за руку, загнул голову в сторону и понесясь московским пристяжным скакуном, так, что задний кракус уж не догонял меня и не дал мне более ни одного стрелка. Сколько кругов я прогалопировал уж — не помню, но помню, какой радостью исполнилось мое сердце, когда скачка моя прекратилась. Все пошли выпить по кружке пива в погреб между улицами Floryańskiej i Szpitalnej. У всех лбы были мокрые, и всякий вел свою даму на кружку пива. Я тоже пригласил мою даму и предложил ей две кружки; но она, однако, более одной пить не стала. “Надо, — сказала она, — днем дело делать”»<sup>262</sup>.

---

\* С п е н з е р (спенсер) — двубортный жакет до талии, названный по имени британского министра внутренних дел графа Джорджа Спенсера, который, по легенде, подпалил фалды фрака.

\*\* Танцуй, парень! (польск.).

\*\*\* Главный персонаж одноименной сатирической поэмы Генриха Гейне (1841).

С видимым удовольствием и смехом рассказывает об этом Лесков.

Бурный танец на краковской площади стал апогеем его долгих дорожных приключений. Всё в нем слилось: свобода, музыка, молодость, сладкая женская власть над паном, беспечность и озорство.

После этого можно было заняться делом.

Лесков отправился в Прагу. Как в Львове и Кракове он полюбил поляков, так здесь полюбил чехов, чешскую литературу. Его перевод двух чешских сказок — «О двенадцати месяцах» Божены Немцовой и «От тебя не больно» Мартина Бродского (Й. В. Фрича) — опубликовала «Северная пчела». Пражские чехи снабдили его рекомендательными письмами друзьям в Париже, куда он и направился в конце ноября.

---

---

## Глава четвертая

### ПОСТОРОННИЙ

*Я бежал оттоль, с того места, сам себя не понимая, а помню только, что за мною все будто кто-то гнался, ужасно какой большой и длинный, и бесстыжий, обнаженный, а тело все черное и голова малая, как луковочка, а сам весь обростенький, в волосах, и я догадался, что это если не Каин, то сам губитель-бес, и все я от него убегал и звал к себе ангела-хранителя. Опомнися же я где-то на большой дороге, под ракиточкой. И такой это день был осенний, сухой, солнце светит, а холодно, и ветер, и пыль несет, и желтый лист крутит; а я не знаю, какой час, и что это за место, и куда та дорога ведет, и ничего у меня на душе нет, ни чувства, ни определения, что мне делать...*

Н. С. Лесков.  
Очарованный странник

### Париж

Лесков поселился в студенческом Латинском квартале на углу улиц Медицинской школы (l'École de Médecine) и Отфёй (Hautefeuille), сняв квартиру у добродетельной и снисходительной к жильцам мадам Лакур.

Утром он отправлялся в находившееся на том же углу кафе «Ротонда»<sup>263\*</sup>. Это было популярное студенческое кафе с некоторым иностранным акцентом и литературной славой. Само здание, в котором располагалось кафе, приобрел в конце XVIII века знаменитый издатель Шарль Жозеф Панкук. Выпить чашечку кофе, выкурить трубку сюда приходили не одни студенты, но и сорбоннские профессора,

---

\* В комментарии к лесковской статье «Как отравляются угольным чадом в Париже» (Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 3. М., 1996. С. 641) кофейня «Ротонда» ошибочно смешивается с одноименным кафе в квартале Монпарнас — знаменитым артистическим местом, появившимся только в начале XX века.

и журналисты газеты «Монд». Кафе часто посещали иностранцы; специально для них хозяин выписывал основные научные европейские журналы, среди которых внезапно оказалась и «Северная пчела», а также другие русские газеты. Лесков с удовольствием их листал. В кафе было тихо, приятно пахло хорошим кофе, выпечкой, журналисты часто писали тут статьи. Лесков тоже составлял здесь свои газетные корреспонденции, и черновик «Овцебыка», похоже, создавался именно в «Ротонде».

Неподалеку располагался винный погреб, где у Лескова был открыт кредит. Он наслаждался всем: кофейней, погребком, новыми ароматами, вкусом сладостей и устриц, уличной торговлей, пассажами, парижскими музеями, обществом двух соседок по лестничной клетке. Черноглазую мадемуазель Арно и бело-пепельную Режину, которую Лесков называл «замороженным шампанским», не смущал ни его французский (отвратительный), ни то, что, в отличие от большинства здешних обитателей, в Сорбонне он не учился. В том, что обе гризетки\* обладают «самым добрым сердцем», Лесков убедился в «весьма непродолжительное время»<sup>264</sup>. Свобода парижских нравов его, похоже, и изумила, и очаровала. Ольга Васильевна была так восхитительно далеко, и все преимущества положения *en garçon*\*\* он вкусил в полной мере.

Неудивительно, что в цикле статей «Русское общество в Париже», написанных на основе парижских впечатлений, Лесков воспел гризеток Латинского квартала — «честных, веселых, работающих и вовсе собою не торгующих»: их простодушие, деликатность, умение жить на самые скромные средства, но главное — легкость, легкость.

«Жизнь с гризетой вообще очень легка. Нужно обладать только одним гризетам свойственной натурой, чтобы приручить к себе самого неумоленного медведя, взять его на короткие поводья, привязать к себе донельзя более, наполнить собою всю его жизнь, изгоняя из его головы всякую мысль о возможности другой жизни, и в то же время никогда не поселить в человеке сколько-нибудь глубокого, серьезного чувства, какое способна вызывать у человека с натурой хорошая славянская женщина»<sup>265</sup>.

---

\* Гризетка — по определению французского словаря, «молодая нестрогая швея» (см.: Мильчина В. А. Париж в 1814—1848 годах. М., 2013. С. 200).

\*\* Молодым человеком; здесь: холостяком (*фр.*).

Но, кажется, именно за неспособность гризеток поселить в человеке глубокое чувство он был им особенно благодарен, пусть благодарность эта высказана не без высокомерия и завершается довольно загадочной сентенцией:

«Французенка не создает в человеке той любви, при которой любимая женщина становится для нас *душой и силой*, и сама для себя никогда не поймет той любви, которая слезой немощного покаяния выливается поздней ночью пред одинокой лампадой супружеской спальни и которой никто не видит, которую еще ставят в укор»<sup>266</sup>.

Занятно, что в том же цикле очерков он говорит и о русских дамах в Париже, но тут перо его наливается свинцом. Лесков делит их на три сорта: больные, приехавшие на лечение — раз; притворяющиеся таковыми — два; те, кто живет из расчета, будто за границей дешевле, — три. Особенно укоризненно отзывается он о дамах, страдающих выдуманными болезнями, и не сомневается, что на деле они беглянки с «попорченной жизнью». Конец таковых известен: ненадолго поддавшись желанию «пополнить пробелы жизни» и решившись на новые связи, они, разочаровавшись и к тому же ничего не умея, возвращаются в родные пенаты.

«Вообще заграничная жизнь таких женщин есть чаще всего процесс примирения их с прошлым, и чем практичнее и серьезнее женщина, попавшая в такое положение, тем быстрее совершается в ней этот процесс и тем покорнее она соглашается подложить голову под прежнее ярмо»<sup>267</sup>.

Это в лучшем случае. В худшем — беглянки окунаются в «бездну порока» и умирают в госпиталях. Не без сочувствия к этим поломанным, коим «отлилось житецко желтенькое» от мужа или домашних, но и не без брезгливости пишет о них Лесков, предъявляя к соотечественницам совершенно иные требования, чем к своим соседкам. То ли дело милая Режина, которая шьет перед камином и греет ножки в вязаных чулках, подаренных молодым русским литератором, ее новым другом, жаль — пишущим на непонятном языке.

В круг общения Лескова в Париже, помимо Режины, ее невесомых подруг и русских, входили чехи. Для них, в отличие от поляков, Лесков нашел немало добрых слов. Чехи, по его мнению, «самый милый и самый грамотный во всём

славянстве народ, эти честные и работающие чехи во всём стоят выше польской цивилизации»<sup>268</sup>. На поляков Лесков обиделся. Он знал польский язык еще с киевской поры, любил польскую литературу, поддерживал свободолюбивые настроения поляков и охотно общался с ними в том же Париже. Но когда в конце января 1863 года грянуло Польское восстание и его участники стали требовать возвращения отошедших к России территорий Речи Посполитой, не довольствуясь автономией, возвращенной Александром II Царству Польскому, а настаивая на полной независимости, отношение парижских поляков к русским резко ухудшилось. Они даже попросили вчерашних товарищей не ходить в ресторан, который привыкли посещать сами. Лескова оскорбляло, что поляки не разделяли народ и правительство, не верили в сочувствие своих русских друзей, которых в Париже было достаточно, и даже откровенно презирали их.

«Библиотека для чтения» опубликовала цикл парижских очерков Лескова в 1863-м, а спустя четыре года автор отредактировал и расширил их для сборника<sup>269</sup>, многое переделав — например, усилил нападки на нигилистов и поляков, добавил главу «Искандер и ходящие о нем толки» о Герцене, к которому, по версии 1867 года, он и стремился, покидая Петербург. И снова (в который раз!) вспомнил о «пожарной» истории и обвинениях в адрес «Северной пчелы»:

«Домашним ругательствам на “Пчелу” и “Московские ведомости”, которые в это время тоже чем-то обмолвились, повистовал\* за границу Герцен, и повистовал так энергично, что как ни смачна была здешняя, домашняя брань, она выходила невинным лепетом в сравнении с любезными словами, которые находил для нас, “подкупных газетчиков”, в своем ядовитом лексиконе он, которого, по тогдашним условиям нашей печати, у нас принято было называть “далеким публицистом”. И он, как они, утверждал, что “Пчела” и москвичи обвиняли студентов в поджигательстве — да и баста! <...>

Безумие этой злобы — не ее сила, но именно ее безумие — становилось невыносимо. По крайней мере таким оно было для меня. Это меня разбило и нравственно, и физически, и я решил оставить публицистику и уехать из России, чтобы отдохнуть, не слушая всего этого дикого и безумного гвалта.

---

\* Вистовать — играть в карты против партнера, объявившего игру.



Оставляя отечество в таком состоянии духа, с намерением ехать до границы как можно неспешнее, чтобы еще раз поприсмотреться к знакомым местам России и взглянуть на места, до тех пор мне неизвестные, я выражал моим литературным друзьям и товарищам твердое намерение повидаться за границею с Герценом и, не обижаясь всем, что он исчерпал на мою долю и на долю моих товарищей из своего ругательного словаря, представить ему настоящее состояние солидных умов в России и взгляды общества на ничтожных людей, которые в последние годы его деятельности втерлись в его доверие»<sup>270</sup>.

Кое-что здесь мифологично. Из Петербурга Лесков, по собственному признанию, уехал, чтобы избавиться от «гвалта». Возможно, так оно и было, хотя, как уже говорилось, ругали не столько его, сколько издание, в котором он печатался. Дальше в той же главе Лесков ссылается на парижский разговор с солидным русским человеком, который и убедил его, что ехать к Герцену незачем. По словам Лескова, тот был лично знаком с Герценом и назвал его не революционером, а «революционным фельетонистом», который превышает России и даже русской революции любит лишь «направление свое» и свое умение «бойко фельетонировать». Кумир юности оказался повержен. Он не проницателен, не много понимает в людях, готов шутить на темы, не предполагающие шутливости, и искренне заинтересован только собой.

«Чего же мне было после этого ехать к Герцену и о чем говорить с ним? Я предпочел сохранить для себя автора, овладевшего некогда моею молодою душою, таким, каким его представляла моя фантазия. Зачем было видеть его, чтобы сказать ему:

Шутить и целый век шутить —  
Как вас на это станет?»<sup>271</sup>

Вместе с тем Лесков всегда оставался внимательным читателем не только публицистики Герцена, но и его художественных сочинений и, споря с «горластым русским умным, ни во что не верующим»<sup>272</sup> Герценом-публицистом, сохранил для себя Герцена-автора. Одним из первых Лесков откликнулся на слухи о возможном возвращении Герцена на родину и неоднократно писал об этом<sup>273</sup>, признавая в нем искренность, ценя его за способность извиниться (Герцен действительно принес извинения

редакции «Северной пчелы» за то, что назвал газету официозной), но упрекал его в высокомерии и не соглашался с его взглядами на будущее России. Герценовские революционные планы казались Лескову «химическими» и несбыточными, совершенно не учитывающими реалий русской жизни. Но если их идейные противоречия хотя бы отчасти изучены<sup>274</sup>, то история художественного диалога — практически нет. Между тем, например, хрестоматийный рассказ «Тупейный художник» полон аллюзий на повесть Герцена о крепостном театре «Сорока-воровка»<sup>275</sup>.

Когда Герцен умер, Лесков стал автором одного из самых сочувственных некрологов, где писал об одиночестве и обреченности «лондонского заворника» и его огромном таланте:

«Он был человек больших дарований и громадной неопытности; человек страстных симпатий и самых упрямых антипатий; он был сыном мира, работавшим вражде; фантастический верователь, размененный фальшивыми монетчиками на грошовое безверие...»<sup>276</sup>

Понятно, что в цикле «Русское общество в Париже» задача Лескова состояла в описании именно поселившихся во Франции соотечественников. Но он не раз пересекал эти рамки и обсуждал то парижских чехов, то парижских поляков, хотя никогда не покидал славянской резервации, за исключением разве что главы про гризеток, на которых тоже, впрочем, смотрел из своей русской медвежьей берлоги. На страницах его парижских заметок парадоксальным образом не нашлось места даже беглому взгляду в сторону коллекций Лувра или Версаля, премьер в Одеоне или Опере. Понятно, что очерки посвящались соотечественникам, но всё-таки живущим в Париже!

Очевидно, что и мир французских литераторов — в начале 1860-х как раз начали входить в силу «парнасцы», Бодлер, Готье, Верлен — оставался Лескову недоступен. В те же месяцы в Париже жил Тургенев, но он был уже известным писателем, общался и с Гюго, и с Жорж Санд, и с Мериме, а вскоре и с Флобером, а оказавшись в Лондоне, навестил Герцена, как и Лев Толстой, и Достоевский, и Чернышевский, и толпы русских поклонников вольного русского слова. Но что было Тургеневу до еще одного земляка, сотрудника «Северной пчелы», так нелепо проштрафившей-

ся в глазах «правильных» либералов, к которым сам он, безусловно, принадлежал? Понятно, что Лесков довольно скоро насладился Парижем и через три месяца вернулся в Россию.

Вернулся не порожним. В Париже он написал небольшой очерк о любовной страсти барина и крестьянки Паши «Ум свое, а чёрт свое», который можно счесть за первый подход к «Житию одной бабы» и отчасти «Леди Макбет Мценского уезда». Здесь же он сочинил и первую свою повесть — «Овцебык», хотя по тогдашней литературной традиции назвал ее рассказом.

## Ответный удар

Лесков возвратился из Парижа в марте 1863 года. Он поселился в доходном доме генерала Максимовича на Невском проспекте, но, поскольку многие квартиры его использовались как номера для свиданий, почти сразу переехал на Владимирскую улицу. В редакции «Северной пчелы» путешественника встретили радушно, и вскоре в газете снова стали выходить его бесподписные заметки и передовицы.

В четвертом номере «Отечественных записок» за 1863 год был напечатан «Овцебык» — первое большое высказывание Лескова в художественной прозе, история гибели одного разночинца. Символическим образом за его публикацией чуть не последовал скандал — характерное предвестие особенностей литературного пути будущего писателя.

Четыре раза сходяв за гонораром, но так и не дождавшись выплаты, взбешенный молодой автор написал издателю и редактору «Отечественных записок» Краевскому чудовищное по резкости письмо, в котором даже угрожал адресату расправой:

«Милостивый государь, Андрей Александрович!

12-й день, как вышла книжка “Отеч[ественных] зап[исок]”, в которой напечатан мой рассказ “Овцебык”. В течение этих 12 дней я был четыре раза у г. Кожанчикова и видел там очень невежливого господина Свириденко\*.

---

\* *Дмитрий Ефимович Кожанчиков* (1820—1877) — издатель и книготорговец. *Матвей Яковлевич Свириденко* (ок. 1830—1864) — служащий конторы «Отечественных записок», управляющий магазином Кожанчикова.

Невежа Свириденко не дает мне ответа, почему Вы до сих пор не платите денег нуждающимся в них сотрудникам, и денег мне не дает. К Вам я идти не хочу, потому что Вы имеете очень неприятную манеру держать по полчаса в Вашей зале, которая для меня не представляет никакого интереса, и я более люблю залы министра Головнина\*, где ожидают не более 5 минут и в том выслушивают извинения. Я пошел к Дудышкину\*\* как к человеку, в котором скорее, чем в Вас, можно дошупаться до мягких сторон (я не говорю — *до мягких частей*). Дудышкина нет в городе, а то он, вероятно, избавил бы меня от неприятной необходимости писать к Вам.

Пришлите мне, Андрей Александрович, деньги сегодня или завтра, т. е. в четверг, по нижеписанному адресу. Я ни к Вам, ни к Кожанчикову не пойду, — это мне *претит*. Но если Вы мне не пришлете счета и денег, то я Вам не забуду завтра сообщить, как я разделяюсь с теми, которые меня донимают до зла горя.

Мы ведь с Вами встречаемся в различных местах, с Невского до Географического общества. Я Вас завтра заставлю провести пренеприятную минуту в Вашей почтенной жизни.

Я через Вас не исполнил моего слова перед бедным человеком, но уж на Вас зато сдержу мое слово.

24 часа перед Вами.

*Николай Лесков*<sup>277</sup>.

Узнав, что Краевский в задержке гонорара ничуть не виноват, Лесков на другой же день отправил ему записку с извинениями:

«Милостивый государь Андрей Александрович!

Я вижу, что не Вы были причиной тех неприятностей, которые я перенес, получая странные отказы в заработанных мною деньгах. Меня довели истинно до зла горя. Почему это было угодно г. Свириденко — я не знаю, но сердечно сожалею о моем вчерашнем письме и прошу извинить меня.

*Н. Лесков*<sup>278</sup>.

Но поправить что-то было сложно: Краевский обиду, конечно, не позабыл, и на год отношения Лескова с журналом прервались; однако уже в 1865-м в нем появился роман «Обойденные» — возможно, не без поддержки благоволившего Лескову Дудышкина, соредатора Краевского.

---

\* Александр Васильевич Головнин (1821—1886) — министр народного просвещения (1862—1866).

\*\* Степан Семенович Дудышкин (1820—1866) — журналист, соредатор «Отечественных записок».

«Овцебык», опубликованный в апрельском номере «Отечественных записок» 1863 года, во всех прижизненных изданиях венчается неизменной датой: «Париж. 28 ноября 1862 года». Учитывая, что под другими текстами того же времени Лесков дат не выставлял, понятно, что в данном случае перед нами декларация, настойчивое указание на то, что рассказ написан на чужбине, по следам «пожарного» скандала и имеет четкую тенденцию (впрочем, это не превращает текст в памфлет и не нарушает его цельности).

Правда, поначалу прямолинейность «Овцебыка» немного пугает. Центральный персонаж Василий Петрович Богословский, выпускник семинарии, христианский социалист и бродяга, выведен почти уродом\*. В первом же абзаце рассказа Лесков сообщает, что внешне Василий Петрович напоминал овцебыка из иллюстрированного «руководства к зоологии учебного пособия Юлиана Симашко»<sup>279</sup>. Оттуда же взят и эпиграф: «Питается травой, а при недостатке ее и лишаями». Автор уточняет, в чем сходство его героя с овцебыком:

«Прическу он носил такую, как будто нарочно хотел ввести всех в заблуждение о фигуре своего “верхнего этажа”. Сзади он очень коротко выстригал весь затылок, а наперед от ушей его темнокаштановые волосы шли двумя длинными и густыми косицами. Василий Петрович обыкновенно крутил эти косицы, и они постоянно лежали свернутыми валиками на его висках, а на щеках загибались, напоминая собою рога того животного, в честь которого он получил свою кличку»<sup>280</sup>.

Рассказ о сыне дьячка, выбившемся из своего сословия, Лесков помещает в любезный сердцу каждого уважающего себя разночинца естественно-научный контекст, но придает этой ссылке отчетливую ироническую окраску, намеренно профанируя идеи позитивистов о сходстве животного и человека. Цитату из гимназического учебника Симашко Лесков обрывает, не приводя ту ее часть, где говорится, что овцебык — животное стадное. Никакого коллективизма, ему нужен одинокий зверь. Зато другую особенность

---

\* В статье, посвященной роману «Что делать?», Лесков называет «неправильных» нигилистов «уродцами российской цивилизации», но отделяет от них симпатичных ему героев романа Чернышевского, которые «трудятся до пота» и не несут «ни огня, ни меча» (*Лесков Н. С. Н. Г. Чернышевский в его романе «Что делать?» // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 3. С. 179, 183*).

характера героя Лесков заимствует, вероятно, именно из симашковского описания: овцебык предпочитает обитать в «гористых, необитаемых странах»; Богословский также дичится людей и постоянно исчезает, уходит «бродить», считает, что «хорошо жить в лесах», и даже проводит два года у старообрядцев<sup>281</sup>. Взгляд Лескова на эту особенность его героя понятен: человек, подобный животному, обречен на гибель. Выжить индивиду помогает то, что поднимает его над миром природы, в том числе существование в социуме.

На первой странице рассказа Лесков прозрачно намекает и на то, в каком месте скрывается основная проблема Овцебыка:

«Лицо у Василия Петровича было серое и круглое, но кругло было только одно лицо, а череп представлял странную уродливость. С первого взгляда он как будто напоминал несколько кафрский череп, но, всматриваясь и изучая эту голову ближе, вы не могли бы подвести ее ни под одну френологическую систему\*»<sup>282</sup>.

Кафрами колонизаторы-португальцы называли аборигенов Южной Африки. Некоторые племена в ритуальных целях нарочно деформировали черепа соплеменников, чаще всего делая их сильно вытянутыми в затылочной части. Говоря о странном впечатлении от формы головы Овцебыка, автор выстраивает отчетливую смысловую параллель: внешнее, пусть и мнимое, нарушение пропорций указывает на искаженность картины мира героя. Именно этот изъян не позволяет Василию Петровичу жить счастливо. Здесь тоже скрывается насмешка над убежденностью нигилистов в силу человеческого разума.

Тайный философ Овцебык, опирающийся исключительно на свой разум, в глазах окружающих выглядит «блажным» и терпит поражение, его проповедь о социальном неравенстве мужики не воспринимают. Овцебык пытается наглядно проиллюстрировать свою мысль:

«Возьмет горсть гороху, выберет что ни самые ядреные гороховины, да и расскажет их по свитке: “Вот это, говорит, самый на́больший — король; а это, поменьше, — его министры с князьями; а это, еще поменьше, — бары, да купцы, да

---

\* Френология — очень популярная в первой половине XIX века лженаука, доказывающая связь между психикой человека и строением его черепа.

попы толстопузые; а вот это, — на горсть-то показывает, — это, говорит, мы, гречкосеи”. Да как этими гречкосеями-то во всех в принцев и в попов толстопузых шарахнет: всё и сровняется. Куча станет. Ну, ребята, известно, смеются. Покажи, просят, опять эту комедию»<sup>283\*</sup>.

Дело жизни Овцебыка — для его слушателей «комедия». И сам рассказчик, возможно, переключаясь с оценкой, данной в тургеневских «Отцах и детях» Базарову мужиками (для которых он был «чем-то вроде шута горохового»), повторяет то же: «Стоя рыцарем печального образа перед горящею сосною, он мне казался шутом»<sup>284</sup>. Ни кругозора, ни образования, ни возможности сломить ход вещей у Овцебыка нет, его агитаторские речи крестьяне передают хозяину Александру Свиридову — капиталисту нового образца из бывших крепостных. Они явно не готовы пока к социальной революции, к которой призывали народ авторы прокламации «Молодая Россия» и их единомышленники.

Трагикомизм происходящего с Овцебыком Лесков усиливает за счет любовного мотива.

Василий Петрович почитает всех женщин дурами и сосудами змеиными. Старообрядцы почти насильно женят его на Глафире, от которой он сбегает. Однако природа оказывается сильнее: подобно Базарову, обнаружившему себя влюбленным в Одинцову, Василий Петрович тайно влюбляется в красавицу и умницу Настасью Петровну, бывшую крепостную и, по иронии судьбы, жену его главного идейного врага, «сытого мужлана» Свиридова. Овцебык ночами тайно ходит под хозяйскими окнами и хранит носовой платок, которым Настасья однажды перевязала ему пораненную руку. Аскета, подобного другому литературному персонажу — Рахметову из «Что делать?», — из него не получилось.

Не получилось никого. Василий Петрович побывал и домашним учителем, и трудником в старообрядческой общине, и монастырским насельником, и работником у Свиридова, но нигде не задержался и не пожелал закрепиться. Он читает Евангелие и философские труды Платона, про-

---

\* Прием с горохом, вероятнее всего, заимствован Лесковым у Шевченко, который похожим образом объяснял крепостным крестьянам необходимость свержения царя (см.: *Шабановский Е. С.* Т. Г. Шевченко и русские революционные демократы. К., 1975. С. 127).

поведует свою правду всюду, где его готовы слушать, — даже в обители, среди «униженных и оскорбленных» иноков. Но из одних мест его гонят, из других он бежит сам. Разочарованный, он пишет рассказчику:

«Да, понял ныне и я нечто, понял. Разрешил я себе “Русь, куда стремишься ты?”, и вы не бойтесь: я отсюда не пойду. Некуда идти. Везде всё одно. Через Александров Ивановичей не перескочишь. <...> Недаром вы каким-то звериным именем называли. Никто меня не признаёт своим, и я сам ни в ком своего не признал»<sup>285</sup>.

Овцебыку, нелепому зверю, не место среди людей, и он кончает с собой: «Он удавился тоненьким крестьянским пояском, привязав его к сучку не выше человеческого роста»<sup>286</sup>.

Овцебык — персонаж почти полностью вымышленный, хотя отдельные его черты Лесков позаимствовал не только из учебника Симашко, но и у вполне реального Павла Ивановича Якушкина. Безбытность, легкое отношение к чужим вещам, когда они необходимы, вера в мужичью артель — явно якушкинские, как и «шутовство». По свидетельству Лескова, мужики и в Якушкине, одевавшемся в красную рубаху, плисовые шаровары и не брезговавшем непечатным словом, однако носившем очки, видели «ряженого»<sup>287</sup>. Правда, Якушкин, в отличие от Овцебыка, имел университетское образование, читал отнюдь не только Евангелие и древних классиков, а главное, был профессиональным собирателем народной поэзии. У Овцебыка же нет профессии и любимого дела, так что и карикатурой на Якушкина его не назовешь — скорее, на разночинца-социалиста. Исход его веры — тупик и петля. Душно в монастыре накануне грозы; душно и в том темном лесном «куточке», который избрал Василий Богословский для «конца своих мучений»<sup>288</sup>.

Где же свет, воздух? Была ли у Лескова «позитивная программа»?

Была — но странная, нереальная. В растянувшемся на целую жизнь удушье героя прорублено окошко. Воздухом веет в длинном воспоминании рассказчика о детстве: как мальчиком ездил он с бабушкой Александрой (на самом деле Акилиной) Васильевной в паломничества, как жил в обители, наслаждаясь пасторальными радостями.



Вот и сама набожная старушка: в «свеженьком диком\* или зеленом ситцевом платице», «высоком тюлевом чепчике с дикими лентами» и ридикюлем «с вышитой собачкой»; вот пара ее старых рыжих кобылок, Шеголиха и Нежданка. Вот кучер Илья Васильевич, который рассказывает мальчику, как возил в Орле императора Александра Павловича. Вот добродушные насельники пустыни — старик-казначей и послушники.

«...я очень любил послушников — этот странный класс, в котором обыкновенно преобладают две страсти: леность и самолюбие, но иногда встречается запас веселой беспечности и чисто русского равнодушия к самому себе.

— Как вы почувствовали призвание поступить в монастырь? — спросишь, бывало, кого-нибудь из послушников.

— Нет, — отвечает он, — призвания не было, а я так поступил.

— А вы примете монашество?

— Безпрерывно»<sup>289</sup>.

Рыбная ловля с послушниками на озере, десять верст с дороги к нему с песнями, ночевка у двух рясофорных монахов на берегу... В доме у них живет желто-бурый кот, прозванный Капитаном, замечательный только тем, что «к величайшему скандалу, окотился и с тех пор не переставал размножать свое потомство как кошка». Спали под открытым небом — а впрочем, «почти и не спали».

«Пока, бывало, разведем огонь, вскипятим котелок воды, засыпем жидкую кашу, бросив туда несколько сухих карасей, пока поедем всё это из большой деревянной чашки — уж и полночь. А тут, только ляжем, сейчас заводится сказка, и непременно самая страшная или многогрешная. От сказок переходили к былям, к которым каждый рассказчик, как водится, всегда и “небылиц без счета привирал”. Так и ночь зачастую проходила, прежде чем кто-нибудь собирался заснуть. Рассказы обыкновенно имели предметом странников и разбойников. Особенно много таких рассказов знал Тимофей Невструев, пожилой послушник, слывший у нас за непобедимого силача и всегда собиравшийся на войну за освобождение христиан, с тем чтобы всех их “под себя подбить”. Он исходил, кажется, всю Русь, был даже в Палестине, в Греции и высмотрел, что

---

\* Д и к и й ц в е т — светло-серый.

всех их “подбить можно”. Уляжемся, бывало, на веретья, огонек еще курится, толстые лошади, привязанные у хрептуга\*, пофыркивают над овсом, а кто-нибудь уж и “заводит историю”»<sup>290</sup>.

Лесков пересказывает эти истории с откровенной радостью, писательским счастьем, вслушиваясь в каждое слово:

«Вошел я, шупаю руками-то, что-то нагромощено, а что — не разберешь никак. Нашупал столб. Думаю: всё равно пропадать, и полез вверх. Добрался до матицы да к застрехе и ну решетины раздвигать. Руки все ободрал, наконец решетин пять раздвинул. Стал копать солому — звезды показались»<sup>291</sup>.

Ничего особенного и даже просто приятного в этих историях нет. В одной разбойники напали на паломников и, похоже, изнасиловали мать Наталью, в другой — чуть не убили самого рассказчика. И всё же этот мир, пусть с разбойниками, но и с праведниками прост и понятен. Он живет традицией, он строго иерархичен: на послушника есть игумен. В этой расчерченности — опора и спасение. Здесь нет и не может быть неприкаянного Овцебыка, нигилистов и «новых» людей — одни старые.

Патриархальная сказка, в которой трется о ноги кошка Капитан, крикают дикие утки, а люди добрые ловят рыбу, поют песни, рассказывают истории, и была личным раем Лескова. Эту сказку он рассказывал в своей прозе многократно, понимая неизбежность появления на ее пороге уродца, искреннего, жертвенного, но ограниченного и недалекого, который обязательно начнет объяснять, что никакой это не рай, а один обман и несправедливость.

Зерно будущего романа «Некуда» («некуда идти», пишет Овцебык) уже заложено в этом первом большом сочинении Лескова. Трагизм заключается не только в безысходности пути Василия Богословского, но и в том, что слова его «Никто меня не признает своим, и я сам ни в ком своего не признал» Лесков мог бы сказать и о себе. Куда было идти ему? Роман об этом будет написан очень скоро.

---

\* Хрептуг (хрептуг) — холщовая торба для овса, из которой кормят лошадь не распрягая.

## Адюльтерный роман

Вскоре после «Овцебыка» в свет вышло «Житие одной бабы» («Библиотека для чтения». 1863. № 7—8) — «народная повесть» о русском крестьянском мире.

Поток прозы о бабах, как и о мужиках, вызванный бурным развитием этнографии в России, начавшимся еще в середине 1830-х годов, и в начале 1860-х был довольно плотным. Нельзя даже сказать, что крестьянская тема была на пике моды — к этому времени она стала привычной. Уже вышли в свет сумрачные повести Григоровича «Деревня» (1846) и «Антон-Горемыка» (1847) и его же роман из простонародного быта «Рыбаки» (1853), многочисленные этнографические рассказы Даля, «Крестьянка» (1853) и «Тит Софроньев Козонок» (1853) Потехина; давно изданы отдельным сборником «Записки охотника» Тургенева (1852), прочитав которые, Лесков, по его словам, «весь задрожал от правды представлений и сразу понял, что называется искусством»<sup>292</sup>. Уже были напечатаны «Очерки из крестьянского быта» Писемского (1856), регулярно публиковались путевые очерки Якушкина, многочисленные «крестьянские» стихотворения и поэмы Некрасова и многие другие тексты о простонародной жизни<sup>293</sup>. Так что сделать оригинальное высказывание было сложно. Тем не менее Лесков пишет собственную «крестьянскую» повесть. Отметим, что, помимо русского контекста, ее можно рассматривать и в более широком, славянском. Лесков посвятил «Житие одной бабы» своему приятелю, обретенному в заграничном путешествии, польско-белорусскому поэту Викентию Коротыньскому, подарившему ему экземпляр своей поэмы «Томило. Картинки из народной жизни». Между судьбой ее героя и героиней повести Лескова немало пересечений, хотя главного — любовного — мотива у Коротыньского нет<sup>294</sup>.

В «Житии одной бабы» крепостную девушку Настю из расчета выдают за гугнивого и убогого Григория Прокудина, сына делового партнера ее брата. Настя тщетно просит о пощаде — стерпится-слюбится. От замужней жизни она начинает сходить с ума. Но едва муж отправляется на заработки, Настю посещает «Амур в лапоточках» (так Лесков хотел назвать переработанную редакцию «Жития одной бабы») — в нее без памяти влюбляется молодой женатый красавец Степан, такой же славный «песельник», как она

сама. Влюбленные тайно встречаются и совершенно счастливы до тех пор, пока не возвращается Настин муж. Они пытаются бежать, однако паспортов у них нет; оба попадают в острог, где Степан вскоре умирает от тифа, вслед за ним угасает и их новорожденный ребенок, а Настя, выпоротая и отпущенная, теряет рассудок и однажды замерзает в поле. Эпиграф к повести, взятый из народной песни, которая заканчивается словами «Срубили ивушку под самый корешок», довольно ясно предсказал подобный исход.

В первом приближении кажется, что Лесков вполне традиционен. Он насыщает свой текст густым простонародным колоритом — недаром повесть имеет подзаголовок «Из гостомельских воспоминаний». Этнографические подробности жизни гостомельских крестьян сыплются через край, как малина, набранная с горкой в лукошко: это и диалектные слова, и поговорки, и присказки, и народные песни, исполняемые героями, и мелкие детали свадебного обряда. Лескову явно нравится не только цветной мир народной культуры, но и собственная компетентность, широта знаний о том, как крестьяне празднуют, косят, жнут, давят конопляное масло, мнут пеньку. Несколько заносчивые слова, которые так любили вспоминать советские литературоведы в связи с Лесковым, должны быть, наконец, процитированы:

«Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, а я вырос в народе на гостомельском выгоне с казанком в руке, я спал с ним на росистой траве ночного, под теплым овчинным тулупом, да на замашной панинской толчее за кругами пыльных замашек, так мне непристойно ни поднимать народ на ходули, ни класть его себе под ноги. Я с народом был свой человек, и у меня есть в нем много кумовьев и приятелей, особенно на Гостомле, где живут бородачи, которых я, стоя на своих детских коленях, в оные, былые времена, отмаливал своими детскими слезами от палок и розог»<sup>295</sup>.

Обычно эту цитату вырывают из контекста, обрезая сказанное Лесковым до и после его признания. Но это не просто хвастовство о знании крестьянской жизни — это хвастовство литературное: гостомельский выгон и росистое ночное соседствуют с высказыванием о тех, кто писал о народе, по мнению Лескова, недостаточно точно. Сравнением с ними автор предваряет воспоминания о Гостомле:

«Я ни разу не увлекся во время погасшего разгара народничанья в русской литературе, когда Успенский со своим “чифирем”, а Якушкин со своими мужиками, едущими “сечься”, ставились выше Шекспира, и не увлекаюсь теперь, в эпоху безобразной литературной реакции против народа. Я смело, даже, может быть, дерзко думаю, что я знаю русского человека в самую его глубь, и не ставлю себе этого ни в какую заслугу».

И вот как их завершает:

«Я не понимаю, почему пейзажные рассказы Григоровича подвергаются осмеянию, а рассказы целой толпы позднейших народников, напечатанные в самом огромном количестве и прошедшие без всякого следа и значения, считаются чем-то полезным. По-моему, пейзажи Григоровича не только гораздо поэтичнее, но и гораздо живее, чем сахарные добродетельные мужички Небольсина\*, или дураки Успенского, или ядовитые халдеи Левитова и многих позднейших рассказчиков»<sup>296\*\*</sup>.

Здесь много преувеличений: на самом деле ни Левитов, ни Якушкин, ни тем более Николай Успенский, который как раз и прославился ироническим и вполне безжалостным изображением простонародья, мужика на ходули не ставили и жизнь его знали не хуже. Но Лескову казалось, что «их» крестьяне — «люди сочиненные», не в меру опоэтизированные или «охаянные» и только он в своем романе пишет реальные портреты. Действительно, в «Житии одной бабы» дана целая галерея очень разных и очень живых людей: дикарка и тихоня Настасья; бесстыжая Варька, муж которой пропал на Украине; злющий Настасьин брат Костик, отдавший ее убогому; беспечный кузнец Савелий; муж Насти гниливый Григорий Прокудин; ее возлюбленный — добрый молодец Степан Лябихов, «русый парень, в

---

\* *Дмитрий Васильевич Григорович* (1822—1900) — автор повестей «Деревня» (1846), «Антон-Горемыка» (1847). *Павел Иванович Небольсин* (1817—1893) — писатель-этнограф, автор «Около мужичков» (1861).

\*\* В статье «Ошибки и погрешности в суждениях о г[рафе] Л. Толстом» Лесков высказывает схожие взгляды: «Я не народник в том смысле, чтобы мне всё даже плохое русское нравилось более хорошего, но чужеземного. Я не думаю тоже, что наученным русским людям следует снова идти в науку к неученым, но тем не менее я думаю, что следует прислушиваться к голосу народному...» (Литературное наследство. Т. 101. Неизданный Лесков. Кн. 2. М., 2000. С. 90).

белой рубашке с красными ластовицами и в высокой шляпе гречишником»<sup>297</sup>. В той же коллекции — «веселая, но добрая и жалостливая» Домна; бойкая, но душевная кузнечиха Авдотья; мать Насти кроткая Мавра Петровна, когда-то первая красавица на селе, всё прощавшая своему непутевому мужу, пьянице Антоновичу, который «тиранил» и «увечил» ее, пока не умер. Но панорама портретов развернута и в «Записках охотника», да и этнографическим материалом полны многочисленные, уже упоминавшиеся нами рассказы из простонародного быта.

Соль «Жития одной бабы» не в прялках и не в крестьянских портретах. Эта повесть о любви.

О том, что крестьянки любить умеют, русская проза знала со времен «Бедной Лизы» Карамзина. В конце 1850-х об этом напомнила на шумевшая драма Писемского «Горькая судьбина» (1859). Тем не менее для начала 1860-х годов лесковский вариант любовного сюжета необычен. Он пишет не о романтических отношениях барина и крестьянки, а о взаимной любви крестьянки и крестьянина. Даже в «Записках охотника» не описана «мужицкая» любовь, только в рассказе «Ермолай и мельничиха» звучат глухие намеки на былую страсть, и в «Свидании» крепостная Аглая безнадежно полюбила заносчивого камердинера, но это опять же любовь неравных по положению. О влюбленном мужике можно было рассказать разве что анекдот, как Николай Успенский в «Змее».

Лесков поместил любовные отношения героев в центр повествования и, кажется, написал первый в России адюльтерный роман из крестьянской жизни. Мелькнувший было вариант названия — «Амур в лапоточках (опыт крестьянского романа)» — обнажает суть авторского приема: это попытка развернуть хрестоматийную сюжетную схему европейского романа в новых декорациях, на фоне зацветшего плетня и избы.

Споры о прозе из крестьянской жизни начались еще в 1850-е годы и особенно активно велись после публикации статьи Павла Анненкова «По поводу романов и рассказов из простонародного быта» (1854), утверждавшего, что «простонародная жизнь не может быть введена в литературу во всей своей полноте без малейшего ущерба для истины»<sup>298</sup>, поскольку русские писатели еще не выработали адекватных форм для этого, к тому же им не хватает глубокого знания крестьянских реалий.

Многие тогда на Анненкова обиделись. Лесков оказался в длинном ряду оппонентов, доказывавших его неправоту. О том, возможна ли истинная драма в народной среде и как о ней писать, нервно спорят герои романа «Некуда», касаются и возможностей литературных форм и языка в описании страстей «людей натуры»:

«Что ж, вы на сцене изобразите, как он жену бил, как та выла, глядячи на красный платок солдатки, а потом головы им разнесла? Как же это ставить на сцену! Да и борьбы-то нравственной здесь не представите, потому что всё грубо, коротко. Всё не борется, а... решается. В таком быту народа у него нет своей драмы, да и быть не может: у него есть уголовные дела, но уж никак не драмы»<sup>299</sup>.

Лесков, безусловно, думал об этом и прежде, когда работал над «Житием одной бабы».

Один способ говорить о страстях «людей натуры» русская литература уже освоила: с помощью проекции на простонародный быт уже имевшихся классических образов и моделей описания сильных чувств. Например, в «Плотничьей артели» Писемского мачеха вожделеет пасынка, подобно Федре, героине трагедии древнегреческого драматурга Еврипида «Ипполит»; в «Лешем» судьба крестьянки Марфиньки соотнесена с судьбами Марии из пушкинской «Полтавы» и Дездемоны из «Отелло» Шекспира<sup>300</sup>. И Писемский, и Тургенев, сравнивавший Хоря с Сократом, а в журнальном варианте и с Гёте, доказывали таким образом, что мужик не хуже барина. У Лескова подобной цели не было. Он попытался вывести крестьянский мир за рамки высокой культуры и просто подчеркнуть параллелизм двух миров, «дикого» и «цивилизованного», меняя «не хуже» на «такой же». Но если такой же, значит, и описывать крестьянский мир надо не чужим, а его собственным языком.

Однако как писать о крестьянской любви, если русский мужик «не любит признаваться в нежных чувствах», как замечает рассказчик в «Плотничьей артели» Писемского? Герой его, плотник Петр, на вопрос, по любви ли он женился, отвечает: «Почем я знаю, по любви али так. Нашел у нас, мужиков, любовь! Какая на роду написана была, на той, значит, и женился!»<sup>301</sup>

Лесков вынуждает своих героев-крестьян осознать собственную любовь и заговорить о ней вслух. Для этого он обращается к народным песням, которые и помогают ему

оформить историю любви Насти и Степана. Поэтому они и славные «песельники» — могут если не сказать, так спеть о любви. С песни и начинается их роман. Именно пение Степана пробуждает в Насте любопытство. С песни, «сыгранной» в паре, завязываются их отношения; в песне впервые звучит их объяснение в любви. Чтобы добиться аутентичности в описании крестьянского мира, Лесков предлагает рассказывать об этом мире, опираясь на язык и образы, выработанные самим народом. Он словно бы услышал давний призыв Аполлона Григорьева писать о простонародной жизни не с точки зрения отстраненного писателя-литератора, «заезжего гостя-путешественника», а изнутри, свойственным ей языком. Вообще-то и Гоголь, и Некрасов, и Тургенев, и тем более Даль это делали — активно использовали фольклорные источники для повествования о крестьянах; но Лесков навел фокус на любовную тему.

Кроме того, при работе над «Житием одной бабы» он, кажется, окончательно понял, чем помимо сюжета может соединить разрозненные сцены повествования. В «Овцебыке» таким связующим звеном, посредником был рассказчик — полноценный персонаж. В «Житии одной бабы» Лесков применил другое средство — авторскую речь, она и стала тем красочным ковром, на котором можно было расположить любые мизансцены. Именно авторская речь, точно речка Гостомка, быстрая, чистая, свободно несет героев, не нарушая цельности повествования. Именно в «Житии одной бабы» Лесков окончательно научился создавать речевую маску рассказчика:

«Маленький мужичонко был рюминский Костик, а злющий был такой, что упаси Господи! В семье у них была мать Мавра Петровна, Костик этот самый, два его младшие брата, Петр и Егор, да сестра Настя. Петровна уж была-таки древняя старуха, да и удушье ее всё мучило, а Петька с Егоркой были молодые ребятки и находились в ученье, один по башмачному мастерству, а другой в столярах. Оба были ребятки вострые и учились как следует. Дома оставалась только сама Петровна с Настей да с Кости́ком. Все они в ту пору были еще крепостными и жили в господском дворе. Панок их был у нас на Гостомле из самых дробных; всего восемнадцать душ за ним со всей мелкотой считалось, и все его крестьяне жили тут же в его дворе на месячине — земли своей не имели. Житье было известно какое — со всячинкой; но больше всего донимала рюминских крестьян теснота»<sup>302</sup>.



Рассказчик точно каблучками выстукивает, щегольнет то неожиданным оборотом — «по башмачному мастерству», то острым словом — «дробным», «всячинкой», «сухотил», «донцем» или «столбиками с инбирем». Инверсии, намеренные неграмотности, погудки и прибаутки, смесь простодушия и пронизательности, невинного взгляда изнутри и умудренного со стороны — в результате из этого набора складывается совершенно оригинальная повествовательная манера. Кто это говорит? Сосед Насти и Петровны по селу? — Нет. Барин, носитель языковой литературной нормы? — Тоже нет.

Так, как говорит рассказчик Лескова, не говорил ни реальный крестьянин, ни купец, да и никто в литературе. Разумеется, здесь сквозит школа Гоголя и его подражателей — Марко Вовчка, например. Но в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголь играет в Рудого Панька весело и до конца, стараясь ему не мешать. У Лескова голос повествователя сложнее, в нем, если угодно, объединен Гоголь разных эпох: не только «Вечеров...» с их прыгучим языковым весельем, но и «Мертвых душ» с их тайным ужасом перед мертвечиной русской помещичьей жизни, и «Выбранных мест из переписки с друзьями» с их морализаторством. Все три Гоголя различимы в этом, например, выклике:

«Эх, Русь моя, Русь родимая! Долго ж тебе еще валандаться с твоей грязью да с нечистью? Не пора ли очнуться, оправиться? Не пора ли разжать кулак да за ум взяться? Схаменися\*, моя родимая, многохвальная! Полно дурачиться, полно друг дружке отирать слезы кулаком да палкой. Полно друг дружку забивать да заколачивать! Нехай плачет, кому плачется. Поплачь ты и сама над своими кулаками: поплачь, родная, тебе есть над чем поплакать! Авось отлегнет от твоей груди, суровой, недружливой, авось полегчеет твоему сердцу, как пробилет тебя святая слеза покаяния!»<sup>303</sup>

И всё же Лесков оказывается оригинален — еще и потому, что в «Житии одной бабы» гоголевская традиция соединяется с конкретными реалиями.

Подзаголовок «Из гостомельских воспоминаний» превращает повесть в псевдомемуары. Многие герои здесь названы именами действительно живших на Гостомле

---

\* Опомнись (укр.).

крестьян, в «дробном панке» и барыне легко угадываются черты Семена Дмитриевича и Марии Петровны Лесковых, реальны и многочисленные упомянутые в рассказе топонимы. Интересно, что в «житии» Насти отзывается подлинная история, которую Лесков рассказывает в позднем мемуарном очерке «Русские демономаны»: молодую крестьянку «стало водить», и она сбегала от мужа к слепцам. «Ходила она так “вообще жинкою” лет шесть и найдена замерзшею на поле, по дороге к селу, где был храмовой праздник Николы. Вероятно, в метель, когда идти тяжело, она приустила и слепцы ее бросили»<sup>304</sup>.

Голосом, подобным лесковскому, действительно не говорил ни Гоголь, ни Григорович, ни Николай Успенский, ни Левитов, ни Писемский (кстати, в их рассказах тоже появляются деревенские безумные: у Успенского — в «Катерине», у Левитова — в «Блаженненькой»; у Писемского — в «Лешем»), ни Небольсин, ни Якушкин. К этнографическим путешествиям двоих последних Лесков мог испытывать понятную ревность, но во фрагменте про ночное он как раз и хотел подчеркнуть, что ни в каком специальном изучении народной культуры не нуждается, потому что и так ее знает. Эту мысль он повторил и в «Автобиографической заметке» начала 1880-х годов:

«...Публицистических рацей о том, что народ надо изучать, я вовсе не понимал и теперь не понимаю. Народ просто надо знать, как самую свою жизнь, не штудировав ее, а живучи ею. Я, слава богу, так и знал его, то есть народ, — знал с детства и без всяких натуг и стараний; а если я его не всегда умел изображать, то это так и надо относить к неумению»<sup>305</sup>.

Интересно, что уже после выхода в свет «Жития одной бабы» рассказы о крестьянской любви начали появляться в печати: душевной болезни, соединенной с любовной страстью, посвящен «Шилохвостов» (1866) Федора Решетникова, браку по расчету — «Егорка-пастух» (1871) Николая Успенского, где героиня вместе с возлюбленным убивает постылого мужа. В другом рассказе Успенского, «Саша», брак по расчету кажется безумной Катерине похоронами — та же параллель есть и у Лескова в описании свадьбы Насти и Григория. Сочетание «любовь и острог» часто воспроизводилось в «народных» рассказах, а вскоре снова появилось в «Леди Макбет Мценского уезда».

Трагическая история Насти стала для Лескова не только материалом для литературного эксперимента, но и поводом для осмысления темы рабства, одной из самых болезненных и важных для него до последних дней. В «Житии одной бабы» любовь к насилию и унижению слабого оказывается свойственна всем сословиям. Произвол творится не только в крестьянской, но и в купеческой среде, где мальчиков, взятых в ученье, «утюжат» и «шпандорют» (порют сапожным ремнем). Не отстают и дворяне.

Лесков подробно рассказывает о распространившейся среди провинциальных дворян моде сечь детей перед сном — ни за что, для профилактики:

«У нас от самого Бобова до Липихина матери одна перед другой хвалились, кто своих детей хладнокровнее сечет, и сечь на сон грядущий считалось высоким педагогическим приемом. Ребенок должен был прочесть свои вечерние молитвы, потом его раздевали, клали в кроватку и там секли. Потом один жидомор помещик, Андреем Михайловичем его звали, выдумал еще такую моду, чтобы сечь детей в кулке. Это так делал он с своими детьми: поднимет ребенку рубашечку на голову, завяжет над головою подольчик и пустит ребенка, а сам сечет, не державши, вдогонку. Это многим нравилось, и многие до сих пор так секут своих детей. Прощение только допускалось в незначительных случаях, и то ребенок, приговоренный отцом или матерью к телесному наказанию розгами без счета, должен был валяться в ногах, просить пощады, а потом нюхать розгу и при всех ее целовать. Дети маленького возраста обыкновенно не соглашались целовать розги, а только с летами и с образованием входят в сознание необходимости лобызать прутья, припасенные на их тело. Маша была еще мала; чувство у нее преобладало над расчетом, и ее высекли, и она долго за полночь все жалостно всхлипывала во сне и, судорожно вздрагивая, жалась к стенке своей кровати».

В этой картине много личного, похоже, речь здесь идет о родной сестре Лескова Марии. Далее автор выводит формулу всего русского мира:

«Беда у нас родиться смирным да сиротливым — замнут, затрут тебя, и жизни не увидишь. Беда и тому, кому Бог дает прямую душу да горячее сердце нетерпеливое: станут такого колотить сызмальства и доколотят до гробовой доски. Прослывешь у них грубияном да сварою, и пойдет тебе такая жизнь, что не раз, не два и не десять раз возмо-

лишься молитвою Иова многострадательного: прибереи, мол, только, Господи, с этого света белого! Семья семьею, а мир крещеный миром, не дойдут, так доедут; не изоймут мытьем, так возьмут кáтаньем»<sup>306</sup>.

Переход в середине фрагмента на второе лицо («прослывешь») делает рассказчика действующим лицом и объединяет его с теми, кому Бог дал «прямую душу и горячее сердце». Будущее их известно: «Спереди — оплеуха, сзади — тычок».

### **«С людьми древлего благочестия»**

В апреле 1863 года молодого литератора Лескова пригласил к себе министр народного просвещения Александр Васильевич Головнин и сделал ему чрезвычайно лестное и заманчивое предложение: отправиться по старообрядческим общинам России, чтобы разобраться, что староверы думают о начальных школах. Они давно уже просили такие школы открыть, и либеральный министр, наконец, прислушался.

Головнин был одним из самых интеллигентных и образованных чиновников 1860-х годов, входил и в круг приближенных Александра II, и в дружеский круг великого князя Константина Николаевича. Как следует из процитированного выше резкого письма Лескова Краевскому и из воспоминаний современников, Александр Васильевич был начисто лишен чиновничьего хамства: никогда не повышал голос на подчиненных, с людьми всех чинов и званий говорил уважительно и, между прочим, стал первым русским министром, отказавшимся от казенной сорокакомнатной квартиры, слишком, на его взгляд, просторной<sup>307</sup>. За четыре с небольшим года управления министерством он немало послужил русскому просвещению: преобразовал в либеральном духе центральный аппарат собственного ведомства, уничтожив канцелярию во имя большей свободы управления на местах; реформировал университеты (по новому Уставу 1863 года) и народные училища. При Головнине впервые стали собираться съезды учителей. Министр настойчиво испрашивал стипендии для отправки российских студентов за границу и для получения образования будущими учителями, поддерживал развитие библиотек и научные исследования. Именно он выхлопотал деньги на

издание «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля (1863)<sup>308</sup>.

И вот теперь Головнин планировал улучшить ситуацию с начальным образованием старообрядцев.

Строго говоря, улучшать пока было нечего: учить детей старообрядцам было негде. В «русских» православных школах детей раскольников немедленно начинали обращать в новый обряд — понятно, что после этого они переставали ходить в школу. Им оставалось учиться дома, «кое-как, по два-три». И лишь самые крупные старообрядческие общины — например, большая и самостоятельная рижская, официально именовавшаяся Гребенщиковской по имени одного из жертвователей, — могли себе позволить школы, бывшие одновременно и приютами для сирот и беспризорных детей. После очередной волны правительственных репрессий, развернувшихся на рубеже 1820—1830-х годов, рижские старообрядческие школы закрылись, а многие их ученики буквально остались на улице.

В составленной по итогам поездки записке «О раскольниках г. Риги, преимущественно в отношении к школам», которая была посвящена положению начального образования у старообрядцев, Лесков рисует апокалиптическую картину последствий того, что у старообрядцев нет начальных школ. По его словам, оставшимся без присмотра детям просто некуда деться и нечем заняться, а самым бедным еще и не на что жить: «...двенадцатилетние и даже десятилетние русские девочки начинают во весь развал заниматься проституцией... дети устраивают воровские артели... голодные и беспризорные мальчики начинают заниматься торговлей, неслыханной в русском народе: является педерастия»:

«Когда я сказал, что русское предместье Риги полно содомской мерзости, я не был ни под каким увлечением, и теперь, говоря, что вся эта мерзость находится в непосредственной связи с закрытием школ, в которых учились раскольники, я говорю только правду».

И всё же, признаёт Лесков, раскольники охотнее выпускали детей «на эту печальную дорогу, чем в православную школу»<sup>309</sup>.

После восшествия на престол Александра II староверы начали «веселее и нетерпеливее» мечтать о собственных школах. «Как у страстно влюбленного человека на уме и на устах любовь, так у раскольников в то время и на уме, и

на устах были школы. После пяти сказанных слов шестое уже заводилось о школах»<sup>310</sup>, — писал Лесков в цикле статей «Искание школ старообрядцами» (1869). Головнин готов был вернуть раскольникам право открывать собственные школы.

В конце 1850-х годов отношение к расколу вообще стало заметно меняться и в правительственных кругах, и в обществе. В журналах и газетах всех направлений — церковных, светских, либеральных, консервативных, славянофильских — начали публиковаться статьи и исследования о расколе<sup>311</sup>, в котором перестали видеть концентрацию невежества и фанатизма. Теперь над старообрядчеством, как замечал (хотя и не без сарказма) Лесков, «не только не глумились, не ругались и не считали нужным его преследовать; напротив, его хвалили, ставили его в образец политической мудрости, ждали от него чудес и стремились, довольно комически, в его объятия»<sup>312</sup>. Лесков намекал здесь на радикальные круги, которые вслед за Герценом видели в староверах политическую силу, оппозиционную правительству. Именно эта идея лежала в основе фундаментальной монографии молодого этнографа Афанасия Прокофьевича Шапова «Русский раскол старообрядства», выпущенной в 1859 году в Казани и бурно обсуждавшейся в прессе.

Сын пономаря из сосланных в Сибирь раскольников, Шапов исследовал старообрядчество изнутри и относился к нему с большой симпатией, хотя и не сомневался в необходимости реформ патриарха Никона и Петра I. Впервые в русской науке раскол был последовательно рассмотрен в социальном, политическом и историческом контексте. По убеждению Шапова, уход в раскол был неизбежным ответом измученного народа на крепостное состояние, подати, повинности, чиновничий произвол, варварские публичные казни, засилие иностранцев-тиранов. «При таких обстоятельствах понятно, почему много народа присоединилось к демократической партии раскольников». Он видел в раскольниках «противогосударственную общину, в которой скоплялись все недовольные в каком-либо отношении правительством»<sup>313</sup>.

Лескову приравнивание раскола к политической партии казалось ошибочным. Он разделял мнение П. И. Мельникова-Печерского, которого называл своим руководителем в изучении раскольничьего быта и «отреченной» литературы. Лесков, конечно же, внимательно прочитал его «Письма о

расколе» — серию этнографических очерков, напечатанных в «Северной пчеле» в 1861 году, и вслед за ним считал, что «раскол не в политике висит, а на вере и привычке»<sup>314</sup>. Из этого следовало, что староверы политически совершенно безопасны и, значит, можно предоставить им гражданские права. Мельников не сомневался и в том, что раскол уничтожится сам собой, едва «просвещение проникнет в низшие слои народа»<sup>315</sup>, поэтому начальные школы, в отличие от гимназий, раскольникам необходимы.

Неудивительно, что глава «Северной пчелы» Павел Степанович Усов в ответ на предложение Головнина отправить одного из сотрудников газеты в экспедицию по губерниям, особенно густо заселенным староверами, сразу же назвал имя лучшего из известных ему специалистов по расколу, к тому же своего доброго приятеля. Но Мельников в то время служил чиновником особых поручений в Министерстве внутренних дел<sup>316</sup>. Отправлять в экспедицию подчиненного Петра Александровича Валуева, который откровенно недолгобливал Головнина за чрезмерный либерализм и на старообрядческий вопрос смотрел иначе, было невозможно. Тогда Усов вынул из своей колоды следующую карту: Николай Лесков. Мельникова старообрядцы недолгобливали — он проявлял административное рвение, «зорил» скиты и разыскивал скрывавшихся священников; у Лескова никакой репутации в раскольничьей среде пока не сложилось, что в данной ситуации было к лучшему. И Головнин пригласил его на личную встречу.

Мы в точности не знаем, о чем они говорили, но 21 апреля 1863 года, явно по следам разговора, Лесков представил министру развернутую записку с подробным планом действий. Он писал, что готов выехать уже в первых числах мая, путешествовать до октября, посетить на северо-востоке России множество городов — от Твери, Мышкина, Углича и Костромы до Казани, Перми и Тюмени.

«Тюмень будет самым дальним пунктом моей поездки. На обратном пути я буду в Златоусте, на Иргизе, в Вольске, Балашове, Саратове, Хвалынске, Самаре, Сызрани, Симбирске, Алатыре, Палте, Моршанске, на Мещере, в Зарайске, Коломне и, наконец, через Москву возвращусь в Петербург.

Таким образом я буду в состоянии ознакомиться с целою восточною полосой раскола трех наиболее распространенных толков (поповщина, федосеевщина беспопов-

щинская, молоканство) и надеюсь дать определительные ответы по вопросам, интересующим г. министра народного просвещения».

Лесков напоминал, что для путешествия ему понадобятся деньги (около десяти рублей в сутки) и официальное отношение от министерства во избежание неприятностей с местными властями.

«Я буду вести мое дело, применяясь на всяком месте к обстоятельствам и характерам лиц, с которыми должен буду прийти в столкновение.

Я только смею ручаться, что доверие, которым меня удостоивает г. министр, ничем компрометировано не будет, что сведения, которые я найду, не будут искажены и сделанные из них выводы будут свободны от всякого пристрастия и всякой предвзятой идеи.

Во время дороги я буду вести журнал, вроде журнала, напечатанного мною о моей поездке в Литву; а о месте моего пребывания всегда будут сведения у г. редактора “Северной пчелы”»<sup>317</sup>.

Записка так и брызжет энергией, желанием немедленно двинуться в путь — в роли министерского эмиссара, государственного человека, а не полунического литератора-любителя. Он уже собирался в дорогу, делал выписки из Шапова, даже прикупил себе в Гостином дворе дорожный столовый прибор — самый простой, уже не новый, в черном истертом кожаном футляре (подобный был у Шкотта).

Увы, 1 мая Головнин снова пригласил Лескова к себе и объявил, что министерство не в состоянии финансировать такое далекое и сложное путешествие. Это было похоже на правду, Министерству просвещения по сравнению с другими ведомствами казенные средства отпускались скудно. Тем не менее старообрядцы очень нуждались в начальных школах, дело требовало решения. И при первой же возможности Головнин всё-таки отправил Лескова в небольшую поездку — в Псков и Ригу — с той же целью: изучить на месте положение вещей и подготовить заключение о введении системы начального обучения для раскольников Северо-Западного края. Выбор Риги понятен: Гребенщиковская община была «самой самостоятельной в целой империи»<sup>318</sup>: с автономным хозяйственным управлением, капиталом, зданием, больницей и молельней. К тому же никто из журналистской братии в ней до сих пор не бывал и о ней не писал.



Двенадцатого июля Лесков выехал из Петербурга. Сначала он отправился в Псков — «на разведки».

Он наверняка ехал с удовольствием. Раскольники, их потаенная и во многом страдальческая жизнь занимали его с самых ранних лет. Староверы были давно уже частью русской религиозной жизни, Лесков рядом с ними рос. В статье «С людьми древнего благочестия» он вспоминал:

«Гостомельские хутора, на которых я родился и вырос, со всех сторон окружены большими раскольничьими селениями. Тут есть и поповщина и беспоповщина разных согласий и даже две деревни христовщины (Большая Колчева и Малая Колчева), из которых лет около двенадцати, по распоряжению тогдашнего правительства, производились бесчисленные выселения на Кавказ и в Закавказье. Это ужасное время имело сильное влияние на мою душу, тогда еще очень молодую и очень впечатлительную. Я полюбил раскольников, что называется, всем сердцем и сочувствовал им безгранично. С этого времени началось мое сближение с людьми древнего благочестия, не прерывавшееся во все последующие годы и особенно возобновившееся в последнее время, когда начались о расколе различные толки»<sup>319</sup>.

Он постоянно встречался с ними в своих путешествиях по делам компании Шкотта. Нет сомнений, что он полюбил староверов не за одни муки — но и как художник, артист. С первых же шагов Лескова в литературу определился его интерес ко всему маргинальному, пограничному, отверженному и одновременно связанному с верой. Внимательно и почти восторженно вглядывался он всю жизнь в диковатое древо русского разномыслия со всеми его ответвлениями, изгибами и наростами, любясь причудливостью форм<sup>320</sup>.

В Пскове он поселился в дурной гостинице, где «лакеи обшчитывают не хуже берлинских кельнеров, а клопы точно вишни владимирские»:

«Целые ночи я спал на окне, на котором по целым дням писал, отдыхая утомленными глазами на раскаленной мостовой, совершенно пустой в течение всего дня, губернской улицы»<sup>321</sup>.

В секретные школы псковской общины Лескова не пустили — из города очень не вовремя уехал главный гид писателя по старообрядческому миру купец Василий Николаевич Хмелинский. В остальном же общение с псковскими беспоповцами обнаружило, что они довольно безграмотны

и ограничены: *яко бо прославися* поют как «Яковом прославися», из чего заключают, что Яков — еще одно имя Христа; на музыкальных инструментах не играют, считая музыку и тем более танцы мужчин с женщинами безусловным злом. Семейные отношения староверов тоже не отличались большой оригинальностью:

«Семейный быт псковских беспоповцев... ничем не отличается от рядового быта русского купечества и мещанства. То же гомерическое невежество, скопидомство, скряжничество, крайнейшая любостязательность, суеверный фанатизм и крепость в отеческих преданиях, разврат и семейный деспотизм»<sup>322</sup>.

Зато в Пскове Лесков обрел книгу из своего детства — апокрифические «Страсти Христовы», — напечатанную во Львове в 1793 году. Когда-то Николай брал ее у орловского купца Ивана Ивановича Андросова; в статье «С людьми древнего благочестия» он вспоминал, как переворачивал «детскими руками» широкие листы «толстейшей сине-серой бумаги», отыскивая «именно те подробности Христовых истязаний», которых не было ни в Священной истории, лежавшей в его шкафике, ни в тяжелой Библии на отцовском столе. С тех пор он никогда не встречал этого издания, пока не добрался до Пскова, «несказанно... обрадовался и духом пролетел давно знакомые страницы, облитые деревянным маслом и воском»<sup>323</sup>.

Насладившись чтением этой книги и даже приведя обширные выписки из нее в статье, Лесков отправился, наконец, в Ригу.

Петербургские староверы выдали ему четыре письма рижским единоверцам — «книгочею» и «правдолюбу» З. Л. Беляеву, эконому И. Ф. Тузову, Н. П. Волкову и П. А. Пименову. В статье «Народники и расколоведы на службе» Лесков признавался:

«Самое веское из сих рекомендательных писем было от неизвестного мне рекомендателя, и писано оно было на полоске синей толстой бумаги, вырванной из переплетенной счетной тетради, а заключалось в следующей несложной редакции: “Сему верь” — а вместо подписи “слово-титло” (бог знает, что оно означало)»<sup>324</sup>.

Министр Головин снабдил его официальным письмом остзейскому генерал-губернатору Вильгельму Карловичу

Ливену, в котором просил предоставить своему посланнику полную свободу действий.

Староверы предложили Лескову поселиться прямо у них в слободе, в доме эконома Ионы Федотовича Тузова — не без расчета: им хотелось иметь столичного гостя «на глазах». Барон Ливен это одобрил, и сам командированный был доволен: так он оказался в самом «центре русского старообрядческого населения». По утрам он отправлялся из предместья в город, целый день работал в генерал-губернаторском архиве, а вечером приводил в порядок свои выписки и расширял «круг знакомства в старообрядческой среде».

В архиве посланец министра изучал документы, связанные с созданием старообрядческих школ в XIX веке; между прочим, прочитал и донесение чиновника особых поручений графа В. А. Соллогуба, соединявшего службу с занятиями литературой, автора упомянутого нами знаменитого «Тарантаса». В этом документе, датированном 24 июля 1860 года, Владимир Александрович описывал Александру Аркадьевичу Суворову, тогдашнему прибалтийскому губернатору, беззакония, творимые властями в отношении раскольников, и среди прочего предлагал учредить обязательные школы для их детей. К 1863 году это предложение графа, как и другие, всё еще оставалось без ответа.

В Риге тоже была своя секретная школа, но и в нее петербургского гостя пока не пускали: «На все расспросы, как и чему учат в этой школе, мне всё-таки был постоянно один неизменный ответ: “Погоди, с летам всё узнаешь”». Что ж, Лесков ждал. Шли дни «с жирными обедами и мирными беседами», со всеми он уже «стал как свой», ездил вместе с раскольниками на загородную мызу Гризенберг, «по вечерам и ночам таскался в черные дыры раскольниковьего пролетариата, где... нашел много вещей, необыкновенно интересных в беллетристическом отношении»<sup>325</sup>, однако в школу его всё-таки не вели. Лишь когда он заговорил о скором возвращении в Петербург, староверы смягчились. Он наконец увидел то, ради чего приехал.

Школа помещалась в небольшом домике «в трех светлых и довольно чистых комнатках», за наем которых платил старообрядец-купец Григорий Семенович Ломоносов. В одной из них жил с женой учитель Маркиан Емельянов, или Марочка; он занимался с двадцатью двумя мальчи-

ками. Девочек было в два раза меньше, и им преподавала жена Емельянова, у которой, по наблюдениям Лескова, было даже больше педагогического такта. Детей учили читать, писать, считать, петь, обладатели лучших голосов потом пополняли хор. Учение было недолгим: «чуть ребенок начал скоро читать и выводить каракули — курс кончен, и скорей мальчишку к делу, за ремесло или за прилавок». До Священной истории дело не доходило; Марочка готов был бы преподавать и ее, но подходящих учебников не было. В одном классе, как обычно в сельских школах, занимались ученики разного уровня:

«...учащие букварь сидят о бок с проходящими псалтырь, а псалтырники с учащими часовник, и, как все ученики по старинному обычаю читают вслух, что выходит такое смешение языков, что невозможно довольно надивиться, как рижский раскольничий педагог может во всём этом хаосе что-нибудь понять и за чем-нибудь уследить».

Не у каждого ребенка, по бедности, была своя книга. «Отсюда, разумеется, бестолковость и одна забота учить в долбежку, причем изучаемое нисколько не интересует учащегося».

И вот неутешительный вывод:

«Интереса собою эта школа не представляет никакого, а тем меньше может она представлять собою образец, достойный какого-нибудь подражания»<sup>326</sup>.

Лесков не сомневался: нужно не размножать такие негодные школы, а «учреждать школы новые с учителями экзаменованными и с хорошо приспособленными учебниками». Из путешествия он привез множество маленьких азбук, напечатанных на толстой голубой бумаге, несколько старинных книг, старообрядческие рукописи, собственные заметки, скопированные документы. Все эти книжечки, книги и бумаги, бережно хранимые им, теперь лежат в фонде Лескова в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ)<sup>327</sup>.

По итогам поездки Лесков составил отчет «О раскольниках города Риги, преимущественно в отношении к школам». Записка была напечатана в типографии Академии наук в количестве 60 экземпляров. Довольно подробно описав высадку на таинственный раскольничий остров,

он завершает отчет внятыми предложениями: начальные школы для раскольников необходимо открыть, к экзаменам на степень приходского учителя членов общины допустить, а в дальнейшем разрешать преподавание в начальных раскольниковых школах только дипломированным учителям. Наконец, нужно напечатать буквари и Священную историю — гражданским шрифтом, но с привычным раскольникам написанием имен: Исус, а не Иисус, Давыд, а не Давид.

Лесков, как и генерал-губернатор барон Ливен, как и Мельников-Печерский, был убежден, что рассеяние тьмы невежества староверов обнаружит ничтожность различий между двумя ветвями православия и ускорит слияние раскольников с официальной Церковью.

После этой записки, составленной для служебного пользования, Лесков рассказал о своей поездке широкому читателю — сначала в двух статьях «С людьми древлего благочестия», опубликованных в журнале «Библиотека для чтения» (1863. № 11; 1864. № 9), а спустя несколько лет в статье «Искание школ старообрядцами» (1869) в газете «Биржевые ведомости». Простые истины о необходимости допустить старообрядцев до просвещения Лесков повторял еще долго. Наконец в 1873 году, спустя 40 лет после закрытия последней легальной школы в Риге, была организована официальная старообрядческая школа при Гребенщиковской богадельне — вероятно, не без влияния его трудов. Рижские старообрядцы сохранили о нем благодарную память.

Лесков постоянно возвращался к их проблемам и позднее, сформулировав однажды важную для себя мысль: староверы воплотили в себе лучшее, что есть в русских людях:

«Тут нет и тени нашей, будто “прирожденной”, русской личности и тех формальных “волоки́т”, без которых мы не можем ничего в ход пустить. У староверов это совсем иначе. Это какие-то *янки*, окрыленные страстной религиозною кипучестью и готовые вступать в дело *сию же мину́ту*...»<sup>328</sup>

Изнутри прочувствовавший драму раскола, полюбивший культуру и уклад российских староверов, зачарованный стариной и даже логикой «чем старее, тем лучше», Лесков вырастил из этих любви и сродства и «Запечатленного ангела», и «Печерских антиков», отчасти и «Соборян», в которых чувствуется влияние «Жития протопопы Аввакума», судя по всему, прочитанного Лесковым как раз в на-

чале шестидесятых годов (оно было впервые опубликовано Н. С. Тихонравовым в 1861-м). Староверы как неотъемлемая часть русской религиозной жизни постоянно мелькали на страницах его рассказов «Некрещеный поп» (1877), «Однодум» (1879), «Несмертельный Голован» (1880), «Инженеры-бессребреники» (1887); «Фигура» (1889), «Юдоль», «О “квакереях”» (1892).

### **«Испытуй и виждь»**

В конце августа Лесков вернулся в Петербург, в сентябре закончил сочинять записку для министра, затем переделал ее в серию писем к редактору «С людьми древнего благочестия». Параллельно он продолжал работу над романом «Некуда». Лесков признавался потом, что сочинял его в университетском карцере в Киеве: он искал место для уединения, но «всё красили»<sup>329</sup>, зато в карцере для проштрафившихся студентов никого не было и никто его не тревожил. Воспоминание это может относиться только к 1864 году, вторую половину которого Лесков провел в Киеве. Очевидно, начальные главы «Некуда» были написаны уже в конце 1863-го.

Первый лесковский роман оказался многострадальным — рукопись читали четыре (!) цензора: «Там вымарывались не места, а целые главы, и притом часто самые важные...»<sup>330</sup> В итоге роман, за подписью М. Стебницкий, публиковался в «Библиотеке для чтения» Петра Дмитриевича Боборыкина (в номерах с 1-го по 12-й с перерывами) в искаленном виде. Никогда уже Лесков не восстановил купюры, хотя мог бы, поскольку имел на руках корректуру полной версии романа. Но в 1867 году издатель Маврикий Вольф, уроженец Варшавы, уговорил его ничего не исправлять, ибо «во вставках были сцены, обидные для поляков и для красных, перед которыми он чувствует вечный трепет»<sup>331</sup>.

Все четыре прижизненных издания романа (в 1865, 1867, 1879, 1887 годах) вышли в журнальной, искромсанный версии. Этот вариант «Некуда» мы читаем и сегодня. Будь текст его напечатан в том виде, в каком был написан, вероятно, он оказался бы лучше выстроен, были бы смещены акценты. Но главного это не изменило бы — в глазах современников «Некуда» всё равно остался бы памфлетом, злым сборником карикатур на реальных лиц.

# НЕКУДА.

РОМАНЪ

М. СТЕВНИЦКАГО.

ТОМЪ II.



Второе изданіе.

Изданіе книгопродавца-типографа Матвѣя Осеневича Валифа.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

въ Гостиницѣмъ Дворѣ, №№ 18, 19 и 20.

МОСКВА,

на Кузнецкомъ Мосту, д. Руднева.

1867.

Роман «Некуда» окончательно рассорил автора с нигилистами

Первые стрелы полетели, когда даже половина романа еще не вышла в свет. Уже в мае 1864 года зажуужала «Оса», посоветовавшая «господину Стебницкому» «оставить писание романов, наводящих уныние и сон, заняться изучением брандмейстерского искусства и писать статьи об одних пожарах»<sup>332</sup>.

Варфоломей Зайцев, вторая после Писарева скрипка «Русского слова», в обзоре «Перлы и адаманты русской журналистики» не церемонился: «В сущности это просто плохо подслушанные сплетни, перенесенные в литературу...»<sup>333</sup> Ему подпели «Санкт-Петербургские ведомости» — филолог и писатель Петр Полевой сообщил читателям: «...роман этот, вероятно, прочитанный немногими, действительно не представляет в себе никаких художественных достоинств»<sup>334</sup>. Следующей в хор вступила «Искра» с презрительным стихотворным фельетоном от Буренина<sup>335</sup>. Затем Суворин, укрывшийся под псевдонимом А. И-н, написал о недавнем приятеле в «Русском инвалиде»: «Уж как ломается, бедный, а все не смешно, а только жалость возбуждается...» Подключился и критик «Современника» Григорий Елисеев: «“Некуда” было походом ловкости одного из талантов, которые имеют такое же отношение к литературе, какое имеют к ней швейцары, пишущие поздравительные стихи». Суворин отметил-ся и второй раз, уже в «Санкт-Петербургских ведомостях» в статье «Пропущенные главы романа “Некуда”», на этот раз подписавшись «Знакомый г. Стебницкого»: «[Господин] Стебницкий — человек не без дарования, и притом оригинального. Дарование это заключается в том, что автор хорошо описывает *приметы*, даже очень хорошо. Я думаю, что г. Стебницкий... мог бы служить по следственной части»<sup>336</sup>, — и пригрозил рассказать кое-что значительное из жизни «доктора Розанова», но угрозу эту так и не исполнил.

Боборыкин пытался оправдаться, объяснить, что все совпадения случайны<sup>337</sup>, — безуспешно. Лесков отправил в «Санкт-Петербургские ведомости» два опровержения — их не стали печатать.

Не заступился никто. На «Некуда» не вышло ни одной положительной рецензии. Вполне предсказуемо представители существовавших в то время идеологических направлений не захотели защищать роман, оказавшийся, как и хотел его автор, шире любого направления. Не появилось ни единого подробного, внимательного разбора текста. Все дружно признали роман доносом, а «госпоина Стебницкого» заподозрили в связях с Третьим отделением.



Одаренный ярким талантом автор в самом начале пути оказался буквально один против всех, стал отверженным. И это действительно была катастрофа, отголоски которой преследовали его всю жизнь.

В самом ли деле Лесков написал донос, мы еще обязательно обсудим, а пока обратимся, наконец, к самому роману.

Многолетнее отвержение «Некуда» критикой долгое время не позволяло читать его беспристрастно. Мешал не только гам проклинателей автора, но и ядовитый литературный контекст: в 1860-е годы в моду вошли антинигилистические романы, высмеивавшие «новых людей» — революционно настроенную молодежь. Еще до «Некуда» появилось «Взбаламученное море» (1863) А. Писемского, параллельно с романом Лескова в «Русском вестнике» публиковалось «Марево» В. Ключникова. А вскоре романы-памфлеты с карикатурами на нигилистов полились рекой: «Современная идиллия» (1865) и «Бродящие силы» (1867) В. Авенариуса, «В водовороте» (1870) того же Писемского, «Марина из Алого Рога» (1873) Б. Маркевича, «Скрежет зубовный» (1878) В. Авсеенко, «Панургово стадо» (1869) и «Кровавый пух» (1875) В. Крестовского, отчасти и «Бесы» Достоевского и «На ножах» самого Лескова, опубликованные почти одновременно. Так что читавшие «Некуда» и сразу по выходе из печати, и год-два спустя, и даже в XX и XXI веках вольно или невольно рассматривали его как часть целого литературного движения, направленного против либералов и прогрессистов.

Посмотрим, что же скрыто в романе помимо шаржей на современников.

Сегодняшнему читателю он покажется до смешного невинным.

Центральный персонаж «Некуда», вчерашняя институтка Лиза Бахарева, мечтает об обновлении собственной жизни и общении с людьми, у которых слово не расходится с делом. Она покидает родительский дом, поселяется в коммуне социалистов и влюбляется в одного из них — благородного Вильгельма Райнера, сына швейцарского пастора. В конце романа Райнер отправляется сражаться за дело восставших поляков, его арестовывают и приговаривают к казни. Лиза, поехавшая проститься с ним, простужается в дороге и умирает от воспаления легких.

Вторая сюжетная линия связана с уездным доктором Дмитрием Розановым, который по настоянию расположенной к нему Лизы уезжает от семейного неблагополучия в Москву, тоже ненадолго увлекается социалистическим учением, посещает салон маркизы де Бараль, где слушает умные разговоры о «красных» и «белых», но, разочаровавшись, бежит и от социалистов, и от либералов, а в финале романа успокаивается отношениями с новой симпатичной знакомой Полинькой Калистратовой и должностью полицейского врача в Петербурге.

Молодое бешенство, с каким изображались социалисты и маркиза де Бараль, а в особенности то, что пародийные портреты писались с реальных лиц\*, не позволили разглядеть, быть может, наиболее любопытное в этом освященном сочинении.

«Некуда» — едва ли не самая интимная книга Лескова. В ней сформулировано его кредо, актуальное для 1860-х годов, по всем основным общественным, политическим и личным вопросам. Последнее особенно ценно, потому что о личном Лесков молчал и в публицистике, и в письмах, которых от этих лет осталось совсем немного. Нестор Долинский, персонаж написанного год спустя романа «Обойденные», — тоже в какой-то мере автопортрет, но значительно более бледный, чем доктор Розанов.

В «Некуда» и в самом деле бьются тоска и потеряность, судя по всему, переполнявшие Лескова в начале 1860-х. Презиравшие институт семьи нигилисты, едко высмеянные автором, оказались в тупике, но и сам он был «разбит на одно колено»: с женой разъехался, с дочкой не общался. Романый доктор Розанов забрал дочь у капризной жены — Веру Лескову до поступления в пансион растлила взбалмошная мать<sup>338</sup>. И в вопросах семейного счастья, и в поиске философских основ существования Лесков не понимал: к кому примкнуть, куда двигаться?

---

\* Современники Лескова легко узнали в персонажах прототипов: Пархоменко — А. И. Ничипоренко, Белоярцев — В. А. Слепцов, Сахаров — Е. М. Феоктистов и отчасти А. С. Суворин, Завулонов — А. И. Левитов, Бертольди — княжна Е. А. Макулова, маркиза Ксения де Бараль — Е. В. Салиас-де-Турнемир, сестры Ярославцевы — Е. В. и С. В. Новосильцевы. По предположению С. П. Шестерикова, прототипом Персиянцев был И. И. Кельсиев, после побега из московской тюрьмы оказавшийся в Персии и Турции (см.: *Эджертон У. Лесков, Артур Бенни и подпольное движение начала 1860-х годов: О реальной основе «Некуда» и «Загадочного человека»* // Незданный Лесков. Кн. 1. М., 1997. С. 636).

Много позже, 23 декабря 1891 года он признавался в письме литературному критику Михаилу Протопопову:

«Катков имел на меня большое влияние, но он же первый во время печатания “Захудалого рода” сказал Воскобойникову: “Мы ошибаемся: этот человек *не наш!*” Мы разошлись (на взгляде на дворянство), и я не стал дописывать роман. Разошлись вежливо, но твердо и навсегда, и он тогда опять сказал: “Жалеть нечего — *он совсем не наш!*”. Он был прав, но я не знал: чей я? “Хорошо прочитанное евангелие” мне это уяснило, и я тотчас же вернулся к свободным чувствам и влечениям моего детства... Я блуждал и воротился, и стал *сам собою* — тем, что я есмь. Многое мною написанное мне действительно неприятно, но лжи там нет нигде — я всегда и везде был прям и искренен... Я просто заблуждался — не понимал, иногда подчинялся влиянию, и вообще — “не прочел хорошо евангелия”. Вот, по-моему, как и в чем меня надо судить!»<sup>339</sup>

Вся нелепость отождествления героя и автора остро вышучена была еще Лермонтовым в предисловии к «Герою нашего времени». Но тут случай особый: «Некуда» — дебют Лескова в крупной форме. Писатель пока не слишком опытен в романном жанре и еще попросту не умеет (а возможно, и не хочет) как следует прятаться в персонажах, а потому передает Розанову много своего. Но даже принимая это в расчет, мы понимаем, что уездный доктор Дмитрий Петрович Розанов, конечно, не равен автору, он — лишь окно, распахнутое в мир умонастроений и переживаний Николая Семеновича Лескова начала 1860-х годов. Нигде потом в лесковской прозе мы не встретим такого откровенного свидетельства происходившего в его разуме и душе.

Яснее всего доктор Розанов заявляет свою позицию в беседах с Лизой Бахаревой:

«Я вам сказал: моя теория — жить независимо от теорий, только не ходить по ногам людям.

— А это не вразлад с жизнью?

— Напротив, никогда так не легко ладить с жизнью, как слушаясь ее и присматриваясь к ней. Хотите непременно иметь знания, ну, напишите на нем “испытай и виждь”, да и живите»<sup>340</sup>.

Это проговорка. «Испытай и виждь» — лозунг никак не уездного лекаря, принимающего трудные роды, вскрывающего гнойные раны, чья душа хорошенько потерта

наждаком чужих смертей и страданий, но тонкого художника, задача которого сводится к вслушиванию и вглядыванию в жизнь. Не доктор Розанов — художник Лесков рассуждает о возможности драмы в простом народе, и он же, незаметно отодвинув героя в тень, светлой мартовской ночью говорит с Лизой о своей вере в поэзию и о «поэтической науке психиатрии», почти переходя на стихи: «Вот ночь, этот льющийся воздух, трепетный, робкий свет, искренний разговор с молодой, чуткой женщиной...»<sup>341</sup> Потом он берется за докторскую диссертацию по «поэтической науке». Художнику особенно больно всякое проявление жизненной грубости, и доктору Розанову невыносимо слушать пьяные песни разбушевавшихся социалистов, их рассуждения о равенстве полов и ненужности брака. Вот почему Розанову и спрятавшемуся за его спиной Лескову милей духовные песнопения староверов (куда без них после рижского путешествия?), с которыми герой знакомится в своей московской одиссее: «Внимательно смотрел Розанов на этих стариков, из которых в каждом сидел семейный тиран, способный прогнать свое дитя за своеволие сердца, и в каждом рыдал Израиль “о своем с сыном разлучении”»<sup>342</sup>. Появление в повествовании старообрядцев никакого дополнительного смысла не несет; тем не менее им посвящена целая глава «Люди древнего письма» — Лескову необходимо показать, как открыт Розанов самым разным явлениям жизни, которую он предпочитает любой теории.

Через восприятие Розанова даны все основные персонажи романа. И когда он смотрит на социалистов, словно осколок кривого зеркала оказывается в его глазу. Вот какими доктор видит лидера коммуны Петра Белоярцева и ее гостя Ивана Завулонова (списанных, напомним, соответственно со Слепцова и Левитова):

«По зале ходили два господина. Один высокий, стройный брюнет, лет двадцати пяти; другой маленький блондинчик, шупленький и как бы сжатый в комочек. Брюнет был очень хорош собою, но в его фигуре и манерах было очень много изысканности и чего-то говорящего: “не тронь меня”. Черты лица его были тонки и правильны, но холодны и дышали эгоизмом и безучастностью. Вообще физиономия этого красивого господина тоже говорила “не тронь меня”; в ней, видимо, преобладали цинизм и половая чувственность, мелкая завистливость и злобная мстительность исподтишка. Красавец был одет безукоризненно и не снимал с рук тонких лайковых перчаток бледнозеленого цвета.

Блондинчик, напротив, был грязноват. Его сухие, изжелта-серые, несколько волнистые волосы лежали весьма некрасиво; белье его не отличалось такою чистотою, как у Брюнета; одет он был в пальто без талии, сшитое из коричневого трико с какою-то малиновою искрой. Маленькие серые глазки его беспрестанно шурились и смотрели умно, но изменчиво. Минуту в них глядела самонадеянность и заносчивость, а потом вдруг это выражение быстро падало и уступало место какой-то робости, самоуничижению и задушенности. Маленькие серые ручки и сморщенное серое личико блондина придавали всему ему какой-то неотмываемо грязный и неприятный вид. Словно сквозь кожистые покровы проступала внутренняя грязь»<sup>343</sup>.

«Цинизм», «половая чувственность», «мелкая завистливость и злобная мстительность исподтишка», человек-«комочек», «самоунижение», «задушенность», «неотмываемо грязный и неприятный вид»... Можно было бы заключить, что Розанов — человек недобрый, если не знать, что Лесков отодвигает доктора в сторону и сам рассказывает об этих персонажах.

Так можно писать, лишь имея личные счеты. Но что дурного сделали Лескову Слепцов и Левитов? Ничего. Это счет к самому себе. С таким отвращением можно говорить только о собственных фатальных промахах. Заодно Лесков не простил всех, кто имел к этим промахам отношение, кто невольно выступил в роли его менторов и в итоге — соблазнитель. Ничипоренко и Слепцов соблазнили его, не освоившегося в Москве провинциала, в ересь радикализма, Салиас-де-Турнемир — в ересь либерального пустозвонства. И он соблазнился: читал «Колокол», верил Герцену, пламенно обсуждал судьбы России и, кажется, даже сам жил в слепцовской коммуне<sup>344</sup>.

«Некуда» — это не донос, а прощание с незадавшейся молодостью и проклятие ее. Лесков рвал со всеми, не проотив им своих ошибок. Он снова и снова убеждал себя и мир в узости их взглядов на мужчину и женщину, на семью и образование, на политическое и экономическое будущее России. Люди, прежде близкие ему, обратились в «памятники прошедших привязанностей»<sup>345</sup>.

Но автобиографизм Розанова задал и его ограниченность. Доктору действительно *некуда* расти. С первых же страниц романа он — человек сложившийся, зрелый, с профессией в руках, хотя и с занозой в сердце: семейной драмой и маленькой дочкой, которую ему удастся отвоевать,

но которая на самом деле ему неинтересна. Розанов недаром считает себя «разбитым»: он не в состоянии наладить отношения с «полусумасшедшей от природы» женой, а та жалуется всему свету на развратного мужа; в трудные минуты он с отчаяния прибегает к испытанному русскому утешению — горько запивает, — ничего доброго впереди для себя не видит и по большому счету ничего не хочет, кроме одного: стать, наконец, счастливым.

Куда такому развиваться, в каком направлении двигаться? Можно, конечно, сменить обстановку. И доктор отправляется в Москву. Однако, поскольку он мудр лесковским умом, проникает в сердцах и жизни, переезд в другой город ни развить, ни обогатить его не может. «Эгоист», отстаивающий «рутину» — аттестует его Лиза Бахарева в минуту ссоры. В финале романа Розанов получает желанное счастье: «уголок» с Полинькой Калистратовой и их ребенком, надежную службу. Большого ему, среднему человеку, и не надо. Он так и не закончит диссертацию по «поэтической науке психиатрии» и, в отличие от своего приятеля и коллеги Лобачевского, искренне увлеченного медициной и неустанно движущегося вперед, останется просто хорошим доктором. Казалось бы, ничего дурного. Но слишком уж робко и словно неуверенно описывает Лесков жизненную удачу Розанова. К тому же устраивает его «полицейским врачом» (как мы помним, с обличений этой категории медиков он начинал свою журналистскую карьеру). В таком обыденном, отнюдь не поэтичном завершении пути любимого героя звенит безнадежность; «некуда», пронизывающее роман, относится не только к революционному пути, но и к пути основательного и честного человека.

В 1890-е годы Лев Толстой высказался о романе и его авторе: «Николай Семенович раньше меня начал ту работу, которой я заинтересовался позднее. Он еще в “Некуда” доказывал, что без христианского духа немыслимо братское общежитие людей, и его Знаменская коммуна распалась именно по этой причине. Лесков первый осветил эту истину из нигилистической жизни в нашей литературе. Наши критики не умели оценить в нем этот труд. Лесков — писатель будущего, и его жизнь в литературе глубоко поучительна»<sup>346</sup>.

Общность с Лесковым, о которой говорил Толстой, очевидно заключалась в том, что оба верили в силу «хри-

стианского духа». Об отношении Лескова к Толстому мы еще поговорим, пока же заметим, что «Некуда» — как «Война и мир», «Анна Каренина» — кроме прочего, попытка написать семейный роман. Только в роли Анны Карениной у Лескова выступает доктор Розанов; выход, который он находит, — отношения с Полинькой Калистратовой — мало отличается от соединения Анны с Вронским. Но Толстой — моралист и приговаривает свою героиню к смерти. Лесков — мягче, тем более что гибель Розанова означала бы практически авторское самоубийство. Однако именно «мысль семейная» в «Некуда» важна не меньше, чем социальная и антинигилистская.

«Некуда» можно считать романом о поиске дома и о бездомности, душившей и нигилистов, и любимых героев автора — Райнера, Лизу, Розанова.

Как свидетельствовал сам Лесков, «Некуда» «писан весь наскоро и печатался прямо с клочков, нередко писанных карандашом, в типографии»<sup>347</sup>. Следы поспешности видны и в композиции, и в стилистической и жанровой неоднородности текста. В первой книге («В провинции») преобладает неторопливое нравописание, во второй («В Москве») — авантюра и памфлет и только в третьей («На невских берегах») проступают черты романа идеологического, философского. Бурлеск сменяется трагикомедией, трагикомедия мелодрамой, мелодрама пародией<sup>348</sup>; текст словно «ведет и корчит». В этой пестроте и сбивчивости объединяющим для всех героев оказывается мотив дома, поиска пристанища — и экзистенциального, и земного, имеющего физические очертания.

Лесков написал еще и роман о необходимости иметь дом и тупике бездомности. Потому что тем, у кого нет настоящего дома, действительно некуда идти. Розанов, пережив семейный крах, не может вернуться к жене, отправляется в соседнюю гостиницу, где погружается в недельный запой. Недаром дешевый гостиничный номер с грязными обоями — любимое пространство Достоевского: чужое необустроенное жилье делает жизнь духа острее и болезненнее. Для Лескова интерьер тоже предмет постоянного интереса, но по иным причинам: он сам жаждет дома — уютного жилища, крепости, в которой можно укрыться с милой подругой от невзгод и врагов. Иначе он не описывал бы обстановку квартир и домов, в которых оказываются его

герои, с таким, почти маниакальным упорством. Повествователю не слишком важно, во что герой одет, что читает; важнее, где он живет, — это объясняет его душу. Лесков обнажает собственный прием:

«Говорят, что человеческое жилище всегда более или менее точно выражает собою характер людей, которые в нем обитают. Едва ли нужно доказывать, что до известной степени можно допустить справедливость этого замечания»<sup>349</sup>.

Не случайно дома в «Некуда» — живые:

«На Чистых прудах все дома имеют какую-то пытливую физиономию. Все они точно к чему-то прислушиваются и спрашивают: что там такое?»<sup>350</sup>

Элегантна и изящна квартира польского революционера Рациборского с мягким полукруглым диваном, креслами, ореховым столом и оттоманкой. Тщательно описана горница игуменьи Агнии, «разделенная пополам ширмами красного дерева, обитыми сверху до половины зеленою тафтою»; за ширмами — кровать «с прекрасным замшевым матрацом», ночной столик, шкаф с книгами, два мягких кресла, по другую сторону ширм — «богатый образник с несколькими лампадами, горевшими перед фамильными образами в дорогих ризах; письменный стол, обитый зеленым сафьяном с вытисненными по углам золотыми арфами, кушетка, две горки с хрусталем и несколько кресел»<sup>351</sup>.

Прямая, сыплющая несколько деревянными афоризмами игуменья Агния Бахарева прежде вращалась в высшем свете, и следы роскоши остались в убранстве ее жилья. Однако мать игуменьи знает толк не только в красоте и русских поговорках, но и в житейских вопросах и, конечно, крепко стоит на ногах подобно ее письменному столу, обитому сафьяном.

Почти влюбленно зарисовал Лесков «колыбельный уголок» институтской подруги Лизы Бахаревой Женни Гловацкой, дочери смотрителя училищ, живущего в «каменном флигельке»:

«Такая была хорошенькая, такая девственная комнатка, что стоило в ней побыть десять минут, чтобы начать чувствовать себя как-то спокойнее, и выше, и чище, и нравственнее. Старинные кресла и диван светлого березового



выплавка с подушками из шерстяной материи бирюзового цвета, такого же цвета занавеси на окнах и дверях; той же березы письменный столик с туалетом и кровать, закрытая белым покрывалом, да несколько растений на окнах и больше ровно ничего не было в этой комнатке, а между тем всем она казалась необыкновенно полным и комфортабельным покоем»<sup>352</sup>.

Понятно, что Женни, выйдя замуж за Вязмитинова, свою московскую квартиру тоже сделала «прехорошенькой». Лесков и ее тщательно описывает. Избавим читателя от рассказа о гостиной и детской, перейдем сразу к итогам:

«У Вязмитиновых уже всё было приведено в порядок, всё глядело тепло и приятно.

— Рай у тебя, моя умница, — говорила, раздевшись в детской, няня»<sup>353</sup>.

Няню Абрамовну Лесков сделает одной из своих повременных и вложит в ее уста очень важные оценки.

В партию правильных и «домовитых» персонажей входит и Полинька Калистратова, поселенная автором у Египетского моста:

«Жилье ее состояло из двух удобных и хорошо меблированных комнат, кухни и передней. С нею жила опрятная кухарка немка и то маленькое, повитое существо, которое, по мнению Вязмитинова, ставило Полиньку Калистратову в весьма фальшивое положение. <...> Розанов был у Полиньки каждый день, и привязанность его к ней нимало не уменьшалась. Напротив, где бы он ни был, при первом удобном случае рвался сюда и отдыхал от всех трудов и неприятностей в уютной квартирке...»<sup>354</sup>

Когда-то Полинька пыталась заработать на жизнь содержанием дешевой гостиницы; теперь ей это ни к чему — у нее есть квартира и доктор Розанов.

Полюбовавшись этим незаконным, но с душой свитым гнездышком, Лесков в той же главе переходит к описанию житья «граждан в Доме». *Domus Concordiae* (Дом Согласия), снятый социалистами на паях, — пародия на настоящий дом. Не зря Абрамовна иначе как «вертепом» его не называет.

Архитектура здания уродлива:

«Дом, к которому шел Розанов, несколько напоминал собою и покинутые барские хоромы, и острог, и складочный пакгауз, и богадельню. Сказано уже, что он один-одинешенек стоял среди пустынного, болотистого переулка и не то уныло, а как-то озлобленно смотрел на окружающую его грязь и серые заборы»<sup>355</sup>.

Здесь, разумеется, неуютно, холодно. Дверь комнаты Лизы не запирается на ключ, в передней темно. Внизу здания тянется длинный подвальный этаж — там, предполагает автор, когда-то были «пытальные», а сейчас по холодному полу скачут жабы. Лесков никак не может остановиться в описании царящего здесь убожества: побелка на стенах пожелтела, окна давно не мыты, крыльцо безобразно, «дом этот лет двенадцать был в спорном иске и стоял пустой, а потому на каждом кирпиче, на каждом куске штукатурки, на каждом вершке двора и сада здесь лежала печать враждебного запустения». Фундамент дома русских революционеров — болото с жабами и пыточные камеры. Мотив неуют, неопрятности *Domus*'а, из которого бежит даже прислуга, не понимая, кто ее хозяин, становится сквозным.

Вероятно, Лескову не нужно было прибегать к гротеску — он описывал *Domus* с натуры. Напомним, что русский писатель и публицист Василий Слепцов, вдохновившись примером героев романа Чернышевского «Что делать?», снял на Знаменской улице просторную одиннадцатикомнатную квартиру, где поселились его единомышленники, мужчины и женщины, каждый в отдельной комнате. Жильцы вели общее хозяйство, но крайне неумело, и коммуна распалась, не просуществовав и года. Фаланстер\*, в котором размещалась реальная Знаменская община<sup>356</sup>, по воспоминаниям современников, действительно не отличался уютом: «Зала была довольно большая, но низковатая и плохо освещенная; небольшая лампа висела над длинным столом, обитым клеенкой, и кругом его сидели за чаем члены коммуны и гости; некоторые из гостей, за неимением стульев, расхаживали по комнате или сидели на окнах. Кроме стульев и стола, не имелось другой мебели»<sup>357</sup>.

К «гражданам» лесковского *Domus*'а в «Некуда» примыкают другие «полубездомные» — социалисты-приживалы, поселившиеся в нанятую Райнером просторную квартиру и разрушающие ее уют. Среди последних — кандидат юрис-

---

\* Фаланстер — большой дворец, где по учению философа и социалиста Шарля Фурье должна жить и работать коммуна-«фаланга».

пруденции, трогательный поляк Юстин Помада, нежный, но никем не любимый; в финале романа он гибнет в лесу, в Беловежской Пуше, сражаясь в отряде польских мятежников. Вскоре расстреливают и предводителя отряда Вильгельма Райнера, прототипом которого стал Артур Бенни.

Лесков, по сути, предрек в романе судьбу Бенни, который погиб в борьбе за чужое правое дело: сопровождал гарибальдийские отряды в качестве репортера, 3 ноября 1867 года был ранен в Ментане во время разгрома Гарибальди и умер в госпитале от гангрены. Тем не менее он успел вкусить обычного человеческого счастья: выехав за границу вместе с Марией Николаевной Коптевой, женился на ней.

Лесков не просто предсказал обстоятельства гибели честного революционера. С Бенни была связана мистическая история. Лесков верил в загробную жизнь и, по свидетельству его сына, договорился с Бенни: тот, кто раньше умрет, должен явиться другому во сне. «Бенни уехал в Италию, и отец однажды рассказывает моей матери виденный им ночью сон: стоит Бенни с поднятой рукой, из которой струится кровь, а сам он ласково, ласково улыбается. Месяц спустя пришло известие о том, что незадолго до этой ночи Бенни, ранен[н]ый в бою под Ментоной в правую руку, был вторично ранен в ту же руку французским кирасиром и вскоре после того скончался. Отец, веривший в общение с потусторонним миром, нашел в этом лишнее подтверждение своей вере»<sup>358</sup>.

Интересно, что вдова Бенни Мария Коптева предельно холодно отзывалась о повести «Загадочный человек», в которой Лесков рассказал о судьбе ее мужа и попытался реабилитировать революционера, несправедливо обвиненного в сотрудничестве с Третьим отделением. Уже после смерти Лескова, в 1897 году, «Русское богатство» напечатало ее письмо по поводу публикации в «Северном вестнике» очерков Акима Волынского, где было процитировано воспоминание литератора Александры Толиверовой о последних минутах Артура Бенни и приезде «его друга» лишь на следующий день<sup>359</sup>. Являвшаяся этим «другом» Мария Николаевна обстоятельства своего приезда описывала совершенно иначе, без мелодраматических подробностей. В основном она разгневалась на Толиверову, но досталось и Лескову: «Даже и жизни Бенни Лесков не знал, отчего целые страницы будто бы биографии “Загадочного человека” заняты рассказами о том, как будто бы он будил пьяного, или неинтересными разговорами с Ничипоренко.

В этой богатой событиями жизни Лесков не нашел другого материала, так мало он знал его!»<sup>360</sup> Ничто в этом отклике не выдает знакомства Коптевой с «Некуда», но трудно представить, чтобы она роман не читала; возможно, обида за Бенни маскировала более давнюю и глубокую обиду за собственный портрет в романе.

Отдельно заметим, что «Некуда» — это еще и собрание пейзажей, великолепных по тонкости исполнения, менее изысканных, чем тургеневские, но в этой непосредственности и заключается их прелесть. Вот, например, необычайное поэтичное описание сельской сырости и навозной вони:

«Погода стояла прекрасная: дни светлые, тихие и теплые. Снег весь подернулся черным тюлем, и местами показались большие прогалины, особенно по взлобочкам. Проходные дорожки, с которых зимою изредка сгребали лишний снег, совсем почернели и лежали черными лентами. Но зато шаг со двора — окунешься в воду, которою взялся снег. Ездить можно было только по шоссе. Мужички копались на дворах, ладя бороны да сохи, ребятишки пропускали ручейки, которыми стекали в речку все плодотворные соки из наваленных посреди двора навозных куч. Запах навоза стоял над деревнями. Среди дня казалось, что дворы топятся, — так густы были поднимавшиеся с них испарения. Но это никому не вредило, ни людям, ни животным, а петухи, стоя на самом верху куч теплого, дымящегося навоза, воображали себя какими-то жрецами. Они важно топорщили свои перья, потряхивали красными гребнями и, важно закинув головы, возглашали: “Да здравствует весна, да здравствуют куры!”»<sup>361</sup>.

*O rus!\** Прочитавшие приведенный фрагмент, конечно, разглядели, как много в нем не только иронии, но и любви. Карамзинско-пушкинские аллюзии очевидны и в других пейзажных зарисовках, открывающих, что склонность Лескова к краскам и оттенкам проявилась уже в «Некуда». Не будем утомлять читателя новыми примерами — описанием луговой поймы, бархатного луга, глубокого оврага с «красно-бурыми обрывами», черно-синей щетки соснового леса, мелководной речки, «заросшей по загибинам» красноватым тростником и початником, потряхивающим на ветру «бахромчатыми красноватыми повязочками».

---

\* О деревня! (лат.).

И всё же намного больше, чем краски русской природы и смена времен года, интересны автору «Некуда» персонажи и их прототипы, составившие роману скандальную славу. Мы, наконец, подобрались и к этому сюжету.

### **«Фотографические снимки»**

Растянувшийся на годы крик «Ату его!», в который слились отклики «Осы», «Русского слова», «Искры», «Санкт-Петербургских ведомостей», «Современника» и других изданий, объяснялся в конечном счете вовсе не антилиберальной направленностью «Некуда», а тем, что его автор посмеялся над реальными живущими в Москве и Петербурге людьми. По иронии судьбы в «Библиотеке для чтения», где был напечатан роман, под псевдонимом Евгения Тур публиковалась графиня Салиас-де-Турнемир. Действительно ли молодой издатель журнала Петр Боборыкин не заметил ее сходства с одним из персонажей «Некуда» или заметить не пожелал, неясно.

В вышеназванной статье «Перлы и адаманты русской журналистики» Варфоломей Зайцев писал о большей уместности «фотографических снимков» не в романе, а в немецких полицейских журналах и газетах, помещавших на своих страницах фотографии преступников.

Всех особенно возмущало не столько то, что Лесков разделялся с идеологическими оппонентами, как Писемский или Ключников, и даже не то, что он писал портреты персонажей с реальных людей. Так вообще устроена литература реалистического направления — она изображает жизнь. Никто ведь не топтал Тургенева за то, что в «Первой любви» он рассказал историю собственного отца. Однако Лесков не просто описал своих знакомых, но сделал это с сарказмом, к тому же издевался над вчерашними единомышленниками, вместе с которыми ходил в гости, пил и ел за одним столом, которые, как графиня Салиас, ему помогали.

Это и было сочтено нарушением приличий, более того — предательством, которое сейчас же перевели в политическую плоскость, назвав «Некуда» доносом. Как разрастается снежный ком клеветы, изобразил Грибоедов в «Горе от ума». Лесков испытал это на себе. Слух о «шпионстве» «Стебницкого» передавали из уст в уста, на него прозрачно намекали в статьях. Не исключено, что Островский, при-

думывая Глумова — персонажа пьесы «На всякого мудреца довольно простоты», умника, тайно ведущего обличительный дневник, — учитывал историю Лескова.

Молва о шпионстве рождалась не на пустом месте — власти действительно имели сеть осведомителей, все это знали, только не всегда угадывали, кто именно был “засланным казачком”. Например, о членах Знаменской коммуны и их близком окружении информировала Третье отделение петербургская мещанка М. С. Степанова<sup>362</sup>. Лесков во многом был грешен, но в этом неповинен совершенно. С первых и до последних своих дней в литературе выше всего он ставил независимость от общественного мнения, от полиции, от высшего начальства, от государя и бережно ее хранил. Это не он доносил — о нем. В Государственном архиве Российской Федерации хранится «Агентурное донесение об изображении писателем Лесковым Н. С. (псевд. Стебницкий М.) писательницы Тур Е. (гр. Салиас де Турнемир) в романе “Некуда” и о его политической благонадежности» от 7 марта 1867 года: «Лесков, пишущий под псевдонимом Стебницкого, человек даровитый, но не пользуется в литературных кружках ни любовью, ни уважением за свой вздорный и сварливый характер. На литературном поприще его поддержала известная писательница Евгения Тур... у которой он был гувернером или учителем при сыне. Впоследствии он отплатил ей черной неблагодарностью: в первом романе своем “Некуда”, вообще наполненном личностями, Стебницкий вывел Евгению Тур в самом смешном и карикатурном виде. В политическом отношении его можно считать благонадежным»<sup>363</sup>. Вероятно, сведения агента, что Лесков был гувернером или учителем сына графини Салиас, не соответствуют действительности; во всяком случае, никаких подтверждений тому нет.

Как и в «пожарной» истории, оправдаться было невозможно. Лесков превосходно понимал, как работает обвинительная общественная машина, и описал ее в «Некуда» еще *до* того, как его самого заподозрили в предательстве: как мы помним, доктор Розанов, разочаровавшись в «правом деле» и желая уберечь заговорщиков от возможного ареста, уничтожил литографский камень и напечатанные прокламации, после чего и прослыл «шпионом».

«Розанов писал свою диссертацию. Неделя шла за неделей, и уже приближались рождественские праздники, а Розанов не делал ни шагу за ворота больницы. Он очень

хорошо знал, что слухи о его “подлости” и “шпионстве” непременно достигли до всех его знакомых, и сначала не хотел идти никуда, чтоб и людей не волновать своим появлением, и себя не подвергать еще длинному ряду незаслуженных оскорблений. Оправдываться же он не мог. Во-первых, всё это было ему до такой степени больно, что он не находил в себе силы с должным хладнокровием опровергать взведенные на него обвинения, а во-вторых, что же он и мог сказать? Одни обвинения были просто голословные клеветы или подозрения, для опровержения которых нельзя было подыскать никаких доказательств, а других нельзя было опровергать, не подводя некоторых людей прямо к неминуемой тяжелой ответственности»<sup>364</sup>.

Как и Розанов, Лесков ушел из шумной компании, в деле социалистической революции разочаровался и если до выхода «Некуда» не был обвинен в «шпионстве», то уж после — несомненно.

Масштаб начавшейся травли несравним с «пожарной» историей. Записные остряки упражнялись в злословии захлеб и наперебой. Некоторые их отзывы мы уже приводили выше. Самое время проверить, до какой степени Лесков был точен в описании реальных лиц и фактов, действительно ли делал «фотографические снимки».

Понять это довольно просто — достаточно сопоставить роман и документальные свидетельства. Работа эта отчасти уже проделана критиком, беллетристом и автором проникательных пародий Александром Алексеевичем Измайловым в неоконченной книге «Лесков и его время»<sup>365</sup>. Измайлов положил рядом текст «Некуда» и воспоминания Авдотьи Панаевой. Портрет Слепцова в этих сочинениях во многом совпал — несмотря на то, что Лесков пишет его с презрением, а Панаева с симпатией, «рукою в бархатной перчатке». Позерство, неутомимость, обилие скоротечных любовных связей, умение говорить с людьми низшего класса, попытки организовать просветительские лекции для женщин — всё это есть и в Белоярцеве кисти Лескова, и в Слепцове кисти Панаевой. Измайлов ссылается и на несколько фантастические воспоминания Николая Успенского, которые тот записал более чем 20 лет спустя после событий; тем не менее в главном Успенский совпадает и с Лесковым, и с Панаевой — его Слепцов тоже денди и фат: «На нем была щегольская куртка, а на голове красовалась шапочка с золотой кисточкой»<sup>366</sup>. Добавим, что отдельные черты Слепцова («баловень женщин», превосходный рас-

сказчик), а также многие детали распорядка и быта коммуны (лекции, чаепития, частые гости) в воспоминаниях одной из ее участниц, Александры Григорьевны Маркеловой, также изображаются похоже<sup>367</sup>.

В этом отношении особенно интересен ключевой персонаж романа Лиза Бахарева. В отличие от Розанова, она развивается, меняется на глазах. Написана Лиза с очевидной симпатией, хотя явно не слишком близка автору.

Ее образ Лесков создавал, опираясь на впечатления от знакомства с уже упоминавшейся Марией Николаевной Коптевой — дочерью статского советника, которая, сблизившись с нигилистами, покинула родительский дом и переехала в Знаменскую коммуну. Но если карикатуры Лескова на Слепцова, Ничипоренко и других социалистов подробно изучались, пара Лиза Бахарева — Мария Коптева никогда не рассматривалась исследователями. Между тем весьма детальный документальный рассказ о Коптевой сохранился в «Записках» Екатерины Ивановны Жуковской, в первом замужестве Цениной (1841—1913), уникальность которых заключается в том, что мемуаристка сама жила в Знаменской коммуне, а до этого училась с Марией в Институте благородных девиц.

Екатерина Ивановна написала воспоминания в 1905 году, давно отказавшись от социалистических увлечений ранней молодости, как и ее супруг, юрист и автор некрасовского «Современника» Юлий Галактионович Жуковский, встреченный ею как раз в Знаменском доме. Пережив юношеский радикализм, Юлий Галактионович сделал чиновничью карьеру и под конец жизни даже стал сенатором. Похожая трансформация взглядов от радикализма к умеренности, вероятно, произошла и с Екатериной Ивановной, чьи рассказы о жизни в коммуне проникнуты иронией — впрочем, довольно снисходительной.

Именно мемуары Жуковской показывают, что случай Лизы Бахаревой особый. Если на описания радикалов Лесков не жалеет желчи, то при рассказе о Лизе становится мягок до нежности и часто откровенно любителю его:

«У ней прелестные, густые каштановые волосы, вьющиеся у лба, как часто бывает у молодых француженок. Овал ее лица несколько кругл, щечки дышат здоровым румянцем, сильно прогибающимся сквозь несколько смуглый цвет ее кожи. На висках видны тоненькие голубые жилки, бьющиеся молодую кровью. Глаз ее теперь нельзя видеть, потому



что они закрыты длинными ресницами, но в институте, из которого она возвращается к домашним ларам, всегда говорили, что ни у кого нет таких прелестных глаз, как у Лизы Бахаревой»<sup>368</sup>.

А вот какова Мария в воспоминаниях Жуковской:

«Коптева отличалась необыкновенной оригинальностью. Очень умная, очень капризная, она по природе была зла. В институте большинство ее не терпело за высокомерные выходки. Очень немногие сходились с ней, и то как-то временно, большей частью те, кто легко подчинялся сильным, властолюбивым характерам, к которым бесспорно принадлежала Коптева.

Владея изумительной памятью и хорошими способностями, Коптева легко выучивала уроки и потому имела возможность посвящать много времени чтению книг. Правда, почти до самого выпуска она читала большей частью романы и главным образом переводные. Но к концу своего пребывания в институте мы уже бросили читать переводные романы и читали лучшие произведения отечественной беллетристики. Не говоря уже о Гоголе и Пушкине, которыми мы могли пользоваться в институтской библиотеке, мы доставали критические статьи Белинского и Добролюбова, печатавшиеся в «Современнике»»<sup>369</sup>.

Там, где Лесков проявляет терпение и симпатию, Жуковская фыркает и морщится. Мария Коптева в ее записках капризная, властная, непомерно требовательная к окружающим — у Лескова дурной нрав Марии оборачивается свободолюбием Лизы. Но и Екатерина Ивановна отмечает любовь Марии к чтению и жадность до людей, «которые помогли бы ей отыскивать истину и смысл жизни»<sup>370</sup>.

Лиза, как и Коптева, покинула семью, ограничивавшую ее свободу. Выходки истеричной Лизиной матери Лесков описывает с нескрываемой гадливостью. От такой невозможно не убежать. Назвал ее автор, как и супругу доктора Розанова, именем собственной жены: две Ольги в его романе — одна кошмарнее другой.

Остальное в облике Марии Коптевой и Лизы Бахаревой совпадает до мелочей: болезнь глаз, постоянные стычки со Слепцовым—Боярцевым, даже главная обязанность в коммуне — разливать «гражданам» чай. Еще любопытнее сходство самого духа описаний Знаменской коммуны Жуковской и Лесковым. И «Некуда», и «Записки» пронизывает ощущение, что все герои играют роли в дурной комедии.

В романе повествователь рассуждает о шутах, приставших к новым людям:

«На великое несчастье этих людей, у них не было во время силы отречься от приставших к ним шутов. Они были более честны, чем политически опытные, и забывали, что один Дон-Кихот может убить целую идею рыцарства. Так и случилось. Шуты насмешили людей, дураки их рассердили»<sup>371</sup>.

О неестественности и комедийности Дома согласия неоднократно говорит Лиза: «Здесь тоска, комедии и больше ничего»<sup>372</sup>. Китаец, заведенный в коммуны Белоярцевым, запутавшись, всё ждет, когда же начнется «театр», но представления нет и нет.

«Райнер встал и потащил с собою своего азиатского друга, ожидавшего все время театрального представления. Представление началось вскоре, но без посторонних зрителей»<sup>373</sup>.

Екатерина Жуковская повторяет те же идеи и даже слова — «шуты», «комедия», «театр»: «Вместо того чтобы привлекать людей удобствами жизни нашего союза, мы замкнулись в своем узком кружочке и *обратились в шутов, над которыми начинают смеяться* (здесь и далее курсив мой. — М. К.). Прислуга нас бросает; люди не хотят идти к нам; у нас скука, тоска, которые вам нужны для того, чтобы только все слушали здесь вас, а никого другого. <...> Мы бы должны принимать всякого, кто к нам просится, и действовать на его нравственность добрым примером и готовностью служить друг другу. Я полагала и все или многие так думали, что это так и будет, а вышло... вот эта *комедия*, разговоры, споры, заседания, трата занятых под общую поруку денег и больше ничего»<sup>374</sup>.

Белоярцев у Лескова фальшив, но и реального Слепцова Мария Коптева, по воспоминаниям Жуковской, обвиняет в неискренности: «Да перестаньте вы с вашими коммунистическими кривляниями! — вмешалась Коптева. — Мы уже разглядели, каких коммунистических начал вы держитесь, и потому поберегите ваши слова для тех, кого вы еще можете морочить!»<sup>375</sup>

Совпадают и описания финансовых неурядиц: далеко не все жильцы могут вносить деньги на аренду квартиры и питание; в результате Слепцову—Белоярцеву приходится

брать в долг у самой коммуны — это отмечают и Лесков, и Жуковская.

Слухи о безнравственности членов общины опровергаются и в «Некуда», и в «Записках», и в воспоминаниях Александры Григорьевны Маркеловой.

Слабость Слепцова к женскому полу отмечают и Лесков, и Маркелова, и Жуковская, но из воспоминаний последней явствует: обитательницы коммуны давали ему довольно жесткий отпор. Неудивительно, что Слепцов, судя по «Запискам», был раздражен толками обывателей о Доме: «Но, видите ли, мне сообщили, что про наше общежитие чёрт знает какие слухи распускают, о безнравственности нашей кричат... Признаться, я лично убедился в существовании этих сплетен, выслушивая весьма двусмысленные вопросы и намеки во всех посещаемых мною домах. Я всячески стараюсь разуверить, что у нас чистый монастырь, — не верят!»<sup>376</sup> В «Некуда» также опровергается нелепая молва:

«О нравах обитателей этого *Дома* рассказывались чудеса. <...> Копошась в бездне греховной, миряне, которых гражданский *Дом* интересовал своею оригинальностью и малодоступностью, судили о его жильцах по своим склонностям и побуждениям, упуская из виду, что “граждане Дома” старались ни в чем не походить на обыкновенных смертных, а стремились стать выше их; стремились быть для них нравственным образцом и выкройкою для повсеместного распространения в России нового социального устройства»<sup>377</sup>.

Лишь однажды Белоярцев, нарушая приличия, зайдет в комнату к Лизе полуодетым.

Авдотья Панаева также подтверждает, что в Знаменской коммуне царил целомудренный дух и не подавалось никаких угощений, кроме чая.

Тем забавнее, что спустя годы Лесков обвинит членов коммуны в разврате, которого, очевидно, не было. В письме Суворину от 30 ноября 1888 года он вспоминал о своей молодости:

«Весь тот период был сплошная глупость, имеющая для меня обязательное значение, — мягко и снисходительно относиться к молодой глупости юношей, какими были и мы. После того периода был петерб[ургский] период слепцовских коммун — “ложепеременного сна” и “утреннего чая втроем”. Вы ведь никогда не были развратны, а я и в этот омут погружался и испугался этой бездны!..»<sup>378</sup>

Судя по воспоминаниям Чехова, действительно погружался — только не на Знаменской улице, не в Доме. Однако каких красок не пожалеешь для создания образа глупой, развратной юности! Можно добавить и свальный грех социалистов.

В одном Лесков и мемуаристки заметно расходятся: последние не подтверждают скуку, приписываемую «знаменцам» автором «Некуда». Кажется, ни Жуковской, ни Маркеловой скучно не было, обитатели Дома легко находили, чем себя развлечь: у них читались лекции; их постоянно посещали гости, от Некрасова и Пыпина до Левитова и Николая Успенского; по вечерам не смолкали споры и разговоры. Но во всём остальном очертания коммун, вымышленной белоярцевской и реальной слепцовской, совпадают, а Лиза Бахарева — вылитая Мария Коптева. Из этого можно сделать три заключения.

Первое. Лесков действительно описывал своих знакомых и их жизнь. Если это были и не «фотографические снимки», то уж точно портреты с натуры.

Второе. Возможно, эксперимент со сравнением «Некуда» и написанных 40 лет спустя воспоминаний Екатерины Жуковской не совсем чист. Хотя ни одной ссылки на Лескова в «Записках» нет, можно предположить, что Жуковская зачитала роман до дыр и глядела на коммуны глазами его автора — отсюда и столько совпадений: к 1905 году ее воспоминания были «отформатированы» Лесковым.

Третье. Сам Лесков в том, что описал знакомых, не видел большой беды, а тем более доносительства. Его приятель, журналист Владимир Осипович Михневич, вспоминал:

«В то время, когда „Некуда“ печаталось в „Библиотеке для чтения“, случилось мне в Киеве быть в одном доме и встретиться там на тот раз с одним очень близким родственником покойного Н. С., которого тогда я лично, конечно, еще не знал и никогда не видал. Зашла речь о романе и его авторе, причем родственник Лескова полусерьезно, полушутливо, с родственной снисходительностью попрекнул его таким, как теперь помню, замечанием:

— Да что — пишет он хорошо; неладно только, что описывает всё своих же родных и знакомых, и со всей, так сказать, подноготной!

Когда гораздо позднее, познакомившись и сблизившись с покойным, я как-то в разговоре вспомнил и передал

ему эту родственную критику, он улыбнулся своей оригинальной манерой и возразил коротко и вполне резонно:

— А с кого ж нам списывать, как не с живых людей, которых всего ближе и лучше знаешь! Не из пальца же высасывают свои “типы” и великие мастера»<sup>379</sup>.

## Некуда деваться

Завершается путаный, а всё-таки талантливый роман неожиданно: после описания очередной мучительной сцены между доктором Розановым и снова нагрянувшей к нему женой Лесков внезапно переносит действие туда, где оно когда-то начиналась.

Снова бушует лето, зной спал, наступил вечер.

«Готовая к покосу трава тихо стояла окаменевшим зеленым морем; ее крошечные беспокойные жильцы спустились к розовым корням, и пестрые ужи с серыми гадинами, зачуйв вечернюю прохладу, ушли в свои норы. Только высокие будылья чемерицы и коневьего щавелю торчали над засыпающим зеленым морем, оставаясь наблюдать, как в сонную траву налетят коростели и пойдут трещать про свои неугомонные ночные заботы»<sup>380</sup>.

По вечернему лугу едет молодой купец Лука Никонович Маслянников. Именно ему назначено произнести под занавес программный монолог. Человек он солидный и предприимчивый:

«Схоронив три года тому назад своего грозного отца, он не расширял своей торговли, а купил более двух тысяч десятин земли у камергерши Меревой, взял в долгосрочное арендное содержание три большие помещичьи имения и всей душой пристрастился к сельскому хозяйству»<sup>381</sup>.

Лука — деятель, прожектор в лучшем смысле этого слова: хочет создать у себя в имениях пожарную команду, ремесленную школу, больницу.

«Чего доброго, нате вам, еще и театр заведем. Знай наших!» — мечтает он вслух. Зять отвечает ему с улыбкой: «Заведи, заведи, а наедет на тебя какой-нибудь писака, да так тебя отделает, что все твои восторги разлетятся», — после чего роман и вырывается на финишную прямую, несется по ней птицей-тройкой:

«— Ну как же, важное блюдо на лопате твой писатель. Знаем мы их — теплые тоже ребята; ругай других больше, подумают, сам, мол, должно, всех умней. Нет, брат, нас с дороги этими сочинениями-то не сшибешь. Им там сочиняй да сочиняй, а тут что устроил, так то и лучше того, чем не было ничего. Я, знаешь, урывал время, все читал, а нонче ничего не хочу читать — осерчал.

— Сердит уж ты очень бываешь, Лука Никонович!

— Я, брат, точно, сердит. Сердит я раз потому, что мнедохнуть некогда, а людям всё пустяки на уме; а то тоже я терпеть не могу, как кто не дело говорит. Мутоврят народ тот туда, тот сюда, а сами, ей-право, великое слово тебе говорю, дороги никуда не знают, без нашего брата не найдут ее никогда. Всё будут кружиться, и всё сесть будет некуда»<sup>382</sup>.

Вот где куется правда — не в писательских кабинетах, а в глубине России, на берегу реки Саванки, руками коренастого и основательного Луки Никоновича, который меняет этот мир на свой манер: с умом управляет помещичьими имениями, открывает ремесленную школу для сирот и больницу. Когда-то его отец не желал помочь Розанову с обустройством больницы, пожертвовав на ее нужды лишь халаты да фонарь; теперь всё изменилось. Молодые энергичные предприниматели, глубоко понимающие Россию, выдающие ссуды мужикам, могут своротить и русскую неподвижность, и русскую дичь, потому что знают не только *куда*, но и *как*.

Через два месяца после публикации последних глав «Некуда» Дмитрий Иванович Писарев вынес Лескову фактически смертный приговор. «Русское слово» в мартовской книжке за 1865 год опубликовало литературный обзор «Прогулки по садам российской словесности» — очередную часть большого цикла, в котором знаменитый публицист последовательно разделялся с идеологическими противниками: «почвенниками», единомышленниками недавно почившего Аполлона Григорьева, такими же «идеалистами» и «эстетиками». Разбуянившимся подростком Писарев шагал по садам российской словесности, сплевывал сквозь зубы, задирался, отдельных прохожих оделял тумками.

Досталось и покойному Григорьеву за ложные убеждения и ограниченный взгляд на искусство, и Писемскому за бесполезные для общественного блага романы, и Островскому с его «увядшим талантом», зачем-то начавшему сочи-

нять исторические пьесы, и многим другим ныне забытым авторам, публиковавшимся в «Эпохе» и «Русском вестнике», но особенно — Лескову и роману «Некуда». Сначала Писарев выбрал Лескова за попытку объясниться с читателем в декабрьском номере «Библиотеки для чтения» (1864), затем, как и многие до него, за то, что его карикатуры списаны с натуры.

«...с каким же умыслом г. Стебницкий превратил своих знакомых в натурщиков, с которых он копировал наружность своих “еще того хуже”? — вопрошал Писарев. — Если г. Стебницкий скажет, что это была приятельская шутка, то ему на это возразят, что это шутка глупая, плоская и дерзкая. Всего интереснее то, что сам же г. Стебницкий в конце своего романа произносит приговор над подобною шуткой. Извольте послушать: “Да, — говорит одна барыня, — представьте себе, у них живописцы работали. Ну, она на воротах назначила нарисовать страшный суд — картину. Ну, мой внук, разумеется, мальчик молодой... знаете, скучно, он и дал живописцу двадцать рублей, чтобы тот в аду нарисовал и Агнию и всех ее главных помощниц...” — “Всё это было бы смешно, когда бы не было так глупо”\*, — сказал за стулом Евгении Петровны Розанов. “Вестимо”, — отвечала хозяйка (“Библиотека для чтения”, декабрь, стр. 33). При этом надо заметить, что Розанов и Евгения Петровна — любимцы автора. Из-за чего же г. Стебницкий вламывался в журнал с своим “объяснением”? Зачем он оправдывался, когда он сам произнес над собою приговор? Ну да, именно. “Всё это было бы смешно, когда бы не было так глупо”. Хорошо! Но что, если рисование знакомых было совершенно затем, чтобы напакостить ближнему, чтобы отомстить за оскорбление или чтобы доставить плохому роману тот успех, который называется *tin succes de scandale*?\*? Что тогда? — Тогда, чего доброго, изречение Розанова придется переделать так: “всё это было бы смешно, когда бы не было так грязно”».

Роман уничтожен, его автор растоптан. Но и этого Писареву мало — вдруг восстанет и снова начнет писать, публиковаться! Этого допустить было нельзя.

И вот она — черная метка.

---

\* Искажённые строчки из стихотворения Лермонтова «А. О. Смирновой» (1840): «Всё это было бы смешно, / Когда бы не было так грустно».

\*\* Успех, обязанный скандалу (*фр.*).

«Меня очень интересуют следующие два вопроса: 1) Найдется ли теперь в России — кроме “Русского вестника” — хоть один журнал, который осмелился бы напечатать на своих страницах что-нибудь, выходящее из-под пера г. Стебницкого и подписанное его фамилиею? 2) Найдется ли в России хоть один честный писатель, который будет настолько неосторожен и равнодушен к своей репутации, что согласится работать в журнале, украшающем себя повестями и романами г. Стебницкого? — Вопросы эти очень интересны для психологической оценки нашего литературного мира»<sup>383</sup>.

Все эти безжалостные напутствия знаменитого критика, по счастью, не сбылись, хотя репутация автора, едва ступившего на литературную стезю, была действительно уничтожена на долгие годы. «Двадцать лет кряду, — писал Лесков в статье «О шепотниках и печатниках», — такое же гнусное оклеветание нес я, и оно мне испортило немного — *только одну жизнь...*»<sup>384</sup> Узнав, что в гостях ожидается Лесков, многие отменяли посещение. «При моем появлении в обществе люди брали шапки и уходили вон; в ресторанах нарочно при мне ругали автора “Некуда”»<sup>385</sup>. «Руган и оклеветан», — писал и говорил Лесков по разным поводам на протяжении всей жизни<sup>386</sup>.

И никак не мог отпустить свое несчастное детище.

Он возвращался к «Некуда» снова и снова, пытаясь объясниться с читателями, уточнить, что на самом деле имел в виду\*. Каждая новая версия несколько отличалась от предыдущих.

В самом первом «Объяснении», напечатанном сразу по завершении публикации романа, Лесков утверждал, что «все лица этого романа и все их действия есть чистый вымысел, а видимое их сходство (кому таковое представляется) не может никого ни обижать, ни компрометировать»<sup>387</sup>. На самом деле, наоборот, и лица мгновенно узнаваемы, и саркастические портреты очень обидны для прототипов.

В зрелые годы он всё же признал, что «роман представляет многие действительные события, имевшие в свое

---

\* Письменно Лесков высказывался по поводу романа в опубликованном в «Библиотеке для чтения» (№ 12 за 1864 год) «Объяснении (По поводу романа “Некуда”）」, в подарочной надписи П. К. Щербальскому от 18 апреля 1871 года, в письме И. С. Аксакову от 9 декабря 1881 года, в упомянутой статье «О шепотниках и печатниках» (1882), в «Авторском признании» (1884), в письме М. А. Протопопову от 23 декабря 1891 года.



время место в некоторых московских и петербургских кружках»<sup>388</sup>, и что это отчасти «исторический памфлет», в котором он «описал слишком близко действительность»<sup>389</sup>. В одном из последних его высказываний о романе, зафиксированном писателем и литературоведом А. И. Фаресовым, уже и вовсе нет никакого смущения — только спокойная писательская гордость: «А романом “Некуда” я горжусь и считаю его в русской литературе самым верным романом о 60-х годах. Теперь, стариком, я удивляюсь, как это меня хватило разобраться в то горячее время и безошибочно предсказать, на какой почве выросли нигилисты и чем они кончат. Но у меня всё-таки есть свои Райнеры и Бахарева, которых не купишь ничем. В русской литературе я один дал таких верных людей, а меня за них десятки лет позорили и инсинуировали»<sup>390</sup>.

В самом конце жизни в интервью театральному критику и журналисту Виктору Протопопову Лесков сделал еще одно признание: «Первый свой серьезный труд — “Некуда” — я написал, повинувшись какой-то органической потребности протестовать против злоупотреблений идеею свободы, что тогда практиковалось многими»<sup>391</sup>.

Как видим, Лесков до конца жизни продолжал отстаивать «Некуда», потому что был убежден: роман этот не сводится к «тенденции», в нем действительно скрывалось много иного, замечательного — от русских пейзажей и картин провинциальной жизни до прозрений о будущем России, от матушки Агнии и староверов до симпатичных нигилистов. Но всё это совершенно померкло на фоне «снимков».

Эхо общественного негодования звучало после выхода «Некуда» еще несколько лет. Новое оживление вызвало отдельное издание романа в 1867 году, и до начала 1870-х журналы не могли утомиться. В 19-м номере «Искры» за 1871 год Лесков вновь появился в шарже Дмитрия Минаева «Некуда деваться» с саморазоблачительным признанием, что сблизиться с «левой стороной» теперь не может:

Нет, нет, давно решен вопрос,  
Что с ней сближенье мне закрыто.  
Мое оружие — донос,  
И клевета — моя защита.  
Для исправленья прошлых бед,  
Сильна вражда меж нашим братом,  
И вот мой искренний ответ:  
Иуда сблизится с Пилатом,  
Но с Тем, Кого он предал, — нет!<sup>392</sup>

Постепенно гневный шум утих и как будто совершенно растворился вместе с эпохой. И всё же осадочек остался навсегда.

Многие не простили Лескову «Некуда» и после его смерти. И даже в самый день ее, 30 лет спустя после выхода романа в свет, могли спокойно произнести, как, например, журналист и народник, сотрудник издательства «Посредник» Лев Никифоров: «Хорошо сделал, что умер»<sup>393</sup>.

В середине 1870-х — начале 1880-х годов Лесков попытался написать продолжение «Некуда» — роман «Соколий перелет». «Я хочу показать, где русские передовые люди поднялись и где они сели»<sup>394</sup>, — говорил он, обращаясь к той же метафоре, которой завершалась финальная сцена «Некуда». Но работа так и не была завершена:

«В романе я хотел изобразить “перелет” от идей, отмеченных мною двадцать лет назад в романе “Некуда”, к идеям новейшего времени. Каков бы показался в этом общественном значении роман “Соколий перелет”, я не знаю; но я хорошо знаю, что он не пошел бы в тон нынешнему взгляду на литературу, и во что бы то ни стало я останавливаюсь. Останавливаюсь просто потому, что — верно или неверно — я нахожу эту пору совершенно неудобною для общественного романа, написанного правдиво, как я стараюсь по крайней мере писать, не подчиняясь ни партийным, ни каким другим давлениям»<sup>395</sup>.

В итоге послесловием к «Некуда» оказался роман «На ножах», который и стал «страшной мезьей» Лескова обидчикам. Правда, сам он это отрицал и в разгар работы над романом писал Суворину, что мошенничество примкнуло к нигилизму так же, как примыкает к любым другим направлениям, но не было его следствием:

«Я не мшу нигилизму за клевету мерзавцев и даже не соединяю их воедино в моей голове. Я имею в виду одно: преследование поганой страсти приставать к направлениям, не имея их в душе своей, и паскудить всё, к чему начнется это приставание. Нигилизм оказался в этом случае удобным в той же мере, как и “идеализм”, как и “богословие”, — в этом Вы правы»<sup>396</sup>.

Пока же, в середине 1864 года, он был раздавлен — и тем, что выход апрельской и майской книжек «Библиотеки для чтения» задержан цензурой из-за «Некуда» (печатание

было разрешено только после внесения правки, 20 июня), и поднимающейся волной проклятий в его адрес.

На тернистый, но до сих пор всё-таки достаточно ровный литературный путь Лескова упала бомба. Взрыв потряс его и казался необъяснимым. Под ногами темнела бездна. Как перескочить ее? От «пожарной» истории он бежал в Беловежскую Пущу, потом в Париж — и исцелился. На этот раз, сразу после цензурного разрешения публикации романа, Лесков отправился в Киев, к родным: отсидеться, отдышаться, погулять на Подоле, пройти по Андреевскому спуску. Он прожил в Киеве около полугода, до февраля 1865-го. Именно в это время в жизни его случилось событие чрезвычайной важности.

Перемахнуть бездну помогла любовь. Он встретил, наконец, свою Полиньку Калистратову.

---

## Глава пятая

### МАСТЕР

*Из-за угла тихо выехала спрятанная там, по деликатному распоряжению исправника, запряженная тройкой почтовая телега.*

*Протопоп поднял ногу на ступицу и взялся рукою за грядку, в это время квартальный подхватил его под локоть снизу, а чиновник потянул за другую руку вверх... Старик гадливо вздрогнул, и голова его заходила на шее, как у куклы на проволочной пружине.*

*Наталья Николаевна подскочила к мужу и, схватив его руку, прошептала:*

*— Одну только жизнь свою пощади!*

*Туберозов отвечал ей:*

*— Не хлопочи: жизнь уже кончена; теперь начинается «житие».*

Н. С. Лесков. Соборяне

### ОХОТНИК

Алексей Семенович Лесков, давно окончивший Киевский университет и служивший в университетской клинике, взялся за реабилитацию старшего брата решительно. На второй же день повез его по окрестным помещикам. Доктора Алексея Лескова все знали, почитали и кормили вместе с Мыколой, нагрянувшим из столицы, с особенным благодушием и дружелюбием.

Петровка как раз закончилась, разговлялись с дорогими гостями мандырками, сичениками\*, а там уж и борщом. «Вы не думайте, — заверяли хозяин за обедом, — це не абы який борщ, вин из четырнадцати элементов». После борща передохнуть не давали и действовали прямо по «Энеиде»

---

\* М а н д ы р к и — лепешки из сыра с мукой и яйцами, которыми в Малороссии разговлялись после Петровского поста. С и ч е н и к и — мясные или рыбные лепешки, обжаренные в панировке.

Котляревского: переходили к печеной свинине, от нее — к потрохам и галушкам.

Борщ с бураками, и галушки,  
И потроха в горячей юшке,  
Отведали и каплунов,  
И запеченную свинину,  
С пшеничной бабой солонину\*...

Всё это благолепие запивали бузиным киселем и полировали горилкой и наливкой попеременно.

Николай Семенович начал отходить. Петербург, злой, неистовый, со сквозными ледяными ветрами, истаял в смешливом малороссийском гостеприимстве.

К очередным добрым знакомым Алексея он отправился один. Это был пригород Киева, Китаево. Здесь жила на летней даче Екатерина (на малороссийский манер все ее звали Катерина) Степановна Бубнова вместе с младшей сестрой Верой и своими детьми от шести до трех лет — Николаем, Михаилом, Борисом и Верочкой.

Стоял жаркий июльский день.

«Около полудня, сидя верхом на линейке\*\*», запряженной взмыленной лошастью, лихо въезжает во двор и круто осаживает коня у крыльца Лесков. Он в фуражке, пиджачной “паре”, высоких охотничьих сапогах. За спиной у него болтается на широком ремне двустволка.

Привязав к чему-то лошадь, он приветливо улыбается игравшим здесь, но сейчас застывшим в любопытстве детям. На веранде появляются обе молодые и красивые хозяйки. Гость заметно волнуется, то и дело одергивает свое ружье, на широком жесте начинает какой-то веселый рассказ из последних столичных событий и городских киевских сплетен. Женщины смеются. С ним вообще не соскучишься! Не отходят и жадно слушающие дети.

Время незаметно бежит. Пора, пожалуй, и уезжать. Хозяйки просят остаться до хлеба-соли. Лесков благодарит, выпрягает лошадь, со знанием дела водит ее по двору, поит, задает корм и освобожденно снова присоединяется к обществу. Обед проходит весело. Еще бы! Мастер заговорить кого хочешь!

Но вот, вслед за десертом, он вдруг схватывает забытую было в углу двустволку, к ужасу непривычных к оружию

---

\* Перевод с украинского И. Бражниина.

\*\* Л и н е й к а — вид повозки, длинные дрожки.

дам, прилаживает к воротам сарая вынутую из кармана четвертушку бумаги и, невзирая на мольбы хозяек, зорко окинув глазом весь двор, начинает высаживать один за другим заряды в свою импровизированную мишень. Мальчики в восторге. Мать их и тетка упрашивают прекратить опасный эксперимент, но увлеченный стрелок не в силах остановиться. Наконец, усталый, красный и в испарине, он изнеможенно опускает ружье, одним взмахом скидывает его опять за спину и гордо подходит к потрясенным зрителям.

Наступает приятная тишина. Хочется отдохнуть от пальбы. Но тут же неугомонный стрелок выдвигает неожиданно новое предложение:

— Катерина Степановна, Вера Степановна! Едем в лес! На моем аргамаке! Едем! Подышим смолой, какой смолой! Янтарь! Что может быть полезнее вдыхания сосновой смолы, — при этом он шумно вдыхает воздух, широко раздувая ноздри, прерывисто закрываемые им ладонями рук. — А уж какая там земляника, — тщетно умножает он соблазны, не зная, что бы придумать еще позаманчивее»<sup>397</sup>.

Такого Николая Семеновича — ловкого кучера, меткого стрелка и шармёра — мы еще не видели. Он экипировался для охоты, словно нарочно для того, чтобы иметь повод расстаться с милыми хозяйками, если знакомство не сложится. Кого собирался он стрелять в окрестных лесах? Андрей Николаевич Лесков, из книги которого и позаимствовано это описание, спешит заверить читателя, что всё так и было, поскольку записано со слов одной из участниц событий: «Так доводилось слышать это в бесхитростном рассказе моей матери, человека, органически чуждого дара импровизации в передаче каких бы то ни было происшествий.... А уж о том, что каждая мелочь этих дней помнилась хорошо, говорить нет нужды»<sup>398</sup>.

Екатерина Степановна Бубнова (1838—1901), в девичестве Савицкая, была красавица: брюнетка с васильковыми глазами, способными «по-украински улыбаться без участия губ»<sup>399</sup>, с тонкими чертами лица и малороссийской статью. Ей исполнилось 25 лет. Она получила отличное домашнее образование: владела французским, играла на фортепьяно и была влюблена в русскую литературу, знала наизусть оды Державина, Ломоносова, даже Хераскова, не говоря уже про Пушкина и Лермонтова, Тютчева и Фета<sup>400</sup>.

Ее рано выдали замуж за Михаила Николаевича Бубнова, состоятельного киевского купца, владельца бань на Подоле, любителя шумных компаний, карт и вина, человека не злого, но совершенно заурядного<sup>401</sup>. После пирушек

с певцами и актерами Михаил Николаевич возвращался домой поздно и спал в своей комнате полдня, оглашая дом таким храпом, что дети боялись проходить мимо его двери. Супруги часто ссорились. Рожденные в браке четверо детей — трое мальчиков-погодков и дочь — союза не укрепили. После ссор Екатерина Степановна уезжала на несколько дней к родственникам. Наконец она решила уйти совсем.

Эту недавно расставшуюся с супругом киевскую красавицу и встретил Лесков.

Как видно, его новая знакомая была не только хороша собой, но и с характером — через шесть лет несчастливой брака решилась на разрыв, а вскоре после этого сумела оформить над мужем опеку и получить материальную независимость.

Ее старший сын Николай Михайлович Бубнов (1858—1943), будущий филолог и историк европейской средневековой науки, профессор Санкт-Петербургского и других российских университетов, а после эмиграции — Люблянского, рассказывал о своей первой встрече с Лесковым иначе. Возможно, он просто не помнил летнего приезда на дачу, что легко объясняется его юным на ту пору возрастом, если только не ошибкой памяти Екатерины Степановны. По воспоминаниям Николая Бубнова, он впервые встретился с Лесковым в их киевском доме:

«Однажды, войдя вечером в нашу освещенную залу, я увидел там, кроме своих, еще двух неизвестных мне до сих пор людей. Один из них стал мне потом известен как киевский врач Алексей Семенович Лесков, с которым мои родители могли быть старыми знакомыми; другой был человек приезжий, который был введен в наш дом первым. Он был брат первого, а именно начинающий в то время писатель Николай Семенович Лесков. И до сих пор носится в моей памяти, как на полотне фильма, его наружность, которую он имел в то время, и его фигура. У него были темные волосы, которые были причесаны с пробором. Бакенбарды и небольшая бородка окаймляли его живое, энергичное и приятное лицо. Оно было, как известно, характерным. Это был чистый великорусский тип. Сравнительно с своим братом Алексеем и моим отцом он был среднего роста, плотный, но не толстый»<sup>402</sup>.

По свидетельству А. Н. Лескова, его мать была совершенно чужда «тому, чему много лет спустя присвоили чужеземное понятие — “флирт”», и полюбила Лескова искренне и на всю жизнь. К неизбежным трудностям оба были готовы. Понятно, что, решившись на союз с матерью

четверых детей, Лесков проявил немалую отвагу и, очевидно, был всерьез влюблен.

Зимой 1864/65 года они приняли решение ехать в Петербург, чтобы жить там вместе. А незадолго до того, в ноябре, случилось событие не менее знаменательное: Лесков написал свой первый шедевр — очерк «Леди Макбет Мценского уезда». Нашего читателя ждет довольно подробный разбор этого очерка. Дотошность эта объясняется просто: в «Леди Макбет...» Лесков окончательно нащупал свой творческий метод, который применял потом неоднократно. Нет лучшего повода разобрать этот метод, чем выход в свет очерка о серийной убийце Мценского уезда.

### На пути к совершенству

Не забудем, Лесков писал эту «небольшую работку» очарованным и влюбленным. Он ездил в дом к Бубновым и ухаживал за Екатериной Степановной. Главную героиню очерка звали так же — возможно, никакие другие женские имена не шли в ту пору Лескову на ум. Катерина Львовна из очерка всего на год младше своей тезки, тоже брюнетка с тонкими чертами лица, разве что глаза у нее темные, а не синие... Стоп. Остановимся на осторожном предположении: очерк «Леди Макбет Мценского уезда», вероятно, недаром получился таким живописным и чувственным, живые краски буквально стекают с него, он так и сочится любовной негой. Чернокудрый Сергей, прижавший твердую грудь молодой хозяйки к своей красной рубашке; ее жаркие плечи; его горячая ладонь под ее головой — Лесков не скупится на приметы молодой жадной страсти, расцветающей на фоне весенней природы, колдовской золотой ночи, сыплющей бледно-розовый яблоневого цвета под далекую песню, сонный бред перепела и шелк соловья: «Дышалось чем-то томящим, располагающим к лени, к неге и к темным желаниям»<sup>403</sup>.

Последствия темных желаний оказались чудовищными: Катерина Львовна отравила свекра мышьяком, нелюбимого мужа вместе с Сергеем убила, отрока Федю Лямина, ненужного наследника, задушила подушкой. «А я вот, когда писал свою “Леди Макбет”, — вспоминал Лесков много лет спустя в беседе с Крестовским, — то под влиянием взвинченных нервов и одиночества чуть не доходил до бреда. Мне становилось временами невыносимо жутко, волос поднимался дыбом, я застывал при малейшем шорохе, который



производил сам движением ноги или поворотом шеи. Это были тяжелые минуты, которых мне не забыть никогда. С тех пор избегаю описания таких ужасов»<sup>404</sup>. Он действительно ненавидел одиночество, боялся его, в более поздние годы у него были галлюцинации: черные и зеленые человечки являлись ему и наводили ужас<sup>405</sup>.

«Очерк» — именно такой подзаголовок дал автор «Леди Макбет...». Но какой же это очерк? Очерк предполагает документальную основу, а здесь — явный вымысел. Лесков вступает с читателем в игру, заверяя, что излагает подлинные события. С этого заверения и начинается рассказ:

«Иной раз в наших местах задаются такие характеры, что, как бы много лет ни прошло со встречи с ними, о некоторых из них никогда не вспомнишь без душевного трепета. К числу таких характеров принадлежит купеческая жена Катерина Львовна Измайлова, разыгравшая некогда страшную драму, после которой наши дворяне, с чьего-то легкого слова, стали звать ее *леди Макбет Мценского уезда*»<sup>406</sup>.

Введение фигуры рассказчика, свидетеля событий; реальная географическая координата — Мценский уезд; наконец, подробный портрет Катерины Львовны — всё это должно убедить читателя, что он погружается в *реальную* страшную драму. Рассказчик, видимо, принадлежит к купеческому или мещанскому сословию, это дает Лескову возможность сделать более простонародной его речь и круг культурных ассоциаций:

«Катерина Львовна не родилась красавицей, но была по наружности женщина очень приятная. Ей от роду шел всего двадцать четвертый год; росту она была невысокого, но стройная, шея точно из мрамора выточенная, плечи круглые, грудь крепкая, носик прямой, тоненький, глаза черные, живые, белый высокий лоб и черные, аж досина черные волосы»<sup>407</sup>.

Это почти казенный язык протокола, таким полицейские составляют словесные портреты\* — автору необходи-

---

\* Ср. у Пушкина в «Дубровском»: «Приметы Владимира Дубровского, составленные по сказкам бывших его дворовых людей. От роду 23 года, роста среднего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. Приметы особые: таковых не оказалось» (Пушкин А. С. Дубровский // Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 5. М., 1960. С. 192).

мо заверить читателя: она существовала. Всё так и было! «Я всегда люблю основывать дело на живом событии, а не на вымысле»<sup>408</sup>, — замечал Лесков уже годы спустя после написания «Леди Макбет...». И тут мы сталкиваемся с любопытной проблемой: в системе его ценностей вымысел всегда уступает жизни. Литература, романное повествование «искусственно и неестественно», и уж если берешься за перо, подражай жизни с ее непредсказуемостью, невыстроенностью, неправильностью, ни в коем случае не пиши так, чтобы всё было «точно, как в романе»<sup>409</sup>.

Но почему же мы называем всё это литературной игрой, если описанная в «Леди Макбет...» «страшная драма» вполне могла разыгаться на самом деле? Вот и сын писателя утверждал: «Фабула рассказа несомненно не выдумана. Лесков вообще, где и в чем только мог, предпочитал строить свои повести на подлинных фактах. Он мог легко услышать о близком к его “Макбет” происшествии в одной из бесчисленных поездок его по Поволжью, по России — “от Черного моря до Белого и от Брод до Красного Яру”. Мог слышать и от отца — орловского уголовного заседателя, а то и узнать нечто близкое и из дел Орловской уголовной палаты, в которой он начал свою личную службу»<sup>410</sup>.

Мог, конечно, слышать и от отца, и в поездках. Но, скорее всего, не слышал. Документальные источники очерка так и не были обнаружены, несмотря на то, что изучали его достаточно. В Орловской губернии, к которой принадлежал Мценский уезд, ничего похожего в первой половине XIX века почти наверняка не происходило: тройное убийство, совершённое женщиной, — случай беспрецедентный. Такая громкая история неизбежно должна была вызвать шумный резонанс, тем более при тогдашней увлеченности общества женским вопросом. Но ни в столичных газетах, ни в просмотренных нами насквозь «Орловских ведомостях» за 1838—1864 годы, публиковавших криминальную хронику, ни в делах Орловской палаты уголовного суда указаний на подобные преступления нет.

В воспоминаниях Лескова есть лишь одна история, отдаленно напоминающая сюжет «Леди Макбет...», которую комментаторы и называют возможным источником очерка: «Раз одному соседу — старику, который “зажился за семьдесят годов” и пошел в летний день отдохнуть под куст черной смородины, — нетерпеливая невестка влила в ухо кипящий сургуч... Я помню, как его хоронили... Ухо у него отвалилось... Потом ее на Ильинке (на площади) “па-

лач терзал". Она была молодая, и все удивлялись, какая она белая...»<sup>411</sup> Здесь два сюжетных пересечения с событиями «Леди Макбет...»: убийство зажившегося свекра и наказание преступницы. Но причины реального преступления неизвестны. Обладал ли старик обширным наследством, которого заждалась его невестка, или же он просто замучил ее — ограничивал свободу, ворчал либо даже сам ее домогался, мы не знаем. И оснований возводить «Леди Макбет...» к этой истории у нас немного.

Разве что способ убийства мог вызвать у Лескова определенные литературные ассоциации. Сургуч, влитый в ухо, напоминает сцену убийства отца шекспировского Гамлета: Клавдий влил яд в ухо своему брату, датскому королю, пока тот спал, а орловская невестка влила сургуч в ухо свекру, когда он «отдыхал». Избранный ею способ убийства мог не столько подтолкнуть Лескова к замыслу «Леди Макбет...», сколько вызвать шекспировскую ассоциацию. Заодно автор напоминал читателю, что и в захолустном Мценском уезде могут разыграться шекспировские страсти, и приводил еще один аргумент в споре, начатом в романе «Некуда» доктором Розановым и помещиком Зарницыным, о том, возможны ли драмы в недворянской среде<sup>412</sup>.

Придумать звучное заглавие для Лескова всегда было делом писательской чести. Ссылка на Шекспира превратила название очерка в оксюморон и стала цеплять внимание. В итоге шекспировский текст послужил для Лескова литературным фоном, придающим происходящему в скромном Мценском уезде универсальный смысл<sup>413</sup>.

Другой очевидный литературный источник лесковско-го заглавия — «Гамлет Щигровского уезда» Тургенева<sup>414</sup>. Еще один хрестоматийный текст, с которым Лесков вступает в диалог, — драма «Гроза» Островского; сопоставление двух Катерин, Измайловой и Кабановой, давно стало темой школьного сочинения<sup>415</sup>.

Лесков опирался и на фольклорный пласт: лубочные истории и народные песни<sup>416</sup>. «Красивый молодец» Сергей неспроста зашел к Катерине Львовне узнать, нет ли у нее «книжечки почитать». Более неудачный повод выдумать было невозможно — у нее в доме одна-единственная книжка, «Киевский патерик», но и ту она не читает. А вот Сергей читает, и в общем понятно, что именно: он то обещает занести Катерину Львовну в «Аравию счастливую», то грозит вырезать из своей груди сердце «булатным ножом» и бросить к ее ножкам, — так выражаются герои лубочных

любовных романов и жестоких романсов. Ей на эти потоки красноречия, сотканные из штампов, ответить нечем. В отличие от Сергея она пришла *ниоткуда*, ей не близки традиции купеческого быта<sup>417</sup>, но незнакома и мещанская культура, поэтому она не в состоянии понять, насколько неоригинальны страстные признания Сергея. Вообще, если взглянуть на эту пару сквозь призму романтической парадигмы, Катерине достается роль человека «естественного», Сергею — «цивилизованного»; вот только высокий романтический конфликт здесь, как и в «Житии одной бабы», помещен в контекст народной культуры. Перед нами леди, но — Мценского уезда.

Только вот в «Житии одной бабы» влюбленные говорят на одном культурном языке, Степан запекает, Настя подхватывает, и это — залог их душевного родства. В «Леди Макбет...» ничего подобного нет. Там, где у Сергея готовая формула, расхожий образ, у Катерины Львовны — неокультурная искренность, ее собственное, от сердца идущее слово. Не случайно именно она тонко чувствует красоту природы — Сергей к природе равнодушен. В «золотую» ночь Катерина Львовна «всё смотрела сквозь бледно-розовые цветы яблони на небо», молча, восхищенно, а Сергей в это время «сосредоточенно глядел на свои сапожки»<sup>418</sup>. Месяц, висящий над ночным садом, будто бы выкатился из только что виденного Катериной страшного сна.

Возможно, опора Лескова на фольклорную культуру, лубочную и песенную, определила изящество конструкции текста: словно песня, он переполнен внутренними рифмами и смысловыми переключками. Вот только несколько примеров.

Красный — сквозной цвет «Леди Макбет...». «Первую песенку зардевшись спеть» — эпиграф к повести. При первой встрече с Сергеем Катерина Измайлова отвечает на его свободные речи «краснея», а после того как Сергей обнял ее, выходит из амбара «красная-раскрасная»<sup>419</sup>. Сергей носит красную рубашку. После этого на протяжении всего очерка Катерина покраснела от смущения лишь однажды, когда служанка сказала ей, что видеть месяц во сне — к рождению младенца. Первую песенку сменили следующие.

Здесь прием обнажен. Значительно чаще Лесков ограничивается намеком — например, в сцене убийства мужа Катерины Львовны присутствуют два на первый взгляд необъяснимых обстоятельства. Зиновий Борисович, до которого уже дошли неприятные слухи, возвращается до-

мой тайком, надеясь застать у жены Сергея. Но Катерина Львовна расслышала его шаги и успела спрятать любовника в доме. После неприветливой встречи с мужем она пошла ставить самовар. Ее не было около получаса, и Зиновий Борисович попенял: «Что ты там возилась долго?» — после чего намекнул, что прекрасно осведомлен, как жена проводила время без него, и пригрозил наказанием. Раздраженная Катерина Львовна вызвала прятавшегося Сергея и «страстно поцеловала» его на глазах у мужа, явно желая посмеяться над Зиновием Борисовичем. Сергей начал его душить, а Катерина добила литым подсвечником.

Когда труп был отнесен в погребок, Катерина Львовна начала отмывать кровавое пятно на полу в спальне. «Вода еще не остыла в самоваре, из которого Зиновий Борисыч распаривал *отравленным чаем* (курсив мой. — М. К.) свою хозяйскую душеньку, и пятно вымылось без всякого следа», — сообщает рассказчик. Чай, которым потчевала мужа Катерина, был ею отравлен! Вероятно, тем же крысиным ядом, которым до этого она отравила свекра. Вот почему она «возилась долго». У Зиновия Борисовича не было шансов, он и так скоро скончался бы — крысиный яд действует быстро. Но Катерина Львовна не захотела ждать, позвала Сергея и вовлекла его в убийство. Маловероятно, что так она желала сделать любовника соучастником преступления, разделить с ним ответственность за убийство. Чтобы всё это сообразить, надо уметь анализировать, а это не про Катерину Львовну — она человек порыва и действия, опережающего мысль. Она просто страшно разгневалась и решила убить мужа немедленно, а перед этим унижить его, постылого, побольнее отомстить ему за угрозы и за всю свою унылую бездетную жизнь. Лесков лишь мимоходом отметил значимую деталь (отравленный чай), однако никак не прокомментировал ее, предоставляя читателю самому улавливать намеки.

Еще одна смысловая рифма связана с убийством Феди Лямина. Отрок, постепенно поправляющийся от болезни, лежит в постели, читает житие своего святого покровителя, мученика Феодора Стратилата, и восхищается, как тот угождал Богу. Глядя на больного мальчика, Катерина Львовна вновь думает о проверенном способе убийства — отравлении: «Только всего и скажу, что лекарь не такое лекарство потрафил»<sup>420</sup>. Но она снова не хочет и не может ждать — уже не от гнева и ненависти, а потому что последний стыд потерян и соблюдать приличия не кажется ей нужным.

За несколько минут до убийства, во время беседы с мальчиком, Катерина Львовна почувствовала, как «собственный ребенок у нее впервые повернулся под сердцем, и в груди у нее потянуло холодом. Постояла она среди комнаты и вышла, потирая стынувшие руки»<sup>421</sup>. В другой ситуации и другой женщине это событие скорее всего показалось бы трогательным, важным; для Катерины Львовны шевеление ребенка в чреве оказывается досадной помехой на пути к задуманному. Но едва помеха исчезает, она зовет Сергея для совершения злодейства.

Бабушка Федя ушла ко всенощной под Введение во храм Божией Матери. На этой службе, как и во время других праздников, посвященных Богородице, читается отрывок из Евангелия от Луки (Лк. 1:39—49, 56) о встрече Девы Марии с Елизаветой. Обе женщины беременны: Мария — Иисусом Христом, Елизавета — Иоанном Крестителем. «Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем» — именно этот отрывок зачитывал священник в церкви на всенощной. Лесков, вероятно всего, сознательно срифмовал две сцены — евангельскую и ту, что случилась в Мценском уезде, — разметив таким образом координаты, верх и низ.

Встреча ликующих Марии и Елизаветы, каждая из которых ожидает рождения сына, — верхний полюс. Физический холод, испытанный Катериной Львовной, когда ребенок шевельнулся в ее чреве, — нижний. Федя Лямин удушен именно в тот вечер, а возможно, и в те минуты, когда на всеношном бдении вспоминался эпизод о встрече двух святых жен. Бездна падения Катерины Львовны на этом фоне становится еще страшнее.

Вскоре после убийства свекра Катерине Львовне дважды является во сне странный кот — «славный, серый, рослый да претолстый-толстый»<sup>422</sup>: в первый раз он настойчиво ластится, во второй говорит с ней от лица отравленного Бориса Тимофеевича, который упрекает невестку в связи с Сергеем.

Кошек очень любили русские сказочники и песельники. Кот — персонаж в русской мифологии многозначный<sup>423</sup>: он — житель двух миров, здешнего и потустороннего, он

связан с браком (у Пушкина в сцене гадания «Милей кошурка сердцу дев»); увидеть кота во сне, согласно толкователю Мартыну Задеке, — к разрушению брака. В других славянских поверьях кот может предвещать смерть младенца. Отголоски всех этих примет и поверий легко обнаружить и в сюжете «Леди Макбет...». И всё же у Лескова кот — в первую очередь персонификация совести Катерины; ничего подобного мы не найдем ни в одном из поверий. Лесков мог сам наградить кота такой неожиданной функцией, а мог использовать другие источники. Какие? Чтобы ответить на этот вопрос, надо заглянуть в ближайший литературный контекст очерка «Леди Макбет...».

Нас ждет немало поучительных открытий.

### Собрать все книги бы...

Сочиняя очерк и отчасти стилизуя его под лубочную повесть, Лесков внимательно читал не только Шекспира и русские народные песни, но и периодику 1860-х годов. Взгляд на «Леди Макбет...» под этим углом зрения приносит неожиданные результаты: этот лубок или жестокий романс в народном духе оказывается необыкновенно злободневным текстом, впитавшим множество актуальных тем.

Первая и самая очевидная — «женский вопрос». В России обсуждение прав женщин начал в цикле статей 1860 года в журнале «Современник» публицист Михаил Ларионович Михайлов, отстаивавший гендерное равенство в обществе и семье<sup>424</sup>. Разумеется, интерес к судьбе женщины в русском обществе начал обостряться уже в 1840-е годы, на пике популярности романов Жорж Санд: тогда были написаны «Деревня» (1846) Григоровича о рабской жизни крестьянки Акулины и «Полинька Сакс» (1847) Александра Дружинина, поднимающая вопрос о возможности свободной любви для женщины. И всё же лишь в 1860-е «женский вопрос» вошел в активную фазу.

Тут было о чем задуматься и что обсудить. Лесков писал об этом постоянно, и хотя бы поэтому нам придется сделать неизбежное отступление о положении женщин в России.

У женщин, даже из привилегированного дворянского сословия, почти не было прав. Например, девушкам почти нигде было учиться, и подавляющая часть получала образование дома, занимаясь с приглашенными учителями в первую очередь французским языком, музыкой и русской

грамматикой, а при любви к чтению черпая знания еще и из книг. Немногие родители решались отправить дочерей в Институт благородных девиц — Смольный в Петербурге, Екатерининский или Елизаветинское училище в Москве. Режим там был строгий, учиться предстояло много лет, видиться с родственниками позволяли, но домой не отпускали даже на каникулы; в результате воспитанницы из далеких губерний не виделись с родными годами.

Уехав из дома девятилетними девочками, они возвращались взрослыми девицами. Так что вполне можно понять счастливую суматоху родных, сопровождавшую в романе «Некуда» возвращение Лизы Бахаревой и Женни Гловацкой из института — скорее всего, Екатерининского: в Елизаветинское училище поступали по преимуществу дочери военных, а отец Женни был штатским. Девушки оказались в родных пенатах спустя долгие годы. В романе «Отцы и дети» разлука Аркадия и Николая Петровича (не оттуда ли позаимствовал Лесков начало для «Некуда»?) была намного короче.

В институте Женни и Лизу держали, по выражению Лизиней тетки, суровой игуменьи Агнии, «как в парнике», так что на белый свет они глядели «сквозь покрашенные окна»; с практической жизнью их образование связано было весьма отдаленно. Но не только в этом заключалось дело: несколько воспитательных учреждений для благородных девиц никак не решали проблемы женского образования в России.

Женские гимназии стали появляться лишь на рубеже 1850—1860-х годов. В российские университеты, и то лишь на правах вольнослушательниц, женщин допустили только в 1859 году, а первые учебные заведения, дающие девушкам высшее образование, открылись в 1872 году в Москве — Высшие женские курсы профессора В. И. Герье, в 1878-м в Петербурге — Бестужевские. Возможно, это случилось бы еще позже, не начни М. Л. Михайлов бить в набат в 1860-м.

И значит, до 1870-х годов получить «благородную» профессию, которая могла бы прокормить, женщина не могла. Чиновничий департамент XIX века — мужское царство. Недаром страдали мечущиеся от неотвратимой нищеты героини Достоевского: даже при знании французского языка и нотной грамоты девушке, не имеющей кормильцев, деться было некуда — только в гувернантки. Но хорошее место найти было сложно, а найдя, еще и уклониться от ухажи-



ваний хозяина, бывших в порядке вещей. Легкостью характера французской гувернантки из «Анны Карениной», нарушившей семейный покой в доме Облонских, обладали далеко не все. У честных девушек выход оставался один: чтобы не сидеть на шее у родителей, часто уже и не способных содержать выросших дочерей, нужно было выйти замуж за того, кто прокормит и обеспечит. Если супруг к тому же окажется мил и любим, значит, молодая женщина вытянула счастливый билет. А. Н. Островский недаром построил большинство своих пьес вокруг матримониального сюжета — замужество действительно было самым главным событием в жизни девушки, навсегда определявшим ее судьбу и положение в обществе.

Материальная зависимость от мужа делала уход от него практически невозможным. Жены, решавшиеся на разрыв, обречены были владеть весьма тяжкое существование. В очерке «Воительница» Лесков описал судьбу такой несчастной: возлюбленный ее покинул, брошенный супруг не простил, она попала в безвыходное положение и стала дамой полусвета, в гостях у которой «нынче один князь, а завтра другой граф»<sup>425</sup>.

Конечно, не всех ждала участь содержанки; в конце концов, убереглась же от нее жена Лескова после расставания с мужем — благодаря помощи родных и его собственной. Но «женский вопрос» всё равно решать было необходимо. В начале 1860-х, после освобождения крестьян, когда убран был первый и главный камень на пути русского общества к свободе, о том, как и в каких пределах предоставить ее женщине, вслед за Михайловым заговорили все ведущие литературные журналы — «Отечественные записки», «Русское слово», «Русский вестник», «Время» братьев Достоевских<sup>426</sup>. Публицисты и критики горячо обсуждали право женщины на любовь не из чувства долга, а по велению сердца, а также на высшее образование и работу, которая смогла бы обеспечить ее независимость. С особой охотой теперь вспоминали те эпизоды русской истории, где активно действовали именно женщины<sup>427</sup>.

Как помнит наш читатель, Лесков принял участие в этих дебатах задолго до «Леди Макбет...»: опубликовав в «Русской речи» статью «Русские женщины и эмансипация», в которой признал право женщин на образование и заработок, но заклеил эмансипацию на французский лад, дававшую слишком много свободы, потом развивал эту тему в других статьях того времени<sup>428</sup> и даже предпола-

гал написать повесть о Марфе и Марии, доказывающую совместимость веры с женской эмансипацией<sup>429</sup>.

Повесть эту Лесков так и не написал, но желание сочинить еще один прозаический текст об этом было вполне в духе времени: все 1860-е годы журналы охотно печатали не только публицистические статьи, но и художественную прозу, посвященную судьбам женщин из разных сословий\*. Очерк «Леди Макбет Мценского уезда» стал одним из множества подобных сочинений. Судя по сопроводительному письму редактору журнала «Эпоха» Н. Н. Страхову, Лесков хорошо понимал, в какую тематическую нишу попадает его очерк:

«“Леди Макбет нашего уезда” составляет 1-й № серии очерков исключительно одних типических женских характеров нашей (окской и частью волжской) местности. Всех таких очерков я предполагаю написать двенадцать, каждый в объеме от одного до двух листов, восемь из народного и купеческого быта и четыре из дворянского. За “Леди Макбет” (купеческого) идет “Грациэлла” (дворянка), потом “Майорша Поливодова” (старосветская помещица), потом “Февронья Роховна” (крестьянская раскольница) и “Бабушка Блошка” (повитуха). Далее пересчитывать не буду, тем более что они еще не отделаны»<sup>430</sup>.

Вероятнее всего, этот замысел, сочиненный с большим языковым остроумием и юмором, был фикцией, потому что никаких следов его в рукописном наследии Лескова нет. Правда, в рассказе «Котин Доилец и Платонида» (1867) мелькает «древлепечатная бабушка Февронья Роховна», знахарка, акушерка и, очевидно, раскольница, но уделено ей не больше страницы. Есть и написанный в те же годы очерк «Воительница» (1866), целиком посвященный «типическому характеру» — кружевнице, свахе, устройнице сердечных и денежных дел Домне Платоновне<sup>431</sup>; но «кружевницы» в предложенном Страхову списке не было.

---

\* Одно из самых знаменитых художественных исследований «женского вопроса» представлял собой, разумеется, роман Чернышевского «Что делать?» (Современник. 1863. № 3—5), но им дело не исчерпывалось — см., напр.: *Жадовская Ю.* Женская история // *Время*. 1861. № 1. С. 261—355; № 3. С. 5—54; № 4. С. 329—410; *Лангаева А.* Женская доля // *Современник*. 1862. № 3. С. 41—176; № 4. С. 503—561; № 5. С. 207—250; *Карнович Е.* Проблески счастья // *Современник*. 1862. № 8. С. 208—334; № 9. С. 103—248. В том же ряду, конечно, и «Житие одной бабы» самого Лескова.

Так что, видимо, Лесков всё-таки лукавил — по причине совершенно прозрачной: как журналист и сотрудник нескольких редакций он хорошо понимал, что всякое периодическое издание горячо заинтересовано в серийных материалах на модные темы, и, сообщая о мифической серии, пытался усилить собственные позиции.

Лесков в этом нуждался — журналов, которые согласились бы публиковать его тексты, после скандала с «Некуда» осталось немного. Писарев еще не выдал ему свою черную метку, но в нерукопожатности Лескова—Стебницкого многие уже и так не сомневались. «Эпоха» была одним из тех изданий, где его могли принять, — и потому, что ее учредители, братья Достоевские, уже публиковали его в журнале «Время»\*, и потому, что, судя по всему, ведущий критик «Эпохи» Аполлон Григорьев, к тому времени уже умерший, Лескову действительно благоволил. В том же письме Страхову Лесков ссылается на него и еще одного сотрудника журнала: «Д. В. Аверкиев и покойный Ап. А. Григорьев как-то говаривали мне, чтобы я дал редакции “Эпохи” какую-нибудь свою беллетристическую работу», — а в поздней заметке о «Некуда» говорит, что Григорьеву нравились отдельные персонажи романа<sup>432</sup>.

О «Леди Макбет...» в контексте «женского вопроса» писали обильно<sup>433</sup>, поэтому ограничимся самыми лаконичными соображениями. Ответ Лескова прогрессистам и «нетерпеливцам», заодно и «Грозе» Островского, в «Леди Макбет...» вполне однозначен: вот к чему ведет женщину ее «право на любовь» — к преступлениям и гибели. После трех убийств Катерина Львовна совершает четвертое: на торжонном этапе сбрасывает с моста в Волгу Сонетку, с которой Сергей изменил ей, а затем гибнет сама:

«— Багор! бросай багор! — закричали на пароме. Тяжелый багор на длинной веревке взвился и упал в воду. Сонетки опять не стало видно. Через две секунды, быстро уносимая течением от парома, она снова вскинула руками; но

---

\* Там были опубликованы заметки Лескова «О русском расселении и о политико-экономическом комитете» (1861. № 9. Смесь. С. 72—86) и «Вопрос о народном здоровье и интересы врачебного сословия в России» (1862. № 2. С. 96—107). Впрочем, в 1863 году редакция журнала вернула Лескову рукопись, хотя неясно, какую именно (см.: Хронологическая канва жизни и деятельности Н. С. Лескова / Сост. К. П. Богаевская // *Лесков Н. С. Собрание сочинений*. Т. 11. С. 806).

в это же время из другой волны почти по пояс поднялась над водою Катерина Львовна, бросилась на Сонетку, как сильная шука на мягкоперую плотицу, и обе более уже не показались»<sup>434</sup>.

В тот день, когда Лесков написал этот абзац, копилка образцовых финалов мировой литературы пополнилась еще на одну единицу. Катерина Львовна заканчивает свою жизнь в той же реке, что и Катерина из «Грозы», но в ее смерти ничего освобождающего нет — только логичное завершение ее нравственного погружения на дно.

Сознательные убийства свершались и в других произведениях Лескова — например в драме «Расточитель» и романе «На ножах»; и всё же преступление обычно не выдвигалось на первый план. «Леди Макбет...» — единственный образец «криминального» текста в его обширном наследии.

Вероятно, это не столько отзвук службы Лескова в Орловской уголовной палате, сколько его отклик на еще одну актуальную тему. В периодике 1860-х оживленно обсуждались условия содержания заключенных, а также социальные и психологические причины преступлений<sup>435</sup>. Обострение общественного интереса к этой теме объяснялось не только либерализацией общественной жизни в России, но и подготовкой тюремной и судебной реформ. Первые проекты улучшения положения заключенных появились только на рубеже 1860—1870-х годов, а сама реформа стала проводиться в 1880—1890-х, но вопрос о необходимости совершенствовать российскую пенитенциарную систему был поставлен намного раньше.

В апреле 1862 года Министерство внутренних дел запросило у российских губернаторов сведения о состоянии мест заключения во вверенных им губерниях за 1857—1859 годы и предложения возможных улучшений. Несмотря на канцелярскую тайну, которую обязаны были хранить чиновники, связанные с инициативами Министерства внутренних дел, слухи о готовящихся переменах, по-видимому, распространились в обществе. К тому же тема давно была больной. В начале 1860-х годов периодические издания самых разных направлений начали активно публиковать материалы, посвященные положению заключенных в тюрьме и на каторге в России и в Европе, а заодно рассуждать о социаль-

ных причинах преступлений и психологии преступника<sup>436</sup>. «Время» было в числе самых заинтересованных этими вопросами изданий<sup>437</sup> — один из его создателей, Ф. М. Достоевский, сам недавно был арестантом и ссыльным.

Так как в те же годы параллельно шла, и уже вполне гласно, подготовка Судебной реформы, утвержденной в 1864 году, многие публикации объединяли тюремную и судебную темы<sup>438</sup>. В журналах печатались и свидетельства самих заключенных с жуткими подробностями; например, петрашевец, а впоследствии чиновник Ф. Н. Львов вспоминал, каково было находиться в кандалах, до крови натирающих руки и ноги, не позволяющих узнику переодеться и помыться несколько недель подряд<sup>439</sup>. «Время» на протяжении двух лет (1862—1863) печатало серию очерков Н. М. Соколовского «Из записок судебного следователя» — в 1862 году они выходили одновременно с автобиографическими «Записками из Мертвого дома» Достоевского. В том же году Лесков и сам в качестве репортера посещал женский острог и посвятил этому очерки «Страстная суббота в тюрьме» и «За воротами тюрьмы», напечатанные в «Северной пчеле» и идеально вписавшиеся в очерченный контекст. Но у Лескова, служившего в юности в Орловской уголовной палате, был, видимо, еще и «профессиональный» интерес к уголовной теме и состоянию тюрем<sup>440</sup>.

О лесковских очерках одобрительно отозвался Ф. М. Достоевский. Его журнал «Время» тогда взялся за публикацию переводных уголовных хроник, преимущественно из французских журналов и газет, среди которых было и несколько нашумевших историй отравительниц<sup>441</sup>. Преувеличивать влияние французских хроник на сюжет «Леди Макбет...», наверное, не стоит, но они располагались в ряду материалов о «женском» и «тюремном» вопросах и формировали общественные настроения, изменения которых тонко улавливал Лесков.

Публицистика, криминальные хроники, аналитические статьи о положении заключенных в России и Европе создавали напряженное смысловое поле, которое, конечно, воздействовало на Лескова, активно вовлеченного в газетно-журнальную жизнь. Но у «Леди Макбет...» были и более прямые источники: журнальная проза конца 1850-х — начала 1860-х годов и прежде всего уголовные очерки И. В. Селиванова — того самого, якобы благословившего Лескова на писательский путь.

В конце 1850-х — начале 1860-х годов зарисовки Селиванова, посвященные уголовным сюжетам или высмеивавшие произвол судебной уездной власти, публиковались в «Современнике», «Русском вестнике», «Веке», а затем были объединены в сборник «Провинциальные воспоминания»<sup>442</sup>. С журналом «Век» Лесков сам сотрудничал\*, а с прозой Селиванова точно был знаком — в ранних статьях ссылался на его сборник<sup>443</sup>. Видимо, по меньшей мере три очерка Селиванова были учтены Лесковым при сочинении «Леди Макбет...»: «Замечательное психологическое явление» (1857), «Два убийства» (1861) и «Уголовное дело» (1861) (вошел в «Провинциальные воспоминания» под заглавием «Преступница»).

В «Замечательном психологическом явлении», одном из первых российских образцов детективного жанра, черноволосая красавица Лизавета из ревности убивает родную сестру, надеясь, что обвинят жениха жертвы и она отправится вместе с ним на каторгу как пособница. Женщина, ослепленная страстью, готовая на убийство и каторгу, чтобы быть рядом с любимым, вполне могла послужить литературным прототипом Катерины Измайловой. В «Двух убийствах» тоже действует роковая женщина — она толкает на кровавое преступление брата. В обоих очерках мужчины оказываются намного слабее духом, чем властные женщины, как впоследствии и Сергей в «Леди Макбет...».

Вряд ли это случайные совпадения. Очерки Селиванова, служившего саранским уездным судьей и председателем Московской уголовной палаты, описывали реальные уголовные истории и полюбили публике — читать про преступления всегда занимательно<sup>444</sup>. Лесков вновь, как и в случае с «женским вопросом», окликает популярную тему и входящий в моду жанр криминального очерка.

И всё-таки коты в очерках Селиванова человеческим голосом не разговаривали, преступникам не снились, да и у Гофмана в «Житейских воззрениях Кота Мурра», и у А. Погорельского в «Лафертовской маковнице» мир человеческий не судили. Кот-обличитель, видимо, попал в лесковскую повесть из другого источника. В первом номере «Времени» за 1861 год были опубликованы три рассказа уже известного в России Эдгара По в переводе Д. Л. Ми-

---

\* В нем были опубликованы выступление Н. С. Лескова на одном из заседаний Политико-экономического комитета (Век. 1861. № 15) и рассказ «Погасшее дело (Из записок моего деда)» (Там же. 1862. № 12. С. 139—143).

халовского: «Сердце-обличитель», «Чёрт в ратуше» и «Черный кот». В последнем излагается история постепенного падения героя — владельца кота Плутона, «великого и красивого», «смышленного до изумительной степени»<sup>445</sup>. Плутон — и преследователь, и обличитель, и разоблачитель своего хозяина, стремительно теряющего человеческий облик пьяницы, а затем и убийцы. Очень похоже, что кот проскользнул в «Леди Макбет...» именно из этого криминального рассказа.

Как видим, среди повлиявших на «Леди Макбет...» текстов оказались и аналитические статьи о положении женщин и заключенных в России, и французские уголовные хроники, и художественная проза о женской доле и преступниках, и русские криминальные очерки, и переводные рассказы. Очерк Лескова стал своего рода парафразом журнального номера начала 1860-х годов, очевидно, потому что также был предназначен для периодического издания. Вместе с тем набор источников вряд ли был случайным: Лесков отфильтровывал лишь самое актуальное и популярное, явно желая понравиться и издателю, и читателю. И угадал: текст был опубликован немедленно, в первом номере «Эпохи» за 1865 год, меньше чем через месяц после получения рукописи редакцией.

Критика на него почти не отзывалась, зато со временем он стал одним из самых популярных, издаваемых, появляющихся на экране и на сцене сочинений Лескова.

Главная служба, которую сослужил этот очерк автору, — выработка творческого метода — его условно можно назвать и собирательством, и компиляторством, и коллажем. Одним из самых выразительных примеров, демонстрирующих этот метод с предельной наглядностью, стал единственный опыт Лескова в драматургии — «Расточитель», до известной степени попури из самых популярных пьес, шедших на русской сцене в середине 1860-х годов: «Ревизора» Гоголя, «Горя от ума» Грибоедова, «Свадьбы Кречинского» и «Дела» Сухова-Кобылина, «Грозы» и «Пучины» Островского<sup>446</sup>.

Точно так же Лесков действовал потом во многих своих художественных текстах: брал тему, бывшую на слуху, и, соединив и смешав множество литературных источников, делал собственное оригинальное высказывание. Этим он напоминал автора постмодернистского склада, который компилирует уже существующие культурные модели и смыслы. Можно возразить: так вообще устроена худо-

жественная литература, особенно беллетристика авторов, вынужденных жить на литературные заработки и выдавать на-гора как можно больше, а значит, черпать сюжеты отовсюду, где плохо лежит, в первую очередь из подручного газетно-журнального материала. Тут уж не до новых ходов и оригинальных сюжетов. Вот, например, свидетельство о первых литературных шагах молодого Некрасова: «...происхождение некоторых из этих повествований было следующее: “А вот что я сегодня *начитал*”, — говорит девятнадцатилетний писатель, входя к своему издателю и передавая ему содержание прочитанного в какой-нибудь забытой книжке. “Ну, вот вам и сюжет, садитесь и пишите”, — говорил ему издатель, и в результате являлись рассказы, вроде “Певицы”, “В Сардинии” и т. п.»<sup>447</sup>.

Отличие Лескова от других авторов в том, что он словно бы стыдился этих заимствований и всячески их маскировал, заявляя, что в построении повествования ориентируется исключительно на то, как складывается реальная жизнь — хотя бы и в Мценском уезде.

## Рассказчик

Лесков вошел в скучный купеческий дом Катерины Львовны молодым, не во всём еще опытным писателем, нырнул в кипучий котел любовной страсти, прыгнул в ледяную волжскую волну, искупался в парном молоке живой русской речи — и выскочил краше прежнего, состоявшимся мастером. И необыкновенным, ни на кого вокруг не похожим.

В «Леди Макбет...» окончательно выкристаллизовалась писательская манера Лескова. Кажется, сочинив этот очерк, он выработал нарратив всей своей будущей прозы, что отнюдь не означало догматизма — изобретенный способ повествования допускал вариации.

Первое и главное, к чему он пришел, — *рассказывание*: имитация устной, свободно льющейся, а потому не во всём грамотной речи, создание с ее помощью образа рассказчика — приказчика, ямщика, священника, нигилиста, кружевницы, скомороха — кого понадобится. Филологи называли такую иллюзию чужой речи *сказом*.

После этого писал Лесков и романы, и повести, но именно рассказ стал его любимой литературной формой — она была ему по размеру. В написанных именно в этом жанре «Старинных психопатах» он признавался:



«В устных преданиях... всегда сильно и ярко обозначается настроение умов, вкусов и фантазии людей данного времени и данной местности. <...> Очевидно, фантазия людей данной местности выражает их настроение и, так сказать, создает сама себе своих козырей для своей игры»<sup>448</sup>.

Романы он устами своего героя, Меркула Праотцева в «Детских годах», ругал за искусственность, намеренное сосредоточение действия «около главного центра» и в итоге за отсутствие правдоподобия<sup>449</sup>.

Высоко ценя рассказ как литературный жанр, Лесков именно поэтому постоянно начинал свои тексты с беседы — в гостиной, в поезде, на пароходе или постоялом дворе. Таковы все его хрестоматийные тексты: «Очарованный странник», «Запечатленный ангел», «На краю света», «Тупейный художник» — и многие святочные рассказы. А очерк «Монашеские острова на Ладожском озере» и рассказ «Зимний день» и вовсе целиком состоят из разговоров. Лесков и сам был отменным рассказчиком. Его сын пишет, что отец с легкостью «находил неисчерпаемые темы для бесед со спутниками любых общественных положений, званий, профессий, лет»: «Убеленные сединами, строгие обликом, длиннородные купцы, корректные сановники в бакенбардах, петушливые военные генералы, духовенные всех иерархических степеней и исповеданий, мелкая приказная сошка и даже начавшие подсаживаться от Москвы армейские лихие юнкера Тверской кавалерийской сморгонской академии, попросту “сморгондии”<sup>\*</sup>, — все быстро очаровывались богатством опыта и знаний блестящего собеседника»<sup>450</sup>.

Портрет Николая Семеновича — рассказчика дает Аким Волинский: «Лесков рассказывал с явным упоением, стремительно переходя от события к событию, энергично набрасывая те резкие черты, которые заменяют полноту и доказательность повествования. Живое слово, которым Лесков владел с исключительным мастерством, дополнялось

---

<sup>\*</sup> «В местечке Сморгонь Виленской губернии долго существовала, учрежденная князьями Радзивиллами, школа для обучения медведей, прозванная Сморгонской академией. В шестидесятых годах так же окрестили и вновь учрежденные юнкерские училища, куда принимались полковые вольноопределяющиеся из недоучившихся в среднеучебных заведениях. Такие училища были в каждом военном округе по одному для пехоты, а для кавалерии два на всю Россию — в Твери и Елисаветграде». (Прим. А. Н. Лескова)

выразительным голосом, игрой лица и сильною жестикуляцией. Он любил эти случайные пиршества остроумия — без подготовки, эти великолепные импровизации, в которых внезапно загоралось вдохновение и быстро изливались беспокойные силы его души и темперамента. Предчувствуя редкое удовольствие, слушатели невольно настораживали внимание, а Лесков, знавший цену своего дарования, начинал говорить, бросая по сторонам слегка лукавый, вызывающий взгляд»<sup>451</sup>. Можно предположить, что его литературные опыты часто становились продолжением устных импровизаций.

Почему ему так дороги устные истории, почему именно в них надо искать настроения умов, отчего рассказ звучит естественно, а роман нет, наш герой и сам не мог до конца объяснить. Одно из возможных объяснений дал, уже в XX веке, немецкий философ и теоретик культуры Вальтер Беньямин, посвятивший Лескову эссе «Der Erzähler» — «Рассказчик» (1936). Видимо, о существовании необычного русского писателя Беньямин услышал на рубеже 1926—1927 годов, во время приезда в Москву<sup>452</sup>. Лесков реабилитировал нарративный принцип, лежащий, по мнению Беньямина, в основе литературы, и этим был ему дорог.

Беньямин интерпретирует склонность автора «Левши» к рассказу просто: это — жанр архаичный. «Лесков учился у древних. Первым рассказчиком у греков был Геродот»<sup>453</sup>. Учитывая, как стремился Лесков вырваться из XIX века и добавить в свои сочинения литературной старины, из XVIII или даже XVII столетия, а еще лучше из дремучей рукописной древности, эта версия звучит вполне правдоподобно.

«Для чего люди рассказывали друг другу истории?» — спрашивает Беньямин. Для обмена опытом. Искусство рассказывания, считал он в доинтернетные 1930-е годы, сходит на нет, потому что чужой опыт больше никому не нужен. Но так было не всегда — еще недавно люди рассказывали друг другу интересные, назидательные, смешные истории, случившиеся с ними или услышанные от других, чтобы поделиться полезными знаниями: «Тот, кто слушает историю, находится в обществе рассказчика; даже тогда, когда он ее читает, он включен в это общество. А вот читатель романа одинок»<sup>454</sup>. Ничего никому посоветовать он не может, как и произнести что-то оригинальное по поводу самых важных для него вопросов. Роман нужен для того, чтобы вычитать из текста «смысл жизни» героя, проделы-

вающего на его глазах свой путь. «То, что влечет читателя к роману, — это надежда согреть свою пронизанную холодом жизнь, согреть смертью, о которой он читает».

Так ли дело обстоит с романом, пусть думают теоретики литературы. Но рассуждая о природе интереса Лескова к жанру рассказа, Беньямин вполне убедителен — как и в другом: хороший рассказчик избегает комментариев и пояснений, и Лесков в этом «настоящий мастер». Беньямин приводит в пример рассказы «Обман», «Белый орел»; добавим и «Леди Макбет...» с ее намеками, символами, отравленным чаем. «Естественный рассказчик» удерживается от психологических деталей, то есть от прочерчивания связей между событиями — так слушатель легче запомнит историю и сумеет привести события в понятный ему порядок. Отторжение Лесковым психологизма тоже очевидно — и это в золотой век психологической прозы! Возможно, источником этого отторжения и была его тяга к жанру рассказа.

Кстати, Беньямин считал, что из рассказов ткуются и летописи, и хроники, так что и в склонности к этим пространственным формам Лесков сохраняет верность любимому жанру. Но, всего вероятнее, он не помышлял о Геродоте, а просто двигался в русле времени и вслед за критиками 1860-х годов желал правды в литературе.

История, которая рассказывается для того, чтобы чему-нибудь научить, принести пользу, обязана излагать подлинные события, если только она не сказка и не отсылает слушателя к мифологическим основам его существования. Вот почему рассказчику, с самых древних пор, было необходимо создать иллюзию правдоподобия. В соответствии с этим законом Лесков и считал нужным едва ли не во всех рассказах привести доказательства подлинности излагаемых событий. Оттого-то так любил он начинать с описания ситуации беседы, участники которой делятся своими историями. Вот, сообщал он, живой свидетель событий, вот его в точности записанная речь, а вот и название города и уезда, в котором всё происходило. Забавно, что, кланя романы за искусственность, Лесков с легкостью заимствовал сюжеты и героев как раз из чужих романов.

Поверил ли Страхов в существование цикла о Февронье Роховне и бабушке Блошке или ему просто понравился текст Лескова? А может быть, журнал остро нуждался в материалах? Как бы то ни было, очерк «Леди Макбет Миценского уезда» был принят к публикации и вышел в январской книжке «Эпохи».

Гонорар за эту работу так и не заплатили: журнал едва сводил концы с концами, а потом и вовсе закрылся. Лесков, к его чести, на гонораре и не настаивал, хотя несколько раз вежливо напоминал. Ведь именно в эту зиму деньги ему пришлось бы особенно кстати.

## На Фурштатской

В феврале 1865 года Лесков и Екатерина Степановна, взяв с собой ее старшего сына, отправились в Петербург. Трое младших остались в Киеве под присмотром гувернанток. На шестилетнего Николая дорога произвела огромное впечатление. Впервые он увидел паровоз, впервые уехал от дома так далеко и оказался в столице.

Семейство поселилось поначалу в прежнем холостяцком жилище Лескова в Кузнечном переулке.

Двенадцатого июля 1866 года у Лескова и Екатерины Степановны родился сын. Его крестили Андреем, а дома звали Дрона, Дронушка — в честь персонажа «Войны и мира», полюбившегося его матери. Для Лескова — точнее, его литературной судьбы — рождение этого мальчишка стало огромной удачей. Со временем Андрей Николаевич сделался хранителем архива и биографом отца, популяризатором его творчества в советские времена.

Однако дома Дронушка оказался не сразу — сначала его на два года отдали в приют<sup>455</sup>, вероятно, потому, что родители мальчика формально не состояли в браке (супруги обоих были живы, а процедура развода оставалась сложной и унижительной). Судя по тому, что троих младших детей Екатерина Степановна оставила на два года в Киеве, к расставанию с отпрысками она относилась легко. Лишь после того как Лесков сумел официально усыновить Андрея, тот переехал к своей большой семье — это произошло не раньше осени 1868 года.

Двумя годами ранее семейство перебралось в скромный, но уютный двухэтажный особнячок — дом Матавкина на Фурштатской, рядом с Таврическим садом, где и прожило до 1875 года<sup>456</sup>. Тогда улицу еще не до конца застроили — здесь было зелено, солнечно, слегка провинциально, немного похоже на Киев. Дети ходили в сад играть: мальчики ловили «колючки» в водяном рву, Верочка с гувернанткой чинно прохаживалась по аллеям. Зимой пруды замерзали и дети катались на коньках.

Шесть комнат квартиры в доме 62 шли анфиладой и завершались кабинетом Лескова, окна которого смотрели прямо на дворец.

Дом на Фурштатской существует и ныне, хотя и не в прежнем виде: в 1903 году его новый владелец Сергей Сергеевич Боткин, сын знаменитого доктора, врач и коллекционер, перестроил здание в стиле петровского барокко — с белыми пилястрами, наличниками и высоким фронтоном. Но стены дома всё те же и помнят Лескова и его домочадцев.

Здесь Лесков предпринял вторую, уже зрелую попытку создать семью. Ему мечталось, как все будут собираться для мирной беседы или чтения за столом, под «тихой семейной лампой, льющей ровный свет из-под абажура, сделанного женской рукой»<sup>457</sup>. Николай Бубнов, который жил в немецком пансионе Аннненшуле и приходил домой на выходные, вспоминает: «Особенно мне запомнились картины наших обедов, вероятно, по так называемой “ассоциации по смежности”, так как обеды были (особенно для пансионера) очень вкусны, а потому и то, что я видел при приеме пищи, удержалось яснее в памяти, чем что-нибудь другое. С одной стороны стола сидели мама и Николай Семенович Лесков, а по другим сторонам распределялись мы. Н. С. был то весел, то задумчив в зависимости от настроения и от хода своей литературной работы. Он ведь жил исключительно на то, что он зарабатывал своим литературным трудом»<sup>458</sup>.

Кажется, это время было самым счастливым в жизни Лескова. Во всяком случае именно в 1865 году он сочиняет «Обойденных»\* — единственный свой роман, от начала до конца посвященный любви.

Главные его герои молоды и хороши собой. В центре — тридцатилетний Нестор Игнатьевич Долинский «с очень кротким, немного грустным и очень выразительным, даже, можно сказать, красивым лицом». Рядом — две нежные особы, тоже красавицы, «земная» и «небесная»: случайно встреченные Долинским в Париже Анна Михайловна Прохорова, «высокая, стройная, с роскошными круглыми формами, с большими черными глазами, умно и страстно смотрящими сквозь густые ресницы», и ее младшая сестра Дора, «восхитительной красоты девушка, с золотисто-

---

\* Публиковался в «Отечественных записках» в 1865 году с 18-го по 24-й номер.

красными волосами, рассыпавшимися около самой милой головки»<sup>459</sup>.

Причина кроткой грусти Долинского ясна: купеческая дочь, нуждающаяся в средствах, женила его на себе из расчета. Это не единственная автобиографическая черта, которую Лесков подарил своему герою: Нестор Игнатьевич тоже литератор, вырос в Киеве, ездил с набожной матерью по монастырям, юность провел в доме дядюшки, относившегося к нему холодно и сухо. Но, рисуя портрет героя с себя, Лесков сильно разжижал краски, лишив персонажа того, чем сам обладал в избытке, — характера. Долинский сознает свое «безволье» и борется с ним, правда без особого успеха.

Единственное, на что он способен, — уклоняться от ударов судьбы. Измучившись жить с не любящей его женой, он оставляет ее и детей и бежит в Париж, где и встречается сестер Прохоровых. Спустя год, когда все трое снова оказались в Петербурге, Долинский снимает у сестер две комнаты. Они держат модный магазин и швейную мастерскую. Но, в отличие от героини Чернышевского Веры Павловны, Анну Михайловну не пленяют социалистические методы хозяйствования. Несмотря на это (скорее, благодаря этому) бизнес ее идет отменно, наемные работницы ее любят, она их терпеливо воспитывает, двух выдает замуж. Автор прозрачно намекает: даже если твое сердце не принадлежит Фурье, можно отлично вести дело и творить добро.

Роман Чернышевского определил и любовные коллизии романа Лескова: в «Обойденных» тоже складывается треугольник. Сначала Долинский страстно, но платонически полюбил Анну, затем, взявшись сопровождать ее заболевшую младшую сестру в Италию, влюбился и в нее. Доре хватило решительности довести их отношения до высшей точки; но в итоге они завершились трагически: «небесная красавица» снова заболела и умерла. Интересно, что все три женщины — и законная жена Долинского Юлия, и Анна, и Дора — брали инициативу в свои руки, он же не сопротивлялся и шел ровно до того предела, до которого они его вели.

Сломленный любовными историями, последнюю из которых окрасило еще и чувство вины за измену Анне с Дорой, герой присоединился к парижским последователям польского мистика Анджея Товянского и кончил тем, что поехал проповедовать с иезуитами в Парагвай. На все вопросы случайного русского путешественника, знавшего

его по прежней жизни, Долинский отвечал только: *memento mori*\*. Получилось «Дворянское гнездо» наоборот — у Тургенева ушла в монастырь героиня, у Лескова монахом стал главный герой.

«Обойденные» — и тут трудно уклониться от каламбура — оказались обойдены вниманием и современной ему критики, и сегодняшних исследователей. И понятно почему: роман довольно невыразителен, в нем мало свежего — в сюжете, языке, замысле. Тем не менее об авторе и его ценностях он сообщает значимые нюансы.

Программно звучит название, подтвержденное заявлением, сделанным в начале второй части:

«В этом романе, как читатель мог легко видеть, судя по первой части, все будут люди очень маленькие — до такой степени маленькие, что автор считает своей обязанностью еще раз предупредить об этом читателя загодя. Пусть читатель не ожидает встретиться здесь ни с героями русского прогресса, ни со свирепыми ретроgrадами. <...> Ни уездного учителя с библиотекой для безграмотного народа, ни седого в тридцать лет женского развивателя, ни образцового бессребреника, словом — ни одного гражданского героя здесь не будет; а будут люди со слабостями, *люди дурного воспитания*»<sup>460</sup>.

Это — декларация. Лесков настаивает, что пишет роман «без направления», о самых обыкновенных, «маленьких» людях «со слабостями», которые не сверяют свою частную жизнь с общественными веяниями и потому обойдены вниманием модных литераторов. Это не значит, что от общественных вихрей можно вовсе уклониться, но на них можно разумно реагировать. Чтобы проиллюстрировать эту мысль, в романе даже ненадолго появляются два комичных нигилиста, на глупость и нечистоплотность которых указывают уже их фамилии: Шпандрочук и Вывич. Парочка агитирует Анну Михайловну и Дору за женские права и свободы, но ведет себя до того непристойно, что вскоре оказывается вынуждена удалиться навсегда.

Как видим, в романе, написанном на вершине семейного счастья (пусть и продлившегося недолго), Лесков отстаивает право людей быть заурядными и право писателя сочинять романы о таких людях. Забавно, что довольно скоро ему самому сделалось до смерти скучно с такими

---

\* Помни о смерти (лат.).

персонажами, захотелось рассказывать и о просветителях безграмотного народа, и об «образцовых бессребрениках» — словом, о «гражданских» героях. Однако в момент создания собственной семейной идиллии ему было важно декларировать именно это — право на частную жизнь. Поэтому основное занятие «маленьких людей» в романе — любовь.

В «Обойденных» множество разных любовных историй и влюбленных пар. Из самых симпатичных — французские крестьяне, двадцатилетняя Жервеза и ее муж, огородник Генрих, родители двоих сыновей, почти герои «французской идиллии»<sup>461</sup>, в которой нет ничего пошлого. Совсем другой тип отношений у художника Ильи Журавки и итальянки Луизы, держащей его под каблуком; третий — у Анны Михайловны и князя, бросившего ее с ребенком; четвертый — у работницы-швеи Анны, оставленной возлюбленным с тремя детьми. Нравственность и безнравственность любви, кажется, волнуют автора намного меньше, чем сами любовные токи. Все здесь точно в любовной горячке. Кажется, ни о чем другом писать в тот год Лесков не мог. И завершил он роман необыкновенно эффектно.

Анна Михайловна, потеряв и сестру, и Долинского, непреклонно отвергает все предложения руки и сердца. Последним претендентом становится ее старый приятель, художник Журавка, потерявший любимую Луизу. Тщетно уговаривая Анну Михайловну выйти за него замуж, он внушает, что того, кого она по-прежнему любит, — Нестора Долинского — скорее всего нет в живых.

«— Да нет же, поймите вы, что ведь нет его совсем на свете, — говорил, плача как ребенок, Журавка.

Анна Михайловна слегка наморщила брови и впервые в жизни едва не рассердилась. Она положила свою руку на темя Ильи Макаровича, порывисто придвинула его ухо к своему сердцу и сказала:

— Слышите? Это *он* стучит там своим дорожным посохом»<sup>462</sup>.

Стук дорожного посоха странника Долинского в сердце любящей женщины внезапно спасает этот не самый удачный роман Лескова и заставляет в него вслушаться.

Намного сложнее вслушаться (почти ничего не услышишь) в повесть «Островитяне», опубликованную в «Отечественных записках» чуть позже, в 1866 году. История



немецкой семьи, в центре которой несчастная любовь Манички Норк, соблазненной, а затем коварно покинутой художником Романом Истоминым, — воплощенный романтический штамп — и сюжетный, и стилистический. Вместе с тем в «Островитянах» скрыто полезное для всех читателей Лескова напоминание о том, насколько актуальна для него оставалась поэтика романтической повести. Возводя его идиллии к средневековой или античной словесности, не будем забывать, что описывать идеальный мир, людей и отношения он учился еще и у ближних своих, романтиков, чей век в литературе отгорал как раз тогда, когда Лесков начал читать свои первые серьезные книги.

### Попытки дружбы

Тяга к ослепительным, необычным персонажам проявилась у Лескова и в жизни. Одно из самых ярких знакомств той поры — с Всеволодом Владимировичем Крестовским. Они были коллегами по журналистскому и писательскому цеху, часто гостили друг у друга и какое-то время искренне считали себя — да в общем и были — друзьями.

Веселым, неистовым и обаятельным запомнился Крестовский домашним Лескова. Андрей Николаевич вспоминал о его посещениях как о неизменном шумном празднике:

«За обедом упоминалось, что сегодня “милюковский вторник\*” и что, перед тем как ехать на Офицерскую улицу, условлена деловая встреча со “Всеволодом” у нас на дому. Вся молодежь, вплоть до “куцкого”, то есть меня, расцветает! Еще бы! Всеволод Владимирович вносит всегда в наш несколько сумрачный домашний строй столько оживления, шума, впечатлений: невероятной величины и “малинового звона” шпоры, непомерная по росту сабля, которую мой отец, к величайшей нашей обиде, пренебрежительно называет то “валентиновскою”, по герою оперетты “Маленький Фауст”, то “Дюрандалем” — прославленным мечом легендарного “неистового” Роланда; уланский мундир с этишкетом\*\*, а иногда, вместо фуражки, даже шапка с султаном!

---

\* Милюковские вторники — литературные собрания, устраиваемые писателем и журналистом А. П. Милюковым у себя на квартире.

\*\* Этишкет — шнур с двумя кистями, характерная принадлежность уланского мундира.

Дух замирает!.. С наступлением сумерек напряженно ждем. Смелый, так сказать “военный”, залихватый звонок. Конечно, он?! <...> Он не строен, скорее приземист. Голова посажена на короткой шее, которую он часто высвобождает из ненужно тесного и ненужно высокого воротника. Это не обличает избытка вкуса. Во всём, начиная с монокля в слегка оплывшей орбите глаза, чувствуется что-то простое, беспокойное, армейски ухарское... Но нам, ребятам, всё рисуется чарующе прекрасным. Сыплются анекдоты, новости, слухи, почти сплетни. Не требуя приглашения, садится за рояль, на котором “жарит” что-то самоучкой, но бойко, и поет. Голоса немного, но экспрессии не занимать: “Две гитары зазвенели, жалобно-о заныли-и: сердцу памятно напевы — тты-ы ли, друг мой, тты ли?” Припев душераздирающий: “бассан, бассан, бассанната — ты другому отдана. Ты другому отданна-а-а без возврата, без возврата-а!”»<sup>463</sup>.

Лесков и Крестовский познакомились в начале 1860-х, когда оба сотрудничали с «Отечественными записками», и сблизились настолько, что Крестовский даже пригласил нового приятеля на «мокрое дело»... ну, почти. Позвал поглядеть на петербургское «дно», саркастически прозванное в народе «Вяземской лаврой»\*.

«Вяземская лавра» представляла собой несколько доходных домов на Сенной площади, принадлежавших князю Александру Вяземскому, который отдал их внаем мелким арендаторам. Вскоре эти дома превратилась в ночлежки, притоны, лавчонки, трактиры — настоящую криминальную трущобу. Монашеским поведением обитатели этих мест, понятно, не отличались. Воры, мошенники, перекупщики, сутенеры, проститутки, описанные Достоевским в «Преступлении и наказании» «лохмотники», нищие — вот какая братия обитала в «Вяземской лавре». Как Эжен Сю, отправлявшийся за живыми картинами для «Парижских тайн» в «чрево Парижа», так и Крестовский, в значительной степени опиравшийся на его опыт, многие сцены и типы своего знаменитого романа «Петербургские трущобы» писал с натуры. Прийти на этот таинственный остров в

---

\* Настоящих лавр — крупнейших монастырей, имеющих особое духовное и историческое значение — в России было всего четыре: Киево-Печерская, Троице-Сергиева, петербургская Свято-Троицкая Александро-Невская и Почаевская Свято-Успенская.

обычном виде было и опасно, и бессмысленно: не попасть. Сю, пускаясь в путешествие по парижским трущобам, надевал простую рабочую блузу. Крестовский, отправляясь на свой литературный промысел, переодевался в обноски. По свидетельству Ивана Карловича Маркузе, стенографа Крестовского, тот обладал даром менять внешность.

«— Не могу вообразить, какими средствами вы пользовались для того, чтобы проникнуть в эту грубую, кабацкую среду, — сказал я.

— А вот не угодно ли? — отозвался он неопределенно, при чем быстрым движением руки сбил и надвинул себе на лоб беспорядочную прядь волос, выпучил какие-то дико установившиеся на меня, осоловевшие глаза и исказил непостижимым образом весь облик своего лица.

Вслед за тем он заговорил грубым и хриплым голосом и на воровском языке, который знал в совершенстве.

Передо мною был один из трущобных типов: озверелый от пьянства и прилива дикой необузданности. С такою маскою можно было смело показаться в любом разбойничьем вертепе, не возбуждая подозрительности в среде завсегда-таев подобных логовищ»<sup>464</sup>.

По меньшей мере однажды Лесков составил Крестовскому компанию в трущобных приключениях. Его рассказ об этом весьма живописен:

«Это было летом. Мы втроем: Крестовский, я и еще кто-то, кажется, Микешин\*, впрочем наверно не помню, отправились гулять и встретили знакомого Крестовскому сыщика, который и предложил нам отправиться в “Малинник”. Мы, конечно, охотно согласились. Пришли. Внутренность “Малинника” вы вероятно помните по описанию Крестовского. К нам сейчас же подсели местные дамы и потребовали угощения. Они пили водку, а мы ели яйца, единственное кушанье, которое мог рекомендовать нам буфетчик, хорошо знавший сыщика. Подсела к нашей компании и женщина, которую Крестовский называл Крысой. Она без церемонии влезла на колени к бывшему со мною и Крестовским спутнику. Помню случившийся при этом небольшой, но довольно характерный эпизод: приятель наш сидел с Крысой и держал в руке, откинутой на спинку стула, папиросу. Кругом сидели и ходили самые отвратительные оборванцы. Один из них, проходя мимо нашего стола, преспокойно

---

\* *Михаил Осипович Микешин* (1835—1896) — известный художник и скульптор, автор памятников, в том числе «Тысячелетие России» в Новгороде.

схватил эту папиросу и начал курить. Спутник наш вскочил и собрался проучить нахала. Однако сыщик удержал его, говоря, что затевать скандал здесь опасно. Когда этот инцидент закончился, нас повели по какому-то длиннейшему коридору смотреть внутренние помещения “Малинника”. Шли мы совершенно спокойно, как вдруг где-то сзади послышался сначала сильный шум, точно от падения на пол какого-то большого тела, потом крики: “Помогите, режут, убивают!”

— Обыкновенная история, — заметил сыщик, — это бывает здесь.

Он не успел окончить начатой фразы, как крики о помощи сменились другими: “Спасайтесь, полиция”. Мы обернулись, и представьте себе наше удивление. Коридора уже не было, мы находились в комнате: сзади нас спустилась сверху стена, и коридор превратился в комнату. Вышли мы из “Малинника” совершенно другим ходом — нас вывел сыщик»<sup>465</sup>.

Сыщиком был начальник петербургской сыскной полиции Иван Дмитриевич Путилин, который и в самом деле помогал Крестовскому в его вылазках, разрешал присутствовать на допросах, давал читать уголовные дела<sup>466</sup>.

Современники вспоминают Крестовского как фата, затейника, мистификатора, одаренного артиста. Он, как было сказано, играл на фортепьяно и гитаре, пел чужие романсы, сочинял свои, был умелым рассказчиком и легко становился душой компании, хотя нарочно к этому не стремился. Влюблялся он постоянно, иногда сразу в двух, а то и в трех прекрасных дам, и тогда закидывал предмет страсти стихами, цветами, конфетами. Если дама оставалась неприступна, Всеволод Владимирович пускал в ход тяжелую артиллерию — предлагал руку и сердце. Заботливые его друзья, как правило, находили способ расстроить очередную свадьбу и продолжали любить товарища.

Крестовский начинал с радикального «Русского слова» Григория Евлампиевича Благосветлова, сотрудничал с «Эпохой», в общем разделяя взгляды почвенников, пока не «дописался», как выразился один из мемуаристов, до антинигилистических романов в катковском «Русском вестнике»<sup>467</sup>. Отказ от нигилистских убеждений был, разумеется, воспринят «левыми» как предательство. И вскоре после выхода романа «Панургово стадо»<sup>468</sup> его автора, отзывающегося о нигилизме с разочарованной насмешкой, начали травить не меньше, если не больше, чем Лескова.

Карикатуры на «Вс. Клубничкина» (так недоброжелатели называли Крестовского и за «Петербургские трущобы», и за страстные эротические стихи, которые он тоже сочинял) не сходили со страниц «Искры» и «Будильника». «Петербургские трущобы» корили за бульварность, за клевету всё на ту же Знаменскую коммуны<sup>469</sup>, за наивность помещенных в нем «фотографических снимков», хотя Крестовский, в отличие от Лескова, документальной основы романа и не скрывал.

Многие события начала 1860-х — например те же петербургские пожары — он описал в форме репортажа, Чернышевского и белорусского революционера Викентия Кастуся Калиновского назвал собственными именами, а кого-то вывел под прозрачными псевдонимами: в книгопродавце Луке Благоприобретове легко угадывался редактор «Русского слова» Григорий Евлампиевич Благосветлов, в князе Сапово-Неплохово — издатель того же журнала граф Георгий Александрович Кушелев-Безбородко. Общность литературной судьбы Крестовского и Лескова не укрылась от критиков — не случайно один из них, Николай Иванович Соловьев, соединил разбор прозы обоих писателей в одну статью<sup>470</sup>.

В 1868 году Крестовский неожиданно для всех пошел на военную службу, вступил в уланский Ямбургский полк — то ли из давней и бескорыстной любви к уланам, то ли по воле отца, а может быть, желая хоть что-то поменять в судьбе, в которой были уже и личные неурядицы, и литературная травля. Этот внезапный поворот жизненного пути в расцвете творческих сил Лесков считал безумием, тем более что военный чин не уберег новоявленного улана от издевок литераторов, наоборот, подал новый повод для насмешек.

Но разошлись вчерашние добрые приятели не поэтому. Окончательная причина разрыва была литературная: в романе «На ножах» Лесков вывел Всеволода Крестовского в образе довольно гадкого персонажа — Иосафа Висленева. Тот когда-то исповедовал нигилизм, был осужден по политическому делу, но затем отпущен благодаря заступничеству любившей его женщины, в прежних идеалах разочаровался, а после заключения вернулся в родной уездный город сломленным. Безвольный, жалкий, буквально продавший родную сестру, раб главного мерзавца Горданова, обожатель главной стервы Глафиры, муж чужой любовницы, женившийся против своей воли, наконец, случайный убийца невинного Водопьянова, завершивший свой путь

полным сумасшествием, — таков Висленев. Он к тому же еще и паяц — постоянно меняет маски, вынужден играть навязанные роли то мужа, то спирита-медиума. Чехарда проявляется и в постоянной смене его имен: Иосаф превращается то в Жозефа, то в *Monsieur Borne*\*, то в Благочестивого Устина. В конце романа он переодевается, красится и проявляет очевидную склонность к театральности, что объединяет его с прототипом.

Крестовский обиделся смертельно. Некоторые детали биографии и облика Висленева действительно напоминали его жизненные обстоятельства и слабости: неудачная женитьба\*\*, слабоволие и общая неистребимая нелепость. Но, возможно, Крестовский никогда и не заподозрил бы в герое Лескова карикатуру на себя, если бы автор сам не открыл ему, с кого лепил своего персонажа, судя по всему, ничего обидного в этом не видя.

Вскоре после выхода романа Крестовский начал чуждаться Лескова, хотя и продолжал с ним здороваться. Тот заподозрил, что их рассорил его брат Василий, живший в то время в Петербурге. Между вчерашними друзьями последовал обмен посланиями.

Крестовский в письме от 14 декабря 1871 года пытается объяснить, а заодно и язвит, намекая на сходство между Лесковым и самым отвратительным персонажем «На ножах» Гордановым, но будучи по натуре добрым, делает это довольно неуклюже:

«Любезный Николай Семенович!

Напрасно ты обвиняешь своего брата Василия в том, в чем он виноват гораздо менее других. Причиною моего отдаления от тебя вовсе не была одна лишь его болтовня, а несколько других данных, настолько для меня убедительных, что я не мог не дать им веры. Если бы болтал один

---

\* Глафира произнесла по-французски: «Cet homme est borne, mais il donne souvent des reponses aux questions les plus profondes» («Это ограниченный человек, но часто он дает ответы на самые глубокие вопросы»). Члены спиритского кружка услышали слово *borne*; так за Висленевым закрепилось прозвище *Monsieur Borne*.

\*\* Василий Семенович Лесков в своем «дневничке» писал: «Вечером просидел до 10 часов у Николая, видел там жену Вс. Крестовского, — очень показалась антипатична эта барыня — что можно отчасти объяснить и моим предубеждением на ее счет, так как я давно уже знаю кое-что из ее вертепных походов, тем не менее я не могу скрыть досады, когда ее сожалеют или оправдывают» (цит. по: Лесков А. Н. Указ. соч. Т. 1. С. 366).

только человек, то тогда, конечно, на его болтовню нечего было бы обращать внимание, что я и делал неоднократно всё прежнее время; но если с разных сторон несколько лиц и притом таких, которые не могут состоять между собою в стачке да и не имеют в том интереса, начинают повторять одно и то же, — тогда дело принимает совсем иной вид и характер. Не хочу ни тебя, ни себя утруждать напоминанием разнообразных фактов этого рода, но дабы не подставить себя под упрек в голословности, я решаюсь напомнить тебе два из них: 1) летний разговор твой в последнее свидание с Варварой Дмитриевной (супруга Крестовского — М. К.), 2) собственное твое признание, что твой весьма некрасивый герой Висленев писан якобы с меня.

Что касается до первого, то оставаясь совершенно равнодушен к разговорам, ведущимся про меня, я желал бы только, чтобы люди, трактующие меня известным образом, не употребляли по крайней мере при этом фразы: я друг ему, я люблю его и потому говорю так.

Относительно же второго позволю себе заметить, что никоим образом не предполагая в тебе Горданова, я точно так же не мог узнать и себя в личности Висленева, тем более что нравственный и психический смысл наших с тобою отношений никогда — сколько знаю и понимаю — ни на йоту не походит на смысл отношений Горданова с Висленевым. Конечно, я не отрицаю за тобою (как и ни за кем) права понимать меня как тебе угодно, по силе твоего разума и убеждения (ведь понимают же нас разные Суворины да Минаевы чёрт знает в каком смысле) и в силу этого права ты мог не только под Висленевым, но и под какой угодно мерзостью разуместь меня или кого бы то ни было. Но я не могу не удивляться тому, что, разумея меня в сем смысле и признаваясь в таком разумении, ты в то же время мог с любовью простирать ко мне объятия и говорить: “Ведь я друг ему! Ведь я люблю его!”

Что же касается, наконец, до твоего замечания о моей “мягкости”, побуждающей меня протягивать тебе при встрече мою руку, то позволю убедить тебя, что это происходит вовсе не от “мягкости” или “лицемерия”, как ты заметил, а единственно по той простой причине, что встречаясь слишком часто в домах общих наших знакомых, знающих наши давнишние добрые отношения, я никому из них не желал подавать повод к излишним недоумениям, расспросам, толкам и т. п., которые неизбежно последовали бы, чуть лишь наше раззнакомление было бы замечено.

А согласишься сам, что разъяснять всем и каждому причины нашего охлаждения было бы слишком тяжело.

Теперь — надеюсь — для тебя разъяснился образ моего поведения, подавший тебе повод сделать мне комплимент насчет моей “мягкости” и потому установление наших дальнейших отношений внешних, ради глаз общества, предоставляю на твое благоусмотрение»<sup>471</sup>.

Лесков обвинений не признал — наоборот, сейчас же выставил свои, вполне безжалостные. Если Крестовский ставил Лескову в вину только два греха — Висленева и лицемерие (якобы тот, в глаза называя его другом, за спиной говорит о нем гадости), то Лесков обошелся без всяких церемоний и костерил приятеля почем зря, в сущности, демонстрируя, что всё дурное, что о Крестовском говорят, он заслужил:

«Очень рад, любезный друг Всеволод Владимирович, что ты открылся мне в моих перед тобою винах. Всё это вздор: я не выражался о тебе к вреду твоему никогда, и вообще не я был нападчиком на твои — увы — слишком уязвимые стороны в присутствии твоих сестёр, имеющих право на твое внимание, и твоей жены, имеющей право требовать, чтобы ты не вынуждал ее просить на хлеб твоим детям у её друга. Что уж тут прибавлять ко всей этой красоте, всем известной и всех потешающей? Я был честен (и сумею заставить признать это): я говорил тебе в глаза то, что другие повторяют, показывая палец за твоим затылком: я говорил тебе, что стыдно и позорно трубить и бросить без участия семью и детей на чужие руки! Вот прямая причина твоих на меня неудовольствий (ибо бабы сплетни ты мне поверил, особенно твоей жены); но я ведь, конечно, ждал этого, когда нашелся вынужденным сказать тебе об этом в Москве, и очень рад, что это возымело свое действие. Авось за этим придет мысль оглянуться на твое прошлое и спросить себя: “однако кто обо мне может сказать, что я человек, исполняющий хоть одно мое человеческое обязательство?”

“Висленевым” я тебя точно называл по легкости твоего характера, когда не оставалось ничего иного сказать в ответ на такие твои антраша, как про именованья себя холостым или забвение? какие гроши идут на содержание твоего ребенка. Фи!.. Ты думаешь этого никто не знает? Ты думаешь, что от этого никому не смердит? А ты в 30 лет, в полном развитии сил, всё “трубишь” вместо того чтобы устроить детей и успокоить семью да ищешь людей, которые еще больше утверждали бы тебя в желании “трубить”... Труби, брат, труби: немного осталось, когда про тебя протрубят



и будешь ты курам на смех. — “Не мое это дело”, ты скажешь? — Да, не мое, но пусть это будет мое последнее слово тебе в таком же тоне прямой и честной приязни, в каком были все мои слова не заугольные, а в глаза тебе сказаны. За тем действительно не мое дело разъяснять тебе, какое на честных людей впечатление производит твой способ исполнения своих отеческих, сыновьих и братских обязанностей, которых у меня немало у самого и которые мне самому впоору исполнять без упоров.

За сим можешь считать наши отношения временно прерванными или совсем конченными, — это как тебе угодно. Дружить нам с тобой нельзя, потому что я живу по пословице “не люби друга потаковщика, а люби друга стречника”, а тебе нужно потакать да похваливать. Слава Богу, что не за что и враждовать. Желаю тебе всего лучшего, наиболее желаю доброй минуты, чтобы оглянуться на себя: кого ты из себя изображаешь? — Выставлять всем на вид наш разлад я, как и ты, не считаю особенно приятным, тем более, что при всём этом разладе мы, вероятно, знаем друг в друге кое-что такое, что нам приятно выделить из этого мусора сплетен и вспоминать добром.

Не перестающий любить тебя

Н. Лесков»<sup>472</sup>.

Независимо от того, до какой степени реальный Крестовский отразился в образе Висленева, художественный опыт приятеля был, несомненно, Лесковым учтен. «На ножах» носит на себе очевидную печать бульварного романа. Вполне возможно, что дух этот внес в складках одежды в том числе и Висленев. Многотомные «Петербургские трущобы» с незаконнорожденными младенцами, престарелыми любовниками, брошенными любовницами, патентованными подлецами и ангелами в женском обличье также довольно явственно отозвались в мелодраматических коллизиях романа Лескова<sup>473</sup>; в равной степени могли повлиять на его текст портреты народного богатыря, олонецкого благородного разбойника чрезвычайной силы Акима Рамзи, защищавшего мужиков от помещичьего произвола, и странницы Марфиньки из многосерийного петербургского романа.

Важно, что, когда наступили черные времена и Крестовского обвинили в плагиате, назвав истинным автором «Петербургских трущоб» давно покойного Помяловского, Лесков заступился за бывшего друга и упорно защищал его от несправедливых нападок<sup>474</sup>.

Вторым частым гостем дома Лесковых был Алексей Феофилактович Писемский — по свидетельству Андрея Николаевича, полная противоположность Крестовскому: говорили, будто он терпеть не может детей (сам Алексей Феофилактович это отрицал), поэтому, когда он приходил, юных членов семьи «прятали и держали в дальних комнатах»<sup>475</sup>.

Писемский был старше Николая Семеновича на десять лет и намного раньше пришел в литературу. Но пришел оттуда же — из русской провинции, из захолустья, из «крестьянской, промысловой, купеческой и бродяжной Руси»<sup>476</sup>. Связь их никогда не была такой горячей, как с Крестовским, но, возможно, потому и продлилась до самой смерти Писемского. В литературе Писемский во многом возделывал то же поле, что и Лесков: ему интересны были обыкновенные люди, скромные провинциалы, их тихая, но такая разнообразная жизнь. В повестях и романах Писемского мы не найдем лесковского интереса к языковой игре и злой лесковской иронии — его проза значительно более прямолинейна, хотя и литературных экспериментов, например, с образом автора, он не был чужд<sup>477</sup>.

Ненадолго Лесков сблизился с Петром Карловичем Щебальским, в прошлом военным, по выходе в отставку занявшимся русской историей и литературой. Исследователь Хью Маклин называет его среди людей, оказавших на Николая Семеновича наибольшее влияние (в том же ряду Маркович, Бенни, Дудышкин, Толстой и киевский историк и богослов Филипп Алексеевич Терновский)<sup>478</sup>.

Они были знакомы, по-видимому, со времен «сальсовской» «Русской речи», в которой Щебальский тоже когда-то публиковался. Но самые теплые их отношения пришлось на первую половину 1870-х годов. В это время Щебальский особенно активно поддерживал Лескова и восхищался его талантом. 5 марта 1871 года тот написал Петру Карловичу полное нежности и благодарности письмо:

«Хотите ли Вы или не хотите, но Вы упорно заставляете меня не только чтить, но и любить Вас, как никого не любил с дней моей юности! Вы сделаете меня безмерно счастливым, если позволите мне хранить в моей душе это чувство, дающее мне прекрасные и высокие минуты. Ваше слово меня животворит, одушевляет и поддерживает. Благодарю

Вас, и несказанно благодарю, за всё, а наипаче за внимание к моим работам, за поощрение, за совет, за указания. После покойного Дудышкина ко мне никто так не относился, и я никогда этого не забуду. Я слаб, я, на горе мое, слишком болезненно всё чувствую, и поддержка для меня так дорога, что Вы не можете себе этого представить!»<sup>479</sup>

Скажем спасибо Петру Карловичу и мы: благодаря его сближению с Лесковым сохранилось множество чудных по откровенности суждений нашего героя о литературном мире, религии, замыслах. Среди самых замечательных — увещевание не оставлять занятий литературой ради разведения виноградников в Крыму, о чем Щебальский было замечтал.

Правда, в письме от 16 апреля, убеждая Щебальского сохранить верность литературе, Лесков тем не менее сравнивает писательство с развратом, от которого трудно отстать, а затем находит сравнение и похлеще:

«У литературы есть своя “священная мерзость”, которую мы весьма походим на жриц публичного разврата. Возьмите Вы и рассуждайте: почему бы уличной женщине не сделаться хорошею женщиной, если ее возьмет замуж честный работник? Ведь теоретики говорят, что она будет *женою*, но на деле она всё-таки останется виконтессой Дюшкуранс (выдуманное Лесковым имя. — М. К.)! Это верно и подтверждено самыми беспристрастными наблюдателями. То же и с литературой: Вы со всем Вашим умом заблуждаетесь, что, сажая виноград, Вы уже и “не заглянули бы ни в газету, ни в журнал”. <...> Ходит в народе глупая сказка, что будто бы три лекаря поспорили, что один глаза у себя вынет и потом вставит, другой еще что-то (не помню), а третий “утробу” вынет себе и назад вложит. Так и сделали и отдали вырезанное спрятать кухарке, а у той ночью крысы “утробу лекаря и съели”. Баба в перепуге заменила эту утробу свиною, а лекарь ее себе вставил и начал жить, но только всю жизнь потом удивлялся, что “что, говорит, я ни ем: всякие шоколады и фруктеры, а всё после г...ца хочется”. Вот Вам подобие силы литературной жизни, к которой *тянет* и из губернаторских кабинетов, и потянет и из виноградника, и это еще благо, что этого “г...ца хочется”, а то застой, коснение, измельчание»<sup>480</sup>.

Щебальский остался литератором и в свою очередь получал Лескова и критиковал за «Очарованного странника», новизны которого не оценил. Да и во взглядах они расхо-

дились всё дальше. Щебальский сотрудничал с «Русским вестником», был одним из самых порядочных и уравновешенных литераторов катковского круга и хранил ему верность; Лесков, отойдя от журнала, охладел и к Петру Карловичу. Подлинная дружба не состоялась и здесь.

Еще одна важная фигура среди тех, кто мог бы стать Лескову если не задушевым другом, то хотя бы близким приятелем, — Алексей Сергеевич Суворин, журналист, писатель, критик, а потом и крупный издатель, тоже выходец из разночинной среды, «сам себя сделавший» в 1860-е годы. Но и в этот раз не случилось — у них были лишь неотменимая общность судьбы и, по выражению исследовательницы О. Е. Майоровой, «пожизненный диалог» чрезвычайной интенсивности<sup>481</sup>. «Чего только не претерпевали они! То яростная вражда, то трудно постижимое полуприятельство, никогда простое дружество, всегда взаимное недоверие, органическая предубежденность, нерасположение»<sup>482</sup>, — комментировал их отношения А. Н. Лесков.

Они вместе начинали. Е. В. Салиас-де-Турнемир пригласила в Москву не только Лескова, но и Суворина, и он стал секретарем «Русской речи» и ответственным за критический отдел. Сын крестьянина и поповны, выпускник кадетского корпуса, Суворин поначалу, по приезде из Воронежа, чувствовал себя в литературной среде крайне неловко, новичком и простачком. По его воспоминаниям, более опытный Лесков тогда «пылал либерализмом» и посвящал неискушенного собрата по перу «в тайны петербургской журналистики»: «Я был в то время ужасно робок и скромненький и слушал г. Лескова как оракула. Некоторые выражения его до сих пор остались у меня в голове, например, “народ — это чиновник”»<sup>483</sup>.

Расклад довольно быстро переменялся. Лесков стал править, Суворин еще долго оставался умеренным либералом. В начале 1860-х он начал писать рассказы из народного быта, на которые имел право хотя бы в силу происхождения (отец его, государственный крестьянин, дослужился до капитана и так получил потомственное дворянство). Подобно многим шестидесятникам Суворин старался избегать идеализации крестьян. Отчасти предвосхищая Лескова, он конструировал рассказчика из народной среды и в своей прозе тяготел к анекдоту<sup>484</sup>. Суворин стремительно развивался: читал, занимался самообразованием; вскоре перо его, уже

отточенное, заблистало в «Санкт-Петербургских ведомостях». Скрывшись за литературной маской Незнакомца, он публиковал язвительные фельетоны, направленные против консерваторов: В. П. Мещерского, М. Н. Каткова, иногда и Лескова — как, например, цитировавшуюся выше заметку о «Некуда» и ее авторе, которую Алексей Сергеевич со значением подписал «Знакомый г. Стебницкого». Лесков в публицистике тоже не щадил «госпоина Незнакомца»<sup>485</sup>, но тот обычно просто не отвечал на его нападки.

В первой половине 1870-х годов после долгого охлаждения началось их постепенное сближение, они общались и переписывались затем многие годы. Когда в январе 1875-го из-за смены редактора «Санкт-Петербургских ведомостей» Суворин покинул газету, именно Лесков предложил ему помощь<sup>486</sup>. В 1876 году, начав издание газеты «Новое время», Суворин пригласил старого знакомого к постоянному сотрудничеству, и до начала 1880-х газета постоянно публиковала его статьи, рецензии, небольшие заметки, легенды, а иногда и положительные отзывы на его произведения.

Открыв собственную типографию, Суворин выпустил несколько изданий «Некуда»; в серии «Дешевая библиотека» неоднократно выходили повести Лескова о праведниках. А в 1889 году Суворин сделал Лескову поистине царское предложение — издать собрание сочинений (оно стало единственным прижизненным). Возможно, оттого, что они принадлежали к одному поколению и ходили похожими путями, в их отношениях присутствовала состязательность. В 1889 году, например, Суворин вступил в литературное соревнование с Лесковым, напечатавшим в одиннадцатом номере «Русской мысли» легенду «Аскалонский злодей», — опубликовал в «Новом времени» от 25 декабря собственную историю на тот же сюжет из Пролога\*, назвав ее «Аскалонская верность».

Лесков рассказывает, как жена купца, попавшего в тюрьму за долги, отказывается освободить мужа ценой своей чести. Разбойник, пораженный ее целомудрием, открыл ей место, где лежит клад, и та заплатила за мужа. В рассказе Суворина, лишенном лесковских деталей и украшений, купца освобождает его друг, но затем признаётся, что

---

\* Пролог — сборник кратких житий святых, назидательных повестей и поучений Святых Отцов, расположенных по датам церковного календаря. Получил название из-за ошибки переводчиков с греческого языка на церковнославянский, принявших подзаголовок «Πρόλογος» («Предисловие») за заглавие всей книги.

деньги на выкуп нажиты несправедливым путем<sup>487</sup>. Алексей Сергеевич словно бы преподавал Николаю Семеновичу не литературный, а нравственный урок: не всякое даяние благо. Очень вероятно, что в такой интерпретации проложного сюжета он последовал за Бурениным, упрекнувшим Лескова как раз в том, что герои «Аскалонского злодея» не погнушались «грязными» деньгами, добытыми разбоем. Тем не менее Суворин сопроводил свой рассказ комплиментарным примечанием, в котором похвалил лесковские переложения\* и даже указал, что не согласен с Бурениным и считает литературные обработки древних легенд делом полезным.

Лесков явно не ждал этой похвалы! Тем более не ждал, что издатель «Нового времени», по сути, защитит его от нападков своего ведущего критика. Он немедленно отправил Суворину письмо:

«Я глубоко тронут, потрясен и взволнован припискою, которую Вы сделали под Вашим сегодняшним рассказом. Волнение мешает мне говорить и о самом рассказе и о том, что я чувствую к Вам в эти минуты»<sup>488</sup>.

Но ничего особенно трогательного в происходящем, кажется, не было. В примечании Суворин Лескова похвалил, от Буренина защитил, но рассказ-то свой написал в полном соответствии с буренинскими идеями, в пику лесковским.

Эти двусмысленность, мерцание оттенков, отсутствие прозрачности и прямоты сопровождали их отношения до самого конца.

Лишь однажды (видимо, еще до истории с легендами) между ними вдруг вспыхнуло доверие без оговорок, но со-

---

\* «...Много начитанности, труда и таланта вложил в свою повесть Н. С. Лесков. Моя задача была легче, ибо я почти не касался бытовой стороны, которой, напротив, Н. С. занялся с особенною любовью. Если читатель, знакомый с «Аскалонским злодеем», найдет досуг для прочтения моей переработки, он увидит, что в двух рассказах на одну и ту же тему нет ничего общего, кроме темы. Я не разделяю мнения В. П. Буренина, что легенды «Пролога» будто бы незачем обрабатывать, не разделяю не только потому, что в этом сам я повинен, но и потому, что легенды эти, обработанные искусно, могут преобразиться в такие прекрасные вещи, как «Аза» того же Н. С. Лескова, который и открыл этот новый источник для рассказов на нравственные и религиозные темы...» (цит. по: *Айзеншток И. Я.* Примечания // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 746).

всем краткое, буквально длиной в несколько мгновений. «Я помню две минуты в нашей жизни, когда мы пошли друг к другу...»<sup>489</sup> — писал Лесков Суворину 20 октября 1889 года. Возможно, именно об этом дне вспоминает сын Лескова, рассказывая, как однажды зимним морозным вечером к ним в дом вдруг явился Суворин «в одном хорошо запорошенном снегом сюртуке, без шапки»: «Захлопнув выходные двери, Паша (горничная. — М. К.), за которою увязываюсь и я, бежит доложить хозяйке о непостижимом пришельце. Вскоре же быстро входит отец: “Ради бога, как можно скорее горячего, очень горячего чая с ромом и побольше рома. Это Суворин. У него большое горе. Потом расскажу. Он безо всего пришел... обморозился... Главное — сейчас же отогреть. В ужасном, подавленном состоянии. Поскорее, пожалуйста!” Общий переполох. Час-полтора спустя приводят с ближайшей “биржи” карету. Отец одевает Суворина в свою запасную медвежью шубу, меховую шапку, заставляет одеть большие теплые боты и увозит его. Все взволнованы. Пока ничего толком не известно. Меня посылают спать»<sup>490</sup>.

Нет, для искренней дружбы слишком, слишком многое они должны были друг другу простить. «Какое-то неизбывное противоречие подтачивало их отношения. “Живая потребность говорить от души к душе”, болезненная жажда откровенности и не иссякали, и не утолялись. Всегда оставалось нечто недосказанное, всегда сквозила фальшь — то в самоуничижительных похвалах (“Ваши дарования богаче моих”), то в весьма язвительном выражении сочувствия (“не хочу... смущать покой Вашей больной и самоистязующей души”))»<sup>491</sup>, — очень точно описывает их отношения О. Е. Майорова.

В 1892 году, уже тяжелобольной, Лесков вернул Суворину — единственному из своих корреспондентов — все его письма:

«...есть толки, будто я вел записки и оставляю в них рас-  
плату с людьми, которые обходились со мною не с добром.  
А так как это — ложь, то я послал Вам Ваши письма, чтобы  
Вы их уничтожили сами»<sup>492</sup>.

Он знал мнительность Суворина, его страх перед собственной откровенностью и, предчувствуя скорый конец, сделал благородный и вместе с тем театральный жест — отдал несостоявшемуся другу его письма.

В 1880-е годы его добрым младшим приятелем стал Сергей Терпигорев. Но в близких, почти фамильярных отношениях с ним, полных взаимных шуток и шпилек, всё-таки не было равенства, предписываемого дружбой. Лесков обошелся в своей жизни без друзей.

## Театральный роман

В конце 1860-х промелькнул роман Лескова с театром, недолгий и не слишком счастливый. Лесков сочинил единственную в своей жизни пьесу «Расточитель», во многом, кажется, из материальных соображений. В мае 1867-го он явно нуждался в деньгах — терпеть не мог брать в долг, но тут в отчаянии всё же обратился в Литературный фонд с просьбой о ссуде под будущий гонорар от «Расточителя»:

«Три акта этой пьесы готовы, два остальные я надеюсь дописать к будущему сезону; в покупке на нее в журнал не сомневаюсь, в допущении на сцену тоже; но угрожающая привычка питаться, от которой до сих пор меня не отучила жизнь русского литератора, заставляет меня, отложив листы сочиняемой драмы, писать на этом листе к Вашему превосходительству это письмо с просьбою помочь мне. Я прошу Литературный фонд обеспечить мне пять месяцев жизни, ссудив меня пятьюстами руб. серебром, которые обязываюсь заплатить к новому году с десятью процентами в пользу сумм Фонда. Средства для отдачи этого долга я имею: эти средства — моя драма и получение долга с бобыркинского имения\*, назначенного в продажу; средства же не умереть с голода и продолжать работу без такого пособия Фонда решительно не вижу»<sup>493</sup>.

В удовлетворении просьбы Лескову было отказано, тем не менее драму он всё-таки написал. Подписанная псевдонимом «М. Стебницкий», она была напечатана в журнале «Литературная библиотека» Юрия Богушевича, а вскоре поставлена в Петербурге на сцене Александринского театра.

Премьера состоялась 1 ноября 1867 года в бенефис Елизаветы Левкеевой, исполнившей роль жены главного героя-страдальца Молчанова — естественно, стервы с низ-

---

\* Выше в этом же письме Лесков упоминает, что журнал «Библиотека для чтения» остался ему должен 4950 рублей, а П. Д. Бобыркин обещал вернуть долг из денег, которые предполагал выручить от продажи имения.



менными интересами, сживающей мужа со свету. Молчанова пылко и с большим воодушевлением сыграл один из лучших актеров театра Александр Нильский. Директор императорских театров Степан Александрович Геденов благоволил Лескову и позволил ему принимать в постановке непосредственное участие. На роль главного злодея, купца Фирса Князева, подчинившего весь город, Лесков подыскал актера со стороны Николая Зубова, и тот справился блестяще. Это оказалось не так просто: краски в «Расточителе» были сгущены — кажется, Лесков хотел сочинить социальную просветительскую драму о самоуправстве одних и бессилии других, а написал чувствительную мелодраму с отравлениями, любовью до смерти, черной ненавистью, сумасшедшим домом, жуткой бурей и поджогом.

Зрителей все эти страсти задели за живое — автора вызывали несколько раз, и он кланялся из ложи. За сезон прошли еще шесть спектаклей, что не так мало. 24 декабря следующего года «Расточителя» поставил московский Малый театр в бенефис Елены Чумаковской, но эта премьера получилась, по-видимому, негромкой.

Критика не разделила восторгов невзыскательной публики, обозвала пьесу «Раздражителем» и выбрала от всей души, высмеяв за избыток мелодраматизма и бульварщину. Отдельного неодобрения заслужило сдержанное отношение автора к реформе, введившей гласность суда. Лесков, в сущности, призывал спроецировать красивые идеи на реальную жизнь провинциального русского города, в котором царствовали свои законы и авторитеты (Фирсу Князеву новые судебные формы позволили добиться выгодного ему решения), но его по привычке обвинили в мракобесии.

Скорее всего, даже самому доброжелательному читателю было ясно, что эстетическая критика лесковской пьесы во многом справедлива. Сценический жанр требовал совершенно особых навыков, которыми дебютировавший в нем Лесков не обладал: переборщил с мелодраматическими эффектами, не смог избежать повествовательности, наконец, как уже говорилось, немало позаимствовал у самых известных сочинителей, от Гоголя и Островского до Сухово-Кобылина и знаменитого французского автора Виктора Дюканжа — всё это усиливало ощущение вторичности. И всё же Лесков не без оснований подозревал, что сам тон этих откликов вызван не столько особенностями пьесы, сколько его репутацией.

И вдруг случилось невероятное: журнал «Литературная библиотека» опубликовал положительную рецензию<sup>494</sup>. Не назвавшийся доброжелатель защищал пьесу от всех нападок, а ее автора буквально превозносил за отважную борьбу с нигилистами:

«Г[осподин] Стебницкий в своем “Расточителе” остался тем же свободно мыслящим и смелым писателем, каким он явился несколько лет тому назад в романе “Некуда”. Как тогда, в самый разгар молодого нигилизма, г. Стебницкий отважно приподнял завесу (приподнял, впрочем, далеко не всю завесу, а только чуть-чуть, один краешек) с клоак, из которых назначено разливаться по лицу русской земли одуряющему зелью, — так и теперь, в эпоху злостно-сентиментально-патриотической маниловщины, в которую нигилизм облекся, как волк в овечью шкуру, в эту эпоху фарисейского, пресмыкающегося народолюбия... г. Стебницкий с тою же смелостью попытался изобразить, согласно с действительностью, укромный мирок самоуправства, величаемого у нас самоуправлением. Вот всё, что сделал г. Стебницкий. Но тому, кому известны лживость и ехидство или козлогласие уст, произносящих приговоры по вопросам нашей жизни и гамом своим заглушающих всякое свободное мнение, — тому нетрудно понять, что ничего, кроме ярости и глумления, не мог встретить автор “Расточителя”, принадлежащий к числу тех немногих, которые не запаслись в известной кумирне никаким идолом и остаются верными культу здравого смысла и честной правды (есть правда и бесчестная)»<sup>495</sup>.

Восхищаясь здравомыслием «господина Стебницкого», благожелательный аноним откликнулся и на упреки в неправдоподобии сюжетных коллизий пьесы: «А что же невероятного в “Расточителе”? <...> Может быть, невероятны сладострастные порывы одного действующего лица, пылкая и самоотверженная любовь другого, похищение документов, отравление, поджог, насильственное заключение в сумасшедший дом и бегство из него, юродивый, слепая старуха, пьянствующая сходка? Да что же невероятного и невозможного в каждом из этих явлений? — газетные хроники переполнены ими»<sup>496</sup>.

Если уж кто и проявил смелость, так это таинственный доброжелатель, пусть и не подписавший свой обзор, но вставший на защиту гонимого. Кто же он?

Аноним был вычислен почти немедленно — слишком уж неумеренные похвалы он расточал пьесе, слишком

яростно проклинал нигилистов, прибегая к узнаваемой риторике: «одуряющее зелье» нигилистического учения, «козлогласие уст». Это был... сам Николай Семенович Лесков, сочинивший оправдательную рецензию на свою драму!

«Искра» сейчас же отозвалась ехидной стихотворной пародией:

Словом, дельную пиесу разгромили просто в пух,  
От журнальных этих боссов и отек я, и опух.  
Да, досталось! Заступился за пиесу лишь один  
Предобрейший, преумнейший, премилейший господин.

Моему произведенью расточил он тьму похвал.  
Ах, с каким бы наслаждением я его расцеловал!  
Но, к несчастью, невозможно мне прильнуть к его устам, —  
Господин, меня хваливший за трагедию, — я сам<sup>497</sup>.

Вместо триумфа — новый казус и позор.

Лесков выдал себя не только восторгами и упоминанием «козлогласия», но и аргументами в защиту пьесы. Отвечая на упреки в неправдоподобии, он кивает на жизнь, на «газетные хроники» — это очень в его духе.

Всю вторую половину 1860-х годов он постоянно ходил в театр и писал обзоры постановок русских пьес. Он начал с «Отечественных записок». Краевский почти открыто морщился, но его соредактор Степан Семенович Дудышкин ценил лесковский талант и берег любимого автора от барского гнева. В театральных обзорах Лесков не скрывал, что самое интересное для него — актуальность пьесы, умение автора затронуть злободневные проблемы. Он бегло оценивал актерскую игру, почти никогда не писал об эстетическом измерении текста — разве что однажды хорошенько изругал новую комедию Боборыкина (на которого после истории с публикацией «Некуда» имел зуб) за «бестолковость» построения и небрежность отделки, назвав автора «очень бездарным писателем». Но обычно его занимало исключительно общественное звучание пьесы. Например, рецензия на постановку в Александринском театре комедии «Гражданский брак» Николая Чернявского превращается в длинные рассуждения Лескова о семейном вопросе в российском обществе. Да и «Расточителя» он написал отчасти в пику Островскому, который в середине 1860-х отошел от «купеческой» темы и начал сочинять исторические хроники. Лесков огорчился и словно бы подсказывал любимому

драматургу: жизнь нынешнего крупного купеческого города тоже может стать источником страстей, вполне шекспировских по накалу, так что сбегать за ними в историю необязательно.

Заинтересованность в общественной стороне дела в итоге привела к постепенному охлаждению Лескова к театральной теме и погружению в публицистику на злобу дня. Но еще перед его прощанием с театром приключилось несчастье.

### Странный случай

Сентябрь с расслабленной, чуть лукавой улыбкой перешагнул через середину, а лето словно и не думало глядеть в календарь — нежилось, грело. Дни стояли жаркие, ночи были теплы. В черном небе сияла луна, казалось, еще немного — и всё начнется заново: шелкнет и заколотит соловей, дохнет сиренью.

Петербуржцы дивились, пытались припомнить, когда осень так щедро баловала их погожими деньками, но так и не смогли. Дачники день за днем откладывали возвращение в город.

Степан Семенович Дудышкин вторую неделю зазывал всех к себе на дачу в Павловск, гулять и закрывать сезон.

Отправились в воскресенье большой, сложившейся уже компанией близких к «Отечественным запискам» авторов: Крестовский, Соловьев, Майков, Тимирязев и, к радости Лескова, Ефим Зарин, дьяконский сын, любимый приятель еще с пензенской поры\*. В Пензе Зарин прославился едкими памфлетами на тогдашнего губернатора А. А. Панчулидзева, которые переписывались и ходили по рукам. В Петербурге они заново подружились. Зарин с женой жил неподалеку, на Фурштатской, и часто принимал у себя ту же компанию, своего брата «постепеновца» и разночинца, сторонника изящной, а не социальной словесности, любителя народной культуры.

---

\* *Николай Иванович Соловьев* (1831—1874) — литературный критик, сотрудник журналов «Эпоха» и «Отечественные записки». *Леонид Николаевич Майков* (1839—1900) — филолог, сын живописца Николая Майкова, младший брат Аполлона, Валериана и Владимира Майковых. *Василий Аркадьевич Тимирязев* (1841—1912) — литератор, журналист, театральный критик. *Ефим Федорович Зарин* (1829—1892) — переводчик Байрона, литературный критик.

Шумно расселись в поезде, всю дорогу проговорили о литературе, о том, что уж теперь-то, когда Некрасов остался без «Современника», «Отечественные записки», несомненно, взлетят и прославятся. Немножко сплетничали, подтрунивали над Крестовским: он зачем-то купил на вокзале два пирожка с мясом, но всё не ел — берёт; пирожки распространяли сытный и несколько подозрительный запах. Добрый Лесков предрек «брату Всеволоду» немедленную кончину, тот, вопреки обыкновению, отмолчался, лишь смешно завращал глазами. А перед самым Павловском съел наконец свою добычу.

Степан Семенович, ладный, загорелый и крепкий, в легком летнем костюме и светлой шляпе с темно-синей лентой, встретил их на вокзале, повел к себе завтракать.

После завтрака двинулись гулять.

Чудный, совсем еще густой, но уже накинувший дырчатую золотую шаль парк с темной речкой Славянкой, изящными мостиками, позеленевшими статуями, павильонами — они бродили до самого обеда, болтали, дышали. Цвел шиповник, порхали бабочки, в глубине парка пахло грибами, сухой хвоей и едва уловимой горечью. В середине прогулки Крестовский внезапно побледнел и стремительно их покинул. Все многозначительно переглянулись и не выдержали, расхохотались: не иначе пирожки!

Начали вспоминать похожие случаи. Дудышкин рассказал, как по той же причине занемог однажды при нем Тургенев, изобразил бархатную, слегка капризную манеру, с которой Иван Сергеевич сообщил по-французски, что вынужден незамедлительно удалиться... Тут Дудышкин сделал препотешный прыжок, показывая, как Тургенев побежал в кусты; все так и покатались со смеху. Следующим Степан Семенович показал Писемского, заболевшего раз на дружеских посиделках тем же недугом: закрихтел, запричитал, согнулся — и снова все расхохотались: как есть Феофилактыч. Смех расшалившихся литераторов бился по аллеям, играл в салочки с соснами, пугая белок. Парочки и бонны с детьми обходили шумных бородачей стороной.

Нагулявшись всласть, отправились на дачу обедать. Бульон с тимьяном благоухал, жаркое из телятины исчезло в два мгновения — после прогулки всё казалось необыкновенно вкусным. Вина выпили умеренно, две бутылки на всю компанию.

Дудышкин по-прежнему царил, много каламбурил, шутил; казалось, он один вовсе не утомился после прогулки.

Был свеж, бодр, обещал, что завтра непременно отправится на заре пострелять дупелей с любимой Волей — рыжей, мускулистой легавой, которую представил гостям еще утром, вместе с близкой ее родней, брылястым кобелем Хватом, и пожилой Зорькой, как сообщил хозяин, несколько потерявшей в скорости, но не утратившей фантастического чутья.

«Брат Всеволод» совершенно поправился, выхлебал даже тарелочку бульона. Под конец обеда напились чаю, закусили яблочным пирогом, благо урожай яблок выдался в этом году изрядным, и наконец поднялись. Уже вечерело, потянуло прохладой.

Степан Семенович проводил гостей до поезда, улыбался ласково, помахал с перрона шляпой, до того веселый и славный, что и отъехав, они поговорили о нем с удовольствием. «Живое отрицание смерти», — многозначительно заметил Майков, и все согласились.

Вернулись затемно, в городе уже зажгли фонари. Лесков и Зарин, оба жившие на Фурштатской, поехали на извозчике вместе. Хотелось поскорее попасть домой. К вечеру сильно похолодало, и впервые подумалось: вот и осень. Догнала всё-таки! А там и зима утренним инеем проступит на траве.

Дома его встретила Екатерина Степановна, приняла сюртук, обняла, но выглядела тоже уставшей: час был поздний. Ужинать Николай Семенович не захотел, да и не в силах был, сразу лег.

Утром он проснулся раньше обычного, еще в сумерках, от смутной тревоги, скребушей сердце. Что такое? Стал вспоминать вчерашнее путешествие. Ни сучка, ни задоринки, всё лилось так свободно, так счастливо, как когда-то в молодости. Орловский мальчишник — вот на что это было похоже! Дудышкин, кажется, выделял его из всех гостей, был с ним приветлив, о Краевском говорил осторожно, слегка сквозь зубы, и всё звал публиковаться в их журнале, ничем не смущаясь, заверял, что убережет от всех нападок. Странно — с ним Лесков в самом деле чувствовал себя защищенным. Что же случилось, отчего тревога?

Он сел за работу. Часы пробили семь раз. Он дописывал «Островитян», торопился, первая часть должна была пойти в ноябрьскую книжку «Отечественных записок», вчера Дудышкин это еще раз подтвердил. Время летело. Внезапно в дверь постучали. Лесков застыл. И сейчас же понял, кто стучит, для чего, знал, что увидит смятенное лицо, большой лоб, растерянные глаза.

Так и оказалось: на пороге мялся Зарин, понурый, серый, с всклокоченной бородой.

Он стоял недвижно, словно не решаясь сказать, для чего пришел.

— Знаете ли, что случилось? — выговорил он, наконец, запинаясь.

Николай Семенович понял, что знает это с самого утра, с тех пор, как поднялся и ощутил необъяснимую тревогу. Вот и объяснение.

— Знаю, — отвечал, не в силах подняться. — Дудышкин умер.

Зарин расширил глаза. Помолчал с минуту, подумал, наконец заговорил.

— Почему вы это знаете? Кто сообщил вам? Когда?

Но Лесков и сам не мог этого сказать. Полный сил, здоровый, загорелый Дудышкин, который вчера принимал их в своем доме, усадил в вагон и махал шляпой вслед, был мертв. Лесков знал это так же несомненно, как и то, что умер Степан Семенович на рассвете. Упал в лесу и не поднялся, несмотря на скулеж умной Воли, которая и позвала потом людей.

— На охоте?

— Да, — подтвердил Зарин. — Удар. Телеграмма пришла в одиннадцать часов утра.

Девятнадцатого сентября на похоронах Дудышкина Лескову дали слово. Он собирался сказать, что покойный был прямодушный, веселый, добрый и умный человек, что без таких, как Семен Степанович, русская литература да и русская жизнь... Вышел — и не смог выговорить ни слова. Добрый, умный, веселый человек лежал перед ним во гробе желтый, мертвый.

### **Крепостничество духовное**

Случай этот настолько поразил Лескова, что много лет спустя, в 1889 году, в деталях был пересказан им в статье «Странный случай при смерти Дудышкина (Литературные воспоминания)»<sup>498</sup> и, кажется, послужил сюжетной основой рассказа «Белый орел», обыгрывающего мотив внезапной смерти человека в расцвете сил. Любопытно, что похожая история повторилась потом в связи со смертью Артура Бенни, которую Лесков, по собственным его словам, также почувствовал до всяких официальных сообщений<sup>499</sup>.

Больше никогда уже у Лескова не было такого доброжелательного и заинтересованного издателя. Однако и после смерти Дудышкина «Отечественные записки» продолжали его публиковать — еще около года, пока журнал не купил Некрасов.

На рубеже 1860—1870-х годов Лесков начинает сотрудничать сразу с несколькими изданиями — с умеренно-либеральными «Биржевыми ведомостями» и «Вечерней газетой» (1869—1871), а дольше всего с консервативной, но без крайностей, газетой «Русский мир» (1871—1874)<sup>500</sup>. Как и прежде, он работает «в поте лица и в мозге костей своих»<sup>501</sup>, не просто отсылает в редакцию заметки, но и со всей пылкостью темперамента участвует в редакционной политике и издательской жизни.

«Редакция, к которой он примыкал, становилась для него предметом ежедневных, горячих, страстных разговоров и суждений. Он входил во все подробности организации, изумлялся и кипел, пожимал плечами, выкапывал откуда-то редакционные и сотрудничество тайны, вставал на дыбы при появлении нового лица и отмечал никому не приметные повороты в отношениях. При свойственной ему вообще несдержанности, это непрерывное кипение в каком-то им самим созданном для себя котле могло ошеломить. Но оно не угнетало постороннего наблюдателя, потому что желчное раздражение у Лескова быстро переходило в великолепный юмор, тотчас успокаивавший его самого. В нем просыпался художник, и разговор его делался чрезвычайно занимательным»<sup>502</sup>, — вспоминал коллега, а иногда и соавтор Лескова по «Русскому миру» Василий Григорьевич Авсеенко. Литератор консервативного толка, в своих еженедельных обзорах он поддерживал беллетристов «Русского вестника» и язвил в адрес писателей из демократического лагеря, что не мешало ему оставаться тонким и наблюдательным критиком, особенно в разборах авторов «внепартийных» — Тютчева, Полонского, Льва Толстого.

В «Биржевые ведомости» и «Русский мир» Лесков писал еженедельные обзоры о внутренней жизни России.

Его по-прежнему занимало русское «разноверие». В «Биржевых ведомостях» он публиковал статьи о скопчестве и хлыстовстве, видя в появлении староверов и сектантов общую причину: их убежденность, что «Церкви уже нет»<sup>503</sup>. Лесков говорил о сектантах без надменности, не сомневаясь, что очередная версия истинной Церкви порождена «напряженностью религиозного чувства», что и в



скопчестве есть «светлая сторона» — «стремление к полной девственной чистоте как к высшему возможному для христианина совершенству»<sup>504</sup>. Он не видел глубоких отличий между скопческим «баснословием», греческой мифологией и слухами о Чичикове—Наполеоне в «Мертвых душах», а также «социалистическими таинствами», которые Чернышевский проповедовал в «Что делать?». Всё это одно, и бороться с этими искажениями можно, лишь открыто их обсуждая: «Заблуждение боится света, и чудовища выползают больше ночью»<sup>505</sup> — логика, знакомая нам по лесковским статьям о старообрядческих школах.

В обозрениях он напоминает, что Россия страдает всё от тех же бед: дорог (теперь, правда, железных, но тоже часто неисправных), разбойников, воров, пьянства. Он перечисляет ужасы, вычитанные в «Харьковских ведомостях» и «Одесских ведомостях»: в одном месте грабители «жгут свечью тело больного старика и старой служанки, намазывают их смолою и зажигают», в другом вешают тех, кого грабят. Воруют и мошенничают в Киеве. Пьянствуют в Одессе — на улицах «замечается большое число пьяных мальчиков 11—14 лет; еле держась на ногах, они шагают от одного трактира до другого, падают в грязь и произносят громкие ругательства»<sup>506</sup>. «Нужен, нужен стране *школьный учитель*»<sup>507</sup>, — заключает Лесков.

В другой заметке он пишет, что дело освобождения, начатое Крестьянской реформой, необходимо продолжать:

«Есть у нас, на Руси, действительно фатальная сила, и не одну уже могучую натуру сломала она. Прежде то было крепостное право, теперь это — крепостничество духовное, отсутствие именно в простом народе школ, образования, вообще всех тех элементов, которые прекрасно выражаются словом — “просвещение”»<sup>508</sup>.

В этой же заметке Лесков подробно анализирует убийство австрийского военного посланника князя Людвиг фон Аренсберга: 25 апреля 1871 года того с целью ограбления задушили подушкой бывший «кухонный мужик» князя Гурий Шишков и купеческий сын Петр Гребенщиков. Убийц поймали, и они во всём сознались. Это был нашумевший уголовный процесс, который широко обсуждался в Петербурге. В посвященной этому делу заметке Лесков пишет, что подсудимые — вовсе не изверги, причины преступления — «нравственная неразвитость» и дурное воспи-

тание, а значит, единственное средство против нарушений закона — образование<sup>509</sup>.

Просвещение должно коснуться и института брака — установить уважительные отношения между супругами, помочь преодолеть семейную тиранию, которая, не забывает напомнить автор, «может исходить не исключительно от мужчины»<sup>510</sup>, и аккуратно приводит несколько примеров, когда именно жена оскорбляла и мучила мужа.

Но в ряду уже обсуждавшихся в 1860-е годы тем появилась и новая.

Лесков пытался найти опору для движения вперед, обозначив ее очертания в программной статье «Общественные заметки», опубликованной в первом номере «Русского мира». Эту газету он надеялся сделать изданием, идейно близким катковским «Московским ведомостям» и «Русскому вестнику», еще одной площадкой борьбы с радикально настроенной молодежью и создания гражданского общества. Правда, с Катковым его всерьез сближала лишь нелюбовь к нигилистам — катковские просвещенный бюрократизм и государственничество были ему чужды.

В «Общественных заметках», открывавших «Русский мир» (1 сентября 1871 года), Лесков отмечает, что современное российское общество колеблется между самодовольством, особенно сильно охватившим его во время Крымской войны, и отрицанием способности России «устроиться достойным и солидным образом»<sup>511</sup>. Связь между поколениями утрачивается, как и вера в себя, поэтому и «материалистический нигилизм» в России, в отличие от Европы, приобрел наиболее безобразные и крайние формы: здесь некому было дать ему отпор, «активные и в то же время консервативные силы общества» оказались бессильны и пассивны. Случилось всё это, потому что «погиб идеал как прежнего рыцарственного человека киевского, так и твердого собирателя московского, а начал разводиться новый тип людей безличных, тип, выработанный периодом разрыва с прошлым»<sup>512</sup>. Чтобы противостоять этому безличию и стертости людей, нужно прекратить отрывать «новые поколения от преданий, в которых созидались и крепили характеры предков». Источник обновления — в лучших явлениях и людях прошлого.

Ради преодоления разрыва между поколениями, поиска идеала и понимания сути русского национального характера во многом и писались «Соборяне» (1872), «Запечатленный ангел» (1873), «Очарованный странник» (1873),

«Захудалый род» (1874). В каждом из этих текстов Лесков пытался навести мосты с недавней и далекой стариной, патриархальностью и вернуть в художественную прозу русских богатырей.

### Сказка о трех богатырях

Выход в «Русском вестнике» (с четвертого по седьмой номер за 1872 год) романа-хроники «Соборяне» обозначил перелом и на пути Лескова, и в истории русской литературы.

С одной стороны, этот роман, как и многие другие художественные тексты Лескова, родился из пены дней — в его черновую рукопись были вклеены вырезки из «Биржевых ведомостей», питавших авторский замысел<sup>513</sup>. На рубеже 1850—1860-х годов, помимо «женского» и «тюремного» вопросов, в светской и стремительно расширяющейся церковной печати\* началось бурное обсуждение положения духовенства, его быта и нравственного облика, а также духовного образования в России, отношений Церкви и государства, возможных направлений церковной реформы<sup>514</sup>. Выход за границей откровенной и мрачной брошюры отца Иоанна Беллюстина (на нее сошлется персонаж Лескова, отец Савелий Туберозов) «Описание быта сельского духовенства» (1858) о причинах униженности русского духовного сословия, а затем и публикация, уже в России, «Очерков бурсы» Помяловского (1862—1863) об изнанке семинарского образования только подхлестнули дискуссию.

С другой стороны, Лесков совершил сразу три небывалые в русской прозе вещи, перенесшие «Соборян» из сиюминутного контекста в литературную вечность.

Во-первых, он дал голос прежде молчаливому в литературе духовному сословию. «Нотатки» протоиерея Савелия Туберозова в его «демикотеновой книге» — текст

---

\* Помимо уже выходивших «Христианского чтения» и «Воскресного чтения», появились новые журналы: в 1855 году — «Православный собеседник» (Казань); в 1860-м — «Православное обозрение», «Душеполезное чтение» (Москва), «Странник» (Санкт-Петербург), «Руководство для сельских пастырей», «Труды Киевской духовной академии» (Киев), а также первые «Епархиальные ведомости» (Одесса); в 1861 году — «Дух христианина» (Петербург); в 1862-м — «Духовный вестник» (Харьков).

редкий по насыщенности и психологической, и бытовой, и языковой и, пожалуй, лучшее, что есть в этой книге. Священники и семинаристы на ключевых ролях появлялись в русской прозе и прежде: в повестях Н. Д. Хвощинской «Баритон», М. И. Осокина «Ливанов», Н. А. Благовещенского «На погосте», Ф. М. Решетникова «Ставленник», романа Н. Ф. Бунакова «Озерской приход»<sup>515</sup>; но их героям не доставало непосредственности и жизни, они получались картонными, авторов словно бы сковывало благоговение перед духовным саном. И только Лесков в «Соборянах» сумел сделать с духовенством примерно то же, что за 20 лет до того Тургенев в «Записках охотника» с крестьянами: рассказал о клириках как о людях — со своей психологией, со своей особенной манерой говорить и мыслить.

Во-вторых, в «Соборянах» он запечатлел совершенно новые для литературы типы, оформившиеся не в дворянском, не в купеческом — в духовном сословии. Впервые на страницах русской прозы появились пастырь-ревнитель, пастырь-смирненник и добродушный дьякон-богатырь без царя в голове, описанные с тонкостью и знанием дела.

Наконец, в-третьих, Лесков изобрел новый повествовательный жанр, продемонстрировав на практике, как его изобретение работает. До этого никто романов хрониками не называл.

Страсть Лескова к литературному изобретательству, как уже говорилось, выдвигает его из общего ряда писателей XIX века, авторов реалистического склада, родившихся на грубом шинельном сукне, и объединяет с экспериментаторами XX столетия, авангардистами и модернистами. Раздражение «искусственной и неестественной формой романа» Лесков высказал уже после того, как были написаны «Соборяне», очевидно, опираясь на опыт их создания, — в повести «Детские годы (из воспоминаний Меркула Протоцеева)» (1875):

«Я думаю, что я должен непременно написать свою повесть, или, лучше сказать, — свою исповедь <...> Я не стану усекать одних и раздувать значение других событий: меня к этому не вынуждает искусственная и неестественная форма романа, требующая закругления фабулы и сосредоточения всего около главного центра. В жизни так не бывает. Жизнь человека идет как развивающаяся со скалки хартия, и я ее так просто и буду развивать лентой в предлагаемых мною записках»<sup>516</sup>.


# СОБОРЯНЕ.



СТАРГОРОДСКАЯ ХРОНИКА,




Посвящается графу Алексѣю Константиновичу Толстому.



Н. ЛѢСКОВА.

(Стебницкаго.)



МОСКВА.

Въ Университетской типографіи (Катковъ и К<sup>о</sup>.),  
на Страстномъ бульварѣ.

1872.

Хроника «Соборяне» — книга о милом сердцу Лескова  
провинциальном духовенстве

Как видим, Лесков не хочет дробить повествование на самые выразительные части, предпочитая своеобразный миметизм — передачу естественного течения жизни подходящим художественным языком.

Второй раз Лесков высказался о жанре романа в письме Ф. И. Буслаеву от 1 июня 1877 года. Известный ученый передал ему свою брошюру «О значении современного романа и его задачах» (1877), доказывающую «нераздельное слияние художественных интересов с назидательными» в современном романе, и спровоцировал ответное высказывание. Лесков отстаивал свое право «писать мемуаром», то есть рассказывать историю в форме воспоминания:

«По правде же говоря, форма эта мне кажется очень удобно: она живет, или, лучше сказать, истовее рисовки сценами, в группировке которых и у таких больших мастеров, как Вальтер Скотт, бывает видна натяжка, или то, что люди простые называют: “случается точно, как в романе”»<sup>517</sup>.

Замечательно, что в избранной Лесковым форме хроникального изложения событий искусственности не меньше, чем в «рисовке сценами», не говоря уже о том, что «Соборяне» легко сводимы к набору картин и сцен. Французский исследователь Жан Клод Маркадэ остроумно сравнил этот текст с будущими экспериментами кубистов: Лесков пытается воссоздать пространство путем наложения друг на друга разных аспектов одного объекта: рассказчик в «Соборянах», соединяя разные эпизоды из жизни Старгорода, дневники, анекдоты, создает единый образ трех главных героев и на конструктивном уровне выражает идею соборности — разнообразия в единстве<sup>518</sup>.

«Соборяне» были опубликованы в «Русском вестнике» с подзаголовком «Старгородская хроника» и посвящением графу Алексею Константиновичу Толстому. И подзаголовки, и посвящение обозначали суть той трансформации, которую пережил замысел романа. А формировался он долго, опубликованному варианту предшествовали две редакции: «романическая хроника» «Чающие движения воды», напечатанная в «Отечественных записках» (1867), и «Божedomы» в «Литературной библиотеке» (1868). Обе публикации оборвались на полуслове — в первом случае Лесков

сам остановил печатание, возмущенный тем, что в тексте появились не согласованные с ним сокращения, во втором прекратил существование журнал. Лесков пытался потом дописать «Божедомов»<sup>519</sup>, но так и не дописал — вместо них родились «Соборяне», еще один шедевр, беспримесное наслаждение для читателя.

Но для автора вся эта история обернулась мукой, многослойным страданием, отягощенным еще и скандалом. Лесков отдал «Соборян» в новый журнал «Заря» Василия Владимировича Кашпирёва, получил аванс в 1300 рублей, а параллельно во втором номере катковского «Русского вестника» за 1869 год опубликовал фрагмент хроники «Плодомасовские карлики» — ответвление от основного повествования, развернутую зарисовку на полях. Кашпирёв, увидев знакомых персонажей в другом журнале, страшно рассердился и подал на Лескова судебный иск, требуя возвращения аванса. Лесков предъявил встречный иск, утверждая, что кусочек в полтора листа считаться частью романа не может, и настаивал на выплате полного гонорара за хронику, так и не опубликованную в «Заре». Летом 1869 года в Санкт-Петербургском окружном суде состоялось разбирательство, по итогам которого оба истца получили отказ в удовлетворении претензий<sup>520</sup>.

Но роману-хронике долгий и болезненный путь пошел на пользу. За годы движения к окончательному варианту автор додумал и довершил свое главное изобретение. Логика пути от «Чающих движения воды» и «Божедомов» к «Соборянам» давно разгадана — Лесков последовательно вычищал из текста ссылки на газетную полемику, на общественные и литературные реалии 1860-х годов, мигрируя от многофигурного социального романа о русской провинции к идиллии и сказке<sup>521</sup>, от жизни к житию. Однако и отжатым жмых злободневности тоже шел в дело — Лесков использовал его в романе «На ножах».

Окончательно в старую добрую сказку о трех богатырях «Соборяне» так и не превратились, и всё же в складки ряс обитателей старгородской «поповки» довольно прочно впитался дух чудесных видений и волшебства.

Чем сказка отличается от реалистической истории, объяснит даже школьник: в сказке иначе течет время, пространство имеет другие измерения, не работают законы гравитации, а ее герои мало похожи на настоящих людей. Самое интересное — разобраться, с помощью каких приемов Лесков добивался, чтобы сказочный дух окутал Стар-

город, какие травы и корни бросал в котел, превращая прозрачную воду реалистической прозы в золотой душистый отвар.

Примерный рецепт вырисовывается такой. Лесков смешал хронологию — события, которые могли случиться лишь в 1860-е годы, переносил в 1830—1840-е<sup>522</sup>; раздвигал трехмерное пространство города явлениями из иного мира; сохраняя психологическую достоверность в изображении обитателей «поповки», вполне сознательно подыскивал им мифологических двойников, превращая каждого в чудо-богатыря.

Первым на этой картине высится протоиерей Савелий Туберозов:

«Голова его отлично красива: ее даже позволительно считать образцом мужественной красоты. Волосы Туберозова густы, как грива матерого льва, и белы, как кудри Фидиева Зевса. Они художественно поднимаются могучим чубом над его высоким лбом и тремя крупными волнами падают назад, не достигая плеч»<sup>523</sup>.

Как поднимались кудри Фидиева Зевса, ни Лесков, ни его современники доподлинно знать не могли, как не знаем и мы: величественная статуя бога-громовержца, создание скульптора Фидия, одно из семи чудес света, погибла примерно в V веке н. э. Но обе ссылки — и на льва, и на бога — автору необходимы, чтобы подчеркнуть царскую статью и внутреннее величие героя, как, впрочем, и способность к гневу, уподоблявшую его олимпийскому громовержцу. Интересно, что поп Савелий едва не погиб именно во время грозы: богоподобие не отменило законов природы.

Продуманный мифологический подтекст проявляется и в тщательном подборе имени для каждого персонажа. И имя центрального героя — конечно же, не произвольная фантазия.

По святцам Савелий Туберозов был, вероятнее всего, назван в честь мученика IV века Савелия Персиянина Халкидонского — других святых, носивших это имя, нет. Память Савелия отмечается 17 июня по юлианскому календарю, но в дневнике Туберозов пишет, что его именины 1 июня; вымышленная дата еще раз напоминает, что не о Савелии Персиянине думал Лесков, нарекая героя.

В переводе с древнееврейского *савел* — «тяжелый труд», а *саул* — «испрошенный у Бога», но в толкователях имен и



месяцесловах XIX века эти значения не приводятся. Лесков, скорее всего, назвал своего протопopa именем, производным от Савла, принимая во внимание, что это первоначальное имя апостола Павла. Как известно, до обращения к Христу тот был яростным гонителем Его последователей, а сделавшись христианином, стал адептом и ревнителем новой веры. «Ратай веры» — таков и отец Савелий. Это стержень его личности: он — горячий проповедник и борец за живую Церковь.

Интересно тут вот что: каждый священник, тем более долгие годы прослуживший в одном храме, должен быть окружен великим множеством людей, поскольку хотя бы по долгу службы разделяет все главные радости и скорби своих прихожан: венчает молодых, крестит новорожденных, соборует тяжелобольных, отпевает умерших, утешает скорбящих. Каждый пастырь живет в неизбежном густом человеческом водовороте, тем более такой искренний и добрый, как отец Савелий. Но где же его духовные чада? Их почти не видно. Лишь однажды к Туберозову заглядывает помещица Александра Ивановна Серболова, приехавшая в город помолиться об усопшем муже. Повествователь называет ее «ученицей» Туберозова, которую тот «очень любил и о которой всегда отзывался с самым теплым сочувствием»<sup>524</sup>. Учил он Александру Ивановну, видимо, Закону Божию; но ведь в Старгороде должны были жить десятки других его учеников. О них не сказано ни слова ни повествователем, ни отцом Савелием в его «нотатках». Однако во время гонений на протоиерея прихожане составляют «мирскую просьбу» в его защиту: значит, любят его. Когда и за что они успели так расположиться к своему пастырю, о чем он говорил с ними в личных беседах, остается за пределами повествования — вероятно, еще и потому, что подвиг отца Савелия другой: будить веру, дремлющую в сердцах обывателей. Его боль — в том, что «христианство еще на Руси не проповедано»<sup>525</sup>, что русский народ крестился во Христе, но не облекся в Него, то есть не понял основ христианской веры и не зажил по-евангельски.

Фамилия протопopa — Туберозов — достаточно типична для священника. Названия растений присутствуют во многих фамилиях представителей духовного сословия: в российских приходах служили и Гиацинтовы, и Померанцевы, и Фиалковы, и Цветковы, еще чаще Розановы и

Розовы, встречались и Туберозовы. Давая герою распространенную и в общем нейтральную поповскую фамилию, Лесков играет с семантическими обертонами, сталкивая нежность аромата туберозы с упрямством и горячностью Савла.

В образе Туберозова присутствуют и автобиографические черты: например, дату рукоположения Савелия Лесков приурочил к дню собственного рождения, 4 февраля 1831 года, а заодно подарил протопопу немало своих заветных мыслей и отвращение к «букве», бездушному соблюдению закона, убивающему «Божие живое дело».

С умыслом подобрано и имя для второго богатыря Старгорода, обладателя громадной духовной силы, — Ахиллы Десницына. Право назвать православного дьякона именем воина-язычника из гомеровской «Илиады» у Лескова было: незадолго до создания «Соборян», в 1843 году, состоялась канонизация в лике преподобных дьякона Киево-Печерской лавры Ахилы. Но и этот святой не слишком интересовал Лескова, в отличие от укротителя троянцев: быстроногий Ахиллес, имевший не только разящую врагов десницу, но и уязвимую пятую, безусловно, был спроецирован на образ дьякона Ахиллы, обладающего недюжинной силой, однако не наделенного большим умом и удостоенного эпитета «уязвленный».

Тщедушного попика Захарию Бенефактова богатырем назвать можно лишь в переносном смысле. Он — богатырь смирения:

«Вся его личность есть воплощенная кротость и смирение. Соответственно тому, сколь мало желает заявлять себя кроткий дух его, столь же мало занимает места и его крошечное тело и как бы старается не отяготить собою землю. Он мал, худ, тщедушен и лыс. Две маленькие буколки серо-желтеньких волосинок у него развеваются только над ушами. Косы у него нет никакой. Последние остатки ее исчезли уже давно, да и то была коса столь мизерная, что дьякон Ахилла иначе ее не называл, как мышинный хвостик. Вместо бороды у отца Захарии точно приклеен кусочек губочки. Ручки у него детские, и он их постоянно скрывает и прячет в кармашки своего подрясника. Ножки у него слабые, тоненькие, что называется соломенные, и сам он весь точно сплетен из соломки. Добрейшие серенькие глазки его смотрят быстро, но поднимаются вверх очень редко и сейчас же ищут места, куда бы им спрятаться от нескромного взора»<sup>526</sup>.

Впрочем, у маленького и худенького батюшки множество детей, а дом напоминает птичник. Во время гонений на Савелия он проявит мужество и умрет как праведник в день Святой Пасхи.

Окружают всех этих героев старинного (уже и для 1860-х годов) покроя полуволшебные существа. Один из них — карлик Николай Афанасьевич с тонкой и нежной душой, глядя на которого, протоиерей Савелий впервые произносит заветное слово «сказка»: «Вижу я тебя, Никола, словно милую сказку старую пред собою вижу, с которою умереть бы хотелось»<sup>527</sup>. Именно карлик, бывший шут барыни Плодомасовой, окажется самым последовательным и смелым борцом за восстановление справедливости в отношении Савелия — оксюморонный, очень лесковский ход.

В полумифическом мире Старгорода живут также и праведник Константин (Котин) Пизонский — не совсем мужчина, но и не женщина, — и щедрая дарительница, «бо-ярыня» Марфа Андреевна Плодомасова. Да и супруга Савелия Туберозова, «голубица» Наталья Николаевна, всецело преданная мужу, убежденная, что он мудрее царя Соломона, шагнула в беспокойный XIX век словно из древнего жития или летописного сказания.

Имя Наталья в переводе с латыни значит «родная». Любящая и чуткая жена — щедрый подарок автора любимому герою. Семинаристы часто вынуждены были жениться не на «голубицах», а на деньгах или приходе. Стерпливалось-слюбливалось. Но если в добрую хозяйку, многодетную мать вчерашняя поповна превращалась легко, то в подхватывающую каждое душевное движение мужа подругу — крайне редко. В «Соборях» отношения супругов полны светлой тишины, понимания и любви. Вот одна из сцен их сосуществования в молодые годы, запечатленная в дневнике Туберозова:

«Всю ночь прошедшую не спал от избытка моего счастья и не солгу, если прибавлю, что также и Наташа немало сему бодрствованию способствовала. Словно влюбленные под Петров день солнце караулят, так и мы с нею, после пятилетнего брака своего, сегодняшнего солнца дождались, сидя под окном своим. Призналась голубка, что она и весьма часто этак не спит, когда я пишу, а только спящую притворяется, да и во многом другом призналась. Призналася, что вчера в церкви, слушая мое слово, которое ей почему-то столь много понравилось, она дала обет идти пешком в Киев, если только почувствует себя в тягости. Я этого не

одобрил, потому что такой переход беременной не совсем в силу; но обет исполнить ей разрешил, потому что при такой радости, разумеется, и сам тогда с нею пойду, и где она устать станет, я понесу ее. Делали сему опыт: я долго носил ее на руках моих по саду, мечтая, как бы она уже была беременная и я ее охраняю, дабы не случилось с ней от ходьбы какого несчастья. Столь этою мыслью желанною увлекаюсь, что, увидев, как Наташа, шая, села на качели, кои кухаркина девочка под яблонью подцепила, я даже снял те качели, чтобы сего вперед не случилось, и наверх яблони закинул с величайшим опасением, чему Наташа очень много смеялась. Однако, хотя жизнь моя и не изобилует вещами, тщательной секретности требующими, но всё-таки хорошо, что хозяин домика нашего обнес свой садик добрым забором, а Господь обрастил этот забор густою малиной, а то, пожалуй, иной сказал бы, что попа Савелия не грех подчас назвать и скоморохом»<sup>528</sup>.

И хотя даже супруга-«голубица» не может до конца разрушить внутреннее одиночество Савелия, она неоднократно поступает с чрезвычайной сердечной тонкостью, обжигая супруга великодушием. Поняв, например, что бездетность — их удел, Наталья Николаевна спрашивает Савелия, не осталось ли у него плода юношеского легкомыслия, внебрачного ребенка, которого можно было бы усыновить и вырастить.

«Тут уже я, что она сказать хочет, уразумел и понял, к чему она всё это вела и чего она сказать стыдится; это она тщится отыскать мое незаконное дитя, которого нет у меня! Какое благодушие! Я, как ужаленный слепнем вол, сорвался с своего места, бросился к окну и вперил глаза мои в небесную даль, чтобы даль одна видела меня, столь превзойденного моею женой в добротe и попечении. Но и она, моя лилейная и левкойная подруга, моя роза белая, непорочная, благоуханная и добрая, и она снялась вслед за мною; поступью легкою ко мне сзади подкралась и, положив на плечи мне свои малые лапки, сказала:

— Вспомни, голубь мой: может быть, где-нибудь есть тот голубенок, и если есть, пойдем и возьмем его!

Мало что она его хочет отыскивать, она его уже любит и жалеет, как неоперенного голубенка! Этого я уже не снес и, закусив зубами бороду свою, пал пред ней на колени и, поклонясь ей до земли, зарыдал тем рыданием, которому нет на свете описания. Да и вправду, поведайте мне времена и народы, где, кроме святой Руси нашей, рождаются такие женщины, как сия добродетель? Кто ее всему этому учил? Кто

ее воспитывал, кроме Тебя, Всеблагий Боже, который дал ее недостойному из слуг Твоих, дабы он мог ближе ощущать Твое величие и благость”.

Здесь в дневнике отца Савелия почти целая страница была залита чернилами»<sup>529</sup>.

Лесков нарисовал портрет идеальной жены и подруги, соединив в ней и шаловливость, и нежность, и тихое обожание мужа, и бесконечную преданность ему и его интересам. После особенно чувствительной проповеди она встречает своего протопопу дома с букетиком «из речной лилеи и садового левкоя». Кажется, Лесков и сам влюбился в Наталью Николаевну, но сойди она со страниц романа — тут же заскучал бы, закручинился от ее детской невинности, пресной на вкус, затосковал об омуте. Очевидно, и сам он это хорошо понимал и, конечно, недаром сделал протопопицу бесплодной. Именно ей автор доверил разглядеть в предсмертном видении, что все его лучшие герои — богатыри, «большие»:

«— Ты шутишь, и я шучу: я видела, это наша бумажка; всё маленькое... а вот зажмусь, и сейчас всё станет большое, пребольшое большое. Все возрастают: и ты, и Николай Афанасьич, дружок, и дьяконочек Ахилла... и отец Захария... Славно мне, славно, не будите меня!

И Наталья Николаевна заснула навеки»<sup>530</sup>.

Лесков не только придумал Савелию Туберозову имя, биографию, взгляды, чудную жену, но и создал для него особенный поповский язык, соединив разговорный стиль со слогом древнерусских сказаний, богослужебных текстов и периодики 1860-х годов.

Творя язык для своего героя, Лесков опирался по крайней мере на два источника: английского писателя Лоренса Стерна (1713—1768) и лидера раскола протопопу Аввакума (1620—1682). В «Соборьях» действительно ясно различим веселый дух стерновского романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». Лесков любил его за свободное обращение автора с литературными правилами, за веселье и языковую игру. Савелий Туберозов даже сослался на этот роман в своих «нотатках», заметив, что Русь вступает в эпоху «шендизма», когда все «всерьез смеются». Параллельно Лесков вырабатывает еще более чеканную формулу-отгадку русской жизни: «Смех и горе» — так будет на-

зыватья его повесть 1870 года о тотальном абсурде, пропитавшем российское бытие.

Образцом для речи Савелия стала и языковая манера знаменитого старообрядца Аввакума — многосоставность, сочетание просторечного «вяканья», присловий, то горького, то ласкового юмора с патетикой, церковными книжными оборотами, богослужебными и библейскими выражениями. Вероятно, у Аввакума Лесков подхватил и склонность к обильному пролитию слез: его Савелий то плачет, то рыдает довольно часто. И речь его словно слепок с речи Аввакума — смесь фольклоризмов и церковнославянизмов: выражения «кочерга старого леса» (о барыне Плодомасовой), «укатали сивку крутые горки», «ублюдочка пуделя» (о собачке) соединены с цитатами из Священного Писания, молитвами в духе «примкнул язык мой к гортани», «воду прошел яко сушу», «дондеже есмь» и ссылками на библейские сюжеты при описании обыденных событий.

«Житие протопопа Аввакума», опубликованное в 1861 году, живо обсуждалось в литературных кругах и, как уже говорилось, не прошло мимо внимания Лескова. В черновике «Соборян» Аввакум даже лично является Савелию в сцене грозы и говорит, что «за старую Русь как гусь сжарен»<sup>531</sup>. Герой Лескова спасся от молнии, но, как и Аввакум, оказался гоним и в конечном счете погиб из-за своей честности.

Итак, дневник протоиерея Савелия получился настолько выразительным и достоверным еще и благодаря найденному Лесковым стилистическому ключу — смешению разных языковых пластов. Понятно, что реальные священники в 1830—1850-е годы дневников с таким обилием подробностей, описаний и диалогов обычно не вели — и не только потому, что у них не было таланта Лескова, но и оттого, что жили они в другом культурном контексте: литературных журналов не выписывали, романов не читали, рассматривая мир сквозь иные призмы.

### **«Дыхание хлада тонка»**

Под стать волшебным богатырям и злодеи в «Соборях», такие же картинные: мерзавец Измаил Термосесов; трусливый и слабовольный князь Борноволоков, не устоявший против напора Термосесова и свершивший подлость; пошлая и злобная идиотка «акцизничиха» Дарья Ни-

колаевна Бизюкина. Все они не помешали победе тишины и правды. Об этом весьма проникновенно пишет критик Аким Волинский: «Всё повествование имеет у него отпечаток эпического спокойствия и великой тишины. Главные герои хроники волнуются, страдают под тяжестью своего креста, иногда даже впадают в юродство и чудачество, но при всём том вам постоянно кажется, что настоящее действие рассказа происходит в благоговейной тишине. На глазах читателя совершается художественное таинство, граничащее с таинством религиозным. Никаких воплей ни к небу, ни к людям. По мере того, как мы проникаемся настроением автора, мы начинаем чувствовать, что здесь, перед нами, над зыбью неширокой реки, носится прохладное веяние успокоительной и освободительной правды. Где-то совсем близко Бог»<sup>532</sup>.

Близость Бога обеспечена здесь довольно очевидным приемом, которым Лесков постоянно пользуется: рядом со светло-голубым веселым домиком отца Савелия, «птичником» отца Захарии, пятиглавым собором и речкой Турицей он размещает мир невидимый, а границу между двумя мирами делает подвижной, проницаемой. Окном в инобытие становятся сон, болезнь, близкая смерть, иногда грозное природное явление — например гроза, а иногда просто прихотливое воображение рассказчика или персонажей хроники.

В шестой главе «Соборян» Лесков впервые показывает, как легко игра света и тени порождает «ряд волшебных изменений» (А. А. Фет). Силуэты фантастических существ, идущих по тропе, возникают благодаря золотистым лучам рассвета, легкому туману над рекой:

«...При слабом освещении, при котором появляется эта группа, в ней есть что-то фантастическое. Посредине ее стоит человек, покрытый с плеч до земли ниспадающим длинным хитоном, слегка схваченным в опоясье... Суеверный человек может подумать, что это старогородский домовой, пришедший повздыхать над городом за час до его пробуждения. Однако всё более и более яснеющий рассвет с каждым мгновением позволяет точнее видеть, что это не домовой, и не иной дух, хотя в то же время всё-таки и не совсем что-либо обыкновенное. Теперь мы видим, что у этой фигуры руки опущены в карманы. Из одного кармана торчит очень длинный прут с надвязанною на его конце прашой, или по крайней мере рыболовною лесой, из другого — на четырех бечевах висит что-то похожее на тяжелую пали-

цу. Но вот шелохнул ветерок, по сонной реке тихо сверкнуло мелкой рябью, за узорною решеткой соборного храма встрепенились листочки берез, и пустые складки широких покровов нагорной статуи задвигались тихо и открыли тонкие ноги в белых ночных панталонах. В эту же секунду, как обнажились эти тонкие ноги, взади из-за них неожиданно выставилось четыре руки, принадлежащие двум другим фигурам, скрывавшимся на втором плане картины. <...> Справа виднелась женщина. Она бросалась в глаза прежде всего непомерною выпуклостью своего чрева, на котором высоко поднималась узкая туника. В руках у этой женщины медный блестящий щит, посредине которого был прикреплен большой пук волос, как будто только что снятых с черепа вместе с кожей. С другой стороны, именно слева высокой фигуры, выдавался широкобородый, приземистый, черный дикарь. Под левою рукой у него было что-то похожее на орудия пытки, а в правой — он держал кровавый мешок, из которого свесились книзу две человеческие головы, бледные, лишенные волос и, вероятно, испустившие последний вздох в пытке. Окрест этих трех лиц совсем веяло воздухом северной саги».

Самим загадочным путникам мерещится впереди статуя Командора, повитая белым саваном, а затем и кудрявый богатырь на коне:

«В эти минуты светозарный Феб быстро выкатил на своей огненной колеснице еще выше на небо; совсем разредевший туман словно весь пропитало янтарным тоном. Картина обагрилась багрецом и лазурью, и в этом ярком, могучем освещении, весь облитый лучами солнца, в волнах реки показался нагой богатырь с буйною гривой черных волос на большой голове. Он плыл против течения воды, сидя на достойном его могучем красном коне, который мощно рассекал широкою грудью волну и сердито храпел темно-огненными ноздрями»<sup>533</sup>.

Дующий из северной саги ветер, льющий золотые лучи греческий миф о Фебе на колеснице, европейская легенда о Дон Жуане и статуе Командора, точно в театре теней, превращают сплетенные пальцы в волшебные существа. Но Лесков быстро расколдовывает сотканную из света и тени волшебную картину, на глазах читателя производя разоблачение сеанса магии. Тремя причудливыми фигурами оказываются старгородские обыватели — городничий Порохонцев с кнутом и трубкой, кучер Комарь со скамейкой и парой приня-



тых за человеческие головы надутых бычьих пузырей под мышкой, его беременная супруга с блистающим на солнце не шитом, а медным тазом и сложенной вчетверо белой простыней на голове. Командор оборачивается уездным лекарем Пуговкиным, покрытым простыней, нагой всадник-богатырь — дьяконом Ахиллой. «Мелькающая в мелкой ряби струй тыква принимает знакомый человеческий облик: на ней обозначаются два кроткие голубые глаза и сломанный нос»<sup>534</sup> — это голова Константина Пизонского. Все они просто пришли утром на реку искупаться.

Однако случаются в хронике и настоящие видения. По пути в Старгород Туберозову мнится, что рядом находится «кто-то прохладный и тихий в длинной одежде цвета зреющей сливы». «Это не сон и не бденье; влага, в которой он спал, отуманила его, и в голове точно пар стоит». Туберозов понимает, наконец, что оказался рядом с ключом, похожим на «врытую в землю хрустальную чашу», и вспоминает, что «образование этой котловины приписывают громовой стреле», павшей сюда по молитве древнего витязя и спасшей его от татарского плена: на месте, куда она ударила, забил чудесный родник. «А в грозу здесь, говорят, бывает не шутка. “Что же; есть ведь, как известно, такие наэлектризованные места”, — подумал Туберозов и почувствовал, что у него как будто шевелятся седые волосы».

И вскоре эта гроза разразилась, оживляя параллель между отцом Савелием и доблестным витязем:

«Реяли молнии; с грохотом неся удар за ударом, и вдруг Туберозов видит пред собою темный ствол дуба, и к нему плывет светящийся, как тусклая лампа, шар; чудная искра посредине дерева блеснула ослепляющим светом, выросла в ком и разорвалась. В воздухе грянуло страшное бббах! У старика сперло дыхание, и на всех перстах его на руках и ногах завертелись горячие кольца, тело болезненно вытянулось, подломилось и пало... Сознание было одно, — это сознание, что все рушилось. “Конец!” — промелькнуло в голове протопопа, и дальше ни слова. Протопоп не замечал, сколько времени прошло с тех пор, как его оглушило, и долго ли он был без сознания. Приходя в себя, он услышал, как по небу вдалеке тяжело и неспешно прокатило и стихло! Гроза проходила»<sup>535</sup>.

Едва избежав гибели во время грозы, протоиерей Савелий всё равно умер под влиянием природных сил — простудился, отсчитывая на морозе поклоны, которые клал дья-

кон Ахилла. Природные силы одолели и Ахиллу: слишком долго просидел он в снежной яме, ловя на кладбище старгородского «чёрта», оказавшегося мещанином Данилкой, и тоже смертельно заболел.

Беззащитность богатырей перед простудой лишний раз напоминает читателю: это роман не столько о великой силе добрых и праведных людей, сколько о их бессилии. Все лесковские богатыри с житейской точки зрения оказываются проигравшими; верх одерживают донос, клевета, подлость, чиновничий идиотизм, законы природы и неотвратимый ход времени, превращающего старгородскую «поповку» в анахронизм.

Ахилла сумел победить в честном бою циркового силача, но не смог одолеть «петербургского мерзавца» Термосесова и чиновников консистории, играющих без правил. Внутренняя мощь и ревность Савелия Туберозова о правде разбиваются о бетон казенного отношения церковного начальства к делу веры и проповеди. Его записку о положении православного духовенства кладут под сукно. Желание Туберозова растормошить омертвевших душой чиновников приводит к его аресту и запрету служить. Перед кончиной Савелий произнесет: «...букву мертвую блюдя... они здесь Божие живое дело губят...»<sup>536</sup> С его ухода начнется увядание старгородской «поповки» — один за другим сойдут в могилу и дьякон Ахилла, и Захария Бенефактов, и плодомасовский карлик Николай. Кто явится им на смену? «Благообразный человек неопределенного возраста» Иродион Грацианский, пастырь совсем иного разлива и масштаба, названный также с намеком — и на «Ирода», и на чрезмерную гибкость и грацию.

Восьмого июня 1871 года в ответе Щебальскому, желавшему более жизнеутверждающего финала, Лесков писал:

«А что касается до недостатка хороших людей на смену Туберозову, Захарии, Ахилле и Николаю Афанасьевичу, то с этим делать нечего, и сколько бы я ни хотел угодить почтенной любви Вашей к хорошим людям, не могу их обрести на нынешнем переломе в духовенстве русской Церкви. Изображенные мною типы суть типы консервативные, а что дает нынешняя прогрессирующая Церковь, того я не знаю и боюсь ошибиться <...> Как это будет обновление Церкви с Дмитрием Толстым (тогдашний министр народного просвещения и обер-прокурор Синода. — М. К.) на крестовом шнурке, того мое художественное чутье не берется предсказать мне, и Вы, простирая такое требование, мне кажется, погрешаете, стесняя свободу художественного чувства»<sup>537</sup>.

В «Соборьянах» много горя, но не меньше и смеха. Недаром и формула «смех и горе», давшая название повести о жизни помещика Ореста Марковича Ватажкова, представляющей собой сцепление трагикомических сцен, сочинялась тогда же, когда в последний раз правились «Соборьяне». Вслед за Гоголем Лесков озирает «всю громадно-несущуюся жизнь сквозь видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы».

Многие сцены романа-хроники уморительно смешны и снова убеждают нас: дар сатирика и талант проповедника нередко шагают рядом. Эпическое противостояние учителя математики Варнавки Препотенского и дьякона Ахиллы, их жаркая борьба за кости несчастного утопленника; житейские анекдоты, с удовольствием рассказанные отцом Савелием в своем дневнике; почти все истории, в которые попадает «непомерный» дьякон, под конец романа съевший деньги, отложенные на памятник любимому протопопу, — всё это словно бы намекает: смех, улыбка, дурачество — едва ли не единственный противовес мертвечине, подлости, подброшенный самой жизнью. Например, вот такое рождественское поздравление сочиняет дьякон для городского главы:

Днесь Христос родился,  
А Ирод-царь взбесился:  
Я вас поздравляю  
И вам того ж желаю<sup>538</sup>.

Для недоброжелателей Лесков навсегда остался автором антинигилистического романа «Некуда», для ценивших его дар — автором «Соборьян» и «Левши».

### **«На ножах»**

Удивительно, но у светло-печальной размеренной хроники «Соборьяне» был темный двойник — роман «На ножах», писавшийся практически параллельно. Словно бы днем, при свете солнца, Лесков сочинял истории старгородцев, а ночью нырял в подземелья совсем иных фантазий.

«На ножах» — странный роман. Перо Лескова словно бы дергается и подпрыгивает. Не роман, а воспаленная эклектика, то и дело впадающее в последнее неистовство,

фирменное *exubérance\**, которое Толстой великодушно перевел в своем письме как «излишек таланта»<sup>539</sup>. Сам автор тоже дал роману выразительное определение. 8 апреля 1871 года он писал Щербальскому: «Я посылаю кусок романа “На ножках”. Кусок живой и горячий, как парная кровь, но немножко непоследовательный»<sup>540</sup>. Правда, непоследовательность Лесков считал результатом редакторской правки: роман печатался в «Русском вестнике» с октября 1870 года по октябрь 1871-го, и катковский редактор Николай Любимов безжалостно вымарывал целые куски. «Это же просто ужасный человек, Аггила, бич литературы! Он что же делает-с? — он черкает не рассуждения, не длинноты, а самую *суть фабулы!!*» — жаловался Лесков 19 декабря 1870 года<sup>541</sup>.

Роман «Некуда» — о русских нигилистах, честных, умных, недалеких или откровенно глупых. Роман «На ножках» — о «гилистах» (от слова «гиль» — «вздор», «чепуха»), как выражается центральный персонаж и главный негодяй повествования, авантюрист и мошенник Павел Горданов. Нигилистские идеи нужны Горданову и его сообщникам лишь как ширма для исполнения иных замыслов, ничего общего не имеющих с социалистическим переустройством мира. Учитывая, что перед нами авантюрный роман, замыслы эти предсказуемы: богатство и власть.

Главная интрига, вокруг которой вихрем кружится основное действие многослойной девятисотстраничной конструкции, — захват состояния помещика Михаила Андреевича Бодростина, пожилого супруга энергичной красавицы Глафиры, в прошлом искренней нигилистки и обитательницы коммуны, вышедшей за него из расчета. Вместе с Гордановым, бывшим возлюбленным и нынешним партнером в преступных замыслах, надеющимся сделаться мужем красивой и состоятельной женщины, Глафира планирует убить своего зажившегося старика, чтобы овладеть его богатством. Центральная линия отягощена множеством дополнительных: постоянно замышляются и осуществляют новые коварные обманы, хитроумные мошенничества, подлости и гадости. Подмененное завещание, покупка человека за девять тысяч рублей, соблазнения невинных, прелюбодеяния, дуэль, спиритизм, двоемужество, публикация

---

\* Изобилие, избыток (фр.).

провокационных статей в продажных газетах, изменение внешности, поджог, языческие ритуалы, отравление — вот далеко не полный список. Сквозь всю эту сюжетную рябь проступают темные воды мистики. Критик Лев Аннинский даже назвал «На ножах» романом-галлюцинацией и наваждением<sup>542</sup>.

Роман действительно полон тайн и призраков, грезящихся героям. И явление незнакомки в зеленом платье в момент преступления Висленева, и прогулка Михаила Бодростина по усадебному парку в то время, когда он должен быть в другом месте, и оживший портрет, дарящий генеральше Синтяниной кольцо со стертой надписью, и болезненные припадки Глафиры с видениями упрямо намекают: за пологом обыденной жизни существуют «неведомые силы незримого мира» — в пикку «ученым реалистам нашего времени», убежденным, что нет «никакого иного живого мира, кроме того, венцом которого мы имеем честь числить нас самих»<sup>543</sup>. И два героя романа скользят на грани меж двух миров: Вера, глухонемая дочка генерала Синтянина, и безумный провидец Светозар Водопьянов, предчувствующий собственную гибель<sup>544</sup>.

Здесь немало предвестий, предсказаний, пророчеств. Бодростин мерещится Глафире гуляющим в кирасирском мундире с разрезанной спинкой, в котором его затем и похоронят; за несколько часов до гибели мужа она случайно опрокидывает бокал с красным вином, потекшим по его рубашке, «точно жидкая, старческая, пенящаяся кровь»<sup>545</sup>. Сама Глафира поскальзывается на яблочном зернышке, вероятно, пребывавшем в дальнем родстве с райским запретным плодом.

Много позднее в литературе XX века вся эта гремучая смесь романа тайн и романа приключений трансформируется в то, что назовут «магическим реализмом», когда тайна получит, наконец, право быть неразгаданной. Но Лесков остался в пределах классического авантюрного жанра и почти все загадки объяснил в финале естественными причинами.

Илья Виноцкий, автор одной из лучших статей о «На ножах», называет его «попыткой спиритуалистического романа Нового времени, то есть истории современной (русской) души как онтологической категории»<sup>546</sup>. Поэтому и героем книги является «не социальный тип, не идея и не конкретные лица, но “самосознательный разумный

дух" (Вл. Соловьев), действующий (по-разному преломляющийся) в каждом из персонажей».

Лесков вновь, как отчасти в «Соборях», попытался расслышать таящуюся за социальными отношениями, коллизиями и внешними событиями бездну невидимого духовного мира, влияющего на всё происходящее в земном мире. Этот прием отчасти используется и в «Бесах» Достоевского, написанных в то же время (роман Лескова публиковался в «Русском вестнике» с октября 1870 года до октября 1871-го, роман Достоевского — с января 1871 года по декабрь 1872-го)<sup>547</sup>, где причиной всех бед оказывается духовная порча человека. Но если Достоевский не сомневается в том, что в основе нигилистических и революционных идей лежит беснование, одержимость силами зла, то для Лескова нигилизм скорее свидетельство умственной ограниченности, глупое заблуждение, шутовство в самом дурном вкусе.

Зло не имеет в романе Лескова прямых социальных проекций, но реально и властно действует в сердцах персонажей. С большой психологической убедительностью автор описывает внутреннюю борьбу Бодростиной на пути из Европы в Россию, куда она едет, чтобы довершить задуманное:

«— Я буду богата, — утешала себя Глафира. — Ну, а далее? — переговаривался голос. — А далее? — А далее?.. А далее?.. Я не знаю, что далее...

И она лежала, кусая себе губы, и досадливо глядялась в ту страшную духовную нищету свою, которая грозила ей после осуществления ее плана обладать громадным вещественным богатством, и в эти минуты Глафира была человек, более чем все ее партнеры».

Дурное в ее душе победит, потому что слишком часто побеждало до того: «естественная природа зла, порождающая одно зло из другого, не пускала ее назад»<sup>548</sup>. Но в отличие от Горданова она сохраняет сомнение до последнего, что в итоге ее и сломаст. Недаром по-настоящему Глафира полюбила лишь полного своего антипода, благородного и нравственно безупречного Андрея Ивановича Подозерова, видящего цель жизни в том, чтобы «сберечь себя от зла». Таковы все здешние праведники: открыто со злом не борются, но берегут себя от него. Интересно, что двое из них, овдовевшая генеральша Синянина и Подозеров, соединяются в счастливом браке.

Сила страстей, бушевающих героев, отчасти объясняет театральность этого романа. Вполне театрально он и завершается — тремя убийствами, одним сумасшествием и одним самоубийством. Уроки, вынесенные из сочинения пьесы «Расточитель» с похожим набором, прошли, кажется, не зря.

Первая глава романа — описание нескольких смертей. Эпilog также описывает вереницу смертей. Но «На ножах» — роман не о смерти, а о *жертве*.

Жертв в нем и в самом деле очень много.

Принесены в жертву первая супруга генерала Синтянина, безответная Флора, как уверяла молва, сошедшая в могилу по вине престарелого мужа, и незадачливый нигилист, главный шут в романе Иосаф Висленев, которого Горданов женил на своей любовнице Алине Фигуриной и, в сущности, сделал убийцей Водопьянова. Еще одна жертва — сестра Висленева, красавица Лариса: Горданов соблазняет ее, а потом заставляет стать женой двух мужей.

При жертвах состоят их мучители: Горданов, Глафира, журналист-ростовщик Тихон Кишенский, Алина, генерал Синтянин.

Один из самых живых образов — девица Ванскок; недаром именно ее отметил добрым словом Достоевский\*. Горданов поучает идиотку-нигилистку:

«Глотай других, чтобы тебя не проглотили. <...> Живучи с волками, войте по-волчьи и не пропускайте то, что плывет в руки. Что вам далось это глупое слово “донос”, все средства хороши, когда они ведут к цели. Волки не церемонятся, режьте их, душите их, коверкайте их, подлецов, воров, разбойников и душегубов!»<sup>549</sup>

Безупречные герои романа оказываются в стороне от этой кровавадной дарвинистской свалки — но не от жертвенного огня, на который отправляют себя сами.

---

\* «Много вранья, много чёрт знает чего, точно на луне происходит. Нигилисты искажены до бездельничества, — но зато отдельные типы! Какова Ванскок! Ничего и никогда у Гоголя не было типичнее и вернее. Ведь я эту Ванскок видел, слышал сам, ведь я точно осязал ее! Удивительнейшее лицо! Если вымрет нигилизм начала шестидесятых годов — то эта фигура останется на вековую память. Это гениально!» (*Достоевский Ф. М.* Письмо А. Н. Майкову от 18 (30) января 1871 г. // *Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 29. Кн. 1. М., 1986. С. 172).

Среди лесковских праведников в романе — вот где впервые они выведены целой компанией — отставной майор Форов, чьему природному благородству не мешают ни атеизм, ни увлечение нигилизмом; его супруга Катерина Астафьева, «очень добрая, но горячая и прямая необыкновенно»<sup>550</sup>; мудрый, нежный и ироничный поп Евангел Миневрин; защитник крестьян помещик Андрей Подозеров; чистая сердцем генеральша Александра Ивановна Синтянина. Интересно, что все они редко решаются на открытое противостояние с главным злодеем романа Гордановым (только Подозеров стреляется с ним на дуэли, отставивая честь Ларисы) — вероятно, потому что христианская система ценностей не предполагает насилия.

Главное орудие праведников иное: они жертвуют собой добровольно. Самую масштабную вольную жертву совершает в романе Александра Ивановна — цветущей девушкой выходит замуж за пожилого и нелюбимого генерала\*. Поступает она так не только ради первой, детской своей любви Иосифа Висленева, как думают все вокруг, но и ради всех его единомышленников, арестованных вместе с ним. Молодым революционерам грозила Сибирь, но Александра Ивановна выпросила их спасение у генерала Синтянина в обмен на свои руку и сердце.

Сила на подвиг была дана Александре свыше; но сердцу не прикажешь, и она влюбляется в помещика Подозерова по прозвищу Испанский Дворянин (то есть Дон Кихот), а затем даже выходит за него замуж — но не сразу. Жертву приносит сначала Подозеров, соглашаясь жениться на Ларисе Висленевой, чтобы спасти ее от бесчестья и нищеты.

В жертву, всякий раз невольную, приносит себя даже властолюбивая Глафира — сначала циничному красавцу Горданову, затем Бодростину — ради чего? Ради будущего спокойствия:

«Выйдя замуж за Михаила Андреевича (Бодростина. — М. К.)... я надеялась на первых же порах, через год или два, быть чем-нибудь обеспеченною настолько, чтобы покончить мою муку, уехать куда-нибудь и жить, как я хочу...»<sup>551</sup>

---

\* А. Н. Лесков указывает на биографическую параллель истории генеральши Синтяниной и судьбы тетки писателя Натальи Петровны Алферьевой, вышедшей в 16 лет за благодетеля семейства Михаила Андреевича Страхова (см.: *Лесков А. Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 84). Совпадение имен, отчеств и первой буквы фамилий Страхова и Синтянина — лишнее подтверждение тому, что автор «Некуда» придавал значение этому эпизоду семейной истории.



В конце концов, чтобы избежать суда за убийства и ка-торги, Глафире приходится стать женой Генриха Ропшина, секретаря ее покойного мужа, хотя она в глаза зовет его «презренным, гадким» насекомым. Ничего, Ропшин легко стирает с глаз «божью росу» и становится законным владельцем самой желанной женщины «На ножах», на сердце которой претендуют и Горданов, и Висленев.

Наконец, закланной жертвой оказывается и Михаил Андреевич Бодростин. В этом месте христианская жертва соединяется с жертвой страшной, дикой, языческой.

Лесков рифмует последние часы жизни Бодростина с двумя языческими обрядами — извлечением «живого» огня («огничаньем») и изгнанием «коровьей смерти» — опахиванием. На практике опахивание и извлечение «живого огня» обычно не проводились одновременно, тем более что исполнялись они с одной целью — остановить падеж скота<sup>552</sup>. Лесков два обряда соединил, порядок их поменял, всё смешал и запалил.

В разгар этих языческих магических действий Горданов и исполняет давно задуманное — закалывает стилетом помещика Бодростина, который на свои именины, в День Архистратига Михаила, поехал вместе с гостями в лес посмотреть на проказы «русских Титании и Оберона»\*.

Итак, список жертв пополняется еще двумя именами: Бодростина, капризного и властолюбивого барина, ничего особенно доброго в жизни не совершившего, однако не настолько виноватого перед женой, чтобы быть убитым, и Светозара Водопьянова, безвредного чудака, спирита и духовидца по прозвищу Сумасшедший Бедуин — смерть предназначалась не ему, а Бодростину, но убийца Висленев обознался.

Избранный специально для извлечения огня и приведенный из другого села старец Сухой Мартын велит всему народу «мыться и чиститься, отрешися жен и готовиться видеть “Божье чудесо”». Хорошенько пропарившиеся мужики и бабы засыпают, и всю ночь во сне им мерещится огненный змей в виде стройного молодца, в «картузе с козырьком на лихих кудрях», который «где силой, где ухваткой улещивал и обманывал»:

---

\* *Титания и Оберон* — короли эльфов и фей комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Правда, у Шекспира проказничает в основном Оберон, с помощью любовного зелья вынуждающий свою супругу Титанию влюбиться в заколдованного ткача с ослиной головой.

«И пронесся он, этот огненный змей, из двора во двор, вдоль всего села в архангельскую ночь, и смутил он там всё, что было живо и молодо, и прошла о том весть по всему селу: со стыда рдели, говоря о том одна другой говорливые, и никли робкими глазами скромницы, никогда не чаявшие на себя такой напасти, как слет огненного змея»<sup>553</sup>.

Столь поэтически описанный огненный змей, в славянской мифологии обольститель наивных девиц и одиноких женщин<sup>\*554</sup>, понадобился Лескову для усиления уже намеченного мотива огня. Огонь появляется в романе в самых неожиданных эпизодах: постоянно курит пахитоски Глафира; вспыхивает пожар в квартире Горданова; загорается бодростинская фабрика, и огонь перекидывается на дом Подозерова<sup>\*\*</sup>. Кульминацией «огненного» мотива становится обряд «огнича́нья».

На следующий день после очистительной бани, ближе к вечеру, «главарь всей колдовской sprawy» Сухой Мартын повел мужиков к Алениному Верху — «тихо шагал, неся перед собой образ Архангела и читая ему молитву неканонического сложения».

Вообще-то главным святым во время обряда опахивания был Власий — христианский аналог языческого славянского «скотьего бога» Волоса (Велеса)<sup>555</sup>. Но Лескову Власий ни к чему, ему нужен Архистратиг Михаил, ангел-змееборец — он, по представлениям бодростинских мужиков, «огненную силу правит», поэтому именно в Михайлов день следует добывать «непорочный» огонь. Заклинание, которое поет во время «огнича́нья» народ: «Помоги, архангелы, / Помоги, святители: / Добыть огня чистого / С древа непорочного», — тоже, очевидно, сочинено Лесковым.

Для совершения ритуала «бабы поскидывали с себя в избах понявы, распустили по плечам косы, подмазали лица — кто тертым кирпичом, кто мелом, кто сажей, взяли в руки что кому вздумалось из печной утвари и стали таковы, что ни в сказке сказать, ни пером описать», после чего начали весьма убедительно пугать «коровью смерть»:

---

\* Ср. юмористический рассказ Н. В. Успенского «Змей».

\*\* Благодарю Ю. Л. Ким за это наблюдение, сделанное в дипломной работе «Репрезентация народной религиозности в романе Н. С. Лескова “На ножках”», защищенной в НИУ ВШЭ в 2019 году.

«Шабаш начинался: только что завывалы провыли свой первый сигнал, ворота задворка скрипнули, и из-под его темных навесов, мотая головой и хлопая длинными ушами, выехал белый конь, покрытый широким белым веретем, а на этом старом смирном коне сидела, как смерть худая, вдова Мавра с красными глазами без век, в длинном мертвецком саване и лыком подпоясанная. Не успел показаться круп ее белого коня, как из-за него, словно воробьи из гнезда, выпорхнули на разношерстных пахотных лошадаках целым конным отрядом до полутора десятка баб, кто в полушубке навыворот, кто в зипуне наопашь, иные зашароварившись ногами в рукава, другие сидя на одном коне по двое, и у всякой в руке или звонкий цеп с дубиной, или тяжелые, трезубые навозные вилы»<sup>556</sup>.

Бабы направляются в Аленин Верх — то самое место в лесу, где мужики пытаются с помощью специальных приспособлений добыть огонь путем трения сухостойной красной сосны о липу. Здесь же высится шест с коровьим черепом; сюда привозят и соломенное чучело, чтобы подпалить его «непорочным» огнем.

Чучело Мары — древнеславянской богини смерти — сжигали обычно на Масленицу, а в белорусской и польской традиции — в ночь на Ивана Купалу, но в любом случае не в Михайлов день. Лесков переместил его в другой контекст, дал имя, каким его в среднерусской полосе не называли, и поджег<sup>557</sup>.

После этого народ собирается, наконец, идти опаживать село с «непорочным» огнем в руках.

Одним из самых забавных эпизодов «огничанья» становится камлание Сухого Мартына с выкрикиванием абракадабры, стилизованной под заклинание:

«Едва держась на своем полете за воткнутый топор, он быстро начал впадать от качания в шаманский азарт: ему чудились вокруг него разные руки: черные, белые, меднокованные и серебряные, и все они тянули его и качали, и сбрасывали, а он им противился и выкликал:

— Вертодуб! Вертогор! Трескун! Полоскун! Бодняк! Регла! Авсень! Таусень! Ух, бух, бух, бух! Слышу соломенный дух! Стой, стой! Два супостата, Смерть и Живот, борются и огнем мигают!»<sup>558</sup>

Это довольно дикая смесь имен Вертодуба, Вертогора, Трескуна с бодняком — обрядовым бревном, сжигаемым

обычно под Рождество\*; последнее у Лескова появилось явно по ассоциации с сосновым и липовым бревнами, которые должны вспыхнуть.

Скорее всего, сочиняя всё это, Лесков отчаянно веселился, особенно приставив к Трескуну Полоскуна и вставив не идущую к делу Реглу (вероятно, от латинского *regula*, то есть «правило», «норма»). Утопить «правило» в околесице — очень по-лесковски. И всё же языковые шутки, восточно- и южнославянская мифология смешались здесь не совсем произвольно. Сухой Мартын последовательно выкликает имена духов, связанных с силами природы: ветром, огнем, молнией.

Огонь, наконец, вспыхнул. Но завершить исполнение обряда бодростинские крестьяне не сумели, потому что внезапно наткнулись в темном лесу на бездыханное тело своего барина.

«Коровья смерть» оборачивается смертью Михаила Бодростина<sup>559</sup>. Он оказался жертвой не только страсти Глафиры и Горданова, их жажды денег и власти, но и собственной глухоты к происходящему. Он смеялся над суевериями и не желал гасить огни в доме, несмотря на неотступные просьбы крестьян; не осознал, что ехать из любопытства на языческий ритуал опасно; начал испытывать тревогу слишком поздно, уже в лесу, и в итоге был убит — пусть и не участниками ритуала, зато в полном соответствии с его логикой: случайного прохожего во время опахивания могли запросто лишить жизни.

Прописанность сцен народного обряда и именинного пира у Бодростина (ассоциация с пушкинским «Пиром во время чумы» возникает в них дважды) свидетельствует, что Лесков, в позднейшем интервью назвавший «На ножах» «самым безалаберным» из своих «слабых произведений»<sup>560</sup>,

---

\* *Вертодуб* (Дубыня) и *Горыня* (Горыныч, Вертигора) — богатыри-великаны, обладающие сверхъестественной силой, которая приводит к нарушению естественного природного порядка. *Трескун* — злой дух, находящийся в подчинении у Мороза, летом спящий, а зимой дует в кулаки, нагоняя стужу и ветер. *Бодняк* — у сербов и болгар полено, сожжение которого в сочельник символизирует связь человека с небесным огнем. *Таусень* (он же *Авсень*) — персонаж восточнославянской мифологии, связанный с началом весеннего солнечного цикла и плодородием (см.: *Старыгина Н. Н.* Комментарии // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 9. М., 2004. С. 893—894).

был к себе несправедлив: несмотря на то, что иные логические связки в романе смётаны на живую нитку, а текст сильно пострадал от правок редактора, изящно сочиненная и глубоко продуманная шестая часть книги многое искупает. Лесков и сам подтверждает, что тщательно над ней работал, в письме П. К. Щебальскому от 5 июня 1871 года:

«Я только вчера поставил точку под 5-ю частью “Ножей” и послал их Любимову. До этого события я не давал себе никакой льготы и в эту пеклую жарилу всё пер и пер, как осел. Не знаю, что уж там и вышло! Последняя 6-я часть вся написана и переписана. Она опять сделана очень тщательно: я много пытался над сценами убийства и народными сценами на похоронах, и они мне удались. Шестую часть везу с собой, чтобы еще раз перечитать ее в Киеве, ибо теперь голова моя не понимает ровно ничего, кроме желания отдыха»<sup>561</sup>.

Если «Некуда» — роман о русских нигилистах, то «На ножах» — попытка Лескова написать европейский роман, с опорой на Эжена Сю, Уильяма Теккерея и готическую литературу<sup>562</sup>.

Критика к новому роману автора «Некуда» отнеслась холодно<sup>563</sup>: «На ножах» не удостоился подробного разбора (только очередных убийственных пародий в «Искре»<sup>564</sup>) и занял прочное место среди антинигилистических произведений, в ряду которых обычно и перечислялся, изредка исполняя роль литературного фона «Бесов» Достоевского. Зато публике роман очень понравился — подписчики «Русского вестника» читали его «нарасхват и с азартом»<sup>565</sup>.

Незадолго до революции 1917 года Василий Розанов прописал этот роман Лескова юным душам как профилактическое средство: «Мальчикам и девочкам в правильных русских семьях следовало бы давать читать “На ножах”». Это превосходная “прививка оспы”. Натуральная оспа не вскочит и лицо не обезобразится, если прочтет роман в 16—17 лет, фазу возраста “как раз перед социализмом”»<sup>566</sup>.

### «Запечатленный» и «Очарованный»

Блуждая в поисках идеальных начал, которые могли бы противостоять разрухе, цинизму и «гилизму», наступающим на современный мир, Лесков неизменно, в какую бы сторону ни пошел, выходил к религиозному чувству, «глу-

бокой и теплой... вере нашего простонародья»<sup>567</sup>. Добавим: не только простонародья, но и духовенства, и дворянства — укажем хотя бы генеральшу Синтянину, и разночинцев — вспомним капитана Рыжова в «Однодуме».

Если героев Достоевского мучают сомнения в существовании Бога, а героев Толстого, напротив, занимают последствия обретения веры и мистическая природа Церкви, то Лескову интересна христианская религиозность как явление — и в культурном, и в социальном, и в психологическом аспекте. Никто другой в русской литературе не обращался к теме духовенства так часто; лишь в лесковской прозе представлен весь священнический и монашеский чин.

Прямая, мудрая матушка Агния в «Некуда»; трезвомыслящий и ироничный отец Евангел в «На ножах»; правдолюбец Савелий Туберозов и другие обитатели «поповки» в «Соборяхнах»; священники, кротостью и вовремя сказанным словом преобразившие героев в рассказах 1880-х годов «Привидение в Инженерном замке», «Зверь», «Пугало», «Грабеж»; архиерей Н. из «На краю света»; митрополит Филарет (Амфитеатров) из «Владычного суда»; старец Памва в «Запечатленном ангеле»; послушник Иван Флягин в «Очарованном страннике»; герои «Мелочей архиерейской жизни» и «Заметок неизвестного»... Это не полный список, однако оборвем его.

Тому, какой тонкой и нежной может быть душа мужика, посвящено немало страниц хрестоматийного рассказа «Запечатленный ангел», эстетически безупречного, с идеально выделанной тканью повествования. Опубликованная в первом номере «Русского вестника» за 1873 год детективная история окликает времена строительства Цепного моста в Киеве, свидетелем которого Лесков был, и завершается обращением старообрядцев в официальную веру. Зимним вечером на постоялом дворе об этом случае якобы поведал укрывшимся от вьюги путникам Марк Александров, «рукомеслом» каменщик, по происхождению крестьянин, по вере старообрядец. Марк наделен отнюдь не мужицкой чувствительностью. Вот как, например, он описывает жену заинтересовавшегося русской иконописью англичанина:

«Она была прекрасная барыня, благоуветливая, и хотя не много по-нашему говорила, но всё понимала, и, верно, хотелось ей наш разговор с ее мужем о религии слышать.

И что же вы думаете? Как отдернула эта занавеса, что ее скрывала, она сейчас встает, будто содрогаясь, и идет,

милушка, ко мне с Лукою, обе ручки нам, мужикам, протягивает, а в глазах у нее блещут слезки, и жмет нам руки, а сама говорит:

— Добри люди, добри русски люди!

Мы с Лукою за это ее доброе слово у нее обе ручки поцеловали, а она к нашим мужичьим головам свои губки приложила.

Рассказчик остановился и, закрыв рукавом глаза, тихонько отер их и молвил шепотом: “Трогательная женщина!” ...»<sup>568</sup>

Похожее умиление охватывает Марка и тогда, когда он говорит о старце Памве, прославившемся святой жизнью и безгневием:

«И теперь вам не скажу, всё это было во сне или не во сне, но только я потом еще долго спал и, наконец, просыпаюсь и вижу: утро, совсем светло, и оный старец, хозяин наш, анахорит, сидит и свайкою лыковым лапоток на колених ковыряет. Я стал в него всматриваться.

Ах, сколь хорош! ах, сколь духовен! Точно ангел предомно сидит и лапотки плетет, для простого себя миру явления»<sup>569</sup>.

Тонкость чувств, в том числе эстетического, делающего героев экспертами в иконописи, — конечно, не центральная тема рассказа, но для Лескова ценная, как и проступающая здесь мысль, что именно религиозность всякого человека, независимо от воспитания и образования, утончает душу. Возможно, еще и поэтому «Запечатленный ангел» понравился «и царю, и пономарю»<sup>570</sup>. Даже Достоевский в «Дневнике писателя» посвятил ему отдельный разбор, несколько раз назвав «прекрасным», и отметил, что «особенно выдаются в рассказе беседы раскольников с англичанином об иконной живописи»: «Это место серьезно хорошо, лучшее во всём рассказе». Но и от упрека Федор Михайлович не удержался: автор, по его мнению, завершил повествование «довольно неловко», а кроме того, «кажется, испугался, что его обвинят в наклонности к предрассудкам, и поспешил разъяснить чудо»<sup>571</sup>, прозрачно намекая, что финал, в котором староверы обратились в официальное православие, был, видимо, продиктован идеологическими соображениями — текст публиковался в правоверном катковском издании.

Лесков рассердился и вскоре отомстил двумя анонимными заметками, подписанными «Псаломщик» и «Свящ. П. Касторский», в которых обвинял обидчика в незнании церковного быта и высмеивал, поскольку тот «пространно заявлял, что... большой христианин и притом православный и православно верующий в самые мудреные чудеса»<sup>572</sup>.

Второе знаменитое сочинение начала 1870-х годов, «Очарованный странник», оказалось на противоположном к «Запечатленному ангелу» полюсе. Повествование о староверах исследует русскую религиозность, предметы духовные и тонкие, его герои обладают художественным вкусом и نابожностью. «Очарованный странник» — повесть о русской бездне. Недаром образ бездны, пропасти оказывается здесь сквозным. Главный герой Иван Флягин, пытаясь затормозить перед пропастью повозку, чтобы спасти сидящих в ней господ, летит вниз, но чудом остается жив; в пропасть с крутизны толкает он цыганку Грушеньку, адскую бездну видит во сне. И религиозность здесь совершенно иного толка — Иван Северьянович, хотя и сделался иноком, кажется, довольно слабо разбирается в догматах христианской веры<sup>573</sup>: явно не считает самоубийство смертным грехом и, перед тем как полезть в петлю, молится «за вся христианы», а не за свою душу. Татарам, которых он крестит, он даже не пытается проповедовать христианские догматы — вероятно, потому, что сам не очень разбирается в них.

В «Очарованном страннике» плещет совсем не жуть безбрежной любовной страсти, как в «Леди Макбет...»; повесть об Иване Северьяновиче пронизана мрачным ужасом обыденной человеческой жизни, особенно если человек этот — крепостной крестьянин. Здесь всё время кого-нибудь истязают и мучают, бьют и убивают. Практически во всех ключевых эпизодах жизненного пути Ивана Флягина совершается насилие: человека над животным, человека над человеком. Достаточно вспомнить хотя бы эпизод с кошкой, которую совсем еще юный Иван наказывает за то, что съела голубят:

«Кнутов, я думаю, сотни полторы я ей закатил, и то изо всей силы, до того, что она даже и биться перестала. Тогда я ее из сапога вынул и думаю: издохла или не издохла? Сем, думаю, испробовать, жива она или нет? и положил я ее на порог да топориком хвост ей и отсек: она этак “мяя”, вся вздрогнула и перекрутилась раз десять, да и побежала»<sup>574</sup>.



Лесков милосердно избавляет читателя от дополнительных подробностей ужасающей сцены — воплей несчастного животного, вида окровавленного и изувеченного тела. Недаром и первый эпизод из жизни Ивана Флягина, который тот открывает слушателям, посвящен безжалостному умирению коня в Москве и моральной победе над англичанином Рареем — как называет его Иван Северьянович, «бешеным укротителем», прототипом которого был реальный дрессировщик, американец Джон Соломон Рарей (1827—1866). Интересно, что прославился он вовсе не «бешенством», а системой гуманного обхождения с травмированными жестоким обращением лошадыми. Рарей действительно побывал в Петербурге в 1857 году. На русском языке вышли две его брошюры: «Искусство укрощения и дрессировки лошадей Джона Рарея» и «Способ американца Рери, как укрощать озлобленных лошадей» (1859). Понятно, что методы Рарея совершенно не интересуют Ивана Северьяновича — ему нужен равный противник, к тому же «англичанин», чтобы победа окрасилась еще и чувством превосходства русского мужика над иностранцем. Но в результате она оказалась обесценена — смилившийся конь вскоре издох: «...гордая очень тварь был, поведением смирился, но характера своего, видно, не мог преодолеть»<sup>575</sup>.

Судьба коня, которого Флягин так бил нагайкой, что тот не мог «ни продохнуть, ни проглянуть», — прообраз его собственной жизни. За свой долгий путь он окажется неоднократно бит, но, по предсказанию умершего по его вине монаха, много раз погибая, ни разу не погибнет, в конце концов смиритесь и, в отличие от коня, будет жить дальше, потому что окажется не таким гордым.

Насилие — норма и рутина в том мире, который описывает Лесков; нет, не будем добавлять «в русском» или в «мужицком» мире, потому что в нем соединились разные культуры, сословия, нации. Здесь все хороши: сам Флягин, изувечивший кошку и лишивший жизни троих — монаха, татарина, Грушеньку; барин, чью жену и дочь он спас от смерти, быстро забывший о подвиге и доведший спасителя до попытки самоубийства. Когда Иван после десятилетнего татарского плена возвратился домой, священник Илья, которого он с умилением вспоминал в каспийских степях, отлучил его на три года от причастия за многоженство в плену; по приказу барина, ставшего в старости «богомольным», его крепостного после порки в полиции выпороли еще дважды — за давний побег и неблагочестивое поведение. Показательна жестокость татар: они «подшетинивают»

Ивана — набивают ему под кожу пяток шетину, чтобы не сбежал\*, пытаются и страшным образом убивают христианина-миссионера и жидовина-проповедника. Жестокость — уже нравственного толка — проявляет и князь, которому служит Иван: предаёт сначала секретарскую дочь Евгению Семеновну, потом цыганку Грушу. Табор ведет себя по отношению к Груше не лучше: откровенно торгует ее красотой, выставляя петь на вечерах, затем продает за 50 тысяч рублей князю для развлечения. Стоит ли удивляться, что Иван Северьянович не слишком жалуется людям и предпочитает общение с лошадьми, к которым имеет «дарование» — хорошо их чувствует и понимает?

Сам Флягин тоже словно не ведает жалости. Он повисает на дышле над пропастью не потому, что хочет спасти барыню и ее дочку, а из инстинктивной жажды жить. Ему не жаль погибшего по его вине монаха, а на запоротого им до смерти татарина он откровенно досадует: «Тыфу ты, дурак эдакий! до чего дотерпелся? Чуть я за него в острог не попал»<sup>576</sup>. Огромное графское хозяйство, в котором есть и театр, и псарня, и живые медведи, и конный завод, в его рассказах выглядит безлюдным — Иван будто бы никого там не видит<sup>577</sup>. В степях, куда он попадает, будучи захвачен в плен, живут безликие «они» — татары. Когда слушатели интересуются, любил ли он своих татарских жен, он не понимает, о чем его спрашивают, а рожденных ими девятирех детей не считает за своих, потому что они «некрещеные». Услышав вопрос о «родительских чувствах», Флягин снова недоумевает: «Что же такое-с?» Барскую дочку, которую Иван нянчил, он отдал ее беглянке-матери импульсивно, в последний миг, когда почувствовал, что та словно «пополам рвется», а до того жалобы барыньки ему «докучают», слова ее он передает как «та-та-та». В эпизоде борьбы за ребенка Ивану интересна возможность «поиграть», то есть хорошенько подраться с любовником его матери, «уланом-ремонторм».

Правда, в момент описываемых событий Иван Северьянович совсем молод. Эпизод со спасением господ слу-

---

\* Подобный способ описывает философ и агроном А. Т. Болотов (1738—1833), рассказывая историю одного из своих предков, побывавшего в плену у крымских татар: «Многажды покушался он уйтить, но все его покушения были тщетны и произвели только то, что содержать его стали жесточее, а для отвращения от побега, по варварскому своему обыкновению, взрезали ему пяты и, насыпав рубленных лошадиных волос, зарастили оные в них, дабы не способен был к долговременной ходьбе» (*Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. М., 2013. С. 18*).

чился, когда он был еще подростком, нянькой он сделался тоже в отрочестве, что отчасти объясняет незрелость (если не отсутствие) чувств.

Перелом наступает только после встречи с красивой и страстной Грушей. Иван Северьянович, наконец, познаёт, что такое любовь. Еще за несколько часов до посещения вечера у цыган он в разговоре с «магнетизатором» называет любовь «пустяками», но пение Груши его совершенно меняет. Это бескорыстное чувство, без претензий на душу и на тело Груши, что ничуть не умаляет его силы. Ради Грушеньки Иван готов и растратить казенные деньги, и даже пойти на убийство. Правда, Груше удается убедить убить ее лишь с помощью угрозы: «Не убьешь меня, я всем вам в отместку стану самою стыдной женщиной». Вот что для Ивана Северьяновича страшно. После гибели Груша становится главным его «искушением»: «...столь живо является, что вот словно ею одною вокруг меня весь воздух дышит»<sup>578</sup>.

Любовь в буквальном смысле меняет путь героя. Столкнув Грушу с крутизны в реку, он долго бежит в беспамятстве и попадает в незнакомое место:

«...а я не знаю, какой час, и что это за место, и куда та дорога ведет, и ничего у меня на душе нет, ни чувства, ни определения, что мне делать; а думаю только одно, что Грушина душа теперь погибшая и моя обязанность за нее отстрадать и ее из ада выручить»<sup>579</sup>.

Он хочет принести искупительную жертву и нанимается в рекруты вместо сына бедных крестьян, а потом, переплыв реку под татарским обстрелом, совершает едва ли не единственный поступок, продиктованный духовными соображениями, — воинский подвиг. Плывая в ледяной воде, он замечает, что над ним летит Груша в образе отроковицы со светлыми крыльями и ограждает его от пуль.

В основном же Иван движется по жизни не рефлексировав, точно бы с отключенным сознанием. Два его волевых действия — бегство от графа и из плена — вызваны преимущественно инстинктом самосохранения. Обычно же он просто подчиняется обстоятельствам. Вырвавшись из плена и получив паспорт, Флягин «пошел без всякого о себе намерения». События подхватывают его и несут. Его странствия не подчинены никакой логике и высокой цели, он путешествует точно бы «не своею волею»<sup>580</sup>.

Недаром на вопрос слушателей, чувствовал ли он призвание к монашеству, Иван Северьянович не дает вразуми-

тельного ответа. Выясняется, что в монастырь его погнал голод, а не благочестие, в иноки он угодил прямиком из артистов балагана, где изображал демона. Православие его, как уже говорилось, довольно условно. Лесков уже начал движение к грядущему перелому — отказу признавать Церковь единственным вместилищем истины и приятию ценности других вер, культур и конфессий.

В «Очарованном страннике» он нашел выразительный коррелят этого разнообразия — им парадоксальным образом стала Российская империя во всей ее широте. У Лескова есть простой прием, позволяющий герою свободно перемещаться по ней: он описывает скитания Ивана (первоначально повесть должна была называться «Черноземный Телемак», то есть открыто отсылать к сюжету о странствиях сына гомеровского Одиссея). Это дает Лескову возможность включить в жизненное путешествие Ивана Северьяновича столько различных картин: обширное орловское поместье его хозяев с крепостным театром и конным заводом; Бугский лиман под Николаевом с чародейным теплым ветром и горячим песком; «азиатскую» ярмарку в Пензе; прикаспийские степи, пахнувшие овцой; Астрахань с рыбными промыслами; Макарьевскую ярмарку под Нижним Новгородом с цыганками и лошадьми; Кавказ с ледяными речками; петербургскую Адмиралтейскую площадь с балаганом; Валаамский монастырь на Лadoжском озере.

В прикаспийскую степь, где томится в плену Иван Северьянович, Лесков собрал, помимо татар (на самом деле казахов), и православных, и иудеев, и даже двух непонятных восточных людей, вроде бы из Хивы, которые уверяли, что поклоняются индийскому богу Талафе. Встретился Ивану в степи и «чувашин», который предложил ему свой «символ веры»: «...всё бок: и солнце бок, и месяц бок, и звезды бок...»<sup>581</sup> С особой силой эта полиэтничность, мультикультурность засверкала в публицистике и прозе Лескова 1870-х годов.

За его толерантностью и интересом к чужим верам и культурам стояло не только христианское приятие ценности любого человека, но и врожденный артистизм. Не как мыслитель — как артист любил он эти многоцветные и бесконечно разнообразные узоры мира: стройную кобылицу, «глазок полненький, ушки сторожки», которая летит точно лебедушка; серебряное море ковыля; древнюю икону Спаса «с крылами тихими, в виде ангела»; любил, однако, и молодую цыганку, что, как «яркая змея, на хвосте движет и вся станом гнется»<sup>582</sup>.

---

---

## Глава шестая

### ПРОПОВЕДНИК

*Лошади, почуяв поворот к дому, сделали еще ретивее и мчали нас во весь дух, так что мы беспрестанно просили сидевшего на козлах монаха, чтобы он ехал тише, о чем он и сам заботился, но не успевал.*

*— Не сдержишь, — говорил он, закусывая губы и совсем опрокидываясь на нас спиной.*

*— Они у вас, верно, много стоят, ваши кони.*

*— Нет; какое стоят: это рабочие. Крепорулые такие лошади... Ишь-ишь, прут как!*

Н. С. Лесков. Монашеские острова на Ладожском озере

### Драка в Ревеле

Наступили семидесятые годы — не такие бурные, как шестидесятые, но всё еще заряженные энергией перемен. Они катились под марш военной реформы, под музыку набирающего силу Чайковского и сумрачные песни репинских бурлаков, впрочем, почти исчезнувших к концу десятилетия с берегов Волги из-за активного строительства железных дорог.

Новая эпоха породила множество писателей второго ряда и критика-народника Николая Михайловского. Они уже не пытались объяснить мир, опираясь исключительно на силы разума. Рационализм, тяга к экономическим толкованиям всех жизненных явлений вдруг потрескались и заржавели, сквозь трещины пробились ростки нового идеализма и внимания к эстетическому измерению искусства. Началась «борьба за индивидуальность» (так называлась программная статья Михайловского), то есть за человечность, за «права личности» на сложность — изменения, развитие, неоднозначность.

Этнографический интерес к народной культуре, желание увидеть в крестьянине человека залило иное, горькое чувство, объединившее дворян и разночинцев в целое —

русскую интеллигенцию. Это было чувство вины перед мужиком, по-прежнему забитым, ущемленным в правах. В литературе оно отозвалось появлением «мужицкой» беллетристики, полудокументальной прозы о русском крестьянстве, заполнившей страницы «Отечественных записок», арендованных Некрасовым. Как замечал историк русской литературы С. А. Венгеров, «западные народники-жанристы просто себе живописуют, а русские писатели-народники священнодействуют». Священнодействие и отличало писателей этого десятилетия от «шестидесятников». Поклонялись «семидесятники» — Глеб Успенский, Николай Златовратский, Филипп Нефедов, Павел Засодимский — народному страданию.

Чувство вины породило и совершенно новую практику: в 1874 году русские литераторы всех направлений и мастей подготовили сборник «Складчина», средства от продаж которого направлялись пострадавшим от голода в Самарской губернии. Это был первый коллективный жест подобного масштаба. Лесков тоже принимал участие в сборе материалов в «Складчину» и по крайней мере в одном организационном собрании, связанном с изданием, однако текста его в сборнике не появилось.

Семидесятые упрочили положение Салтыкова-Щедрина на русском Парнасе, «Анна Каренина» (1877) напомнила русскому читателю о масштабе Льва Толстого. И всё же громче других в это время звучал Достоевский, в духе времени провозглашавший, что идеал красоты человеческой сокрыт в русском народе, который «широк, вынослив и в верованиях терпим» и почти наслаждается своим страданием, неотделимым у него от счастья.

Понятное дело, Лескова эти проповеди раздражали, как и убежденность Достоевского, что спасение России нужно ждать «снизу». В ответ он упрямо напоминал о невежестве народа, его неутраченной склонности к воровству, нежелании учиться, вспоминал о намеренной порче железнодорожных рельсов мужиками или о кликушах, «пророчивших по городам и весям земли русской гибель нашей планеты»<sup>583</sup>. Это вовсе не значило, что Лесков отрицал ценность всего русского. Наоборот, 1870-е открылись для него новым, далеким от литературы скандалом, в котором он яростно защищал русскую национальную честь.

Теплым вечером 23 июля 1870 года в эстляндском Ревеле (нынешний Таллин), где Лесков отдыхал со своей большой семьей, он долго сидел у местного кладбищенского

священника Михаила Иконникова с другими гостями — болтал, спорил, обсуждал местные новости, пил херес. Ближе к полуночи вместе с приятелем, чиновником Эстляндского губернского правления А. И. Добровым, Лесков отправился домой. Они долго шагали по песчаным улицам, утомились, зашли на огонек в курзал передохнуть и выпить пива. Там сидели трое молодых людей — как потом выяснилось, студент Дерптского университета Винклер, местный чиновник Мейер и гимназист Геппенер.

Дальше версии участников событий расходятся.

Согласно Лескову, войдя в курзал, они с Добровым заказали себе бутылку пива. Заметив новых посетителей, немцы заговорили громче: «*Diese Russen wirklich sind schweine Nation*», «*Diese Stadt muß wie Rauch fliegen*», «*schwernoten*»\*!

Русских явно задирали. Лесков поднялся, приблизился к зарвавшимся приятелям и вежливо произнес: «Господа, нам очень неприятно то, что вы говорите о русских, и мы вас с честью просим прекратить этот разговор на время: мы сейчас уйдем», — но в ответ услышал: «У вас нет чести!»

Лескову едва удалось удержать своего спутника от драки. Страсти накалились, и когда все оказались на улице, Добров сбил с одного из немцев шапку и убежал. Лесков последовал за ним, но немцы его догнали, Мейер выбил у него палку. Он потребовал ее поднять — безрезультатно. Приехавший квартальный никак не помог делу и не позволил Лескову ехать вместе с ним в полицейское отделение. Тогда он сам вскочил в дрожки, откуда его и выволокла немецкая компания. Ему вывернули руку и держали еще полчаса, пока, наконец, не отпустили.

Так описывал эти события сам Лесков: он был трезв, их с приятелем оскорбили, он защищал национальную честь.

В версии противоположной стороны русские были пьяны, Лесков излишней вежливости не проявлял, жестоко изругал немцев, ударил палкой Мейера, а затем оскорбил квартального надзирателя<sup>584</sup>.

По воспоминаниям А. Н. Лескова, на следующий день после инцидента к его отцу явились парламентары — местные бароны в наглухо застегнутых сюртуках — и объяснили, что им крайне необходимо «*zu sprechen*\* с

---

\* «Эти русские действительно свинская нация», «Этот город должен как дым улетучиться», «сумасшедший» (нем.).

\*\* Переговорить (нем.).

господин Лескофф, mit Herrn Leskoff, по ошень важный дель...». Но хозяин в то время отсутствовал. «Вернувшийся домой Лесков расхохотался: “Дуэль? Подумаешь! Какой вздор! Хватит с них и нескольких добрых ударов стулом!”»<sup>585</sup>.

Судя по этой реплике, Лесков не совсем точно передавал события и в свидетельских показаниях, и в посвященной инциденту статье «Законные вреды» (1872). Любопытно, что, по словам Лескова, ругая Россию и русских, немцы ссылались на роман Тургенева:

«Только что мы с Добровым вошли, говоря между собой по-русски, и сели, как студент заговорил со своими товарищами о романе “Дым”. Он хвалил этот роман; признавал его единственным произведением, которое дает правильное понятие о России, где всё должно “рассеяться, как дым” (wie Rauch)!»<sup>586</sup>

Как Лесков, почти не владевший немецким, так хорошо понял, о чем говорили посетители курзала, неясно, но, судя по всему, имя Тургенева он всё-таки расслышал верно. Правда, Мейер и Винклер в своих показаниях утверждали, что разговор у них шел о суждениях Тургенева относительно «Фауста» Гёте. Читали ли они «Дым», вскоре после выхода в свет переведенный на немецкий язык, на следствии так и не спросили; зато Лесков высказывался о пятом романе Тургенева как об антирусском<sup>587</sup>, и, конечно, вряд ли случайно именно название этого романа слышалось ему в контексте антирусского разговора.

Дело дошло до Эстляндского суда, а затем и до Правительствующего сената. Лесков обвинялся в том, что ударил Мейера, оскорбил всех троих немцев и квартального. Процесс завершился только в декабре 1880 года — десять лет спустя! В результате подсудимый был приговорен сначала к шести, а после пересмотра дела к трем неделям гауптвахты. Неясно, был ли приговор приведен в исполнение, отсидел ли Лесков, к тому времени уже очень немолодой, положенный срок.

В поисках новых жизненных опор и идеалов русское общество металось от народолюбия к панславизму, от мистицизма к спиритизму. Искал эти опоры и Лесков. Мысль его всё настойчивее возвращалась к Русской православной церкви, ее реальной роли в обществе, ее возможностям дать убедительные ответы на запросы современного человека.



## Друг Церкви

Восьмого июня 1871 года Лесков писал Петру Карловичу Щебальскому, на тот момент любимому коллеге и конфиденту:

«Я не враг Церкви, а ее друг, или более: я покорный и преданный ее сын и уверенный православный — я не хочу ее опорочить; я ей желаю честного прогресса от коснения, в которое она впала, задавленная государственностью»<sup>588</sup>.

В то время всё так и было — он ощущал себя и «другом», и «сыном» Церкви. И когда незадолго до этого писал о раскольниках, скопцах или хлыстах, при ясном понимании причин их отпадения от официальной Церкви, не сомневался, что уход в подполье ведет к неизбежным деформациям в толковании христианства.

В картотеке А. Н. Лескова сохранились заметки, доказывающие, что его отец не лукавил и еще в начале 1870-х годов действительно был воцерковленным христианином — постился и посещал службы. Вот одна из них: «22.3.1871. пон[еделник]. Л[есков] говеет со всей семьей и Василием Сем[еновичем]. Утром был в церкви (Захарии и Елисаветы) Кавалергардского полка, где священником был Александр Желобовский, очень красиво служивший и бывший в хорошем отношении тогда с Н. С. Затем, д[олжно] б[ыть] после раннего обеда, с В[асилием] С[еменовичем] ездил в Александро-Невскую Лавру и долго ходил с ним по кладбищу, осматривая памятники Крылова, Гнедича, Доргомыжского (так. — М. К.) и свежую, еще не отделанную могилу Александра Серова (отца художника). Далее они слушали всенощную в домово́й митрополичьей церкви и пили потом чай у вновь назначенного арх[иепископа] Тобольского и Березовского Ефрема, который был здесь архимандритом, вел дружбу с Н. С. и товарищество по своей литературной деятельности»<sup>589</sup>. О том, что Лесков говел, посещал службы, причащался и праздновал Пасху, сообщается и в других заметках.

На протяжении следующего десятилетия этот «уверенный православный» всё непоправимее терял уверенность в том, что Церковь — оплот спасения, пока окончательно не превратился в «смирненного ересиарха Николая», как он любил подписывать письма в поздние годы. К началу 1880-х Лесков еще не толстовец, но уже законченный оппозиционер по отношению к официальной Церкви, тем

более что с апреля 1880 года кормчим ее стал обер-прокурор Синода Константин Петрович Победоносцев, взявший курс на запретительные меры и изоляцию от европейского христианского мира, в особенности от протестантизма<sup>590</sup>.

В начале 1870-х Лесков по праву сыновнего родства и дружества еще пытался силой публицистического слова исправить косность духовенства во имя «честного прогресса» и верил, что это возможно. Веру его питали реальные изменения в церковной жизни: в конце 1860-х — начале 1870-х в России проводилась еще одна реформа — духовного образования. В 1867 году Синод опубликовал новые уставы духовных училищ и семинарий, а в 1869-м — устав духовных академий, по которым эти учебные заведения могли принимать представителей всех сословий. Но главное — случилось то, о чем когда-то так мечтали Семен Раич и Семен Лесков: сыновьям священнослужителей позволили, наконец, свободно выходить из духовного звания и поступать в светские учебные учреждения — гимназии, институты, университеты — без дополнительных бумаг и ручательств. (Правда, действовало это послабление недолго — до 1879 года.)

Лесков неумоимо обличал многочисленные недостатки священнослужителей, параллельно сражаясь за их независимость от государства и собственных прихожан, за право «наиболее просвещенного сословия на Руси» иметь «подобающее ему значение в общественной и государственной жизни»<sup>591</sup>. В художественной прозе он постоянно создавал идеальных, праведных героев, а в публицистических работах, по сути, возводил идеальную Церковь — свободную, просвещенную, понимающую свою паству, любящую людей.

Никогда прежде Лесков не писал на церковные и религиозные темы так обильно и разнообразно, как в это время. Он публиковался и в светских консервативных изданиях — газете «Русский мир», еженедельнике «Гражданин», журнале «Русский вестник», — и в активно развивавшихся с начала 1860-х изданиях церковных — либеральном «Церковно-общественном вестнике», новых просветительских журналах «Православное обозрение» и «Странник».

Прологом к церковной публицистике Лескова можно считать горькую истину, которую осознает герой «Соборян» Савелий Туберозов: «Христианство еще на Руси не проповедано»<sup>592</sup>.

Автор романа-хроники в статьях и заметках на церковные темы горячо проповедует христианство, практическое и евангельское, низшему и высшему духовенству, крупным государственным чиновникам и скромным мирянам.

В 1879 году, будучи членом Ученого комитета Министерства народного просвещения, он даже подготовил специальный доклад «О преподавании Закона Божия в народных школах», в котором напоминал, что в пятой части существующих в России народных училищ дети вообще не изучали Закон Божий, и предлагал разрешить преподавать этот предмет светским учителям под надзором священника<sup>593</sup>. Предложение его так и не было принято.

А в одном из очерков этих лет Лесков рассказывает о человеке, который, нагрузив большую лодку книгами Священного Писания, поплыл вниз по Волге и продавал их по окрестным селам и городам. Народ покупал книги с большой охотой, мужики шли за ними к лодке вброд, за одно путешествие было продано около 20 тысяч экземпляров. В некоторых деревнях не знали, что такое Евангелие, однако почитать «божественное» очень хотели. И значит, заключал Лесков, в народе живет «крайняя потребность в религиозном чтении и вообще в религиозном наставлении»<sup>594</sup>, только голод этот недопустимо насыщать суевериями, магическим отношением к православным обрядам. Самые язвительные его насмешки доставались даже не дикому народу (что над ним смеяться?), а невежественным священникам, не доверяющим науке и просвещению.

Козлищ Лесков отделял от овец и клеймил безжалостно — например, протоиерея Евгения Попова, написавшего «Исповедь отроков и всех вообще. Требник для таинства покаяния и Молитвенник для заключенных»<sup>595</sup>. Для Лескова это был пример духовной спекуляции ради материальной выгоды. Он приводит вопрос, который, по мнению отца Евгения, священник может задать подростку: «Не полагал ли в листки Евангелия всякую картинку или насекомого или даже табаку? <...> Не поставлял ли св[ятых] икон на полке вниз головой?» — и сердито комментирует: «Что за фантазия у этого протоиерея!» — называя его брошюры «празднословною болтовнею» и «растлевающим букетом».

Этим полуграмотным опусам он противопоставляет просветительские «книжки для народа». Во второй половине 1870-х Лесков собственноручно составил и выпустил

несколько религиозных антологий для широкого читателя\*. В основе этой затеи лежала сформулированная еще преподобным Нилом Сорским (1433—1508) идея «разумного исполнения Священного Писания». Книжки, составленные Лесковым, должны были подтолкнуть их читателей к изучению Нового Завета и следованию христианским заповедям<sup>596</sup>. Показательно, что Лесков, так любивший прятаться «за чужими словами и словечками»<sup>597</sup>, склонный в художественных, да и нехудожественных текстах к скрытому или явному цитированию, в случае проповеди Евангелия приходит к антологии, полностью состоящей из цитат.

Проповедует он и в многочисленных публицистических статьях. Не существовало, кажется, ни одной проблемы церковной жизни второй половины XIX века, которой бы он не коснулся<sup>598</sup>. В 1881 году Ф. М. Достоевский занес в свою записную книжку: «Лесков. Специалист и эксперт в православии»<sup>599</sup>. И хотя в высказывании этом сквозила ирония\*\*, так оно и было: специалист и эксперт.

Как эксперт он не сомневался: основная часть церковных бед идет от невежества, неразвитости умственной и духовной. Отсюда и склонность духовенства к «нишебродству», вечным сборам средств на постройку нового храма<sup>600</sup>, торговле спиртным и помощи в его продаже вместо борьбы с пьянством прихожан<sup>601</sup>; отсюда и неумение «ловцов человеческих душ» «держат себя». В семинариях светскому обхождению не учат, вот и вырастают «неповоротни», обреченные на пожизненные страдания от недостатка благовоспитанности<sup>602</sup>.

Как в дворянском обществе воспринимают выходцев из бурсы, «заправка» которой неистребима, Лесков знал с

---

\* «Молитвенные возношения к Богу святого отца нашего Кирилла, епископа Туровского» (1876), «Зеркало жизни истинного ученика Христова» (1877), «Пророчества о Мессии, выбранные из Псалтыри и пророческих книг Ветхого Завета» (1878), «Изборник отеческих мнений о важности Священного Писания» (1878) и «Указка к книге Нового Завета» (1879).

\*\* В 1873 году писатели обменялись резкостями именно по поводу компетенции в области православия: Лесков под псевдонимами опубликовал заметки «О певческой ливрее (Письмо в редакцию)» и «Холостые понятия о женатом монахе», изобличающие Достоевского в незнании церковного быта, а тот откликнулся в «Дневнике писателя» сердитой заметкой «Ряженный», в которой срывал с анонима маску.

детских лет, наблюдая за отношениями родственников по материнской линии Алферьевых и собственного отца, бывшего бурсака. Неловко, словно на экзамене, чувствует себя и герой «Соборян» Савелий Туберозов в гостях у «боярыни» Плодомасовой. Неудивительно, что Лескова радовали даже малейшие признаки знакомства духовенства с плодами цивилизации — он с удовольствием отмечал склонность молодого поколения священников к опрятности: отказ от широкополых шляп, остригание волос и ношение рубашек с воротничками<sup>603</sup>. Священников не только дурно воспитывали в семинарии — с ними не церемонились и после выхода из нее. В публицистике 1870-х Лесков постоянно касается законов, регулирующих семейную жизнь белого духовенства. Овдовевший священник не имеет права жениться снова. Но если он многодетный, кто должен ходить за его детьми? В еще более беспомощном положении оказывается попадьа: после кончины мужа она лишается всяких средств к существованию и поневоле вынуждена становиться дьячихой или пономаршей.

Лесков с удовольствием приводит курьезные случаи, когда представители духовного сословия действовали в обход церковных установлений. Священник-вдовец самовольно женился во второй раз, и сначала епископ отлучил его от служения; но по ходатайству прихожан, любивших батюшку, тот был прощен<sup>604</sup>. Не хуже и история про «мадмуазель-попадью». Овдовев, она не пожелала влачить полунищенское существование и отправилась жить в цыганский табор, потому что прекрасно пела<sup>605</sup>. Похожий мотив о вдове священника, ушедшей к цыганам, появился и в «Заметках неизвестного».

В другой статье Лесков рассказывает о «вычегодской Диане» — попадье в Печерском крае, которая, чтобы добыть семейству пропитание, вынуждена была охотиться и рыбачить, поскольку отец семейства заниматься этим не мог — по церковным канонам священник не имел права проливать кровь живых существ<sup>606</sup>. Понятно, на что так ясно намекает Лесков: законы, обрекающие на голодную смерть или толкающие женщин на мужские занятия, давно пора поменять. Церковное начальство эти намеки, разумеется, раздражали; и всё же, пока не кончилась эпоха Александра II, задиристому публицисту многое прощали. Но внутрицерковные законы переписывать никто, конечно, не собирался. Добавим, что и сегодня, полтора века спустя, они во многом прежние.

Лесков писал эти заметки отнюдь не только для заработка — он действительно хотел изменений. Однако ничто не менялось.

И его тексты о внутрицерковных нравах становились всё язвительнее, всё откровеннее. В созданных уже на исходе 1870-х «Мелочах архиерейской жизни» и примыкавших к ним более поздних «Архиерейских объездах» и «Епархиальном суде» он уже без обиняков рассказывал, как живут русские иерархи и низшее духовенство, полностью зависимое от произвола начальства.

В «Епархиальном суде» Лесков ссылается на Духовный регламент Петра I (правда, цитирует его не совсем точно — говорит о «несытых архиерейских скотинах»<sup>607</sup>, в то время как в документе 1721 года стоит: «Ибо слуги Архиерейские обычене бывают лакомыя скотины») и приходит к заключению, что православное духовенство нуждается в лучшем обеспечении (тогда ему не придется «прибегать к унижительным поборам, роняющим его во мнении прихожан») и в реформе церковного суда<sup>608</sup>. Он не сомневается, что слишком жесткое управление епархией не нужно и даже вредно, зато самоуправление идет делу только на пользу: всякая епархия, «подобно многим частям русского управления, умела прекрасно управляться сама собою, к чему русские люди, как известно, отменно способны, если только тот, кто ими правит, способен убедить их, что он им верит и не хочет докучать им на всякий шаг беспокойною подозрительностию»<sup>609</sup>.

В «архиерейских» хрониках Лесков остается верен себе и, указав на один полюс, не забывает о другом. Вместе с историями о «жестокосердом» Никодиме, «неуемном Смарагде», грубияне и драчуне, а также «запорниках», страдающих от несварения желудка, он рассказывает истории о других иерархах: во «Владычном суде» — о «дуже добром дедусе» киевском митрополите Филарете, готовом каждому оказать милость, в том числе еврейскому мальчику; в «Мелочах архиерейской жизни» — о веселом, но мудром простеце, пермском епископе Неофите Соснине, который любил половить карасей в пруду, приговаривая: «Старинная работка — апостольская!»; об образованном собирателе рукописей, преемнике Филарета на киевской кафедре Исидоре (Никольском).

Всё, что хочет сказать Лесков, сводится к понятным максимумам: архиерей может оказаться и «архилютым крокодилом», и добрым человеком; он тоже подвержен законам

Н. С. Л Ъ С К О В Ъ.

МЕЛОЧИ  
АРХІЕРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ.

*(Картинки съ натуры).*



С. ПЕТЕРБУРГЪ.

Изданіе книгопродавца И. Л. ТУЗОВА.

1879.

«Мелочи архиерейской жизни» — лесковские очерки  
о русском духовенстве, вскоре запрещенные цензурой

естества, а потому может страдать припадками «геморроидального свойства» и несварением желудка.

Но для многих представителей духовного сословия подобный взгляд на иерарха как на простого смертного показался обидным. Церковная печать обрушила на дерзкого автора беспощадную критику<sup>610</sup>, которая в итоге привела к запрещению шестого тома собрания его сочинений, сочиненного «дерзким памфлетом и на церковное управление в России, и на растление нравов нашего духовенства»<sup>611</sup>. Лесков считал эту критику несправедливой. 7 января 1881 года он писал И. С. Аксакову:

«Я никогда не осмеивал сана духовного, но я рисовал его носителей здраво и реально, и в этом не числю за собою вины... В одних “Мелочах арх[иерейской] жизни” я погрешил (по неведению), представив архиереев, как писал мне один умный владыка, “лучше, чем они есть на самом деле”, Вы говорите: “их надо дубьем...” А они дубья-то Вашего и не боятся, а от моих шпилек морщатся...”<sup>612</sup>

Уже в совсем другую эпоху Лесков в письме Толстому резюмировал всё, что писал о Церкви и ее служителях:

«Хотят не того, и этого хотят не какие-нибудь плохие, а хорошие люди, которые как будто наскучили блужданием и служением Богу в пустыне, и хотят видеть и осязать его, а я, конечно, знаю, к чему это вело людей ранее и к чему ведет и уже привело иных теперь, — и я от этого служения отвергаюсь и положил: продолжать делать то, *что я умею* делать, то есть “помогать очищению храма изгнанием из него торгующих в нем”. <...> Работая над тем, над чем я работаю, *то есть соскребая пометы и грязь* “купующих и продающих” в храме живого Бога... Словом, я хочу оставаться *выметальщиком* сора, а не толкователем Талмуда»<sup>613</sup>.

Всё происходящее ясно свидетельствовало о наступившем церковном кризисе, предварявшем кризис христианского сознания. Лескова занимали его причины, он упрямо задавал вопросы: что не так с Русской православной церковью? в чем причина неуспеха проповеди официального православия среди раскольников и сектантов? отчего авторитет Церкви в обществе тает на глазах?

Именно поэтому в 1870-е годы Лесков так много думает и пишет о формах христианской проповеди, о путях миссионерства.



## Миссионер

Интерес Лескова к миссионерской теме, как обычно, подогревался внешним шумом. В 1865 году с согласия императора Александра II и Святейшего синода в Петербурге было учреждено Православное миссионерское общество. Вскоре его члены перессорились и Общество упразднили, но в январе 1870-го открыли снова — на этот раз в Москве, с новым уставом, под покровительством императрицы Марии Александровны и наблюдением Синода. Для распространения православия среди подданных Российской империи в епархиях были созданы специальные миссионерские комитеты, затем Общество получило от Синода разрешение ежегодно в праздник Торжества Православия произносить церковные проповеди о миссионерстве. С 1873 года такие проповеди действительно стали читаться по всем храмам России, а миссионерская тема прочно укоренилась в актуальной повестке 1870-х годов.

В 1874 году на средства Православного миссионерского общества в Москве начал выходить еженедельный журнал «Миссионер», посвященный прозелитской деятельности в различных частях России. В первом же номере журнала были названы причины его издания: охлаждение к делу христианской проповеди в России и необходимость «возбудить в народе сочувствие к миссионерству»<sup>614</sup>. В круг тех, к кому миссионеры должны были обратиться проповедь, входили не только язычники и иноверцы, но и старообрядцы и сектанты. В полном соответствии с прозвучавшей повесткой Лесков посвятил целую серию статей положению православия в Российской империи.

На страницах еженедельника «Гражданин» выходят его статьи «Об обращениях и совращениях» (в девятом номере за 1874 год), «О сводных браках и других немощах» (в третьем и четвертом номерах за 1875 год), «Несколько слов по поводу записки высокопреосвященного митрополита Арсения о духовоборческих и других сектах» (в 15-м и 16-м номерах за 1875 год), в которых автор пытается понять, как правильно проповедовать, и приходит к предсказуемому выводу: нет лучшей проповеди, чем «практическое христианство», или применение самим проповедником заповедей Христовых в реальной жизни.

Особенно, считает Лесков, в этом преуспели новые сектанты — штундисты\*, чем и объясняется их стремительный успех на юге России. Последователи штунды, в основном крестьяне, стихийно собираются в кружки по изучению Библии, отказываются от спиртного, хранят телесную чистоту до брака. И штундисты, и раскольники бегут от официальной Церкви по понятным причинам: в ней процветают «доносы, нетерпеливость, малосведущность в писаниях», а также «неумение чинно служить», что особенно раздражает старообрядцев.

Церковный кризис был ошутим не только в среде крестьян южных губерний, но и в высшем обществе.

В очерке «Великосветский раскол» (1878) Лесков высказывает похожие мысли, на этот раз о причинах популярности английского пастора Гренвила Редстока (1833—1913), который впервые побывал в Петербурге в 1874 году и немедленно полюбился русской великосветской публике. Лесков сам посещал собрания с участием лорда Редстока и лично убедился в силе его обаяния, хотя и не принял его учения. Редсток проповедовал оправдание верой, а не делами — с этим Лесков согласиться не мог и объяснял успех мистера Редстока недостатком «близкого и живого общения клира с мирянами» в Русской православной церкви, а также отсутствием практики «христианского милосердия в церковной общине, т. е. в своем приходе»<sup>615</sup>.

Итак, всё просто: чтобы преуспеть в проповеди христианства, священники должны перестать бубнить службы и начать откликаться на духовные нужды прихожан. У отдельных пастырей, признаёт Лесков, это получается. Там, где духовенство добросовестно исполняет свое дело, православие процветает, а прихожане не уходят в секты и раскол. В статье «О сводных браках и других немощах» Лесков рассказывает о старце Ионе, основавшем скит рядом с киевским Выдубицким монастырем. В скит не зарастает паломничья тропа, люди идут за советом и молитвой, потому что старец прилежен в ведении церковных служб, ведет аскетическую жизнь, внимателен к каждому входящему. Вот, собственно, и рецепт. Увы, не многие священники были готовы ему следовать.

---

\* Штундизм (от нем. Stunde — час) — религиозное движение, возникшее в начале 1870-х годов в южных губерниях России под влиянием колонистов-протестантов, близкое к баптизму и в итоге слившееся с ним, делавшее акцент на изучение Библии и личное благочестие.

И Лесков задается закономерным вопросом: если официальная Церковь не в состоянии сберечь и исполнить христианские заповеди, не значит ли это, что она напрасно узурпировала право на обладание истиной?

Довольно отчетливый ответ на него звучит в рассказе «На краю света», опубликованном в том же «Гражданине» и посвященном прозелитским усилиям Церкви на окраинах империи. В основу рассказа положено воспоминание православного епископа Н. о событиях, пережитых им когда-то в Сибири, куда он был отправлен для обращения иноверцев. После случившейся с ним драмы взгляды епископа на миссионерство резко изменились. Рассказ основан на реальных событиях: историю эту Лесков, по собственному признанию, услышал от крупного предпринимателя Василия Александровича Кокорева, а тот, в свою очередь, от архиепископа Нила (Исаковича), в 1840-е годы возглавлявшего кафедру в Иркутске.

Епископ в рассказе Лескова — горячий миссионер, желавший обратить в православие как можно больше «дикарей», — был спасен от неминуемой смерти одним из них, проявившим бесстрашие и самоотверженность. С той поры епископ убедился, что в сердце иного язычника может быть не меньше жертвенной христианской любви, чем у крещеного, а то и больше.

«Почените же вы, господа, хоть святую скромность православия и поймите, что верно оно дух Христов содержит, если терпит всё, что Богу терпеть угодно. Право, одно его смирение похвалы стоит; а живучести его надо подивиться и за нее Бога прославить.

Мы все без уговора невольно отвечали:

— Аминь»<sup>616</sup>.

Дружное «аминь» обнаруживает, что все реагируют на повествование архиепископа как на *проповедь*. Это и была проповедь.

Скорее всего, характерные черты этого церковного ораторского жанра Лесков использует сознательно<sup>617</sup>; во всяком случае, речь епископа действительно содержит признаки проповеди, легко опознаваемые его собеседниками. На определенные ожидания их настраивает не только его сан, но и «собеседование», «беседа» — именно так называли проповедь в учебниках, по которым в те времена учились семинаристы. Еще один признак проповеднического

жанра — ссылки на Священное Писание и святоотеческую литературу. Таких цитат в рассказе «На краю света» множество, хотя тут Лесков вносит коррективы: его герой ссылается не только на канонические тексты, но и на Тертуллиана — апологета Церкви, ставшего под конец жизни еретиком, немецкого философа и мистика Карла Эккартсгаузена, античную и буддийскую мифологию, русский и особый бурсацкий фольклор. Как-никак это не каноническая церковная проповедь, а, по выражению критика М. О. Меншикова, художественная<sup>618</sup>, провозглашение истин, ценных для писателя Лескова. Сам список источников словно бы соответствует многообразию идеологических систем, каждая из которых дорога автору. Среди тех, кого цитирует епископ, есть и Вергилий. Строки знаменитого римского поэта вспоминаются архиерею в тот момент, когда проводник-язычник, вернувшись из далекого и опасного похода, принес ему, умиравшему от голода, пищу и, сообщив, что хозяин, «который наверху», всё видит, крепко уснул. Епископу открывается истина:

«Прости меня, блаженный Августин, а я и тогда разномыслил с тобою и сейчас с тобою не согласен, что будто “самые добродетели языческие суть только скрытые пороки”. Нет; сей, спасший жизнь мою, сделал это не по чему иному, как по добродетели, самоотверженному состраданию и благородству; он, не зная апостольского завета Петра, “мужался ради меня (своего недруга) и предавал душу свою в благотворение”. <...> Авва, Отче, сообщай Себя любящему Тебя, а не испытующему, и пребудь благословен до века таким, каким Ты по благодати своей дозволил и мне, и ему, и каждому по-своему постигать волю Твою. Нет больше смятения в сердце моем: верю, что Ты открыл ему себя, сколько ему надо, и он знает Тебя, как и всё Тебя знает:

*Largior hic campos aether et lumine vestit  
Purpureo, solemque suum, sua sidera norunt!* —

подсказал моей памяти старый Вергилий (так. — М. К.), — и я поклонился у изголовья моего дикаря лицом донизу, и, став на колени, благословил его, и, покрыв его мерзлую голову своею полою, спал с ним рядом так, как бы я спал, обнявшись с пустынным ангелом»<sup>619</sup>.

---

\* Пышнее здесь эфир одевает пространства в убранство пурпурного света, и познают люди здешние солнце свое и звезды свои! (лат.).

«Пустынным ангелом» Лесков, превосходно знавший иконографию, несомненно, намекает на распространенный в православной традиции тип иконописного изображения Иоанна Предтечи «Ангел пустыни» — в звериной шкуре<sup>620</sup>.

Появление языческого поэта Вергилия в рассказе о «дикаре»-язычнике с христианской душой тоже легко объяснимо. Вергилий, умерший за 19 лет до Рождества Христова, — фигура, находящаяся на границе христианской и языческой цивилизаций. Благодаря четвертой эклоге из цикла «Буколики», которая была воспринята христианами комментаторами как пророчество о рождении Христа, Вергилий был включен в круг христианской культуры. Цитата из «Энеиды», в рассказе Лескова пришедшая на память епископу Н., описывает край вечного блаженства в загробном мире — античный аналог христианского рая. Смысл параллели очевиден: как Вергилий сумел предчувствовать и увидеть явление света Христова, внять гармонии вечного блаженства, так и «дикарь» может приблизиться к познанию Бога.

Идея, ради которой был написан этот рассказ, обнажается и в другой, более ранней сцене. Владыка, измученный голодом, холодом и недоверием к покинувшему его проводнику, наконец, видит своего спасителя:

«Ко мне плыла крылатая гигантская фигура, которая вся с головы до пят была облечена в хитон серебряной парчи и вся искрилась; на голове огромнейший, казалось, чуть ли не в сажень вышины, убор, который горел, как будто весь сплошь усыпан был бриллиантами или точно это цельная бриллиантовая митра... Всё это точно у богато убранного индийского идола, и, в довершение сего сходства с идолом и с фантастическим его явлением, из-под ног моего дивного гостя брызжут искры серебристой пыли, по которой он точно несется на легком облаке, по меньшей мере как сказочный Гермес»<sup>621</sup>.

Всё здесь сошлось и соединилось: все верования, все культурные пласты, все сны детворы. И милосердный «дикарь» оказался приравнен к древнегреческому богу и одновременно к индийскому идолу, что естественно — он ведь язычник. Однако этот язычник словно бы облачен в *хитон* из серебряной парчи, а это уже атрибут из новозаветной традиции: античный хитон — льняная одежда Христа и апостолов. В глазах измученного голодом епископа хитон

становится парчовым и серебряным, то есть шкуры, в которые одет «дикарь», уподобляются уже не обычной одежде эллинистического мира, но литургическому священническому облачению. При этом сам «темняк» (таково было заглавие рассказа в первой редакции) поклоняется богине Дзол-Дзягачи, несколько раз ссылается на буддийские легенды. Как видим, здесь нашлось место всем богам — античным, буддийским, индуистским.

Роли персонажей не закреплены за ними намертво. Лесков провоцирует читателя, заставляет видеть в язычнике Иоанна Крестителя. Епископ приходит крестить «дикаря», но в итоге сам принимает от него духовный дар. Поэтому и одежда из шкур предстает облачением священнослужителя, а снежная «митра» индийского идола готова обернуться епископской.

Лесков не ставит под сомнение абсолютную истинность христианства — он провозглашает другое: в толковании и поиске истины все находятся в круге света, пусть иногда и на самом его краю.

Гармонический мир для Лескова 1870-х годов — мир, вмещающий в себя разные культуры, языки, взгляды. Объединить и примирить, преодолеть все границы<sup>622</sup> может только любовь, которая ведет к истине независимо от того, какую религию исповедует человек, на каком наречии говорит, какое воспитание получил и к какой культуре принадлежит.

Обращаясь к сюжету, в котором сталкиваются разные языки и культуры, Лесков декларирует существование вневременных универсальных истин, для выражения которых нужны средства значительно более широкие, поэтому и рассказ об этих истинах неизбежно должен включать в себя заимствования из разных языков и культур. Так рутинное занятие миссионера у Лескова возрастает до апостольского благовествования, для которого, как известно, ученикам Христа была дана способность говорить на разных языках.

Во второй половине 1870-х годов в письме издательнице журнала «Русский рабочий» М. Г. Пейкер Лесков излагает похожие идеи:

«Всё хорошо, что искренно и что живет в нас ради любви ко Христу, владыке и повелителю нашему: в этом настроении “всё привмняется во благое”, и задача приведения “к

одному знаменателю” решается многими способами... так верю, не боясь ничьих мнений и уважая все мнения, которые искренни и честны. В этой ереси я прожил жизнь и молю Богу (так. — М. К.) позволить мне в ней же и умереть, храня веру, надежду и любовь»<sup>624</sup>.

«На краю света» оказывается подступом к формированию взглядов Лескова на писателя как на миссионера. Незадолго до смерти, в 1894 году, он сформулирует эту мысль: «Дело честного писателя — служить тому, чтобы Царство Божие настало на земле как можно скорее и все-совершеннее»<sup>623</sup>.

### Еврейский вопрос

Рассказ «На краю света» вскоре после первой публикации вышел отдельным изданием, удостоился нескольких доброжелательных рецензий<sup>625</sup> и... понравился даже самому Победоносцеву, которому были близки взгляды Лескова на крещение иноверцев<sup>626</sup>. Словно бы в пару первому своему «миссионерскому» рассказу Лесков вскоре написал второй, «Владычный суд», на ином материале продолжая развивать тему крещения и имперского доминирования. Главную сюжетную роль в нем тоже играет иерарх, на этот раз названный полным именем, — митрополит Филарет (Амфи-театров), чей «владычный суд» помог незаконно взятому в кантонисты мальчику-иудею освободиться от службы.

По службе в рекрутском присутствии в Киеве Лесков хорошо помнил, как еврейских мальчиков забирают в армию, вырывая из «теплых постелей» и материнских объятий, но, вероятно, знал и задолго до этого. В «Овцебыке», рассказывающем о его ранней юности, есть печальный эпизод о том, как «партию малолетних еврейских рекрутиков перегоняли через город»<sup>627</sup>. После вступления на престол Александра II началась постепенная либерализация политики и в отношении евреев: набор еврейских мальчиков в кантонисты был прекращен, в 1860-е годы несколько категорий еврейского населения получили право жить за пределами черты оседлости\*.

---

\* Черта оседлости — с 1791 по 1917 год граница территории на западе и юго-западе Российской империи, за пределами которой запрещалось постоянное проживание иудеям, за исключением лиц с высшим образованием, купцов первой гильдии, цеховых ремесленников и пр.

Хотя «Владычный суд», действие которого приходится, видимо, на начало 1850-х, писался уже в новые времена, но об окончательном снятии всех национальных ограничений речи еще не шло. Однако в этом рассказе доброе отношение к иудеям проявляет не только рассказчик-чиновник, но и киевский губернатор, и православный епископ. В этом смысле «Владычный суд» зеркален по отношению к «На краю света»: во втором случае дикарь спасает епископа от смерти, в первом — епископ спасает иноверца от службы в армии. Два этих рассказа вполне можно читать как дилогию, недаром несколько лет спустя они были изданы одной книжкой<sup>628</sup>. Смысл ее сводится к знакомой апостольской максиме: в христианском отношении к миру нет «ни Еллина, ни Иудея... но все и во всем Христос» (Кол. 3:11). Православный епископ — символический образ Христа — сначала в одном рассказе, а затем в другом иллюстрирует эту идею своим добрым отношением к «эллину» — язычнику-тунгусу и иудеям — мальчику и его отцу.

Рекрутирование малолетних евреев, введенное Николаем I в 1827 году, было частью российской колониальной и церковной политики, имевшей конечной целью христианизацию иудейского населения. В «Овцебыке» православный священник не отделяет себя от государственной системы. А митрополит Филарет у Лескова не позволил креститься еврею-мошеннику, который, взяв деньги с отца мальчика за то, что поступит рекрутом вместо его малолетнего сына, внезапно объявил, что хочет принять православие (в таком случае взять его в армию как еврея уже не могли и мальчик всё-таки попадал в набор, а его отец, отдавший последние копейки, оставался нищим). Казалось бы, какое дело православному митрополиту до всей этой возни? Но «добрый дедуся» Филарет, как мы знаем, славился широтой взглядов.

Став митрополитом Киевским и Галицким, Филарет не мог не столкнуться с вопросом крещения иногородцев, в первую очередь евреев. Киевская губерния входила в черту оседлости, и евреи составляли значительную часть ее населения. На отношение митрополита к евреям проливают свет документы, обретенные нами в ЦГИАК, в частности ответ Филарета на записку обер-прокурора Синода графа Николая Александровича Протасова «О затруднениях, встречаемых евреями, принимающими христианскую веру, и о предполагаемых средствах к отвращению этих затруднений»<sup>629</sup>. Протасов предлагал ввести послабления



для евреев, которые тотчас после призыва в армию примут крещение<sup>630</sup>. Митрополит ответил отказом и напомнил, что иудеи, которые подпадают под рекрутский набор и изъявляют желание принять православие, «явно обнаруживают, что они не по внутреннему убеждению в истине христианской веры желают Св. Крещения»<sup>631</sup>. Он не хотел давить в вопросе выбора веры. Значит, Лесков в рассказе не покривил против документально подтвержденной истины: митрополит с такими взглядами действительно считал бы неуместным крестить еврея, который собрался поменять веру из соображений выгоды.

Генерал-губернатор И. И. Васильчиков также был известен либеральной для своего времени позицией по еврейскому вопросу<sup>632</sup>. В этом контексте заступничество губернатора за несправедливо взятого в солдаты еврея кажется совершенно логичным.

Очевидное сюжетное пересечение с историей, рассказанной Лесковым, есть и в другом деле, обнаруженном нами в киевском архиве.

«Дело по прошению еврея Йося Володарского о перемене отданного в рекруты сына его Мошка другим рекрутом» от 6 октября 1851 года<sup>633</sup> содержит ходатайство Володарского на имя полицмейстера города Василькова Киевской губернии о скорейшей замене другим рекрутом его сына, взятого без законного основания. После вмешательства самого генерал-губернатора ходатайство было удовлетворено. Вероятно, дело это не было рядовым — не каждый раз губернатор хлопотал об обиженных; во всяком случае, других подобных дел в архиве не нашлось. Скорее всего, случай имел общественный резонанс, но Лескову мог быть известен еще и потому, что тот служил тогда в том рекрутском присутствии, где произошел описанный казус. Обстоятельства, в которых действуют герои Лескова, во многом напоминают историю Володарского: спешка, невозможность решить вопрос обычными средствами, необходимость обращения к высшей власти губернии, наконец, личное участие Васильчикова в разрешении конфликта. Однако в деле Володарского нет и следа присутствия митрополита, в рассказе Лескова Филарет — главный «чудесный помощник». Возможно, так всё и случилось на самом деле; еще вероятнее, что митрополит понадобился Лескову для симметрии с епископом из рассказа «На краю света». А поскольку автор испытывал к киевскому архиерею особенную симпатию, он подарил ему в своем тексте самую лучшую роль.

«Владычный суд» — не единственное высказывание Лескова по еврейскому вопросу. Он был одним из немногих русских писателей, постоянно выступавших против дискриминации прав евреев, высказывался об этом и в публицистических работах, и в журналистских заметках 1860-х годов.

В 1880-е Лесков опубликовал в «Петербургской газете» серию просветительских статей об иудейских праздниках и ритуалах. В 1884 году он адресовал большую работу «Евреи в России: несколько замечаний по еврейскому вопросу» Высшей комиссии для пересмотра действующих о евреях в империи законов, созданной правительством после волны погромов, прокатившейся по югу России в 1881—1882 годах. Еврейская община Петербурга, заинтересованная в том, чтобы информация, поступающая на рассмотрение комиссии, была объективной, заказала материалы сразу нескольким писателям, в том числе Лескову. Его сын рассказывает:

«В начале 1883 года в кабинете Лескова появилась почти карикатурная фигурка: очень маленький, крикливо одетый брюнетик, с бритой верхней губой, черной, “метелочкой”, бородкой и ежиком остриженными конскими волосами. Представился он как доверенный барона Зака, барона Г. О. Гинцбурга и прочих виднейших представителей столичной еврейской общественности. Себя он назвал кандидатом прав Казанского университета П. Л. Розенбергом. От имени пославших его он передал просьбу составить записку по вопросу о положении евреев в России, предназначенную для представления ее затем в так называвшуюся “Паленскую” комиссию\*, созданную для обсуждения мероприятий по предотвращению впредь еврейских погромов...»<sup>634</sup>

Розенберг еще станет прототипом потешного героя рассказа «Пумперлей», но пока Лесков с удовольствием взялся за работу о евреях в России и написал около пяти авторских листов. В январе 1884 года брошюра вышла тиражом 50 экземпляров, без указания авторства, так как предназначалась только для внутреннего употребления членами комиссии.

Опираясь на статистические сведения, исторические факты и собственный опыт, Лесков последовательно раз-

---

\* Комиссию возглавлял бывший министр юстиции граф К. И. Пален.

венчивает основные предубеждения насчет евреев. В самом начале он пишет, что евреи не эксплуататоры, которые обманывают народ и забирают у него работу: их успех — результат природного трудолюбия. Они и не развратители, спаивающие крестьян: «...в великорусских губерниях, где евреи не живут, число судимых за пьянство, равно как и число преступлений, совершённых в пьяном виде, постоянно гораздо более, чем число таких же случаев в черте еврейской оседлости»<sup>635</sup>; пьянство же существовало на Руси задолго до появления евреев на ее территории — еще в XV веке Кирилл Белозерский писал: «Люди ся пропивают, и души гибнут»; следовательно, итожит Лесков, «жид в том нимало не повинен». Наконец, они не лжецы, а лжесвидетельством занимались лишь вынужденно, во время набора кантонистов. «Евреи, например, трудолюбивы, бережливы, чужды мотовства, празднолюбия, лености и пьянства»<sup>636</sup>, — перечисляет Лесков качества, полезные и для общества, и для государства.

Решить еврейский вопрос, по Лескову, просто:

«Нужно дозволить евреям жить во всех без ограничения местах Империи и заниматься ремеслами и промыслами, дозволенными законом, наравне со всеми прочими подданными государства, и нужно уничтожить все отдельные еврейские общества по отбыванию повинностей».

В последующие десять лет Лесков сочинил несколько рассказов, главными героями которых были иудеи: «Ракушанский меламед» (1878), «Жидовская кувырколлегия» (1882), «Новозаветные евреи» (1884), «Уха без рыбы» (1886). Именно художественные тексты Лескова позволяют с особенной ясностью проследить эволюцию его взглядов на еврейский вопрос: от сочувствия, звучащего особенно отчетливо во «Владычном суде» и в «Жидовской кувырколлегии», посвященной жестокому обращению с евреями в российской армии, к полному приятию иудейской веры и культуры.

Последним развернутым художественным высказыванием Лескова на эту тему стало «Сказание о Федоре-христианине и друге его Абраме-жидовине» (1886), в котором он окончательно уравнивал христианство и иудаизм, считая, что в глазах Бога эти религии равны. «Сказание...» входит в цикл сочинений, написанных Лесковым на основании древнерусского Пролога — календарного церковно-учительного сборника, содержащего краткие жития

святых, рассказы о важнейших церковных праздниках и поучительные повести. Лесков опирается на включенное в Пролог «Слово о Феодоре купце, иже взимая злато у жи-довина» (31 октября), беря только финальную часть этого текста и совершенно меняя его смысл<sup>637</sup>: если в проложном «Слове...» доказывалось превосходство христианства над иудаизмом, и в финале истории «жидовин», потрясенный нравственной красотой христианина, принимает крещение, то в лесковском «Сказании...» оба остаются при своей вере и решают построить большой приют для бедных детей независимо от их вероисповедания. На протяжении всего «Сказания...» Лесков подчеркивает: нетерпимость к религиозным взглядам противоречит закону христианской любви.

Опережая свое время, он оказался проповедником веротерпимости и толерантности. Таковы итоги эволюции взглядов Лескова на еврейский вопрос. Нетрудно предположить, что ее логику и конечный результат определили биографические обстоятельства: служба молодого Лескова в Казенной палате, личные впечатления и постоянное соприкосновение с дискриминацией еврейского населения.

Забавно, что Лесков, будучи в публичном пространстве горячим защитником прав евреев, в частном предпочитал не иметь с ними дело. По свидетельству А. И. Фаресова, Николай Семенович говорил ему: «Лучше жить со всеми национальностями, и высказываю это мнение; но сам боюсь евреев и избегаю их. Я за равноправность, но не за евреев...» — и пояснял, что имеет в виду: «Если мне нужно купить сапоги и передо мной будут сапожники — немец, поляк, русский и еврей — то я зайду к немцу; если нет немца, зайду к поляку и т. д. К еврею зайду после. Я знаю его недостатки и что он где-нибудь да сфальшивит. Но всё же он человек, и нет разницы между дурными людьми всякой национальности»<sup>638</sup>.

## Реквием

Новая попытка Лескова реализовать высказанные им в программной статье «Русского мира» идеи о преодолении разрыва поколений, оживлении исторического прошлого и обретении в нем идеальных людей была сделана в «Захудалом роде» (1874). Это одна из самых стилистически гармоничных хроник Лескова, полная печали и ностальгии

по невозвратному, последнее его крупное опубликованное (в катковском «Русском вестнике») произведение, еще одна его художественная проповедь.

В «Захудалом роде» Лесков впервые последовательно заговорил не о неприметных людях из крестьян, разночинцев, мещан, священников, а о российской аристократии. Заговорил, чтобы проститься и с этими богатырями. «Захудалый род» — реквием, отпевание покидающих историческую сцену типов и людей старой складки. Хронике предшествует значимый эпиграф: «Род проходит и род приходит, земля же вовек пребывает» (Еккл. 1:4).

Правда, эту хронику автор облек в форму семейных записок, составленных внучкой главной героини, княжной Верой Дмитриевной Протозановой. Это само по себе отчасти опровергает заложенную в афоризме Екклесиаста идею о забвении родов. Дав роду фамилию, начинающуюся с «Прото-», Лесков подчеркивает, что тот явился на историческую сцену одновременно с появлением Русской земли, а история его стала частью истории государства Российского начиная с эпохи Ивана III, когда Протозановы оказались «в числе почетных людей Московского княжества», и вплоть до первых десятилетий XIX века. Упоминание чугуевского бунта военных поселян, случившегося в 1819 году, позволяет довольно точно датировать время действия хроники: вторая половина царствования Александра I<sup>639</sup>. Крах или вырождение рода, в долгой судьбе которого отразились процессы, происходившие в мире, — известный прием, часто использовавшийся в литературе и до, и после Лескова: в романах «Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина, «Руго́н-Маккары» Эмиля Золя, «Будденброки» Томаса Манна<sup>640</sup>, из более поздних — в трилогии Анри Труайя «Семья Эглетьер». Интересно, что и приятель Лескова С. Н. Терпигорев, публиковавшийся под псевдонимом Сергей Атава, в 1880 году выпустил серию очерков «Оскудение», посвященных упадку поместного дворянства.

Крестьянская реформа 1861 года уничтожила самую ценную из дворянских привилегий, и одна из наиболее шумных дискуссий в прессе 1860-х была посвящена дальнейшей исторической и общественной роли дворянства в России. Газета «День», например, утверждала, что пришло время дворянству «торжественно, перед лицом России, совершить великий акт уничтожения себя как сословия»<sup>641</sup>. Понятно, что представители консервативного крыла эту позицию не разделяли. Не одобрял ее и Лесков. Еще во

внутреннем обозрении 1862 года в «Северной пчеле», откликаясь на полемику о высшем сословии, он писал, что дворянство, обладая правом личной свободы и имущественной неприкосновенностью, представляет собой «наивысшую ступень» социальной лестницы и в этом нет ничего дурного — напротив, так ему проще будет помочь другим сословиям в обретении тех же прав:

«Права, как и солнца, освещающего праведных и грешных, для всех достанет. Пусть стоящие ближе к свету смело подают руку карабкающимся снизу, из мрака сени смертных»<sup>642</sup>.

Мнения своего он не изменил и в 1870-е годы, считая лишь, что дворянству нужно ответственнее относиться к выпавшей ему исторической роли и активнее действовать на благо России.

В центр хроники «Захудалый род» Лесков помещает княгиню Варвару Никаноровну Протозанову, героиню во всех отношениях необыкновенную, которая заметно отличается от других представителей своего сословия, той же Марфы Андреевны Плодомасовой из хроники «Соборяне» — великодушной, независимой и всё же не свободной от барских привычек. К примеру, «боярыня» Плодомасова очень хочет женить карлика Николая Афанасьевича — и зачем? — чтобы «маленьких людей развестъ». Княгиня Протозанова, сохранив благородство и достоинство, дарованные природой и воспитанием, сумела растворить сословные предрассудки в следовании христианским заповедям — недаром ее часто ставят в длинный ряд лесковских праведников, но и там она выделяется.

«Захудалый род» неожиданно оборачивается апологией русского родового дворянства, чей стержень — нравственное совершенство, благородство, уверенность в необходимости постоянных душевных усилий, направленных на приумножение добра в мире. Это дворянское достоинство, слитое с христианской добродетелью, определяется не только древностью и знатностью происхождения, но и величием поступков:

«Уважаю род как преемство известных добрых преданий, которые, по ее мнению, должны были служить для потомков побуждением беречь и по мере сил увеличивать

добрую славу предков, княгиня отнюдь не была почитательницей породы и даже довольно вульгарно выражалась, что “плохого князя и телята лижут; горе тому, у кого имя важнее дел его”»<sup>643</sup>.

Вот описание изображения Варвары Никаноровны в молодости, созданного, как указывает рассказчица, известным художником Лампи (очевидно, Иоганном Баптистом Лампи-старшим, модным живописцем, прославившимся парадными портретами русской аристократии по преимуществу Екатерининской эпохи):

«Портрет писан во весь рост, масляными красками, и представляет княгиню в то время, когда ей было всего двадцать лет. Княгиня представлена высокою стройною брюнеткой, с большими ясными голубыми глазами, чистыми, добрыми и необыкновенно умными. Общее выражение лица ласковое, но твердое и самостоятельное. Опушенная книзу рука с букетом из белых роз и выступающая одним носочком ботинки ножка дают фигуре мягкое и царственное движение»<sup>644</sup>.

Судя по косвенному свидетельству в письме Лескова И. С. Аксакову от 23 марта 1875 года<sup>645</sup>, образ княгини был создан с оглядкой на племянницу писателя К. П. Масальского Настасью Сергеевну, которую Лесков посещал в отрочестве: та «совмещала благородство с простотою и разум со снисхождением; она соединяла вкупе разлученные неравенством, якобы все были равны во имя всех создавшего Бога»<sup>646</sup>. Видимо, Варвара Никаноровна имела и литературных предшественников: довольно очевидны в ней черты Марфы Тимофеевны из тургеневского «Дворянского гнезда» — своенравной, но прямой и честной барыни, и, конечно, Татьяны Марковны Бережковой, высоконравственной и властной «столбовой дворянки» из «Обрыва» (1869) Гончарова, бережно хранившей патриархальные устои в своей усадьбе Малиновке (с автором, кстати, Лесков был в самых добрых отношениях)<sup>647</sup>.

Начиная знакомство читателей со своей героиней через описание ее портрета маслом, Лесков, возможно, бессознательно указывает на метод, применяемый им в хронике. «Захудалый род» — это череда великолепных по исполнению и психологической тонкости портретов членов семьи, связанных между собой невесомыми, иногда почти условными сюжетными нитями. Событий поворотных, узловых

здесь так немного, что сюжет «Захудалого рода» можно пересказать несколькими предложениями. Попробуем это сделать.

Княгиня Протозанова в войне 1812 года потеряла любимого мужа, с которым прожила счастливо не менее десяти лет. Окруженная близкими людьми, она растит в своем поместье двоих малолетних сыновей, дочь Анастасия учится в Смольном институте. Варвара Никаноровна отправляется за ней в Петербург, где получает предложение руки и сердца от соседа по имению, пятидесятилетнего графа Василия Александровича Функендорфа, крупного вельможи. Граф, названный именем ненавистного гимназического учителя, настолько одержим идеей соединить собственные угодья с тучными протозановскими, что, получив от княгини отказ, вскоре женится на ее дочери, вчерашней институтке. Княгиня находит подрастающим сыновьям воспитателя — Мефодия Мироновича Червева, в прошлом профессора семинарии, а ныне полуопального чудака, подлинного христианина. Крупных событий в хронике всего несколько: гибель на войне супруга княгини, ее отъезд в Петербург, свадьба дочери, встреча с Червевым. Мелких происшествий — комичных, трагичных, важных исключительно для их участников — здесь, как и в «Соборянах», значительно больше. Но и они служат одной цели: рассказать про людей, каких давно нет и уже никогда не будет. Дурных людей среди обитателей Протозанова — ни одного.

Точнее, главные герои «Захудалого рода» не совсем люди — скорее, монументы, до того они величественны и картинны. Лесков выводит их на сцену постепенно, одного за другим, от эпизода к эпизоду всё тщательнее прописывая облик каждого. Первым в этой торжественной череде является Патрикей Семенович Сударичев, камердинер князя.

Это он провожает князя на смертный бой и в последний путь, привозит молодой, ожидающей ребенка княгине весть о героической гибели супруга. В благодарность за верную службу мужу княгиня дает Патрикею вольную и даже дарит пустыньку, но тот не желает принимать дар и «забывает» вольную в ящике передней, где она и лежит 40 лет до самой его смерти, а потом бережно хранится в семейном архиве. Его призвание — служить: «...он по натуре был фанатик рабской преданности и твердый консерватор старых порядков»<sup>648</sup>. Излагающая историю своего рода внучка княгини Вера Дмитриевна Протозанова, за спиной которой укрылся Лесков, замечает:



«Охотник мечтать о дарованиях и талантах, погибших в разных русских людях от крепостного права, имел бы хорошую задачу расчислить, каких степеней и положений мог достичь Патрикей на поприще дипломатии или науки, но я не знаю, предпочел ли бы Патрикей Семеныч всякий блестящий путь тому, что считал своим призванием: быть верным слугой своей великодушной княгине.

— Ее раб, — говорил он, — и ее рабом я умру.

И он так и сделал»<sup>649</sup>.

Патрикей, словно истинный патриций, не просто красив, солиден; он, как почти все здесь, необыкновенно театрален: каждый жест его имеет такие законченность и значение, будто исполнен на сцене. Вот как сдержанно, скупое и выразительно ведет себя верный слуга в скорбной ситуации:

«Жестоко израненный трубач выскочил и привез с собой Князеву голову, которую Патрикей обмыл, уложил в дорожный берестяной туес и схоронил в глубокой ямке, под заметным крушинным кустом»<sup>650</sup>.

Однако и прислуживает за столом он с благородным величием (тут княжна передает слово своей наперснице Ольге Федотовне):

«Ах, как он разливал! то есть этак, я думаю, ничего на свете нельзя так красиво делать! Рука эта у него точно шея у лебедя гнется: нальет, и передает лакею тарелку, и опять возьмет: всё красота.

Окончив разливанье, которым так любовались художественные натуры села Протозанова, Патрикей Семеныч сходил с возвышения и становился за стулом у бабушки, и отсюда опять продолжал давать молча тон мужской прислуге и служить предметом восторгов для наблюдавших за ним из своего секрета женщин»<sup>651</sup>.

Патрикей — воплощенная преданность и почитатель доблестей древнего рода, которому служит.

Отчасти его напоминает и горничная бабушки Ольга Федотовна, «которую все любили за ее хороший нрав и доброе сердце», бывшая княгине более другом, чем служанкой. Полюбив окончившего курс семинариста, она принесла себя в жертву его славной будущности, о которой мечтала его сестра — не из тщеславия, а чтобы помочь братьям. Поняв, что чувства могут стать препятствием для карьеры любимого, Ольга Федотовна уже после признания

в любви и поцелуя подстроила дело так, чтобы стать с ним крестными родителями младенца и тем самым отрезать путь к женитьбе (крестные родители по традиции не имеют права вступать в брак).

Под стать Ольге Федотовне и другая героиня хроники Марья Николаевна, дочь заштатного дьякона Николая, ослепшего от удара молнии:

«Марья Николаевна была хороша собою, но хороша тою особенною красотой, которая исключительно свойственна благообразным женщинам из нашего духовенства. Эта красота тихая, скромная, далекая от всяких притязаний на какую бы то ни было торжественность, величие и силу своего обаяния: она задумчива, трогательна, является как бы только вместилищем заключенной в ней красоты духовной»<sup>652</sup>.

В Марье Николаевне, по словам рассказчицы, обитала «какая-то необыкновенная душа»: «...она никогда не думала о себе и жила для других, а преимущественно, разумеется, для своей семьи. Рано потеряв мать, она буквально вынянчила обоих братьев и сестру, которые все были моложе ее». Самоотверженные поступки этой тихой женщины — не только работа на свою семью с тринадцати лет, но и брак «по благословению архиерея» с семинаристом многим младше ее — не для того, разумеется, чтобы быть счастливой, а чтобы дать возможность братьям окончить семинарию. Тем не менее всё обернулось счастливо:

«Молодой “поскакун” оценил редкие достоинства этой чудной женщины и... полюбил ее! Такова иногда бывает власть и сила прямого добра над живою душой человека»<sup>653</sup>.

Когда годы спустя в Протозаново заезжает тот самый архиерей, что был в семинарские годы влюблен в Ольгу Федотовну, и в проповеди говорит о любви, княгиня Протозанова на него сердится:

«...не понимаю, что это ему вздумалось тут говорить, что “нет больше любви, если кто душу свою положит”... Это божественные слова, но только и их надо у места ставить. А тут, — она повела рукою на чайную комнату, где Марья Николаевна и Ольга Федотовна в это время бережно перемывали бывший в тот день в употреблении заветный саксонский сервиз, и добавила: — тут по любви-то у нас есть

своя академия и свои профессора... Вон они у меня чайным полотенцем чашки перетирают... Ему бы достаточно и того счастья, что он мог их знать, а не то, чтобы еще их любви учить! Это неделикатно!»<sup>654</sup>

Преданный Патрикей, кроткая Ольга Федотовна, дьяконица Марья Николаевна с «необыкновенной душой» уравновешены двумя комическими фигурами. Первая — Петро Грайворона, отважный трубач, вывезший с поля боя голову погибшего князя Протозанова. Княгиня пыталась его осчастливить, но тщетно: изрубленный в боях, «как верблюд огромнейший и нескладный, как большое корыто», Грайворона оказался таким горьким пьяницей, что в конце концов и погиб бесславно, выпив нашатырного спирта. Другой комический персонаж, часто заглядывающий в Протозаново, — бедный дворянин Доримедонт Васильевич Рогожин, защитник всех угнетенных и гонимых. Отпустив своих крестьян на волю, Рогожин, прозванный за благородное направление идей Дон Кихотом, вскоре нашел своего Санчо Пансу — мужика Зинку, по инвалидности не способного к работе в поле, но отличного возницу. На тарантасике, влекомом кобылицей и ее рыжим сыном, сосунком-жеребеночком — они под игривым пером Лескова превратились в летающих чудоконей («Без шуток говорю: было живое предание, что они поднимались со всем экипажем и пассажирами под облака и летели в вихре, пока не наступало время пасть на землю»<sup>655</sup>) — Рогожин разъезжал по монастырям и сражался за обиженных, потерял в битвах один глаз и оказался под судом, наказания по которому ему, впрочем, удалось избежать.

Вот такую престранную коллекцию собрал Николай Семенович: придурковатый пьяница, одноглазый и полусумасшедший покровитель угнетенных, преданные до гроба слуги, дьяконица с необыкновенным сердцем. Рядом с ними вьется нанятый для молодых князей француз Жигоса, существо безвредное и тоже комическое. В центре — Варвара Никаноровна, «влиятельная и пышная»<sup>656</sup>.

У княгини Протозановой свои взгляды на путь русского дворянства. Самосовершенствование и забота о народе — вот, по ее мнению, основные цели:

«...нам прежде всего надо себя поочистить, умы просветить знанием, а сердца смягчать милосердием: надо народ освободить от ран и поношения; иначе он будет не с вами, а вы без него все, что трости ветром колеблемые, к земле падете».

Но народников она не одобряла, подозревая их в заигрывании с мужиком без отклика на подлинные народные нужды:

«...не маните добрый народ медом на остром ноже — ему комплименты лишнее. Проще всё надо: дайте ему наесться, в бане попариться да не голому на мороз выйти. О костях да о коже его позаботитесь, а тогда он сам за ум возьмется»<sup>657</sup>.

Не жаловала и разночинцев, но в ответ на то, что они «в гору лезут», советовала старым дворянам лучше учить своих детей. Главное — не родовитость (княгиня и сама, в отличие от мужа, была из рода незнатного), а добродетельность и честность.

Варвара Никаноровна ведет себя в соответствии со своими взглядами, и в итоге деликатное и человеческое обхождение со всеми — высшими, равными, слугами и собственными крестьянами — превращает ее в «настоящую народную княгиню», а ее финансовые дела доводит до блестящего состояния: она становится «самой богатой женщиной в губернии». Чистые души, жертвующие собой ради ближних, тихие праведники, настоящие святые в лесковской прозе уже встречались, но натура такой степени благородства — появилась впервые.

Можно сказать, что хроника «Захудалый род» — это анатомия благородства особого свойства: дворянского, сословного, неотделимого от чувства собственного достоинства, самодостаточности. Варвара Никаноровна, обладающая всем этим в избытке, говорит: «Одно полагаю, кто, человеком бывши, своего достоинства не сбережет, того хоть и ангелом сделай, он и ангельское потеряет»<sup>658</sup>. Тому, кто всегда унижен и оскорблен, легко быть добрым, сострадательным, но трудно сохранять достоинство — на это в полной мере способен лишь обладающий властью, тот, кто никому не должен. Княгиня Протозанова это может. Она ведет себя безупречно всегда, благодарит выказавших ей любовь, оделяет нуждающихся, прощает обидчиков, проявляет милосердие к виноватым:

«Убедясь в том, что кто-нибудь ее очень злословит, она говорила:

— Не без причины же он на меня сердится: может быть, ему что-нибудь на меня наговорили или что-нибудь не так показалось, а может быть, я и впрямь чем виновата: что-нибудь грубо сказала, а он не стерпел. Что делать, мы все нетерпеливы»<sup>659</sup>.

Немолодому графу Функендорфу, вскоре после ее отказа выйти за него замуж не побрезговавшему сделать предложение ее дочери, княгиня отдает в приданое много больше, чем он ожидал. Оттого-то Варвара Никаноровна так ценит одноглазого Рогожина, не забывшего о своем призвании:

«Да, всё с ним бывает... он и голодает подчас и в горах, вертепах и в пропастях скрывается, а всё в себе настоящий благородный дух бережет. Это, что я вам о захудавшей нашей знати сказала, я себе не приписываю: это я всё от него знаю. Это он всё нам все эти сказания проповедует... Стыдит нас»<sup>660</sup>.

Муж Марьи Николаевны, бывший семинарист и танцор, косноязычно, но образно характеризует старую княгиню:

«Она это... была всем дворянам-то... и всей прочей личности... всё равно что столп огненный, в пустыне путеводящий, и медный змей, от напастей спасающий»<sup>661</sup>.

Панегирик княгине продолжается на протяжении всей хроники. Но столп — он и есть столп, и собственно человеческого в Варваре Никаноровне мало. Она не говорит — роняет слова, каждое уже высечено в камне: «Если дерево не будет колеблемо, то оно крепких корней не пустит, в затишь деревья слабокоренны»<sup>662</sup>; «Пусть где хотят молятся: Бог один, и длиннее земли мера его»; «Кто отдает друзей в обиду, у того у самого свет в глазах тает»<sup>663</sup>; «Надо свой обычай уважать и подражать не всему, а только хорошему. И напоследок: «Нельзя-де, чтобы всем один порядок нравился: через многие умы свет идет»<sup>664</sup>. Непостижимо, как все эти поучения могли вынести в высшем петербургском обществе — догматизм, морализаторство там недолюбливали. Сегодня эти высказывания звучат тем более претенциозно; но не забудем: они вложены в уста женщины, которая жила два века назад, чей внутренний мир мы вряд ли можем себе представить.

Всё это — присказка. «Захудалый род» делится на две части (их было бы больше, но Лесков не пожелал дописывать хронику из-за ссоры с Катковым, о которой речь впереди). В первой части Лесков создает идиллию, волшебное царство идеальных людей, любясь и восхищаясь красотой каждой описываемой им души. Завершается она выразительной сценой. В Петербурге удалось обманом переодеть Рогожина в новый костюм, он стоит перед зеркалом и любит себя, а все остальные исподтишка им любят:

«Это была живая картина к той сказке и присказке: полусумасшедший кривой дворянин, важно позирующий в пышном уборе из костюмерной лавки, а вокруг его умная, но своенравная княгиня да два смертно ей преданные верные слуги и друг с сельской поповки. Это собралась на чужине она, отходящая, самодумная Русь; а там, за стенами дома, катилась и гремела другая жизнь, новая, оторванная от домашних преданий: люди иные, на которых страна смотрела еще, как удивленная курица смотрит на выведенных еще утят»<sup>665</sup>.

Во второй части «Старое старится — молодое растет» Лесков показывает, как и почему описанная им утопия обречена на разрушение и гибель.

Вдовье положение, состояние и врожденные душевные силы позволяют княгине Протозановой быть совершенной. Но, как и у любого мифологического героя, у нее находится уязвимое место, в данном случае — дети: их надо воспитывать, готовить к жизни в обществе. Когда-то против собственной воли она отправила дочь в Смольный институт и навсегда утратила с ней внутреннюю связь. Она еще надеется воспитать сыновей в своем духе и находит идеально подходящего для этой задачи Мефодия Червева. Рекомендацию Червеву дает Дмитрий Петрович Журавский — тот самый «статист» и «аболиционист», сторонник отмены крепостного права, что повлияло на Лескова в период его киевской молодости. Теперь введенный в круг вымышленных персонажей Журавский отвечает княгине на расспросы о Червеве, с которым близко знаком.

«— Это удивительный человек.

— Да, он — человек.

— Что вы думаете, если я попрошу его взяться за воспитание моих детей?

— Я думаю, что вы не можете сделать лучшего выбора, если только...

- Что?.. Вы мне скажите откровенно.
- Если вы не хотите сделать из ваших сыновей ни офицеров...
- Нет.
- Ни царедворцев...
- О нет, нет, нет, — и бабушка окрестила перед собою на три стороны воздух.
- А если вы желаете видеть в них людей...
- Да, да; простых, добрых и честных людей, людей с познаниями, с религией и с прямою душою.
- Тогда Червев вам клад, но...
- Что еще?
- Червев христианин.
- Говорившие переглянулись и помолчали.
- Это остро, — произнесла тихо княгиня.
- Да, — еще тише согласился Журавский.
- Настоящий христианин?
- Да.
- Желаю доверить ему моих детей.
- Я напишу ему»<sup>666</sup>.

Варвара Никаноровна очарована взглядами Червева на воспитание, изложенными им в письме Журавскому. Суть их в том, что корень науки горек, ради постижения наук молодым людям необходимо, подобно народу Моисееву в пустыне, испытать и зной, «и голод, и жажду, и горечь меры», но для этого юношей из знатных семей нужно привести к тому, чтобы они «руководить людьми не стремились, а себя умнее руководили». Всё это княгине по вкусу. Но дальше разражается катастрофа.

Последнюю главу, в которой состоялась беседа княгини с Червевым, Лесков дописал уже в 1889 году, в период своего увлечения толстовскими идеями; за 17 лет, прошедших с момента создания первой части хроники, его взгляды на государство сильно изменились. Возможно, Червев образца 1874 года был бы мягче, но в 1889-м он отрицает государственные институты. Вот каково мнение княгини о нем:

«...характер в высшей мере благородный и сильный; воля непреклонная; доброта без границ; славолубия — никакого, бессребреник полный, терпелив, скромн и про-  
никнут богопочтением, но Бог его “не в рукотворном хра-  
ме”, а все земные престолы, начальства и власти — это для него совсем не существует. Это всё, по его выводам, не со-  
единяет людей, а разделяет, а он хочет, чтобы каждый жил  
для всех и все для одного... И это в нем так искренно, что  
он не хочет допускать никаких посторонних соображений.

По его мнению, весь опыт жизни обманчив, и самая рассудительность ненадежна: не стоит думать о том, что будут делать другие, когда вы будете делать им добро, а надо, ни перед чем не останавливаясь, быть ко всем добрым»<sup>667</sup>.

Княгиня понимает, что хотя идеи эти поднялись на почве христианства, жить ими в обществе невозможно:

«— Да, но это ужаснее! Вы отнимаете у меня не только веру во всё то, во что я всю жизнь мою верила, но даже лишаете меня самой надежды найти гармонию в устройстве отношений моих детей с религией отцов и с условиями общественного быта».

Условия общественного быта и религия отцов несовместимы, религиозный анархизм — самоубийство. «Воспитывать ум и сердце, — внушает Червев княгине, — значит просвещать их и давать им прямой ход, а не подводить их в гармонию с тем, что, быть может, само не содержит в себе ничего гармонического».

Государь, отечество, за которое отдал жизнь ее любимый супруг, — всё это ничтожно? Княгиня впервые на протяжении хроники глубоко растеряна:

«— Становясь на вашу точку зрения, я чувствую, что мне ничего не остается: я упразднена, я должна осудить себя в прошлом и не вижу, чего могу держаться дальше.

Червев улыбнулся доброй улыбкой и тихо сказал:

— Когда поколебались вера и надежда, остается любовь.

— Как еще любить и кого?

— Всех, но если вы истинно любите ваших детей...

— Без сомнения.

— И если верите тому, что открыл показавший путь, истину и жизнь...

— Верю.

— Тогда вы должны знать, что вам надо делать»<sup>668</sup>.

Княгиня отпускает странного учителя, которого вскоре за «завиравшие идеи» отправляют в ссылку по доносу ее зятя, графа Функендорфа (ох, напрасно она читала ему письмо Червева о воспитании). Предводителю дворянства приходит «приглашение наблюдать, чтобы княгиня “воспитывала своих сыновей сообразно их благородному происхождению”». На последовавшее вскоре распоряжение «доставить князей для воспитания в избранное учебное заведение в Петербург» Варвара Никаноровна не возражает, только отвезти их просит Патрикея.



«В душе ее что-то хрустнуло и развалилось, и падение это было большое. Пало то, чем серьезные и умные люди больше всего дорожат и, обманувшись в чем, об этом много не рассказывают»<sup>669</sup>.

Лесков не поясняет, от кого именно поступают эти поражения, отчего княгиня после ссылки Червева «в три дня постарела и сгорбилась больше, чем во многие годы» и «навсегда перестала шутить». Но понятно, что речь идет очевидно о высшем административном начальстве, да и причины охватившей ее «черной меланхолии» понятны: предательство зятя, ссылка достойнейшего и безвреднейшего из людей, необходимость воспитывать сыновей не так, как ей желалось, наконец боль от вторжения государственной власти в ее частную жизнь — всё это лишает ее внешней свободы, той самой, которая давала ей возможность помогать, прощать, влиять. Ей предстояло еще спасти бывших крепостных, отданных в приданое за дочерью, от несправедливостей зятя, не пожелавшего признать их прав на землю, которую они когда-то, доверяя своей прежней хозяйке, приобрели на ее имя. Варвара Никаноровна отдала все свои средства за их спасение и стала нахлебницей собственных сыновей.

После пережитых потрясений княгиня жила совсем скромно и еще более удаленно от мира, ни о каких вопросах общего государственного управления не желала знать «и умерла спокойно, с твердостью». «Когда колебались вера и надежда, остается любовь» — так изящно выразился Червев в беседе с ней; но действенная любовь, которой она питала свою душу до встречи с ним, в конце жизни была ей уже недоступна.

Странную проповедь написал на этот раз Лесков: начертав, каким должен быть образцовый дворянин, с убедительностью показал, что идеал этот невоплотим, что самое «практическое» христианство, в которое он так верил в 1870-е годы, не выдерживает испытания практикой и что при жизни в социуме неизбежны компромиссы.

И всё же род Протозановых не прервался — хронику пишет внучка княгини Варвара, чей отец Дмитрий Львович разделил, по словам бабушки, участь библейского Авессалома (третий сын царя Давида восстал против отца, пытался захватить его престол, но в итоге погиб). Возможно, Лесков предполагал сделать Дмитрия Протозанова декабристом, но не довел замысел до конца.

Хроника «Захудалый род» так и не была завершена. Какие именно судьбы автор уготовил сыновьям княгини, мы не узнаем, но главное он сказать, кажется, успел: самодумная Русь отошла в прошлое и была отпета, всю гремела новая жизнь, в которой не осталось места ни благородным чудачкам вроде рыжего Дон Кихота — Рогожина, ни красавцу и рабу Патрикею, ни царственной княгине, способной осуждать себя за «барство».

### Ссора с Катковым

«Захудалый род» окончательно развел Лескова с Михаилом Никифоровичем Катковым.

Когда-то участник литературно-философского кружка Николая Станкевича, близкий приятель Белинского, Герцена и Грановского, постепенно Катков всё дальше уходил от либеральных увлечений молодости. В письме В. П. Боткину от 6 февраля 1843 года Белинский подытожил окончательное расхождение с приятелем, который, кстати, еще недавно целыми тетрадками переводил для него, не знавшего иностранных языков, труды Гегеля: «К[аткова] ты видел. Я тоже видел. Знатный субъект для психологических наблюдений. Это Хлестаков в немецком вкусе. Я теперь понял, отчего во время самого разгара моей мнимой к нему дружбы меня дико поражали его зеленые стеклянные глаза. Ты некогда недостойным участием к нему жестоко погрешил против истины; но — честь и слава тебе — ты же хорошо и поправился: ты постиг его натуру — попал ему в самое сердце. Этот человек не изменился, а только стал самим собою. Теперь это — куча философского г...: бойся наступить на нее — и замазает и завоняет. Мы все славно повели себя с ним — он было вошел на ходулях; но наша полная презрения холодность заставила его сойти с них»<sup>670</sup>.

Катков покидал либеральный круг, чтобы посвятить себя спасению России от падения в революционную бездну. Он делал это с самоотречением аскета, с фанатизмом трудоголика и с неукротимой энергией одержимого верой в свою правоту.

Словно для того, чтобы не отвлекаться, даже женился Катков не на образованной красавице Елизавете Делоне, в которую был влюблен, а на самой заурядной дурнушке Софье Шаликовой, по выражению язвительного Тютчева,

посадив свой ум на диету<sup>671</sup>. Спустя 30 лет после дружбы с московскими мальчиками, к началу 1870-х годов, Катков стал не просто влиятельным, а самым могущественным русским публицистом — с положением, связями и, что особенно ценилось его единомышленниками, с независимым мнением и довольно последовательной системой представлений о том, как уберечь Российскую империю от гибели, к которой ее, по мнению консерваторов, толкали нигилисты и социалисты. Ему было где свои взгляды предъявлять — Катков владел сразу тремя изданиями: журналом «Русский вестник», газетой «Московские ведомости» и еженедельным приложением к ним «Современная летопись». Влиять на русское общественное мнение он стремился не только на страницах своих изданий, он активно общался с государственными людьми, заводил новые знакомства — исключительно пользы дела ради. Реформа среднего образования, проведенная министром народного просвещения графом Д. А. Толстым, была от начала и до конца вдохновлена Михаилом Никифоровичем. Именно его любимые идеи о том, что головы юношества необходимо наполнять древними языками и математикой, легли в основу перемен.

«С Катковым мы разошлись по поводу “Захудалого рода” и разошлись мирно, *по несогласию во взглядах*»<sup>672</sup>, — писал Лесков И. С. Аксакову 9 декабря 1881 года, по прошествии шести лет после разрыва. Обида к тому времени истаяла, теперь различимо было только «несогласие во взглядах». Загляни Лесков в шкатулку с черновиками старых писем, обнаружил бы там совсем не мирные слова. В письме тому же адресату от 16 ноября 1874 года он по горячим следам подводил итог отношениям с «Русским вестником»:

«Теперь я всё покончил и с ними: нет никаких сил сносить то, что я выносил долго. Кроме одного “Запечатл[енного] ангела”, который прошел за их недосугом “в тенях”, я часто не узнавал своих собственных произведений, и, наконец, 2-я часть “Захудалого рода”, явившаяся бог весть в каком виде, исчерпала или, лучше сказать, истощила последние капли и моего терпения, и всех моих сил душевных. Не ближе ли ко мне теперь станет Господь, являющий силу свою в немощи человека?»<sup>673</sup>

В другом письме, от 23 марта 1875 года, он продолжал перечислять Аксакову свои обиды:

«Мне кажется, что перекрещивать *Жигу* в *Жиро* не было никакой надобности; что уничтожать памфлет Рогожина против Хотетовой (А. А. Орловой) не было нужды; что от перемены мною сочиненной для нее фамилия Хотетова в Хоботову дело ничего не выигрывало; что старой княгине можно было позволить увлечься раздариванием дочери всего дорогого, причем дело дошло до подаренья ей самой Ольги Федотовны, и пр., и пр.»<sup>674</sup>.

Это и стало последней каплей, в этом и заключалась внешняя причина разрыва: «Захудалый род» при публикации в «Русском вестнике» безжалостно правили, а вторая часть хроники была еще и сокращена — убраны две последние главы. Сокращения носили идеологический характер. Например, из письма Червева исчез скепсис по поводу доступного образования — бедняки, которые в нем остро нуждаются, его не получают, «книженецкие» дети не ценят и не используют. В «катковском» варианте письма акцент делается именно на практической пользе: «высшие слои общества» должны и получают образование, чтобы верно служить государству (идея не Лескова — Каткова)<sup>675</sup>. К тому же опубликованный в журнале текст завершался оптимистично: Протозанова возвращается из Петербурга в свое имение спокойной и веселой. Подобный финал не вписывался в авторский замысел. Правда, реконструировать его до конца в 1875 году всё равно было невозможно, поскольку Лесков тогда так и не завершил хронику. Лишь в 1889 году для нового издания (1890) он дописал последнюю, шестнадцатую главу, куда включил чрезвычайно важный прощальный разговор Червева и Протозановой о несовместимости высоких идеалов с жизненной практикой.

Сквозь сделанные в тексте Лескова исправления отчетливо просвечивала политическая программа Каткова. Очевидно, что он и вносил правки в рукопись. И именно на него указывает Лесков в письме Аксакову от 23 апреля 1875 года:

«Перебираю все мои муки с ним и останавливаюсь на одном, что меня путало то видение, которое неотразимо стояло передо мною с тех пор, как я отдал в редакцию 1-ю ч[асть] романа: это видение был сам редактор, который стоял передо мною и томил меня своими недомолвками, своими томными требованиями, в которых я ничего не мог разобрать...»<sup>676</sup>

Тем обиднее было Лескову: он-то числил их равными, еще недавно давал Каткову советы, даже пытался на него влиять.

И всё же обстоятельства публикации «Захудалого рода» стали только поводом к расставанию. Оно подготавливалось давно, и предшествовала ему долгая история отношений.

Редактор Катков, «вождь охранительной России» — по выражению Константина Леонтьева, настаивавшего на установлении Михаилу Никифоровичу при жизни памятника на Страстном бульваре, возле Пушкина, — обсуждение политических вопросов вынес на страницы «Московских ведомостей» и еженедельного приложения к ним «Современная летопись». «Русский вестник» по преимуществу оставался изданием литературным, что позволяло печататься в нем многим авторам, не разделявшим политических убеждений издателя, и быстро стал одним из самых успешных и авторитетных в России. «“Русский вестник” есть единственный журнал, который читается публикой — и который платит», — объяснял Тургенев Герцену причины своего сотрудничества с Катковым<sup>677</sup>. Обеспечивая русским писателям главное — читателей и гонорар, — Михаил Никифорович сумел привлечь не только Тургенева, но и независимого Толстого, и Достоевского, и Салтыкова-Щедрина, и Гончарова.

Неудивительно, что Лесков, когда его сотрудничество с Катковым, наконец, сложилось, очень им дорожил.

А складывалось оно небезоблачно. 25 мая 1868 года Лесков пишет редактору «Русского вестника» Н. А. Любимову о несостоявшейся публикации в журнале рукописи «Шпион. Эпизод из истории комического времени на Руси», переданной им в редакцию через П. К. Щербальского:

«По духу письма Петра Карловича я смею заключить, что вещь эта едва ли удостоится одобрения в “Р[усском] вестнике” (что, конечно, будет мне очень и очень прискорбно, ибо я считаю ее и честной, и далеко не безынтересной, а вдобавок ко всему не имею где ее и провести, если мне в этом Вами будет отказано)»<sup>678</sup>.

Следовательно, первые попытки сотрудничества с Катковым были предприняты Лесковым уже в 1866—1867 годах.

В конце концов всё получилось. В «Русском вестнике» были опубликованы «Плодомасовские карлики: Картины старорусской жизни» (1869. № 2), «На ножах» (1870. № 10—12; 1871. № 2—8), «Соборяне: Старгородская хро-

ника» (1872. № 4—7), принесшие ему настоящую славу, «Запечатленный ангел: Рождественский рассказ» (1873. № 1) и «Захудалый род: Семейная хроника князей Протозановых (Из записок Княжны В. Д.)» (1874. № 7, 8, 10). Спустя четыре года после прекращения отношений с Катковым в его журнале был внезапно напечатан лесковский «Ракушанский меламед: Рассказ на бивуаке» (1878. № 3). Повесть «Смех и горе», «разнохарактерное pot-pourri\*, из пестрых воспоминаний полинявшего человека», вышла в «Современной летописи» (1871. № 1—3, 8—16); там же были опубликованы «Петербургский театр» (1871. № 16, 31, 32), «Семейная беда: Драма в трех действиях с прологом И. И. Якушкина» (1871. № 34, 36, 38, 40, 44—45), «О гонорарии драматическим писателям» (1871. № 18). И еще по меньшей мере две статьи Лескова — «Образцы русского искусства. Современные выставки в С.-Петербургской Академии художеств» и «Художественные новости» — были напечатаны в 1871 году в «Московских ведомостях»<sup>679</sup>. В тот год Лесков регулярно встречался с Катковым и отзывался о нем с большим пиететом.

В письме Щебальскому от 8 апреля 1871 года Лесков немного приоткрыл историю отношений с Михаилом Никифоровичем, хотя, кажется, и сам не до конца понимал причин благоволения издателя:

«Начальное внимание его ко мне, верно, кроется в столь зримой интриге моей в пользу классического образования — интриге непредосудительной и, смею думать, даже честной... Надо же было хоть один орган удержать в пользу этого вопроса, и тут мы, разумеется, “поинтриговали”. Что делать? Но потом Мих[аил] Никиф[орович,] верно, нашел, что меня пустым мешком не били, и обласкал меня, как никогда не ласкивал. (А может быть, и тут не без Вас? Скажите-ка правду? Всё доброе мне из Москвы идет через Вас.) Мы виделись до сих пор всякое утро и беседовали неторопливо вдвоем: то есть он, Болесл[ав] Маркевич и я. Речи бывали разные, с касательством до имен живых людей»<sup>680</sup>.

В конце 1860-х годов, в разгар полемики между сторонниками, с одной стороны, классического образования, акцентирующего внимание на изучении древних языков, которые, по мысли Каткова, дисциплинируют ум и отвлекают

---

\* Попурри, смесь (*фр.*).

молодых людей от революционных идей, с другой — образования «реального», с вниманием к естественным наукам и предметам, полезным в жизненной практике, Лесков на страницах «Биржевых ведомостей» поддерживал первых<sup>681</sup> (как следует из письма Щебальскому, возможно, делал это с прицелом на укрепление своих позиций в «Русском вестнике»), но после введения нового гимназического устава (1871), по сути, протрубившего безоговорочную победу первой партии, к классицизму остыл.

В апреле того же 1871 года на «вечерушке у князя Влад[имира] П[етровича] Мешерского» Лесков даже рискнул посоветовать Михаилу Никифоровичу, как ему лучше организовать в «Русском вестнике» отдел критики: публиковать рецензии и обзоры анонимно, под общей редактурой главы критического отдела<sup>682</sup>, которым предлагал сделать Щебальского, историка-популяризатора и публициста<sup>683</sup>. Вскоре после этого «Русский вестник» опубликовал «Запечатленного ангела».

Катковский авторитет Лесков признавал не раз — например, говорил однокашнику пасынка, Николая Бубнова, университетскому преподавателю русской словесности Илье Шляпкину, что «был под влиянием Каткова: в окончании “Запечатленного ангела” и в “Расточителе”»<sup>684</sup>. Как сказалось это влияние на мелодраматической пьесе «Расточитель», полной страстей и ужасов, да к тому же написанной задолго до их близкого знакомства, остается только гадать; возможно, речь идет о сходстве позиций в отношении судебной реформы 1864 года, которую Катков так же, как Лесков, выборочно критиковал\*. С «Запечатленным ангелом» яснее: сюжет о переходе староверов в официальное православие, так не понравившийся Достоевскому, не мог не вызвать одобрения Каткова. И вряд ли случайно, «за недосугом», как думалось потом Лескову, текста «Запечатленного ангела» не коснулась правка. Идеологически эта повесть, в особенности ее финал, была близка Каткову, который проповедовал политику «умиротворения», то есть был убежден в необходимости уважительного отношения к правам раскольников для скорейшего возвращения их в

---

\* См., например, катковские статьи «Невозможность одновременного и повсеместного введения новой системы судов во всей ее полноте» (1865), «Неудобства, с которыми встречаются лица, обращающиеся к мировым судьям» (1872).

лоно официальной Церкви\*. Как мы помним, похожие соображения высказывал и Лесков в своих статьях о расколе.

Тем не менее «Очарованного странника» Катков публиковать отказался, что привело к первой ошутимой трещине в их с Лесковым отношениях. О причинах отказа можно судить лишь по косвенным свидетельствам. В письме Лескову, сообщая об отклонении «Черноземного Телемака» (тогда повесть называлась так), Н. А. Любимов писал: «Михаил Никифорович... после колебаний пришел к заключению, что печатать эту вещь будет неудобно. Не говоря о некоторых эпизодах, как, например, о Филарете и св. Сергии, вся вещь кажется ему скорее сырым материалом для выделки фигур, теперь весьма туманных, чем выделанным описанием чего-либо в действительности возможного и происходящего... Он советует вам подождать печатать эту вещь, самый мотив которой может, по его мнению, выдаться во что-либо хорошее»<sup>685</sup>.

Писатель в звании камергера Болеслав Маркевич пытался убедить Каткова взять «беспощадное решение» назад<sup>686</sup>, напоминая, что «Соборяне» и «Запечатленный ангел» послужили славе «Русского вестника», что в интересах журнала напечатать новую повесть талантливого писателя, которая к тому же понравилась в свете — Лесков читал ее зимой в кружке императорского генерал-адъютанта Сергея Егоровича Кушелева. Заступничество оказалось безрезультатным, и 14 октября того же 1873 года о печатании «Очарованного странника» объявила газета «Русский мир».

Лесков не сомневался: эстетические претензии к «Очарованному страннику», ссылка на то, что вещь сырая, — лишь предлог; опубликовал же «Русский вестник» слабую комедию Писемского «Ваал». Значит, Каткову не была близка отчетливо проступающая сквозь рассказы Ивана Флягина позиция автора, без снисхождения написавшего о митрополите Филарете (Дроздове), а преподобного Сергия Радонежского изобразившего защитником самоубийц и ревнителем духовной свободы. Тем не менее «Захудалый род» был «Русским вестником» напечатан, но уже без прежнего расположения и доверия к автору. Вот почему публикация хроники сопровождалась, по мнению самого Лескова, наблюдением за «каждым словом»: государственник

---

\* Ср. статьи Каткова «Вопрос о расколе» (1863), «Причина происхождения раскола и путь к его уничтожению» (1864); «Историческое обозрение старообрядческого раскола и необходимость изучения различных раскольничьих сект» (1866).



Катков давно уже предчувствовал, что Лесков — *не свой*. В письме от 23 декабря 1891 года Лесков поделился с М. А. Протопоповым воспоминанием о давнем конфликте с Катковым: «...Мы разошлись (на взгляде на дворянство), и я не стал дописывать роман. Разошлись вежливо, но твердо и навсегда, и он тогда опять сказал: “Жалеть нечего — *он совсем не наш*”»<sup>687</sup>.

Различия во «взгляде на дворянство» в общем понятны. Англomanу Каткову мечталось, что русские дворяне превратятся в *gentry* — дворян английских, поддерживающих государство, станут посредниками между народом и престолом и что связь эта поможет России избежать революции, в отличие от пережившей упадок первого сословия Франции<sup>688</sup>. «Отныне никто не может отталкивать его в область прошедшего, — писал Катков о роли русского дворянства. — В изменившейся России оно сохраняет свое положение; оно остается в свободном русском народе живым органом его государственного существования; оно остается, как было, опорой Престола. Оно было надобностью прошедшего, оно надобно и для настоящего. Дворянство должно проникнуться и одушевиться этим чувством своей непреходящей надобности. Что живет, то должно действовать; что призвано служить опорой, то должно быть уверено в себе»<sup>689</sup>. Лескову это использование дворянского сословия в государственных целях не могло быть близко. Для него предназначение дворянства заключалось в «недостижимом величии духа и благородстве чувств и мыслей», в живом отклике на нужды народа, просвещении и нравственном самосовершенствовании — всё это находилось далеко в стороне от магистралей государственной пользы.

Для Каткова литература всё равно оставалась в первую очередь инструментом — познания, просвещения, продвижения нужных идеологических установок. Катковский политический и общественный прагматизм сталкивался со свободой художественного постижения мира. Катков-политтехнолог противостоял Лескову-художнику, представитель «бюрократического национализма» — писателю.

Правда, в ранней статье «Пушкин» Катков говорил несколько другое, призывал не заставлять художника братьяся за «метлу»: «Поверьте, тут-то и мало будет пользы от него. Пусть, напротив, он делает свое дело; оставьте ему его “вдохновение”, его “сладкие звуки”, его “молитвы”». В этом «оставьте ему» различимо высокомерие по отношению к художнику, играющему в свою бирюльки; в этом «его

молитвы» слышно: чем бы дитя ни тешилось... Но зачем же ему, глупому, тешиться — неужели просто так? Катков тут же объясняет: «Если только вдохновение его будет истинно, он, не заботясь, будет полезен»<sup>690</sup>. Итак, если художника не терзать требованиями быть нужным, он выдаст полноценный продукт, принесет больше общественной пользы. Но, по-видимому, художники не оправдали его надежд, так что он перешел к самым настойчивым «требованиям» к литераторам.

Не потому ли Лесков вскоре после разрыва назвал Каткова «убийцей родной литературы» и не сомневался, что к изящной словесности как таковой тот был равнодушен?<sup>691</sup> 23 апреля 1875 года он писал И. С. Аксакову:

«Я ценю многие заслуги Каткова и за многое ему благодарен, но лично на меня *как на писателя* он действовал не всегда благотворно, а иногда просто ужасно, до того ужасно, что я мысленно считал его человеком вредным для нашей художественной литературы. Одно это равнодушие к ней, никогда не скрываемое, а, напротив, высказываемое в формах почти презрительных, меня угнетало и приводило в отчаяние»<sup>692</sup>.

В другом письме тому же корреспонденту, от 16 декабря того же года, Лесков жаловался, что в «Русском вестнике» литературные интересы «умалялись, уничтожались и приспособлялись на послуги интересам, не имеющими ничего общего ни с какою литературою»<sup>693</sup>.

И всё же союз с Катковым был неизбежен: после скандала с «Некуда» Лесков мог иметь дело «только с этим человеком» — «Русский вестник» единственный из авторитетных журналов соглашался публиковать его прозу. Если это и преувеличение, то небольшое: «Отечественные записки» до Некрасова, «Русский мир», «Гражданин», где его тоже охотно печатали, полноценной альтернативы «Русскому вестнику», собравшему лучших авторов эпохи и платившему больше других, всё же не составляли. Поэтому не только Лесков, а почти все сотрудничавшие с Катковым писатели шли на уступки и готовы были править свои романы под его диктовку.

Пределы власти этого человека в литературе сегодня почти невозможно себе вообразить. Это ведь Катков спродюсировал появление целого литературного направления — антинигилистических романов, которые исправно публиковались в «Русском вестнике». И многие хрестомат-

тийные сочинения — к примеру, «Отцы и дети» и «Преступление и наказание», не говоря о текстах Лескова, — без вмешательства Каткова были бы иными<sup>694</sup>. Иногда он согласовывал с авторами вносимые в текст изменения, иногда, как в случае с Лесковым, не считал нужным. Но многие ценили его поправки. Лев Николаевич Толстой перед публикацией «Анны Карениной» писал Каткову: «Без радости не могу вспомнить о том, что Вы будете держать корректуры» — и позже, когда роман уже начал печататься в «Русском вестнике», признавался: «Вся моя надежда на Вашу корректуру»<sup>695</sup>. Правда, концептуального вмешательства в свой роман Толстой всё же не потерпел, и эпилог «Анны Карениной» в катковском журнале так и не был опубликован, а отношения завершились разрывом. Впоследствии Толстой, по воспоминаниям окружающих, ничего хорошего о Каткове уже не говорил — напротив, утверждал, что тот не ведал стыда и подчинил свой талант не служению добру, а личным интересам и расчетам<sup>696</sup>.

По мере того как влияние его росло, Катков всё резче критиковал пореформенные политические институты и их создателей, «легальных служителей крамолы», а после третьего покушения на царя 2 апреля 1879 года, совершённого народником Александром Соловьевым, потребовал установления диктатуры<sup>697</sup>. Когда же Александр II 1 марта 1881 года был убит народовольцами, Катков и вовсе не сомневался, что причиной трагедии стала слишком мягкая внутренняя политика. С либеральной интеллигенцией Михаил Никифорович расходился всё безвозвратнее, да и ее отвращение к «будочнику русской прессы» только росло.

В 1882 году Лесков в небольшой заметке «Из литературной жизни», написанной для «Петербургской газеты» по мелкому поводу, совершенно ясно выражает свое отношение к бывшему издателю: называет его «злым стариком», приверженцем «не той веры, которая мучится, а той, которая мучит»<sup>698</sup>. Лесков напоминает, что прежде Катков был иным, направлял своих сотрудников на служение «добру и истине», теперь же ему мило только то, что «прикрыто деньгами и чинами». Заметка эта так и не была опубликована — видимо, редактор «Петербургской газеты» С. Н. Худяков поостерегся ссориться со «злым стариком». В 1887 году после смерти Каткова Лесков сочинил для газеты «Новое время» сокрушительный некролог-памфлет.

В то время когда в старую столицу стекались сотни телеграмм-соболезнований со всего света, а на похороны

съезжались десятки тысяч почитателей усопшего, Лесков с очевидным удовольствием упражнялся в переборе разных определений Каткова, словно бы пародируя все эти телеграммы, некрологи и акафисты, из которых, кстати, потом сложилась целая книга. Он называл знаменитого покойника то «львояростным кормчим “Московских ведомостей”», то «московским Талейраном», то «трибуном Страстного бульвара» (там располагалась редакция «Московских ведомостей») и в конце концов «грамотным наследником Ивана Яковлевича Корейши на Шеллинговой подкладке». В последнем определении соединились полуграмотный московский прорицатель и немецкий философ, которого Катков действительно читал, а в молодые годы слушал (между прочим, сидя в одной аудитории с Фридрихом Энгельсом и Сёренем Кьеркегором). В завершение беспощадного надгробного слова Лесков пишет:

«В одной старинной, правда отреченной, книге пред-  
указано, будто всякий покойник вратарю царства небесно-  
го должен предъявить складень с изображением содеянного  
им при жизни. Суздальские богомазы без труда составят  
таковой для душеньки благоволившего им Каткова: клас-  
сицизм, разгром Польши, франко-русский союз займут  
створки этого оправдательного триптиха»<sup>699</sup>.

Неудивительно, что, ознакомившись с гранками уже набранного некролога, Суворин велел рассыпать набор. Памфлет увидел свет лишь в XX веке.

Казалось бы, всё ясно: недолгое сближение, полувынужденное сотрудничество, соединенное с самолюбивой гордостью приобщенности; затем разрыв, презрение к вчерашнему единомышленнику. Но дело, кажется, обстояло сложнее. Тому же Суворину 30 ноября 1888 года Лесков писал:

«Пользу мне сделало страданье, Катков и Аксаков, — Катков, кажется, более других. Я стал думать ответственно, когда написал “Смех и горе”, и с тех пор остался в этом настроении — критическом и, по силам моим, незлобивом и снисходительном»<sup>700</sup>.

В чем же эта польза, сделанная Катковым? Возможно, в пробуждении сознательного отношения к тому, о чем пишешь, в формировании системы взглядов.

Ведь пока Лесков общался и сотрудничал с Катковым, он во многом принимал и разделял именно его воззрения —

не только на нигилистов и социалистов, но и на староверов, и на евреев. Как и Катков, он настаивал на необходимости соблюдать гражданские права и тех и других, но вместе с тем не видел ничего дурного в возвращении раскольников в лоно официальной Церкви. И «Запечатленный ангел», и «Владычный суд» завершаются тем, что главные герои, в первом случае староверы, во втором иудеи, переходят — причем добровольно, по зову сердца — в официальное православие. После расхождения с Катковым Лесков, хотя и пишет Шебальскому из Мариенбада 29 июля (10 августа) 1875 года, что «разладил с церковностью» и его «поддерживает теперь написать русского еретика — умного, начитанного и свободомысленного *духовного христианина*», и вспоминает в том же письме о Михаиле Никифоровиче как об «убийце родной литературы»<sup>701</sup>, однако спустя несколько лет открыто реализует его литературную программу и выдает портретную галерею «духовных христиан» — праведников, исполняя заветную мечту знаменитого редактора, который всегда желал видеть в романах идеальных героев, воспитателей молодого поколения. Возможно, знаменитый лесковский цикл о праведниках не появился бы без общения с «льворяростным кормчим».

### В поисках заработка

Расхождение с Катковым означало для Лескова разрыв с большим литературным миром. 16 ноября 1874 года он писал И. С. Аксакову:

««Р[усский] в[естник]» был последний журнал, которого я мог еще как-нибудь держаться, терпя там значительное стеснение, — теперь и это кончено; а ни плодить материалистов других “Вестников”, ни лепить олигархов “Р[усского] мира” я не могу. Поэтому, чтобы не совсем отречься от литературы, остается на время отойти от нее в сторону и стать вне зависимости от всеподавляющего журнализма. При нынешнем тиранстве журналов в них работать невозможно, и мое нынешнее положение лучшее тому доказательство»<sup>702</sup>.

Однако «независимость от всеподавляющего журнализма» мог себе позволить только писатель, имеющий иные, помимо литературных, источники дохода. Но Лесков существовал исключительно на гонорары. На что же он жил?

Как ни удивительно, путь к дополнительному заработку, а до этого в аристократические гостиные ему открыл «Запечатленный ангел».

Тот самый Болеслав Маркевич, что заступался за Лескова перед Катковым, прочитал этот рассказ императору Александру II и его супруге Марии Александровне. Венценосная чета выслушала историю о хитрых староверах с большим удовольствием, о чем генерал-адъютант Кушелев, также искренний поклонник творчества Лескова, взялся ему сообщить. Сергей Егорович Кушелев (вскоре ему будет посвящен «Очарованный странник») приехал к Лескову на Фурштатскую, чтобы передать августейшее удовольствие и прозрачно намекнуть, что императрица не возражала бы послушать рассказ в исполнении автора. Автор намеку не внял и знакомиться с самой императрицей, даже из чисто писательского любопытства, не поехал. Неужели он не пожелал воспользоваться очевидными перспективами подобного знакомства? Не пожелал. В чём в чём, а в искательстве наш герой замечен не был. Свою независимость он высоко ценил и в приближении к царствующим особам явно видел для себя опасность — не случайно довольно скоро, спустя полтора года, взялся за роман «Чёртовы куклы» (так в итоге и не завершённый), центральная проблема которого — взаимоотношения художника и власти. Для Лескова итог подобного союза очевиден: дружба с высокопоставленным лицом завершается для его героя, одаренного живописца, оскудением таланта и гибелью.

Не поехав к императрице, Лесков тем не менее признался своему почитателю Кушелеву в денежной нужде. Тогда, в конце 1873 года, он еще сотрудничал с газетой «Русский мир». Да и Катков платил ему весьма щедро: 150 рублей за лист «Соборян» и «Запечатленного ангела», «позже и 200 рублей за лист», как сам Лесков вспоминал в автобиографической заметке<sup>703</sup>. Но литературные заработки были ненадежны; он жил в вечном и понятном страхе фрилансера, который целиком зависит от собственного вдохновения и воли работодателя.

Справедливости ради заметим, что голодная смерть ни самому Лескову, ни его семейству всё-таки не грозила: по свидетельству его сына, основу бюджета семьи составляли три тысячи рублей в год, получаемые от арендаторов киевской недвижимости матери<sup>704</sup>. Но Лескову, по-видимому, неловко было существовать на средства Екатерины Степановны, хотелось финансовой независимости — не ис-

ключено, что и в предчувствии неизбежного семейного разрыва. Вот почему он настойчиво искал возможность освободиться от ненадежной литературной кабалы и пожаловался Кушелеву на свое бедственное положение. Судя по ответному письму Сергея Егоровича от 1 октября 1873 года, жалоба была горькой:

«Полно, полно же, брате мой во отце Памве («безгрешном старце» из «Запечатленного ангела». — М. К.) — всё хныкать да тужить! Доброму молодцу так опускаться не подобает. Взгляните на Американцев; там по 5 раз банкротятся и на 6-й раз имея 60 лет от роду, начинают, не робея и не унывая, снова здорово.

Мы с Вами, кажется, порешили в последний раз, что, имея провианта на три месяца, Вы, в ожидании возвращения добрых гениев, бросите в сторону всякую тяжелую думу и сядете за работу. Было ли решено или нет?

Что же это? видно, брате, мне приходится действовать с Вами по-военному! — Если не можете быть Американцем, т. е. человеком с сильным духом, то оставайтесь хотя Русским... ибо я Вас спрашиваю, какая такая Русская душа станет горевать, когда имеет хлебушка, на целых три месяца?! <...> Нет, Николай Семенович, не могу думать, чтобы только необеспеченность денежная могла повергать Вас в такое уныние! — У Вас должна быть другая заноза, но это Ваше дело. — Касательно же места — 1-е) Ждать возвращения Елены прекрасной. 2) Ждать другой ловитвы, ибо я уже закинул для Вас мрежи в ином месте моря житейского. — Господь благословит, будет хорошо. А до той поры надо работать, а не задаваться такими вопросами: За что? да почему? Да разве на земле это диковинка, что ли? что заслуга остается без вознаграждения, а Молчалины блаженствуют на свете? — Умному человеку и с характером на это времени терять не подобает. — Чем жить? “Жить Вы будете, ибо здоровы и молоды, а как без денег жить нельзя — то деньги будут”, я сказал»<sup>705</sup>.

Кушелев хлопотал о месте для Лескова в Министерстве народного просвещения. К хлопотам присоединились и другие лесковские знакомые: еще не успевший разойтись с автором «Соборян» Михаил Никифорович Катков — он был на короткой ноге с Дмитрием Андреевичем Толстым, сменившим Головнина на министерском посту, а также симпатизировавший Лескову граф Алексей Константинович Толстой, имевший широкие связи в свете. Мрежи (сети), закинутые Кушелевым и остальными в море житейское, принесли улов. Место было найдено.

Вскоре Лесков уже ехал представляться Д. А. Толстому как будущий сотрудник министерства. Маркевич и другие знакомые настоятельно советовали сшить для такого важного свидания вицмундир, но Лесков уперся: «...я не в департаментские чиновники иду, а в члены Ученого комитета»<sup>706</sup>. Формально он был прав, однако негласные законы всё же требовали мундира — зримого знака лояльности. На встрече граф Толстой, увидев соискателя в обычном сюртуке, и бровью не повел, был благожелателен и любезен и оставил у него самое благоприятное впечатление. Андрей Николаевич Лесков не сомневался, что отменно воспитанный Толстой умело скрыл свое истинное отношение к свободолобивому писателю, с которым к тому же встретился не совсем по своей воле.

Но некоторые резоны не шить мундир у Лескова действительно были. До этого он дважды пытался попасть к министру на прием. Первый раз — в марте 1868 года: он написал Толстому, что хотел бы сказать «несколько слов», обещая уложиться в пять минут<sup>707</sup>. Просителю было отвечено, что «г. министр нездоров». Зачем Лескову понадобилась аудиенция, да еще всего на пять минут, неизвестно. Неудивительно, что Толстой на эту невнятицу откликнуться не пожелал.

Второй раз Лесков обратился к Дмитрию Андреевичу, занимавшему тогда еще и должность обер-прокурора Святейшего синода, в декабре 1872 года с докладной запиской, в которой излагал уже конкретную просьбу:

«Литератор Н. С. Лесков, чувствуя ревностное желание послужить интересам русской Церкви и имея близкое знакомство с бытовою стороною нашего клира, ходатайствует у Его сиятельства о принятии его, Лескова, на службу по Святейшему синоду. Николай Лесков. Адрес Лескова: СПб., Фушштатская, № 62»<sup>708</sup>.

Толстой приказал разузнать, что из себя представляет проситель, и даже встретился с ним 4 января 1873 года, но на службу в Синод так и не принял.

В третий раз министр просто не мог устоять против высоких протекций. 1 января 1874 года Лесков получил возжеленное место на коронной службе — стал членом Особого отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения по рассмотрению книг.

Ему предстояло рецензировать книги для народа. Понятная и, в общем, небезынтересная работа — Кушелев



старался не зря. Лесков был причислен к министерству с окладом в тысячу рублей в год, почти в десять раз превышавшим размер жалованья, которое он ранее получал на государственной службе в бытность губернским секретарем — чиновником XII класса. Тем не менее для маститого писателя это была достаточно скромная сумма — «на коту широко, а на собаку узко»<sup>709</sup>.

Кушелев рассчитывал, что «брату во отце Памве» дадут больше — две тысячи рублей серебром в год, но, вероятно, помешал низкий чин Лескова. И добрый генерал-адъютант продолжил хлопоты. Говорили, что императрица Мария Александровна, прочитав «Соборян», похвалила их министру государственных имуществ Петру Александровичу Валуеву<sup>710</sup>. И с 1877 по 1880 год Лесков состоял при нем чиновником особых поручений, с окладом всё в ту же тысячу рублей, которые плюсовались к уже имевшемуся жалованью другого министерства. Служба у Валуева была номинальной, но продолжилась даже тогда, когда тот перестал быть министром<sup>711</sup>. Но эта финансовая благодать излилась на Лескова только в 1877 году. Пока же, в 1874-м, даже числясь на службе, он всё еще не чувствовал себя спокойно и продолжал жаловаться близким. К тому же он мечтал вернуться в молодость, вспоминал «барки Шкотта», хотел получить такую работу, чтобы «ездить, писать, с людьми говорить и т. п.»<sup>712</sup>.

Лескову попытался помочь и Иван Сергеевич Аксаков — свел с крупным промышленником, нефтяником и директором Волжско-Камского банка Василием Александровичем Кокоревым. Но тот дал аксаковскому протеже поручение лишь однажды, спустя несколько месяцев щедро заплатил за работу, а попутно подарил сюжет будущего шедевра — рассказа «На краю света», однако тем дело и кончилось.

А. Н. Лесков допускал, что сотрудничество с Кокоревым не удалось из-за неосторожных высказываний о работодателе в прозе отца еще до их личного знакомства. Кокорев поднялся на винном откупе, но вспоминать об этом, конечно, не любил. «Сколько, говорю, за водку с меня? — Всё, что есть, у нас дорогая, брат, кокоревская\*: с водой, да с слезой, с перцем, да с его собачьим сердцем»<sup>713</sup> — такой диалог присутствовал в одной из первых редакций «Леди Макбет...». О том, чтобы потрафить водочному торговцу,

---

\* При подготовке собрания сочинений 1890 года слово «кокоровская» было заменено Лесковым на «горькая русская доля».

Лесков тогда, конечно, не помышлял. Зато в 1879 году, спустя пять лет после личного знакомства и неудачи с сотрудничеством, сочиняя рассказ «Чертогон» (в первой публикации — «Рождественский вечер у ипохондрика»), наоборот, о реакции Кокорева не мог не думать — и вывел своего несостоявшегося работодателя под именем Ивана Степановича, «важнейшего московского фабриканта и коммерсанта», в самом неприглядном виде: он проштрафился, и за возможность гулять со всеми на пиру ему велели побыть шутом — бить изо всех сил в литавры в оркестре, что он покорно и исполнял, пока инструмент не лопнул. «Это живо прочтется», — писал Лесков, отсылая Суворину рассказ, — и был прав: он и сегодня читается живо. Непосредственно после публикации его наверняка живее многих прочел Кокорев.

## Вторая граница

Неудача с Кокоревым, развод с Катковым, стойкое ощущение, что печататься больше нигде, а «на горизонте литературном» нет ничего, «кроме партийной или, лучше сказать, направленной лжи»<sup>714</sup>, всё глубже погружали Лескова в хандру. С Екатериной Степановной отношения сделались мучительными. Поводы для этого, очевидно, являлись, но так ли они были важны? Взаимное притяжение давно кончилось. «У нее нет фантазии, — жаловался он сыну. — Это ужасно — человек без фантазии! Он не представляет себе, какое впечатление производят его поступки, слова, что он заставляет ими переживать других! Не рисует картин и потому сам не впечатляется! Это страшно!!!»<sup>715</sup> Лесков уже не просто хандрит, но и «пищать желает», о чем сообщает в письме Щебальскому от 8 мая 1875 года<sup>716</sup>.

Тринадцать лет назад в похожей ситуации кризиса, неразрешимых семейных проблем, ощущения накрывшей катастрофы Лесков сбежал в Прагу, в Париж, в европейский воздух, погрузился в другие языки, новые впечатления, невиданные прежде картины, спектакли, лица — и исцелился.

В 1875 году он решил принять то же лекарство — бежать прочь, «не видеть никого и ничего из того, что лишает “сил и действия”», а для полноты эффекта запечатать побег паломничеством в Лурд.

Это было особенное место. В 1858 году четырнадцатилетнюю дочку мельника и прачки Бернадетту в пещерах,

окружающих город, посетили чудесные видения — она беседовала с Матерью Божией, после чего ушла в монастырь. В 1875 году она была жива, но народ шел не к ней, а к открытому ею роднику, воды которого приносили исцеление. Шагать с паломниками к святыне, молиться Богородице, плыть в волнах общей горячей веры, ощущать близость тонкого мира — вот о чем он мечтал. «Может быть, это религиозное возбуждение людей, известных мне со стороны их нерелигиозности, займет меня, и я не буду думать о том, о чем думы так мучительны и так бесплодны»<sup>717</sup>, — писал он Аксакову 23 апреля 1875 года.

Лесков заехал в Киев, своим «упавшим видом» несколько напугав дядюшку Сергея Петровича, который даже устроил небольшой консилиум и в результате обнаружил у племянника «начало малокровия, происходящего вследствие долгого угнетения сердца»<sup>718</sup>. Убедившись, что отдых ему жизненно необходим, Лесков решил отправиться в Вену, Прагу и Париж, а откуда с пилигримами в Лурд.

В Париже он снова поселился в Латинском квартале, неподалеку от того места, где жил когда-то — возле Люксембургского сада, на улице Месье-ле-Пренс (*Rue monsieur le Prince*), словно желая вернуться во времена, когда был здесь весел, счастлив и позабыл все невзгоды. Даже в первый приезд Лесков, тридцатилетний, был для студенческого квартала переростком, но тогда он догонял свою «полупропущенную молодость»<sup>719</sup>. Теперь, в 44 года, в нем не было ни той легкости, ни той жадности до простоты французских любовных нравов. А в когда-то очаровавшей его столице больше не было новизны. На этот раз Париж показался ему «невыносимо шумным», Латинский квартал суетливым, и вскоре он переехал на Елисейские Поля, на улицу Шатобриана, дом 5, в тихую комнату с окнами на тенистый сад.

Он поселился здесь в небольшом пансионе вместе с другими русскими, оказавшимися в Париже по разным надобностям: четой журналистов Монтеверде, ученицами Парижской консерватории сестрами Левиными, но главное, с давним знакомцем Федором Буслаевым. Они все вместе обедали, вечерами слушали пение сестер, беседовали.

Паломничество так и не состоялось. Лето выдалось дождливым, Лурд залила река Гаронна, а Николая Семе-

новича — «многоводная тоска»<sup>720</sup>. Он скучал, писал сумрачные письма взрослым корреспондентам — Милюкову, Щербальскому, Аксакову, доброму приятелю и соседу Михаилу Александровичу Матавкину, сыну владельца дома на Фурштатской; чуть повеселее — детям: одиннадцатилетнему Дронушке, Вере, Борису. Описывал мундиры и лошадей «чужих солдатиков», заседание депутатов в Национальном собрании в Версале, где обнаружил, что данное ему в дружеском кругу прозвище Гамбетта небезосновательно: внешне он действительно был похож на знаменитого республиканца, выступление которого слушал в Национальном собрании.

Хотя в целом всё было не так ярко, как в первый раз, поездка одарила его по меньшей мере одним интересным отчасти литературным, отчасти религиозным знакомством — с князем Иваном Сергеевичем Гагариным. Тот знал весь литературный свет конца 1830-х годов, от Пушкина и Лермонтова до Чаадаева и Тютчева. Его долгое время безосновательно подозревали в причастности к анонимному пасквилю 1836 года, ставшему причиной дуэли Пушкина, якобы написанному в его доме, на его бумаге. Аксаков уверил Лескова, что это неправда (последние обвинения были сняты с князя только во второй половине XX века<sup>721</sup>), и убедил зайти к Гагарину в Париже. Иван Сергеевич, поначалу живший здесь как сотрудник российского посольства, постепенно перешел на положение эмигранта, принял католичество и вступил в орден иезуитов — «чтобы не задохнуться», комментировал этот шаг Герцен. В 1853 году в России Гагарин был предан суду за самовольное пребывание за границей и смену веры<sup>722</sup>. Его нашумевшая работа «Будет ли Россия католической» (1856), написанная по-французски и вскоре переведенная на русский, посвящалась перспективам слияния восточной и западной ветвей христианства на основе католицизма, которое, по мнению автора, помогло бы обеспечить Церкви в России независимость от государства, а стране — избежать революции.

С Лесковым Гагарин был любезен, показал ему парижские иезуитские школы, но в нем самом гость ничего иезуитского не нашел:

«Гагарин же едва ли не более пришелся бы к месту настоятеля Сергиевской пустыни, что за Петербургом? Что он за иезуит и почему он иезуит, — он, я думаю, и сам не знает»<sup>723</sup>.

Они говорили об Аксакове, о его взглядах, вообще о славянофилах. Очень тепло расстались, о чем 29 июля (10 августа) 1875 года Лесков написал Аксакову:

«Всего лучше он был, когда, уезжая в Пломбир, зашел ко мне проститься, — просидел два часа, выпил стакан шаб-ли за благоденствие России и... заплакал. Мы обнялись и много раз поцеловались: мне было до смерти его жалко... Он отяжелел, остарел, без зуб и без ног (от подагры), но имеет еще очень красивую наружность, напоминающую немножко т[ак] называемый “екатерининский” тип. Симпатии его к России, разумеется, состоят в невольной любви и невольном влечении к родине»<sup>724</sup>.

Встречи с Гагариным, более близкое знакомство с католицизмом, а затем и протестантизмом, с трудами швейцарского протестантского богослова и философа, одного из предшественников экуменизма Эрнеста Навиля подтолкнули Лескова к тому, что он сделался «перевертнем». 29 июля (10 августа) 1875 года он писал Щебальскому:

«Более всего разладил с церковностью, по вопросам которой всласть начитался вещей, в Россию не допускаемых. Имел свидание с молодым Невилем (Навилем. — *М. К.*)\* и... поколебался в моих взглядах. Более чем когда-либо верю в великое значение Церкви, но не вижу нигде того духа, который приличествует обществу, носящему Христово имя. “Соединение”, о котором молится наша Церковь, если произойдет, то никак не на почве согласования “артикулов веры”, а совсем иначе. Но я с этим так усердно возился, что это меня уже утомило. Скажу лишь одно, что прочитай я всё, что теперь много по этому предмету прочитал, и выслушай то, что услышал, — я не написал бы “Соборян” так, как они написаны, а это было бы мне неприятно. Зато меня подергивает теперь написать русского еретика — умного, начитанного и свободомысленного *духовного христианина*, прошедшего все колебания ради искания истины Христовой и нашедшего ее только в одной душе своей. Я назвал бы такую повесть “Еретик Форносов”, а напечатал бы ее... Где бы ее напечатать? Ох, уж эти “направления”!»<sup>725</sup>.

---

\* Скорее всего речь здесь идет не об Эрнесте Навиле (1816—1909), а о его сыне Альберте, что подтверждается определением «молодой»; но повлиял на Лескова именно Эрнест Навиль (см.: *Макаревич О. В.* Интерпретация религиозных текстов в творчестве Н. С. Лескова второй половины 1870-х — 1890-х гг.: Вопросы проблематики и поэтики. Н. Новгород, 2014. С. 116—118).

Это письмо было отправлено уже из Австрии, из Мариенбада, куда Лесков приехал поправлять здоровье — изгонять желчь. Здесь он «испил полный курс вод, вдоволь измарался в грязевых ваннах, излазил все горы, вертепы и пропасти». Обедал, гулял, посещал императорский зоопарк с оленями, очень много читал. Не писал прозу: принимался — и бросал перо. Здесь он задумал повесть «Соколий перелет», но первые главы ее были опубликованы только в 1883 году.

Он активно лечился, пил по семь кружек минеральной воды в день, но выздоравливал медленно. Всем, даже детям, жаловался на «нервное страдание». Сознавал, что в его обстоятельной переписке с Дронушкой было что-то «анормальное». Отправляя корреспонденции детям, которые им передавал М. А. Матавкин, он, разумеется, писал через них Екатерине Степановне, но напрямую к ней не обращался — продолжалась «мстительная дрязга». Полунамеком Лесков сообщал о неизвестной нам коллизии Матавкину, инициалами К. С. обозначая Екатерину (Катерину) Степановну, и ясно давал понять, что долгая разлука с ней ничего не исправила:

«Время может всё изменить, но тут и оно, как сами видите, оказалось бессильно: ста дней мало вышло, чтобы пришла добрая мысль поправить зло, причиненное человеку самыми несправедливыми и тяжкими обидами... На что еще надеяться и о чем говорить? Будь что будет, куда Бог примостит, там и буду. К тому же К. С. не может не сознавать, что она сбила меня с ног и причинила мне зло огромное, а это не может ее вести ни к чему иному, кроме желания остаться упорною в своем деле, ибо самый вид моего страдания может только язвить ее душу и требовать великодушия, к чему она влечения не чувствует. Вот я ни на что не надеюсь, хотя, конечно, если бы мне протянули палец, я подал бы обе руки, но а что за тем далее?.. Я ведь очень, очень настрадался и могу это простить, но чувством моим позабыть этого уже не могу, по крайней мере очень долго и разве в покое совершенном, которого никогда не имел»<sup>726</sup>.

И всё же лечение, уединение, воздух и прогулки сделали свое дело: он поздоровел, похудел — настолько, что прежнее платье перестало ему годиться — и стал немного спокойнее. Хотел зазимовать сначала в Вене, потом в Праге, но средства истощались, да и желание длить пребывание в Европе, так до конца и не исцелившей от хандры, таяло. В конце августа Лесков вернулся в Петербург.

По возвращении худшие его опасения подтвердились — на этот раз заграница по большому счету не изменила ничего. Он вернулся в ту же точку, из которой вышел: участие в литературной жизни для него невозможно, отношение к нему литераторов не поменялось, жалованья Ученого комитета недостаточно, примирение с Екатериной Степановной не состоится.

В сентябре до столицы долетела грустная весть: в имении Красный Рог скончался граф Алексей Константинович Толстой. Лесков с ним приятельствовал, ценил его, любил за веселость, называл «немножко циником» — судя по всему, за отношения с женщинами<sup>727</sup> — и считал, что в заглавном герое известной поэмы «Иоанн Дамаскин» тот изобразил себя. Еще летом Толстой приезжал лечиться в Мариенбад, они виделись — и вот его не стало.

Лесков жаловался Щебальскому 5 октября 1875 года:

«Изнемогаю я, Петр Карлович, и ничего более не жду, ни от кого... да и никто для меня ничего не делал и не сделает, чтобы я мог хоть дух перевести. К тому же всё уже и поздно: мне буквально нечем жить и не за что взяться; негде работать и негде взять сил для работы; а на 1 т[ысячу] р[ублей] с семьею существовать нельзя. Ждать я ничего не могу и, вероятно, пойду к брату в его деревеньку в приказчики, чтобы хоть не умереть с голоду и не сесть в долговую тюрьму. Положение без *просвета*, и *дух мой пал до отчаяния*, препятствующего мне и мыслить и надеяться. Если со мною случится что худое, то бумаги мои будут присланы Вам, и Вы из них многое извлечете для характеристики литературного быта, зависящего от столь известной вам “обидной рассеянности и капризов”, — прибавлю от себя — пошлых и грубых»<sup>728</sup>.

В следующем письме тому же адресату, от 10 ноября, жалобы продолжились:

«...я *болен* припадками, никогда со мной не бывавшими: я *стыну* и обливаюсь *холодным* потом и несколько раз в день *теряю сознание*, при неотвязной мысли — что у меня *нет работы*. Я это вижу во сне; с этим пробуждаюсь, с этим хожу и брожу, наводя на всех постылое чувство при виде беспомощной неудачи»<sup>729</sup>.

1875 год оказался одним из несчастнейших в жизни Лескова. Он почти ничего не написал из художественной прозы, кроме рассказа «На краю света», в самом конце года. Очень мало он сочинил и в 1876-м — возможно, потому что теперь у него было совсем другое занятие.

## В Ученом комитете

Лесков жаловался Щебальскому, что «нет работы»; получаемого жалованья ему едва хватало. Тем не менее в Ученом комитете Министерства народного просвещения служил он, особенно первые годы, ревностно, с искренним увлечением и явно не ради одной корысти.

В Ученом комитете он рецензировал книги для народного и детского чтения. Литература для детей и юношества переживала тогда младенческую стадию развития, детские книги писали в основном авторы второго, третьего, четвертого — и так до бесконечности — ряда. Лесков должен был, во-первых, определить, полезны ли будут эти книги для народа; во-вторых, решить, годятся ли они для поступления в библиотеки народных школ, училищ и гимназий; в-третьих, написать на каждую отзыв. Рекомендации министерства должны были учитывать директора начальных и средних учебных заведений при комплектовании своих библиотек.

Вообще-то Ученый комитет создавался как дополнительный к цензурным органам фильтр для книг, читаемых народом и особенно молодыми людьми. Последних как самых уязвимых необходимо было оградить от тлетворного влияния изданий, пропагандирующих нигилизм и материализм. Такова была главная задача, но в итоге решались и другие, более осмысленные, — отфильтровывались книги не только вредные, но и безграмотные.

За годы работы в комитете Лесков прочитал 268 книг и брошюр и написал 253 отзыва<sup>730</sup>, из них 110 отрицательных; отринутые им издания не были допущены в учебные заведения. Через его руки проходили повести, романы, сборники, хрестоматии для чтения, учебные пособия, книги по истории Церкви и основам христианства, периодика для народа, детей и юношества.

Вместе с Лесковым в том же отделе трудились и другие литераторы — давний приятель по работе в «Русском мире» и частый гость в его доме В. Г. Авсеенко, поэт А. Н. Майков, автор хрестоматии-долгожителя «Друг детей: Книга для первоначального чтения» П. П. Максимович, и педагоги — зоолог К. К. Сент-Илер, специалист по русскому языку и методике его преподавания В. Я. Стоюнин, географ и зоолог Ю. И. Симашко — тот самый, из книги которого был когда-то заимствован эпиграф для «Овцебыка». Возглавлял Ученый комитет педантичный до сведения скул, но



умевший отстоять свое мнение Александр Иванович Георгиевский.

По вторникам в здании министерства на Фонтанке, у Чернышева моста, проходили заседания Особого отдела Ученого комитета — все прилежно зачитывали свои отзывы, от которых мухи на лету прощались с жизнью. Прений почти никогда не возникало, заседания носили формальный характер. Но Лесков их исправно посещал, если только находился в Петербурге. За десять лет службы в комитете, с 15 января 1874 года до 5 февраля 1883-го, он присутствовал почти на четырехстах заседаниях. Однажды, как сам Лесков рассказывал сыну, «какой-то сановный член комитета, отозвав его в сторону, заявил ему: “Николай Семенович, вы поступаете не по-товарищески: вы хотите оттенить свое усердие и наше нерадение. Согласитесь, нельзя же каждый вторник представлять по 3—4 доклада”»<sup>731</sup>.

Означать это усердие могло лишь одно: ему нравилось. Нравилось делать серьезное дело, доверенное — этого он никогда не забывал — недоучившемуся гимназисту. И еще, вероятно, нравилось хотя бы так, из этой далеко не центральной бойницы, стрелять по литературным врагам и влиять на литературный процесс.

Сохранилось любопытное свидетельство того, насколько заинтересованно и страстно он относился к работе в комитете. Сигизмунд Федорович Либрович, журналист и историк книги, часто посещавший Лескова, вспоминал:

«Как-то раз, после театра, зашел я ужинать в известный ресторан Доминика. Вдруг вижу в углу, прислонившись к окну, сидит Николай Семенович и усердно исправляет карандашом довольно объемистую рукопись.

— Новый роман или новая повесть? — спросил я, подойдя к нему.

— Ни то ни другое, — ответил мне Лесков. — Просто доклад в Ученый комитет. <...>

— Неужели такое спешное дело, что вы даже ночью, за ужином, не можете от него оторваться?

— Не то что спешное, но интересное необычайно и вместе с тем неожиданно интересное.

Я, конечно, полюбопытствовал узнать, какое это дело. Представьте же мое удивление, когда я узнал, что “интересным делом” оказался какой-то маленький учебник польской грамматики, представленный в министерство на одо-

брение, причем Лескову поручено было рассмотрение его и составление доклада! Учебничек этот, на вид ничтожный, не обратил бы, вероятно, на себя внимания и никогда не удостоился бы одобрения, если бы не замечательное свойство Лескова интересоваться каждой мельчайшей подробностью и относиться ко всякой работе с щепетильною добросовестностью и готовностью “принести в жертву даже свое благополучие”.

Ничтожный учебничек, составленный каким-то захолустным педагогом, оказался в руках Лескова чем-то особенным, выдающимся. Он открыл в нем, буквально *открыл*, какие-то особые достоинства и, увлекшись этим, хотел непременно составить доклад, который ясно и наглядно представил бы все открытые им в учебнике необыкновенные качества.

И вот, с свойственным ему жаром и увлечением, принялся Лесков за составление этого доклада, точно предстояло написать роман, предназначенный для публики, а не обычную “бумагу”, которую ожидала такая же судьба, как и большинство подобных ей документов, т. е. сгнить в архивной пыли. Этот доклад не давал ему покоя даже ночью, он носил его с собою, постоянно исправлял, дополнял...»

С нарастающим удивлением Либрович пишет, что вскоре выяснил: с подобным вниманием и увлечением Лесков разбирал каждую попавшуюся ему «книжонку»<sup>732</sup>.

Но и в этом потоке у Лескова были свои любимцы. Ему особенно нравились книжки на христианские темы, сохранившие «христианский дух», например брошюры книгопродавца Блиссмера. Он досадовал, когда суть христианского учения, по его мнению, обкрадывалась и сплющивалась. Особенно внимателен Лесков был к цитированию Библии и не упускал случая поддержать тех, кто бережно относился к текстам Священного Писания — приводил без искажений, комментировал без глупостей<sup>733</sup>.

Анекдотист, мастер короткого жанра, он высоко ценил увлекательность книги, тем более что читать ее должен был человек простодушный, мужик или ребенок, что почти одно и то же. «Что такое в умственном отношении народ? Это те же дети по сравнению их с миром, давно живущим в грамоте»<sup>734</sup>, — писал Лесков в «Русских общественных заметках» в 1869 году. Радовался и юмору, неизменно отмечал его и напоминал, что юмор «детям всегда нравится и возбуждает их к подражательности». Между тем так думали далеко не все. Коллега Лескова по Особому отделу педагог



**Н. С. Лесков. 1872 г.**



Издатель Маврикий Осипович  
Вольф



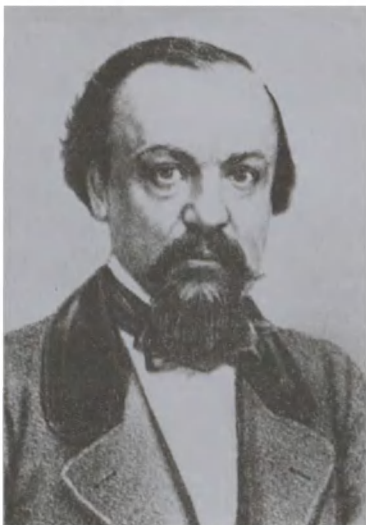
Приятель Лескова писатель  
Сергей Николаевич Терпигорев

Книжный магазин Вольфа на Невском проспекте





**Всеволод Владимирович  
Крестовский, автор популярного  
романа «Петербургские трущобы»**



**Алексей Феофилактович  
Писемский — по мнению Лескова,  
«большой русский писатель»**

**Приятели Лескова, так и не ставшие его друзьями**

**Петр Карлович Шебальский,  
историк и публицист, конфидент  
Лескова в 1870-е годы**



**Алексей Сергеевич Суворин,  
журналист, литературный критик  
и издатель**





**Генерал-адъютант Александра II Сергей Егорович Кушелев оказывал Лескову протекцию, а при министре государственных имуществ Петре Александровиче Валуеве писатель с 1877 по 1880 год состоял чиновником особых поручений**

**Иван Сергеевич Аксаков познакомил Лескова с промышленником Василием Александровичем Кокоревым, подарившим ему сюжет рассказа «На краю света»**





Министр народного просвещения Дмитрий Андреевич Толстой принял Лескова на службу в Ученый комитет, где тот проработал под руководством Александра Ивановича Георгиевского с 1874 по 1883 год

Министерство народного просвещения. *Конец XIX — начало XX в.*







Родственники Лескова: брат Василий, сестра Ольга, мать, брат Михаил, дочь Вера. 1870-е гг.





Родственники Лескова: мать, ее сестра Наталья Петровна Константинова, брат Сергей Петрович Алферьев, сестра Александра Петровна Шкотт. 1873 г.



**С Екатериной Степановной  
Бубновой Лесков прожил  
с 1865 по 1877 год**



**Сын Лескова и Бубновой Андрей.  
1886 г.**



**Писательница  
Лидия Ивановна  
Веселитская —  
последняя любовь  
Лескова. 1880-е гг.**



Лев Толстой со своим редактором и издателем  
Владимиром Григорьевичем Чертковым. 1908 г.

В 1887 году Лесков посетил «великого моралиста»  
в его московском доме в Хамовниках. 1890-е гг.





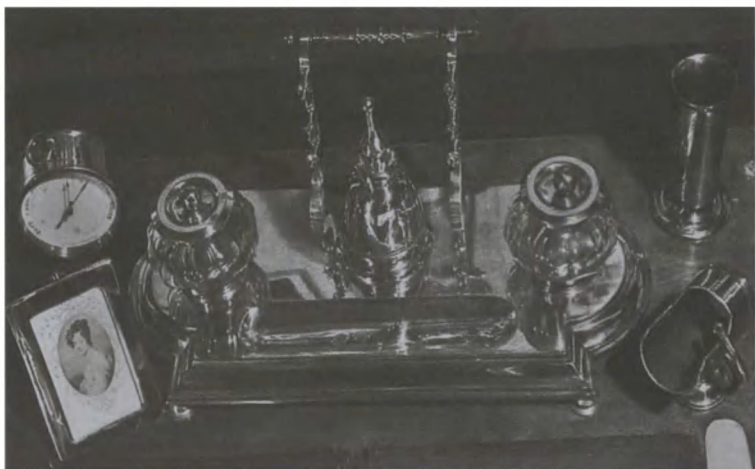
Читающий Лесков. *Начало 1880-х гг.*



Петербург, Фурштатская улица, дом 50 — последний адрес Лескова

Кабинет писателя и коллекционера. *Литография начала 1890-х гг.*





Личные вещи писателя

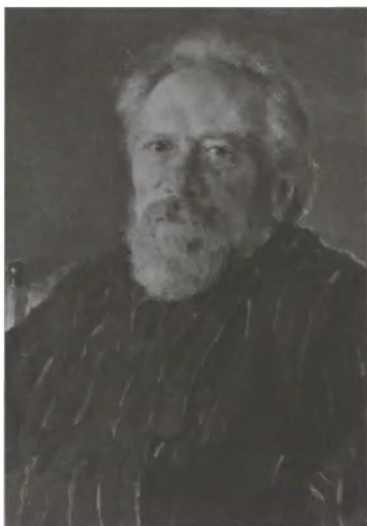
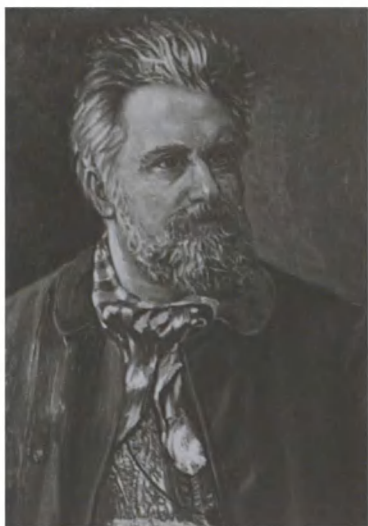
На курорте Меррекуль в Эстляндской губернии на берегу Финского залива Лесков не раз проводил лето







В Меррекюле с воспитанницей Варей Долиной. 1892 г.



Портреты Лескова работы И. Банистера (1890) и В. Серова (1894)



Карандашный  
набросок И. Репина.  
*Конец 1888 г.*





Сын писателя Андрей Николаевич  
Лесков — военспец Красной армии.  
*Осень 1919 г.*

Внук Юрий Андреевич Лесков

Надгробие Лескова на Литераторских мостках  
Волкова кладбища Петербурга





Очарованный странник русской литературы. *Начало 1890-х гг.*

Стоюнин считал, что «юмористические рассказы никак не должны быть предметом детского чтения»<sup>735</sup>.

Лескову понравились «Рассказы о русских самоучках» В. Г. Величкина, собравшего сведения об умельцах и изобретателях, вышедших из народной среды, и рассказ Д. В. Григоровича «Пахарь» за изображение доброго и трудолюбивого крестьянина, почти праведника. Он морщился от книг А. Ф. Погосского, писавшего для простонародья, — из-за дурного вкуса и пошлости, а возможно, и оттого, что тот был из некрасовского круга; кривился от «сельского рассказа» Ф. Д. Нефедова — из-за грубости языка, пессимизма и неточностей в описании народного быта, хотя именно изображением этого быта Нефедов, писатель-народник, и прославился в литературе. Очень похоже, Лесков попутно пытался уязвить своих литературных противников из радикального лагеря.

В незнании простонародной жизни он укорял и журнал поклонницы Редстока М. Г. Пейкер «Русский рабочий», а детское издание «Игрушечка», напротив, хвалил, отмечая его грамотность, бодрость, здравость. Журналом «Ясная Поляна» Льва Толстого и опубликованными в нем работами крестьянских детей открыто восхищался (но, несмотря на это, в начальные школы журнал не допустили). Без меры услужливую книгу крестьянина Савченкова «Святость царского имени» разгромил. А фрагмент из романа Достоевского «Преступление и наказание» со сценой смерти раздавленного каретой Мармеладова для чтения в школах не рекомендовал, мотивируя свою позицию тем, что жестокая сцена может дурно повлиять на сознание ребенка. Правда отказ он постарался смягчить комплиментами «мастерству и теплоте отличающих г. Достоевского человеколюбивых чувств»<sup>736</sup>.

В истовости, которую проявлял Лесков на службе, словно бы сказывалось стремление показать, что отсутствие у него университетского образования ничего не значит, что он ничем не хуже ученых мужей. Сама стилистика его рецензий — например на книгу «Безоброчный» Ф. Д. Нефедова (1873) — выдавала желание звучать внушительно:

«В описаниях природы и сцен крестьянского быта преизобилует необыкновенно изысканная, но неудачная манерность и слашавая сентиментальность, вовсе к этому жанру не идущая... Манерность описания здесь усиливается от многосоставных прилагательных, чрезвычайной длины периодов, в которых иногда вовсе нет ясного смысла, как, например, на стр. 58 о “тайне сжатого поля”»<sup>737</sup>.

«Преизобилует», «необыкновенно изысканная», «многосоставные прилагательные»... Он словно бы *играл* в ученого, используя любимое и послушное средство — язык настоящего научного труда, в его представлении тяжело-весный, тавтологичный, обстоятельный до занудства.

Тем не менее его дотошные рецензии обнаруживают: Лесков и в самом деле обладал исследовательским даром; сложились обстоятельства иначе, из него получился бы хороший ученый. Это уловил Василий Розанов: «Лесков — училище, сокровище ума, образования, размышления, не говоря уже о наблюдательности; он возбуждает бездну теоретических вопросов и, очевидно, чрезвычайно многое для себя “университетски” же, со страстью профессора, но и еще с прибавкою таланта разрешил». И чуть дальше, продолжая свою мысль, Розанов, которому повезло слышать Лескова, пишет, что тот «читал всегда с таким ощущением образовательной удовлетворенности, сытости — как бы автор этих повестей и рассказов именно прошел университет, даже определенный его факультет — филологический»: «Его очень легко можно было представить себе учеником, даже любимым учеником, Тихонравова, Буслаева, Ключевского, И. А. Попова. Он говорил о том, о чем мы, бывало, в аудиториях и на вечеринках говорили; говорил умнее нас, проникновеннее, дальше вида»<sup>738</sup>.

Материальная нужда к концу 1870-х отступила, но Лесков по-прежнему ходил на комитетские заседания, читал, как проклятый, эти в конце концов опостылевшие ему, «ни в каком отношении не занимательные и не интересные»<sup>739</sup> рассказы, сборнички и брошюры. Зачем? Можно предположить, что не только из-за финансовых, статусных и «отмщевательных» соображений, но и по причинам, далеким от любой корысти.

Лесков действительно искренне желал участвовать в просвещении народа<sup>740</sup>. Он, кажется, всерьез надеялся обучить грамоте русского мужика, предпочитающего кабаку всякому развлечению, «да мало-мальски приохотить к обращению с книгою»<sup>741</sup>, чтобы тот, подобно квартальному Рыжову из «Однодума», всю Библию прочел, а потом «до Христа дочитался». Работа в комитете, видимо, стояла для Лескова в том же ряду, что и издание просветительских брошюр, и помощь фирме «Посредник», основанной Львом Толстым с единомышленниками для распространения де-

шевых книг, а затем и печатание рассказов в «Петербургской газете» — городском «листке» для массового чтения. В поздних своих статьях «Писательская кабала» и «Куда запропали книги для народа» Лесков писал о необходимости реорганизовать книжный рынок в России и упростить бюрократический механизм в Особом отделе Ученого комитета — ему очень хотелось, чтобы книги лучших авторов стали доступны самому широкому читателю.

Трезвый взгляд просветителя, тяга к научному знанию парадоксальным образом сочетались у Лескова с увлечением мистицизмом, с живым, почти детским интересом к спиритизму, мода на который к началу 1870-х окончательно захлестнула петербургские гостиные.

## Theodore

Стоял влажный февральский день, утром в окно веяло свежей сыростью, полилась капель, воробьи кричали так, что невозможно было работать. Он пугал крикунов хлопками в ладоши, шурился и довольно улыбался: вечером его пригласил к себе Александр Николаевич Аксаков, племянник Сергея Тимофеевича, статский советник и убежденный спирит. Николай Семенович потирал руки, предвкушал: гостя диковинная, компания любопытная, тема модная — материал для заметки соберется потешный.

К вечеру похолодало, полетел снег. Он оделся позимнему и опрометчиво отпустил извозчика, не доезжая до места: засиделся, захотелось пройтись по Невскому. Отогретая за день грязь подмерзла и скользила, морось туманила газовые фонари, пламя приседало, как живое, лица прохожих казались встревоженными. Он шагал, крепко опираясь на любимую палку с рукоятью в виде львиной головы, но и она не помогала. Несколько раз он едва не свалился, последний — уже у самого подъезда большого доходного дома на Невском: жильцы раскатали дорожку.

В подъезд он вошел с облегчением, а вскоре уже передавал прислуге трость и меховой картуз.

В просторной гостиной Аксакова горел камин, над камином висел портрет старика в белых буклях и синем камзоле — Сведенборг? Почти все были в сборе. Румяный с морозца Петр Дмитриевич Боборыкин, кругленький, чистенький, благообразный — как обычно в идеально белом воротничке, вежливо ему поклонился, но чуть под-

жал губы. Ничто не забыто... Сколько раз лесковское перо пришлось насчет его плодовитости и непоправимой бездарности!

Зато профессор-химик Александр Михайлович Бутлеров поздоровался с приветливой улыбкой, глядел светлыми глазами легко, весело и сразу показался ему мил, даже красный нос ничуть его не портил. Низкий сутулый гном — зоолог Николай Петрович Вагнер — с явным неудовольствием оторвался от разговора, который до прихода Лескова вел с Бутлеровым, доказывая ему что-то скрипучим голосом.

Ждали Достоевского. Наконец явился и он, как обычно немного запыхавшись. Матово-бледный, с клочковатой бородой и угорелым тревожным взглядом, он покашливал. Глуховатым голосом пояснил: «Простуда только отошла. Дети болеют. И жена. Да и сам я...» Снова кашель.

И опять рябь раздражения подернула душу: Федор Михайлович был, как обычно, как все последние годы, невыносим. Ничего и никого кроме себя не видел, знать не хотел. Будто один он на всём свете простужался, у него только болели дети и в этом таилась нависшая над человечеством всемирная катастрофа.

Достоевский присоединился к разговору, пошутил, обменялся остротами с хозяином и немедленно всех к себе расположил, очаровал. Он тоже начал задавать вопросы. Аксаков рассказал, что устроил всё в отдельной комнате в полном соответствии с требованиями менделеевской комиссии: ничего лишнего, никаких помех для проведения опыта не будет. Бутлеров сострил про лукавство духов, но рассмеялся только Лесков. Все явно нервничали и смущались, мялись. Ощущали себя застигнутыми за шалостью гимназистами. Предстояли фокусы, глядеть на них людям серьезным и уважаемым было не по чину, даже и в интересах русской науки, о которой, впрочем, здесь всерьез пелись только Бутлеров и Вагнер.

Наконец, раздался звонок. Она!

Госпожа Сент-Клер уже месяц провела в России, приехав из Англии специально по приглашению менделеевской комиссии.

Еще 6 мая 1875 года Дмитрий Иванович Менделеев на заседании Русского физического общества предложил создать комиссию для исследования «медиумических явлений», чтобы окончательно разоблачить шарлатанов и положить конец моде на спиритизм. Комиссию создали, в нее, кроме Менделеева, вошли 11 ученых-физиков. Комис-

сия попросила Бутлерова, Вагнера и Аксакова представлять ей известных медиумов. Первыми Аксаков привез братьев Петти, но они оказались мошенниками — отрицать это не мог даже он сам. Госпожа Сент-Клер должна была стать новым аргументом в пользу реальности столоверчения. До встречи с писателями она провела несколько сеансов для комиссии. Стол покорно дергался и подпрыгивал; но ее тоже подозревали в том, что она помогает себе ногами.

Аксаков по-французски представлял ей гостей. Николай Семенович мгновенно стал светским, плавным, не отрывал от нее глаз.

Молода, свежа, разве немного за тридцать. Смотрит глубоко, выразительно; темноволосая, подтянутая, вовсе без английской сухости и чрезмерной прямо́ты в спине — скорее, похожа на австриячку. Глаза карие, но с прозеленью, и вся будто струится... Лесков почувствовал дурноту, но тотчас взял себя в руки. Да-да, совсем не лондонский тип — скорее венский. Черное шелковое платье с голубой отделкой ей шло, но чем-то напоминало футляр — что оно прятало?

Вся ее манера, вежливая улыбка, движения дышали спокойствием богатого и совершенно уверенного в себе человека. Госпожа Сент-Клер явно знала себе цену. Аксаков так и намекнул: дама она состоятельная, ни в чем и ни в ком не нуждается и в зимнюю русскую столицу явилась из одной лишь любви к истине.

Низким, чуть хрипловатым голосом гостя сообщила, что готова перейти к делу.

Они двинулись, застучали каблуки ее высоких шнурованных сапожек; ясно, почему она на таких каблуках, со стуком, одновременно подумали Лесков и Достоевский. Они вошли в ту самую комнату, оборудованную специально для опытов. Окно было занавешено, с потолка спускалась висячая лампа, желтый матовый абажур давал ровный теплый свет. Расселись за столом — обыкновенным, круглым; не сел один Аксаков, встал чуть позади. Лесков оказался рядом с госпожой Сент-Клер справа, слева — Достоевский. Едва расселись, госпожа Сент-Клер сейчас же положила на стол руки, красивые, белые, давая понять: начинаем. И опять показалось, что ее тонкие, длинные пальцы струятся, пальцы-ручьи. Николай Семенович пытался остановить их течение взглядом и вдруг расслышал: из самой середины стола раздались отрывистые звуки, словно кто-то тихо ударял в тимпан. И снова его повело, голова закружилась... нет, каблуки стучат по-другому...

Аксаков уже называл буквы английского алфавита. В ответ раздавались звуки.

Один удар — «нет». Три частых — «да».

Дух огласил программу вечера. Пообещал угадывать, что попросят, и посулил приподнять стол. Госпожа Сент-Клер указала на первого, с кем дух готов начать общаться. Достоевский! Лесков вздрогнул.

Федор Михайлович сейчас же оживился, глаза его вспыхнули каким-то диковатым светом; выбор, сделанный духом, ему явно польстил. Александр Николаевич подал бумагу и карандаш. Достоевский написал столбец из разных мужских имен на французском. Оторвал от листа клочок, поднялся, отошел в сторону и записал на клочке одно имя из списка: *Theodore*. Вернулся к столу, плотно зажав бумажку с именем в кулаке, и медленно повел карандашом по столбику имен. Едва карандаш достиг *Theodore* — слышались три тихих удара. Карандаш в руке Достоевского так и прыгнул, а сам он нервно поежился и издал неясное мычание. Какая пронизательность! Лесков хмыкнул и едва заметно поморщился: и лучше выдумать не мог... Теодор!

Следующим был Боборыкин, он всё проделал в точности так же, только список имен был другим. Его собственного имени в списке не было, никакого *Peter'a*. И что же? Дух ошибся, выбранного Петром Дмитриевичем имени не угадал! Боборыкин сдержанно улыбнулся, но из учтивости промолчал.

Лесков решил испытать духа иначе. Он сразу написал тайное имя на клочке — внизу, на коленях, чтобы никто не увидел. *Michel*. Потом уже открыто, при всех начал писать на бумаге самые разные имена — одно, другое, третье, но едва вывел *Mich...*, раздались три победных стука. Два — один в пользу англичанки.

Аксаков предложил взяться за цифры. Записал на бумаге разные годы, и каждый задумывал одну из записанных дат. Достоевский — разумеется, 1849-й, первый год своей ссылки; дух безошибочно указал на нее. Лесков задумал 1866-й — год рождения сына Дроны. Дух, конечно, не угадал.

И всё-таки...

Со звуками получилось превосходно! Все по очереди — и Бутлеров, и Вагнер, и Боборыкин, и Достоевский, и Лесков — проводили по столу железным ключом, каждый на свой лад: кто-то изображал марш, кто-то мазурку, кто-то просто царапал стол с паузами. Через несколько мгнове-



ний, словно подумав, дух повторял те же звуки, в точности, только едва слышно. Слух у него оказался идеальный. Где-то, где-то попадалось ему сообщение об экспериментах физиков со звуком, рассеянно думал Лесков. Но не в корсет же спрятала госпожа Сент-Клер фонограф — так он, кажется, называется?

В комнате становилось душновато, но чувствовал это, кажется, он один. Открывать окна было не разрешено.

От большого круглого стола перешли к маленькому. Четырехугольный белый стол был сколочен нарочно для опытов — с расходящимися ножками и широким карнизом, чтобы ни наклонить, ни незаметно приподнять его было невозможно.

Все расселись. Госпожа Сент-Клер застыла и внимательно смотрела на стол. В тишине стало слышно, как что-то зазвенело на Невском, будто разбили стекло, раздались недовольные крики и еще какой-то неясный шум. Стол оставался неподвижен.

Вагнер вдруг заерзал, заволновался, переводил взгляд со стола на англичанку и, казалось, молил, упрасивал. Он давно уже жил по указке духов, и все над ним потешались. Рассказывали, что дочь его сообщила учителю, будто не сделала уроков, поскольку чернильница улетела; что сам он недавно явился на лекцию с небритой щекой — дух повелел остановиться прямо в середине бритья... Бутлеров, которому профессорское звание не мешало быть ортодоксальным спиритом, был спокоен, но глядел на стол чрезвычайно пристально и тоже словно уговаривал его отозваться. Госпожа Сент-Клер сидела по-прежнему неподвижно, но, кажется, побледнела. И снова Лескову почудилось: облик ее плавится, сейчас утечет прочь.

Внезапно стол шевельнулся и тихо пополз вперед, чуть покачиваясь. Он двигался прямо к Бутлерову. Преданно замер рядом с ним, а потом поднялся над полом. Завис.

Вагнер беззвучно ликовал, Бутлеров улыбался. Никто по-прежнему не произносил ни слова. Не спугнуть! Достоевский усмехнулся. Лесков глядел на чудо и чувствовал: воздух будто выкачали, дышать нечем.

Стол с достоинством опустился, слегка стукнув ножками о пол. Немного постоял и приподнялся снова. Бутлеров сдержанно засмеялся, и все сразу ожили, заговорили, расслабились. Невообразимо! Чудеса! Чертовщина!

Развлечения продолжались. Дух звонил в колокольчики, поставленные под столом. Каждый раз, едва поднимал-

ся звон, Бутлеров улыбался и ежился, будто его шекотали. «Должен признаться, — сообщил он обществу, — что кто-то словно бы касается моей ноги. Пяткой».

— Голой? — уточнил чрезвычайно серьезно Вагнер.

— О, да!

Дух оказался игрив.

Все облегченно вздохнули и засмеялись. Гости уже утомились от напряжения, от всей этой возни, но главное, от полной необъяснимости происходящего.

Сеанс прервался внезапно.

Госпожа Сент-Клер предложила Достоевскому, который по-прежнему глядел недоверчивее других и слегка хмурился, взять один кончик перекинутого через столешницу платка, а другой спустить вниз. Едва Достоевский сделал это, за нижний край платка потянули — довольно настойчиво.

— Не могу это объяснить иначе как большой ловкостью нашего медиума, — проговорил он по-русски.

Аксаков перевел — госпожа Сент-Клер вспыхнула и сейчас же произнесла негромко, но совершенно отчетливо: *Bloody hell!*\* Лесков не понял, Боборыкин растерянно улыбнулся, Аксаков смутился. Госпожа Сент-Клер, добавив уже громче и не так гневно: «Не совсем понимаю, что здесь происходит», — убрала руки со стола.

«Что вы, это только шутка! Господин Достоевский пошутил!» — наперебой заговорили гости. Но англичанка уже поднималась из-за стола, оправляя платье; недоверие русского выскочки ее оскорбило. Или иссяк запас фокусов?

И снова Лесков расслышал: тихоструй, легкий вкрадчивый шелест, темная змея скользит по горячему песку и просачивается насквозь, исчезает.

Обиженно хлопнула дверь в прихожей.

Гости еще немного посидели за ореховым столом. Вагнер даже свесил один конец платка со стола — никакого эффекта. Чудеса просочились, как вода сквозь решето: тимпан смолк, колокольчики не звонили, платок висел неподвижно. Дух сбежал вместе со своим медиумом.

Аксаков приглашал к ужину, но Лесков заторопился домой. Его всё отчетливее мутило.

Снег кончился. Еще похолодало. На улице он вдохнул поглубже свежий морозный воздух и почувствовал невероятное облегчение. Извозчик уже стоял у подъезда — пре-

---

\* Чёрт возьми! (англ.).

дусмотрительный хозяин обо всём позаботился. Швейцар помог усесться, заботливо застегнул полость саней; лошади тронулись на Фурштатскую.

Сеанс в доме Аксакова Лесков описал в заметке, опубликованной в «Гражданине» — ни слова о тихоструе, шелесте змеиной кожи по песку, только поток фактов. Комиссия Менделеева осталась недовольна: из лесковского репортажа следовало, будто у всех этих спиритических фокусов рационального объяснения нет. Боборыкин тоже рассказал о странном вечере, но с большими сомнениями и колкостями — как-никак дух несколько раз ошибался, а загаданного им имени и вовсе не угадал. Достоевский вообще ничего не написал, подробно объяснив лишь в посвященной спиритизму заметке в «Дневнике писателя», отчего не стал этого делать: «Кто захочет уверовать в спиритизм, того ничем не остановишь, ни лекциями, ни даже целыми комиссиями, а неверующего, если только он вполне не желает поверить, — ничем не соблазнишь»<sup>742</sup>. К какому из лагерей присоединяется он сам, Федор Михайлович предпочел не уточнять.

Эпидемия спиритизма поразила русское общество в начале 1850-х годов<sup>743</sup>. В эпоху растущего материализма многим оказалось важно убедиться — наглядно, в этом физическом мире, глядя на вертящийся стол, — в существовании мира потустороннего. Одним из самых активных проповедников нового увлечения стал тот самый А. Н. Аксаков, что собрал к себе февральским вечером писателей и ученых, «жрец спиритуализма»<sup>744</sup>.

Аксаков, большой знаток этого вопроса, переводчик работ шведского теософа, одного из предтеч спиритизма Эммануила Сведенборга, приглашал в Петербург не только госпожу Сент-Клер (или, как тогда говорили, Сент-Кляйер), но и других медиумов — например знаменитого шотландца Дэвида Юма<sup>745</sup>, американца Бредифа (последнего опять-таки заподозрили в мошенничестве).

В апреле комиссия Менделеева завершила работу. Заключение ее, опубликованное в газете «Голос», перекликалось с тем, что написал Достоевский: «Спиритические явления происходят от бессознательных движений или бессознательного обмана, а спиритическое учение есть суеверие». Одновременно Менделеев выступил с двумя публичными лекциями о спиритизме и написал книгу «Ма-

териалы для суждения о спиритизме», вполне подтверждавшую вердикт комиссии. Понятно, что Бутлерова, Аксакова и Вагнера выводы Менделеева не убедили, однако сам он считал, что после его публикаций увлечение спиритизмом в обществе пошло на спад.

Лескова, всегда интересовавшегося таинственным, тоже захватили медиумы. Сам он, безусловно, верил в бессмертие души и загробную жизнь<sup>746</sup> и внимательно изучил переведенные на русский язык работы французского спиритуалиста Аллана Кардека «Книга духов» (1857) и «Книга медиумов» (1861), разошедшиеся в России в списках (печатать их не позволила духовная цензура). Особенно заинтересовала Лескова теория Кардека о постепенном восхождении духов от низших разрядов к высшим, что давало шанс на исправление даже духам зла и отменяло идею ада.

Лесков посвятил Кардеку отдельную заметку в «Биржевых ведомостях», в которой кратко излагал суть его учения: мироздание населено душами, дела милосердия важнее всего<sup>747</sup> — и сетовал, что последователи не дают спиритуалисту покоя даже после того, как он покинул материальный мир, подтакивая на посмертные сообщения, полные обших мест и избитых фраз.

Некоторые идеи Кардека Лесков подарил герою романа «На ножах» Светозару Водопьянову<sup>748</sup> и возвращался к теме спиритизма еще неоднократно, обычно отзываясь о нем в ироническом тоне, не прощая ему наивности, упрощенного взгляда на духовный мир и христианское учение, а также «баснословия» — не хуже, чем у молокан<sup>749</sup>.

Изыщным завершением темы в его прозе стал шуточный святочный рассказ Лескова «Дух госпожи Жанлис» (1881), излагавший весьма пикантный анекдот о проказах «шаловливого духа», жестоко посмеявшегося над безрассудной поклонницей спиритизма, русской княгиней, обращавшейся к сочинениям французской писательницы Стефани Фелисите Жанлис как к оракулу.

---

---

Глава седьмая  
**КОСОЙ ЛЕВША**

*...небо тучится, брюхо пучит-  
ся, — скука большая, а путина длин-  
ная, и родного места за волною не  
видно...*

Н. С. Лесков. Левша

**«Писателей надо уважать»**

К концу 1870-х свобода, бодрость, в начале десятилетия еще ощутимые, вдруг истаяли — и в Лескове, и вокруг. В комитете на него косились всё неодобрительнее: почему сочувствует штундистам, для чего критикует Церковь и духовенство, зачем имеет собственное мнение по любому вопросу? Оклад не повышали, чином упрямо обходили, устраивали мелкие каверзы и подставы, зазеваешься — тут же всучат *в крестный шнурок свиную щетинку*.

Не хватало воздуха. «Как тяжело жить в этой задухе, которой и конца не видно! И *мы же сами*, может быть, всё это взгромоздили и подпираем... Эта мука с платком во рту убила во мне всю силу, и всякие надежды представляются мне уже какой-то непозволительною пошлостью. Зачем они? — нет им места»<sup>750</sup>, — жаловался Лесков Щербальскому.

Когда нечем дышать на улицах, люди прячутся по домам.

В 1870—1880-е годы по петербургским и московским гостиним с новой силой заплескала, забилась домашняя литературная жизнь: «среды» князя Мещерского, «пятницы» Полонского, «вторники» Милюкова. Вечера, журфиксы, чтения. Литераторы, художники, музыканты жаждали солидарности, идущей несколько «далее покроя сюртука и панталон»<sup>751</sup>.

Еще в 1871 году композитор Антон Рубинштейн с товарищами решил создать нечто вроде артистического клуба или литературно-художественного кружка. 4 марта на Мойке, в большой зале знаменитой гостиницы Демута, славной многими постояльцами (среди них были и Пушкин, и Грибоедов, и Чаадаев, и Тургенев), собрались

160 «искусников» — музыкантов, певцов, литераторов, актеров, живописцев и скульпторов. Произносили речи; пили за сближение муз, за славную русскую литературу и за присутствовавшего Ивана Сергеевича Тургенева; говорили о необходимости общения, встреч. Выбрали даже комиссию — по два человека от цеха: Анненкова и Боборыкина от писателей, Самойлова и Васильева от артистов, Балакирева и Рубинштейна от музыкантов, Зичи и Клодта от художников\*; они и должны были стать организаторами. Выкушали еще по рюмке водки, закусили ломтиком говядины. В конце вечера сам зачинщик собрания сел за рояль и к всеобщей радости сыграл увертюру «Эгмонта», но тем дело с первым русским художественным клубом и кончилось. На втором собрании народу было значительно меньше, третье не состоялось никогда — затея не удалась<sup>752</sup>.

Однако небольшими компаниями литераторы всё-таки встречались.

Было где подышать. Вот хоть на «вторниках» Александра Петровича Милюкова, беллетриста и критика, у которого Лесков бывал постоянно. Они сблизились в конце 1860-х, Лесков предложил тогда Милюкову, главе журнала «Сын отечества», опубликовать повесть «Загадочный человек» — вещь «пряную» и «забористую». У Милюкова бывали Г. П. Данилевский, В. В. Крестовский, иногда заглядывали Ф. М. Достоевский, Ф. Н. Берг, А. Н. Майков.

На одном из таких вторничных собраний Лесков прочел своих «Божедомов». Дьякон Ахилла скакал на коне, сверкали молнии, протопоп сражался за истину, прибитый деревом ворон плакал, матушка тихо рвала лилии в саду... Он читал спокойно и просто, будто рассказывал, *не мешал* — и картины вспыхивали волшебным светом. Его слушали «с наслаждением». Разошлись уже за полночь<sup>753</sup>. Милюков потом написал Данилевскому, что не всё ему понравилось в новом романе Лескова; но в тот вечер он молчал и так же, как все, восхищался «нотатками» Туберозова и был тронут плодомасовскими карликами<sup>754</sup>.

А еще можно было заглянуть в Гостиный двор, в кабинет Маврикия Осиповича Вольфа. Вольф одним из первых в России стал издавать книги не просто красивые — ро-

---

\* Василий Васильевич Самойлов (1813—1887) и Павел Васильевич Васильев (1832—1879) — артисты Александринского театра; Михаил Александрович Зичи (1829—1906), Михаил Константинович Клодт (1832—1902) или Михаил Петрович Клодт (1835—1914) — художники.

скошные: с разноцветными иллюстрациями, золотыми тиснением и обрезом. Чуткий, умный издатель, он запустил журналы-долгожители — «Вокруг света» и любимое гимназистками «Задушевное слово», печатал и Бокля, и Пушкина, и Даля, и Лескова. «Маврикиева каморка» в квадратную сажень (пять квадратных метров) располагалась при его книжном магазине, отделенная от зала с книгами стеклянной дверью. Туда-то и набивались авторы всех мастей — повидаться, посудачить, узнать последние новости и посплетничать. Комнатку окрестили «почти-клубом».

Сюда заходили поэт, романист, драматург и критик, современник Пушкина, Лермонтова и Гоголя Владимир Рафаилович Зотов, кладезь литературных воспоминаний; Гончаров, Григорович, Максимов, Минаев, Майков, Модестов, Полонский, Плещеев, Данилевский. Приходил и лесковский добрый приятель Сергей Николаевич Терпигорев, человек открытый и искренний, который хорошо понимал Лескова и говорил, что тот «не может прикоснуться ни к одному человеку, не положив на него кусочек... дурно пахнущего вещества»<sup>755</sup>, а впрочем, искренне его любил. Бывали здесь и короли тонких литературных журналов, как раз входивших в моду, — Василий Немирович-Данченко, Петр Полевой, Петр Вейнберг, репортер Юлиан Шрейер, актер и писатель Николай Вильде, редактор «Северной пчелы» Павел Усов и чудный рассказчик, актер и прозаик Иван Горбунов, — а также университетские профессора и прочий околосредовый люд. Оказавшись в Петербурге, в «почти-клуб» заглядывали москвичи — Писемский, Мельников-Печерский, Островский. Привечали здесь и Лескова. Когда Тургеневу, приехавшему из Парижа, захотелось увидеть русских писателей «в сборе», его повели к Маврикию Осиповичу. Шутки, каламбуры, воспоминания, переданные в лицах сцены и разговоры так и лились<sup>756</sup>.

В начале 1880-х литераторы собирались и у графа Алексея Павловича Бобринского — в подражание французам он с супругой устроил литературный салон с чтением новых произведений и обсуждением книжных новинок. Для аристократического Петербурга такая приязнь к литературе была не совсем обычна. «Душою этих вторников, — вспоминал писатель и критик Сигизмунд Либрович, — и одним из постоянных их посетителей был Н. С. Лесков. Обладая замечательным умением занять любое общество своими рассказами и своею полною остроумия беседою, Лесков был у

Бобринских своего рода *persona grata*\*, так как его присутствие обеспечивало успех вечера и общее оживление: Лесков удивительно умел привлекать всех к участию в беседе и приходил всегда одинаково занимательные для всех темы»<sup>757</sup>.

А зимой 1881/82 года Лесков начал устраивать «субботники» у себя. Чаше других приходили Лейкин, Майков, Шубинский, Пыляев, Максимов, Карнович, Терпигорев.

Милюков и его «гражданская жена» Зинаида Валерьяновна Нарден (его законная супруга умерла) начали бывать в гостях у Лескова\*\*. «Нарденша» (так за глаза звал Зинаиду Валерьевну Лесков) давала небольшие фортепьянные концерты. И он, и другие литераторы ее недолгоблюдали — за дурное обращение с двумя дочерьми Милюкова от официального брака. Но Екатерина Степановна Зинаиду не осуждала, сблизилась с ней и общалась даже после того, как разъехалась с Лесковым.

В 1870-е годы Лескову уже за сорок, опубликованы главные его романы; его знают, ценят, кто-то любит и читает — но совсем не так, как Тургенева или Достоевского, тем более Льва Толстого, пожалуй, и Писемского. Годы, заслуги, осознание собственного масштаба — Лескову казалось, и не без оснований, что ценить его должны выше, уважать глубже, сильнее.

Либрович рассказывает характерную историю. В 1870-е годы петербургская интеллигенция увлеклась коллекционированием автографов известных писателей: «Молодые девицы, дамы балзаковского возраста, юноши и старики обивали пороги литераторов, выпрашивая “несколько строк на память”». Кто-то снисходил, кто-то, как Гончаров или Григорович, твердо отказывал. Либрович тоже завел модный альбом и начал обход с Лескова, с которым был хорошо знаком. Тот подумал, походил по комнате и написал: «Писателей надо уважать. Н. Лесков.

Примечание. У нас в России или любят писателя, или его ненавидят. Но мало таких читателей, которые бы уважали писателей».

Эту запись Лесков прокомментировал и устно:

«Вас, наверное, спросят, в чем должно выражаться уважение к писателю... Ответьте: в мелких знаках внимания,

---

\* Желательное лицо (*лат.*).

\*\* Еще при Екатерине Степановне.



в скромных подношениях... Если вы зайдете в кабинет какого-нибудь популярного французского или немецкого писателя, вы увидите много мелких знаков внимания; напр[имер], немка, прочитав интересный роман, спешит послать его автору собственноручно вышитую закладку, тщательно связанную салфетку, рамку для портрета или даже шерстяную фуфайку и т. п. Флоберу французские виноградари прислали десять бутылок отборного вина. У Шпильгагена я видел туфли, вышитые читательницами “Проблематических натур”. Диккенсу американцы поднесли письменный стол и т. д. и т. д.

У нас, в России, всё это считается сентиментальной маниловщиною. Пусть цена подношения грош — дело не в цене. “Мне не дорог твой подарок, дорога любовь твоя”... В таких мелких подношениях наглядно проявляется любовь и уважение читателя, и мне, напр[имер], каждое такое подношение куда дороже хвалебной критической статьи... Важно, чтобы писатель во время работы в своем кабинете имел перед глазами наглядные доказательства внимания и уважения со стороны читателей. Это бодрит, воодушевляет, вдохновляет, как воодушевляют актера аплодисменты.

Но, главное, — это свидетельствует о связи между писателем и его читателями...»

Либровичу вскоре пришлось убедиться, как близко к сердцу принимает Лесков собственные мечты о знаках читательской любви и славы:

«Когда я спустя несколько месяцев после этого разговора и сделанной Лесковым записи в моем альбоме зашел опять по одному литературному поручению к автору “Соборян”, мне бросилось в глаза висевшее на стене, над этажерочкой со статуэткой Спасителя, большое полотенце, вышитое разноцветными шелками, в русском стиле.

— Это мне прислали две казанские попадьи, почитательницы моих архиерейских мелочей... — объяснил Лесков.

Этот ответ меня сильно смутил.

Дело в том, что точь-в-точь такое же полотенце я, несколько времени перед тем, видел в... Александровском рынке».

Либрович замечает, что рад был бы объяснить этот случай совпадением, если бы не начал встречать Лескова на рынке, скупающего старые вещи, которые потом он выдавал гостям за «подношения почитателей своего таланта».

«Подношениями» были увешаны все стены его уютного кабинета. Хозяин с удовольствием показывал их своим по-

сетителям, особенно охотно — деревенским батюшкам, желавшим познакомиться с бытописателем их жизни. И рассказы эти в конце концов возымели действие! «Лескову стали присылать настоящие подношения»<sup>758</sup>.

Мысль, что любовь к писателю должна выражаться «вещественными и невещественными знаками», занимала Лескова давно. В «Русских общественных заметках» (1869) он писал:

«В Англии и во Франции произведения любимых писателей расходятся десятками тысяч, чего у нас не бывает, и вследствие этого во Франции какой-нибудь Сарду живет синьором, имеет дома, дачи, первых лошадей и первостатейное знакомство, тогда как любой наш писатель, ему же г-н Сарду недостоин по своему таланту разрешать ремня у ног, даже ни о чем подобном не грезит в самой дерзкой мечте своей, и умирает слава Богу если так, как умер Лажечников, поручая детей своих милосердию государя (и то, заметьте, не общества, а государя!), а чаще же канает на госпитальной койке и хоронится в складчину. Известно, что литература у нас состоит из бедняков, питающихся впроголодь, и самые любимейшие из наших писателей стараются устраивать себя вне зависимости от одного литературного заработка.

Стало быть, вещественных доказательств так называемой любви к литературе и литераторам у нас чрезвычайно как мало и во всяком случае меньше, чем у всех других европейских народов»<sup>759</sup>.

## Коллекционер

Не только за гостинцами самому себе ходил Лесков по Александровскому рынку. В 1870-е годы он сделался коллекционером редкостей. Собирательство было, кажется, в самой его природе. Для своих произведений он коллекционировал забористые словечки, диковинные выражения, поговорки и присловья, анекдоты, затейливые истории и, конечно, людей — уходящие типы: антиков, странненьких, юродивых, святых. Заодно карликов и великанов.

Занимали его и старинные книги — старопечатные и рукописные — и иконы: у него хранились небольшой складень строгановского письма, множество почерневших образов, были и иконки, вырезанные на камне. Не меньше, по воспоминаниям А. И. Фаресова, любил Лесков и «рус-

ские поддевки, картузы, палки с солидными рукоятками, удобные кресла, комоды, крепкие настойки»<sup>760</sup>.

Едва у Николая Семеновича появлялись свободные деньги, он отправлялся на Александровский или Апраксин рынок к антикварам, где увлеченно рылся в старых вещах и рухляди. Обожал часы — карманные, настенные и каминные, английские и швейцарские. На Фурштатской часы у него стояли и висели повсюду. Все они были с боем — квартиру оглашал ежечасный перезвон: одни начинали, другие подхватывали. Неменьшую страсть питал Лесков и к шкапулкам, подсвечникам, статуэткам, гравюрам, по-детски радуясь каждой находке. Мемуаристы с улыбкой вспоминают об этой слабости Николая Семеновича, В. Г. Авсеенко — язвительнее, но и выразительнее многих:

«Всякая старинная вещица приводила его в безграничный восторг, независимо от ее археологического значения.

— Посмотрите, ведь это медный шандал XVII века, — говорил он, выхватывая с полки какую-то позеленевшую плошку. — Ведь если это почистить — вещице цены не будет. А вот это шитье тоже XVII века. Взгляните, даже кусок старинного кружева сохранился.

Больше всего занимали Лескова произведения старинного искусства.

— Ведь это Боровиковский! — восклицал он, отыскав в хламе какой-нибудь почерневший холст. — Вещь недоконченная, но манера Боровиковского сейчас видна.

И он принимался торговать находку и торговал долго, до тех пор, пока не высылали ему из «Русского вестника» значительную сумму денег. Тогда он покупал Боровиковского и приобщал его к своей картинной галерее. <...>

— Да разве Боровиковский такая необъятная величина? — спросил я раз.

Лесков посмотрел на меня желчно сверкнувшими глазами, передернул плечами и несколько дней не говорил со мною»<sup>761</sup>.

Он заказывал меховые шапки с козырьком, как у дьяконов, жилеты фасона 1820-х годов, а однажды сшил себе из старинной парчи куртку, чтобы поражать воображение издателей и брать подороже, уточнял язвительный Терпигорев и добавлял, что в кабинете у Лескова есть «настоящий венецианский флакон, а в нем египетская тьма, которую с большой для себя опасностью вывез известный Марко Поло», а на отдельной полочке лежит «зуб Бориса и Глеба»<sup>762</sup>.

Недаром многим кабинет этот — с картинами, иконами, артефактами и мольбертом, на котором стоял портрет «молодой, красивой женщины» (возможно, Екатерины Степановны Бубновой), — напоминал музей<sup>763</sup>. Сам Лесков говорил, что не может работать в «комнате с голыми стенами»<sup>764</sup>.

Но Лесков любил диковинки — языковые, вещественные, человеческие — не только как эстет и художник; в последней части жизни они заполняли обваливавшуюся на него пустоту.

## Разрыв

В августе 1877 года случилось неизбежное: Лесков разъехался с Екатериной Степановной, с которой провел бок о бок около тринадцати лет. Взаимное недовольство росло давно; как ни тяжел был характер Лескова, вероятно, и Екатерина Степановна умела быть нестигаемой.

А. Н. Лесков приводит дневниковую запись, сделанную 26 февраля 1871 года «дядей Васей» — Василием Семеновичем Лесковым, родным братом писателя, человеком прямодушным и добрым, некоторое время жившим в его квартире на Фурштатской. Запись эта отчасти позволяет понять характер Екатерины Степановны: «За обедом между Николаем и Катериною Степановною произошла какая-то вспышка, в которой Николай, по моему мнению, не виноват. Смотрю я, смотрю на сию... Катерину Степановну и никак не могу уяснить себе: что “оно” такое? По-своему добрая, довольно последовательная в том, что себе зарубит (упертая), и всячески бестолковая. Это тип малороссийской “жинки”, которая не боится своего “чоловика”. Особенно интересна она с своею манерой говорить “высоким слогом” и пускаться в рассуждения... Но тем не менее в ней есть стороны, которых нельзя не уважать: она прекрасная (по-своему) мать, хорошая и заботливая хозяйка, что тоже не вздор; и потом она очень правдива — пункт, в котором она сильно расходится с Николаем, который врет много и часто вовсе без нужды и цели. Я ставлю себя в ее положение и нахожу, что действительно ужасно любить человека, жить с ним и не быть уверенным в том, что вот то, что он рассказывает в данную минуту — правда или нет?»<sup>765</sup>

Судя по всему, Екатерине Степановне хватило чувства собственного достоинства, чтобы отказаться терпеть неиз-

бежные унижения, которые сопровождали многих близко сходявшихся с Лесковым. В жизнеописании отца Андрей Николаевич говорит об этом: «...довольно было кому-нибудь уронить чайную ложечку, капнуть вареньем на скатерть, задеть сапогом ножку стола, как разражались гром и молния. Разгневанный глава семьи, взяв свой стакан чая, оскорбленно покидал стол, лампы, всех собравшихся за ними и удалялся в свой давно манивший его уединенный кабинет»<sup>766</sup>. Но после окончательного расставания, а особенно после отъезда Екатерины Степановны из Петербурга в Киев в июне 1879 года Лесков остро скучал по ней, повторял ее детям, что любил в своей жизни лишь эту женщину. И всё мечтал, как однажды подарит ей билет на поезд, она вернется и будет приходить к нему вечерами со своей дочерью Верой: «Катерина Степановна любит читать, а я бы слушал, и было бы отлично».

Как выразился по похожему поводу сын Екатерины Степановны Николай, фантазии эти не носили на себе «штемпеля действительности». Обычно он был склонен к взвешенным формулировкам, но однажды в письме, poslanном 29 мая 1885 года матери, находившейся в тот момент в Париже, всё-таки, не выдержав, отозвался об «отчине» весьма нелестно: «Николай Семенович стареет и нервничает, причем, конечно, чаще всего никто, кроме его самого, виноват не бывает. Он ужасно интересуется Вашим возвращением в Россию, от которого он почему-то ожидает какого-то необыкновенного для себя облегчения и счастья. Он какой-то психопат, и я замечаю, что это большое счастье, что в последнее время нам не пришлось жить с ним вместе: такой пример вреден для молодых развивающихся характеров»<sup>767</sup>.

Излагая эти соображения, Николай Михайлович, кажется, подзабыл, что один «молодой развивающийся характер» всё последнее время пребывал с «психопатом» почти неотступно и «вред» получал в избытке — это был, конечно, младший брат Дрона. Но его Бубновы недолюбливали — возможно, не только завидуя его близости к матери, но и из материальных соображений; по предположению, высказанному супругой А. Н. Лескова Ольгой Ивановной, урожденной Лаунерт, они «ревниво оберегали материнское добро»<sup>768</sup>. Как он переживал разъезд родителей, Андрей Николаевич довольно подробно пишет в своей книге, впрочем, заслоняясь цитатами из неоконченного отцовского автобиографического очерка «Явление духа»,

где действует чуткий, умный и страдающий из-за родительского разлада мальчик Егорушка, чем-то напоминающий рано повзрослевших детей в прозе Достоевского. Вот как о роковом дне рассказывается в «Явлении духа», написанном по свежим следам от пережитого:

«Настал день развязки... Помню этот день — холодный, сиверский, но ясный и суровый. Мы встали часом ранее обыкновенного и всею семьею пили вместе наш последний общий утренний чай. Я был в каком-то одеревенелом состоянии: в душе моей было холодно, — сердце ныло; но я был крепок... А что будет потом — впереди? — об этом я не хотел, да и не мог думать. Счастье мое было разбито, а затем мне было всё равно, что даст Бог. Пришли от Сухаревой рабочие, нанятые переносить мебели... Они должны были разнести по разным домам вещи, которые, мне казалось, *состоялись* вместе, как сживаются люди, и теперь должны были разлучиться: “это туда — это сюда”. Такие указания делала *она*, я не мог их делать и даже был очень рад, когда рабочие уносили ту или другую из моих вещей в ее квартиру: пусть она идет туда, думалось мне, и казалось, что в каждой этакой, мною нажитой и сбереженной, безделушке там останется какая-то частичка моей души. Наконец это кончилось — нас разнесли, квартира опустела»<sup>769</sup>.

Как получилось, что и в жизни сын остался с отцом? Андрей Николаевич признавался: «Хотя исподволь я и был подготовлен ко всему и успел почти свыкнуться с тем, что останусь при отце, но еще не мог, да и до сих пор не могу разобраться, как это так вышло. Особенно это начало удивлять меня, когда, уже после смерти и отца, и матери, довелось прочесть многие письма и узнать, как опасался отец неизбежно грозившей ему при разрыве разлуки со мной. Затрагивать этот вопрос я никогда не решался. Он был всем нам троим слишком болезненным, незаживляющею раной, касаться которой всегда было страшно. Ключ к нему потеряян, взят могилой. Уступила ли мать настояниям отца, испугавшегося на пятом десятке лет нового, полного одиночества, или, истратив всё, когда-то большое, чувство к отцу, оскудела им и к ребенку? У нее оставалось еще четверо уже подрастающих детей, от человека, не давшего ей счастья, но и не прошедшего через испытания последних двенадцати лет. Борьба, очевидно, шла сыздали. Но она раскрылась мне, когда уже и сам я, матримониально, “вкушая, вкусих мало меду”»<sup>770</sup>. Судя по воспоминаниям О. И. Лаунерт, ее

супруг всё же задал матери больной вопрос и та ответила просто: «Думала, что тебе с ним будет лучше»<sup>771</sup>.

Спустя годы, когда семейные страсти остыли, в последний день февраля 1893-го Лесков писал своей доброй знакомой, писательнице Лидии Ивановне Веселитской:

«Расставшись с Вами, я долго продумал о том, что говорил Вам о себе, по поводу моего одиночества, и нашел, что Вы правее меня: действительно, мне “только так кажется, что я мог бы быть счастливее в семье”. На самом деле центр моих симпатий всё ложился бы за чертами семейственности. Хуже это или лучше? Или хорошо всё, что дано? Верно, так. Эпиктет\* понимал это, когда говорил: “Твое дело хорошо сыграть свою роль на сцене мира, а пьеса написана не тобою”»<sup>772</sup>.

В пьесе, написанной не им, он должен был сыграть роль человека несемейного, печального одиночки, вечно стремящегося к домашнему теплу, к людям и вечно отталкивающего их от себя.

Весной 1877 года Дрона поступил в военную «милютинскую» гимназию, или Николаевский кадетский корпус\*\*, который давал воспитанникам среднее образование, а вместе с тем готовил их к воинской службе. Почему именно военное поприще избрал Николай Семенович для сына, понять сложно. Сохранившееся в семейных преданиях объяснение звучит странно:

«— Объясните мне, пожалуйста, как это — ты, полковник и военный педагог, отдал сыновей в гражданскую школу, а ты, работник Министерства народного просвещения, своего в военную? — спросил как-то раз муж его тетки Натальи Луциан Ильич своих родственников о выборе для их сыновей.

— Да это, дядя, вполне естественно: каждый побоялся отдать своего в ту, которую он лучше знает, — отвечал Лесков»<sup>773</sup>.

Екатерина Степановна этот выбор не одобряла, но Лесков настоял на своем. Было ли право голоса у самого Дро-

---

\* *Эпиктет* (около 50 — около 138) — римский философ-стоик.

\*\* При Александре II в 1862—1866 годах по инициативе военного министра Д. А. Милютина кадетские корпуса были преобразованы в военные гимназии, а в 1882-м снова стали корпусами.

ны? Непохоже. И он стал военным, полжизни прослужил в погранвойсках, хотя, видимо, мечтал о совсем другой стезе, но признаться в этом решился лишь после смерти отца его младшему приятелю Чехову. Мы еще коснемся этой загадочной отлучки с военной дороги, из которой всё равно ничего не вышло.

Пока же узелок будущей военной карьеры только завязывался. Отец и сын поселились вместе в «холостом жилье» — в доходном доме купца Семенова на углу Коломенской улицы и Кузнечного переулка. Жилье оказалось сырым, и уже через месяц они переехали в другое — в дом 61 (сейчас — дом 63) на Невском проспекте, немногим лучше: «...квартира была “фонарь”»: слева холодная лестница, справа ворота на “черный” двор, две комнаты на первый двор, одна проходная и темная, с окном в подворотню, одна комната и кухня на второй двор. Внизу нежилой подвал. Кругом ветер, холод, нигде ни луча солнца, да в сущности и света. Но всё же получше первой и ближе к гимназии»<sup>774</sup>.

Мир между 46-летним отцом и одиннадцатилетним сыном пока тянулся; Андрей, вмиг повзрослев, помогал Николаю Семеновичу с расчетом средств на хозяйственные нужды, ощущал себя «домоблюстителем» и другом, значимым, необходимым. Всё оборвалось с первым же занесенным в его дневник замечанием о невнимательности на уроке французского. Трепещущий Дрона нарочно дал дневник отцу на подпись в последний момент, утром в понедельник, перед уходом в гимназию, надеясь проскочить. Не проскочил:

«С полным доверием обмакнув перо, чтобы подписать всегда благонравную во всём тетрадку, отец вдруг резко вскинул голову и, пронзив меня гневным взглядом, жестко бросил:

— Это что? Невнимание, бездельничать в классе! За этим тебя отдавали в гимназию? Дуняша! Дуняша! Сбегайте к дворникам и принесите из метлы пучок прутьев. Только скорее...

Попытка вымолить прощение и горячая защита простой женщины только повысили раздраженность.

Я был наказан грубо и необузданно. Обида залила душу.

Хорош домоблюститель и наперсник, которого в любую минуту можно отстегать, как щенка, и выдать всем на позор и посмеяние. И эта дружба, сердечная близость, в которую я так слепо, благодарно и любовно начинал верить!»<sup>775</sup>



В прозе Лесков с отвращением и гневом вспоминал телесные наказания собственных гимназических лет. В «Житии одной бабы» он со злой усмешкой цитировал изуверскую шутку инспектора орловской гимназии Петра Андреевича Азбукина, произносимую, когда тот отправлял ученика в «канцелярию» к сторожу-экзекутору: «Пойдем, мы с Леоновым *восписуем* ты»<sup>\*776</sup>. С горечью писал Лесков и о дворянах, которые завели моду сечь детей. Он, посвятивший последний свой текст, так и не опубликованный, вопросу о наказании розгами мужиков<sup>777</sup>, не задумываясь поступил с сыном так, как когда-то поступали с ним самим. И хотя больше подобных сцен в воспоминаниях его сына нет, очевидно, они случались еще не раз; о том, что отец бил Дрону, свидетельствовали и другие родственники.

### По поводу Достоевского

Двадцать восьмого января 1881 года умер Достоевский. На следующий день после его кончины вышел последний, январский, выпуск «Дневника писателя», в котором автор прославлял религиозный дух русского народа.

Никогда они не были близки, но всегда шли рядом. Недаром в ранние годы Лесков публиковался в «почвеннических» «Времени» и «Эпохе» Федора Михайловича и его брата. В их позициях было немало общего: обоих писателей интересовали народная вера и судьба христианства в современном мире; оба не любили революционеров и почти одновременно написали романы, проникнутые отвращением к нигилизму, социализму и политическому мошенничеству. И автор «Бесов», и автор «На ножах» не сомневались: нигилисты привели Россию на край бездны<sup>778</sup>. Оба были мистики, живо интересовались спиритизмом; по наблюдению критика Михаила Протопопова, и того и другого занимали отклонения от нормы.

В последний день января Лесков, преодолевая нездоровье, поехал на вынос тела Достоевского из квартиры в Кузнечном переулке и проводил гроб до ворот Александр-Невской лавры<sup>779</sup>. День выдался пасмурным, но безветренным, для зимы очень теплым — два градуса выше нуля. Было огромное стечение народа, 67 венков, 15 церковных

---

\* Каламбур обыгрывает церковнославянское выражение из кондака Богородице «восписуем Ти» — «воспеваем Тебя».

хоров пели во время несения гроба, потоки поклонников текли по улице. Лавра не могла вместить и малой их части. У ворот монастыря случилась давка, и вскоре желавших проститься перестали пускать. Даже вдову писателя Анну Григорьевну сначала не узнали и чуть не оставили за оградой. Лескова не пропустили, на отпевание он так и не попал.

В тот же вечер его посетила незнакомая, дорого и изящно одетая дама, видевшая его на похоронах. Она приехала к нему как к наставнику, как прежде приезжала к Достоевскому, и тот был с ней, по ее словам, первый раз груб, второй — мягок. Дама, пожелавшая сохранить анонимность, попросила Лескова о совете, очень личном: много лет она изменяла мужу, от которого имела детей, и не знала, сообщить ли ему об измене или молчать. Совет она получила: ничего не рушить, а однажды, когда станет совсем уж невмоготу, просто молча уйти. Лесков пишет, что его посетительница исполнила эту рекомендацию в точности, только «молчаливый уход» ее обернулся трагедией — после внезапной смерти ребенка она покончила с собой.

Что в этой истории вымысел, а что правда, не узнать — Лесков набросал очерк много лет спустя после описываемых событий, в 1890 году, но, вероятно, считал его неоконченным; во всяком случае, опубликован текст был только после его смерти, в журнале «Нива»<sup>780</sup>. Интересно, что рамками, подходящими для обсуждения проклятого семейного вопроса и рассказа о несчастной женской судьбе, Лесков счел, с одной стороны, похороны Достоевского, с другой — повесть Толстого «Крейцерова соната». Очерк в первоначальном варианте назывался «Дама с похорон Достоевского», второе и окончательное название — «По поводу “Крейцеровой сонаты”», с текстом которой Лесков познакомился еще до публикации, по литографскому оттиску.

В очерке Лескова Достоевский предстает мудрецом и советчиком, а сам автор — неожиданно для себя — его наследником в деле помощи запутавшимся дамам.

В реальности никто в Лескове наследника Достоевского не видел; наоборот, вскоре после похорон ему приписали анонимный и крайне недоброжелательный очерк о покойном, вышедший в «Петербургской газете». Слух, что некролог этот принадлежит перу Лескова, исходил из редакции «Нового времени». В ночь на 3 февраля Лесков написал Суворину подробное объяснение:

«Уважаемый Алексей Сергеевич!

Не осудите меня за неодолимое желание написать Вам несколько строк по поводу обстоятельства, которое сильно меня огорчило. К удивлению моему, мне сказали, что мне приписывают какую-то заметку о Ф. М. Достоевском, напечатанную в “Петербургской газете”. Я ее не видал и о сю пору не знаю ее содержания, а потому и не обратил на эти слова внимания, но потом пришел Лейкин\* и сказал, что и Вы тоже имеете такую уверенность, которую он, однако, поколебал в Вас, назвав Вам настоящего автора. Значит, Вы считали возможным, что я, написав статью против покойного, потом пришел к нему в дом и шел за его гробом... Это ужасно! Зачем Вы сочли меня способным на такую низость? Какой повод я дал для этого всего моего не бесчестною жизнью? <...> О Достоевском я имею свои понятия, может быть, не совсем согласные с Вашими (то есть не во всём), но я его уважал и имею тому доказательства. Я бывал в критических обстоятельствах (о которых и Вы частью знаете), но у меня никогда не хватило духу напомнить ему о некотором долге, для меня не совсем пустом (весь гонорар за “Леди Макбет”). Вексель этот так и завалился. Я знал, что требование денег его огорчит и встревожит, и не требовал. И вот, едва он умирает, как мне приписывают статью против него...»<sup>781</sup>

На самом деле напомнить Достоевскому о гонораре за «Леди Макбет...» у Лескова хватило духа по крайней мере дважды: сразу после выхода очерка в свет и спустя полгода<sup>782</sup>; правда, после этого он должника уже не тревожил.

Прощенный, но так никогда и не забытый долг вспомнился Лескову 16 лет спустя как очевидное доказательство почтения к покойному. Неужели у него не было других доказательств? Возможно, столь же убедительных — нет.

История их отношений не была простой. Сотрудничество во «Времени» и «Эпохе» продолжалось недолго, и, хотя каждый из них внимательно следил за тем, что делал другой, к сближению это не привело. Похоже, они друг друга попросту недолюбливали<sup>783</sup>. Совершенно точно Лескову Достоевский казался переоцененным автором, а крупные его вещи — искусственными и вымученными. Можно предположить, что не обошлось и без писатель-

---

\* *Николай Александрович Лейкин* (1841—1906) — писатель, журналист, издатель юмористического еженедельника «Осколки».

ской ревности: слава Достоевского была огромной и после его смерти только росла. Лесков по этому поводу говорил Фаресову с очевидной досадой: «И что эта за манера у современных критиков... начинать свою деятельность пробой над Достоевским. В мое время силомером был Гоголь, а теперь — Достоевский: точно силомер он на Царицыном лугу. Каждый дурак подойдет к силомеру, стукнет дубинкой по доске и глядит, как высоко взлетело кольцо по шесту. Неужели кроме Достоевского не о чем писать теперь людям? Писатель, который жив, печатается и читается, не заслуживает их внимания»<sup>784</sup>. Но для того чтобы оценить «писателя, который был жив», требовалась слишком тонкая читательская настройка.

Как мы помним, в 1873 году Достоевский откликнулся на «Запечатленного ангела». Внимание одного из самых знаменитых и признанных писателей современности можно было бы считать удачей, тем более что отзыв был одобрительный, но Лесков обиделся: Достоевский пенял ему за неловкий финал повести — обращение артели каменщиков-старообрядцев в официальное православие и рациональное объяснение чуда. Лесков и сам впоследствии признавал, что написал такую концовку под влиянием Каткова, но сразу после отклика Достоевского не удержался и напечатал в газете «Русский мир» заметки «О певческой ливрее» (под псевдонимом Псаломщик) и «Холостые понятия о женатом монахе» (подписанную «свещ. П. Касторский»), где указывал на «невежество» рецензента в описании церковного быта и духовенства. В ответ он предсказуемо получил сокрушительный разгром: Достоевский в «Дневнике писателя» отозвался заметкой «Ряженный», укорив оппонента в мелочности придира и попутно подчеркнув, что их расхождения гораздо более глубокие, чем неточности в изображении церковного быта, и лежат в области эстетической.

Дав понять, что прекрасно знает, кто скрывается за псевдонимом «Свещ. П. Касторский» (но Лесков, вступая в литературную игру, особенно и не маскировался\*), Достоевский пишет: «Во-первых, г-н ряженный, у Вас пересолено.

---

\* Лесков дал обеим заметкам витиеватые названия в своей мгновенно узнаваемой манере; подпись «Свещ. П. Касторский» тоже выглядела как очевидный псевдоним, указывавший, какое именно действие должен оказать текст на желудок оппонента.

Знаете ли Вы, что значит говорить эссенциями? Нет? Я Вам сейчас объясню. Современный “писатель-художник”, дающий типы и отмежевывающий себе какую-нибудь в литературе специальность (ну, выставяль купцов, мужиков и проч.), обыкновенно ходит всю жизнь с карандашом и с тетрадкой, подслушивает и записывает характерные словечки; кончает тем, что наберет несколько сот номеров характерных словечек. Начинает потом роман, и чуть заговорит у него купец или духовное лицо, — он и начинает подбирать ему речь из тетрадки по записанному. Читатели хохочут и хвалят, и уж кажется бы верно: дословно с натуры записано, но оказывается, что хуже лжи, именно потому, что купец али солдат в романе говорят только *эссенциями*, то есть как никогда ни один купец и ни один солдат не говорит в натуре. Он, например, в натуре скажет такую-то, записанную Вами от него же фразу, из десяти фраз в одиннадцатую. Одиннадцатое словечко характерно и безобразно, а десять словечек перед тем ничего, как и у всех людей. А у типиста-художника он говорит характерностями сплошь, по записанному, — и выходит неправда. Выведенный тип говорит *как по книге*. Публика хвалит, ну а опытного, старого литератора не надуете»<sup>785</sup>.

Как видим, Достоевский полагал, что концентрация характерных словечек в речи персонажей ни к чему; такая «типичность» его раздражала. Для Лескова, считавшего умение слышать и передавать на письме народную речь одним из основных своих достижений, это была довольно чувствительная колкость. Он говорил А. И. Фаресову, что собирал народный язык «по словечкам, по пословицам и отдельным выражениям, схваченным на лету в толпе, на барках, в рекрутских присутствиях и монастырях»: «Я внимательно и много лет прислушивался к выговору и произношению русских людей на разных ступенях их социального положения. Они все говорят у меня *по-своему*, а не по-литературному. Усвоить литератору обывательский язык и его живую речь труднее, чем книжный. Вот почему у нас мало художников слога, т. е. владеющих живою, а не литературной речью»<sup>786</sup>.

Сразу на «Ряженого» Лесков не откликнулся, но точку в споре всё-таки поставил — уже после смерти оппонента, в статье «Граф Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский как ересиархи (Религия страха и религия любви)» (1883). Он защищал обоих писателей от К. Н. Леонтьева, который в книге «Наши новые христиане» (1882) с ортодоксальных позиций

обвинял их в «одностороннем», «сентиментальном, или розовом» христианстве. Леонтьева особенно раздражала мысль Достоевского, прозвучавшая 8 июня 1880 года в знаменитой речи на Пушкинском празднике, — о «всевропейском и всемирном» назначении русского человека. «Космополитическая любовь» к европейцу и вера в будущее блаженство всех народов и были, по Леонтьеву, двумя основными ересями писателя. Лесков возражал:

«Само христианство было бы тщетным и бесполезным, если бы оно не содействовало умножению в людях добра, правды и мира. Если так, то любвеобильные мечты Достоевского, хотя бы, в конце концов, они оказались иллюзиями, всё-таки имеют более практического смысла и плодотворного значения, чем зубовный скрежет г. Леонтьева»<sup>787</sup>.

Провозгласив Достоевского проповедником христианской любви, Лесков неожиданно сделал к статье примечание:

«Пишущий эти строки знал лично Ф. М. Достоевского и имел неоднократно поводы заключать, что этому даровитейшему человеку, страстно любившему касаться вопросов веры, в значительной степени недоставало начитанности в духовной литературе, с которою он начал свое знакомство в довольно поздние годы жизни, и по кипучей страстности своих симпатий не находил в себе спокойности для внимательного и беспристрастного ее изучения».

Несложно увидеть здесь отзвук старой полемики 1873 года, когда каждый из авторов отстаивал свою компетентность в церковной и религиозной сфере.

Прошло несколько лет. Ядовитый спор больше не возобновлялся и будто бы отошел в прошлое. Как мы помним, в феврале 1876 года Лесков и Достоевский вместе общались с духом на спиритическом сеансе в доме Аксакова. В «Русском вестнике» подходила к концу публикация «Анны Карениной», безмерно понравившейся Лескову. Сочувственно откликнулся на роман и Достоевский (впервые в «Дневнике писателя» за февраль 1877 года).

Прочитав его размышления о героях Толстого, Лесков схватился за перо и написал давнему оппоненту краткое, но горячее послание — без обращения, без вступления, словно бы продолжая никогда не прерывавшийся разговор:

«Ночь на 7 марта 1877 г., Петербург.

Сказанное по поводу “негодяя Стивы” и “чистого сердцем Левина” так хорошо — чисто, благородно, умно и прозорливо, что я не могу удержаться от потребности сказать Вам горячее спасибо и душевный привет. Дух Ваш прекрасен — иначе он не разобрал бы этого *так*. Это анализ *умной души*, а не головы.

Всегда Вас почитающий

Н. Лесков».

Ответа, судя по всему, не последовало. Дружески, почти сентиментально протянутая рука повисла в пустоте.

Спустя четыре года Лесков шел за мертвым телом, которое покинули и прекрасный дух, и умная душа.

А вскоре выяснилось, что его диалог с Достоевским продолжается — и не только в очерке о посещении «похоронной дамы» и антилеонтьевской статье.

Еще в 1881 году Лесков опубликовал в газете «Русь» цикл очерков «Обнищеванцы (Религиозное движение в фабричной среде 1861—1881)», взяв эпиграф из «Дневника писателя»: «Нашему народу можно верить, — он стоит того, чтобы ему верили» — и снабдив его длинным пояснением:

«Я очень счастлив, что могу поставить эпиграфом к настоящему очерку приведенные слова недавно почившего собрата. Почет, оказанный Достоевскому, несомненно, свидетельствует, что ему верили люди самых разнообразных положений, а Достоевский уверял, что “нашему народу можно верить”. Покойник утверждал это с задушевною искренностью и не делал исключения ни для каких подразделений народной массы. По его мнению, *весь народ* стоит доверия».

Дальше Лесков пишет, что напрасно иные сортируют народ на худший и лучший, разделяя крестьянство (народ пахотный) и пролетариат (народ фабричный), которому якобы можно доверять гораздо меньше:

«Я думаю, что всё это большая неправда, и она наклеена на наш фабричный народ ложными представлениями о нем фальшивой литературной школы, которая около двадцати лет кряду облыжно рядит нашего фабричного рабочего в шутовской колпак революционного скомороха. Народ, работающий на фабриках и заводах, в смысле заслуженности доверия, это — всё тот же русский народ, стоящий полного доверия, и Достоевский, не сделавши исключения для фабричных, не погрешил против истины»<sup>788</sup>.

Религиозные стремления в фабричной рабочей среде — для Лескова прямое доказательство, что далеко не все в ней готовы примерить шутовской колпак революционера.

Склонив голову перед покойным коллегой в «Обнищаванцах», в другом месте Лесков беспощадно высмеял ту самую «задушевную искренность», за которую еще недавно его превозносил.

В очерке «О куфельном мужике и проч.» (1886) Лесков подробно разбирает рассказ Толстого «Смерть Ивана Ильича», говорит о народном отношении к умирающему и самой смерти, а затем вспоминает анекдотичный случай из жизни Достоевского, с которым зимой 1875/76 года регулярно встречался у вдовы А. К. Толстого.

Достоевский тогда пытался «воцерковить» поклонницу лорда Редстока Ю. Д. Засецкую, которая к тому же никак не могла взять в толк, отчего русский человек лучше всех, и всё повторяла, что никто ее не научил думать иначе.

«Достоевский промолчал, а Засецкая, обратясь к дамам, продолжала:

— Да, в самом деле, я не вижу, к кому здесь даже идти за научением.

А присутствовавшие дамы ее еще поддержали. Тогда раздраженный Достоевский в гневе воскликнул:

— Не видите, к кому идти за научением! Хорошо! Ступайте же к вашему *куфельному мужику* — он вас научит!

(Вероятно, желая подражать произношению прислуги, Достоевский именно выговорил “куфельному”, а не кухонному.) <...>

— Но чему же он меня в самом деле научит?

— Всему!

— Как *все*му?

— Всему, всему, всему... и тому, чему учит Редсток, и тому, чему учит Мэккэнзи Уоллес и Леруа Болье\*, и еще гораздо больше, чем этому.

Хозяйка возвратилась в свой кабинет и рассказала дамам свое прощание с Достоевским, и те еще более смеялись над данною им командировкою “идти к куфельному мужику”, который “*научит всему*”»<sup>789</sup>.

Так, по мнению Лескова, «задушевная искренность» Достоевского спустя несколько лет обернулась утратой им

---

\* Уоллес Мэккэнзи (Макензи) (1841—1919) — английский журналист, автор двухтомника «Россия» (СПб., 1880). Пьер Поль Леруа-Болье (1843—1886) — французский экономист, автор книг по рабочему вопросу, о женском труде и др.



трезвости. Эксперт в области православия, Лесков всегда претендовал и на компетентный взгляд на народ, на «куфельного» мужика. Ответом на «эксперта» стали не менее едкие слова Лескова в той же статье: «Достоевский был православист, Тургенев — гуманист, Л. Толстой — моралист и христианин-практик».

## Гибель царя

Первого марта 1881 года был приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный Александру II Исполнительным комитетом «Народной воли». После неудачных покушений решено было действовать наверняка: если первая бомба не убьет царя, должен был выступить второй террорист, при новой неудаче — третий.

Император возвращался из Михайловского манежа в Зимний дворец. В третьем часу дня его карета в окружении казаков выехала на набережную Екатерининского канала. За передвижениями кортежа следила Софья Перовская; как только карета оказалась у канала, она махнула белым платком сообщникам Николаю Рысакову, Игнатию Гриневицкому, Ивану Емельянову, выстроившимся вдоль канала друг за другом.

Рысаков бросил бомбу первым, взрыв повредил карету. Его сейчас же схватили, Александр II спросил, кто он такой. Тот представился мещанином Глазовым. Его увели. Несмотря на уговоры охраны немедленно возвращаться в Зимний, император пожелал осмотреть место взрыва. Едва он приблизился к парапету, возле которого стоял Гриневицкий, тот бросил вторую бомбу. Взрывная волна отбросила царя на землю, из раздробленных ног хлестала кровь. Убийца тоже был тяжело ранен. «Несите меня во дворец... там... умереть...» — это были последние слова Александра. Его доставили во дворец, где он вскоре скончался в собственном кабинете.

В эти страшные часы Лесков с сыном был совсем рядом. По мягкой погоде Николай Семенович предложил пройтись. Они шли в направлении Литейного и внезапно услышали, как ухнул взрыв. О том, что случилось дальше, Андрей Николаевич вспоминал так:

«— Здравия желаем, Николай Семенович! — раздалось справа взволнованное приветствие бросившегося нам навстречу швейцара моей матери. — Изволили слышать? Царя, говорят, убили!

— Где?

— На Екатерининском канале, у Марсова поля. Духовника видели? Сейчас промчали в Зимний».

Лесков и сын схватили первого же извозчика и поехали к Театральному мосту, где уже собралась небольшая толпа. Путь преграждало оцепление, но им удалось пройти.

«За оцеплением было довольно свободно. Убитых и раненых людей и лошадей уже не было. Глазам нашим предстало грязноватое месиво: подтаявший, затоптанный, местами зловеще розоватый снег, обломки и мелкая щепа от разбитой кареты, клочья военной и “вольной” одежды, обуви, осколки стекла, обнаженная и разрытая булыжная мостовая, густые кровавые пятна на ней... Ближайшие дома конюшенного ведомства удивленно смотрели с другой стороны канала пустыми глазницами окон. <...>

Немногочисленная публика расхаживала на полной свободе. Более любопытные копались в кучах самых разнообразных предметов или в снегу. Некоторые брали какие-то лоскуты или обломки “на память”. Одна довольно элегантная дама, взяв сгоряча что-то, оказавшееся, или показавшееся ей, оторванным пальцем, дико вскрикнула и зашаталась. Ее заботливо подхватили и бережно увели.

Наглядевшись на все и многого наслушавшись, мы выбрались назад к Мойке и поехали на Дворцовую площадь. Она была залита народом. Говорили, что царь жив и, может быть, еще и поправится. Кто верил, кто качал головой»<sup>790</sup>.

По воспоминаниям другого очевидца, ближе к четырем часам желтый императорский штандарт пополз вниз по флагштоку на фронте дворца. По толпе пронесся горестный вздох, народ снимал шапки, крестился, кто-то бросился на колени, «чей-то бабий голос жалостно закричал: “Кончился наш голубчик, царство ему небесное, dokonали злодеи”»<sup>791</sup>. Но никто не подхватил этого вопля. К вечеру город словно оцепенел, улицы опустели, питейные заведения закрылись. На следующий день в клинику душевных болезней Мержеевского начали поступать пациенты, внешне помешавшиеся от всего увиденного.

О том, как Лесков тем же вечером отозвался на происшедшее, вспоминает Андрей Николаевич: «Огромной важности событие, — говорил за столом отец. — Сколько будет жертв, сколько самоотверженного мученичества! Но верна ли сама тактика? Устрашает ли, вразумляет ли кого-нибудь террор? Не порождает ли он ожесточение, не вызывает ли усиление реакции, репрессий, мести, по которым рас-

плачивается вся страна? Едва ли уцелеет Лорис... Вернее, всё пойдет вспять... Приближенные к необразованному царю — люди невежественные. А тут еще его наставник и учитель его государственной мудрости, ученейший, умный и злонастроенный Победоносцев! Я его хорошо знаю. Он этому царю мои ранние произведения дарил. Это опасный, закоренелый враг всему живому, передовому. Для в науках не зашедшегося человека, как новый царь, — это кладезь государственной мудрости, оракул... Вот где огромная опасность!...»<sup>792</sup>

Ни слова о скорби, ужасе — возможно, их и не было; еще вероятнее, что рассказывать об этом в биографии, писавшейся в сталинское время, было не с руки.

Итак, Лесков почти не сомневался, что цареубийство оборвет эпоху Великих реформ и благие перемены, задуманные министром внутренних дел Михаилом Тариэловичем Лорис-Меликовым, обречены.

Убежденный сторонник прогресса, развития народного образования и наук, Лорис-Меликов считал нужным привлечь к сотрудничеству с правительством более широкие общественные силы, в частности, подключить к законотворчеству представителей земства. Нет, он не предлагал создать парламент и ограничить самодержавие законом, который был бы выше воли монарха, а всего лишь хотел сблизить верховную власть с реальной, живой страной. Проект, вошедший в историю под названием «Конституция Лорис-Меликова», был одобрен сначала лично императором, затем — единогласно — Особым совещанием, на котором присутствовал наследник престола Александр Александрович.

Утром 1 марта государь сообщил Лорис-Меликову, что через четыре дня его проект обсудит Совет министров.

Недолгое время после гибели отца новый император Александр III колебался, к какому лагерю примкнуть. Восторжествовал Победоносцев. Проект Лорис-Меликова был отвергнут, а автор его фактически отставлен. В те дни Лесков купил и поставил на письменный стол портрет уже опального министра и не убирал до самой своей смерти. На ехидные замечания посетителей, что конституция экс-министра была «куцей», Лесков гневно откликнулся: «А победоносцевское правление лучше?»<sup>793</sup>

Сразу после гибели императора С. Н. Шубинский, главный редактор «Исторического вестника», заказал Лескову статью о цареубийстве. Тот согласился и... ничего не смог сочинить:

«Два дня писал и всё разорвал. Статьи написать не могу, и на меня не рассчитывайте. Я не понимаю, что такое пишут, куда гнут и чего желают. В таком хаосе нечего пытаться говорить правду, а остается одно — почтить делом старинный образ “святого молчания”. Я ничего писать не могу»<sup>794</sup>.

Этот отказ значим. Вероятно, Лесков до конца не мог поддержать ни тех, кто требовал немедленной казни террористов (таких было большинство), ни тех, кто им сочувствовал. О смятенном состоянии его духа в тот месяц, возможно, свидетельствует и то, что его писем за март и апрель 1881 года практически не сохранилось, — если только «река времен» таинственным образом не поглотила именно их.

Пока Александр II был жив, Лесков относился к нему скорее с уважением, в публицистике не забывал напоминать о его заслугах, из которых главной была, разумеется, отмена крепостного права. В одной из заметок, опубликованной 24 июня 1862 года, он писал:

«Отчасти даровав, а отчасти готовясь даровать законы, укрепляющие за Россиею свободу религии, суд, свободу слова и право человека, император Александр II сделал больше всех сошедших в могилы правителей Руси, он радовал нас не милостями, которые непрочны, ибо “сердце цареве в руке Божией”, но правами, которых у нас уже никто не отнимет и за которые мы ему нелицемерно благодарны и не понимаем никакого прогресса без народа, обязанного Царю волею и льготами, и без Царя, любимого народом за вольности и льготы»<sup>795</sup>.

И тем не менее в путевых заметках «Из одного дорожного дневника» он не упустил случая рассказать, как проходила царская охота в Беловежской Пуще, когда император практически расстреливал несчастных животных. Августейшее внимание к «Запечатленному ангелу» Лескову, вероятно, было лестно, но знакомиться с царской семьей он не пожелал и, кажется, теплых личных чувств к Александру II не испытывал. Немудрено: к началу 1880-х годов Лесков уже не сомневался, что государство — зло.

## **О блохах, англичанах и русском характере**

Долго ли еще осталось? Читающие старомодную бумажную версию книги, в отличие от листающих страницы на экране гаджета, видят: не очень. Мы медленно прибли-

жаемся к развязке, как наш герой — к бессмертию. Скоро, с конца 1880-х и до начала 1890-х годов, чуть ли не в каждом письме близким Лесков будет писать о смерти, о ее неизбежности. Говорить об этом он начнет уже в то время, когда от смерти, если понимать под ней забвение, будет спасен. Можно сказать, навсегда.

Его уберегла история о косом и леворуком тульском мастере, который с товарищами сумел подковать сделанную англичанами механическую блоху, а потом, как часто случается в России, погиб ни за что. На этот раз вечно двоящаяся мысль Лескова сослужила ему добрую службу. Написав соленую до горечи сказку с плохим концом, он сохранил для читателя возможность интерпретировать ее как словословие русскому мастерству и смекалке. И спустя полвека самые важные читатели советской эпохи — те, что раздавали ордена и расставляли всех по полочкам возводимой ими этажерки, — устремились в приоткрытую дверь и прославили сказ как «апофеоз талантливости русского человека, который “всё может”»<sup>796</sup>. «Левша»\* вошел в школьные хрестоматии и учебники и на долгие годы стал самым переиздаваемым, изучаемым, экранизируемым текстом Лескова.

Вчерне сказ был закончен в начале мая 1881 года.

В марте и апреле тема цареубийства была главной — и в разговорах, и на страницах периодики, и в слухах<sup>797</sup>. Газеты и журналы еще долго публиковали горестные колонки, воспоминания о погибшем императоре, перечисляли его заслуги и, конечно, проклинали убийц, которых ждала неминуемая позорная казнь.

В эти тягостные, смятенные дни, 28 марта, тогда еще совсем молодой философ и профессор Владимир Сергеевич Соловьев прочитал публичную лекцию о несовместимости смертной казни с учением Христа. Осудив террористов за насилие, Соловьев призвал нового императора удалить цареубийц из общества, но всё же помиловать их. Едва он сказал об этом, на мгновение в зале повисла мертвая тишина — и тотчас же была разорвана выкриком: «Тебя первого казнить, изменник!» После этого Соловьев лишился права на публичные выступления. Однако многие приняли его

---

\* Во всех прижизненных изданиях Лескова прозвище главного героя в названии сказа пишется с заглавной буквы, а в тексте — со строчной. Со временем оно стало восприниматься как имя собственное, поэтому мы будем использовать вариант написания с заглавной буквы, за исключением цитат, и иногда заменять название «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» на «Левша».

сторону; судя по воспоминаниям Андрея Николаевича Лескова, среди них был и его отец. Но близкое знакомство и общение Лескова и Соловьева были еще впереди.

В начале апреля пятерых народовольцев повесили. Впервые в истории российского самодержавия публичной казни за политическое преступление подверглась женщина — дочь бывшего петербургского губернатора Софья Перовская, после ареста Андрея Желябова лично руководившая царевубийством.

Покорившись, Александр III сделал выбор в пользу укрепления монархии, отвергнув дорогую его отцу и Лорис-Меликову идею о необходимости прислушиваться к голосу общества. Россия сделала еще один шаг к катастрофе 1917 года.

Двадцать девятого апреля был опубликован высочайший манифест, позднее названный Манифестом о незыблемости самодержавия, составленный обер-прокурором Святейшего синода Константином Петровичем Победоносцевым: «... посреди великой Нашей скорби Глас Божий повелевает Нам стать бодро на дело Правления в уповании на Божественный Промысел, с верою в силу и истину Самодержавной Власти, которую Мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений. Посвящая Себя великому Нашему служению, Мы призываем всех верных подданных наших служить Нам и Государству верой и правдой к искоренению гнусной крамолы, позорящей землю Русскую, — к утверждению веры и нравственности, — к доброму воспитанию детей, — к истреблению неправды и хищения, — к водворению порядка и правды в действии учреждений, дарованных России Благодетелем ея, Возлюбленным Нашим Родителем...»<sup>798</sup>

Колдун одной рукой кадил,  
И струйкой синей и кудрявой  
Курился росный ладан... Но  
Он клал другой рукой костлявой  
Живые души под сукно, —

так в поэме «Возмездие» Александр Блок охарактеризовал Победоносцева, сравнив его с совой, простершей крыла над Россией и погрузившей ее в сон и мглу.

После выхода Манифеста о «силе и истине» самодержавия Катков ликовал в «Московских ведомостях»: «Теперь мы можем вздохнуть свободно. Конец малодушию, конец всякой смуте мнений! Перед этим непререкаемым, перед

этим столь твердым, столь решительным словом Монарха должна наконец поникнуть многоглавая гидра обмана. Как манна небесной народное чувство ждало этого царственного слова. В нем наше спасение; оно возвращает русскому народу Царя Самодержавного».

Четвертого мая была принята отставка Лорис-Меликова.

Спустя неделю после всех этих невеселых перемен, 12 мая, Лесков писал Ивану Сергеевичу Аксакову, что, выполняя давнее обещание, данное писательнице и переводчице Елизавете Николаевне Ахматовой, сочинил для ее альманаха небольшую вещь:

«Начал ей писать на всё своем произволе маленькую штучку в 2 листа и вдруг облюбавал это и порешил скрасть это у нее и отдать Вам, а ей написать что-либо побабственнее... Написалось у меня живо и юмористично три маленькие очерка (все вместе в 2 листа) под одним общим заглавием: "Исторические характеры в баснословных сказаниях нового сложения". Это картины народного творчества об императорах: Николае I, Александре II и Александре III (хозяйственном). Всё это очень живо, очень смешно и полно движения. Словом, это всем, кому читал, нравится, и, по-моему, я вряд ли напишу лучше, тем более что мне некогда, а Вы можете это провести, ибо это не дерзко, а *ласково*, хотя не без некоторой правды в глаза. Короче — это цензурно и необходимо»<sup>799</sup>.

Это признание, скорее всего, связано с появлением «Левши», а также еще одного сказа, «Леон дворецкий сын, застольный хищник» — он-то и был в итоге напечатан в сборнике Ахматовой и относился к современной эпохе: на первых же страницах «Леона...» появился Александр III<sup>800</sup>. Совокупный объем «Левши» и «Леона...» — около трех печатных листов; таким образом, сообщая Аксакову о трех очерках как о завершенном деле, автор сильно опережал события. Третий очерк, «Фараон», он предполагал закончить во время поездки в Малороссию, но не написал его вовсе.

«Левша», как видим, был создан почти случайно; но для потомков именно он оказался главным текстом Лескова. Для самого же автора он стал попыткой объяснить происходящее в России, художественной заменой так и не написанной для «Исторического вестника» Шубинского статьи о царевубийстве. Выражаясь еще прямее, «Левша» — это лесковский ответ на вопрос, за что и почему в России убили царя.

«Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе (цеховая легенда)» впервые был опубликован в трех номерах газеты «Русь» осенью 1881 года<sup>801</sup> и затем еще дважды при жизни автора выходил отдельными книжечками: в 1882 году — в типографии Суворина, в 1894-м — в типографии М. М. Стасюлевича, а значит, был популярен.

Почему Лесков предпочел отдать «Левшу» в аксаковскую «Русь», понятно: ему очень хотелось, чтобы ядреная сказка о русских умельцах, которые без «мелкоскопа» подковали, но в итоге обездвигили английскую блоху, прозвучала именно в славянофильском контексте. Отвращение Аксакова к государственной и церковной бюрократии, складывающей «живые души под сукно», оторванной от тех, кому она призвана служить, Лесков совершенно разделял, но в перспективность союза монархии и народа, в отличие от него, не верил<sup>802</sup>. Несмотря на расхождение во взглядах, Аксаков вслед за очерком Лескова «Обнищеванцы» о народном вероучителе Иване Исаеве напечатал у себя в газете и «Сказ о тульском косом Левше...».

В газетной публикации Лесков выдал легенду о подкованной блохе за народную. В предисловии он писал:

«Во всяком случае сказ о стальной блохе есть специально оружейничья легенда, и она выражает собою гордость русских мастеров ружейного дела. В ней изображается борьба наших мастеров с английскими мастерами, из которой наши вышли победоносно и англичан совершенно посрамили и унизили. Здесь же выясняется некоторая секретная причина военных неудач в Крыму. Я записал эту легенду в Сестрорецке по тамошнему сказу от старого оружейника, тульского выходца, переселившегося на Сестру-реку еще в царствование императора Александра Первого»<sup>803</sup>.

Уже здесь скрыто противоречие: с одной стороны, «наши» «посрамили и унизили англичан», с другой — потерпели от них поражение в Крымской войне. Кто здесь охотник, кто добыча? Кто кому показал кукиш? То есть кукиш-то показал Лесков, но кому?

Почти все рецензенты, откликнувшиеся на сказ<sup>804</sup>, поверили, что перед ними реальная легенда оружейников, но «принизил» автор русский народ или «польстил» ему, разобратся всё-таки не могли<sup>805</sup>. Ближе всех к разгадке оказался критик из «Вестника Европы»: «Вся сказка как будто предназначена на поддержку теории г. Аксакова о сверхъестественных способностях нашего народа, не нуждающегося в



западной цивилизации, — и вместе с тем заключает в себе весьма злую и меткую сатиру на эту же самую теорию»<sup>806</sup>.

Однако, как вскоре стало ясно, Лесков вступил в диалог не только с Аксаковым, но и с целой литературной традицией. В июне 1882 года в открытом письме в газету «Новое время» он объявил:

«Всё, что есть чисто *народного* в “сказе о тульском левше и стальной блохе”, заключается в следующей шутке или прибаутке: “англичане из стали блоху сделали, а наши туляки ее подковали да им назад отослали”. Более ничего нет “о блохе”, а о “левше” как о герое всей истории ее и о выразителе русского народа, нет никаких народных сказов, и я считаю невозможным, что об нем кто-нибудь “давно слышал”, потому что — приходится признаться — я весь этот рассказ *сочинил* в мае месяце прошлого года, и *левша* есть лицо *мною выдуманное*»<sup>807</sup>.

Андрей Николаевич Лесков в воспоминаниях безоговорочно поддерживает версию «не подслушал, а сам сочинил». Лето 1878 года он провел с отцом в Сестрорецке, «в доме какого-то оружейного мастера, из молодых»:

«За всё лето Лесков вел знакомство только с одним помощником начальника местного оружейного завода полковником Н. Е. Болониным...

Николай Егорович, большой специалист, водил нас по всем цехам, объяснял работу всех станков и водяных двигателей. Завод выпускал вводившуюся тогда во всей армии 4-линейную “берданку”. Отвоевали мы с Турцией в 1877—1878 годах, имея ее только в гвардии и отдельных стрелковых батальонах.

Вечерком Болонин заходил за отцом, и мы втроем шли в Дубки, к морю. Лесков не раз и у него и вообще у кого только было можно доискивался корней ходившего присловья о том, как англичане стальную блоху сделали, а туляки ее подковали да им назад отослали. Все улыбались, подтверждая, что что-то слышали, но что всё это, мол, пустое.

Так “Левша” и остался ничем не обязан лету, проведенному в оружейном поселке, на даче у оружейника. Не было там и никакого “старого тульского выходца”.

Но беседы с Болониным не пропали даром. Николай Егорович на наших вечерних прогулках рассказывал об оружейном искусстве, о варварском обращении с огнестрельным оружием при “Павловичах”, когда пушки отчищались с неумолимой тщательностью и так ярко блестели

на солнце, что надо было жмуриться, глядя на них, а ружья чистились толченым кирпичом или песком и снаружи, и внутри. Все винтики в них держались слегка отпущенными, чтобы при выполнении ружейных приемов, особенно при взятии “на караул” при встрече начальствующих лиц, ружья “стонали” от четкости артикула»<sup>808</sup>.

Профессиональный военный, Андрей Николаевич хорошо понимал, о чем пишет. Мысль Болонина понятна: для военного начальства сияние ружей и пушек было значительно важнее того, как они стреляли. Из приведенных воспоминаний ясно и то, что летом 1878 года, за три без малого года до написания «Левши», Лесков общался с профессиональным оружейником, который, возможно, и в самом деле объяснил ему, что с ружьями в николаевской армии обращались варварски, а значит, победить турецкую армию в 1877—1878 годах удалось почти чудом. Совсем недавно, 19 февраля, был подписан Сан-Стефанский мирный договор с Турцией. Победа России воспринималась как реванш за Крымскую войну, поэтому воспоминания о той проигранной войне также постоянно возникали и в разговорах, и в публицистике.

Встреча с Болониным вполне могла повлиять на замысел Лескова: мы помним, какова была последняя воля Левши:

«Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят; пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся. <...> Государю так и не сказали, и чистка все продолжалась до самой Крымской кампании. В тогдaшнее время как стали ружья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены»<sup>809</sup>.

Из сказанного очевидно пока одно: росток замысла «Сказа о тульском косом Левше...» взошел на военном поле. Как-никак и главный герой его — оружейник. К тому же в предисловии к первой публикации Лесков специально анонсирует, что цеховая легенда раскроет «секретную причину военных неудач в Крыму».

Итак, «Левша» связан с военной темой — и с убийством государя. Это пока всё, что мы можем сказать.

И снова зададимся вопросом: не было ли всё же у Лескова источника, из которого он подхватил эту причудливую, такую задиристую — смесь карамели с солью и перцем — историю? Не оружейничьей легенды, так любого

другого фольклорного или литературного текста — ну, хоть чего-нибудь?

Версии исследователей всё еще множатся, но основных на сегодня три.

Первая, самая старая, принадлежит историку Тульского оружейного завода генерал-майору Сергею Александровичу Зыбину. В 1905 году он опубликовал статью<sup>810</sup>, в которой возвел сюжет «Левши» к реальному эпизоду конца XVIII века: в 1785 году тульский мастер Алексей Михайлович Сурнин отправился в Англию для обучения оружейному мастерству. Но вот знал ли об этом эпизоде Лесков, большой вопрос.

Вторую выдвинула фольклористка Эсфирь Литвин, связав сказ Лескова с циклом народных исторических песен и легенд, сложившихся в связи с Отечественной войной 1812 года, в которых фигурирует атаман Матвей Иванович Платов (1751—1818)<sup>811</sup>. Лесковский насупленный Платов с «грабоватым» носом, в лохматой бурке и с чубуком в зубах, действительно напоминает героя кукольного театра или исторической песни, что часто почти одно и то же. Но на фольклорного, в песнях воспетого славного героя и отца казакам лесковский Платов всё-таки совсем не похож. Своему персонажу Лесков придал черты безжалостного российского аппаратчика, с живыми людьми церемониться не привыкшего; Левша, которому Платов не позволил взять с собой в путешествие «тугамент», в конечном счете из-за этого и погиб — его, беспаспортного, ни в одну больницу принимать не хотели.

Версию третью высказал филолог Борис Яковлевич Бухштаб, доказав, что прибаутка «Англичане из стали блоху сделали, а наши туляки ее подковали да им назад ото-слали», которую Лесков в своем «литературном объяснении» 1882 года выдает за народную, была придумана самим автором на основе поговорки «Туляки блоху подковали», в подлинности которой сомневаться невозможно — она присутствует в других, более ранних источниках. Бухштаб упоминает также фельетон «Северной пчелы» за 1834 год (№ 78) об умельце Илье Юнице, который делал микро-скопические замочки и ключики к ним «без помощи машины, а просто руками и обыкновенными, грубыми инструментами слесарного ремесла», и предполагает, что фельетон этот мог быть известен Лескову и повлиять на его замысел<sup>812</sup>.

Конечно, могло случиться, что, работая в «Северной пчеле» в начале 1860-х годов, Лесков обнаружил в редакции

номер газеты тридцатилетней давности и заглянул в него. Но с такой же долей вероятности ему могла попасться и переведенная с французского книжечка Бертолотто «История блохи, содержащая в себе весьма любопытные наблюдения над сим насекомым» (1839)<sup>813</sup>. Итальянец, прославившийся обширной коллекцией блох, рассказывал о возможностях и свойствах этих милых зверушек: «В одном сочинении сказано: что видели блох, которые возили маленькую золотую пушку. Другая блоха тащила маленькую золотую цепь, к концу которой была прикреплена пулька; всё вместе весило 1 гран (0,065 грамма. — М. К.)<sup>814</sup>. Бертолотто и сам удивлял публику представлениями с участием блох в Лондоне в 1830 году. Сохранилась афиша: он приглашал на бал, «на котором танцуют дамы-блохи, их партнеры во фраках, а оркестр из двенадцати исполнителей играет слышную блошиную музыку»<sup>815</sup>.

Однако миниатюрная блоха, выделяющая фокусы, могла скакнуть в творческие фантазии Лескова и из других источников<sup>816</sup>. Вполне вероятно, например, что он прочитал о блошином цирке у Диккенса — переводы его ранних сатирических очерков «Мадфогские записки» («Modfog papers»), ранее неизвестных в России, были опубликованы в 1880-м, в десятом номере «Отечественных записок» за полгода до выхода в свет «Левши». Среди очерков Диккенса был и «Подробный отчет о заседаниях первого конгресса мадфогской ассоциации для развития всего», где читался доклад «Несколько замечаний о трудолюбивых блохах, о важности учреждения первоначальных школ для этого многочисленного класса общества, о применении их трудолюбия к полезным и практическим целям и о создании на излишний их заработок постоянного фонда для обеспечения им спокойной и мирной старости».

Автор доклада увидел на выставке самых разных дрессированных блох, в том числе и таких, которые «получили балетное воспитание и танцевали характерные танцы». Докладчик предлагал сделать блох, чей труд дотоле применялся неэффективно, частью «производительных сил страны» и повелеть им служить на пользу государства. Надо сказать, британские ученые мужи обиделись на такое неуважение к их занятиям, своих чувств от Диккенса не скрыли, и в итоге после первой публикации 1837 года он не включал эти очерки в собрания своих сочинений. Вероятность того, что Лесков, всегда чтивший Диккенса, прочел в «Отечественных записках» его очерк, подхватил оттуда блошиный мо-

тив и, что не менее существенно, пародийную форму, довольно высока и уж никак не ниже, чем вероятность чтения им ветхого номера «Северной пчелы».

Представления с блохами в XIX веке проходили не только в Европе, но и в Петербурге. Ясное дело, в них участвовали живые насекомые; стальная блоха-танцовщица, подтверждение индустриальной мощи и технической продвинутости Англии, была придумана Лесковым.

Возможно, на замысел писателя повлияла и популярная, написанная всего за два года до «Левши», песня Модеста Мусоргского «Блоха» на слова из «Фауста» Гёте в переводе Александра Струговщикова:

Жил-был король когда-то.  
При нем блоха жила.  
Блоха! Блоха!  
Милей родного брата  
Она ему была.

.....

Зовет король портного.  
— Послушай, ты, чурбан,  
Для друга дорогого  
Сшей бархатный кафтан!..

Песню эту поет Мефистофель, сопровождая ее сатанинским смехом. Те же стихи положили на музыку и Бетховен, и Берлиоз. Да и гётевского «Фауста» Лесков, конечно, читал и прежде. Тем не менее постоянно исполнявшаяся на рубеже 1870—1880-х годов песня Мусоргского о короле, возвысившем ничтожество, вполне могла подбросить писателю идею. Кончина композитора в марте 1881 года породила серию некрологов и воспоминаний, в которых упоминалась и «Блоха». А значит, песню Мусоргского тоже можно включить в круг гипотетических претекстов «Левши».

Из всего сказанного следует: единственного и внятного источника легенды о Левше, вероятно, вообще не существовало, и на этот раз Лесков, признавшись (хотя и не сразу), что историю о нем сочинил сам, очевидно, сказал правду. Однако это не означает, что мы не можем говорить об информационном облаке, в которое при создании «Левши» был погружен автор.

Самое время рассмотреть еще один важный элемент этого фонового шума. Никакая поездка туляка в Лондон и

фельетон о микроскопических замочках всё-таки не объясняют, отчего Лесков, увлеченный в конце 1870-х — начале 1880-х годов совсем другими темами — русским расколом, религиозными обрядами иудеев<sup>817</sup>, редстокизмом, мелочами и анекдотами из «архиерейской жизни», — написал «цеховую легенду» о тульском мастере-самородке, который увиделся с царем, съездил в Англию, а потом умер. И почему эта легенда написана настолько изощренным извилистым языком, что иногда оказывается на грани пародии? Почему в основе ее лежит точка зрения полуграмотного простолюдина? И отчего Лескова так заинтересовали англичане с их успехами? Видимо, он и сам сознавал всю странность появления легенды о стальной блохе словно бы ниоткуда, потому-то и опубликовал в газете Аксакова предисловие, попытавшись дать хоть какое-то объяснение. Ни одна из обнаруженных нами блох и даже все они вместе не дают удовлетворительного и полного ответа на эти вопросы. Значит, ответ этот скрывается в другом месте.

В первом абзаце сказа Лесков говорит об императоре Александре I, который «окончил венский совет», подведший черту под Наполеоновскими войнами, и «захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть». Это еще один аргумент в пользу предположения, что триггером при сочинении «Левши» скорее всего была военная тема. Вторым повлиявшим на замысел «Левши» обстоятельством стали, как уже говорилось, цареубийство и его политические последствия — взятый Александром III курс на укрепление монархии. Объяснить хаос настоящего, а также прокомментировать путь, избранный новым царем и Победоносцевым, Лескову захотелось с помощью ретроспекции. Подобно тому как Лев Толстой от замысла романа «Декабристы», действие которого в основном должно было происходить в 1850-х годах, перешел к «Войне и миру» о начале XIX века, Лесков попытался, обратившись к прошлому, понять события, современником которых являлся. Он следовал той же логике, что и многие публицисты, в размышлениях о причинах мартовской трагедии анализировавшие не только правление Александра II, но и его предшественников на русском престоле. В этом отношении задуманная Лесковым трилогия о трех царях во многом была калькой с публицистических выступлений весны 1881 года, авторы которых вглядывались в прошлое России, надеясь разгля-

деть корни трагедии<sup>818</sup>. «Как же, — писал О. Ф. Миллер в заметке, вышедшей в «Историческом вестнике» вместо не-написанной лесковской статьи, — не оглянуться назад — на выдающиеся стадии того пути, который привел нас к этой дикой вере, пути, исходною точкою которому в сущности послужила также вера — слепая вера в единую спасающую европейскую цивилизацию? Мы крестились в нее не водой и духом, а кровью и неволею, под влиянием Петровского террора. Кровавым террором началась, кровавым террором и кончилась»<sup>819</sup>.

Лесков соприкоснулся с кровавыми последствиями политических решений именно в эпоху Крымской войны (1853—1856), служа в рекрутском присутствии Казенной палаты.

Служба эта, как мы помним, стала для него источником весьма болезненных переживаний, отчасти описанных в рассказе «Владычный суд» в связи с историей о том, как он помог еврейскому мальчику избежать службы в армии. А скольким помочь он не сумел? Да, он исполнял чужие решения, но всё же принимал непосредственное участие в поставке «пушечного мяса». Возможно, поэтому в своей прозе он вспоминал то время так редко и лишь десятилетия спустя — например, в «Печерских антиках» (1883), где патриотический подъем начала Крымской войны описан с ядовитой иронией:

«Все мы тогда чувствовали себя необыкновенно веселыми и счастливыми, бог весть отчего и почему. Никому и в голову не приходило сомневаться в силе и могуществе родины, исторический горизонт которой казался чист и ясен, как покрывавшее нас безоблачное небо с ярко горящим солнцем. Все как-то смахивали тогда на воробьев последнего тургеневского рассказа: прыгали, на скакивали, и никому в голову не приходило посмотреть, не реет ли где поверху ястреб, а только бойчились и чирикали:

— Мы еще повоюем, чёрт возьми!

Воевать тогда многим ужасно хотелось. Начитанные люди с патриотическою гордостью повторяли фразу, что «Россия — государство военное», и военные люди были в большой моде и пользовались этим не всегда великодушно»<sup>820</sup>.

К крымской теме Лесков вернулся в рассказе «Бесстыдник», в первой редакции вышедшем под названием

«Морской капитан с Сухой Недны. Рассказ *entre chien et loup*\* (Из беседы в кают-компанин)»<sup>821</sup>. Рассказ был, по-видимому, написан в начале 1877 года, незадолго до Русско-турецкой войны, и посвящался богатству натуры русского человека, способного в зависимости от обстоятельств и на героизм, и на воровство.

Можно допустить, что идеологическим контекстом, питавшим замысел «Левши», стали активно продвигаемые официальной печатью представления о России как сильном в военном смысле государстве и о русском народе-чудотворце, которые отливались в чеканные формулы пропагандистской публицистики и поэзии. Этот ура-патриотизм обрушивался на читателя со страниц периодических и книжных изданий во время всех военных конфликтов XIX века, начиная с войны 1812 года. Но особенно бурный поток пропагандистских текстов хлынул в середине 1850-х. Скорее всего, именно агитационная поэзия эпохи Крымской войны и оказала на замысел «Левши» самое непосредственное влияние.

И это не оговорка — повлияла поэзия. Недаром «Левша» с его четким внутренним ритмом, прихотливым языком и даже рифмами («небо тучится, брюхо пучится») напоминает стихотворение. Лесков не зря сомневался, что его сказ можно перевести на иностранные языки<sup>822</sup>. Это «почти стихотворение» во многом опиралось на мифологемы, сложившиеся в патриотических поэтических текстах середины 1850-х годов, когда в победном исходе Восточной войны никто в России не сомневался. Лесков обыгрывает в «Левше» сразу несколько излюбленных мотивов пропагандистских стихов того времени, публиковавшихся в газетах, журналах и тоненьких брошюрах.

Один из них — о нелепости англичан. Именно англичане — на новенького — становились объектом издевок в «крымских» стихах значительно чаще, чем, например, французы, также вошедшие в антиросийскую коалицию (вместе с Османской империей и Сардинским королевством) — возможно, потому что не Франция, а Великобритания играла в ней ведущую роль; кроме того, по представлениям победителей в войне 1812 года, смеяться над

---

\* Между собакой и волком (*букв. фр.*) — идиома, означающая сумерки, когда трудно отличить собаку от волка.



побежденным противником было практически то же, что бить лежачего.

В агитационных российских стихотворениях англичане предстают самонадеянными трусами, которые по большому счету только и умеют глушить спиртное:

Ром, портер, джин — отцов наследство,  
Любимое питье у нас  
И утешительное средство,  
Как поколотят нас подчас!  
Тогда мы тешимся вином,  
Пьем портер, джин, ямайский ром!

.....

Или когда чухонца барку  
На страх врагам мы отобьем,  
На радостях мы хватим чарку,  
Да так уж целый день и пьем!  
Ах, чёрт возьми! кутить начнем!  
У нас есть портер, джин и ром!<sup>823</sup>

В другом стихотворении пьянчужками представлены два знаменитых британских вице-адмирала — Чарлз Джон Нейпир и Джеймс Уитли Дандас:

Вчера, Непир сидел с Дондасом  
За джином с коньяком;  
Один орал ужасным басом!  
Другой-то дишкантом<sup>824</sup>.

Англичане не только пьяницы и трусы, но и непрактичные неумехи: в брошюре «Англичане и с русским петухом не сладили, или Бухта Колинги» они доплывают до острова Эзель (Сааремаа) и, проголодавшись, мечтают съесть петуха, но никак не могут его поймать.

А он им в глаза смеется,  
Проскользает, не дается,  
Продолжая горло драть.  
Бились, бились и отстали,  
Просто до смерти устали,  
А он дразнит только их.  
Где ж бороться им уж с нами,  
Когда ладить с петухами  
Трудно было так для них?<sup>825</sup>

---

\* Здесь и далее в стихах знаки препинания расставлены в соответствии с современными нормами пунктуации.

За образом петуха в этом кошмарном в литературном отношении стихотворении (другие, впрочем, ненамного лучше), без сомнения, проглядывает ловкий и боевой русский народ.

Еще один объект издевок пропагандистской поэзии времен Крымской войны — техническая мощь британцев, которую никто не отрицает, но одержать победу в войне она им не поможет: на хитроумные английские машины всегда найдется крепкий русский кулак (один из текстов сопровождало изображение кулака с надписью «Раскуси»).

Интересно, что и машина превратилась здесь в метафору, означающую Русь:

Альбион — статья иная:  
Он еще не раскусил,  
Что за машина такая  
Наша Русь, и в сколько сил.

То-то будет удивленье  
Для практических голов,  
Как высокое давленье  
Им покажут без паров!

Знайте ж — машина готова,  
Будет действовать, как встарь,  
Ею двигают три слова:  
Бог, да родина, да царь!<sup>1826</sup>

В стихотворении ветерана Отечественной войны Федора Николаевича Глинки «Кто кому нужнее?» говорится примерно о том же: не кулаком, так палкой, практически глубиной народной войны побьет англичан русский народ:

И всё машины, вздор какой:  
Французов били ж бабы наши  
Где просто палкой, где клюкой!<sup>1827</sup>

Весь этот набор — убожество и пьянство англичан, их смехотворная непрактичность, ничтожество британских машин перед лицом могучей русской силы — присутствует и в «Левше».

Англичане там тоже способны на беспробудное пьянство — Левша пьет на спор с «полшкипером». Правда, у Лескова способности русского мастера и английского моряка к потреблению спиртного оказываются равны, оба допи-

ваются до чёртиков, но никто из них так и не выигрывает «парей».

Есть в сказе и тема машин. В Англии Левше показывают «металлические фабрики и мыльно-пильные заводы», но чудеса технического прогресса его, как и авторов агитационных стихотворений, ничуть не удивляют — в отличие от «хозяйственных порядков», «особенно насчет рабочего содержания». И понятно почему: русские мастера в технической изощренности англичанам не уступают, подковывают блоху без чудо-машин, мыльно-пильных заводов и мелкоскопа — всё потому, что у них «глаз пристрелявши». Но английский рабочий, не в пример русскому, ходит «не в обрывках», «работает не с бойлом, а с обучением и имеет себе понятия»<sup>828</sup>.

Этим параллели между сказом Лескова и пропагандистской поэзией времен Крымской войны не исчерпываются. По пути в Англию Левша «на всю Европу русские песни пел, только припев делал по-иностранному: “Ай люли — се тре жули”»\*. Похожая форма использовалась и в русских агитационных стихах, одна из брошюр так и называлась «Английские песни на русский лад» (1855) и включала вымышленные монологи англичан на мотивы русских песен — к примеру, «Песню Дандаса при отправке в Балтийское море».

В агитационной поэзии середины 1850-х постоянно возникали и отсылки к Отечественной войне 1812 года и победе над французами — по очевидным политическим причинам: теперь французы опять выступали против России, на этот раз в союзе с англичанами. Об этом вспоминали многие стихотворцы, например Федор Глинка в одном из самых популярных стихотворений эпохи «Ура!»:

...Но год двенадцатый не сказки,  
И Запад видел не во сне,  
Как двадцати народов каски  
Валялись на Бородине...

Похожий композиционный ход — скачок в другие времена — используется и в «Левше»: рассказанная Лесковым история, как мы помним, начинается с Венского конгресса, описания прошлого и завершается эпохой, предшествующей Крымской войне.

---

\* Это очень мило (*искаж. фр.*).

Еще один излюбленный прием пропагандистской словесности — реконструкция точки зрения «человека из народа»: агитационная продукция должна быть понятна максимально широкой аудитории. Для этого активно используются просторечия, жаргонизмы и подчеркнуто разговорные синтаксические конструкции. Потому и один из самых любимых жанров в этом отсеке словесности — песня, написанная словно бы от лица всего русского народа. Впрочем, в этом громокипящем потоке иногда встречаются и сказки, и басни<sup>829</sup>. Этот прием был освоен задолго до середины XIX века и не раз использовался в других сконструированных в элитарных кругах патриотических текстах — вспомним хотя бы пропагандистские афишки графа Ростопчина. Кстати, в образ московского градоначальника в «Войне и мире» Лесков напряженно вглядывался и написал в рецензии на пятый том романа: «Фразистый патриотизм, какая-то кипяченая верченность, русская балаганность пополам с французским гаменством \*»<sup>830</sup>, — а затем вспоминал и о ростопчинском «ерническом языке» (по выражению Толстого).

Итак, «Сказ о тульском косом Левше...» можно рассматривать как злую пародию на агитки, которую, впрочем, сам Лесков постарался тщательно замаскировать формой баснословной легенды. Предисловие о русской победе над англичанами было убрано, но отголосок его сохранился в финале. Вместе с тем за историей о бесправии и униженности русских гениев, о равнодушии к живым людям чиновничьей машины угадывается и прозрачный намек, за что же всё-таки убили царя.

Но пародия эта, как часто у Лескова, обоюдоострая: адресованная создателям агитационных стишков и прозы, ваяющим свои творения из обломков русского национального мифа, а вместе с тем направленная и на народ-умелец с его дикостью и необразованностью. Текст «Левши» словно и сам отплясывает «дансе», недаром он переполнен несуществующими забавными словами: «бюстры» (соединение «бюста» и «люстр»), «двухсестная» (соединение «двухместной» и «сесть»), «свистовой» вместо «вестовой», «презент» вместо «брезент», «полшкипер» вместо «подшкипер», а также «мелкоскоп», «студинг», «нимфозория», «клеветон», «безрассудок», «Аболон Полведерский», «Твердиземное море». Ложная этимология, основная языковая приправа «Левши», начинает работать на иронию над безграмотностью.

---

\* От *gaminerie* — шалость (*фр.*).

Так рассказывать историю мог бы человек, который слышал много ученых слов и очень хочет ими шегольнуть, но не может сделать это умело. Кто же он? Вопреки довольно крепко утвердившемуся убеждению язык рассказчика в «Левше» — отнюдь не простолюдина, крестьянина или купца, а скорее лакея, желающего быть в тренде. Вспомним дурацкий выговор лакея Петра из тургеневских «Отцов и детей»: «Он совсем окоченел от глупости и важности, произносит все *е* как *ю*: *тюпюрь, обюспючюн*».

Конструкция получается прихотливая: чтобы посмеяться над ограниченностью русских умельцев, Лесков использует простодушного и необразованного рассказчика, собственного невежества не сознающего, — тот становится призмой, радужной колеблющейся мыльной пленкой, сквозь сияние которой и предлагается разглядеть историю стальной английской блохи. Между сословиями звуконепроницаемая стена: не слышат простолюдина те, кто пытается имитировать его восприятие в пропагандистских стихотворениях; но глух и народ — к истории, просвещению, открытиям другого народа, поклоняясь одному лишь любимому богу Авось.

Разумеется, поскольку к моменту создания «Левши» со времен Крымской войны и связанного с ней извержения стишков и брошюр минуло четверть века, на Лескова вполне могли повлиять и более близкие по времени источники — скажем, агитационная поэзия и проза, посвященные Русско-турецкой войне 1877—1878 годов. Но за словесностью той эпохи стояла несколько иная политическая повестка, опиравшаяся на представление об освободительной миссии России, необходимости помогать братьям-славянам и укреплять всеславянское единство. Надо сказать, Иван Аксаков принимал в ее формировании непосредственное участие<sup>831</sup>. Англичане с их технической мощью — мотив для «Левши» ключевой — сменились турками, а война обрела коннотации священной борьбы за православную веру. Повестка дня изменилась, однако «ружейный» мотив остался актуален: турецкая армия использовала новое, произведенное англичанами и американцами оружие и превосходила противника в техническом отношении. В этом смысле победа России вполне вписывалась в логику лесковского «Левши» и отчасти «крымской» патриотической поэзии: русские способны достигать невиданных успехов, несмотря на техническую неоснащенность.

Итак, агитационные патриотические стихи в целом и поэзия эпохи Крымской войны в частности — это тот са-

мый идеологический контекст «Левши», который может объяснить многие смысловые и композиционные ходы: помещение англичан в центр повествования, противостояние их и русских, воспоминание о прежних победах, отчасти и языковую прихотливость текста, подобно многим патриотическим сочинениям стилизованного под безграмотную речь простолюдина.

Дополнительным доказательством того, что Лесков написал «Левшу», опираясь на множество текстов, является то обстоятельство, что именно в начале 1880-х он в своих исторических работах осваивал стратегию создания текста-палимпсеста, построенного на наложении и взаимопроникновении нескольких точек зрения, нескольких способов видения проблем. По замечанию современной исследовательницы творчества Лескова Анны Александровны Федотовой, «документальная основа очерков, на которую неоднократно указывает автор, сочетается с авторским вымыслом, факты оборачиваются мистификацией, “чужое” становится “своим”»<sup>832</sup>.

Черпая идеи и образы из самых разных источников, Лесков создавал весьма неожиданных и в итоге совершенно оригинальных персонажей. Тот же косой Левша до странности нехорош собой: «на щеке пятно родимое, а на висках волосья при ученье выдраны»<sup>833</sup>. Лесков вообще любил выводить в центр повествования невидных, странных и даже убогих, особенно в рассказах, объединенных в цикл «Праведники», куда вошел и сказ о тульских умельцах. Но какой смысл был в том, чтобы делать таким уродливым именно Левшу? Вглядевшись в его черты, мы легко обнаружим, что косина, леворукость, родимое пятно — не произвольный набор; все три особенности внешности героя подчинены определенной логике.

В каком именно смысле Левша косой? Возможно, в буквальном — косоглазый, что в фольклорной системе ориентиров делает его человеком опасным: косоглазый в народном представлении связан с нечистой силой. Но косина могла означать и то, что Левша обладал особым зрением, видел мир иначе, чем все. Не это ли свойство помогло ему превзойти товарищей-туляков — выковать гвоздики для микроскопических подковок? Не исключено также, что «косой» здесь — просто синоним леворукости: у Левши всё не так, не прямо, как у других.

Левое в мифологических представлениях самых разных народов тоже не означало ничего хорошего и всегда было связано с неправотой, неправильностью. «Твое дело лево, неправо, криво», — поясняется в словаре Даля. Можно вспомнить и выражения «пойти налево» или «работать налево». На иконах праведники, в том числе и добрый разбойник Дисмас, распятый на Голгофе рядом с Христом, всегда изображались справа от Него, грешники — слева. Вместе с тем, как указывал филолог Вячеслав Всеволодович Иванов, «мифологический мир нередко представлялся как зеркальный по отношению к обычному, поэтому леворукость мифологических героев подчеркивает их необычность и служит символом иного мира»<sup>834</sup>. Возможно, делая своего мастера не только косым, но и леворуким, Лесков давал понять, что он особенный, житель двух миров, а чтобы намек стал еще прозрачнее, сделал Левшу еще и «меченым» — наградил родимым пятном на щеке.

Родимое пятно в фольклоре часто выступало как знак судьбы, скорее дурной, чем доброй. Но одновременно в народных сказках и балладах именно родимое пятно помогало родителям опознать *свое* кровное дитя.

Кому же свой Левша? Вероятно, всем русским людям, народу, который он представляет. И Лесков в «литературном объяснении» косвенно подтверждает это:

«Рецензент “Нового времени” замечает, что в левше я имел мысль вывести не одного человека, а что там, где стоит “левша”, надо читать “русский народ”. Я не стану оспаривать, что такая обобщающая мысль действительно не чужда моему вымыслу, но не могу принять без возражения укору за желание принизить русский народ или польстить ему»<sup>835</sup>.

Наконец, Левша — оружейник, кузнец. В европейской традиции кузнец — персонаж мифологический. Кузнечное ремесло в народных представлениях считалось высшим умением, а кузнец — обладателем сверхъестественных знаний, вхожим в потусторонний мир и легко общающимся с нечистой силой. Именно поэтому гоголевскому кузнецу Вакуле из «Ночи перед Рождеством» удалось слетать на чёрте в Петербург. Кузнецу подвластна стихия огня, Левша пламени тоже не боится: когда его с товарищами пытаются выманить из домика, где они работают, пугая, что «по соседству дом горит», он спокойно отвечает: «Горите себе, а нам некогда». Между прочим, появляется в сказе и чёрт —

в тот момент, когда алкогольное состязание Левши и английского «полшкипера» достигает апогея. Интересно, что «полшкипер» не сомневается: чёрт Левше послужит:

«Только полшкипер видит чёрта рыжего, а левша говорит, будто он темен, как мурын\*.

Левша говорит:

— Перекрестись и отворотись — это чёрт из пучины.

А англичанин спорит, что “это морской водоглаз”.

— Хочешь, — говорит, — я тебя в море швырну? Ты не бойся — он мне тебя сейчас назад подаст.

А левша отвечает:

— Если так, то швырай»<sup>836</sup>.

До швыряния в море, к счастью, не дошло — матросы развели допившихся до чёртиков приятелей по каютам. Возможно, связь лесковского Левши с нечистой силой предопределена была песней гётевского Мефистофеля о блохе.

Но в этой сцене возможны и другие аллюзии — на пророка Иону, чудесно спасшегося из морской стихии (не будем забывать, что «Сказ о тульском косом Левше...» включен Лесковым в цикл «Праведники»).

В результате особый статус Левши подчеркнут трижды. Трижды Лесков указывает, что этот парень (вероятно, парень; сколько лет Левше, неясно) с выдранными вихрами не простой тульский мастеровой, а годный на роль трикстера — персонажа, вхожего и в земной, и в иной мир.

Вместе с тем Левша сохранил все качества народа, чьим представителем является: он убежден, что «русская вера самая правильная», потому что «наши книги против ваших (английских. — М. К.) толще, и вера у нас полнее», к тому же в России «есть и боготворные иконы и гроботочивые главы и мощи»<sup>837</sup>. Не нравятся ему ни английские девушки, ни английская еда; нравится только, как англичане уважают рабочих и ухаживают за оружием, и вот этот военный секрет он мечтает передать государю.

Конец Левши трагичен, избранность не спасла его от бесславной смерти. Его собутыльника-«полшкипера» соотечественники выходили, а русский мастер оказался на родине никому не нужен:

«Привезли в одну больницу — не принимают без тугамента, привезли в другую — и там не принимают, и так в третью, и в четвертую — до самого утра его по всем отда-

---

\* Мурын (от *лат.* *maurus*) — мавр, негр.



ленным кривопуткам таскали и всё пересаживали, так что он весь избился. Тогда один подлекарь сказал городовому везти его в простонародную Обухвинскую больницу, где неведомого сословия всех умирать принимают».

Там он и отдал Богу душу, успев выговорить перед смертью просьбу передать государю, что ружья не следует чистить кирпичом. Если бы его последнюю волю исполнили, заключает рассказчик, «в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был»<sup>838</sup>.

Закончился сказ печально, но автора привел к триумфу и принес ему бессмертие. Судьбы лесковских текстов в XX и XXI веках мы обязательно коснемся, пока скажем кратко: «Сказ о тульском косом Левше...» оказался самым популярным из них, изданным миллионными тиражами. Его печатали и в 1920-е, и в 1940-е годы, и в 1970-е, и в 1980-е, неоднократно инсценировали и экранизировали. В 1964 году по «Левше» был снят мультипликационный фильм Ивана Иванова-Вано, а в 1986-м — художественный фильм Сергея Овчарова. Одной из последних постановок стала опера, музыку и либретто которой сочинил Родион Щедрин; премьера ее состоялась в 2013 году в Мариинском театре.

## Дронушка

Параллельно с литературными свершениями текла частная жизнь.

После того как «разбросалась семья» — Екатерина Степановна уехала в Киев, ее старшие сыновья жили отдельно, — близкий семейный круг сократился до одного Дроны. Единственному сыну Лескова жилось нелегко. Отец остро страдал от одиночества.

В ноябре 1881 года у Лескова случилось нервное расстройство: десять дней он не спал, находиться один в комнате мог только утром, в сумерках начинались видения. «Чуть начинает темнеть (а эта благодать в пасмурные дни начинается в два часа), он видит то черные, то зеленые фигурки, которые приходят в его комнату, смотрят на него и садятся на стулья. Это наводит на него ужас, хотя он и понимает, что это галлюцинация, и он бежит из своей квартиры к нам или зовет Дрону к себе в кабинет заниматься»<sup>839</sup>, — описывал эти приступы Николай Бубнов. Что при этом переживал сын Лескова?

Николай Бубнов сообщает сестре Вере примерно через полгода после описываемых событий: «Есть, впрочем, один знакомый тебе человек, которому живется еще скучнее. Это — Дрона. Теперь он что-то целые дни сидит в своей комнате. Николай Семенович на него кричит и бьет его. По крайней мере, когда я вчера пришел к ним за обедом, Дрона держал платок около одной щеки, которая была очень красной. Он не ел жаркого, которое уничтожалось вместе с стаканом вина и водою одним Николаем Семеновичем. Николай Семенович был очень мрачен. <...> Из всех этих фактов можно вывести одно заключение, что Дрона или не перешел, или перешел с экзаменами. Спрашивать Николая Семеновича — не получить никакого ответа. Раз он мне ответил, что не знает, окончились ли у Дроны экзамены. Когда вы уехали, Николай Семенович был в мрачном расположении духа и говорил, что видел тебя во сне. В таком расположении он пребывает и до сих пор и, конечно, Дронино учение не могло вывести его из этого состояния»<sup>840</sup>.

Год спустя Николай, «отличник» и умница, посвящает семнадцатилетнему Дроне целое письмо, отправленное Лескову из Парижа. Пишет он о брате не много доброго, намекая на некий основной его недостаток (лень? легкомыслие? беспринципность?), и подводит неутешительный итог: «...находясь дома часто в среде людей взрослых и вдобавок высокоумственного ценза, он гораздо раньше, чем следует, усвоил себе самоуверенность критики, которая при отсутствии элементов, дающих на нее право, привела его к презрительному отношению к науке и совершенному отсутствию принципов. Уверенность в своей счастливой наружности, открывающей перед ним ряд перспектив, весьма отдаленных от школьной жизни, тоже сделала свое дело»<sup>841</sup>.

Вот этих-то неуспехов в учебе, которые особенно настойчиво стали настигать Лескова-младшего в старших гимназических классах, когда у него, очевидно, появились посторонние увлечения, и не мог простить ему отец. К тому же Дрона, судя по всему, нравился противоположному полу и любил танцевать. Летом 1884 года, когда он проводил каникулы у киевской родни, а отец около месяца (с 31 июня по 29 июля) лечился в Мариенбаде, минеральные воды ничуть не смягчали гнева; отцовское письмо от 5 июня так и брызжет желчью:

«Хотел бы знать, что ты делаешь с пудами увезенной с собою литературы? Будет ли пользы хоть на провоз? Впрочем, — спасибо тебе, — я не привык ждать от тебя ничего кроме досады, горя и постоянного раздражения»<sup>842</sup>.

Дальше — больше. Спустя неделю, 12 июня, Лесков пишет сыну, что тот вполне мог бы находиться вместе с ним, а не с киевской родней (с которой у Лескова давно уже отношения были натянутые), и грубо дразнит его, ясно давая понять, что проводить лето в Киеве — не лучший вариант:

«Много бы видел всяких людей, много бы мог читать и наслаждался бы природой, о какой нельзя и говорить тому, кто ее не видел. Здесь есть много молодых ребят с родителями и не скучают, но тебе ведь нужны не такие ощущения и впечатления, а чтобы... бзднуть да перднуть... Ты молодец на пошлости! Я и имел на мыслях взять тебя, чтобы показать половину Европы, да сообразил, какая ты у меня птица, и оставил свое намерение, хотя оч[ень] за тебя жалею»<sup>843</sup>.

Чего не мог простить сыну Лесков — легкомыслия, любви к светским развлечениям, внимания к прекрасному полу, нежелания заниматься науками? Он словно напрочь забыл, как сам проводил молодость. А может быть, наоборот, страшился, что Дрона повторит его ошибки — не выучится вовремя, напрасно потратит лучшие годы. Так или иначе, некоторые основания для недовольства у сурового отца, платившего и за гимназию, и за репетиторов, всё же были.

В 1885 году, спустя год после его сердитых писем, Дрона и в самом деле провалил выпускные гимназические экзамены, и дорога в престижные высшие военные учебные заведения Петербурга ему в тот год оказалась закрыта. Дрона пересдал экзамены осенью — на сей раз успешно. Но в одни места он уже опоздал, в другие его не пожелал отправить отец и... отослал в солдаты, в Киев! 31 августа 1885 года Лесков писал брату Алексею, предваряя приезд сына:

«Ни содержать его у себя, ни оказывать ему ... (*неразборчиво*. Протекцию? — М. К.) я тебя не прошу. Напротив, я желал бы, что бы ты был того правильного мнения, что эта несчастная и бесхарактерная личность должна узнать на опыте тяжелые следствия своего упорного беспутства. Это будет не только справедливостью, вытекшею из длинного ряда его негодяйств, но, быть может, принесет даже ему еще

когда-нибудь хоть позднюю пользу. Лично я от него ничего хорошего не ожидаю и наоборот считаю его способным на всё дурное, к чему может придти человек без характера, без отчета себе и вообще без правил. Сделай только то, что должно, чтобы открыть ему последнюю дорогу и это всё, о чем я тебя прошу. <...> Если возможен перелом в его беспутной натуре, то он только и может совершиться в молодости в суровой школе жизни, а всяческое дальнейшее потворство поведет его к косности в поганных привычках и повадках его характера, как две капли воды напоминающего того, кому не годилась ни привольная Украина, ни Киев, ни Петербург, ни Ташкент. “Всё, что хочется и можется, — всё сделать”. Такой человек — пропащий, и я от него равно ничего не жду — по крайней мере для себя. Он меня истерзал и заморил до того, что жду как отдыха его не видеть и о нем не слышать»<sup>844</sup>.

Раздражение плещет через край — Лесков кроет сына последними словами, прозрачно намекая на его сходство со своим братом Василием: одаренный юноша имел известную русскую слабость, как считалось в семье, не без участия матери, подростком пристрастившей младшего сына к чарочке еще в тяжкие вдовьи годы на Панином хуторе<sup>845</sup>. Из Василия действительно не вышло толка, несмотря на его дарования: окончив юридический факультет, он потерял хорошее место, потом не преуспел ни в Киеве, ни в Петербурге, пока не отправился в Ташкент. Пристроиться в Ташкенте помог старший брат, а потому считал себя благодетелем; но, судя по дневниковым записям кроткого Василия Семеновича, благодеяние это сопровождалось самыми горькими унижениями. В ожидании места бедствуя в Петербурге, закладывая ценности и одежду, он обронил: «Я не поступил бы с последним негодяем и не держал бы его в таком черном теле, как меня держат, хотя хорошо знают, что у меня такое положение переходное»<sup>846</sup>. В Ташкенте, куда Василий наконец отправился, он вскоре умер от тифа — по глупости денщика, не сумевшего выходить уже поправлявшегося хозяина. Для Лескова несчастный младший брат навсегда остался беспутным и неблагодарным. Сравнивая с ним сына, он, возможно, хотел оскорбить того побольнее.

Виновник отцовского раздражения явился в Киев. Но «фантазеру», как давно уже прозвала Николая Семеновича киевская родня, не поверили — слишком хорошо знали его горячий нрав и склонность к преувеличениям, иногда чудовищным.

Первой расспросить Дрону, чем же он так прогневал отца, решила бабушка Мария Петровна. Разговор их Андрей Николаевич не без торжества вспоминает в своей книге:

«— Дронушка, — обратилась ко мне бабушка, — пройдем в гостиную, хочется потолковать с тобой.

Мы прошли залу и расположились в глухой, заставленной мягкой мебелью, отдаленной комнате, слабо освещавшейся рожком уличного газового фонаря. <...>

— А какие же негодяйства-то за тобой нетерпимые такие? Говори всё своей бабке, со мной и умрет. Не таись!

— Какие?.. Любил читать, поленивался, школьничал, изводил нелюбимого корпусного воспитателя, танцевал с барышнями да с писательскими женами в Пушкинском кружке, а отец не терпит этого, говорит — *я в твои годы...*

Но тут Марья Петровна быстро перебила меня.

— Он... — изменившимся голосом начала она и в явном колебании запнулась, — это верно... *он в твои годы не танцевал, нет! Он в Киеве, на Андреевском спуске, дрался с саперными юнкерами*, — вырвалось, наконец, у старухи.

Обессилев, тяжело дыша, она опустилась на ближайший стул. Я бросился в столовую за водой, которой она жадно отпила несколько глотков и, обняв меня, расплакалась.

С этого дня уже точно плотину размыло — заговорили все: и моя мать, и Клотильда Даниловна (вторая жена А. С. Лескова. — М. К.), и весь дом. Алексей Семенович не знал, как унять или хотя бы умерить стихийное негодование женщин»<sup>847</sup>.

О чем плакала несгибаемая бабушка и плакала ли, не знаем. Но от солдатской службы страдалец был спасен: при попечении дядюшки Алексея поступил в Киевское юнкерское училище — второсортное, однако всё не солдатом в саперный полк. Уже через год, когда отцовская ярость стихла, Дрона перешел в петербургское Второе Константиновское военное училище, из которого и был выпущен подпоручиком в 1887 году.

И всё же окончательного примирения с отцом при жизни последнего так и не состоялось.

## Художник и власть

Спустя четыре года беспорочной службы Лескова в Ученом комитете его председатель А. И. Георгиевский подал ходатайство Д. А. Толстому о награждении Лескова чином надворного советника, с прыжком через четыре ступени

чинопроизводства. Прощение осталось неподписанным. Лескова не произвели даже в следующий чин, почему — предположить несложно.

Рецензии Лескова были всем хороши — и добросовестны, и проницательны, и умны. Вот только писал их человек без вицмундира. «Святость царского имени», им разгромленная, поступила в Ученый комитет уже после того, как была одобрена духовной цензурой и признана «образцовой народной книгой». Издательницы жестоко раскритикованного Лесковым журнала «Русский рабочий» М. Г. и А. И. Пейкер еще до рассмотрения вопроса Ученым комитетом добились у Д. А. Толстого обещания, что их издание будет распространяться в учебных заведениях. Всё это Лесков знал, но идти против себя не хотел.

Но главное — он и в Ученом комитете был *не своим*. Не чиновник — литератор, без тени законопослушности. Вот и про книги, которые поступали к нему через комитет, он писал не только внутренние рецензии, но и публичные. И если в комитетском отзыве о брошюре «Избави Боже от греха и от недоброго человека» (М., 1881) он отозвался уклончиво (в итоге она была допущена в библиотеки народных и городских училищ), то в статье «Благонамеренная бестактность», опубликованной в одиннадцатом номере «Исторического вестника» за 1881 год, эту книжечку раздраконил. Мелочь, но для ведомства, при котором он служил, неприятная. Впрочем, основные неприятности из-за Лескова у министерства были еще впереди.

В 1879 году отдельной книгой вышли «Мелочи архиерейской жизни», до этого печатавшиеся небольшими порциями на страницах газеты «Новости» (позднее переименованной в «Новости и Биржевую газету»). Интерес к книге поднялся огромный — так об архиереях в России не писали еще никогда, — и она мгновенно разошлась. В 1880 году «Мелочи...» были переизданы дважды, второй раз с приложением, куда вошли очерки «Архиерейские объезды», «Епархиальный суд», «Русское тайнобрачие».

Параллельно все 1870-е годы Лесков постоянно публиковал статьи на церковные темы с легко прочитываемыми выпадами против Победоносцева, Третья Филиппова\*, заодно и высшего начальства — Д. А. Толстого, а потом и

---

\* *Тертий Иванович Филиппов* (1826—1899) — крупный чиновник, государственный контролер, публицист консервативно-националистического направления.

сменившего его на министерском посту И. Д. Делянова. Последней каплей в этом и так уже до краев заполненном резервуаре начальственного раздражения стала статья Лескова «Поповская чехарда и приходская прихоть: Церковно-бытовые нравы и картины», напечатанная в февральском номере «Исторического вестника» за 1883 год, с большим смаком излагавшая истории бесчинств духовенства прошедших времен. С присущими ему красноречием и сарказмом Лесков рассказывал, например, о напившемся священнике, скачущем верхом на дьяконе вокруг храмового престола. И хотя всё это происходило в XVIII столетии и в начале XIX века, даже самый простодушный читатель догадывался, что Лесков намекал на слабости нынешнего духовенства.

Решение об увольнении Лескова из Ученого комитета было принято немедленно после публикации «Поповской чехарды». Но чтобы исход известного писателя из министерства состоялся без шума, ему нужно было подать прошение об отставке. Однако в Лескове, по меткому слову мемуариста В. Г. Авсеенко, уже начиналось «непрерывное кипение в каком-то им самим созданном для себя котле»<sup>848</sup>. Он жаждал шума, огласки, «их» публичного позора и прошение писать отказался. Министр Делянов, который при личной встрече убеждал его не сердиться и указывал на давление извне (как считал Лесков, со стороны «Лампадоносцева» и Филиппова), в уговорах не преуспел.

— Зачем вам такое увольнение? — тихо поинтересовался Делянов.

— Для некролога, — отвечал Лесков и вышел из кабинета<sup>849</sup>.

Что ж, его уволили «без прошения», простым определением Делянова, нового «пастуха русской молодежи», как едко выразился Лесков в позднем очерке «Административная грация».

В обществе сейчас же поднялись толки, отголоски их проникли в печать. Лесков только этого и ждал. В «Письме в редакцию» «Новостей и Биржевой газеты» он указал главную причину увольнения: «Для оставления службы мне не вменено никакой вины, а указана только “несовместимость” моих литературных занятий со службою»<sup>850</sup>.

Последней точкой в отношениях с министерством стало награждение Лескова, в числе других участников конкурсной комиссии, памятной золотой медалью за рассмотрение (уже после увольнения) сочинений, выдвинутых на соис-

вание премии Петра Великого. Лесков сочинения прочел, отзывы составил, но медаль, по словам его сына, «попросил прямо из министерства отослать в Орловскую гимназию на помощь беднейшему ученику, отправляющемуся в университет»<sup>851</sup>. Уволенный вольнодумец совершил еще один демонстративный брезгливый жест. Награда не должна была оскорблять его кабинет.

В разгар своего шумного увольнения, в начале 1883 года, Лесков написал рассказ «Тупейный художник» о трагической участи двух крепостных графа Каменского. Рассказ этот имеет смысл прочитать в контексте биографических обстоятельств автора, возмущенного тем, что чиновники диктовали ему, свободному художнику, что позволено, а что нет.

Один из главных героев рассказа Аркадий Ильин — умелый парикмахер, художником его можно назвать только в значении «мастер своего дела». Сделаем осторожное предположение: давая рассказу подобное название, Лесков намекал на то, что пишет историю не просто о смерти двух крепостных, но о гибели художника. Право назвать так рассказ ему давала и направленность «Художественного журнала»\*, специализировавшегося на прозе и очерках о живописи, — слово «художник» в его заглавиях встречалось регулярно<sup>852</sup>.

«Тупейный художник: Рассказ на могиле» имел посвящение: «Святой памяти благословенного дня 19-го февраля 1861 г.», за которым следовал эпитафия «Души их во благих водворятся» — цитата из заупокойной литии с лесковским обозначением «Погребальная песнь»; автору важно было подчеркнуть именно «погребальный» мотив. В финале он прозвучит снова: «Более ужасных и раздирающих душу поминок я во всю мою жизнь не видывал»<sup>853</sup>. В журнальной публикации указаны место и дата окончания работы над «Тупейным художником»: «Санкт-Петербург 19 февраля 1883 года. День освобождения крепостных и суббота “по-

---

\* Лесков начал сотрудничать с «Художественным журналом» в 1882 году, опубликовав в нем заметку про картину Василия Перова (см.: Лесков Н. С. О картине «Никита пустосвят» // Художественный журнал. 1882. Т. 4. № 11. С. 293—295). После публикации «Тупейного художника» здесь была напечатана еще одна его заметка (см.: Он же. Об иконописной фантазии. «Благоразумный разбойник» // Там же. 1883. Т. 5. № 3. С. 181—198).



миновения усопших”». Дата была некруглая, со дня подписания царского манифеста «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» исполнилось 22 года. Крепостничество никогда прежде не становилось предметом специальных размышлений Лескова — внутреннее, духовное рабство занимало его значительно больше. Но с какой-то почти маниакальной настойчивостью выдвигал он на первый план «крепостной» и погребальный мотивы — не оттого ли, что писал не столько реальную историю двух крепостных, сколько притчу о гибельности рабства для художника?

Добавим, что публикацию предваряло объявление о том, что в 1883 году в журнале будут печататься «рассказы из жизни вольных художников. Н. С. Лескова. Рассказ первый: “Тупейный художник”». Этот цикл так никогда и не появился, как и очерки о женских типах, обещанные когда-то Николаю Страху; однако эпитет «вольный» — еще один сигнал, указывающий на то, что тема свободы и рабства творца занимала Лескова никак не меньше печальной судьбы героев — Любви Онисимовны и Аркадия.

Более того, история их оказалась окаймлена черной рамкой, вероятно, именно потому, что Лескову необходимо было срифмовать несвободу и гибель. Очень возможно, что у реальной женщины, послужившей прототипом для Любви Онисимовны, жизнь сложилась совсем не так печально. Косвенное подтверждение этого предположения можно обнаружить в набросках неоконченного романа «Соколий перелет».

Первая часть романа была опубликована в «Газете А. Гатцука» в феврале и марте 1883 года, то есть тогда же, когда и «Тупейный художник», но работа над ним началась задолго до того. Уже в конце 1881-го в «Петербургской газете» появилось сообщение: «Н. С. Лесков пишет новый большой роман под заглавием “Соколий перелет”»<sup>854</sup>. В первых же главах, написанных «мемуаром», от первого лица, появляется нянька Любовь Анисимовна (здесь ее отчество начинается с буквы «А»), о которой сообщается, что она была «из отставных актрис Каменского театра» и не любила стужи:

«...няня наша не могла пробыть на холоде одну минуту без того, чтобы у нее не посинел ее длинный, необыкновенно тонкий нос, бывший в свое время главным виновником определения ее на сцену для благородных ролей. Поэтому

она пряталась чаще, чем думала матушка, и не спускала с нас глаз не так аккуратно, как обещала. У Любви Анисимовны была свойственная ее прежнему званию артистическая слабость слегка куликнуть, и просвирня Афи́мья оказывала ей в этом случае пригодные услуги, держа для нее корчемным образом «сорока-церковное» вино»<sup>855</sup>.

Ничего трагического в образе зябкой старушки нет; более того, о ее склонности к «плакончику» сказано вовсе без печальных обертонов, напротив, весело: «любила куликнуть» — мол, дело житейское. Видимо, у этой Любви Анисимовны не было никакой трагической и романтической истории, а ее нелюбовь к стуже, возможно, объяснялась особенностями организма. В «Тупейном художнике» «мерзлявость» няни трансформировалась в романтический мотив: Любовь Онисимовна застудила ноги во время побега с женихом.

Очень вероятно, что сюжет «Тупейного художника» — исключительно лесковский вымысел, построенный на основе клише романтической прозы и драмы: похищение невесты, тайное венчание, разлука, кровавое убийство<sup>856</sup>. Даже тихое пьянство Любви Онисимовны, по сути, реализация еще одного литературного штампа: гибель из-за несчастной любви. При внимательном рассмотрении контекста «Тупейного художника» обнаруживается, что его романтическо-трагическую тему питали произведения самых разных авторов, объединенные темой рабства. Среди них и повесть «Сорока-воровка» А. И. Герцена, также посвященная судьбе крепостной актрисы, и воспоминания В. П. Бурнашева о крепостном театре графа Каменского в Орле<sup>857</sup>, и повесть Сергея Терпигорева (Атавы) «Крепостной Аполлон и его музы», напечатанная в первом номере того же «Художественного журнала» за 1883 год и также рассказывающая о крепостном театре, любви помещика и крепостной актрисы, их побеге и тайном венчании.

Наконец, среди источников лесковского вдохновения может быть и опера Джоаккино Россини «Севильский цирюльник», шумная премьера которой в Петербурге состоялась в Большом театре 13 октября 1882 года, за несколько месяцев до публикации «Тупейного художника». Занятно, что Фигаро в пьесе Бомарше — парикмахер по необходимости, он как раз *свободный художник*, сочинитель и литератор, оказавшийся в Севилье, потому что, по его словам, потерпел фиаско на литературном, а еще точнее, на драма-

тургическом поприще в Мадриде. В либретто литературные занятия Фигаро исчезают, но артистизм и свобода натуры сохраняются. Парикмахер-поэт в «Севильском цирюльнике» Бомарше устраивает свадьбу своего господина, графа Альмавивы, а во второй комедии, «Свадьба Фигаро», — собственную, причем господин оказывается его соперником. Граф Альмавива хочет вернуть отмененное им самим право первой ночи, лесковский граф Каменский в этом праве не сомневается. Параллелизм ключевых коллизий — матримониальный сюжет, соперничество с вельможей, пожелавшим отнять у слуги невесту, титул этого вельможи, наконец, основное занятие героя — с уверенностью позволяет взглянуть на историю про ловкого и веселого цирюльника как на претекст «Тупейного художника».

В те же годы Лесков вернулся к давнему замыслу, взялся за роман «Чёртовы куклы» — еще одну, так и не оконченную, аллгорию о художнике и власти в России. В письме от 14 июня 1889 года Вуколу Михайловичу Лаврову — редактору журнала «Русская мысль», в который, очевидно, и предполагалось передать рукопись, — он сообщал:

«В производстве у меня на столе есть роман не роман, хроника не хроника, а, пожалуй, более всего роман листов в 15—17. Сюжет его взят из бумаг и преданий о 30-х годах и касается высоких нашего края — по преимуществу или даже исключительно со стороны любовных проделок и любовного бессердечия. “Натурель” он был бы невозможен и потому написан в виде событий, происходивших неизвестно когда и неизвестно где, — в виде “найденной рукописи”. Имена все нерусские и нарочно деланные, вроде кличек. Прием как у Гофмана. В общем, это интересная история для чтения, а в частности, люди сведущие поймут, что это за история. Главный ее элемент — *серальный*\* разврат и нравы *серальных* вельмож. “Борьба не с плотью и кровью”, а просто разврат воли при пустоте сердца и внешнем лицемерии. — Я называю этот роман по характеру бесхарактерных лиц, в нем действующих, “Чёртовы куклы”. <...> Роман делится на четыре части, каждая листа по 4 или немножко побольше или поменьше. Надеюсь, что это совершенно

---

\* Серальный — относящийся к сералу (*фр.* *séral* от *тюрк.* *seraj* — дворец или *перс.* *saḡāi* — перегородка), *букв.* — к внутренним покоем дворца мусульманского правителя, к его женской части, гарему.

цензурно. Повторяю, роман по преимущ[еству] *любовный*, и всё дело в московск[их] и петерб[ургских] великосветских “чёртовых куклах” (курвах) изящной отделки под именами Помон, Неуд, Делли и т. д., упдающих перед герцогом, списанным известно с кого и не имеющим никакого иного имени, как “герцог”. Потом тут в гарнире Брюллов (Фебуфис) и *tutti frutti*\*. Это всё отдает то баснею и стариною, то вдругхватишься и чувствуешь — ведь это что-то свое. Так все и написано — вроде “Серапионовых братьев” Гофмана. Глубоких или “проклятых” вопросов нет вовсе. “Много бо пострадах их ради”<sup>858</sup>.

Всё это было не более чем маскировкой, попыткой представить роман безопасным. Между тем глубоких и проклятых вопросов в «Чёртовых куклах» ставится предостаточно. И хотя действие его разворачивается в вымышленной стране, угадать, что за герцогом стоит император Николай Павлович, за художником Фебуфисом (его имя означает «сын Феба», то есть Аполлона) Карл Брюллов, а за историей его медленной гибели проблема рабского положения творца в России, современникам Лескова было несложно.

Молодой и талантливый, никого поначалу не боящийся Фебуфис незаметно для себя попадает в зависимость от всевластного герцога. Сперва тот покровительствует молодому таланту, искренне восхищается им, затем диктует ему темы для картин и объясняет, в чем смысл искусства:

«— Задачи искусства — это героизм и пастораль, вера, семья и мирная буколика, без всякого сованья носа в общественные вопросы — вот ваша область, где вы цари и можете делать что хотите»<sup>859</sup>.

В конце концов герцог становится тайным любовником жены Фебуфиса. Тот сбегает из проклятого королевства в любимую Италию, снова, как в былые годы, проявив и бесстрашие, и дерзость. Но дух его сломлен, он не может завершить ни одну картину и кончает жизнь самоубийством.

Среди возможных источников замысла этого романа назывались и повесть о художнике «Синьор Формика» Э. Т. Гофмана, и древнегреческая комедия Аристофана «Облака» о столкновении Правды и Кривды, и роман-памфлет И. Ф. Э. Альбрехта «Пансалвин, князь тьмы» (1791) и, конечно, гоголевский «Портрет». Однако в том же ряду и за-

---

\* Все фрукты (*букв. ит.*), всякая всячина.

писки маркиза Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году», которые Лесков тоже, несомненно, читал. Кюстин высказал между прочим и спорное утверждение, что «все великие художники и артисты, приезжавшие в Россию, дабы пожать здесь плоды завоеванной в других странах славы, оставались в пределах Российской империи лишь недолгое время»: «Воздух этой страны противопоказан искусствам: всё, что произрастает в других широтах под открытым небом, здесь нуждается в тепличных условиях»<sup>860</sup>. О том, что не так с воздухом «этой страны», Лесков и попытался сказать в «Чёртовых куклах».

Первая часть романа вышла в «Русской мысли» в 1890 году. Намеки на Николая I были слишком прозрачны, и редакция завибрировала. Два года тому назад соредакторы «Русской мысли» В. М. Лавров и В. А. Гольцев уже отдавали повесть Лескова «Зенон-златокузнец» (потом переименованную в «Гору») на негласную цензуру, оскорбив автора недоверием, но мир между ними уже восстановился. Продолжение «Чёртовых кукол» могло навлечь на журнал неприятности. Лесков вынашивал планы, как всех обхитрить и рассказать о безобразиях императора не слишком в лоб, и предлагал Гольцеву печатать текст «вразнобивку»<sup>861</sup> — опасную вторую часть после «удобной и интересной» третьей. В итоге он так и не дописал «Чёртовых кукол», три из четырех частей остались в черновиках (они долго лежали в архиве, пока не были опубликованы — уже в XXI веке<sup>862</sup>). И не в цензуре было дело: возможно, Лескову стало скучно, а возможно, он снова понял, что роман, тем более такой, в котором необходимо шифроваться и прятаться за формой «исторической басни» в духе Гофмана, — не его жанр. Но основную идею он высказать успел: служение сильным мира сего для художника равноценно смерти, вкусив «мало меда на кинжале», художник становится «живой шашкой» в чужой игре<sup>863</sup>, марионеткой чужого спектакля, «чёртовой куклой».

В одном из вариантов романа Лесков ставит эпиграфом фрагмент из послания апостола Павла: «Наша брань не против крови и плоти, но против... мироправителей века сего, против духов злобы поднебесных»<sup>864</sup>, — приравняв первых ко вторым. Это важная для него тема, и тут он был последователен — ни в какие, даже самые невинные, игры с властью не вступал.

---

---

Глава восьмая

**МОЗАИКА И ЧЕЧЕТКА**

*Вдруг, однажды, приезжает с ярмарки купец, которому принадлежал опустелый постоялый двор на «разновилы», и говорит, что с ним было несчастье: ехал он, да плохо направил на гать свою лошадь, и его воз придавил, но его спас неизвестный бродяжка.*

*Бродяжка этот был им узнан, и оказалось, что это не кто иной, как Селиван.*

Н. С. Лесков. Пугало

**«Сиротка» Варя**

После «Левши» и «Тупейного художника» всё вдруг оборвалось.

К середине 1880-х годов все главные тексты были написаны. Многое оставалось еще впереди: последняя заграничная поездка, путешествия на курорт Меррекюль, цветным шелком вышитые византийские легенды, ядовитые «Заметки неизвестного», нежные истории о праведниках, великолепно выстроенный «Человек на часах», и всё-таки самое главное уже случилось. Буйный нрав, громадный талант никуда не делись, но ничего, подобного «Леди Макбет...», «Соборянам», «Запечатленному ангелу», не высекалось.

Тот самый волшебный сундук<sup>865</sup>, из которого вышла вся лучшая проза Лескова, словно бы опустел. Шесть лет путешествий по России и катастрофические, но такие насыщенные 1860-е годы остались самым важным, что случилось в его судьбе. За 1870-е погасли последние искры прежних пожаров, всё меньше было путешествий, и поток историй, подслушанных на постоялых дворах, в дилижансах и поездках, питавших его два с лишним десятка лет, обмелел совершенно. Он оказался на дне.

В свои пятьдесят Лесков был «приземистым, широкоплечим, с короткой шеей, с большой седой головой, с многочисленными на черепе волосами и с чрезвычайно живыми, темными и казавшимися черными, яркими гла-

зами»<sup>866</sup>. Он выглядел грузным, не очень здоровым, дышал трудно, двигался тяжело, однако глядел остро, зорко и по-прежнему был жаден до новых встреч, свежих впечатлений — только их становилось всё меньше. Что было делать, о чем писать, когда обо всём, что пережил, увидел, подметил и занес в записную книжечку, уже рассказано?

Он погружается в русскую историю, теперь уже не только церковную. Именно с 1880 года начинается активное сотрудничество Лескова с «Историческим вестником» Сергея Николаевича Шубинского, где публикуются его рассказы о прошлом и очерки на исторические темы. Несколько крупных очерков, написанных для этого журнала («Иродова работа. Русские картины в Остзейском крае», «Народники и расколоведы на службе», «Русские деятели в Остзейском крае» и др.)<sup>867</sup>, он посвящает российской политике в Прибалтике, выступая и против насилия над старообрядцами, эстонцами и латышами, и против немецкого высокомерия по отношению к русским, — словом, как обычно, отстаивает национальную самобытность и религиозную свободу каждой нации, живущей в прибалтийских губерниях.

Во второй половине 1880-х Лесков погружается в литературные эксперименты, жонглирует разноцветными шариками жанров: сказки, «рассказы кстати», рождественские истории, легенды или вдруг аллегория о Помпоне — адвокате, дельце, любимце женщин. Но внезапно выясняется, что Помпон — карликовая разновидность астр, поэтому и окружают его Душистый Горошек, Ноготки, Скабиоза, одуванчики и «зеленомая дыня с яблочным запахом»<sup>868</sup>. Факир-автор превратил в цветок реального человека, Паира (Петра) Львовича Розенберга, того самого, который когда-то от имени еврейского сообщества попросил его написать записку о положении евреев в России, миниатюрного брюнета-франта<sup>869</sup>, послужившего прототипом и для другого лесковского героя — Пумперлея из одноименного рассказа. Его невозможно было не заметить: почти карлик с бритой губой, черной бородкой и ежиком волос, при том с репутацией донжуана.

Еще недавно персонажи толпились у порога лесковского кабинета, готовые сюжеты сами рвались на бумагу. Тогда и жанровая прихотливость была ни к чему. Теперь, когда поток жизненных впечатлений иссяк, писалось всё тяжелее. Выдумывать, как не раз признавался Лесков, ему всегда было нелегко<sup>870</sup>. Это было правдой лишь отчасти —

недаром же родные прозвали его «фантазером». Но теперь Лесков заклинал своих адресатов: присылайте интересные сюжеты, анекдоты, истории. 28 декабря 1884 года он писал ветеринарному врачу и собирателю писательских автографов Г. Л. Кравцову:

«Если захотите быть мне полезным — не забудьте, что всякая умно наблюденная житейская история есть хороший материал для писателя. Сообщите мне при случае что-нибудь такое, что может быть предметом повести или сказа»<sup>871</sup>.

Он приобрел в книжной лавке записки «о скандалах 30—40-х годов», из которых хотел вырастить цикл «Бытовые апокрифы (по устным преданиям об отцах и братиях)»<sup>872</sup>. Замысел полностью так и не осуществился, однако тяготение к циклу, к мозаичным россыпям текстов — еще одна черта последнего лесковского творческого десятилетия.

Тогдашние сочинения Лескова — дробный танец, чечетка. На этот раз отточенная мелкость движений выдает не только природную тягу к анекдоту, но и неготовность выступить в крупной форме. Упорные попытки написать роман о «человеке без направления» так и не приносят плодов.

Неожиданное косвенное доказательство того, что ощущение прожитой жизни и пустоты переполняло в эти годы нашего героя, находим у М. О. Меньшикова. В последние годы жизни Лескова Меньшиков, который был на 30 лет младше, сделался тем не менее одним из самых близких ему людей. Он высоко чтит талант автора «Соборян» и написал о нем ставшую классической статью «Художественная проповедь», где одним из первых заговорил о внутренних противоречиях Лескова. А еще Меньшиков вел дневник. Нижеприведенная запись сделана в середине 1890-х годов, но описывает, судя по всему, середину 1880-х: «*О Лескове*: лет 7—8 т[ому] н[азад] он страшно пьянств[овал] и развратн[ичал], отчего и жаба. Возвращ[ался] дом[ой] ночью с Атавой, вчетвером, и так и рушился на пол. Готовил ванну, всегда очень пьян[ый], одн[ажды] чуть не сварили в ванн[е], откр[ыв] горяч[ий] кран. Начинал пить с дорогих вин, потом наливки, настойки и всё прикончит. До денег был жаден страшно. Вечер[ом] придешь — чай; просишь — пошлите, Н. С., хоть за ветчиной. Роемся, роемся



в кош[ельке] — у меня нет мелочи. Позв[ольте], я пошлю. Он и рад. Принесут ветч[ины], ростб[иф] — схожу на кухню, приготовлю, он блаженств[ует]. Делал так много. Бертенсон\* гов[орил], что он мог бы совсем вылеч[иться] от грудн[ой] ж[абы], если бы, как Григор[ович], поех[ал] за границу. Жадн[ость] одолела»<sup>873</sup>.

Шестнадцатого апреля 1886 года пришла печальная весть из Киева — умерла Мария Петровна. Накануне Алексей Семенович сообщил старшему брату о нездоровье матери; конечно, стоило навестить ее, но Николай Семенович сам чувствовал себя неважно. После длинного перерыва он побывал в Киеве с Андреем в июле 1880-го, все соскучились, встречи с родственниками прошли тепло. Следующим летом Лесков с сыном приехал снова, но в этот раз уже не был так весел и уехал раньше, чем предполагалось. С тех пор пять лет у киевской родни он не бывал, а на скорбную депешу брата откликнулся торжественно и почти официально: благодарил Алексея Семеновича и его жену Клотильду Даниловну за то, что «соблюли» мать «до последнего вздоха», заботились о ней и проявляли любовь. Ни единого теплого слова о самой покойной в письме не прозвучало, разве что вырвался краткий вздох: «Мать, родившая и вскормившая нас грудью, во гробе... Течение жизни ее было не кратко и, как всё земное, должно было иметь свое окончание, но тем не менее на душе томно и остро...»

Мир пустел. Дрона вырос и покинул отчий дом. Лескову стало совсем одиноко. Он то и дело болел, а чаще, кажется, скучал и любую простуду готов был выдать за воспаление легких. Ему хотелось, чтобы его жалели. Он и сам готов был любить и жалеть — только не тех, кто дан ему судьбой и родством. Кажется, именно в это время усилился его гедонизм. Наконец, в его жизни появилась «сиротка» Варя.

В 1882 году к Лескову поступила новая горничная Екатерина Антоновна Кукк, или просто Кетти. Вскоре на Фурштатской поселилась и ее дочка Варя, до этого жившая в бедном чухонском приюте под Петербургом. По правилам подобных заведений, если бы мать не забрала дочку в четыре года, то потеряла бы на нее права.

---

\* *Лев Бернардович Бертенсон* (1850—1929) — бальнеолог, лейб-медик, лечащий врач Лескова.

Лесков предложил поселить девочку в своем доме. Он быстро к ней привязался, стал сажать за обедом за свой стол, что впоследствии с негодованием отмечал его сын, отчаянно ревновавший отца к Варе<sup>874</sup>.

В 1884 году Лесков по совету врачей отправился на курорт Мариенбад, где поправлял здоровье почти десять лет назад. Оттуда он слал Кетти чрезвычайно доверительные письма о своем самочувствии и лечении. В письме от 6 (18) июля, например, отчитывался:

«Встаю в 4 часа утра и ложусь в 9 — всякий день. Ем — утром ветчину без жиру (здесь так продают обрезанную) и 2 яйца, которые варю сам в чайнике, в 1 час обедаю: бульон с яйцом, бивштекс (так. — *М. К.*) durch gebrannt\* и gemischder (gemischt? — *М. К.*) Kompott (pflaumen, kirschen und apricosen zusammen)\*\* — вечером пью маленький кофейничек ferkiert (3 части молока и 1 часть кофе с 1 кус[ком] сахара). Кашель всё-таки еще продолжается и мокроты идет много. Воды пью Kreuzebrunen — 4 кружки по 10 унций в каждой, да по одной кружке Lizge Molken. Слабит в день раз пять, иногда шесть и всё черным, как землю. Это всё старая заваль из желудка и кишок...»<sup>875</sup>

Делать на основании этого заключение, что Лескова и Кетти связывали романтические отношения, наверное, не стоит — в таком случае сообщать подробности о количестве и цвете стула Лесков, вероятно, не стал бы. Тем не менее это были отношения совершенно домашние. Они прервались осенью 1885 года<sup>876</sup> — кажется, Кетти просто не в силах была дальше выносить поучения и деспотизм Лескова, который мог, например, написать ей:

«...Вы женщина честная и хорошая. А впрочем, желаю Вам на досуге обдумать свой характер и постараться его изменить к лучшему, чем можете доказать дочери свою любовь к ней. Мать, которая решилась подвергать дитя всяким случайностям перемен из-за своего глупого нрава — не стоит похвалы и уважения»<sup>877</sup>.

После отъезда матери Варя осталась у Лескова. Скорее всего, он сам этого очень хотел. «Сиротка» скрашивала одиночество, приходила к нему и грела постель. С восторгом

---

\* Прожженный (*нем.*).

\*\* Смешанный компот (сливы, вишни и абрикосы вместе) (*искаж. нем.*).

он рассказывал знакомым, как однажды Варенька обмочила его кровать, когда он, «любя, чтобы около него “что-нибудь дышало”, положил ее к себе в ноги»<sup>878</sup>. Очевидно, для того же — чтобы рядом “что-нибудь дышало” — в последние годы Лесков завел двух белых пудельков и попугая.

Разумеется, он смертельно оскорбился бы подобной параллели. Девочка была зримым доказательством его щедрости, а заодно и смысла существования. Правда, рассказывая, как нежно он заботится о ней, покупает новые платья и игрушки, он умалчивал о том, что содержание Вари в основном по-прежнему лежало на плечах ее матери (это ясно из переписки).

И всё-таки он растил Варю и заботился о ней всерьез. Она получила фамилию Долина. Лесков отдал ее учиться в немецкую гимназию Святой Анны (Annenschule), одну из лучших в Петербурге. Впоследствии, в 1913 году, она окончила Санкт-Петербургский женский медицинский институт, стала врачом, дважды была замужем и прожила достойную жизнь. Ее дочь от второго брака Кира Александровна Дюнина написала воспоминания, которые еще ждут исследования и публикации<sup>879</sup>.

Андрей Николаевич Лесков, очевидно, ни с кем из Вариных родных общение не поддерживал. Зато он с видимым удовольствием привел в своей книге длинное высказывание писательницы Любови Яковлевны Гуревич об отношениях отца и его воспитанницы: «Мне думается, что, оставляя ее подле себя (вероятно, он имел бы возможность устроить ее иначе), он хотел устранить то чувство одиночества, которого он не мог по временам не испытывать, хотел иметь подле себя “своего” человека — человека, над которым он имел бы определенные права, вернее — известную власть. А вместе с тем жила ведь в нем потребность “творить добро”, и заботы его о Варе, хотя бы и более или менее внешние, давали ему удовлетворение в этом смысле. Но живой, непосредственной любви к ней у него, мне кажется, не было. Не было такой любви и у нее к нему. Я это раз почувствовала, когда мы с Л. И. Веселитской приехали к Николаю Семеновичу в Меррекуль и, встреченные по его поручению Варей, ехали с ней вместе к нему на дачу. Я живо помню, что Варя рассказывала по дороге... Она это рассказывала с явно недобрым чувством к нему, и у меня не осталось даже убеждения, что она говорит правду... Варя всего этого не могла осмыслить тогда, конечно, и в тоне своем несомненно осуждая Николая Семеновича за то,

что она нам сообщала, но ведь и осуждение бывает разное в зависимости от того, любишь или не любишь того, кого осуждаешь. В ее осуждении не было ни тени душевной детской тревоги перед тем противоречием, которое она видела в жизни Николая Семеновича, а именно что-то недоброе, как у человека, который не может простить другому каких-то личных обид»<sup>880</sup>.

Некоторая надуманность истории с «сироткой» и в самом деле очевидна.

Последнее десятилетие жизни Лескова оставляет странное ощущение: ему словно нечего стало делать на этом свете, зачем жить.

Биографу невольно приходится ускорять шаг.

Помимо сиротоприимства Лесков увлекся в это время вегетарианством — сначала по совету доктора, а затем втянулся, придумав другое объяснение отказу от мяса. Однажды в деревне ему довелось увидеть ловлю перепелов. Птицы, посаженные в мешок, страшно бились. Охотник вынимал их по одной и отрывал головы, а они ненадолго взлетали. «Эта сцена, — говорил Лесков, — произвела на меня удручающее впечатление. Мне казалось, что из шеи бедных птиц брызжет не кровь, а сама жизнь. С тех пор учение вегетарианцев, казавшееся мне прежде смешным, представилось мне в совершенно новом освещении»<sup>881</sup>.

А еще для здоровья было полезно ходить. И он продолжал ходить — к букинистам на Литейный и на Александровский рынок, с палкой, в енотовой шубе, меховой шапке с козырем, сам незаметно превратившийся в «антика», хранителя экзотических знаний и необыкновенных историй.

Часто принимал гостей. «Что-то поповское было в лице хозяина, грузного пожилого мужчины с хитрыми хохлатками глазами и несколько циничными манерами. При всем своим вольнодумстве Лесков с особенною нежностью говорил о культе икон и о ликах святых, изображения которых висели у него на стенах»<sup>882</sup> — таким запомнил его один из посетителей.

И, конечно, он продолжал писать, составлять мозаику в циклы. Писал всё язвительнее и изощреннее, всё безжалостнее клеймил «церковников» и чиновников (в «Заметках неизвестного» и «Рассказах кстати»), но придумал себе и отдых, дольнюю обитель, где окружал себя людьми светлыми, чистыми, ласковыми.

## Праведники

В 1886 году в типографии Суворина Лесков выпустил сборник рассказов «Три праведника и один Шерамур».

Сам автор шутливо объяснял появление этого цикла беседой с одним «большим русским писателем» (это был Алексей Феофилактович Писемский), которую он пересказал в предисловии к сборнику. Позволим себе привести обширную цитату:

«При мне в сорок восьмой раз умирал один большой русский писатель. Он и теперь живет, как жил после сорока семи своих прежних кончин, наблюдавшихся другими людьми и при другой обстановке.

При мне он лежал одинок во всю ширь необъятного дивана и приготовлялся диктовать мне свое завещание, но вместо того начал браниться.

Я могу без застенчивости рассказать, как это было и к каким повело последствиям.

Смерть писателю угрожала по вине театрально-литературного комитета, который в эту пору бестрепетною рукою убивал его пьесу. Ни в одной аптеке не могло быть никакого лекарства против мучительных болей, причиненных этим авторскому здоровью.

— Душа уязвлена, и все кишки попутались в утробе, — говорил страдалец, глядя на потолок гостиничного номера, и потом, переводя их (глаза. — *М. К.*) на меня, он неожиданно прикрикнул:

— Что же ты молчишь, будто чёрт знает чем рот набил. Гадость какая у вас, питерцев, на сердце: никогда вы человеку утешения не скажете; хоть сейчас на ваших глазах испушай дух.

Я был первый раз при кончине этого замечательного человека и, не поняв его предсмертной истомы, сказал ему:

— Чем мне вас утешить? Скажу разве одно, что всем будет чрезвычайно прискорбно, если театрально-литературный комитет своим суровым определением прекратит драгоценную жизнь вашу, но...

— Ты недурно начал, — перебил писатель, — продолжай, пожалуйста, говорить, а я, может быть, усну.

— Извольте, — отвечал я, — итак, уверены ли вы, что вы теперь умираете?

— Уверен ли? Говорю тебе, что помираю!

— Прекрасно, — отвечаю, — но обдумали ли вы хорошенько: стоит ли это огорчение того, чтобы вы кончились?

— Разумеется, стоит; это стоит тысячу рублей, — проstonал умирающий.

— Да; к сожалению, — отвечал я, — пьеса едва ли принесла бы вам более тысячи рублей, и потому...

Но умирающий не дал мне окончить: он быстро поднялся с дивана и вскричал:

— Это еще что за гнусное рассуждение! Подари мне, пожалуйста, тысячу рублей и тогда рассуждай как знаешь.

— Да я, — говорю, — почему же обязан платить за чужой грех?

— А я за что должен терять?

— За то, что вы, зная наши театральные порядки, описали в своей пьесе всё титулованных лиц и всех их представили одно другого хуже и пошлее.

— Да-а; так вот каково ваше утешение. По-вашему небось всё надо хороших писать, а я, брат, что вижу, то и пишу, а вижу я одни гадости.

— Это у вас болезнь зрения.

— Может быть, — отвечал, совсем обозлясь, умирающий, — но только что же мне делать, когда я ни в своей, ни в твоей душе ничего, кроме мерзости, не вижу, и за то суще мне Господь Бог и поможет теперь от тебя отворотиться к стене и заснуть с спокойной совестью, а завтра уехать, презирая всю мою родину и твои утешения.

И молитва страдальца была услышана: он “сущее” прекрасно выпался, и на другой день я проводил его на станцию; но зато самым мною овладело от его слов лютое беспокойство.

“Как, — думал я, — неужто в самом деле ни в моей, ни в его и ни в чьей иной русской душе не видать ничего, кроме дряни? Неужто всё доброе и хорошее, что когда-либо замечил художественный глаз других писателей, — одна выдумка и вздор? Это не только грустно, это страшно. Если без трех праведных, по народному верованию, не стоит ни один город, то как же устоять целой земле с одною дрянью, которая живет в моей и в твоей душе, мой читатель?”

Мне это было и ужасно, и несносно, и пошел я искать праведных, пошел с обетом не успокоиться, доколе не найду хотя то небольшое число трех праведных, без которых “несть граду стояния”, но куда я ни обращался, кого ни спрашивал — все отвечали мне в том роде, что праведных людей не видывали, потому что все люди грешные, а так, кое-каких хороших людей и тот и другой знавали. Я и стал это записывать. Праведны они, — думаю себе, — или неправедны — всё это надо собрать и потом разобрать: “что тут возвышается над чертою простой нравственности” и потому “свято Господу”»<sup>883</sup>.

Живость и веселье, с какими сочинена эта сцена и дано объяснение, отчего Лесков решил писать о «праведниках», отлично драпируют то очевидное для тогдашних читателей

обстоятельство, что мысль изображать «хороших людей» была, мягко говоря, не оригинальна. Русская критика на протяжении 1840—1860-х годов постоянно обращалась к вопросу о необходимости не только клеймить в литературе недостатки, но и описывать идеал, «положительное начало»<sup>884</sup>. Этому, опираясь на идеи Шеллинга о «положительной философии», посвящали свои выступления консерваторы и революционеры, Анненков и Белинский, Бакунин и Добролюбов.

О том же много писал Михаил Никифорович Катков. «Лишь тогда отрицание бывает делом жизни, когда служит, и только служит, положительным целям. Но отрицание ради отрицания, — разрушение и разложение, — это дело смерти, а не жизни. <...> Наши так называемые прогрессисты воображают, что чем больше будет поломано, побито и уничтожено, тем больше окажется и прогресса. Увы, они ошибаются! В разрушении ищите чего хотите, только не прогресса. Успех только там, где с приобретением нового не теряется прежде бывшее и вся сила прошедшего сохраняется в настоящем. <...> Прогресс возможен только там, где есть положительное начало, и чем крепче убеждение в нем, тем вернее совершается дело прогресса»<sup>885</sup>, — чеканил он в программной статье «Кое-что о прогрессе», опубликованной в «Русском вестнике» в 1861 году и направленной против нигилизма.

Позднее, уже в начале 1870-х, Катков с помощью авторов-единомышленников (Достоевского, Крестовского, Авсеенко и др.) решил сформировать в «Русском вестнике» специальное литературное направление, которое будет противостоять разрушению и отрицанию в обществе и утверждать «положительный тип». Однако воплощение этого типа не меньше волновало умы авторов противоположного лагеря. Критик народнического толка Николай Михайловский писал в оппозиционных «Русскому вестнику» некрасовских «Отечественных записках»: «Мы, кажется, так умеем ценить добродетель, ум, талант, заслуги, так любим служить панихиды и справлять юбилеи. А между тем “герой”, в смысле положительного типа, нам почти неизвестен в беллетристике. Это, в сущности, такая же условная фигура, как “первый любовник”, “комическая старуха”, “благородный отец” и т. п. на сцене. Это — “амплуа” и только. Наши большие художники или совсем избегают этого амплуа, или не умеют с ним справиться». Михайлов-

ский объяснял эту неудачу тем, что всякий художник боится соскользнуть в «ходульность и риторику»<sup>886</sup>.

В Лескове тяга к изображению «хороших людей» жила с первых же шагов в литературе. Задолго до выхода сборника у Суворина он в своей прозе писал портреты праведников: лекарь Сила Иванович Крылушкин; убогонький Котин доилец, на последние гроши воспитывающий сирот; ироничный и вместе с тем простодушный отец Евангел, истовый протоиерей Савелий Туберозов, княгиня Протозанова, карлик Николай Афанасьевич, учитель Червев.

В 1886 году Лесков свою склонность, наконец, концептуализировал и отправил гулять по полям русской словесности пеструю компанию «антиков», тихих, жертвенных, бесстрашных, чаще всего непонятых миром: квартальный Рыжов, живущий на жалованье («Однодум»); «смирный» уездный доктор «из поляков» Виктор Ксаверьевич Черешневский, также ограничивающийся «царским жалованьем» и не берущий плату с пациентов («Бессребреник»); директор Варшавской канцелярии действительный статский советник Иван Фомич Самбурский («Русский демократ в Польше»); умелец Левша, сказ о котором автор также включил в цикл «Праведники»; молочник Голован, не боящийся сибирской язвы и ухаживающий за больными («Несмертельный Голован»); любящий даже до смерти швейцар Певунов («Павлин»). К ним относились и бесстрашный директор Первого кадетского корпуса генерал-майор Михаил Степанович Перский; «теплый сердцем», тратящий все свои немалые средства на «приданое» бедным кадетам экононом Андрей Петрович Бобров; добрый, твердый и просвещенный доктор Зеленский («Кадетский монастырь»); бескорыстный офицер и донкихот, не выдержавший несовершенств людей, Николай Фермор («Инженеры-бессребреники»); кормилец всех, кто голоден, «чрева ради юродивый» Шерамур («Шерамур»); народный заступник отставной артиллерийский полковник Кесарь Степанович Берлинский («Печерские антики»); бескорыстный Селиван («Пугало»); рядовой Постников, спасший человека от смерти («Человек на часах»); главные герои повестей «Прекрасная Аза», «Скоморох Памфалон» и «Гора». Все они не живут, а служат, отдавая себя другим<sup>887</sup>. «Таких людей достойно знать и в известных случаях жизни подражать им...» — ничуть не боится Лесков дидактики и идеально вписывается в литературную программу Каткова, давно ждавшего, когда же писатели оставят обличения и возьмутся, наконец, за изображение «положительного типа».



Ежедневный подвиг, а не импульсивный героизм — вот что такое праведность по Лескову:

«Прожить изо дня в день праведно долгую жизнь, не солгав, не обманув, не слукавив, не оговорив ближнего и не осудив пристрастно врага, гораздо труднее, чем броситься в бездну, как Курций\*, или вонзить себе в грудь пук штыков, как известный герой швейцарской свободы\*\*»<sup>888</sup>.

А еще праведники «смирненного ересиарха» обычно «неправильны» — своей человечностью и искренностью они противостоят любым формальным ограничениям, в том числе со стороны государства, и всё сильнее отождествлявшейся с ним в глазах автора Церкви. Истинная праведность, по Лескову, вне наций, сословий, конфессий, половой принадлежности. Поэтому его праведники — и христиане, и иудеи, и язычники, они могут неканонично покончить жизнь самоубийством — броситься в море, подобно утратившему веру в людей, но чистому душой Николаю Федоровичу Фермору. И даже указание апостола Павла, что в раю нет «ни мужского пола, ни женского», получает у Лескова неожиданное толкование: среди его праведников есть почти андрогины: Константин Пизонский, которого путают с женщиной; женоподобный благородный практик Адам Безбедович из неоконченного романа «Соколий перелет»; наконец, эконо́м Бобров из «Кадетского монастыря», от умиления рыдающий «звонко, визгливо и неудержимо, как нервическая женщина». Но это созвездие праведников существует в ясной системе ценностей, во Вселенной христианства — для Лескова всечеловеческой религии, вмещающей в себя всех и вся.

### Святочные рассказы и легенды

Не только в компании праведников утешался Лесков. Проповедовать истины добра и красоты ему помогали и рождественские истории, получавшиеся у него разными, то нежно-перламутровыми, то едкими. В его святочных рассказах

---

\* *Марк Курций* — мифический молодой римлянин, принесший себя в жертву подземным богам, бросившись в бездонную яму, которая после этого исчезла.

\*\* Вероятно, имеется в виду полулегендарный швейцарский герой Арнольд фон Винкельрид.

«Маленькая ошибка», «Жемчужное ожерелье», «Отборное зерно», «Зверь», «Привидение в Инженерном замке», «Христос в гостях у мужика», «Старый гений», «Штопальщик» непременно свершались чудеса, осуществлялась его личная утопия. В них воплощалась мечта Лескова об идеальном мире: заключались счастливые браки, разрушались козни; вершились добрые, идущие всем на пользу мошенничества; ожесточившиеся сердца смягчали, обманщики возвращали старые долги, люди беднейшего звания обретали богатство, обиженные прощали обидчиков; милость Божия, милость человеческая, мир и благоволение затапливали землю.

Если в цикле о праведниках Лесков показывал, каким прекрасным может быть человек, то в святочных рассказах — каким может быть человеческий мир: он словно бы исправлял в них невыносимость жизни, распрямлял ее кривизну. И вот уже угрюмый помещик, списанный с Михаила Страхова, родного дяди-монстра, превращался в ласкового диккенсовского дядюшку («Зверь»), а скупой и мнительный отец невесты становился щедрым дарителем («Жемчужное ожерелье»). Любопытно, что Лесков корректировал и жизнь персонажей собственных произведений. Злодею Фирсу Князеву и безвольному, ограбленному им племяннику Ивану Молчанову из давней пьесы «Расточитель» он в рассказе «Христос в гостях у мужика» подарил примирение и взаимную любовь: бессильным, застывшим в снежной буре стариком пришел вчерашний злодей в дом к Ивану, которому когда-то сломал жизнь, а тот вовсе не в безумии, как в пьесе, а в трезвом уме и доброй памяти простил дядю.

Лесковские чудеса всегда свершались без привлечения мистики, имели рациональное объяснение, как бы ни сердился когда-то на это Достоевский: в их основе лежали чьи-то остроумие, смекалка, доброта, щедрость или даже чрезмерная спесь, как у выбившегося в люди героя «Штопальщика», не пожелавшего носить одну фамилию с бедным Мастером и подарившего ему дом и другое имя. В 1880-е годы Лесков сочинил около десятка таких рассказов, хотя некоторые записал в святочные уже задним числом, добавив рождественского колорита для сборника, так и названного — «Святочные рассказы» (1886).

В те же годы Лесков увлекся сочинением легенд — расшивал цветными узорами истории, заимствованные из древнерусского Пролога, часто переиначив и перелицевав

до неузнаваемости. На страницы высыпали фокусники, танцовщицы, родовспомогатели, певцы; цветочницы, продававшие и розы, и себя; жрецы и виночерпии. Христианские легенды Лескова получились живописны до рези в глазах: синеокие кувшины с золотистым вином склонялись над чашами; зрели яблоки, абрикосы, персики, лимоны, сочные груши и апельсины; благоухали лилии, розы и жасмин. «Пиликан» всё играл на скрипочке. Под пальмой пастух развесил ветошки, вокруг прыгали желтые козы. Скала сияла рубинами в лучах отходящего солнца, холмы отливали аметистом.

Форма легенды была созвучна природе художественного дара Лескова, склонного к притче, сказке, анекдоту, однако до тех пор он еще не испытывал ее всерьез. Переложенные на язык художественной прозы легендарные сюжеты вошли в России в моду на рубеже 1870—1880-х годов благодаря популяризации Тургеневым легенд Флобера, переводам исторических романов о Древнем Египте немецкого египтолога Георга Эберса, «Флорентийской легенды» английского романтика Джеймса Генри Ханта и, наконец, беллетризованных текстов Эрнеста Ренана о первых веках христианства.

В предисловии к «Скомороху Памфалону», которое Лесков в итоге не стал печатать, он прямо признавался:

«Теперь, пока этот литературный жанр в моде и пока он еще не надоел публике, надо этим пользоваться и показать, что он интересен не с одной только той стороны, которая с беспримерным художественным мастерством эксплуатируется графом Львом Николаевичем Толстым»<sup>889</sup>.

Он сочинил девять «византийских» легенд, опирающихся на Пролог: «Гора», «Повесть о богоугодном дровоколе», «Прекрасная Аза», «Легенда о совестном Даниле», «Скоморох Памфалон», «Лев старца Герасима», «Аскалонский злодей», «Сказание о Федоре-христианине и о друге его Абраме-жидовине», «Невинный Пруденций». К ним примыкали написанные на русском материале «Под Рождество обидели», «Дурачок», «Час воли Божией», «Маленькая, голова баранья».

Художественность, тонкость выделки повествовательной ткани, сочные краски, изящество узора при пересказе византийских легенд, кажется, тешили Лескова не меньше — больше! — основной идеи. Недаром так полюбились

они Дмитрию Мережковскому, который вставил (пусть и в сноске) похвалу Лескову в свою программную статью «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», излагавшую основные принципы символизма. «Огромный талант-самородок, вечно неожиданный, оригинальный, близкий к духу народа, он слишком мало оценен нашей поверхностной критикой, — сетовал Мережковский. — Его мистические легенды из “Пролога” — очаровательны. Какая неувядаемая свежесть, какая наивная и младенческая грация! Эти тысячелетние, засохшие цветы с едва заметным слабым ароматом, заложенные между пыльными пергаментными страницами древнецерковных или раскольничьих книг, под пером художника каким-то чудом вдруг оживают, распускаются, вспыхивают вешними красками, как только что расцветшие, как только что сорванные»<sup>890</sup>.

Это стоит помнить, имея дело с поздней прозой Лескова: он создавал ее в эпоху, когда уже родились все, кто вскоре составит славу Серебряного века, — Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Пастернак; но пока они были еще младенцами, пока только читали букварь. Тем не менее символисты в отечественную литературу уже явились — Мережковский, Брюсов, опубликовавший в 1894—1895 годах три альманаха «Русские символисты». Чудные воспоминания на двух страницах о старике Лескове написала Зинаида Гиппиус: тот, глядя на нее острыми «светлыми» и «злыми» глазами, уверял, что в одном из его перстней — в этом (снял, показал) — под круглым непрозрачным камнем хранится яд, и сказал, что перстень этот носит всегда<sup>891</sup>. Гиппиус и сама понимала, что это, скорее всего, блеф, импровизированная сказка для симпатичной молодой соседки. Но сцена характерная, история — яркая. После слов о яде оба улыбнулись. Оттого, что мы узнали о перстне с ядом из уст Гиппиус, история о гибели, заключенной в перстне, кажется еще и немного декадентской.

Публично правда Лесков новые литературные веяния не одобрял: «Нужно не описание красоты, а ее влияние на облагораживание характера» — и не сомневался, что любители красоты, оторванной от морали и нравственной пользы обществу, долго не протянут: «Знаю только, что при большей свободе печати все эти “чистые” художники, символисты, метафизические идеалисты и измопассанившиеся беллетристы сами собой должны будут улетучиться из коренной русской литературы. Настоящие литератур-

ные темпераменты сотрут их, и у последних не найдется ни уменья, ни духу бороться за свои знамена. Они должны защищать нынешнее положение печати и находить, что литература делает прекрасно свое настоящее дело»<sup>892</sup>.

Поэтому и в легендах он на уровне пальцев любил раскраску, а умом ценил мораль, в его «византийских» сочинениях совсем простую: истинная святость заключается в добрых поступках и скромности. Именно по молитве простого дровосека, чьими основными добродетелями являются честный труд и смирение, начинается дождь, спасающий всех от засухи («Повесть о богоугодном дровоколе»). Заглавный герой «Скомороха Памфалона», легкомысленный гаер, не пожалевший, однако, своего внезапного заработка для спасения ближнего, оказывается выше пустытника Ермия, бывшего патриция, который раздал всё свое имущество и ушел в пустыню. Египтянка, вынужденная стать блудницей после того, как растратила свое имение на помощь нуждающемуся, никак не может дожидаться, когда же священники признают ее достойной крещения, и, наконец, принимает его на пороге смерти, от двух ангелов («Прекрасная Аза»). Кузнец Зенон, в борьбе с блудной страстью выколовший себе глаз, оказывается сильнее целого народа с его жрецами и способен сдвинуть гору («Гора»). Дурачок Панька смягчает даже грозного Хан-Джангара («Дурачок»). Маланья единственная во всём селе пригрет и сухорукого, и безногого, все над ней потешаются за ее простоту, а она меж тем побеждает смерть («Маланья, голова баранья»). Отец Василий из «Дворянского бунта», страдающий от запоев, однако в покаянной молитве «плачущий до ужаси и просветляющийся до прелести», превосходит в человеколюбии непьющих, но лицемерных священников и архиереев.

«Оставайся при одном учении Христа и иди служить людям», — говорит отшельник Данила («Совестный Данила»). Это и есть первая заповедь, высказанная Лесковым: истинный христианин служит людям. Если он писатель — служит своими сочинениями.

Заповедь вторая, не проговоренная им вслух, проступает сквозь все легенды с неотменимой ясностью. «Радуйтесь и веселитесь, потому что мир сей беспредельно красив, бесконечно разнообразен», — вот она, текущая светлым потоком из клюва бронзового ибиса, что стоит в мастерской художника, отзывающаяся в описаниях наряда красавицы, раскрашенных судов «с крокодилами на носах и под па-

русами пурпурного и голубого цвета», толпы «цветочниц, музыкантов, продавцов рыбы и фокусников». Лесковские легенды — сонмы красивых людей и вещей, словно помимо воли автора свидетельствующих, что мир спасет красота:

«Садовые акантусы и желтые мимозы, живые ограды из разноцветной сирени, жасмина и роз, высокие пальмы, акации и бальзамовые деревья — всё цело, благоухало и жужжало, наполненное кипучею жизнью насекомых»<sup>893</sup>.

Михаил Протопопов считал, что это соединение двух разнонаправленных желаний — славить красоту мира и проповедовать — привело Лескова к «эстетической бестактности». Критик народнического толка поставил этот диагноз в статье «Больной талант» (1890) в связи с прозой 1860-х и 1870-х годов, но не сомневался, что в 1880-е с Лесковым случился благой перелом: «больная душа писателя приблизилась к почти полному исцелению», поскольку он перешел к проповеди «морали Евангелия»<sup>894</sup>. Лесков откликнулся на подробный разбор благодарственным письмом автору, уточнив лишь, что статью о себе назвал бы не «Больной талант», а «Трудный рост». Писателю, не избалованному вниманием критики, конечно, был лестен интерес к его прозе; но возможно, он благодарил Протопопова и за проницательность: его раздвоенность и теперь никуда не делась — сменилась только вера.

Жажда проповедовать христианские истины в прозе, выступать в жанре художественной проповеди не могла не привести Лескова к тому, за кем давно уже он благоговейно наблюдал, кого всем сердцем чтит и кому посвящал статьи<sup>895</sup>. Наконец, он решился.

### Факел и плошка

Написал, отправил.

«18 апреля 1887 г., Петербург (вечером).

Сейчас заходил ко мне Павел Ив[анович] Бируков\* и известил меня, что Вы на сих днях будете в Москве. Он и

---

\* Павел Иванович Бирюков (1860—1931) — публицист, глава издательства «Посредник», один из самых верных последователей Л. Н. Толстого.

Вл[адимир] Гр[игорьевич] Чертков\* очень желают, чтобы могло осуществиться мое давнее, горячее желание видиться с Вами в этом существовании. Я выезжаю в Москву завтра, 19 апреля, и останюсь в Лоскутной гостинице. Пробуду в Москве два-три дня и буду искать Вас по данному мне адресу (Долгохамовнич[еский] пер., № 15). Не откажите мне в сильном моем желании Вас видеть и — если это письмо найдет Вас в Москве — напишите мне: когда я могу у Вас быть.

Излишним считал бы добавлять, что у меня нет никаких газетных или журнальных целей для этого свидания.

Любящий и почитающий Вас

Н. Лесков»<sup>896</sup>.

Вскоре день и час были назначены.

И вот уже пожилой слуга ведет его по крутой лестнице деревянного ветхого дома. Хозяин слышит их шаги и сам выходит навстречу, стоит на пороге комнаты. Прозрачная борода клоками, широкий нос, нависшие брови, серо-голубые внимательные глаза. Мешковатая блуза, подпоясанная ремнем. Улыбается, тянет ладонь, мягко жмет руку. И сразу родной.

Всё совпало, но оказалось лучше, чем он мог ожидать.

Лесков любил Льва Николаевича уже давно и не только как писателя — как человека. Еще в 1869 году в отклике на выход пятого тома «Войны и мира» он хвалил роман за «дух правды» в военных сценах и «прекрасную, неподражаемую картину смерти князя Андрея»: «Ни в прозе, ни в стихах мы не знаем ничего равного этому описанию»<sup>897</sup>. Кажется, именно после этого Лесков стал считать Толстого знающим о «пробуждении от сна жизни» больше остальных смертных. К концу заметки он переходит на личность самого автора, восхищаясь его «силой и духом». «Это ход большого, поставленного на твердые ноги и крепко подкованного коня»<sup>898</sup>, — говорил он в другом месте о писательской манере Толстого. «Анну Каренину» Лесков считал произведением, «делающим эпоху в романе»<sup>899</sup>. Именно выход «Анны Карениной» подтолкнул самого Лескова к написанию «общественного романа»<sup>900</sup>. Наконец, он отстаивал толстовские взгляды на христианскую любовь перед суровым Константином Леонтьевым, да и потом еще не раз публично защищал Толстого от оппонентов<sup>901</sup>.

---

\* *Владимир Григорьевич Чертков* (1854—1936) — близкий друг Л. Н. Толстого, его редактор, издатель.

Граф, конечно, знал о тех сражениях, которые вел в его защиту Лесков, читал его прозу, отдельные сочинения ценил<sup>902</sup>. В 1885 году издательство «Посредник» выпустило в одном издании с рассказами Толстого лесковский рассказ «Христос в гостях у мужика». Вряд ли это могло произойти без одобрения самого Льва Николаевича, главного вдохновителя и инициатора создания издательства, печатавшего книги для народа. За три месяца до письма Лескова, в январе 1887-го, прочтя «Сказание о Федоре-христианине и о друге его Абраме-жидовине», Толстой писал Черткову: «Статья Лескова, кроме языка, в котором чувствуется искусственность, превосходна. И по мне, ничего в ней изменять не надо, а все средства употребить, чтобы ее напечатать у нас как есть. Это превосходная вещь...»<sup>903</sup>

«Сказание о Федоре-христианине...» в «Посреднике» так и не выпустили, зато другие легенды Лескова опубликовали. Там же вышли любимые Толстым «Совестный Данила» и «Прекрасная Аза» под одной обложкой, а год спустя, тоже одним изданием, «Лев старца Герасима» и «Повесть о богоугодном дровоколе»<sup>904</sup>.

И всё же первый шаг к личному сближению сделал Лесков. Но и он очень понравился хозяину дома в Хамовниках. После встречи тот написал Черткову: «Был Лесков. Какой и умный и оригинальный человек!...»<sup>905</sup>

Их явно потянуло друг к другу, но с разной силой: Лесков в Толстого почти влюбился, а тот откликался приветливо, с искренней симпатией, но фимиама, который так густо кадил Лесков, смущался — и было отчего. «Я иду сам, куда меня ведет мой “фонарь”, но очень люблю от Вас утверждать себя, и тогда становлюсь еще решительнее и спокойнее»<sup>906</sup>, — признавался ему Лесков в письме от 14 декабря 1894 года.

Образы света, светоча, каким Толстой стал для него, постоянно повторялись в письмах Лескова ему и другим своим корреспондентам:

«Любовь и признательность к Вам питаю с великою радостью духа, который получил через Вас много света, и силы, и утешения»<sup>907</sup>.

«Это и правда: я сказал и говорю, что “я давно искал того, чего он ищет, но я этого не находил, потому что свет мой слаб. Зато, когда я увидел, что он нашел искомое, которое меня удовлетворило, — я почувствовал, что уже не нуждаюсь в своем ничтожном свете, а иду за ним и своего ничего я не ишу и не показываюсь на вид, а вижу все при свете его огромного светоча”»<sup>908</sup>.



«Говорят, я ему подражаю. Нисколько! Когда писал Толстой “Анну Каренину”, я уже был близок к тому, что теперь говорю. Я уже копал ту кучу, которую стал Лев Николаевич копать. Но только у него свет ярче, и я пошел за ним со своей плошкой. У него огромный факел, а у меня мерцает маленькая плошка»<sup>909</sup>.

«...хотя у меня светилося в сознании то же самое, что я узнал у Вас, но у меня всё было в хаосе — смутно и неясно, и я на себя не полагался; а когда услышал Ваши разъяснения, логичные и сильные, — я всё понял, будто как “припомнив”, и мне своего стало не надо, а я стал жить в свете, который увидал от Вас и который был мне приятнее, потому что он несравненно сильнее и ярче того, в каком я копался своими силами»<sup>910</sup>.

«В Вашем слове я всегда черпаю силу, которая в нем есть и которая мне доступна для усвоения. А потому я глубоко благодарен Вам за Ваше теплое и ласковое письмо»<sup>911</sup>.

Нескончаемые золотые реки меда среди темных берегов из застывшей патоки. Любви Яковлевне Гуревич Толстой однажды даже признался, что от этого тона ему «неприятно бывает»<sup>912</sup>, а об одном из писем Лескова заметил в дневнике, что оно «неприятно-льстивое»<sup>913</sup>. Но Лесков просто не умел по-другому, проявляя безмерность и в этом.

Тем не менее он был единомышленник — для проповедника иметь его всегда не лишнее, — к тому же талантливый писатель. Возможно, как человек Лесков был графу не слишком интересен, но точно симпатичен; письма ему Лев Николаевич подписывал «Любящий Вас Толстой», присоединяя иногда: «Радуюсь мысли увидеть Вас». И другим знакомым говорил о Лескове: «Он одинаковых со мной взглядов и любит людей, а не русских или немцев»<sup>914</sup>. С теми, с кем общаться ему было неприятно и тяжело, Толстой дружеских отношений не поддерживал, тем более не приглашал погостить в Ясную Поляну. И значит, угрюмые предположения Андрея Николаевича Лескова, что Толстой переписывался с его отцом только из учтивости<sup>915</sup>, ошибочны.

На 51 дошедшее до нас письмо Лескова Толстому приходится только 10 ответных писем. Но это не значит, что Толстой отвечал лишь на каждое пятое; и толстовские, и лесковские письма уцелели не все, сколько было тех и других, неизвестно. Однако и по сохранившимся видно: Лесков пишет подробно, длинно и словно просительно; Толстой отвечает лаконично, но неизменно доброжелательно и любезно.

Лесков был младше Толстого всего на три года, но в его присутствии ощущал себя, как и многие, робким юнцом. Сделаем осторожное предположение. Старший ребенок в семье, рано потеряв отца, Лесков словно бы хотел обрести в Льве Николаевиче если не отца, так учителя и заслужить его похвалу. Желание понравиться сквозило и в подчеркнутой почтительности к адресату, и в обстоятельности писем, и в словно мимоходом оброненном упоминании о сиротке Варе. 14 сентября 1891 года он писал:

«К девочке я привязан, и она меня жалеет и любит, так что разлучаться нам — это значит замучиться: она была брошенная, я ее сам на руках носил по солнышку, когда она страдала в детстве, а теперь мы сжились, и она в свои ранние годы и по духу-то родная мне стала»<sup>916</sup>.

В некоторых письмах Лесков почти исповедовался:

«Духа стараюсь не угашать и считаю это всего выше и священнее. В том, что делаю дурного, — не нахожусь на своей стороне и почитаю себя виноватым. С некоторою полнотою освободился только от зависти, от обидчивости и от опасений за будущее, — что очень долго меня мучило. <...> Тоже и не курю табаку, но “червонное вино” (как говорил дьякон Ахилка) пью умеренно “стомаха ради и многих недуг своих”»<sup>917</sup>.

Лескову всегда нужно было иметь того, пред чьей системой ценностей можно преклонить голову. Когда-то это был Герцен, потом Катков. Теперь осознать свои взгляды и понимать себя ему помогал Толстой, став, по словам историка литературы Н. К. Гудзия, «той спасительной и радостной пристанью, приближение к которой упорядочивало и просветляло страстную и противоречивую натуру автора “Соборян”»<sup>918</sup>.

На несколько лет Толстой действительно сделался для Лескова такой пристанью: тот с Львом Николаевичем советовался, у него, почти навязчиво, искал одобрения. И Толстой одобрял, поддерживал, был ласков. На вопрос, как сподручнее приносить пользу своей литературной работой, милостиво отвечал: «...желаю только продолжения Вашей деятельности, хотя это желание не исключает и другого желания, свойственного нам всем для себя, а потому и для людей, которых мы любим, чтобы они, а потому и дело их, вечно, до смерти совершенствовалось бы и становилось бы

всё важнее и важнее, и нужнее и нужнее людям, и приятнее Богу»<sup>919</sup>. Словом, продолжайте, пишите, совершенствуйтесь, я вас уже люблю — хотя любовное признание здесь плотно упаковано в сложный синтаксис.

Когда Лесков тяжело заболел, Толстой решил его навестить. Узнав об этом, Николай Семенович не обрадовался, не возблагодарил — он был потрясен:

«Сегодня вошли ко мне Ваня Горбунов и Сытин\* и сказали, что Вы знаете о моем нездоровье и даже хотели приехать, чтобы навестить меня... Меня это ужасно взволновало и растрогало, и я сладко и радостно плакал»<sup>920</sup>.

О графине Софье Андреевне Толстой, которая нового знакомого недолюбливала и не могла ему простить скепсиса в адрес толстовцев в «Зимнем дне», тот говорил: «Она нам сохранила его. Мы должны быть ей благодарны». А про сложные отношения супругов, цитируя Евангелие, восклицал: «Ей оружие прошло душу!»<sup>921</sup>

В бумагах Суворина сохранилась злая эпиграмма, посвященная Лескову. Хочется верить, не Алексей Сергеевич ее написал:

Боголюбезный лицемер,  
Ты хочешь вслед идти Толстому,  
Но шаг гиганта не пример  
Беллетристическому гному<sup>922</sup>.

Да, Лесков хотел идти вслед Толстому и действительно шел, но во взглядах — не в творчестве. Сам Лев Николаевич, когда Лескова, уже после смерти, однажды назвали его подражателем, возразил: «Его привязанность ко мне была трогательна и выражалась она во всём, что до меня касалось. Но когда говорят, что Лесков слепой мой последователь, то это неверно: он последователь, но не слепой... Лесков — мой последователь, но не из подражания. Он давно шел в том же направлении, в каком теперь и я иду»<sup>923</sup>.

---

\* *Иван Иванович Горбунов-Посадов* (1864—1940) — писатель, педагог, издатель. *Иван Дмитриевич Сытин* (1851—1934) — крупный издатель и просветитель, с 1884-го начал печатать в своей типографии продукцию издательства «Посредник», которая распространялась через его книготорговую сеть.

На уровне взглядов их действительно сближало многое. В 1898 году Толстой назвал самую важную точку пересечения с Лесковым — христианский идеализм: «Он был первым в 60-х годах идеалистом христианского типа и первым писателем, указавшим в своем “Некуда” недостаточность материального прогресса и опасность для свободы и идеалов от порочных людей. Он уже в то время отшатнулся от материалистических учений о благодеяниях государственного прогресса, если люди остаются злыми и развратными»<sup>924</sup>.

Похожи были и их представления о праведности, которая для обоих состояла в добрых делах, отвращение к государственному насилию, а также желание проповедовать в прозе, отношение к литературе как к инструменту влияния на общество. «Я, — говорил Лесков незадолго до смерти Виктору Протопопову, — люблю литературу как средство, которое дает мне возможность высказать всё то, что я считаю за истину и за благо; если я не могу этого сделать, я литературы уже не ценю: смотреть на нее как на искусство не моя точка зрения... Я совершенно не понимаю принципа “искусство для искусства”»: нет, искусство должно приносить пользу — только тогда оно и имеет определенный смысл. Искусства рисовать обнаженных женщин я не признаю... Точно так же и в литературе: раз при помощи ее нельзя служить истине и добру — нечего и писать, надо бросить это занятие»<sup>925</sup>. И не так важно, что на деле в его прозе пресная для автора мораль уступала играющим краскам жизни. На рациональном уровне он действительно искренне верил, что назначение искусства в служении истине.

Интересно, что сам Лесков, любя Толстого, недолюбливал толстовцев, находя в них немало общего с нигилистами 1860-х годов: и те и другие подчиняли жизнь идее, уходили в мелочи (толстовцы — в опрощение и неумелое книгоиздание для народа, которое, по мнению Лескова, оборачивалось выпрашиванием у писателей безгонорарных текстов). Как и рядовые нигилисты, рядовые толстовцы были гораздо мельче своих предводителей, а слово у тех и других расходилось с делом. «Они очень круто поворачивают, — говорил Лесков. — Нельзя десяти человекам жить на пяти десятинах, питаюсь горохом и отапливая избу чугушкой. Ныне и мужик прикупает землицы, улучшает харч и по праздникам ходит в сапогах и ищет иногда книжку. Всё это хорошо. А наши — если они идут в народ учиться у него “ковырять” землю и выпаживать чернозем, то мне и разговаривать с ними не о чем. Пусть остаются себе “ко-

вырялками”, если это им приятно. Я думал, что они несут в народ высшую культуру, удобства жизни и лучшее о ней понимание. А они всё себе вопросы делают: есть мясо или нет; ходить в ситце или носить посконь, надевать сапоги или резиновые галоши и т. д. Право, это неважно. Эта травяная пища и резиновые галоши, сдается мне, те же очки и пледы в шестидесятых годах. Силы уходят на малые дела... Вот гораздо важнее, чтобы, согласившись жить вместе, они не побросали бы друг друга... А то ведь это тот же нигилизм. Хорошая идея, которая губит дело, — самая гадкая идея... Нигилизм погубил себя тем, что преувеличивал свои силы, когда оказалось, что настоящих нигилистов по пальцам можно сосчитать... Кроме того, он расходовался на мелочи, как и толстовщина. Ах, какая это пророческая книга “Некуда”! Ведь вот второй раз в своей жизни я вижу перед собой тех же легких людей, увлеченных теорией, но на которых нельзя положиться. Здесь не виноваты учителя: прежде Герцен и Чернышевский, а теперь Л. Толстой. Легкие люди по наследству нам достались, а наши учителя дают им только направление. А если вы хотите громкими именами кодифицировать свою жизнь, то в подробностях запутается и Лев Николаевич. Толстовцы — немножко чище нигилистов, но характер тот же: та же фраза и невозможность положиться на нее»<sup>926</sup>.

Лесков не принимал и толстовского принципа «противления злу насилеием», считая, что злу необходимо противостоять и что сам Толстой ему сопротивляется. И совсем уж не близко ему было толстовское отношение к браку, семье, положению женщины в обществе. «Крейцера соната» не раз становилась для него поводом для полемики: «Мне... “кривинкою” кажется то, что касается отношения полов — брака, чадорождения и проч., к сему подходящего. Здесь я чувствую какую-то резкую несогласимость с законами природы и с очевидною потребностью для множества душ явиться на зёмле и проявить себя в исполнении воли Творца. Тут я Л[ьва] Н[иколаевича] не понимаю и отношу его учение к крайностям его кипучего, страстного духа, широкого в своих реяниях во все стороны. <...> Множиться людям надо, — иначе род наш станет на том, на чем мы сейчас стоим, и в этом состоянии человечество еще не годится к воссоединению с тем, от чего оно отпало, после того как “была брань на небеси”»<sup>927</sup>.

Но эти расхождения не мешали самому пылкому поклонению.

С 24 по 26 января 1890 года Лесков гостил у Толстого в Ясной Поляне. О чем они говорили, неизвестно, но, когда гость уезжал, хозяин отправился его провожать — «поехал сам кучером в Тулу». Значит, рад был провести лишние два часа вместе с Лесковым. Тот год спустя написал Толстому: «Я часто вспоминаю — как мне у Вас было хорошо».

В начале марта 1890 года Толстому недужилось. Работать он не мог, а читать — вполне, и взялся за собрание сочинений Лескова. На тот момент в свет вышло уже восемь томов. «Читаю Лескова. Жалко, что неправдив. Как сказать это»<sup>928</sup>, — записал Толстой 10 марта в дневнике.

Да, самые большие разногласия между ними вновь, как и в случае с Достоевским, лежали в области эстетической. «Эссенция» Лескова была и для Толстого «неправдой». «Словно на луне происходит», — писал Достоевский о «На ножах». Но Лесков — чем дальше, тем отчетливее — по отношению к жесткому реалистическому письму и впрямь становился лунатиком.

Это особенно явно открылось в прямом творческом диалоге, завязавшемся у него с Толстым.

Однажды Толстой предложил Лескову написать сказку. В центре — три вопроса: какой час важнее всех, какой человек нужнее всех, какое дело дороже всех. Лесков откликнулся. Работал вдохновенно, написал много — авторский лист! «Сказка о короле Доброхоте и простоволосой девке» (позже автор переименовал ее в «Час воли Божией») была опубликована в одиннадцатом номере журнала «Русское обозрение» за 1890 год; Лесков тут же отправил свежее отпечатанный номер Толстому и просил обязательно прочесть.

Толстой раскрыл журнал не без любопытства. И что же?

Ясная притча о главном — о ценности настоящего, происходящего в данный момент, — под пером Лескова обратилась в балаган и раешник! Лесков придумал государство короля Доброхота, который никак не мог получить ответы на три проклятых вопроса. Он добивался их сначала у старцев-отшельников — те, поскольку ходить уже не могли, были доставлены к нему в соломенных плетущечках: на дно каждой настлали «сена пахучего и мягкого волокнистого мху с старой сосны», а сверху присыпали «пухом и драными перьями, чтобы было во что закопаться пустынночкам».

Можно только предполагать, какая аллергия развилась у Толстого от этого мха и перьев, какая головная боль началась и от впрыгнувшего в историю гудошника:

«Разлюляй-измигул\*, гулевой мужичонко, шершавенький, повсегда он идет в зипунишке в пестреньком — один рукав кармазинный\*\*, а другой лазоревый, на голове у него су-конный колпак с бубенчиком, штаны пестрядинные, а под-поясочка лыковая, — не жнет он и не сеет, а живет незнамо чем, и питает еще хозяйку красивую да шестерку детей, — на которого ни глянь, сразу знать, что все — Разлюляевичи»<sup>929</sup>.

Зачем, зачем было вставлять в сказку всех этих балалаечников? Но ведь это же Лесков. Остановиться он был не в состоянии.

Раздобыть ответы на три заветных вопроса удалось как раз Разлюляю. Тайну ему открыла девица-разгадчица, да какая!

«А там, прислонившись у дерева, стоит ветвяной шалаш, а пред тем шалашом старый пенёк, а на пне сидит молодая пригожая девушка, с большою русою косой, в самостанной сорочке, и прядет овечью шерсть, а лицо ее добротой всё светится. Вокруг нее ходит небольшое стадо овец, а у самых у ее ног приютился старый, подлезлый заяц, рваные уши мотаются, а сам лапками, как кот, умывается»<sup>930</sup>.

При девице, кроме зайца, имеются и журавль с большой ножкой, увязанной в лубочек, и коза с драным боком, которых она лечит. И вновь этот зверинец занимает Лескова, несомненно, больше, чем самое главное. Какой час важнее всех, какой человек нужнее всех — да какая разница! Не забавнее ли эти вот старички, Разлюляй и журавль с козой?

Толстой подавил горечь и составил в ответ образцовое по учтивости послание:

«Получил Ваше последнее письмо, дорогой Николай Семенович, и книжку “Обозрение” с Вашей повестью. Я начал читать, и мне очень понравился тон и необыкновенное мастерство языка, но... потом выступил Ваш особенный недостаток, от которого так легко, казалось бы, исправиться и который есть само по себе качество, а не недостаток — *exubérance\*\*\** образов, красок, характерных выражений, которая Вас опьяняет и увлекает. Много лишнего, несоразмерного, но *verve\*\*\*\** и тон удивительны. Сказка всё-таки

---

\* Измигул — лентяй, дармоед.

\*\* Кармазин (от *араб.* кермес — кошениль) — темно-красный цвет.

\*\*\* Избыток, излишество (*фр.*).

\*\*\*\* Воодушевление, пыл (*фр.*).

очень хороша, но досадно, что она, если бы не излишек таланта, была бы лучше»<sup>931</sup>.

Что это — критика или похвала? «Излишек таланта» — комплимент или обличение? Лесков воспринял отзыв Толстого как похвалу:

«Вчера получил Ваше письмо, и оно меня особенно обрадовало. Я всё укорял себя: зачем навязал Вам чтение сказки и сообщение мне Вашего о ней мнения? Очень было совестно, но поправить уже было поздно. За высказанное Вами мнение сердечно Вас благодарю. Вы верно замечаете: некоторая “кучерявость” и вообще “манерность” — это мой недостаток. Я его чувствую и стараюсь от него воздерживаться, но не успеваю в этом. Дайте-ка мне еще тему для сказочки: я еще попробую написать без кудряшек. А мне легко и приятно писать на Ваши темы»<sup>932</sup>.

Но Лесков и в самом деле умел писать «без кудряшек» — обошелся же без них в так понравившемся Толстому «Совестном Даниле» и «Прекрасной Азе». Ему было лестно сочинять сказку на сюжет высокочтимого им писателя, однако новых тем Лев Николаевич уже не предложил. Сама эта история, похоже, Толстого зацепила: подарил недурному писателю сюжет, а тот его заporол, напустил в рассказ каких-то подлезлых зайцев, хромых журавлей, драных коз, а овец так и вовсе целое стадо.

Восемь лет прошло после публикации лесковской сказки и три года после смерти Лескова, а Толстого всё не отпускало. 12 июня 1898-го он записал в дневнике: «Лесков воспользовался моей темой, и дурно»<sup>933</sup>. В 1903 году он сочинил, наконец, собственную притчу на тот же сюжет — «Три вопроса». Получилось аскетически жесткое возражение лесковским гусям и плетению словес. Там, где у Лескова три рассыпающихся в пыль молчальника в корзинках, Разлюляй в колпачке с бубенчиком, девица с прялкой, у Толстого — отшельник и краткий разговор с вопрошающим его царем. Ни лишнего слова, ни озорного сюжетного ответвления вбок, ни кармазинно-лазоревого разводов. Три вопроса. Три ответа.

Но какова деликатность Толстого — ответить Лескову он счел возможным лишь после ухода того в мир иной.

Кстати, Лесков вернул сюжетный долг — в декабре 1890 года в «Петербургской газете» вышел его рассказ «Под Рождество обидели (житейские случаи)»<sup>934</sup>, который Толстой потом переписал на свой лад. Три случая, описанные Лесковым, призывали читателей не осуждать ближнего и



миловать, даже если этот ближний — вор, укравший твое добро. Толстому рассказ понравился необыкновенно. «Какая прелесть! — писал он Черткову. — Это лучше всех его рассказов. И как хорошо бы было, если бы можно было напечатать»<sup>935</sup>, — очевидно, имея в виду «напечатать в “Посреднике”». В другой раз в письме от 1 (?) февраля 1891 года, адресованном М. А. Шмидт, он признавался: «Редко меня что так трогало»<sup>936</sup>. Лесков и в самом деле пошел Толстому навстречу, освободив свою новую историю от стилистических завитушек и преувеличений, говоря с читателем совсем просто; возможно, именно эти изменения тронули Толстого не меньше самого текста. Читатель, не вовлеченный в их диалог, вряд ли мог разделить восторги Льва Николаевича. «Под Рождество обидели» — рассказ большого мастера, но лучшим у Лескова его, пожалуй, не назовешь: три на живую нитку сшитых эпизода, написанные без особой художественности и стиливого изящества. Тем не менее Толстому текст понравился настолько, что много позже он использовал его сюжет. В 1906 году в «Круге чтения» был напечатан рассказ «Воров сын» с указанием: «По Лескову изложил Л. Н. Толстой». Из трех линий, присутствующих у Лескова, Толстой оставил единственную, центральную, уничтожив большую часть персонажей. Лесков в финале выходит на амвон: «Читатель! будь ласков: вмешайся и ты в нашу историю, вспомяни, чему тебя учил сегодняшний новорожденный: наказать или помиловать?»<sup>937</sup> Толстой просто рассказывает притчу без выводов и обращений — имеющий уши да услышит.

Благодаря переписке с Толстым мы знаем и о некоторых литературных замыслах Лескова, которыми он охотно делился, — например, о планах написать переложение повести о Бове-королевиче:

«Видел в “Посреднике” книжечку “Новый английский милорд Георг” в обложке, напоминающей настоящего “английского милорда” лубочного... А содержание доброе, хотя и неискusstvenное. Это тоже “хитрость”, но она мне понравилась... Иван Иванович Горбунов уже прельстился этим и пишет “Еруслана”, а мне захотелось написать “Бову-королевича” и с подделкою в старом, сказочном тоне... Что Вы на это скажете: делать или нет?»<sup>938</sup>

Неизвестно, ответил ли на это Толстой; если и ответил, то, вероятнее всего, по обыкновению уклончиво. (Полвека с лишним спустя этот замысел воплотил Алексей Ремизов —

написал-таки в парижской эмиграции «Бову-королевича», возможно, оттолкнувшись как раз от мечты Лескова.) Сообщал Лесков графу и о других планах — один был уже не нов и знаком нам по переписке с Щебальским в 1875 году, когда Николая Семеновича «поддерживало» писать о русском еретике. Теперь он признавался:

«Я не хочу и не могу написать ничего вроде “Соборян” и “Запечатленного ангела”; но с удовольствием написал бы “Записки расстриги”, героем для которого взял бы молодого, простодушного и честного человека, который пошел в попы, с целью сделать *что можно* ad maiorem Dei gloriam, и увидавшего, что там ничего сделать нельзя для славы Бога. Но этого в нашем отечестве напечатать нельзя»<sup>939</sup>.

Доверительность писем, адресованных Толстому, с годами нарастала. В одном из них Лесков открыто признался, как страдает и боится смертного часа. Граф прислал ласковый ответ, который, увы, не сохранился, но утешение из него Лесков потом не раз цитировал: у смерти «кроткие глаза»<sup>940</sup>. Правда, Толстой, в отличие от Лескова, в посмертную жизнь не верил.

В 1910 году, когда Лескова давно уже не было на свете, произошел анекдотичный случай. Литератор П. А. Сергеенко привез Толстому разысканную им тетрадь Лескова с отдельными записанными мыслями «об истине, жизни и поведении». Прочтя ее, Толстой «пришел в полное восхищение: “какая сила! какая глубина! какая оригинальность!..”» — и попросил переписать мысли Лескова для сборника афоризмов и поучений разных авторов «Путь жизни», который составлял его секретарь В. Ф. Булгаков. Он-то и обнаружил, что Лескову эти мысли не принадлежат, а выписаны им из книги Толстого «Что такое религия и в чем ее сущность». Восторг Льва Николаевича сейчас же остыл<sup>941</sup>.

### 300 тысяч лакеев

Рассказ «Под Рождество обидели», так понравившийся Толстому, был опубликован в дешевой «Петербургской газете». К середине 1880-х сотрудничество с ней Лескова достигло пика, а в общей сложности с 1879 по 1895 год он написал для нее более двухсот заметок<sup>942</sup>. Среди авторов ее были и Чехов, и Лейкин, и Терпигорев, и Минаев, здесь пе-

---

\* К вящей славе Божией (*лат.*).

чатались политические и театральные новости, внутреннее и зарубежное обозрение; но всё же это была газета с устойчивой репутацией «петербургской сплетницы»: в специальном разделе «Пятнушки» она публиковала слухи, а в рубрике «Заявление публики» — рассказы свидетелей о разных происшествиях; в литературном разделе из номера в номер печатались переводные авантюрные романы в духе Эжена Сю. Тиражи у «Петербургской газеты» были массовыми, «низовой» читатель ее очень любил. Даже в деревнях, скинувшись тремя-четырьмя дворами, выписывали «сплетницу». Авторам газета давала выход на широкую аудиторию и именно этим нравилась Лескову. Он объяснял Толстому, что нарочно послал свой рождественский рассказ в этот «серый» листок — там его «бойко и по складам» прочитают «300 тысяч лакеев, дворников, поваров, солдат и лавочников, шпионов и гулящих девок» — «и в дворницких, и в трактирах, и по дрянным местам»<sup>943</sup>.

Он явно вновь хотел порадовать своего корреспондента, давая понять, что и для него литература — проповедь, «Петербургская газета», хотя и не она одна, — амвон.

В 1880-е годы он вообще писал для газет намного больше, чем раньше<sup>944</sup>, но как публицист ходил теми же тропами, что и двадцать, и десять лет назад. По-прежнему громил «темноту ума и злобу сердец», преобладавшие в простонародье; смеялся над нелепыми приметами, популярными среди неграмотных людей. С большим вкусом выписывал советы из популярного сонника: «Прогонять домового, лучшее средство — сжечь в конюшне чертополох», «Птиц иностранных не надо привозить — за ними придут иностранные народы», «Собачек если кто желает иметь маленьких, то намочи хлеба в воде, которою утром руки мыл, и корми щенка десять дней. Он навсегда так щенком и останется»<sup>945</sup>. Посмеявшись, а вместе с тем и насладившись этими «вздорами», он заканчивал призывом стремиться к «свету, который открывает уму человека христианская религия и наука». В статьях «О народном полировании», «Благочестие и распойство» он, как и прежде, сражался с пьянством, писал, что в России слишком много праздничных, а значит, «разгульных» дней, и сетовал на «обычай продавать водку у самых церквей».

Разумеется, со страниц газеты он вел разговор не только с «дворниками» и «поварами», но и с государством: заступался за права староверов и сектантов<sup>946</sup>, гневался на принадлежавшего к кругу Победоносцева историка раскола Н. И. Субботина за ангажированность и выступления про-

тив «религиозной свободы», защищал Толстого от глупых сплетен и использования его имени в коммерческих целях, приводил его в пример Иоанну Кронштадтскому, не спешившему отказываться от права собственности на свои книги о христианстве<sup>947</sup>. Снова много и подробно писал об абсурде русской жизни<sup>948</sup>, смаковал курьезы — например, историю о девушке, в метрике отнесенной к мужскому полу, подобно гоголевской Елизавете Воробей, проданной Собакевичем Чичикову<sup>949</sup>. Возвращался к еврейской теме<sup>950</sup>, в цикле заметок подробно обсуждал резонансное дело об убийстве тринадцатилетней еврейской девочки Сарры Беккер<sup>951</sup>. Он вообще многие заметки посвящал детям — беспризорным, брошенным, нищим<sup>952</sup>. В 1885 году Лесков взялся собирать деньги для двухлетней девочки Лиды и ее матери, детской писательницы О. А. Елшиной, после смерти кормильца лишившихся средств к существованию<sup>953</sup>. Статьи Лескова в их поддержку появились и в «Петербургской газете», и в суворинском «Новом времени»<sup>954</sup>; в результате было пожертвовано около двух тысяч рублей.

Сотрудничество с «Петербургской газетой», продолжавшееся до смерти Лескова<sup>955</sup>, обнажило: в 1880-е слово и дело слились для него окончательно, грань между публицистикой и художественной прозой размылась. Газетные заметки легко перетекали в «рассказы кстати», а те почти не отличались от очерков, которые он размещал в газете. Так, заметки о безумной Семеновой, признавшей в убийстве девочки Сарры, послужили основой для рассказа «Старинные психопаты». Писать стало всё равно что дышать и значило — улучшать мир, влиять на умы и сердца. Он действительно пытался подчинить литературные занятия тому, чтобы Царство Божие наступило «на земле как можно скорее и всесовершеннее»<sup>956</sup>.

В 1894 году Лесков говорил Виктору Протопопову о том, что литература и искусство должны приносить пользу, однако занятия литературой описывал следующей метафорой: «Отрешиться от литературных трудов окончательно я, однако, не могу: нет-нет, да и захочется что-нибудь “высказать”. Ну, и напишешь... “Мы с тобой, — говорил мне, бывало, Писемский, — похожи на женщин, сначала привыкших к веселью, а затем вышедших замуж. Когда наступает вечер, этих женщин так и тянет вон из дома. Они забывают, что у них есть семья, что веселиться уже поздно — привычка делает свое”»<sup>957</sup>.

Привычка торжествовала, дело делалось.

---

---

*Глава девятая*  
**ЗАВЕЩАНИЕ**

*Жил-был пожил да и ножки съезжил.*  
Русская пословица

**Груздочки и яблочко**

Лесков поднимался по лестнице суворинской типографии в Эртелевом переулке. Глухо тюкала о ступени любимая деревянная палка с толстой узорчатой рукоятью. Навстречу, шумно топая, скатился скуластый парень в косоворотке и пиджаке — из рабочих? — на ходу поздоровался, стащил картуз. Дробно стуча каблучками, обогнала молоденькая девушка в очках. Страшненькая, худая — начинающая писательница? институтка? Оглянулась на него и, кажется, узнала, поклонилась слегка.

Что ж, он знаменит. На всю Россию. А станет еще больше. Собственное собрание, не комар начихал. 12 томов — полка в книжном шкафу!

Выпустить многотомник предложил старинный литературный товарищ Суворин — давно уже не только публицист, писатель, но и маститый издатель с собственной типографией. Уж как Лесков ему намекал, что там — открыто писал: пора, уже и у Лейкина, и у Короленки — мальчишки! — свое собрание; один он *яко наг, яко благ*<sup>958</sup>.

Нервно, шумно отказывался Лесков от празднования 25-летия, потом тридцатилетия своей писательской деятельности<sup>959</sup>, попутно проклиная литературные юбилеи<sup>960</sup>. Он бежал прочь от публичных праздников, которые активно начали отмечаться в 1880-е годы и обычно обозначали, что юбиляр присутствует в российской изящной словесности давно, законно, что его любят и помнят. Лескову, вечному отщепенцу, отверженному, слышались в предстоящих панегириках в собственную честь только фальшь и ложь. Два десятка лет уничтожали и вдруг полюбили?

Но ничего он так не желал, чтобы всё-таки полюбили, чтобы признали, что и он в литературе давно и законно. Собрание сочинений доказало бы это самым фактом своего существования, без лишнего стрекота и шума.

И Суворин, наконец, решился. Собрание сочинений для обиженного Лескова было и честью, и реабилитацией, и открытым признанием (наконец-то!) его литературных заслуг, и материальной поддержкой<sup>961</sup>.

В коммерческом успехе издания Суворин не сомневался. Риск заключался в другом: многие лесковские статьи, очерки, рассказы, особенно в последнее время, подвергались цензурным запретам, некоторые вырезали из уже собранных номеров журналов. Усыпить недреманое око теперь стало сложно: при Александре III и «Лампадоносцеве» (Победоносцеве) цензурный режим ужесточился. Тем не менее пять томов Лескова благополучно были выпущены и хорошо шли, как-то незаметно собрав две сотни подписчиков.

Только что был отпечатан и шестой. Самый забористый, самый опасный. В начало для отвода глаз поместили «Захудалый род». А вот дальше следовали «Мелочи архиерейской жизни», потом «Архиерейские объезды», «Епархиальный суд», «Русское тайнобрачие» — бомба за бомбой; наконец, сокрушительный очерк «Приключение у Спаса на Наливках» (первоначально «Поповская чехарда и приходская прихоть»), в котором священник Кирилл, напившись пьян, ездит верхом на дьяконе в храме вокруг престола; предание огласке именно этой давней истории привело к увольнению Лескова из Ученого комитета.

И всё же эти тексты уже публиковались — и в журналах, и отдельным изданием «Мелочи архиерейской жизни» (1880). На это и был расчет: не запретили тогда, пропустят и нынче. Тираж шестого тома Суворин отпечатал без предварительной цензуры и лишь после этого подал восемь экземпляров в Санкт-Петербургский цензурный комитет. В комитете предсказуемо поморщились: «Вся шестая книга сочинений Лескова, несмотря на неоспоримую общую благонамеренность автора, оказывается, к сожалению, дерзким памфлетом и на церковное управление в России, и на растление нравов нашего духовенства» — и словно в растерянности заключили, что том представил «дело православия как бы погибающим», а значит, «для колеблющихся в делах веры его книга может оказаться крайне вредною, хотя бы и мимо воли самого писателя»<sup>962</sup>. Подключилась и духовная цензура.

И всё-таки, пока Главное управление по делам печати не вынесло вердикт, оставалась надежда. Правда, возглавлял Главное управление Феоктистов, давний знакомец по

салону графини Салиас и почти с тех же пор лесковский недруг. Не раз Лесков отзывался о нем презрительно в заметках, но особенно безжалостно в «Некуда»: Феоктистов послужил прототипом для Сахарова, о котором сообщалось, что тот смахивал на откормленного кантониста, а его «солдатское лицо хранило выражение завистливое, искательное, злое и, так сказать, человеконенавистное»<sup>963</sup>. Но с тех пор прошло четверть века, Феоктистов уже неоднократно приносил в жертву богу мести тексты бывшего приятеля. Не решит ли он наконец остановиться?..

Лесков был уже у нужной двери. Внезапно она растворилась. На пороге стоял франтоватый молодой человек в котелке, с усиками, с щегольской тросточкой. Он явно собрался выходить, но, заметив посетителя, остановился. Кажется, их знакомили. Газетчик, из суворинских приближенных, но имя? Он Лескова, конечно, знал.

— Николай Семенович, добрый день. Николай Семенович, — франтик замялся, словно сомневаясь, продолжать ли, самому ли стать вестником или предоставить это другим.

— Видите ли, новости не хороши, — наконец выпалил он скороговоркой.

Лесков замер. Что, что такое?

— Шестой том... арестован.

— Феоктистов?

Грязно-желтые стены подъезда вдруг поплыли, а молодой человек вырос, поднялся над ним, вскинул металлический луч тросточки и воткнул прямо в сердце. Продырявил насквозь. Лесков покачнулся. Нечем стало дышать. Сжал левой рукой перила. Хотел крикнуть: уйдите, спасите, умираю! Не мог. Ни единого глотка воздуха. Смерть. Здесь, на холодной суворинской лестнице.

Через несколько мгновений сердце забилося, он судорожно вдохнул раз, другой, третий.

Человек в котелке сжимал ему локоть и был бел, как мел.

— Николай Семенович, что с вами?! Напугали!

Но Лесков уже порозовел, даже улыбался слегка:

— Да-да, вступило.

Оглянулся, стал искать что-то глазами.

— Обронили? Потеряли что-то? — снова забеспокоился франтик.

— Да, но не я, а вы. Где вы оставили вашу трость? — так и подмывало Лескова спросить, но он смолчал, качнул головой. Он и без того знал: трость вошла ему в сердце и там затаилась, пока.

Это был первый приступ грудной жабы — стенокардии. С тех пор любое сильное волнение могло спровоцировать новый припадок.

Девятнадцатого сентября Лесков писал мужу своей сестры Ольги Николаю Петровичу Крохину: «У меня арестован VI-й том, и это составляет и огромный убыток, и досаду, и унижение от сознания силы беззакония». 5 октября на то же жаловался Л. Б. Бертенсону: «“Попы толстопузые” поусердствовали, и весь VI том мой измазали. Исчеркали даже роман “Захудалый род”, печатавшийся у Каткова... Вот каково “муженеиствоство”! Это то, что Мицкевич удачно назвал “kaskady tyranstwa”... Какие от этого облатки и пилюли принимать надо? Что за подлое самочинство и самовластие со стороны всякого прохвоста»<sup>964</sup>.

Материальный убыток оказался несущественным, моральный — огромен. Но в конце концов в 1890 году многострадальный том всё-таки вышел — самым последним в собрании, без крамольных текстов о попах и архиереях. Старый том в ноябре 1893 года сожгли, уцелело лишь восемь экземпляров — те, что были отосланы в Цензурный комитет. Один из них попал в петербургскую Публичную библиотеку\*, где и хранится до сих пор; другой Лесков подарил доктору Бертенсону с саркастической надписью: «Божиим попущением книга сия сочтена вредною и уничтожена мстивостью чревонеистового Феоктистова, подлого ради угождения Лампадоносцеву»<sup>965</sup>.

В Константиновском военном училище юнкера, имевшего у себя «Мелочи архиерейской жизни», посадили под арест — Лесков написал об этом Толстому в 1891 году. «Мелочи...» числились в списке запрещенных в России книг вплоть до 1905 года, а переизданы были только в 1957-м в одиннадцатитомном собрании сочинений Лескова.

История с арестом шестого тома стала продолжением цензурных запретов, под знаком которых прошли все последние годы жизни Лескова. Запретам подвергались в основном те сочинения, в которых он касался церковных тем.

---

\* Ныне Российская национальная библиотека.



В 1884-м в «Газете Гатцука» оборвалась публикация «Заметок неизвестного», остроумно и с отвращением высмеивавших лицемерие и ханжество духовенства. В следующем году светская и духовная цензуры запретили лесковскую статью о неоправданно жестких правилах церковного развода «Бракоразводное забвение (Причины разводов брачных по законам греко-российской церкви)»; уже набранная, она была изъята из «Исторического вестника». В 1886-м Санкт-Петербургский цензурный комитет не дал разрешения на печатание «Повести о богоугодном дровосеке», сочтенной антицерковной. В 1888 году редакция журнала «Русская мысль» без ведома автора отправила его повесть «Зенон Златокузнец» в духовную цензуру, и она запретила публиковать повесть.

Что испытывает писатель, когда его перебивают на полуслове, когда запрещают или сжигают его книгу? Ему кажется, будто казнят его самого.

Лесков перестал подниматься по лестницам — не мог, ходил в просторной блузе, чтобы легче дышалось. Всегда теперь ждал *ее*. И очень надеялся, что глаза у *нее* и в самом деле кроткие.

В то утро он чувствовал себя лучше обыкновенного. После легкого завтрака сразу сел за работу. Хотелось успеть побольше до обеда, к вечеру ожидалось посетители. Теперь они тянулись к нему плотным потоком, как к хорошему доктору или «Пержану»\* (свят, свят, терпеть его не мог!): дамы бальзаковского возраста, генералы, студенты, барышни с глазами-вишнями, купцы в высоких сапогах, начинающие авторы с пахнущими луком рукописями под мышкой, писательские вдовы, священники. Для многих он и стал почти пастырем — к нему шли за советом, поддержкой, протекцией, и он охотно наставлял страждущих на истинный путь, бывало, и помогал.

Писал он в тот день, как всегда, нервно, быстро: водил пером по бумаге, заносил слова на любимые четвертушки, внезапно бросал перо на стол. Закрывал лицо руками, точно отчаявшись поймать ускользающую мысль. Сидел неподвижно. И снова строчил, и опять прерывался. Сжимал ладонями голову, ударял пальцем по столу, смеялся. Под-

---

\* Pere Jean — отец Иоанн (*искаж. фр.*); так Лесков называл священника Иоанна Кронштадтского, которого сатирически описал в «Полунощниках».

нимался и, погруженный в раздумья, мерил большими шагами кабинет, не видя, не слыша ничего, кроме речи героя; произносил монолог вслух, садился и записывал. Снова был молодым, бодрым<sup>966</sup>.

Сколько раз он давал себе зарок не писать! Зачем? Кому это нужно? Для чего? Опять становиться посмешищем в глазах «Лампадоносцева» и Тертия Филиппова, мишенью для желчных насмешек Буренина? И всё-таки не выдерживал, снова садился за стол. Неодолимый соблазн!

Утомаясь, он пересел из рабочего кресла на любимую оттоманку, взял в руки первую попавшуюся книжку — последний номер «Вестника Европы». Раскрыл и сейчас же захлопнул: не Парнас, а Лысая гора! Пять-шесть калек — вот тебе и современная литература.

Глянул в окно — дождя не было. Не пойти ли перед обедом прогуляться в Таврическом? Горьковатый осенний запах, вид летящей с небес листвы обычно погружали его в хандру, но сегодня он так славно поработал, значит, и грусть будет приятной...

Внезапно в дверь позвонили.

Кто еще там? Для посетителей рано.

Открыть дверь некому: Пашетта еще не вернулась с рынка, Елена с утра отпросилась по родственным делам, Варенька в школе. Он сразу же почувствовал себя измученным, старым. Тяжко вздохнул, поднялся, пошел отпирать.

И будто темным пламенем полыхнуло в лицо. На пороге — казачка, смуглая, костистая, немолодая. Глядит просительно и зорко, так и пьет тебя черными глазами, а на дне древесная гнилая труха. Но одета гостья нарядно, будто собралась на праздник: шугай\* парчовый, коралловый, вышит бело-розовыми райскими цветами, широкая штофная юбка. На боку пришпилена маленькая стальная коса на золотой цепочке. Только вот зубы — гнилые, черные, посетительница кое-как заслоняет их белым платочком и просится, просится войти.

— Пусти, голубчик, издалека приехала, привезла тебе медовые груздочки и точеное яблочко.

Узнал наконец Лесков гостью, похолодел.

— Рано пожаловала! Вон!

Захлопнул дверь. Схватясь за сердце, пошел слабыми ногами в комнату. Жутко, дико. Рассказать — не поверят.

Нет, не готов.

---

\* Ш у г а й — русская национальная одежда, короткая кофта с отложным круглым воротником и застежками.

Теперь он всё время думал о ней и о том, что наступит после.

«Я вижу, что я просто запутался телесных мук: на то, что “после смерти”, я смотрю с верою и без страха, но “мук рождения” в иное бытие страшусь... Тут “надо отдаться”, и конечно! Внутри есть какое-то убеждение, что самое страшное уже претерпено, и дай Бог так!»<sup>967</sup>

В декабре 1889 года Лесков написал Суворину, что должен бы умереть в этом году, но если этого не случится, непременно умрет в 1892-м: «Есть такое показание»<sup>968</sup>. В преддверии указанного срока, не сомневаясь в своем скором уходе, вернул Суворину его письма. Но год почти закончился, а он всё жил. В декабре 1892 года Лесков написал «посмертную просьбу», в которой заклинал своих близких похоронить его по низшему разряду, без почестей и надгробных речей.

Незадолго до этого, в ноябре, его осмотрел доктор Чехов. Лесков был с ним в добрых отношениях, ценил его прозу. Приязнь была взаимной — Антон Павлович тоже любил книги Лескова и его самого, а в шутливой «Литературной табели о рангах» (1886) присвоил ему высокий чин статского советника. По наблюдениям Л. П. Гроссмана, именно у автора «Соборян» Чехов учился писать новеллы, построенные на анекдоте, изображать духовенство и смешить читателя народной этимологией<sup>969</sup>. Однако и Лесков писал свои поздние повести с оглядкой на молодого коллегу; «Заячий ремиз», например, перекликается с чеховской «Палатой № 6», хотя и полемизирует с ней<sup>970</sup>.

Когда-то, по воспоминаниям Антона Павловича, Лесков благословил его на писательство при довольно пикантных обстоятельствах.

«С Лейкиным приезжал и мой любимый писака, известный Н. С. Лесков, — писал Чехов о новом знакомстве брату Александру между 15 и 28 октября 1883 года. — Последний бывал у нас, ходил со мной в Salon, в Соболевские вертепы... Дал мне свои сочинения с факсимиле\*. Еду однажды с ним ночью. Обращается ко мне полупьяный и

---

\* У Чехова были две книги Лескова: «Сказ о тульском Левше и о стальной блохе» (издание 1882 года) с надписью: «Антону Павловичу Чехову Н. Лесков. 12 окт. 83 г.» — и «Соборяне» (издание 1878 года) с надписью: «Благополучному доктору Антонию от автора» (см.: Чехов и его среда: Сборник. Л., 1930. С. 256—257).

спрашивает: “Знаешь, кто я такой?” — “Знаю”. — “Нет, не знаешь... Я мистик...” — “И это знаю...” Тарашит на меня свои старческие глаза и пророчествует: “Ты умрешь раньше своего брата”. — “Может быть”. — “Помазую тебя елеем, как Самуил помазал Давида... Пиши”. Этот человек похож на изящного француза и в то же время на попа-расстригу. Человечина, стоящий внимания»<sup>971</sup>.

Тогда Чехов только оканчивал медицинский факультет Московского университета, но уже активно публиковался. Лесков разглядел в нем талант и, возможно, не случайно преподнес ему лучшие свои книги, а как следует из процитированного письма, даже по-приятельски посетил с «доктором Антонио» «Салон де варьете» — музыкально-увеселительное заведение на Большой Дмитровке — и дом терпимости в Соболевском переулке.

Помазание оказалось оправданным: Чехов стал большим писателем. Но предсказание Лескова сбылось не до конца: трое из четверых братьев Антона Павловича действительно пережили его, а один, талантливый художник Николай, умер в ранней молодости.

В ноябре 1892 года Чехов осматривал больного Лескова в его петербургской квартире, диагностировал у него порок сердца и неправильную деятельность почек, а на вопрос Федора Федоровича Фидлера, опасно ли Лесков болен, ответил: «Да, жить ему осталось не больше года»<sup>972</sup>.

Доктор Чехов ошибся: Лескову предстояло прожить еще два с половиной года, написать томик рассказов и потешкать внука.

## Внук и сын

Юрий Андреевич Лесков родился 5 сентября 1892 года.

Деда его появление на свет, кажется, ничуть не обрадовало — возможно, потому, что внуки у него уже были: маленькие Наталья и Ярослав, дети его единственной дочери Веры (1856—1918), в замужестве Ноги. В трудную для Веры минуту Лесков наотрез отказался поселить ее с детьми в своей петербургской квартире, и она вынуждена была вернуться в Бурты — украинское имение ее мужа<sup>973</sup>. Можно было предвидеть в декабре 1886 года, когда Николай Семенович выпроваживал их из своего дома, что со временем его внучка Наташа Нога, которая едва ли помнила сурового деда, станет одним из первых русских кинематографистов,

снимет несколько фильмов, один из них по его роману «На ножах», и даже возьмет себе в качестве псевдонима фамилию героини «Некуда» — Бахарева?<sup>974</sup>

Не согрело душу Лескова и появление на свет Юрия. Во всяком случае вскоре после его рождения дед составил нотариальное завещание, в котором уравнивал в правах воспитанницу Варю Долину с родными детьми Верой и Андреем — к негодованию последнего. Как выяснилось после кончины Лескова, его «посмертная просьба» также наполовину была посвящена благополучию Вари, для которой у него достало и тепла, и любви.

Понятно, что на чувства Лескова к внуку накладывалась тень дурных отношений с сыном.

Окончив Петербургское Константиновское высшее военное училище, Андрей Николаевич ступил на путь кадрового военного, служил сначала в пехоте в Новгороде и в Ораниенбауме, затем в Петербурге в Главном интендантском управлении.

Женился он в январе 1891 года на Ольге Ивановне Лаунерт (1874—1959). Лесков был против этого брака, до последней минуты отказывался прийти на свадьбу. Супруга родила Андрею Николаевичу не только Юрия, но и второго сына, Ярослава, и, кажется, искренне любила мужа. Но свекра этим было не сбить.

В письме сестре Ольге от 8 сентября 1891 года в ответ на ее робкое замечание, что невестка очень любит Андрея, Лесков разразился филиппикой:

«Что же касается того, что О[льга] И[вановна] “очень любит Андрея”, то я думаю, что это правда. Иначе чего же бы ей и идти за него замуж? Да он и не дурак, не имеет не дурные свойства\* — отчего его и не любить, если он нравится? Но любят довольно различно: любят жаркое, любят справедливость, любят халат, любят лошадь, на которой шибко ездят... Всё это называется “любить”... Любят человека, стараясь о том, чтобы он становился лучше, умнее, сведущее, справедливее, и тогда стараются, чтобы ум его окрылся и служил светом для других. Были и есть добрые и умные женщины, кот[орые] так любят. И это есть хорошая любовь. А то есть другая любовь, когда женщина не объединяет мужчину с миром и лучшими идеями, а напротив — отторгает его даже от лиц, к которым он должен бы чувствовать нравственный долг... Это тоже делается по любви, но это есть любовь глупая и низкая, которая не внушает ува-

---

\* Видимо, описка; подразумевалось «имеет не дурные свойства».

жение и не даст мужчине развить его лучшие дарования. Есть даже женщины, разлучающие мужчину не только с его родными по плоти, но и с его родными по духу — и обрашающие мужей из мужчин (так. — *М. К.*) в узких, семейных подбздохов... И таких пошлых женщин на свете оч[ень] много, и любовь их ничего достойного радости не представляет. Лучше было бы даже если бы такой любви совсем и не было или бы ее называли по крайней мере не любовью, а тем, чем ее следует называть, т. е. глупостью и озорством»<sup>975</sup>.

Андрей Николаевич мало того что женился на «пошлой женщине», так еще и пошел в пограничную службу, которая предполагала поимку нарушителей. Самой Ольге Ивановне 17 апреля 1894 года Лесков написал о новой службе сына с нескрываемой гадливостью\*:

«...заниматься ловитвой людей недостойно умного и честного человека... Не только какие-нибудь выгоды жизни, но даже и самую возможность жизни нельзя приобретать за всякую цену. Это всегда останется само в себе истиною и правилом для людей, имеющих хорошие понятия о призвании человека. Но возможны взгляды и другие, только мне до них дела нет. Поблагодарите Андрея, что он присылает мне поклон через Вас, а сам не пишет: я вижу в этом с его стороны уважение ко мне, и это делает ему честь. Можно делать пошлости, но всё-таки похвально чувствовать, что в здравом смысле есть свое значение»<sup>976</sup>.

Как видим, прежнее недовольство сыном-бездельником, любителем танцев, сменилось несовпадением во взглядах, этическими противоречиями и, вероятно, тем, что Николай Бубнов назвал когда-то «отсутствием принципов». Лесков, получивший прививку отвращения к слепому обслуживанию государственных интересов еще в рекрутском присутствии, очевидно, видел в выборе сына предательство самых дорогих для него идеалов. В его глазах ловля нарушителей отрицала ценность жизни человека, неважно, доброго или дурного — любого. Лесков, к тому времени во многом разделявший взгляды Льва Толстого на государство, давно уже ненавидел институты насилия, а его сын оказывался их слугой.

---

\* Презрительный отзыв о пограничной службе звучит и в рассказе «Заячий ремиз», где пограничник ставится ниже станového (см.: *Лесков Н. С. Заячий ремиз. Наблюдения, опыты и приключения Онопрія Перегуда из Перегудов // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 9. М., 1958. С. 523—524*).

Неожиданно их хотя бы отчасти примирил Юра. Андрей Николаевич вспоминал:

«4 февраля, в день “спасителя канонов” Николы Студийского, в шестьдесят четвертую годовщину рождения Николая Лескова, поздним утром на мягкой оттоманке у него сидел пришедший поздравить деда 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-летний его внук. Лесков был неузнаваем. Забывая все свои недуги, он ползал по ковру, умиленно поднимая и подавая младшему из Лесковых вещицы, которые последний святотатственно брал со святой святынь — с писательского письменного стола! Случайные гости, не веря своим глазам, дивились благорастворенности, светившейся в обычно гневливых глазах хозяина. Сколько бы раз внук ни бросил только что поданную ему дедом безделушку, тот торопился сам разыскать ее на полу и снова вручить баловнику. Попытки невестки, опасавшейся утомить больного свекра, увести сына, вызывали горячий протест и трогательные просьбы старика побыть у него подольше. И вообще всегда при всех свиданиях с внуком в Лескове, вопреки всем опасениям, наперекор всему надуманному о “неизвестных величинах”, ярко говорило простое чувство крови, рода. Оно могло преодолеть мертвые отвлеченности, сухой дидактизм. Ко всеобщему благополучию, оно могло оздоровить отношения и скрасить собственную его жизнь, но увы, дней для такого преобразования уже не хватало, они были сочтены»<sup>977</sup>.

Умиливший старика-деда Юрий Андреевич стал дипломатом, революция застала его в Лондоне. Вместе с женой Еленой Александровной, урожденной баронессой Медем, он несколько раз пытался вернуться в Россию, но — возможно, к счастью для себя — не преуспел. В 1922 году в Париже у него родилась дочь Татьяна, продлившая род Лескова до сегодняшних дней. Правнучка автора «Левши» стала балериной, хореографом, родоначальницей бразильского балета. Отец ее умер от рака в 1942 году. Бабушка Ольга Ивановна, когда-то так не понравившаяся Николаю Семеновичу, после революции поселилась в Париже и работала аккомпаниатором в балетной школе Лидии Рафаиловны Нестеровской. После смерти Юрия она поселилась в Русском старческом доме в парижском пригороде Сент-Женевьев-де-Буа, на кладбище которого и была похоронена<sup>978</sup>.

Татьяна Юрьевна живет в Буэнос-Айресе. Дважды она приезжала в Россию и посещала музей знаменитого прадеда в Орле. Детей у нее нет, она — последний прямой потомок Лескова.

Андрей Николаевич, занимаясь «ловитвой людей», дослужился до полковника, получил ордена Святого Станислава 3-й степени (1901), Святой Анны 3-й степени (1905), Святого Станислава 2-й степени (1907) и в 1914 году вышел в отставку. Однако в первой части его жизненного пути мелькнул неожиданный эпизод: присутствовавшее в нем артистическое начало пустило побег. В 1899 году он, кажется, всерьез решил оставить офицерскую карьеру и поступить на сцену.хлопотать за него взялся сам Чехов, с которым они приятельствовали. «Милый Владимир Иванович, на сих днях в театр к тебе придет познакомиться сын писателя Лескова, Андрей Николаевич, офицер, — писал Чехов режиссеру и руководителю Московского Художественного театра Немировичу-Данченко. — Он бросает военную службу, мечтает о сценической деятельности и теперь вот хочет посоветоваться с тобой. Это вполне интеллигентный, нервный человек, держится хорошо, гибко, умеет говорить и, мне кажется, владеет достоинствами, которые с лихвой окупят такие недостатки его, как малый рост и несколько гнусавый голос. Пожалуйста, дай ему минут десять, прими в нем участие»<sup>979</sup>. Голос ли помешал, низкий ли рост, но из этой затеи ничего не вышло. Андрей остался кадровым военным.

Началась Первая мировая война, и полковник Лесков был назначен на должность начальника штаба 14-й бригады государственного ополчения. Он участвовал в боях в Восточной Пруссии и других крупных операциях и был демобилизован только в декабре 1917 года.

Революцию Андрей Николаевич, по собственному признанию, встретил «без особых мук и сомнений»<sup>980</sup>. Россию он покидать не собирался и в то время, как начался массовый исход из страны, снова поступил на службу — в качестве военного специалиста, теперь уже в Красную армию, которая остро нуждалась в опытных профессионалах<sup>981</sup>. Так что в отличие от супруги с детьми Андрей Николаевич остался на родине, наличие родственников за границей никогда не афишировал и вскоре женился на Анне Ивановне Подшебякиной (1894—1976). Она была моложе его почти на 30 лет, знала французский, немецкий, английский, польский языки и работала в ленинградской Публичной библиотеке переводчицей. В послесловии к биографии отца Андрей Николаевич благодарил жену за то, что стала для него «незаменимым по знанию темы и материала, неустанным сотрудником» и очень помогала ему в работе над книгой<sup>982</sup>.



## Последняя любовь

Кроме «сиротки» Вари, внука и встреч с Толстым судьба послала Лескову на исходе лет еще одно утешение. Новое знакомство, на этот раз с женщиной, согрело и осветило два последних его земных года. Эти отношения были напоены чувством явно большим, чем дружба. Последним конфиденнтом, любимым корреспондентом и другом Лескова стала писатель и переводчик Лидия Веселитская (1857—1936). Наш герой познакомился с ней, как сам признавался, благодаря Толстому, которому писал 12 января 1893 года:

«А Вы мне вчера принесли радость: я не был знаком с Лидией Ивановной Веселитской (автором “Мимочки”), а повесть эту читал раз пять и восхищался ею; и думал когда-нибудь написать автору, но боялся: будет ли это кстати. Познакомиться с нею было моим желанием, а вчера она пришла ко мне сама и обрадовала меня чрезвычайно. А первые слова ее ко мне были такие: “Я знаю, что вы больны и что вы любите Льва Николаевича, и я пришла к вам”. Так имя Ваше собрало двух, и Вы были с нами третий. Лидия Ивановна — моя соседка и обещала навещать меня. <...> Веселитская, мне кажется, из всех женщин, которых я видел, всех умнее и искуснее в обращении с идеями. (Она ведь писала Вам.) Наружность ее милая, скромная и высокопорядочная, но с каким-то роковым знаком несчастья... Какое-то такое (не красивое, но милое) лицо, которому непременно как будто надо всё страдать и терпеть... На вид ей 32—34 года, и она испытала, должно быть, очень большое семейное несчастье и живет у своих родных, а не с мужем»<sup>983</sup>.

Так оно и было: в 1881 году Веселитская вышла замуж за офицера В. В. Чернавина, а через шесть лет разъехалась с ним<sup>984</sup>.

Упомянутая в письме повесть «Мимочка» Лескову, как и многим его современникам, пришлось по сердцу. 20 января 1893 года он писал ее автору:

«Повесть всё так же свежа, жива и любопытна, и притом манера писания чрезвычайно искусна и приятна. “Мимочку” нельзя оставлять: ее надо подать во всех видах, в каких она встречается в жизни. Это своего рода Чичиков, в лице которого “ничтожество являет свою силу”. Одно злое непонимание идеи может отклонять автора от неотступной разработки этого характерного и много объясняющего типа»<sup>985</sup>.

Сегодняшнему читателю трилогия о светской пустышке — «Мимочка-невеста», «Мимочка на водах» (1892), «Мимочка отравилась» (1893) — скорее всего покажется поверхностной и простоватой. И стилистически, и идеологически написана она без всяких изысков, довольно прямолинейно; здесь и близко нет многослойности и игры смыслами, в избытке присутствующих у самого Лескова. Вот образчик стиля Веселитской: «Мимочка ждет и сама. Она еще мечтает о любви, о Морисе, но знает уже, что главное всё-таки — деньги, что без экипажа, без “приличной” обстановки и без туалетов ей будет не до любви. Мимочка знает, что она невеста; но она знает также, что она еще молода, что она “ребенок”, и пока она “ребенок”, она вальсирует, улыбается и играет всею и своими невинными глазками. <...> Скоро карета исчезает за углом Литейной. Прощайте, Мимочка; будьте счастливы!»<sup>986</sup>

Легкость пера, наблюдательность, ирония, безусловно, свидетельствовали и о литературной одаренности, и о знании жизни создательницы «Мимочки». Но неужели этого было довольно, чтобы Лесков пожелал с ней познакомиться? А он пожелал — даже узнал ее адрес у Любви Яковлевны Гуревич и сам хотел прийти в гости. Бойко и неглупо пишущих дам в конце XIX века было немало. На Веселитскую выбор пал, вероятнее всего, потому что Лесков слышал о ней и от Толстых, с которыми она была хорошо знакома, и от той же Гуревич — слышал что-то, что навело его на мысль о личном знакомстве. Скорее всего, из их рассказов он понял, в чем состояло основное дарование Веселитской. И это были не литературные способности.

Лучше всего Лидия Ивановна умела разговаривать с людьми. Умение общаться — вот главный ее талант. Соединение такта, ума и сердечности, о которых потом вспоминали многие, делало ее чуткой и приятной собеседницей. Иначе и не объяснить близкое знакомство Лидии Ивановны с Львом Толстым и его семьей, с Достоевским, Чеховым, Гаршиным, критиком Меньшиковым, в XX веке — с Иннокентием Анненским и Николаем Гумилевым. С Достоевским она много и тепло беседовала (и оставила воспоминания об этом), у Толстых также бывала неоднократно — и в Ясной Поляне, и в Хамовниках. Лев Николаевич отзывался о ней с большой симпатией: «Очень умная, скромная и чуткая женщина»<sup>987</sup>. Его сын Лев составил подробный портрет Веселитской: «Она не была красива, но полна тонкой привлекательности. Небольшая ростом, чистая и розовая, она

больше слушала и наблюдала, чем говорила. Всё понимая, она страстно любила жизнь, но с ужасом и грустью смотрела на ее несуразность. Она любила отца как романиста и искателя правды, но прекрасно понимала его сумасбродство. Помню ее иногда стальной холодный взгляд, когда, слушая его парадоксы, которыми он думал всех поразить, она смотрела на него с оттенком неодобрения; к моей матери она всегда относилась с неизменной и даже экспансивной симпатией. Веселитская была не только талантливой, но и мудрой женщиной. Она никогда не курила и не пила вина, и не трогала ни кофе, ни чая, вместо которых просила себе чашку горячей воды»<sup>988</sup>.

Лесков записал в книжку адрес Лидии Ивановны — оказалось, они были соседями: она жила на Сергеевской, он на Фурштатской, дома разделял один длинный двор. Веселитская была польщена вниманием знаменитого автора, как и ее мать с отчимом, вместе с которыми она тогда жила; но Лесков у них так и не появился. Однажды Любовь Гуревич обмолвилась, что он болен.

Последние годы он действительно сильно страдал от грудной жабы и передавал в письмах свои ощущения: «Как говорят орловские мужики, “внутри болит”», «Кол в груди становится»<sup>989</sup>. Приступы мучили его регулярно, особенно зимой. Узнав, что у ее нового знакомого припадки и жар, Веселитская решила навестить его сама.

Одиннадцатого января, отыскав за воротами зеленую дверь квартиры Лескова, она позвонила. Дверь открыла горничная, просила пройти в кабинет и там подождать. Благодаря этому ожиданию у нас есть предельно подробное описание лесковского кабинета, писательски пронизательное и зоркое:

«Я вошла в комнату, которая сразу показалась мне похожей на Лескова. Пестрая, яркая, своеобразная. Два окна на улицу. На одном из них клетка с птицей, звонко заливающейся веселыми трелями. Мерно тикают часы. Их что-то много, и, тикая, они переговариваются между собой. Сажусь на пеструю оттоманку. <...> Из соседней комнаты, тихо приотворив дверь, вышли две лохматые белые собачки: одна старая, подслеповатая, другая молоденькая и резвая. Повертевшись у моих ног, они вскочили на оттоманку и, свернувшись клубочком, улеглись возле меня. Я оглядывала комнату. И казалось мне, что стены ее говорят: “Пожито, попито, поработано, почитано, пописано. Пора и отдохнуть”. И часы всякого вида и размера мирно поддаки-

вали: “Да, пора, пора, пора...” А птица в клетке задорно и резко кричала: “Повоюем еще, чёрт возьми...”

Я оглядывала комнату. Посередине ее стоял большой письменный стол, на котором в безупречном порядке были разложены рукописи, тетради, книги и письменные принадлежности. На стене, за спиной сидящего за большим столом, среди картин и портретов висело узкое и длинное, совершенно необыкновенное, видимо старинное, изображение Божьей Матери. У противоположной стены, поближе к окнам, стоял другой письменный стол, поменьше и попроще. Сразу было видно, что это любимый уголок хозяина. Над столом висело изображение Христа, тоже старинного письма. Книг здесь было меньше, чем на большом столе. Справа лежали два Евангелия, слева Платон, Марк Аврелий и Спиноза».

Дверь, наконец, отворилась, и хозяин вошел — тучный, еще не до конца поседевший, «с выразительным умным лицом и живым беспокойным взглядом. Он был в домашней блузе из светло-серой фланели с лиловыми полосками. Блуза был не рабочая и не толстовская, а своя, лесковская».

Их первая встреча была недолгой. Лесков и в самом деле дурно себя чувствовал, задыхался, говорил не много, но успел рассказать, что Толстой хотел навестить его во время болезни. «Я бы этого не вынес. Мне волнение вредно»<sup>990</sup>.

На следующий день Лесков написал Толстому об этой встрече отчет, который мы цитировали выше. Письмо полетело и Веселитской:

«От всего сердца благодарю Вас, Лидия Ивановна, что Вы меня навестили. Это очень мило с Вашей стороны и глубоко меня тронуло и обрадовало как за себя, так и за Вас и за род человеческий, которому нужны люди с жизнеспособными сердцами. Потом мне досадно, что я совсем не мог говорить с Вами, и я боюсь, что Вы не скоро зайдете ко мне во второй раз. Пожалуйста, знайте, что я чувствую сильное сродство с Вами и имею духовную потребность Вас знать и иметь с Вами умственное общение. Если Вам не тяжело подарить мне иногда часок Вашего времени, — пожалуйста, навестите меня и знайте, что для меня с Вами приходит интерес к жизни и радость от встречи с разумением жизни»<sup>991</sup>.

Началось интенсивное, временами довольно напряженное, но доверительное общение пожилого мэтра и молодой писательницы, довольно, кстати, честолубивой. Лесков просил заглядывать к нему почаще. Сам он ходить в гости

был не в силах: Веселитская жила на четвертом этаже, а подниматься по лестнице он не мог — начинал задыхаться.

Поначалу Лидия Ивановна с удовольствием посещала его, они много разговаривали. Веселитская была православная, почитала отца Иоанна Кронштадтского, однако любила и Толстого, давно покинувшего Церковь. Лесков корил ее за эту двойственность, тем более что культ знаменитого пастыря его раздражал: «Нельзя-с, Лидия Ивановна, хромать на оба колена, либо Толстой, либо Иван Ильич Сергиев (Иоанн Кронштадтский. — М. К.). Что-нибудь одно. А иначе для вас и тому и другому грош цена»<sup>992</sup>.

Она выслушивала эти выговоры не всегда покорно, но споры не дорастали до ссор, тем более что Лесков не скрывал своего нежного отношения и выражал его с отменным многословием и кокетством:

«Надо начинать с того, чтобы “хвалиться своими чувствами”, и я надеюсь иметь на этот раз перед Вами все преимущества, ибо мне несравненно легче любить и уважать Вас, чем Вам питать те же чувства ко мне. И я хорошо и полно пользуюсь выгодами моего положения: я уважаю в Вас то, что мне кажется прекрасным, и люблю Вас так, как мог бы любить “ангела” — существо, которое много меня чище, выше и открытее Богу. Чувство это мне мило, дорого и полезно, ибо я знаю, что Вы любите добро и зло не может с Вами уживаться. Во мне же любить нечего, а уважать и того менее: я человек грубый, плотяной и глубоко падший, но беспокойно пребывающий на дне своей ямы. Лучшего во мне ничего нет, а за это уважать нельзя. Когда Вы меня крестили и я с благодарностью и уважением поцеловал Вашу руку, как руку матери, сестры, христианки или ангела, я принял от Вас благословение, как дитя, а надлежало бы, чтобы прежде Вы приняли на себя бремя моих грехов — выслушали бы мою исповедь и тогда бы подняли свою руку, чтобы благословить меня...»<sup>993</sup>

Приняла ли Веселитская бремя его грехов, мы не знаем; но судя по последующим письмам, Лесков был с ней откровенен лишь в тех пределах, которые не разрушали ее симпатии к нему.

В эти же дни, 3 июня 1893 года, Лесков писал Татьяне Львовне Толстой:

«Веселитская не может не нравиться людям с благородными вкусами, и, по моему мнению, в ней есть всё то,

что Вы отмечаете и что говорит Л[ев] Н[иколаевич], — “она оригинальная и самобытная”. Она еще добрая, щедрая, смелая, умная, талантливая, проникательная и “не дорожит деньгами”, и способна “переносить осуждение и полное разорение и оспу”, и еще я уверен, что она смело встретит и самою стужу. Человек она редкостный и дорогой, но у нее нет равнодушия к “славе”, в этом Вы ошибаетесь. Я говорю о ней за глаза, понятно, то самое, что говорю и в глаза: она не только самолюбива, но она *ужасно* самолюбива, так что это самолюбие иногда даже путает ее смысл. Я не почитаю это за порок, п[отому] ч[то] самолюбие м[ожет] вести и к добру, но говорю об этом как о *свойстве* ее характера. <...> Я ей говорю и не лгу, что я “ее боюсь”, п[отому] ч[то] она чрезвычайно обидчива и п[отому] ч[то] я не решился бы ни в чем быть уверенным, что она изберет и как она поступит. Всегда мне кажется и буд[ет] казаться, что из-за того, что-бы не сделать как другие, она мож[ет] стать на сторону, на которой лучше не стоять. Тут я ее понимаю и оч[ень] хочу, чтобы суждение мое о ней на этот счет было ошибочно»<sup>994</sup>.

Летом 1893 года Веселитская со своей подругой Натальей приехала в Меррекуль — не слишком дорогой курорт в Эстляндской губернии, любимый многими петербуржцами. Городок располагался на песчаном берегу Финского залива с соснами, парком. Лесков проводил здесь лето со своими близкими: Варей, горничной Еленой, стряпухой Пашеттой. Сложилось небольшое общество: Хирьяковы, Меньшиков, священник Григорий Петров, Веселитская с подругой. Каждый день все собирались и читали вслух только что завершенную книгу Толстого о непротivлении злу насилием «Царство Божие внутри вас».

В промежутках между чтениями гуляли, купались, ездили по окрестностям. В воспоминаниях Веселитская цитирует полученные от Лескова игривые записки, стилизованные то под церковный кондак, то под древнерусскую грамотку. В одной из них отчетливо просвечивает уязвленность чрезмерной святостью «преподобной Лидии», вероятно, уклонявшейся от любой фамильярности в отношениях, к которой так располагала вольная дачная жизнь:

«Тебе, мати, известно спастися, еже его образу приемиши бо крест последовала еси Христу и дея учила еси презирать плоть и прилежати о душе — вещи бессмертной. Тем же со ангелом сорадуется, преподобная Лидия, дух твой».

В другой звучит печаль из-за ее отъезда:

«Привет Вам и благодарения сердца нашего за посещение нашего недостойства, осиянного на краткий час жизни чистотою Вашего посещения, за что и кланяемся, припадая ко стопам смирения ног Ваших. По разлуке же с Вами мы были печальны, а отроковица Варвара плакала, испуская слезы во весь путь от Нарвы до Меркуля. (Так предположено писать по обрусению: “Меркуль”.)»<sup>995</sup>.

По возвращении в Петербург осенью они стали встречаться реже. Веселитская в воспоминаниях объясняет это тем, что Лескову было вредно много разговаривать; но, похоже, это был только повод. Слишком во многом они не сходились:

«Переписка шла у нас гладко, но при личных встречах случалось и поспорить, хоть и без тени раздражения. Я не могла привыкнуть к его манере, осыпав кого-нибудь восторженными похвалами, коварно указать на слабость того, кого он так хвалил. Я говорила по этому поводу, что считаю своими друзьями не тех, кто меня много хвалит, а тех, кто обо мне совсем не говорит. Н. С. возражал, что нельзя совсем не говорить о своих друзьях. При этом долг дружбы и указывать на недостатки своих друзей, чтобы помочь им исправиться. Как-то, вдоволь намолившись на Льва Николаевича, Николай Семенович сознался в том, что глубоко скорбит о том, что старик не роздал своего имения нищим:

— Он должен был сделать это ради идеи. Мы были вправе ожидать этого от него. Нельзя останавливаться на полпути.

— Если это вам так ясно, — сказала я, — раздайте скорее всё свое.

— Да у меня и нет ничего.

— Ну, что-нибудь найдется у всякого. Нашлась же лепта у вдовицы\*...

Николай Семенович стал говорить мне о Варе, а по моему уходу написал нашему общему знакомому: “Сейчас Л. И. ушла от меня в гневе за то, что я не подарил моих часов крестьянам, которых у меня никогда не было”»<sup>996</sup>.

Об упомянутом здесь свойстве Лескова — похвалив человека, облить его грязью — выразительно говорил и Сергей Терпигорев: «Увлекательнейший собеседник! Каждую

---

\* Отсылка к эпизоду из Нового Завета о бедной вдове, отдавшей две последние монеты-лепты на храм (Мк. 12:41—44).

характеристикою он точно мраморную статую высечет... А потом на голову статуи положит кусочек грязи, и грязь течет-течет, покуда не покроет всю статую, и уж к статуе скверно прикоснуться, и от мрамора ее ничего не видно: пред глазами одна зловонная грязь»<sup>997</sup>.

Несмотря на размолвки, летом 1894 года Веселитская вновь приехала в Меррекюль — Лесков снова был здесь — и, между прочим, обнаружила, что Николай Семенович пристрастился к нюханию эфира:

«Я остановилась в кургаузе\*. Встретили меня Лесковы, как всегда, дружелюбно и просили заходить, но я заметила, что, приглашая меня, Николай Семенович каждый раз озабоченно переспрашивал меня, в котором часу я приду, а иногда и прямо объявлял, что в такие-то и такие-то часы нельзя его видеть. Я всегда старалась твердо помнить это и соблюдать порядок; но случилось, что, получив из Петербурга письмо с поручением к нему, я позабыла о его предупреждении и побежала к нему за справкой. Смотрю: он сидит один на своем крытом балконе; на столе стоит перед ним темная бутылка, с которой он не сводит глаз. Выражение лица странное, на щеках румянец, глаза блестят, взгляд не то блаженный, не то безумный.

Я подумала: «Неужели он пьет?» Мы встретились глазами, но он не шевельнулся и сидел как оцепеневший, а я поспешила пробежать к Варе. Я спросила ее:

— Что с дядей? Что это за бутылка перед ним?

— Эфир, — сказала она и улыбнулась».

Лидия Ивановна спросила у горничной и кухарки Пашетты, зачем она дает это Николаю Семеновичу, и услышала в ответ, что тот без эфира уже не может — привык<sup>998</sup>.

Судя по той жизни, какую прожила Веселитская, — а в начале века она постепенно отходила от литературы, всё больше занимаясь благотворительностью: преподавала в царскосельской воскресной школе, помогала детям дворянчиков осваивать иностранные языки, растила сына овдовевшего М. О. Меньшикова, — она и в самом деле была доброй, отзывчивой и бескорыстной. Лесков выбрал своего последнего конфидента очень метко.

---

\* Кургауз (нем. Kurhaus) — помещение на курорте, предназначенное для отдыха и проведения культурно-развлекательных мероприятий.



В 1925 году о знакомстве с ним Веселитская написала воспоминания, завершив их печально, но стоически: «Прошло тридцать с лишним лет со дня кончины Лескова. Из молодой женщины я превратилась в дряхлую, ветхую старуху. Думаю, что и деревянный крест на его могиле обветшал не менее. Но не ветшающий памятник, который он сам воздвиг себе своими сочинениями, стоит твердо и прочно»<sup>999</sup>.

Умерла Веселитская в бедности, прожив без малого 80 лет и едва сводя концы с концами. Могила ее утрачена, а архив остался и ждет исследователей<sup>1000</sup>.

## Содом и Гоморра

После «На ножах» Лесков предпринял еще три попытки написать роман «общественного направления».

«Хочу уехать месяца на три за границу и сесть за роман»<sup>1001</sup>, — писал он И. С. Аксакову 6 апреля 1875 года. Именно тогда он задумал «Чёртовых кукол», но отложил замысел на десять с лишним лет. В начале 1880-х он взялся за «записки человека без направления» — роман «Соколий перелет», публикация которого в «Газете Гатцука» в 1883 году прекратилась в самом начале. Лесков предполагал «изобразить “перелет” от идей», описанных им 20 лет назад в романе «Некуда», «к идеям новейшего времени». Но, как объяснял он в письме в редакцию газеты, роман «был начат писанием давно — более двух лет назад, при обстоятельствах, которые для печати весьма разнятся от нынешних»<sup>1002</sup> (вероятно, он имел в виду усилившиеся при Александре III цензурные ограничения):

«Останавливаюсь просто потому, что — верно или неверно — я нахожу эту пору совершенно неудобною для общественного романа, написанного правдиво, как я стараюсь по крайней мере писать, не подчиняясь ни партийным, ни каким другим давлениям».

Вскоре была предпринята следующая попытка. Лесков начал сочинять «Незаметный след», по замыслу примыкавший к «Сокольему перелету». Начало романа было напечатано в первом номере журнала «Новь», но продолжения не последовало. В очередном письме в редакцию (правда, уже другого издания), написанном в сентябре 1885 года, Лесков

указывает «на разные неблагоприятные обстоятельства», которые помешали ему завершить труд. Очевидно, речь опять шла о цензуре.

В обоих задуманных романах Лесков предполагал написать портрет «человека без направления» — независимого и свободного от узости, диктуемой любым направлением. Эта роль была уготована герою, присутствовавшему и в том и в другом тексте, — Адаму Безбедовичу, сыну униатского священника, деятельному, благородному практику, не сомневавшемуся, что «быть консерватором так же нехорошо, как быть во всяком случае радикалом и либералом».

Свою политическую программу Безбедович излагает в одном из сохранившихся набросков «Соколье перелета»: для облегчения участи «холодных и голодных» в России необходимо произвести «улучшения в экономическом устройстве и свободе слова». Именно свобода слова, «самая широкая и ничем не стесняемая», поможет «оживить уснувший дух народа и возбудить к кипучей деятельности его гений». Свобода обеспечит и усиление веры в народе, которую в последнее время он «сильно утрачивает»<sup>1003</sup> из-за растущей вокруг лжи. К революционным изменениям Безбедович, разумеется, не призывал, но предлагал многое реформировать. Лесков понимал, что роман о необходимости менять Россию, скорее всего, будет запрещен, и, видимо, не захотел зря тратить на него силы. Хотя, возможно, внешними причинами маскировались внутренние — отторжение романа как жанра чуждого, не своего. Лесков по-прежнему чувствовал, что эта литературная форма ему всюду теснит и жмет, что, ступая на поле романного повествования, он утрачивает неповторимость. Это очень заметно в «Чертовых куклах»: третий неоконченный роман выглядит как удачный перевод среднего европейского беллетриста, подражающего то Гофману, то Флоберу.

В отличие от романов повести Лесков обычно доводил до финала. К началу 1890-х он уже насладился и насытился легендами. «Меня оторвало от прологовых тем нечто текущее и живое», — писал он литературному критику Д. Н. Цертелеву 20 сентября 1890 года. В усталости от легенд Лесков признавался и Льву Толстому. «Текущее и живое» его квазидокументальных текстов нескольких последних лет основано было на воспоминаниях о временах давно протекших. Оттолкнувшись от актуальной темы, он

переходил к литературным нравам середины 1860-х, а затем и вообще общественным нравам («Дама и фёфёла»), вспоминал, как в юные годы переселял крестьян («Продукт природы») и как мало преуспели англичане в деле преобразования русской деревни («Загон»): мужики предпочитали привычное удобному, отвергая и британские плужки, и каменные дома. Повесть «Загон» была откликом на заявление одного из членов Общества содействия русской промышленности и торговле, что «Россия должна обособиться, забыть существование других западноевропейских государств, *отделиться от них китайскою стеною*»<sup>1004</sup>.

В поздних повестях Лесков писал о том же, о чем и в публицистике тех лет: мы по-прежнему живем в русском «загоне», отгородившись «китайской стеной» невежества и самодовольства, несмотря на некоторые перемены и очевидный прогресс — хотя бы в борьбе с голодом.

Но всё же ограниченность, безграмотность никуда не исчезли — в 1890-е они проявлялись еще и в чрезмерном, по его мнению, и неоправданном почитании «Пержана» — протоиерея Иоанна Кронштадтского (в XX веке он будет причислен к лику святых). Лесков иронизирует над ним в рассказе «Полунощники», опубликованном в 1891 году в «Вестнике Европы», где искренняя Клавдинька Степенева, решившая жить по Евангелию и по Толстому — с отказом от мяса, заработками своим трудом, небрежением к обрядовой стороне христианства, — с легкостью выигрывает идейный поединок у знаменитого священника. В ответ на ее горячие и искренние слова тот произносит прекраснотушные банальности и оказывается совершенно беспомощен перед прямоотой Клавдиньки, которую Лесков списал, по собственным словам, с племянницы Саввы Морозова\*, обладательницы многомиллионного состояния<sup>1005</sup>. Но в «Полунощниках», как и в неудачной, по мнению Толстого, сказке «Час воли Божией», проповедник сочетается в Лескове с изографом: он с особой сладостью вновь раскидывает цветное покрывало сотворенного им языка. Рассказ ведет мещанка Марья Мартыновна, сплетница и интриганка, щедро пересыпая его изобретенными Лесковым неологизмами по давно испытанному в «Левше» рецепту: контами-

---

\* Какая из одиннадцати племянниц Саввы Тимофеевича Морозова имелась в виду, неясно. Среди них была и дочь его старшей сестры Анны Клавдия Геннадьевна Карпова, в замужестве Головина (1882—1967), однако вряд ли речь идет об этой Клавдии — в 1894 году она была еще слишком юной.

нации слов («керамида», «рубкопашня», «фимиазмы», «Бабеляр» (бабник) вместо «Абеляр») мешаются с народной этимологией, делающей слова смешными, — «клюко» вместо «Клико», «политический компот» вместо «комплот».

К концу жизни именно работу с языком, тщательную и тонкую, Лесков считал одним из главных своих достижений. «Постановка голоса у писателя заключается в умении овладеть голосом и языком своего героя и не сбиваться с альтинов на басы, — говорил он Фаресову. — В себе я старался развивать это умение и достиг, кажется, того, что мои священники говорят по-духовному, нигилисты — по-нигилистически, мужики — по-мужицки, выскочки из них и скоморохи — с выкрутасами и т. д. <...> Меня упрекают за этот “манерный” язык, особенно в “Полунощниках”. Да разве у нас мало манерных людей? Вся quasi-ученая литература пишет свои ученые статьи этим варварским языком. Почитайте-ка философские статьи наших публицистов и ученых. Что же удивительного, что на нем разговаривает у меня какая-то мешанка в “Полунощниках”? У ней, по крайней мере, язык веселей, смешной... Вот и ругают меня за него, потому что сами не умеют так писать. Ведь я собирал его много лет по словечкам, по пословицам и отдельным выражениям, схваченным на лету в толпе, на барках, в рекрутских присутствиях и монастырях. Поработайте-ка над этим языком столько лет, как я. <...> Я внимательно и много лет прислушивался к выговору и произношению русских людей на разных ступенях их социального положения. Они все говорят у меня *по-своему*, а не по-литературному. Усвоить литератору обывательский язык и его живую речь труднее, чем книжный. Вот почему у нас мало художников слога, т. е. владеющих живою, а не литературной речью»<sup>1006</sup>.

Лесков вспоминает в этом отрывке об упреках в манерности языка: как и сегодня, языковая живопись не радовала — наоборот, раздражала и первых его читателей. Даже ценивший лесковскую прозу критик Аким Волынский не смог удержаться — корил «Полунощников» за «чрезмерную деланность языка», а вслед за ним и другие<sup>1007</sup>.

Словно бы в ответ своим критикам, демонстрируя, что может писать по-разному и быть сдержанным, Лесков сочинил повесть «Зимний день» (1894), в которой практически нет языковой игры. Он лишил слова цветов и теней, будто бы для того, чтобы в ледяном свете зимнего дня по-

казать, что происходит вокруг: таинственная гостья состоит в связи с сыном хозяйки дома Валерианом, который пользуется пожилой любовницей, чтобы раздобыть у нее денег, а одновременно заводит интрижку с горничной, но и та не промах — охотно откликается на ухаживания генерала; 45-летняя кухарка растлевет тринадцатилетнего мальчика-разносчика; второй сын хозяйки Аркадий — гомосексуалист, увлеченный очередным отроком.

Именно в последних своих текстах Лесков вдруг заговорил об однополой любви: прозрачные намеки на нее делает героиня «Дамы и фефёлы» Зинаида Павловна, к концу повести теряющая последние остатки благопристойности; Марья Мартыновна в «Полунощниках» произносит откровенный пассаж о том, как приятно девушкам ласкать друг друга; в «Зимнем дне» отчетливо звучит тот же мотив.

«Это отрывок из Содома и Гоморры, и я не дерзая выступить с таким отрывком на божий свет», — смущенно комментировал М. М. Стасюлевич свой отказ опубликовать «Зимний день» в «Вестнике Европы», который он редактировал. Описание моральной распущенности в «Зимнем дне» перемежается намеками на криминальные замыслы персонажей и на то, что гостья главной героини — полицейский агент<sup>1008</sup>. Кажется, что Лесков в обычной своей манере, вдоволь насладившись изображением праведников и тихого сияния святости, для равновесия обратился к изображению пороков — таких, каких избегал касаться прежде. Он ясно понимал, что делает, и объяснял Фаресову:

«Весь мой одиннадцатый том: Клавдия в “Полунощниках”, квакерша-англичанка Гильдегарда и тетя Полли в “Юдоли”, “Дурачок” и т. д. — опять воспроизводят светлые явления русской жизни и снимают с меня упрек в том, что я проглядел устои русской жизни и благородные характеры.

Я их видел, но я видел также и многое другое... Мои последние произведения о русском обществе весьма жестоки. “Загон”, “Зимний день”, “Дама и фефёла”...

Эти вещи не нравятся публике за цинизм и прямоту. Да я и не хочу нравиться публике. Пусть она хоть давится моими рассказами, да читает. Я знаю, чем понравиться ей, но я больше не хочу нравиться. Я хочу бичевать ее и мучить»<sup>1009</sup>.

Толчком к созданию «Зимнего дня» стал процесс графа Александра Соллогуба — увы, сына автора «Тарантаса» — и

других мошенников, подделавших завещание миллионера В. И. Грибанова; суд над ними состоялся в 1894 году. Хотя, видимо, были у героев рассказа и другие прототипы. 21 августа 1894 года Лесков писал В. А. Гольцеву:

«На “Зимний день” много где будут рычать: это неизбежно: “На зеркало нечего пенять, если рожа крива”. Это “инкрустация”, это всё “сколки” разговоров и затушеванные портреты всех тварей (Асташев, Базилевский, Щербатов, Новикова, Кушелевы, Марья Мих[айловна] Дондукова-Корсакова, Ермаков и др.)»<sup>1010</sup>.

Удивительно, что так откровенно писать о том, каких степеней падения может достичь человек, позволив плоти торжествовать над духом, Лесков решился лишь в конце жизни. Возможно, этому способствовал не только возраст, когда ничто уже не страшит, но и стремительно раскрепощавшиеся общественные нравы.

Именно в 1890-е годы Лесков перестал бояться говорить и о силе блудной страсти. В 1892-м он опубликовал в журнале «Русское обозрение» цикл «Легендарные характеры» — 33 подобранные из Пролога истории о женщинах, включающие примеры и святости, и греха, преимущественно связанных с эросом. По прочтении этого цикла Чехов вывел еще одну формулу поздней лесковской прозы. «Прочел “Легендарные характеры” Лескова, — писал он Суворину. — Божественно и пикантно. Соединение добродетели, благочестия и блуда. Но очень интересно»<sup>1011</sup>.

Темные стороны женского эроса занимали Лескова, начиная с «Леди Макбет...». Он не раз касался этой темы и позже: в романе «На ножах» (1870—1871), в рассказе «По поводу “Крейцеровой сонаты”» (1890), в неопубликованном очерке «Дело госпожи Каировой» о женщине, которую бросил любовник, а она из мести хотела убить его жену; в статье «Бракоразное забвение» (1885), где без большой необходимости для содержания излагается история жены священника из Орловской губернии, подверженной припадкам нимфомании. О странностях и безбрежности женской страсти он пишет Шубинскому и Суворину в связи с рассказом последнего «Трагедия из-за пустяков»<sup>1012</sup>.

Аким Волынский вспоминал, как однажды после концерта заглянул к Лескову, а тот начал расспрашивать его о впечатлениях и встречах. Волынский заметил, что видел в публике «одну известную в Петербурге даму». Лесков немедленно оживился.

«— Какая же она?

— Довольно полная...

— Ну! — нетерпеливо перебил Лесков.

— Рыжая.

— Ну!

— С зелеными кошачьими глазами».

Лицо Лескова помертвело, «глаза загорелись полубесмысленным огнем».

«— Брр!.. Я знал таких, — проговорил он и замолк».

Но вскоре снова вернулся к разговору: «Они вот говорят: чувственность! Это тоже — шутка сказать! Чувственность! А что она такое? Тоже ведь она в нас. Что же с ней делать! Это загадка. Откуда она и зачем?..»<sup>1013</sup>

Вероятно, оттого что Лесков слишком остро переживал неодолимость любовной страсти, в частных беседах он мог отозваться о женщинах с исключительным пренебрежением, не подбирая выражений. И. А. Шляпкин вспоминал: «Это — низшая раса, — говорил раздраженно Н. С. — Генний рода, [penis], нас смущает. И чем выше, тем хуже»<sup>1014</sup>.

## Прощальная повесть

Прощальным произведением Лескова стала не опубликованная при его жизни повесть «Заячий ремиз. Наблюдения, опыты и приключения Оноприя Перегуда из Перегудов» — история безумного станового пристава\*, который ревностно, но безуспешно искал «потрясателей основ» и в итоге очутился в сумасшедшем доме, где утешался тем, что вязал для своих соседей чулки, а по ночам улетал на болота «высиживать среди кочек цаплины яйца, из которых непременно должны выйти жар-птицы»<sup>1015</sup>. В этом причудливом повествовании можно, по наблюдению литературоведа М. С. Макеева, увидеть и ироническое самоописание — всю жизнь прогонялся за нигилистами, а лучше бы делал простое и полезное дело, вот хотя бы вязал носки, — и надежду, что книги его будут прописаны в вечности. Ведь в конце жизни Оноприй изобрел «печатание мыслей», не на бумаге — на небесах.

---

\* Становой пристав — полицейский чиновник в части уезда — стане. К его компетенции относились все исполнительные, следственные, судебнополицейские и хозяйственно-распорядительные дела.

В начале рассказа Перегуд проповедует вегетарианство — вслед за Овидием недоумевает, зачем люди убивают для своего пропитания «мирные стада», а в финале «видит, как несется на облаках тень Овидия и запрещает людям “пожирать своих кормильцев”».

«Перегуд хочет, чтобы все это видели и слышали это и многое другое и чтобы все ужаснулись того, что они делают, и поняли бы то, что им надо делать. Тогда жить и умирать не будет так страшно, как нынче!.. Он всё напечатает прямо по небу!..»

Для этого Оноприй вырезал «огромные глаголицкие буквы». Скорее всего, были они вовсе не из древнейшей азбуки-глаголицы (откуда бы Перегуду ее знать?), а из кириллицы, «глаголицкими» же были названы, потому что глаголят, говорят с миром и людьми. Во время ночной грозы при сиянии молний Оноприю почти удастся воплотить свою мечту и напечатать буквы на небе:

«Перегуд схватил из своих громаднейших литер Глаголь и Добро и вспрыгнул с ними на окно, чтобы прислонить их к стеклам... чтобы пошли отраженья овамо и семо\*. “Страшное великолепие” осветило его буквы и в самом деле что-то отразило на стене, но что это было, того никто не понял, а сам Перегуд упал и не поднимался, ибо он “ушел в шатры Симовы” (то есть обрел вечный покой. — М. К.)»<sup>1016</sup>.

«Глаголь» и «Добро» герой Лескова подхватывает, конечно, не случайно: две заветные буквы отсылают читателя к вопросу о назначении литературы. В «Глаголь» проступает «глагол» — часть речи, обозначающая действие и отвечающая на вопрос «что делать?». Вот что: жечь сердца людей проповедью о добре. Но проповедь эта может быть выражена только в слове. Современный исследователь Кристина Шперль предлагает прочесть «Заячий ремиз» как философское эссе об истинном Слове — Логосе, посланном Богом в мир и не познанном им<sup>1017</sup>.

Правда, звучит эта проповедь из уст безумца, «сумасшедшего резонера»<sup>1018</sup>. Проблема безумия была в прозе Лескова сквозной\*\* — видимо, еще и потому, что с 1878 года

---

\* Туда и сюда.

\*\* См., например, «На ножах» (1870—1871), «Смех и горе» (1871), «Инженеры-бессребреники» (1883), «Маленькая ошибка» (1883), «Загадочное происшествие в сумасшедшем доме» (1884), «Дама и фефёла» (1894).



он регулярно навещал законную супругу Ольгу Васильевну в петербургской больнице Святого Николая. Кое-что из положенного потом в основу текстов о душевнобольных героях он наверняка подглядел именно там. В «Заячьем ремизе» сумасшествие Оноприя Перегуда — это, вполне в гоголевском духе, удобный ракурс, обнажающий социальное неблагополучие, в которое погружена Россия, экзистенциальный абсурд ее существования и всевластная воля случая, а вместе с тем возможность для художественного эксперимента, обращения в параллельные области бытия.

Как не раз уже отмечалось исследователями, «Заячий ремиз» во многом вдохновлен философией украинского гуманиста Григория Сковороды (1722—1794)<sup>1019</sup>. У него Лесков позаимствовал и эпиграф о том, что «телесный болван» — только тень «истинного человека», существа духовного. Возможно, и идея алфавита как метафора универсума была подсказана Лескову философским диалогом Сковороды «Разговор, называемый Алфавит, или Букварь мира», посвященным путям достижения счастья; оно, по Сковороде, «внутри нас», а потому необходимы самопознание и труд в соответствии с природным призванием.

Интересно, что 20 лет спустя Велимир Хлебников, автор концепции «самовитого слова», или «слова вне быта и жизненных польз», в ранней утопии «Лебедия будущего» (1915) также обратился к метафоре «небокниги»: «...высокие белые стены, похожие на белые книги, развернутые на черном небе», были заполнены «тенеписьменами»<sup>1020</sup>. «Заячий ремиз» Хлебников к тому времени прочесть не мог — повесть по-прежнему не была опубликована; но источники у Председателя земного шара и автора похожего изобретения были общие. В иудаизме еврейский алфавит считался священным с момента его появления в I тысячелетии до н. э. В светской европейской культуре представление о книге как символе мира, алфавите как «вместилище неизреченных тайн»<sup>1021</sup> известно со времен Средневековья. Поэты эпохи барокко, а затем и представители литературного авангарда сделали книгу и алфавит источником образности по одной и той же причине: и те и другие стремились к универсализму, «постижению мира во всей его полноте и к созданию всеобъемлющих картин», потому-то они так любили перечни, каталоги, цепи слов, буквари — как различные метафоры универсума<sup>1022</sup>.

В своей последней повести Лесков открыто исповедовал собственную религию. Это была религия Слова.

## «Посмертная просьба»

Двенадцатого февраля 1895 года, в Прощеное воскресенье, на пороге комнаты Лескова появился посетитель.

— Вы меня примете, Николай Семенович? — осторожно спросил гость.

Он походил на пожилого сельского иерея: седенькая борода, очки, благообразный вид... Лесков не верил своим глазам: государственный контролер Филиппов, давний его истязатель, спрашивал у него разрешения войти! Когда-то Третий Иванович был близок к кружку «Москвитянина», они приятельствовали, вместе пели русские песни, которые Филиппов знал в изобилии, но это осталось в далеком прошлом. С тех пор как Филиппов вместе с Деляновым настоял на увольнении Лескова из Ученого комитета, пути их разошлись. Третий тоже был книжник, знаток церковной истории и богословия. Иногда они сталкивались в книжных магазинах у одних полок, после этого Лесков всегда возвращался домой в раздражении. Он посвятил своему литературному недругу злую эпиграмму, завершавшуюся словами: «Но для нас он мерзкий сводня, / Лысiec презренный и холоп»<sup>1023</sup>. И вот теперь «лысiec и холоп» стоял у него на пороге.

— Да, заходите, конечно, — удивленно отвечал Лесков.

Зачем он явился, в какой роли — как начальственное лицо? литератор? читатель?

— Николай Семенович, я пришел к вам мириться. Открыл ваши книги, одну, другую, много перечитал... и меня вдруг потянуло к вам. Сегодня прощенный день, и если я чем виновен перед вами, простите меня.

Внезапно Филиппов встал на колени. Стоял перед своим бывшим врагом, склонив голову. Лесков тоже опустил-ся вниз. На мгновение всё исчезло — вражда, обиды, презрение. В памяти вспорхнула вдруг старая вольная песня о двух щеглочках в чистом поле, разлилась по комнате. Пел ее, пел когда-то Третий под гитару. Как же хорошо они смеялись под нее!

Два старика, которым так мало осталось жить, стояли друг перед другом на коленях.

Поднялись, заплакали, поцеловались.

— Я перечитывал вас, — смущенно заговорил Филиппов, — мне вспоминалось всё, что вы вытерпели, и я, я... почувствовал потребность вас видеть.

Лесков смешался, не знал, что ответить. Третий смотрел на портреты, стоявшие на столе: Толстой, Дарвин, британ-

ский либерал Гладстон... Смотрел и молчал — он всех их терпеть не мог. О чем было говорить?

Но тут Лескову счастливо припомнилось, что когда-то Третий Иванович занимал один вопрос из церковной истории. На память пришли нужное имя, название статьи, они разговорились. Затем коснулись и больной для Лескова темы — о том, что писателей можно и нужно принимать на государственную службу. Филиппов сейчас же согласился.

— Я радуюсь, Третий Иванович, что вы дорожите литераторами в ваших бюрократических берлогах. Пора, пора даже и в такой малокультурной стране, как Россия, ценить писателя выше чиновника и принимать его на службу, не жалея денег и не сомневаясь, что государство только выиграет, если литераторы войдут в его учреждения и в салоны. Не надо страшиться литераторов; литературная среда всё-таки умная и уж, конечно, честнейшая из всех<sup>1024</sup>.

Он говорил много, больше, чем требовалось, боясь пустоты, чувствуя: еще миг — и снова воцарится молчание. Так мало осталось жить, а общих тем почти не было.

— Надеюсь, видеть вас у себя, — проговорил наконец Филиппов, собираясь идти.

— Я никуда не хожу. Подыматься по лестнице тяжело.

— О, я не высоко живу. Несколько ступеней.

— Да нет... вы живете для меня *высоко*!

Третий Иванович засмеялся, и вновь мелькнуло в лице молодое, озорное, нежное.

Они попрощались.

Лесков словно умылся живой водой и всем подряд, близким и дальним, всё рассказывал о неожиданном примирении, не уставая повторять подробности: встали на колени, стояли несколько мгновений — и будто песня зазвучала, будто скинули 30 лет. Он знал: Третий Иванович был оригинал, а вместе с тем ортодоксальный церковник, мог поверить чужому сну о себе и помочь, чтобы сон был в руку, или поцеловать вдруг георгиевского кавалера в орден...

Чем было это примирение — ритуалом накануне Великого поста, театральным жестом? Не всё ли равно? Ему стало легко, светло, весело. Никто другой из его врагов не явился, а Третий взял да и пришел, и ясно ведь было, что вовремя. «По крайней мере, кланяться будем на том свете», — повторял Николай Семенович и с улыбкой опускал глаза.

Тринадцатого февраля 1895 года Лесков побывал на выставке картин передвижников в Академии художеств. Он всегда посещал большие выставки, но на этот раз его влекла сюда особенная причина: выставлялся его собственный портрет. Коллекционер русского искусства Павел Михайлович Третьяков с разрешения Лескова заказал его портрет Валентину Серову.

Ранее, в 1888 году, портрет Лескова пытался написать Илья Репин, но так и не завершил работу из-за сопротивления писателя. Известна также работа Ивана Банистера, созданная в мае 1890 года; Лесков был этим изображением не слишком доволен, тем не менее повесил его в своем кабинете<sup>1025</sup>.

В марте 1894 года Серов начал работу; портрет, как и предвидел Лесков, получился «превосходный», запечатлев самые разные оттенки его натуры.

С этого, действительно лучшего, портрета писатель глядит пронизательно, остро и настороженно, тревожно. Ни уверенности, ни спокойствия и благодати старца. Видно, что он измучен болезнью, что прожил очень трудную жизнь — но не покорился: в темных глазах полыхает огонь неукротенного бунтаря, неисправимого упряма.

Портрет был выставлен в Академии художеств, в черной раме. Лескову почудился в этом дурной знак. Он спрашивал о портрете и отдельно о раме всех побывавших на выставке, выслушивал утешительные ответы и всё-таки хмурился.

Через два дня после посещения выставки он начал недомогать, температура то поднималась до 39 градусов, то спадала. Было трудно дышать.

Восемнадцатого февраля, жажда продышаться, он оделся потеплее и поехал гулять. Катил в санках и с наслаждением вдыхал морозный воздух. Некому было удержать его, отговорить от этой прогулки. Лечащий врач Николай Федорович Борхсениус, узнав потом о своеволии больного, прятать тревогу не стал: «Ужасная неосторожность!»

Двадцатого февраля Лескову сделалось хуже, развился отек легких, сердце едва справлялось, теперь он задыхался уже всё время. В ночь на 21-е число Андрей Николаевич, несмотря на протесты отца, остался ночевать на Фурштатской, подавал лекарства, менял грелки. Больной стонал, был совсем плох, но к вечеру ему как будто сделалось лучше. Вскоре после полуночи он, наконец, заснул. Дышал шумно, но ровно. Спустя час в спальне стало до странности тихо. Андрей Николаевич вошел. Его накрыла мертвая тишина.

Кончина бунтаря и ересиарха оказалась кроткой, мирной — он умер во сне.

Под утро, когда собрались близкие, Андрей Николаевич взял ключи, лежавшие у изголовья покойного, и отпер средний ящик письменного стола. Как знали все ближние Лескова, здесь хранился запечатанный конверт с надписью: «Прочесть немедленно после моей смерти». Андрей Николаевич вскрыл его и зачитал вслух:

#### «МОЯ ПОСМЕРТНАЯ ПРОСЬБА

1) По смерти моей прошу непременно вскрыть мое тело и составить акт вскрытия. Желаю этого для того, чтобы могли быть найдены причины сердечной болезни, которою я долго страдал, при общем уверении врачей, что в сердце моем не было никакого болезненного изменения.

2) Погребсти тело мое самым скромным и дешевым порядком при посредстве “Бюро погребальных процессий”, по самому низшему, последнему разряду.

3) Ни о каких нарочитых церемониях и собраниях у бездыханного трупа моего не возвещать и гроб закрыть тотчас же после того, как туда будет положено вскрытое и снова убранный тело.

4) На похоронах моих прошу никаких речей не говорить. Я знаю, что во мне было очень много дурного и что я никаких похвал и сожалений не заслуживаю. Кто захочет порицать меня, тот должен знать, что я и сам себя порицал. <...>\*

6) Места погребения для себя не выбираю, так как это в моих глазах безразлично, но прошу никого и никогда не ставить на моей могиле никакого иного памятника, кроме обыкновенного, простого деревянного креста. Если крест этот обветшает и найдется человек, который захочет заменить его новым, пусть он это сделает и примет мою признательность за память. Если же такого доброхота не будет, значит, и прошло время помнить о моей могиле.

---

\* В пятом пункте, указывал А. Н. Лесков, говорилось «о наследниках и о назначении душеприказчиками “живущих в Петербурге” управляющего книжным магазином “Нового времени” Н. Ф. Зандрока и З. А. Макшеева. Увы, Зандрок еще в начале 1893 года покинул Петербург и жил в Барнауле. Единственным исполнителем литературного завещания очутился глубоко нелитературный человек. Это гибельно сказалось на судьбе архива Лескова» (*Лесков А. Н.* Указ. соч. Т. 2. С. 493). О судьбе архива Лескова см.: *Благоволина Ю. П., Зимина Г. В.* Из архива Н. С. Лескова (Заметка Н. С. Лескова и письма к нему) // Записки отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Вып. 30. М., 1968. С. 205—212.

7) Если бы, однако, объявились люди, которые захотели бы проявить чем-нибудь любовь ко мне, то я от этого не отстраняюсь и указываю им, что они могут сделать для меня отрадного: я прошу их вспомнить и отыскать девочку, сироту Варвару Ивановну Долину, которую я взял беспомощною с двух лет и воспитывал ее и сожалел ее. Прошу всех, желающих явить свою любовь ко мне, — перевести это чувство на бедную Варю, которую я любил. Прошу помогать ей добрым советом и участием к ней, лаской и утешением и заботою о ее устройстве.

8) В годовщины смерти моей прошу моих доброжелателей и друзей осведомляться у Н. Ф. Зандрока и З. А. Макшеева о положении Вари и посоветоваться, не может ли кто-нибудь оказать ей что-либо полезное. Кто это сделает, тот окажет мне наилучшую дружбу, которая будет иметь для меня особую свою, истинную цену.

9) Некоторые думали и говорили, будто Варя Долина есть моя дочь. Я не знаю, для чего бы я стал это скрывать, но это неправда. Я взял ее просто по состраданию, но при ее посредстве мне дано было узнать, что своих и не своих детей человек может любить совершенно одинаково. Советую испробовать это тем, кому это кажется трудным и маловероятным. Это и верно, и легко.

10) Если бы обстоятельства показали, что до совершеннолетия Вари Долиной, для устройства ее, может иметь значение какая-нибудь складчина, то я этому не противоречу. Я сам устраивал подобные дела для сирот и думаю, что могу принять такое участие от других для призренной мною сироты.

11) Литературный фонд умоляю не отказать Варваре Долиной в содействии к тому, чтобы она могла докончить свое образование в каком возможно заведении, соответствующем началу, какое она уже получила. Зандрока и Макшеева прошу узнать, что может быть оказано Литературным фондом.

И 12) прошу затем прощения у всех, кого я оскорбил, огорчил или кому был неприятен, и сам от всей души прощаю всем всё, что ими сделано мне неприятного, по недостатку любви или по убеждению, что оказанием вреда мне была приносима служба Богу, в коего и я верю и которому я старался служить в духе и истине, побораая в себе страх перед людьми и укрепляя себя любовью по слову господина моего Иисуса Христа»<sup>1026</sup>.

Голос Андрея Николаевича всё отчетливее дрожал — четыре пункта завещания были посвящены Варваре Долиной. Просьба о скромности похорон казалась аффектиро-

ванной, ненатуральной. Не один Андрей — все остались в недоумении. Для чего требовать провести вскрытие, если в нем не было ни малейшей необходимости? Доктора хорошо понимали, что происходило с их пациентом, однако берегли его от волнений. Но особенно безжалостно звучал запрет на произнесение надгробных речей — Лесков не позволял близким выплеснуть скорбь в веками освященном обычае причитания по ушедшему, из-за гробовой черты не желая слышать похвалы, которых он, большой русский писатель, конечно, был достоин. В завещании билась неизжитая обида на литературных врагов, цензоров, душеителей. Но расплачиваться предстояло тем, кто искренне его любил.

И они постарались сделать всё, как он просил. Андрей Николаевич разослал траурные телеграммы киевским родным, в Ржищевский монастырь — инокине Геннадии (в миру Наталье Семеновне Лесковой), в Бурты — Вере. Но ни Екатерина Степановна, ни брат Алексей с женой, ни дочь Вера, сославшаяся на болезнь, на похороны не приехали.

В газете «Новое время» от 22 февраля 1895 года вышло объявление: «В ночь на 21 февраля, в 1 час 20 минут, скончался Николай Семенович Лесков». Его хоронили 23-го числа.

Близкие собрались в его кабинете в доме на Фурштатской. Писательница и актриса С. И. Смирнова-Сазонова записала в дневнике:

«Покойник лежит в своей рабочей блузе. Кисея, которой он наполовину закрыт, как-то не идет к этому суровому потемневшему трупу. В руках у него большой золотой крест. Среди металлических венков один из живых роз от сына и невестки. На венке “Петербургской газеты” было сначала написано Лесникову, потом две буквы стерли, осталось пустое место.

Какая-то старушка, повязанная платком, положила перед гробом земной поклон. Но в публике за панихидой никто даже не крестился. Певчими были всё детишки в солдатской форме. <...> Простой деревянный гроб поставили на простые парные дроги, по последнему разряду, покрыли золотым покрывалом, прикрепили венки и повезли на Волково кладбище»<sup>1027</sup>.

Несколько факельщиков с фонарями сопровождали гроб.

Похороны были немногочисленными — ничего подобного проводам Достоевского или Некрасова, никаких толп и

взволнованной молодежи. И всё же попрощаться с Лесковым пришли Константин Случевский, Сергей Максимов, Василий Немирович-Данченко, Николай Лейкин, Анатолий Кони, Адольф Маркс, Сергей Шубинский, Дмитрий Мережковский, близкий круг — Терпигорев, Веселитская, Макшеевы, Борхсениусы. Проводить в последний путь своего литературного недруга явился и критик Виктор Петрович Буренин. Но многие из тех, кто, казалось бы, должен был последним целованием почтить покойного, не явились. Почти не было редакторов газет и журналов, не было молодых писателей и писательниц, которым Лесков помогал. Суворина — и того не было. Зато за гробом тянулись никому не ведомые старики, старушки, бедные женщины с детьми — это, как выразилась Е. И. Борхсениус, на похороны пришли «его добрые дела»<sup>1028</sup>.

Погода стояла солнечная, снег таял, на ветках кладбищенских кустов чирикали воробьи.

В вечный путь раба Божьего Николая снаряжали в кладбищенской церкви — без этого его, по существовавшим тогда законам, просто нельзя было бы похоронить. Но отпевали, как он и просил, при закрытом гробе.

К самому отпеванию приехал Владимир Соловьев.

Лескова погребли на Литераторских мостках Волкова кладбища, неподалеку от могилы Белинского. «На похоронах моих прошу никаких речей не говорить». Его послушали и в этом: всё свершалось в глубоком безмолвии. Ни речей, ни рыданий — только тихие вздохи, редкий женский всхлип.

В тишине словно бы крылось предсказание. Молчание окружило книги Лескова на долгие годы. Отчасти оно продолжается и до сих пор.

Непонимание прорастает сорняком сквозь затейливые, во многом до сих пор неразгаданные тексты; безмолвие висит в воздухе сырой густой тяжестью.

Не видно только смерти. Потому что смерти нет.



---

---

*Глава десятая*  
**НАЧАТКИ И КОНЧАТКИ**

*Блажен путь, воньже идиши  
днесь, душе, яко уготовася тебе ме-  
сто упокоения.*

Последование погребения  
мирских человек

**Прощение и труд**

Андрей Николаевич остался наедине с отцовскими рукописями, черновиками, письмами. Стоило взять в руки плотный синий конверт, вынуть сложенный тонкий листок, исписанный знакомым круглым почерком, — и сразу же заслонял уши, закрывал лицо ладонями. Отец снова рокотал, неистовствовал, гневом пылали злые глаза:

«...С полной душою мерзости и отвращения извещаю  
тебя о твоих делах...»<sup>1029</sup>

Потом, при публикации, Андрей Николаевич аккуратно вырезал подобные ужасные фрагменты. В книгу они не попали, но в сердце горели, кажется, всегда. Масштаб дарования писателя Лескова он осознал совсем не сразу и, судя по всему, так же медленно, постепенно его прощал. После революции, в 1919 году, Андрей Николаевич опубликовал первые воспоминания об отце<sup>1030</sup>. Всерьез погрузиться в написание биографии он пока не мог — всё еще был занят службой.

А. Н. Лесков с 1919 по 1929 год служил в штабе пограничных войсках ВЧК—ОГПУ. В 1922—1923 годах он разработал «Инструкцию службы охраны государственной границы пограничными войсками ГПУ Петроградского пограничного округа». Этот документ, регламентирующий поведение пограничников, лег потом в основу «Временного устава службы пограничной охраны ОГПУ» (1927). Несколько лет советские погранвойска жили по правилам, составленным сыном человека, ненавидевшего границы и ограничения.

Параллельно Андрей Николаевич преподавал в Высшей пограничной школе ОГПУ. Курсанты его любили — за

острословие, широкий кругозор, пословицы и поговорки, которых он знал бессчетно и сыпал ими на русском, украинском и польском: «На занятия Лескова, как правило, собирался весь командный состав курсов, его любили послушать. В перерывах и по окончании занятий Андрея Николаевича долго не отпускали. Он всегда был окружен плотным кольцом курсантов, которые донимали его самыми разнообразными вопросами, и он никогда не оставлял их без ответа»<sup>1031</sup>.

Летом 1929 года 54-летний А. Н. Лесков был по инвалидности уволен в отставку со статусом персонального пенсионера, данным ему за заслуги — видимо, за составление всё той же «Инструкции...».

Скорее всего, выход в отставку Лесков-сын воспринял как освобождение от рутины. Персональная пенсия позволяла не думать о хлебе насущном и заняться, наконец, главным — книгой об отце.

Память о когда-то известном писателе на глазах скудела. Еще в 1924 году Андрей Николаевич жаловался известному филологу Борису Михайловичу Эйхенбауму: «21/II/25 г. исполняется 30 лет со дня смерти Лескова. Видно, он (юбилей. — М. К.) пройдет немотно. Если бы не служебное тягло, кормящее меня не редакционно, а срочно и спешно, с какою духовной радостью занялся я подготовкой хотя небольшой памятки! Но нет ни времени, ни средств, ни доброхотов. Поистине этому имени продолжает не везти, как не везло при жизни. Роковая судьба. Горькое чувство»<sup>1032</sup>.

Когда служебное тягло было наконец сброшено, Лесков-младший начал многолетнее восхождение на гору памяти об отце — составление «подлинной летописи» его «трудов и дней»<sup>1033</sup>. Эта работа велась и раньше, но теперь стала двигаться намного быстрее.

На научном собрании в Государственном литературном музее 24 сентября 1942 года Андрей Николаевич сделал доклад о Лескове и его отношении к немцам, в котором впервые публично сообщил о работе над книгой и о том, что собирает материалы около сорока лет: заполнены тысячи карточек с основными фактами из жизни писателя, цитатами из его статей, публикаций о нем, его переписки:

«...я решил, что имею право взяться за опыт, сделать попытку написать монографию о Лескове. Но не мемуары, не болтологическую такую труху, а достоверное, так, чтобы это было неопровержимо, что рисовало бы Лескова в под-



линной его сущности, и не иконописно, не прозекторское вскрытие подоopleки во всех ее мелочах, а равномерно, добиваясь этой равномерности, как в двуцветном шнурке, свитом воедино»<sup>1034</sup>.

Видимо, Андрею Лескову очень хотелось написать биографию, основанную на фактах и документах, которая давала бы живой, а не иконописный портрет отца, писателя и человека.

Андрей Николаевич не был историком или филологом, зато обладал тем уникальным преимуществом, которое перевешивало всё: он был сын. Его основной багаж — общая жизнь с Н. С. Лесковым — обретал вес еще и благодаря великолепной памяти, огромному трудолюбию и возможности использовать богатейший отцовский архив. За написание биографии он взялся в сентябре 1932 года и писал ее до 1936-го<sup>1035</sup>. Получилась гигантская рукопись — 60 авторских листов.

Андрей Николаевич отправил ее Эйхенбауму, литературоведу В. А. Десницкому, Л. Я. Гуревич, писательнице и музыковеду В. Д. Стасовой-Комаровой — все отозвались доброжелательно. Несколько частей в сентябре 1935 года он отослал А. М. Горькому<sup>1036</sup>. Лесков всегда был интересен и многим близок главному советскому писателю, понравились ему и главы биографии. Горький отправил рукопись Десницкому с просьбой поспособствовать публикации, а попутно выразительно отозвался о ее герое: «...уверен, что сии мощи, будучи вскрыты, окажут чудодейственное влияние на оздоровление русского языка, на ознакомление с его красотой и остротой, гибкостью и хитростью. Все эти качества нашего языка покойному Лескову были отлично известны, и ты знаешь, что владел он ими превосходно»<sup>1037</sup>. Призыв живого классика был услышан: в 1937 году журнал «Литературный современник» в третьем номере опубликовал пять первых глав книги о Лескове с предисловием Десницкого.

Похвала Горького стала охранной грамотой, Андрей Николаевич постоянно ссылался на нее в письмах тем, от кого зависела судьба книги. Однако летом 1936 года Горький умер. Андрей Николаевич лишился главного своего покровителя, без поддержки которого издавать биографию Лескова никто не хотел. Повлиять на судьбу книги не смог даже партийный идеолог Андрей Александрович Жданов, по свидетельству А. Н. Лескова, тоже пытавшийся помочь<sup>1038</sup>.

Возможно, дело заключалось не только в дурной, в глазах советского литературного начальства, репутации сочинителя «Некуда» и «На ножах». Жизнеописание объемом с «Войну и мир» советскому книгоизданию были непривычны. На такую обстоятельную биографию не имел права никто, тем более автор антиинигилистических романов. В конце концов рукопись осела на дне редакции издательства «Советский писатель» в Ленинграде. Годы спустя один из ее сотрудников признавался: «...тогдашнее руководство издательства с начала сорокового года долгое время не занималось этой рукописью, и это несмотря на положительные отзывы М. Горького и известного литературоведа В. А. Десницкого»<sup>1039</sup>.

О некоторых обстоятельствах своих мытарств Андрей Николаевич рассказал в письме еще одному знатоку Лескова и поклоннику его дара, религиозному писателю и литературоведу Сергею Николаевичу Дурьлину: «Несмотря на завешание Горького, вмешательство А. А. Жданова и натиск Ленсовета (37/38 гг.), наши “издаты” спешили с медлительностью, не поддающейся описанию. Навязанный мне, вместо как бы предуказанного Горьким редактора в лице Десницкого, покойный О. В. Цехновицер\* поражал меня незнанием эпохи и соотношения лагерей и течений 60-х годов, и совершенным невежеством в отношении персонально Лескова, при смехотворном непонимании русского языка, языка Лескова, Писемского и т. д. Он тянул редактирование первого тома больше года»<sup>1040</sup>.

Наконец, после бесконечной волынки книгу решено было издать в двух томах. Началась редакционная работа, и первый том — невероятно! — сдали в производство. Никогда еще биография Лескова не была так близка к встрече с читателем. Оставалось лишь подготовить второй том... Воспользуемся возникшей паузой для кратких комментариев к этому труду.

Многое оказалось за рамками громадного биографического повествования. Андрей Николаевич работал над ним в эпоху Большого террора и о чем-то умолчал из цензурных соображений, а о чем-то — из целомудрия или нежелания раскрывать детали, не украшавшие его отца. Но однажды он всё-таки рассказал в частном письме о том, что терзало

---

\* *Орест Вениаминович Цехновицер* (1899—1941) — литературовед, театровед, публикатор и исследователь творчества В. Ф. Одоевского, Ф. М. Достоевского, Ф. К. Сологуба.

его всю жизнь. В конфиденты была избрана Любовь Яковлевна Гуревич, хорошо знавшая Лескова и, кажется, неплохо его понимавшая.

В отличие от многих литераторов из «бывших» Любовь Яковлевна в советские годы не пропала — продолжала заниматься театральной критикой, писала просветительские книги об актерской игре, о Константине Сергеевиче Станиславском, о русском театральном быте<sup>1041</sup>. Гуревич жила в Москве, Лесков-младший — в Ленинграде. Сначала он просто отправил ей рукопись книги об отце, Любовь Яковлевна долго не откликнулась. Тогда 6 апреля 1937 года он послал ей письмо, вдруг решив свести счеты с отцом, после смерти которого прошло уже больше сорока лет.

«Глубокоуважаемая Любовь Яковлевна, вынужденно подавив в себе смущенье, не могу больше противостоять вплотную подошедшей необходимости иметь под рукой второй экземпляр моей работы и просить о его высылке мне.

Верьте, что если бы мог — не утруждал бы Вас этим еще до последнего предела. Но он уже переилен. <...>

Я знал, что V-ая часть неудобоприемлема\*. Но в этой “адописи” я погрешил в одном: я ее окоротил, обледнил, снизил, дал не всё. Сказанное — верно, но сказано не всё... Это мой авторски-биографный грех, который уйдет со мной в могилу, т[ак] к[ак] иначе содрогнулись бы, м[ожет] б[ыть], даже самые искушенные патологи. Этот ужас, стоивший многим искалечения всей жизни, и мне всего детства, юности, молодости и исковерканности дальнейшего жизненного пути, ужас, который Вы чутьем угадали (ошибаясь лишь в его дозе) даже в положении только знакомой, да еще пользовавшейся добрым расположением, останется навсегда недоосвещенным. Однако и то, без чего получилась бы лживая иконопись вместо правды, какой она была, видимо, так жутка, что на нее не знать, как и откликнуться. Я это знал сорок лет и не брался за перо, а теперь, когда написал, вижу, что писать не следовало. Пусть жили бы фаресовские\*\* или мадам-борхсениусские акафистные пустословия — “да! человек он был!”, завершает она (жена доктора Н. Ф. Борхсениуса, лечившего Лескова. — М. К.)

---

\* В опубликованном варианте пятая часть («Еретичество») посвящена в том числе расставанию Лескова с Екатериной Степановной и распрям с киевскими родственниками.

\*\* Андрей Николаевич считал Фаресова «биографом-скорохвatom», неаккуратно обращающимся с документами (см.: *Лесков А. Н.* Указ. соч. Т. 2. С. 34, 128).

свой экзерсис\*. <...> Но лгать, подтасовывать и подгримировывать — не умею, не могу».

И Андрей Николаевич смывает грим, пишет о «жестокосердии» отца ко всем, «кроме себя», о его жадности, о том, что Лесков всегда пытался обходиться «без расходов для казны», и о том, что его матери удалось избежать участи отцовской законной супруги Ольги Васильевны — сумасшествия — лишь благодаря внутренней независимости.

«Сознаю, — продолжает Андрей Николаевич, — что всё мое письмо очень неловкий в сущности поступок, так как, несомненно, Вам не по душе, не по сердцу стало говорить и думать о моей работе. <...> Пусть так. Осудите. А вот потянуло опять заговорить. Однако обещаю исправиться в обуздании себя. Но всё-таки скажите — верили Вы и другие в подлинность “сиротоприимства”, огульное недостоинство всего родственного окружения, духовного усовершенствования, умягчения, мягкосердия и пр., и пр. <...>?»

Не допускаю. По письмам Толстого я улавливаю, что он Лескова не любил, ему не верил и за его беллетристической “exuberance” видел что-то не то, “что он в себе показывал”. <...> И еще: он нигде в статьях и очерках не прибегал к полупрозрачным параллелям между живописуемым и в лонах семейственных протекающим. Недаром, думается, не откликнулся он ни в одном письме (из известных) о “читавшей Вашу Суратскую кофейню рыбакам”, чуть не на Генисаретском озере\*\*, “сиротинке”. Упомянул ли он, Л[ев] Н[иколаевич], хотя словом о ней, когда Вы были у него? В литературных кругах во всём этом, начиная с назойливого

---

\* Воспоминания Екатерины Иринеевны Борхсениус заканчиваются так: «Вернувшись с похорон, я долго и неутешно рыдала, сознавая всю громадность своего горя, так что моя приятельница, которая зашла к нам, чтобы спросить о его болезни, смерти и похоронах, при виде моих слез с чувством сказала мне: “Знаете, Е. И., я считала бы себя счастливой, если б обо мне поплакал так искренне горько не только чужой, а даже самый близкий человек”. “Да, поистине человек он был в самом лучшем и благороднейшем смысле этого слова”, — сказала я ей в ответ» (*Борхсениус Е. И.* Мои воспоминания о Николае Семеновиче Лескове // *Н. С. Лесков в воспоминаниях современников* / Сост., подгот. текста, коммент. Л. И. Соболева, Л. С. Даниловой, В. В. Соминой; предисл. А. М. Ранчина. М., 2018. С. 496). Е. И. Борхсениус написала воспоминания по просьбе А. Н. Лескова, но тот остался ими не слишком доволен, сочтя, что они «очень смелые в импровизации, смешении положений и фактов» (*Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 376).

\*\* Генисаретское (Тивериадское) озеро (Галилейское море) — пресноводное озеро на северо-востоке Израиля.

прокламирования любви и поклонения Т[олсто]му, видели позу, как всегда, не лишенную “аффектации и пересола”. Как бы ценно знать, что думал Т[олст]ой! Ясинский записал и напечатал упрек Атавой Л[еско]ва в “истязании сына Андрея”<sup>1042</sup>. Здесь пересол не за Атавой, увы. В суворинском дневнике опубликованы ужасающие подробности супружеских сцен на сальсовой даче в Сокольниках. А кто знает, что с неменьшею достоверностью занотовано другими и когда-нибудь появится на свет? Я лично более страшного человека среди людей его уровня ума и таланта не могу себе нарисовать. Ни Достоевский, ни Салтыков — ничто сравнительно. Припомните хотя бы отношение первого к весьма малоблагополучному пасынку Исаеву или к вдове брата! Случилось и А[нне] Гр[игорьевне Достоевской] убежать и ночевать у знакомых, но куда же всё это годится рядом с “аггелом”? Болезненность? Наследственность? Первая исключается. Вторая не передалась, однако, никому другому во всём родстве. Да и мать, в духе времени, была далеко не оправданием тому, что являл собою, и притом единственно, ее первенец. Полное отсутствие какой-либо над собой работы, при неизменном во всём самооправдании. И с этим всем учительствовали! Какой страх, какая жуть!

Непростительно виноватый

Андрей Лесков»<sup>1043</sup>.

Каждая строчка в письме горит неизжитой болью, неотмщенной обидой. Не упущено, кажется, ничего: грехи молодости у графини Салиас, жадность, лицемерие, «пересол» во всём, вероятная нелюбовь Толстого, физические истязания и, разумеется, «сиротка»!

Когда-то Лесков в компании с Николаем Бубновым составлял каталог слабостей Дроны<sup>1044</sup> — теперь настала его очередь. Главная обида сына была замешена на острой ревности к Вареньке Долиной<sup>1045</sup>. Он и в книге не простил отца за заботу о ней, а ее — за то, что являлась объектом этой заботы.

Но первый вариант книги так и не вышел в свет. Началась война, стало не до русских классиков, не до Лескова.

Немецкие самолеты бомбили Ленинград. 23 сентября 1941 года во время очередного авианалета фугасная бомба попала в здание издательства «Советский писатель». Рукопись биографии Лескова, несколько лет пролежавшая там мертвым грузом, погибла. Будь она запущена в производство хотя бы несколькими месяцами раньше, трагедии не произошло бы.



Дело еще можно было поправить: у автора оставался второй экземпляр — сотни машинописных страниц. Но в сентябре 1941 года началась блокада, и сохранить его тоже не удалось. Андрей Николаевич написал об этом Дурылину не слишком внятно: «Через восемь месяцев, в условиях блокады, погиб и второй экземпляр труда. Остались клочки!»<sup>1046</sup>

На выступлении в Гослитмузее, 24 сентября 1942 года, Андрей Николаевич признался: боясь, что могут разбомбить и его дом, расположенный неподалеку от военного завода и военного флота, он отнес рукопись близкому другу, который жил в лучших, как ему показалось, условиях. Но друг со всей семьей умер в первую блокадную зиму, в его квартиру въехали другие люди, а рукопись бесследно исчезла.

Второй экземпляр рукописи погиб; однако уцелели тысячи карточек с цитатами, датами, именами, названиями статей. По ним книгу можно было восстановить — если выживешь.

75-летний Андрей Николаевич и его жена Анна Ивановна провели зиму в блокадном Ленинграде. «Год я потерял в Ленинграде, трижды “дистрофирую” до грани освобождения ото всех мук человеческих»<sup>1047</sup>, — писал он секретарю Союза писателей СССР, большому литературному начальнику и своему спасителю Александру Фадееву.

Благодаря энергичной помощи Фадеева супруги Лесковы были эвакуированы из осажденного города сначала в Тульскую область, затем в подмосковное Кратово, а осенью 1942 года переехали в Москву<sup>1048</sup>. У будущей книги о Лескове появился шанс на второе рождение и жизнь.

Некоторые материалы Андрей Николаевич вывез при эвакуации и теперь снова работал над биографией отца. Он восстановил свой огромный труд с сотнями цитат, ссылок, с бесценными сведениями из первых рук.

В мае 1945 года новая рукопись биографии Лескова была готова. Теперь не напечатать книгу просто не могли — нет, не из уважения к громадной работе 78-летнего автора: стена забвения, постепенно уплотнявшаяся вокруг писателя, внезапно была пробита. И пробил ее Андрей Лесков.

## **Забвение**

XX век забывал Лескова постепенно.

Уже при жизни, в 1890-е годы, на него смотрели как на писателя из прошлого, он был, по словам тогда совсем еще молодой Зинаиды Гиппиус, «знаменитый старик».

В феврале 1895-го, когда Лесков умер, последовал залп некрологов — довольно сдержанных. По-настоящему сердечными были единицы. Один из них принадлежал Михаилу Меньшикову, поставившему Лескова по оригинальности таланта рядом с Достоевским и Салтыковым-Щедриным; другой — Владимиру Соловьеву, который напомнил читателям не только о «страстности натуры» Николая Семеновича, но и о его «ярком и в высшей степени своеобразном таланте»<sup>1049</sup>.

Новый всплеск интереса к Лескову возник два года спустя, когда Адольф Маркс переиздал его двенадцатитомное собрание сочинений, прежде вышедшее у Суворина. Открывалось оно апологетической статьей, которой в старом издании не было: публицист и писатель Ростислав Сементковский ставил Лескова в один ряд с Тургеневым, Достоевским и Толстым и напоминал, что автор «Соборян» был еще и тонким исследователем русской религиозной жизни, знатоком раскольников и духовенства. На выход этого собрания, а в еще большей степени на вступительную статью откликнулись многие, и довольно страстно.

Значит, в 1897 году Лескова не только не забыли — он всё еще был интересен, о нем хотелось спорить. Особенно яростно возражали Сементковскому критики Николай Михайловский и Ангел Богданович. Первый, народник и любитель зарисовок с натуры, ожидаемо корил писателя за отсутствие меры, фантастичность образов и картин. Второй видел в Лескове только циника и «анекдотиста», а в его собрании — «храмину рассыпанную», в которой нет ничего цельного, «согретого добротой и верой»<sup>1050</sup>.

Аким Волынский успел похвалить Лескова и при жизни — в разборе не понравившейся ему повести «Полунощники» он тем не менее благородно написал, что ее автор «займет несомненно видное место в рядах лучших русских беллетристов», и назвал его «едва ли не самой крупной величиной в современной литературе, не считая Толстого»<sup>1051</sup>. В год выхода нового собрания сочинений Лескова Волынский опубликовал пять статей, содержавших философский анализ религиозных и мистических мотивов и образов в его прозе. Это было не только глубокое и свежее по мысли обсуждение лесковских текстов, но еще и последовательное и дружеское выступление в защиту писателя. (В 1923 году статьи эти вышли отдельной книжкой — получилась первая монография о творчестве Лескова<sup>1052</sup>.)

Затем всё замерло. Тишина продолжалась до тех пор, пока в 1902—1903 годах издательство А. Ф. Маркса не выпустило новое, на этот раз 36-томное собрание сочинений Лескова в качестве приложения к журналу «Нива»<sup>1053</sup>. Крупным событием его выход не стал. На литературном поле вырос еще один многотомный «памятник» классику, с которым больше не о чем и незачем было спорить.

На свет являлись новые поэтические направления, складывались новые литературные группы, звучали необычные, ни на что не похожие тексты. По свидетельству Дурылина, в 1912 году уже «никто ничего не говорил и не писал о Лескове», а большое марксовское собрание продавалось на рынке «куда дешевле 11 жиденьких книжечек Куприна»<sup>1054</sup>. Широкий читатель интересоваться Лесковым перестал. А вот элитарный — напротив.

Лесковская зачарованность русским языком, скрытыми в корнях и акустике слов смыслами оказалась близка авторам русского литературного модерна. Недаром его процитировал в программной статье Дмитрий Мережковский и написала о нем, не скрывая симпатии, Зинаида Гиппиус. Михаил Кузмин видел в прозе Лескова «сокровищницу русской речи, которую нужно бы иметь настольной книгой наравне с словарем Даля»<sup>1055</sup>. Игорь Северянин во второй половине 1920-х годов посвятил писателю два стихотворения — «Лесков» (1927) и «На закате» (1928), — назвав его «прозванным гением». Алексей Ремизов, уже в эмиграции, возводил к нему свое «литературное родословие»: «От Лескова апокриф и та теплота сердца, которой обвеяны его рассказы». Проза Бориса Пильняка, Евгения Замятина, Юрия Олеши, Исаака Бабеля и, конечно, Михаила Зощенко возшла на дрожжах языковых экспериментов Лескова и без них была бы другой.

Это зоркое и любовное внимание к Лескову клекотало в пробирках «катакомбных» литературных лабораторий, от широкого читателя скрытых. Чтобы Лескова узнали и полюбили пролетарии, необходимы были массовые тиражи его книг.

И некоторые его тексты всё-таки пробились к широкому читателю. Из 36-томного собрания сочинений советское книгоиздание отфильтровало несколько произведений — те, что можно было счесть «антикрепостническими», протестующими против царского режима: «Тупейного художника», «Левшу», «Леди Макбет Мценского уезда», «Человека

на часах», «Очарованного странника». Их и переиздавали — много, часто. Некоторые оформлялись с большим вкусом. Например, в 1922 году петроградское издательство «Аквилон» выпустило «Тупейного художника» с иллюстрациями Мстислава Добужинского, который превратил трагическую историю Лескова в изящный жестокий романс, поместив на обложку книжечки крест, две театральные маски, лиру, окровавленный нож.

На протяжении 1920-х, затем и 1930-х годов брошюры перечисленных выше лесковских текстов издавались неоднократно<sup>1056</sup>. В конце некоторых из них читателям предлагалось присылать в редакцию отклики. И читатели, нередко едва обучившиеся грамоте, охотно отзывались: хвалили неведомого автора, задавали вопросы по тексту или простодушно приветствовали писателя Лескова как современника и единомышленника.

Один из таких читательских откликов был обнаружен мной в фонде издательства «Художественная литература» РГАЛИ. Восемнадцатилетний электромонтер Сергей Огурцов написал Лескову очень искреннее письмо (орфография и пунктуация сохранены; скобки, очевидно, заменяют автору зачеркивание):

«21/VI-35, г. Сталиногорск\*

Тов. Лескову.

Я горячо приветствую Вас и Ваш образ “Тупейный художник”, который произвел серьезное впечатление несмотря на малое число страниц, Вы, как Советский писатель овладели искусством, дали не историю театральных работников, а историю тяжелого, гноившего крепостнова (права) ига, висевшее ярмом на широких массах, многие века. И шли века, подобно черному вихрю; наша Русь затягивалась, заболачивалась всеми породами, которые разрушали своею болезнию облик земли. Больно смотреть на истерзанные лица работников искусства, на ихнюю “тупейность” в революции (главные революционные силы не являются крестьянское население, а рабочий “пролетариат”))»<sup>1057</sup>.

В конце письма товарищ Огурцов извинялся за «нелепый язык» и объяснял, что писал от всего сердца, которое «кипело злобным гневом» при чтении книги. Признавался он и в том, что «перо его перепахало немало бумаги». Возможно, Лескову писал самостийный литератор или начи-

---

\* Ныне — Новомосковск Тульской области.

Н. С. Л Е С К О В



ТУПЕЙНЫЙ  
ХУДОЖНИК



АКВИЛОН · 1922 · ПЕТЕРБУРГ.

Одно из первых советских изданий Лескова — «Тупейный художник» с иллюстрациями М. Добужинского. 1922 г.

нающий журналист — на полуграмотном послании и в самом деле лежит печать диковатой литературности.

Путаница в голове электромонтера возникла недаром: пропагандистская советская машина оставила из наследия Лескова ровно то, что могло быть использовано для продвижения ценностей, актуальных в стране победившей пролетарской революции, — и «ересиарх Николай» превратился в «советского писателя».

Десять с лишним лет советское книгоиздание не расширяло список изначально отобранных лесковских текстов, не решаясь даже на небольшие сборники. Лишь столетний юбилей Лескова наконец слегка растормошил издателей и хотя бы отчасти вернул им отвагу. Первый в советской России сборник произведений Лескова вышел в 1931 году в издательстве «Academia»<sup>1058</sup>. Издание подготовил Б. М. Эйхенбаум. Здесь же была опубликована и его ставшая впоследствии классической статья «Чрезмерный писатель» — первая в истории советского литературоведения развернутая исследовательская работа, посвященная поэтике лесковской прозы. С фасада статью Эйхенбаума аккуратно заслоняло «правоверное» предисловие литературного критика Л. В. Цырлина.

Советские средства массовой информации на круглую дату никак не откликнулись — в отличие от русской эмигрантской прессы, отпраздновавшей юбилей автора «Левши» довольно широко<sup>1059</sup>.

Шесть лет спустя все та же «Academia» выпустила второй сборник Лескова — «Избранные сочинения»<sup>1060</sup>, и понятно, почему именно она: это издательство ставило перед собой не только идеологические, но и эстетические задачи — Лесков с его стилистическими переливами удачно вписывался в такую программу. Но это был совсем небольшой том.

Сценическая судьба произведений Лескова складывалась намного счастливее. В 1920—1930-е годы на театральных подмостках шло сразу несколько спектаклей по его текстам.

В 1929 году в Большом театре состоялась премьера оперы «Тупейный художник» на музыку Ивана Шишова. В конце оперы крестьяне поднимали бунт и поджигали усадьбу ненавистного графа Каменского. Возможно, композитор учитывал экранизацию того же рассказа оперным

режиссером Александром Ивановским, чей фильм «Коме-диантка» (1923) также завершался восстанием крестьян и поджогом барской усадьбы.

Но самой шумной постановкой эпохи нэпа стала «Блоха» Евгения Замятина, превратившего горький лесковский сказ в народную комедию с карикатурным царем, льстивыми генералами, англичанами-хвастунами, озорными туляками и первым из них, славным русским парнем Левшой — мастеровым с гармоникой в руках. В финале этой раешной «Блохи» Левша умирает от побоев городских, но внезапно воскресает и идет «обожаться» с девкой Машкой — ни ее, ни воскрешения главного героя у Лескова, конечно, нет. Написать «Блоху» по мотивам сказа Замятину предложил режиссер и актер Алексей Дикий, уже поставивший в 1924 году в Первой студии МХАТа лесковского «Расточителя». Замятин откликнулся, и на следующий год Дикий поставил «Блоху», сыграв в ней Платова. Еще год спустя «Блоха» появилась и в Ленинграде, на сцене Большого драматического театра, в постановке Николая Монахова, который также не отказал себе в удовольствии исполнить роль казачьего атамана с «грабоватым носом».

Оформил оба спектакля уже иллюстрировавший Лескова знаменитый художник, книжный график и театральный декоратор Борис Кустодиев<sup>1061</sup>, найдя два совсем не похожих художественных решения: красочные ленинградские декорации и костюмы источали веселье<sup>1062</sup>, московские получились сдержанными, почти сумрачными (правда, и Замятин для ленинградской постановки немного изменил текст, усилив его ироничность)<sup>1063</sup>.

Андрей Николаевич Лесков, видимо, сначала прочитал пьесу, потом посмотрел спектакль Большого драматического театра — и остался недоволен. В письме Эйхенбауму от 4 января 1927 года он сетовал, что под пером Замятина трагический сказ Лескова превратился в «шутку-прибаутку»<sup>1064</sup>.

До других заметных постановок «Левши» Андрей Николаевич не дожил. Между тем почти все они создавались под явным влиянием балаганной замятинской «Блохи» — очевидно, именно такой перевод задиристого лесковского сказа на театральный язык был сочтен самым удачным.

В 1950 году композитор Борис Александров и либреттист Петр Аболимов создали балет «Левша». Александров, глава знаменитого ансамбля песни и пляски Советской ар-

мии, руководство которым принял от отца, автора мелодии гимна СССР, принадлежал к советскому культурному истеблишменту. По долгу службы Александров-сын находился в самом центре официальных торжеств и тонко чувствовал конъюнктуру. Вслед за Замятиным создатели балета подарили Левше возлюбленную, крепостную кружевницу Дуняшу, включили в спектакль массовые сцены с участием «русского народа», усилили коварство иностранцев и, разумеется, сохранили главному герою жизнь. У Замятина воскрес Левша, а у Александрова блоха, подкованная русскими мастерами, ничуть не утратила прыгучести и, пугая иностранцев, резво плясала на сцене. Ирония и в этой интерпретации совершенно исчезла — авторам было гораздо важнее продемонстрировать «талантливость, смекалку, патриотизм русских людей»<sup>1065</sup>. Балет получился прямолинейным и не слишком сценичным, и ни один столичный и ленинградский музыкальный театр не торопился принимать его к постановке, на что Б. А. Александров горько сетовал в дневнике<sup>1066</sup>.

Только после смерти Сталина, в 1954 году, балет «Левша» был поставлен в Свердловском театре оперы и балета<sup>1067</sup>. Через 22 года спектакль добрался, наконец, до Ленинграда. Произошло это в эпоху «развитого социализма», когда ощущался острый дефицит новых образов и символики, укрепляющей основы Советского государства. Красочное, рассчитанное на массового зрителя театральное действие в патриотическом духе пришлось кстати.

В мае 1976 года в Ленинградском академическом театре оперы и балета им. С. М. Кирова состоялась долгожданная премьера. Спектакль поставил самый именитый балетмейстер театра Константин Сергеев, оформил авторитетный театральный художник Борис Мессерер, а партию Левши исполнил Николай Ковмир. Всё призвано было подчеркнуть размах и идеологическую значимость события. Центральные и городские газеты давно уже готовили к нему публику и после премьеры разразились похвалами. «Тема нового балета — талантливость, смекалка, патриотизм русского народа. Красной нитью через весь спектакль проходит острая сатира на царское самодержавие», — разъясняла читателям смысл происходившего на сцене «Правда». «...балет “Левша” активно традиционен — он громко и уверенно заявляет о любви к Родине, воспекает величие





Афиша спектакля Ленинградского государственного  
Большого драматического театра «Блоха» (пьеса Е. Замятина  
по мотивам лесковского «Левши»). Б. Кустодиев. 1926 г.

русского человека, его умные руки и благородное сердце»<sup>1068</sup>, — писала «Советская культура».

Другой громкой постановкой советской эпохи стала опера «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича. Говорили, что к тексту Лескова он обратился под влиянием кустодиевских иллюстраций к «Леди Макбет...». В середине 1930-х годов опера Шостаковича была поставлена трижды: в Московском музыкальном театре Немировича-Данченко, в Малом ленинградском оперном театре (1934) и в краткой редакции — в Большом театре (1935—1936). Д. Д. Шостакович и А. Г. Прейс, соавтор либретто, интерпретировали историю гибельной страсти в духе «Грозы» Островского и знаменитой статьи Добролюбова о луче света в темном царстве. В опере Катерина Измайлова превращалась, как пояснял сам композитор, в «лицо положительное», «женщину умную, талантливую и интересную», которая оказалась поставлена в «тяжелые и кошмарные условия» и просто вынуждена была совершать преступления, направленные, впрочем, против «жадной, мелочной купеческой среды». Убийство мальчика Феди Лямина, никак не вмещающееся в эту концепцию, из либретто исчезло. В сюжете появились и другие, более мелкие изменения — например, свекор Борис Тимофеевич оказался похотлив и заигрывал с невесткой<sup>1069</sup>.

Несмотря на попытку создателей оперы вписать ее в актуальную политическую повестку<sup>1070</sup>, главному театроведу и ценителю музыки она не понравилась. Иосиф Виссарионович Сталин со свитой посмотрел спектакль в Большом театре 26 января 1936 года, вскоре после премьеры. Спустя два дня в газете «Правда» появилась печальная знаменитая статья «Сумбур вместо музыки», обвинившая оперу в «левацком уродстве», мелкобуржуазном «новаторстве» и «грубейшем натурализме», после чего шедевр Шостаковича исчез из репертуара советских музыкальных театров до 1962 года.

Интересно, что сценические успехи да и неудачи лесковских произведений на сцене не оказывали большого влияния на их издательскую судьбу: Лесков-писатель в 1930-е и начале 1940-х годов оставался полузабыт.

Перелом наступил в 1942 году. В разгар Великой Отечественной войны Андрей Николаевич Лесков вспомнил об отцовском рассказе «Железная воля», высмеивавшем нелепого и упрямого немца Гуго Карловича Пекторалиса.

«Железная воля» была опубликована в 1876 году в журнале «Кругозор». После этого Лесков не включал рассказ ни в сборники, ни в собрание сочинений. Почему? Возможно, стеснялся его хвастливо прорусского подтекста.

Вспомнив об идиоте Гуго Карловиче, Лесков-сын извлек рассказ из небытия и отнес в редакцию журнала «Звезда». Вскоре «Железная воля» была напечатана в рубрике «Классики русской литературы о немцах»<sup>1071</sup>. В предварявшей публикацию справке Андрей Николаевич указал на документальный характер этой истории, но никак не связал ее с «текущим моментом». Однако и без подсказок текст прочитывался как направленный против немцев. К тому же и «старик» Федор Афанасьевич Вочнев, от лица которого идет рассказ, прямо говорит, что русские люди немцам во всяком случае не уступят: «Пора бы вам начать отвыкать от этой гадости, а учиться брать дело просто; я не хвалю моих земляков и не порицаю их, а только говорю вам, что они себя отстоят, — и умом ли, глупостью ли, в обиду не дадутся»<sup>1072</sup>. Русские в «Железной воле» не просто «себя отстояли» — рассказ завершается бесславной смертью Пекторалиса от русских блинов и немецкого упрямства. Во время войны с Германией распознать скрытый в рассказе намек было проще простого: русские одержат над немцами неизбежную победу.

Неудивительно, что очень скоро «Железная воля» вошла в состав небольшого по объему лесковского сборника «Повести и рассказы» (1943) и, по-видимому, стала «паровозом» издания: без этого рассказа книга автора, почти исчезнувшего из поля зрения, да еще и в военное время, вряд ли вообще увидела бы свет.

В 1945—1946 годах «Железная воля» вышла еще пять раз, уже отдельными изданиями (больше ничего подобного с этим рассказом уже не случалось)<sup>1073</sup>. В дни, когда исход войны был предрешен, а тем более после победы текст воспринимался как сбывшееся пророчество. «Лесков поистине произносит “вещее слово” о будущих судьбах германских поползновений на Россию»<sup>1074</sup>, — комментировал рассказ Леонид Гроссман в одной из юбилейных заметок.

Получилось забавно.

Путь к широкому читателю Лескову пробил железный лоб Гуго Пекторалиса.

И за три месяца до окончания войны, в марте 1945 года, в советской прессе поднялся настоящий вал заметок, по-

священных пятидесятилетию со дня смерти Лескова. Если прежде его юбилеи замалчивались или отмечались единичными статьями, теперь и центральные, и провинциальные издания торопились признать в нем «замечательного русского писателя»<sup>1075</sup>. Занятно, что почти все эти заметки и статьи строились по похожей схеме, словно бы авторы заглядывали друг другу через плечо.

Возможно, образцом для многих послужила статья Валентины Гебель, вышедшая самой первой в столичной газете «Московский большевик» 4 марта 1945 года. Еще вероятнее, что советские издания неплохо себе представляли правила игры, пределы дозволенного и очертания политической конъюнктуры.

Поэтому почти все юбилейные тексты начинались ссылкой на авторитет — в данном случае А. М. Горького. Цитировался фрагмент из вступительной статьи к лесковскому трехтомнику (Берлин, 1923): «Как художник слова Н. С. Лесков вполне достоин встать рядом с такими творцами литературы русской, каковы Л. Толстой, Гоголь, Тургенев, Гончаров»<sup>1076</sup>. Затем следовало перечисление основных добродетелей Лескова: «выдающееся знание своей страны, ее нравов, истории, искусства и языка»<sup>1077</sup>. Из «выдающегося знания» страны прямо следовало знание Лесковым русского народа: «Любовь Лескова к русскому народу, к родной стране заставляет его зоркими глазами, пристальным взором всматриваться в русского человека на всех путях, тропах и перепутьях его жизни и труда»<sup>1078</sup>. Ну а любовь к русскому человеку была неотделима от внимания к русскому языку. «Отсюда, из этого теснейшего общения с народом, — сообщал один из панегириков, — вынес Лесков и те неисчерпаемые сокровища народной русской речи, которыми восторгался Л. Толстой и Чехов. Из всех русских писателей Лесков обладает самым сложным, особенно богатым словарем, вобравшим в себя множество ручьев и ручейков народного речевого раздолья»<sup>1079</sup>.

В том же победном и для страны, и для литературной судьбы Лескова году в свет вышло сразу несколько биографических заметок его сына<sup>1080</sup>. Появились брошюрка Федора Евнина о жизни и творчестве автора «Левши»<sup>1081</sup> и сразу две — одновременно! — монографии о нем: Леонида Гроссмана и Валентины Гебель<sup>1082</sup>. Публикация в военном 1945 году двух литературоведческих книг о еще недавно как бы несуществующем писателе выглядит сознательным

идеологическим жестом, означающим не только реабилитацию Лескова, но и превращение его в непосредственного участника построения советского национального мифа. Патриотичный, любящий русский народ и русскую речь Лесков отныне, в полном соответствии с декларацией М. Горького, стал классиком, представляющим нацию наряду с Львом Толстым, Тургеневым, Гоголем, Салтыковым-Щедриным.

Плотина была прорвана — в послевоенное время Лескова печатали много, часто, массовыми тиражами, как в столичных, так и в провинциальных издательствах, всё с тем же знакомым нам набором канонизированных текстов.

Но для подтверждения статуса классика требовались и более отчетливые знаки. И они последовали.

В конце 1954 года в Гослитиздате вышла, наконец, написанная А. Н. Лесковым биография «Жизнь Николая Лескова: По его личным, семейным и несемейным записям и памятям». Вот теперь время ее пришло. Новая биография получилась несколько меньшего объема, чем первая, но всё равно увесистой — 47 авторских листов. История ее создания насчитывала к тому времени около двух десятилетий. Увы, Андрей Николаевич выхода своей многострадальной книги\* так и не дождался — скончался 5 ноября 1953-го. Возможно, хотя бы отчасти он был утешен тем, что и во второй раз завершил труд и что решение о публикации было принято.

Почти сразу после выхода биографии редакция русской классической литературы того же издательства взялась за подготовку восьмитомного собрания сочинений Лескова, первого в советскую эпоху. В собрание должны были войти десятки произведений, неизвестных читателям новых поколений. В процессе работы и редакционных дискуссий<sup>1083</sup> восьмитомник разросся до одиннадцатитомника, в том числе благодаря роману «Некуда», который сначала публиковать не планировали, но потом всё-таки включили.

Внимание к Лескову стало следствием общей культурной политики Советского Союза по отношению к дорево-

---

\* Вдова А. Н. Лескова Анна Ивановна в письме секретарю правления Союза писателей СССР А. А. Фадееву от 1 марта 1955 года, сопровождавшем посылку с книгой, писала: «Выполняя просьбу многострадальца, до последних дней жизни болевшего о судьбе своего труда и страстно жаждавшего увидеть его напечатанным, прошу принять посмертный дар его» (Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 1628. Оп. 2. Д. 893. Л. 1).

люционному наследию, когда многие российские ученые, писатели, художники, композиторы, по словам историка Д. Л. Бранденбергера, «были возведены на русифицированный советский Олимп»<sup>1084</sup>.

У великой страны должна быть великая литература. Демонстрировать литературную мощь СССР впервые позвали и Лескова. Оказавшись включенным в ряд литературных генералов, он получил право и на собрание сочинений. А все возможные сомнения в том, насколько оправданно введение вчерашнего реакционера в пантеон классиков, отсекал цвет переплета нового многотомника — ярко-красный, сигнализировавший даже самым непонятливым: Лесков наш, Лесков «советский писатель». Впрочем, еще до официального признания этим званием его наградила пылкий электромонтер из Сталиногорска.

Товарищ Огурцов высказался по существу: Лесков и в самом деле не умер. Смотрите: вот же он, сидит, подперев голову кулаком, полуприкрыв глаза. Почему-то в трактире.

---

---

## ЭПИЛОГ

Он сидел в небольшом, но чистом придорожном трактире, грузный, грустный, в распахнутом сюртуке. Стояла теплая, невероятная для начала октября погода. К вечеру холодало, но днем в воздухе нежилась настоящая весна, не желавшая уходить. По случаю невиданного тепла стол накрыли на террасе, постелили белую скатерть.

Только деревья подсказывали правду: клены на солнце пламенели, листья слетали один за другим без всякого ветра, добавляя в какой-то особенно чистый, свежий воздух прелый, горьковатый запах. Небо было почти июльским, но к летней голубизне чуть подмешали белил.

Прилизанный половой с глазами навывкате, по всему видать, пустяшный малый, уже принял у него заказ, выслушал солоноватую для первого знакомства шутку, растянул узкие губы под темными усиками. Присовокупил осторожно, от усердия чуть качнувшись на пятках: «Папошники — сейчас из печи. Медовые тоже имеются».

— Как ты сказал? Папошники? Да ты не орловский ли?

— Никак нет, ярославские будем-с.

Опустил глаза. Ан половой не так прост.

Он согласился и на папошник, несладкий. И вот уже папошники в ароматном облаке плыли на фаянсовом блюде — свежие, мягкие, с крепкой задорной корочкой.

Отломил, пожевал, посветлел лицом.

Глядел, как дрожат на кленах нарисованные киноварью листья, уже не помня ни об одышке, ни о семейных и литературных невзгодах. Зато вспомнил косматого вертлявого колдуна из далекого полуюжного города, который радовался концу лета: по осени было что мести в пустом, безлюдном дворе, куда его сослали за ведовство.

И он понял, кто подлиннее его герои. Понял, как писать дальше.

Что ему все эти революции, войны, идеи, проповеди — вся эта давно утратившая смысл борьба? Не пощупаешь ее, не выпьешь, не прижмешь к щеке.

Слово осязаемо. Слово жарче печки, свежее майского ветра, крепче кремня, прозрачнее грибного дождя, мягче женской ласки.

Краше света. Выше леса. Бежит без повода. Цветет без цвета.

Он глядел сквозь ресницы на лазоревое, выпцветающее прямо на глазах небо, почти льдистое. Суп всё не несли. Начал задремывать.

И сейчас же на белый скатертный, едва окрепший ноябрьский лед выкатился орловский подлет. Бодрой иноходью проскользил меж застывших во льду лодок и барок, прижимая у сердца под шерстяной *холодайкой* крупное, краденое. Грабитель понял, что оторвался наконец от погони, зашагал медленнее, отдышался, запел себе под нос: «А и я ли не молодец? у меня ли дети не воры?»

Николай Семенович немного скосил взгляд, ближе к другому берегу. Там у солонки поднималось огненно-красное «М». «Мыслете». Два рыбаля волокли из воды треугольник невода, в неводе — остроносые серебристые стерлядки.

Следом пополз из проруби изумрудный дракон с узким загнутым хвостом, блестя чешуей, младенчески удивленными желтыми глазами глянул на рыбаков. «Веди»!

Дальше, на краю стола, темнел под белым снегом черный лес, а из него вышел вдруг одетый легко, совсем не по погоде, кудрявый царь, воссел на снежный холм над рекой, яко на трон, тронул струны гуслей, обведенных чернилами из твореного золота. Только до чего же странная у него корона! Да какая же это корона? Николай Семенович сморгнул — гусли шипал никакой не царь — скоморох в шапочке, натянутой на брови задом наперед, царем он только прикинулся; писец, что выводил *инициал*, созорничал.

*Калека, криво зриши.*

Вылил на себя ушат с водой человек по имени К.

В стираном-перестираном подряснике, перепоясанный веревочкой, брел по льду *воромонах*. Следом седой иерей в зеленой рясе неразрезного бархата, *Овечкин и Вековечкин* с тетрадью под мышкой, а там и владыка в багряной сияющей ризе... За ними поплыли слова духовного звания; ткнулся в небо молебен о скорейшем наступлении весны. *Аксиос* всякий может *сморозить* — довольно, пора жару солнечному, золотому *взьефантулить* зимний день от души.



И сейчас же запарило, затрещало, зима расплавилась и потекла, затолклись на проталинках воробы, река поднялась и вспучилась, лед посинел и взялся водой. *Размокро-погодило.*

На этом слове он возликовал, подумал про себя блаженно: «Как же хорошо, что всё я это записал. И лишь занесенные в книжку слова стали плотью».

Распахнулись голубые ставни в домах дальнего городка.

И пошло, поехало, понеслось, разомчались кони — вдруг не осадить, *покатились каточки по липову мосточку.* Распустилась сирень, зацарапала густыми ветками в окна.

Подбоченившись, в красной рубашке, с картузом, на макушку сбитым, мчался из Мценска на двух ладных лошадаках напрямик в счастливую Аравию Ферт-приказчик.

Весна красная, лето отрадное.

Жары велицы, сухмень.

Бабы ноют: «За грехи наши бездождят нивы наши».

Рассыпались мужички, глядят в небо без тучки, моргают да зубами чмокают, словно у них лишний зуб во рту. Нет дождя. Старый дед в избе долго *квалился* — недомогал, стонал да измолк. Знойный вид, жестокий простор — краю нет; как серебряное море, волнуется ковыль, и нет дна тоске.

*Ждали, ждали да и далеки потеряли.*

Потянулись запыленные *Ввиду и Дабы, Ежели с Понеже* поплыли в обнимку, пропорхнула бабочкой повитая повиликой *поелику*. Но поелику времени до приготовления угощения оставалось мало, розыск и следствие о виновных в злодейском похищении наисмачнейшей рыбы были оставлены.

Следующими явились братья — грозный *Явствует*, бесстыдник *Надлежащий*: «Закон — что конь, куда повернешь, туда и поедешь». За ним вприпрыжку рыжий коротышечка *Нижеследующий*, штанишки поддерживает, а первый дразнильщик: «Трус, трус, оттяни меня за ус!»

В щели шевелится ус, выходит на свет чудо черное да гладкое, растопырилося и ни вперед не лезет, ни назад не идет.

Ижица глистовидная, тянется к фите, или это Георгиевский в коричневом франтове?

Но и глаженое оказалось лучше хваленого, и скоропребывающие стремления растворились. *Вероязии и нимфозории* покатились такие, что и в *мелкоскоп* не углядишь.

В театр понабились зрители. *Потная спираль* делалась. И не какие-нибудь, не *пальтошники*, были и по-

пулярные советники, из тех, что в ресторациях обедают. Клюко, корнишон, цыгар таких да цыгар эдаких, командуют: комант-дир да тре-шепете!

*Начатки и кончатки.*

Я не здешний, а дальний, рукомеслом я камник, а рожден в старой русской вере.

Нехорошо так *в молчанку сидеть.*

*На волка слава, а овец таскает Савва.*

*Животрепещущая* дама жмет к груди полные руки.

Изящный денди в английской тройке, белой рубашке с галстуком-бабочкой вежливо раскланивается, вдруг в три пальца свистит. Бегут на свист бородатые халдеи в деревянных размалеванных шляпах представлять в балагане шутки.

Вслед торопится сквозь болотную топь обезьянка в колпачке с красной кисточкой, прижимает к груди свернутую грамотку от царя Асыки, собственноручно подписанную, бормочет, поет свое: выплынь, выплынь, весна!

Набрякло влагой, почернело небо, так и брызжет. Улыбаются мужички: «Дожч летит».

Вёдро смеется, легчает, прячется.

Из синей завеси выступает бродяга — космат, задумчив, желтые соломинки в нечесаных волосах, в ватной солдатской куртке, из локтя — облака клоч. За плечами наволочка, набитая звездами, каждая звездочка — стишок. Потоки берез обводит взглядом: радуга радости расцвела. Глаза у бродяги ясные, как писали когда-то на иконах. Смотрит в ветки, бормочет завороченно: «Ворона. Интересная ворона с белым крылом».

Волга неба вспенилась тучами.

Зареяли молоньи, загремели один за другим громовые раскаты. Упала воробьиная ночь, вспышки огня на небесах ни на минуту не гасли, освещая удивительные группы фигур на небе и сгущая тьму на земле.

Вот как надо писать, думает он, вот как: только слово, одно слово живо. И понимает, наконец, как сделать так, чтобы слово истины осветило мир. Отменить печатанье! Печатать не на тряпке и не на папирусе, не на телячьей коже, печатать надо прямо по небу! Все тогда вместе с зарей увидят на небесах слова правды. Да, да, он всё напечатает прямо по утреннему зареву! Осталось только понять, отчего блистает свет и как огустевает тьма...

Малый из ярославских тихонько трясет его за плечо:

«Кушать подано». На столе — тарелка дымящихся щей. В круглой плошке сметана.

— Своих коров держим, свое всё, хозяйское, — доносится до него будто издалека.

И наливочка рубиновая в пузатом графине. Кажется, он не просил.

— В России невозможности нет, — кивает парень, словно слышит его мысли. Но почему он так похож на молодого Герцена? Нос, брови... А усики — как есть Гоголь!

Николай Семенович стряхивает остатки сна, поднимает голову, глядит парню в светлые глаза — пронзительно, зорко. Изрекает:

— Храни вас Бог от мух и блох!

Энергично, со вкусом обедает. Вот и рыжий сынок хозяина постоянного двора идет, сбивает палкой верхушечки пожухлого репья. Завитушки пламенеют из-под широкого картуза.

— Велите ли закладывать?

— Что ж, это можно. Да послушай-ка... непременно двухсестную!

— Велели спросить: куда прикажете?

— В Россию!

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> См.: *Дурылин С. Н.* Николай Семенович Лесков: Опыт характеристики и религиозного творчества: К 180-летию со дня рождения Н. С. Лескова // Москва. 2011. № 2. С. 114—137.

<sup>2</sup> См.: *Михайловский Н. К.* Литература и жизнь // Русское богатство. 1897. № 6. С. 107; *Меньшиков М. О.* Художественная проповедь (XI том сочинений Н. С. Лескова) // *Меньшиков М. О.* Великоорусская идея: В 2 т. М., 2012. Т. 2. С. 510—529; *Волинский А. Л.* Н. С. Лесков // *Волинский А. Л., Измайлов А. А.* Н. С. Лесков: классик в неклассическом освещении. СПб., 2011. С. 49; *Федотова А. А.* «Трудный рост»: рецепция в прозе Н. С. Лескова. Ярославль, 2018. С. 7—8.

<sup>3</sup> *Чехов А. П.* Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 12 т Т. 1. М., 1974. С. 88.

<sup>4</sup> См.: *Меньшиков М. О.* Художественная проповедь. С. 519.

<sup>5</sup> См.: *Суворин А. С.* Дневник. М., 2000. С. 374.

<sup>6</sup> *Смирнова-Сазонова С. И.* Из дневника // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников. М., 2018. С. 374.

<sup>7</sup> *Фидлер Ф. Ф.* Н. С. Лесков // Там же. С. 488.

<sup>8</sup> См.: *Пильский П.* Н. С. Лесков: К столетию со дня рождения // Там же. С. 593.

<sup>9</sup> *Гуревич Л. Я.* Из дневника журналиста // Там же. С. 478.

<sup>10</sup> *Пильский П.* Указ. соч. С. 593—594.

<sup>11</sup> *Лесков Н. С.* Дворянский бунт в Добрыньском приходе // Исторический вестник. 1881. Т. 4. № 3. С. 363.

<sup>12</sup> Цит. по: *Протопопов В. В.* У Н. С. Лескова // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников. С. 604—605.

<sup>13</sup> *Лесков Н. С.* Заметка относительно «Очерков из украинской литературы» Н. И. Петрова // Новости и Биржевая газета. 1883. № 104. 16 июля. Отдел «Русская летопись».

<sup>14</sup> См.: *Алексина Р. М.* Новое о детских и юношеских годах Лескова: По материалам орловских архивов // Литературное наследство. Т. 101. Неизданный Лесков. Кн. 2. М., 2000. С. 274.

<sup>15</sup> См.: *Ашихмина Е. Н.* Родственники, соседи, прототипы персонажей Н. С. Лескова в документах ГАОО // Лесковский сборник — 2017. Орел, 2017. С. 6—12.

<sup>16</sup> См.: *Она же.* В этом странном городе: В 3 кн. Орел, 2012. Кн. 2. Ранние годы. Гимназия. С. 44—46.

<sup>17</sup> *Лесков Н. С.* Автобиографическая заметка // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений: В 11 т. (далее — Собрание сочинений). Т. 11. М., 1958. С. 10.

<sup>18</sup> *Он же.* Мелочи архиерейской жизни // Там же. Т. 6. М., 1957. С. 399.

<sup>19</sup> См.: *Алексина Р. М.* Указ. соч. С. 275.

<sup>20</sup> См.: Там же. С. 278—279.

<sup>21</sup> См.: *Слуцкая Т. К.* Лески // *Дворянские усадьбы Брянского края: из истории культурного наследия Брянщины: В 2 т. Брянск, 2018. Т. 1. С. 162—175.*

<sup>22</sup> См.: *Материалы для истории церквей Брянского края. Севская, Брянская, Карачевская и Трубчевская десятины, 1736 (1628)—1746 гг. / Сост. свящ. Г. И. Холмогоров. Брянск, 2010.*

<sup>23</sup> См.: *Алексеев В. П.* Левитский род из села Лески: Родословная писателя Н. С. Лескова // *Парыгинские чтения: Материалы литературно-краеведческой конференции. Брянск, 2001. С. 32—35; Мартынцева Н. В.* Материалы для родословной Н. С. Лескова (по документам Государственного архива Брянской области) // *I Тихановские чтения: Материалы краеведческой научно-практической конференции (14—15 ноября 2006 г.). Брянск, 2007. С. 83—87.*

<sup>24</sup> См.: *Голос народа. 1917. № 155. 31 октября.*

<sup>25</sup> См.: *Наша деревня. 1925. № 2 (17). 16 января.*

<sup>26</sup> *Лесков Н. С.* Автобиографическая заметка. С. 8.

<sup>27</sup> *Он же.* Соборяне // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 4. М., 1957. С. 70.

<sup>28</sup> *Он же.* Мелочи архиерейской жизни. С. 458.

<sup>29</sup> *Раич С. Е.* Автобиография // *Русский библиофил. 1913. № 8. С. 17—18.*

<sup>30</sup> См.: *Аксаков И. С.* Федор Иванович Тютчев: Биографический очерк // *Ф. И. Тютчев в документах, статьях и воспоминаниях современников. М., 1999. С. 300.*

<sup>31</sup> Из письма митрополита Филарета зятю П. С. Алексинскому от 2 июня 1832 г. // *Русский библиофил. 1913. № 8. С. 18—19.*

<sup>32</sup> *Лесков Н. С.* Автобиографическая заметка. С. 11.

<sup>33</sup> Там же.

<sup>34</sup> *Фрагменты незавершенного романа Лескова «Человек без направления» см.: Неизданный Лесков. Кн. 1. М., 1997. С. 457.*

<sup>35</sup> *Лесков Н. С.* Письмо П. К. Шебальскому. 16 апреля 1871 г. // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 10. С. 310.

<sup>36</sup> *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова: По его личным, семейным и несемейным записям и памятям: В 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 66.

<sup>37</sup> *Лесков Н. С.* Дворянский бунт в Добрыньском приходе. С. 357—358.

<sup>38</sup> *Лесков А. Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 63.

<sup>39</sup> См.: Там же. С. 60—63.

<sup>40</sup> Там же. С. 61.

<sup>41</sup> Цит. по: Там же. С. 56—57.

<sup>42</sup> *Лесков Н. С.* <Автобиографическая заметка> // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 18. О гимназических годах Лескова см.: *Ашихмина Е. Н.* В этом странном городе. Кн. 2. С. 58—127.

<sup>43</sup> *Лесков А. Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 121.

<sup>44</sup> Там же. С. 111—113.

<sup>45</sup> Там же. С. 135.

<sup>46</sup> См.: *Лесков Н. С.* Умершее сословие // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 8. М., 1958. С. 450—462.

<sup>47</sup> *Он же.* Печерские антики (Отрывки из юношеских воспоминаний) // Там же. Т. 7. М., 1958. С. 134.

<sup>48</sup> См.: *Кудрявцев П. П.* Из моих лесковских: Материалы для изучения Н. С. Лескова. 26 июня 1934 — 6 февраля 1936 // Российский государственный архив литературы и искусства (далее — РГАЛИ). Ф. 275. Оп. 1.

<sup>49</sup> См.: *Лесков Н. С.* <По поводу смерти С. П. Алферьева> // Новости и Биржевая газета. 1884. № 91. 11 апреля.

<sup>50</sup> Рукописный отдел Института русской литературы Российской академии наук (далее — РО ИРЛИ). Ф. 220. Д. 131. Л. 1.

<sup>51</sup> См.: *Лесков Н. С.* Путимец // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 62.

<sup>52</sup> *Он же.* Маленькие шалости крупного человека (Два анекдота о Дмитрие Гавриловиче Бибикове) // Русский мир. 1877. № 4. 5 января.

<sup>53</sup> См.: *Нос С. Д.* Страничка из моих воспоминаний // Киевская старина. 1893. Т. 41. № 6. С. 510—511.

<sup>54</sup> См.: *Лесков Н. С.* Печерские антики. С. 213—214.

<sup>55</sup> См.: *Аскоченский В. И.* Записки звонаря. СПб., 1862.

<sup>56</sup> Советы некоторым литераторам (медицинские и практические) // Гудок. 1862. № 34. С. 271.

<sup>57</sup> См.: *Аскоченский В. И.* Киев с древнейшим его училищем Академиею»: В 2 ч. К., 1856; *Он же.* История Киевской духовной академии по преобразовании ее в 1819 г. СПб., 1863.

<sup>58</sup> *Лесков Н. С.* <Внутреннее обозрение. Благонамеренное употребление имени г. Аскоченского; отношение этого имени к скучным вопросам; опыт применения этого имени к вопросу о русских гувернантках; заботы об учительницах> // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений: В 30 т. (далее — Полное собрание сочинений). Т. 2. М., 1998. С. 395.

<sup>59</sup> См.: *Бухштаб Б. Я.* Комментарии // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 7. С. 530.

<sup>60</sup> *Лесков Н. С.* Печерские антики. С. 179—180.

<sup>61</sup> *Он же.* Письмо И. С. Аксакову. 23 декабря 1874 г. // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 10. С. 371.

<sup>62</sup> Из письма Л. А. Нарышкину от 3 июня 1844 г. Цит. по: *Лесков Н. С.* Из глухой поры: Переписка Дмитрия Петровича Журавского и два письма Льва Александровича Нарышкина. 1843—1847 // Незданный Лесков. Кн. 2. С. 21.

<sup>63</sup> См.: *Ашихмина Е. Н.* Лесков в Орловской палате Уголовного суда: новые автографы писателя // Ученые записки ОГУ. Серия «Гуманитарные и социальные науки». 2009. № 1. С. 184.

<sup>64</sup> Цит. по: *Айзеншток И. Я.* Примечания // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 650.

<sup>65</sup> *Лесков Н. С.* Печерские антики. С. 136.

<sup>66</sup> *Лесков А. Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 151.

<sup>67</sup> См.: *Лесков Н. С.* Бибииковские «меры» // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 190—194.

<sup>68</sup> К характеристике Бибиикова // *Киевская старина*. 1882. № 1. Июль. С. 70.

<sup>69</sup> *Лесков Н. С.* Владычный суд // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 6. С. 93—94.

<sup>70</sup> Там же. С. 90—91.

<sup>71</sup> См.: *Станиславский М.* Царь Николай I и евреи: Трансформация еврейского общества в России (1825—1855). М., 2014. С. 40—46; *Петровский-Штерн Й.* Евреи в русской армии. М., 2003. С. 19—71; *Локишин А. Е.* Рекрутская повинность и обращение евреев в христианство при Николае I // *Вопросы истории*. 2012. № 7. С. 77—85; *Мермзон М.* Рассказ старого солдата // *Еврейская старина*. 1912. № 5. С. 407; *Ицкович И.* Воспоминания архангельского кантониста // Там же. С. 56—57; *Шпигель М.* Из записок кантониста // Там же. С. 251—254; *Никитин В. Н.* Многострадальные: Очерк быта кантонистов // *Отечественные записки*. 1871. № 8. С. 351—396; № 9. С. 69—120; № 10. С. 407—440.

<sup>72</sup> Центральный государственный исторический архив Украины, г. Киев (Центральный державний історичний архів України, м. Київ) (далее — ЦГИАК). Ф. 442. Оп. 85. Д. 38.

<sup>73</sup> *Лесков Н. С.* Владычный суд. С. 112.

<sup>74</sup> Он же. Детские годы (Из воспоминаний Меркула Праотцева) // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 5. М., 1957. С. 430.

<sup>75</sup> Там же. С. 431.

<sup>76</sup> Там же.

<sup>77</sup> Там же. С. 437.

<sup>78</sup> Там же. С. 436—437.

<sup>79</sup> Там же. С. 340.

<sup>80</sup> Там же. С. 435.

<sup>81</sup> *Лесков А. Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 153.

<sup>82</sup> ЦГИАК. Ф. 127. Оп. 1012. Д. 1741. Л. 485 об.

<sup>83</sup> См.: Там же. Оп. 1015. 1849 г. Д. 773. Л. 50.

<sup>84</sup> См.: *Третьяков А. П.* Купцы города Киева. К., 2017. С. 377.

<sup>85</sup> ЦГИАК. Ф. 127. Оп. 1012. Д. 2901. Л. 25 об.—26.

<sup>86</sup> *Лесков Н. С.* Из одного дорожного дневника // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 3. М., 1996. С. 28.

<sup>87</sup> Он же. Детские годы. С. 304.

<sup>88</sup> Там же. С. 305.

<sup>89</sup> Он же. Страстная суббота в тюрьме // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 1. М., 1996. С. 476.

<sup>90</sup> Там же. С. 153.

<sup>91</sup> См.: *Стебницкий Н.* [Лесков Н. С.] Явление духа: Случай (Открытое письмо спириту) // *Кругозор*. 1878. № 1. 3 января. С. 1—6.

<sup>92</sup> См.: *Лесков А. Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 155.

<sup>93</sup> *Дневник Алексея Сергеевича Суворина* / Подг. текста Д. Рейфилда, О. Е. Макаровой. М., 1999. С. 208—209; *Суворин А. С.* Письма к М. Ф. Де-Пуле / Публ. М. Л. Семеновой //

Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 г. Л., 1981. С. 149.

<sup>94</sup> Ясинский И. Роман моей жизни: Книга воспоминаний. М.; Л., 1926. С. 201—202.

<sup>95</sup> См.: Петербург. По телефону днем 11 апреля (от наших корреспондентов) // Голос Москвы. 1909. 12 апреля.

<sup>96</sup> Лесков А. Н. Указ. соч. Т. 1. С. 166.

<sup>97</sup> См.: Макаревич О. В. «Гостомысловы ковырялки» и «способный плуг» (об одной детали в произведениях Н. С. Лескова) // Slověne, 2020 (в печати).

<sup>98</sup> См.: Государственный архив Пензенской области. Ф. 196. Оп. 27. Ед. хр. 3533.

<sup>99</sup> См.: Лесков Н. С. Мелочи архиерейской жизни. С. 419.

<sup>100</sup> Он же. Наша провинциальная жизнь (№ 252) // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 8. М., 2004. С. 199.

<sup>101</sup> Ростопчин Ф. В. Плуг и соха, писанное степным дворянином. М., 1806. С. 20.

<sup>102</sup> Лесков Н. С. Загон // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 9. М., 1958. С. 368—369.

<sup>103</sup> См.: Чуднова Л. Г. Н. С. Лесков в Министерстве народного просвещения // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 13. М., 2016. С. 574—575.

<sup>104</sup> О бедственном положении российского чиновничества в XIX веке см.: Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978. С. 71—75; Лесков Н. С. <О соискателях коммерческой службы> // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 169—172.

<sup>105</sup> Цит. по: Лесков Н. С. Продукт природы // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 9. С. 343.

<sup>106</sup> Он же. О русском расселении и о Политико-экономическом комитете // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 418—419.

<sup>107</sup> Он же. Продукт природы. С. 351.

<sup>108</sup> Там же. С. 350.

<sup>109</sup> Цит. по: Громов П., Эйхенбаум Б. Н. С. Лесков: Очерк творчества // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 1. М., 1956. С. X—XII.

<sup>110</sup> Лесков Н. С. Железная воля // Там же. Т. 6. С. 8.

<sup>111</sup> Протопопов В. В. Указ. соч. С. 604.

<sup>112</sup> Лесков Н. С. Заметка о себе самом // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 11. С. 18—19.

<sup>113</sup> См.: Кучерская М. А. Полезное соседство: Лесков в работе над автобиографией // Новое литературное обозрение. 2016. № 140. С. 172—180.

<sup>114</sup> Лесков Н. С. Заметка о себе самом. С. 19.

<sup>115</sup> Он же. <О романе «Некуда»> // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 10. М., 1958. С. 169.

<sup>116</sup> См.: Первые литературные шаги: Автобиографии современных русских писателей / Сост. Ф. Ф. Фидлер. М., 1911.



- <sup>117</sup> Цит. по: *Лесков А. Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 161.
- <sup>118</sup> *Лесков Н. С.* <О соискателях коммерческой службы>. С. 170—171.
- <sup>119</sup> См.: Господа нашего Иисуса Христа Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. На русском наречии. СПб., 1860.
- <sup>120</sup> Цит. по: *Лесков Н. С.* Корреспонденция (письмо г. Лескова) // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 149.
- <sup>121</sup> *Он же.* <О продаже в Киеве Евангелия> // Там же. С. 147.
- <sup>122</sup> См.: *Он же.* Вести из Киева // Там же. С. 535—536.
- <sup>123</sup> См.: Там же. С. 537.
- <sup>124</sup> *Он же.* <Распространение трезвости> // Там же. С. 523—524.
- <sup>125</sup> См.: *Лесков А. Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 187.
- <sup>126</sup> *Лесков Н. С.* Очерки винокуренной промышленности // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 285.
- <sup>127</sup> Там же. С. 258.
- <sup>128</sup> *Он же.* Официальное буффонство // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 25.
- <sup>129</sup> См.: *Зенкевич С. И.* «Выметальщик сора»: Публицистика Н. С. Лескова и общественная гигиена // Историко-биологические исследования. Т. 7. № 3. СПб., 2015. С. 10.
- <sup>130</sup> *Лесков Н. С.* Заметка о зданиях // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 156.
- <sup>131</sup> *Левандовский Л. И.* О жизни Лескова в Киеве в 1860—1861 годах: По документам Центрального государственного исторического архива Украины // Незданный Лесков. Кн. 2. С. 296.
- <sup>132</sup> *Лесков Н. С.* Заметка о зданиях. С. 171.
- <sup>133</sup> См.: *Левандовский Л. И.* Указ. соч. С. 295—322.
- <sup>134</sup> *Лесков Н. С.* Несколько слов о полицейских врачах в России // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 176.
- <sup>135</sup> Там же. С. 177.
- <sup>136</sup> См.: *Левандовский Л. И.* Указ. соч. С. 296.
- <sup>137</sup> Цит. по: Там же. С. 304.
- <sup>138</sup> ЦГИАК. Ф. 442. Оп. 37. Ед. хр. 1062. Л. 22—24.
- <sup>139</sup> *Лесков Н. С.* <Извещение об ищущем места> // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 529.
- <sup>140</sup> См.: *Левандовський А. І.* Н. С. Лесков і українська література. Київ, 1980. С. 31—32.
- <sup>141</sup> *Вернадская М. Н.* Сочинения. М., 2007. С. 174—175.
- <sup>142</sup> См.: Русская периодическая печать (1702—1894): Справочник. М., 1959.
- <sup>143</sup> *Лесков Н. С.* Объяснение г. Стебницкого // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 4. М., 1997. С. 682.
- <sup>144</sup> Там же.
- <sup>145</sup> См.: *Он же.* Нечто вроде комментария к сказаниям г. Аскоченского о Т. Г. Шевченко // Там же. Т. 1. С. 405—408.
- <sup>146</sup> См.: *Он же.* Последняя встреча и последняя разлука с Шевченко // Там же. С. 206—211.

- <sup>147</sup> Быков П. В. Силуэты далекого прошлого // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников. С. 308.
- <sup>148</sup> См.: Там же. С. 686.
- <sup>149</sup> См.: Лесков Н. С. Вести из Киева. С. 534—555, 776—787.
- <sup>150</sup> Он же. <Об участии народа в церковных делах> // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 462.
- <sup>151</sup> См.: Он же. Письма из Петербурга // Там же. Т. 1. С. 227—228.
- <sup>152</sup> Он же. О русском государственном бюджете на 1862 год // Там же. Т. 3. С. 367.
- <sup>153</sup> Он же. Некуда // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 2. М., 1956. С. 299.
- <sup>154</sup> Он же. Загадочный человек // Там же. Т. 3. М., 1957. С. 323.
- <sup>155</sup> Там же. С. 297.
- <sup>156</sup> Эджертон В. Лесков, Артур Бенни и подпольное движение начала 1860-х годов: О реальной основе «Некуда» и «Загадочного человека» // Незданный Лесков. Кн. 1. С. 614—637.
- <sup>157</sup> О литераторах и журналистах, 1866 года // Щукинский сборник. Вып. 5. М., 1906. С. 609.
- <sup>158</sup> Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 11. С. 401.
- <sup>159</sup> Цит. по: Глинский Б. Б. Алексей Сергеевич Суворин: Биографический очерк // Телохранитель России: А. С. Суворин в воспоминаниях современников. Воронеж, 2001. С. 31.
- <sup>160</sup> Смирнова-Сафонова С. И. Указ. соч. С. 375.
- <sup>161</sup> Цит. по: Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы. 1848—1896 / Ред. и прим. Ю. Г. Оксмана; вступ. ст. А. Е. Преснякова, Ю. Г. Оксмана. Л., 1929. С. 362.
- <sup>162</sup> См.: Соколова Т. В. Евгения Тур в воспоминаниях Евдокии Александровны Новосильцевой // Октябрь. 2016. № 11. С. 167—182.
- <sup>163</sup> См.: Козьмин Б. П. Письма Огарева к Е. В. Салиас де Турнемир // Литературное наследство. Т. 61. М., 1953. С. 800.
- <sup>164</sup> Салиас Е. А. Семь арестов // Исторический вестник. 1898. № 1. С. 90.
- <sup>165</sup> См.: Тур Е. Жизнь Жорж-Санда // Русский вестник. 1856. Т. 3. Кн. 1. С. 72—93; Кн. 2. С. 693—715; Т. 4. Кн. 2. С. 667—708.
- <sup>166</sup> Феоктистов Е. М. Указ. соч. С. 368.
- <sup>167</sup> Цит. по: Козьмин Б. П. Указ. соч. С. 798.
- <sup>168</sup> Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 11. С. 401.
- <sup>169</sup> См.: Эджертон В. Затерянные статьи Лескова // Незданный Лесков. Кн. 2. С. 119—123.
- <sup>170</sup> Лесков Н. С. О замечательном, но неблагоприятном направлении некоторых современных писателей // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 373.
- <sup>171</sup> Волынский А. Л., Измайлов А. А. Указ. соч. С. 19.
- <sup>172</sup> См.: Михайлов М. Л. Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе // Современник. 1860. № 4. С. 473—499; № 5. С. 89—106; № 8. С. 335—350; Милль Дж. С. Об эмансипации женщин (в переводе и с комментариями М. Л. Михайлова) // Там же. № 11.

- <sup>173</sup> См.: *Лесков Н. С.* Письма из Петербурга. С. 212—213.
- <sup>174</sup> См.: *Суворин А. С.* Письма к М. Ф. Де-Пуле. С. 128—129.
- <sup>175</sup> *Левитов А. И.* Избранные произведения. М., 1988. С. 56.
- <sup>176</sup> *Лесков Н. С.* Некуда. С. 481.
- <sup>177</sup> *Дневник Алексея Сергеевича Суворина.* С. 208—209.
- <sup>178</sup> *Ясинский И. И.* Лицемеры // Наблюдатель. 1893. № 4. С. 136—137.
- <sup>179</sup> *Суворин А. С.* Письма к М. Ф. Де-Пуле. С. 160.
- <sup>180</sup> *Лесков Н. С.* Некуда. С. 321.
- <sup>181</sup> *Он же.* Письмо А. С. Суворину. 3 марта 1887 г. // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 332.
- <sup>182</sup> *Тур Е.* Жемчужное ожерелье. М., 1870.
- <sup>183</sup> См.: *Усов П. С.* Из моих воспоминаний // Исторический вестник. 1882. Т. 7. С. 124.
- <sup>184</sup> См.: Там же. С. 127.
- <sup>185</sup> См.: *Лесков Н. С.* <Внутреннее обозрение: Веселый русский журнал> // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 410; *Он же.* <Об участии народа в церковных делах>. С. 457.
- <sup>186</sup> *Он же.* <Внутреннее обозрение: Веселый русский журнал>. С. 410.
- <sup>187</sup> *Он же.* <Что думают некоторые умные люди о допущении русских евреев на службу? — Новый образец высокой прямоты и замечательной непрактичности газеты «День». — Мнение одного медведя по вопросу, поднятому редакцией «Дня». — Новости из Политико-экономического комитета Вольного экономического общества> // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 431.
- <sup>188</sup> *Он же.* <О петербургском пойле, пензенских тротуарах и орловских мостах, а также о разных бедных людях и о некоторых попечителях Роберта Оуэна> // Там же. С. 493.
- <sup>189</sup> *Он же.* <Мнение русских евреев «о возможностях». — Возможность женской эмансипации на деле. — Опыт в калинкинской больнице. — Башкиры и мешеряки как образцы для русских эмансипаторов. — Священник Константин Стефанович. — Как будет идти далее вопрос о женщинах, имеющих право лечить?> // Там же. С. 563.
- <sup>190</sup> *Он же.* Письмо в редакцию «Северной пчелы» // Там же. Т. 1. С. 354.
- <sup>191</sup> *Он же.* О куфельном мужике и проч.: Заметки по поводу некоторых отзывов о Л. Толстом // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 154.
- <sup>192</sup> *Он же.* Разбойник // Там же. Т. 1. С. 5.
- <sup>193</sup> Там же. С. 3.
- <sup>194</sup> Там же. С. 6.
- <sup>195</sup> *Он же.* В тарантасе // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 132.
- <sup>196</sup> Там же. С. 138.
- <sup>197</sup> *Он же.* Разбойник. С. 10.

<sup>198</sup> Подробнее см.: *Громов В. А.* Лесков — сотрудник артельного журнала «Век» // *Неизданный Лесков*. Кн. 2. С. 125—152.

<sup>199</sup> См.: *Лесков А. Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 128—129; *Ашихмина Е.* В этом странном городе. Кн. 3. С. 18—20.

<sup>200</sup> *Лесков Н. С.* Борьба за преобладание (1820—1840) // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений: В 12 т. Т. 6. М., 1989. С. 423.

<sup>201</sup> См.: *Он же.* Русские демономаны // *Лесков Н. С.* Русская рознь: Очерки и рассказы (1880—1881 гг.). СПб., 1881. С. 233—234.

<sup>202</sup> *Он же.* Засуха // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 110—111.

<sup>203</sup> См.: *Лукашевич М.* Эволюция образа сельского священника в раннем творчестве Николая Лескова: от «Погасшего дела» к «Засухе» // *Russian Literature*. 2016. Vol. 86. P. 49—66.

<sup>204</sup> См.: *Лесков Н. С.* Русские демономаны. С. 229.

<sup>205</sup> *Он же.* Засуха. С. 112.

<sup>206</sup> См.: *Алексина Р. М.* Указ. соч. С. 291—292.

<sup>207</sup> См.: Государственный архив Орловской области. Ф. 64. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 6 об.—37.

<sup>208</sup> *Лесков Н. С.* Засуха. С. 114.

<sup>209</sup> См.: Там же. С. 120.

<sup>210</sup> *Он же.* Русские демономаны. С. 229.

<sup>211</sup> Текущая хроника и особые происшествия: Дневник В. Ф. Одоевского 1859—1869 гг. / Вступ. ст. Б. Козьмина; предисл. М. Брискмана; коммент. М. Брискмана, М. Аронсона // *Литературное наследство*. Т. 22/24. М., 1935. С. 149.

<sup>212</sup> *Успенский Г. И.* Письмо В. А. Гольцеву от 25 ноября 1888 г. // *Успенский Г. И.* Собрание сочинений: В 9 т. Т. 9. М., 1957. С. 525—526.

<sup>213</sup> Цит. по: *Фидлер Ф. Ф.* Указ. соч. С. 487.

<sup>214</sup> *Лейкин Н. А.* Апраксинцы. Сцены и очерки // Библиотека для чтения. 1863. № 11. С. 60—61.

<sup>215</sup> *Лесков Н. С.* <Настоящие бедствия столицы> // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 245.

<sup>216</sup> *Герцен А. И.* Молодая и старая Россия // *Герцен А. И.* Собрание сочинений: В 30 т. Т. 16. М., 1959. С. 200.

<sup>217</sup> *Скабичевский А. М.* Литературные воспоминания. М.; Л., 1923. С. 153—154.

<sup>218</sup> См.: *Рейсер С. А.* Петербургские пожары 1862 года // *Каторга и ссылка*. 1932. № 10. С. 92.

<sup>219</sup> См.: Государственный архив Российской Федерации (далее — ГА РФ). Ф. 109. Оп. 202 (4-я экспедиция 1862 г.). Д. 128. Л. 13.

<sup>220</sup> *Лесков Н. С.* <Настоящие бедствия столицы>. С. 245—246.

<sup>221</sup> Революционный радикализм в России: век девятнадцатый: Документальная публикация / Под ред. Е. Л. Рудницкой. М., 1997. С. 149.

<sup>222</sup> *Герцен А. И.* Указ. соч. С. 201.

- <sup>223</sup> См.: Искра. 1862. № 22. С. 341; *Валескалн П. И.* Революционный демократ Петр Давидович Баллод: Материалы к биографии. Рига, 1957. С. 57.
- <sup>224</sup> ГА РФ. Ф. 109. Оп. 202. Д. 128. Л. 1—1 об.
- <sup>225</sup> Там же. Л. 2.
- <sup>226</sup> *Панаева А. Я.* Воспоминания. М., 1986. С. 337.
- <sup>227</sup> ГА РФ. Ф. 109. Оп. 202. Д. 128. Л. 3.
- <sup>228</sup> *Никитенко А. В.* Дневник: В 3 т. Т. 2. Л., 1955. С. 274.
- <sup>229</sup> *Лесков Н. С.* <Настоящие бедствия столицы>. С. 248.
- <sup>230</sup> Цит. по: *Лесков А. Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 148.
- <sup>231</sup> *Скабичевский А. М.* Указ. соч. С. 154.
- <sup>232</sup> Комментарии И. П. Видуэцкой см.: *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 821—823.
- <sup>233</sup> Цит. по: Северная почта. 1862. № 116.
- <sup>234</sup> См.: Санкт-Петербургские ведомости. 1862. 2 июня.
- <sup>235</sup> См.: ГА РФ. Ф. 109. Оп. 92 (2-я экспедиция). Д. 299.
- <sup>236</sup> Наше время. 1862. 2 июня.
- <sup>237</sup> Санкт-Петербургские ведомости. 1862. 8 июня.
- <sup>238</sup> Там же. 17 июня.
- <sup>239</sup> См.: *Лесков А. Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 209—218.
- <sup>240</sup> См.: *Лесков Н. С.* Честное слово / Сост., вступ. ст. и коммент. Л. А. Аннинского. М., 1988. С. 328—329.
- <sup>241</sup> *Он же.* <Настоящие бедствия столицы>. С. 604.
- <sup>242</sup> Искра. 1862. № 22. 15 июня. С. 341.
- <sup>243</sup> *Монументов В.* Дифирамб современной российской прессы // Искра. 1862. № 24. 28 июня. С. 335.
- <sup>244</sup> См.: *Михайлов-Другопольский Е. В.* Примечания // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 621.
- <sup>245</sup> См.: *Лесков Н. С.* «Северная пчела» в роли адского злодея будущей трагедии г. Дьяченко // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 625—627.
- <sup>246</sup> Гудок. 1862. № 33. С. 263.
- <sup>247</sup> См.: Там же. С. 150.
- <sup>248</sup> См.: *Рейсер С. А.* Указ. соч.
- <sup>249</sup> См.: *Шелаева А. А.* Н. С. Лесков — историк Петербурга: статьи о пожарах 1862 г. // Петербургские исследования. СПб., 2006. С. 323.
- <sup>250</sup> *Лесков Н. С.* Некуда. С. 258.
- <sup>251</sup> *Достоевский Ф. М.* Бесы // *Достоевский Ф. М.* Собрание сочинений: В 15 т. Т. 7. Л., 1990. С. 480.
- <sup>252</sup> См.: *Соколов Б. В.* Михаил Булгаков: загадки творчества. М., 2008. С. 592—593.
- <sup>253</sup> *Булгаков М. А.* Мастер и Маргарита // *Булгаков М. А.* Собрание сочинений: В 10 т. Т. 9. М., 1999. С. 487.
- <sup>254</sup> См.: *Ясинский И. И.* Н. С. Лесков // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников. С. 429—430.
- <sup>255</sup> *Лесков Н. С.* «Северная пчела» в роли адского злодея будущей трагедии г. Дьяченко. Т. 2. С. 626.

- <sup>256</sup> Лесков Н. С. Из одного дорожного дневника. С. 61.
- <sup>257</sup> Там же. С. 61—62.
- <sup>258</sup> См.: Там же. С. 139.
- <sup>259</sup> См.: Там же. С. 99.
- <sup>260</sup> Там же. С. 68.
- <sup>261</sup> Там же. С. 147.
- <sup>262</sup> Цит. по: Лесков А. Н. Указ. соч. Т. 1. С. 230—231.
- <sup>263</sup> См.: Hillairet J. Dictionnaire anecdotique des rues de Paris. P., 1985. Vol. 1. P. 461; Bihl-Willette L. Des tavernes aux bistrots: histoire des cafés. Lausanne, 1997. P. 5; Мильчина В. А. Париж в 1814—1848 годах. М., 2013. С. 414.
- <sup>264</sup> Лесков Н. С. Как отравляются угольным чадом в Париже // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 3. С. 159.
- <sup>265</sup> Он же. Русское общество в Париже // Там же. С. 237.
- <sup>266</sup> Там же.
- <sup>267</sup> Там же. С. 345.
- <sup>268</sup> Там же. С. 314.
- <sup>269</sup> См.: Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого: В 2 т. Т. 1. СПб., 1867.
- <sup>270</sup> Лесков Н. С. Русское общество в Париже. С. 362—363.
- <sup>271</sup> Там же. С. 368.
- <sup>272</sup> Он же. Санкт-Петербург. 8-го марта // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 6. М., 1999. С. 493.
- <sup>273</sup> См.: Он же. <Кажется, несомненно, что предсказания...>; Санкт-Петербург. 13-го марта; Санкт-Петербург. 15-го марта; <«Мы подверглись несчастью...»> // Там же. С. 506—529.
- <sup>274</sup> См., например: Столярова И. В. Лесков и Герцен (Неизвестные статьи Лескова о Герцене в газете «Биржевые ведомости», 1869—1870) // Лесков и русская литература. М., 1988. С. 165—181; Видуэцкая И. П. Лесков о Герцене // Проблемы изучения Герцена. М., 1963. С. 300—321; Головачева О. А. Средства характеристики в публицистических статьях Н. С. Лескова об А. И. Герцене: парадигматический и стилистический аспекты // Известия ВГПУ. 2011. № 7. С. 79—82; Федотова А. А. «Его прободали те, за кого он распялся»: Некролог Н. С. Лескова об А. И. Герцене // Верхневолжский филологический вестник. 2017. № 3. С. 8—15.
- <sup>275</sup> Подробнее см.: Кучерская М. А., Лифшиц А. Л. Феатр Лескова: реквизит и эффекты правдоподобия «Тупейного художника» // Русский реализм XIX века: мимесис, политика, экономика: Сборник статей / Под ред. М. Вайсман, А. Вдовина, И. Клигера, К. Осповата. М., 2020. С. 503—521. О влиянии Герцена на раннюю прозу Лескова см.: Федотова А. А. Рецептивные стратегии в прозе Н. С. Лескова: Дис. ... д-ра филол. наук. Ярославль, 2018. С. 45—117.
- <sup>276</sup> Лесков Н. С. Русские общественные заметки (№ 27) // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 10. С. 206.
- <sup>277</sup> Он же. Письмо А. А. Краевскому. 23 мая 1863 г. // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 10. М., 2007. С. 251—252.

<sup>278</sup> Цит. по: *Соколов Н. И. Примечания // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 10. С. 525.*

<sup>279</sup> См.: Руководство к зоологии, составленное по поручению Министерства народного просвещения для гимназий, Юлианом Симашко. СПб., 1854.

<sup>280</sup> *Лесков Н. С. Овцебык // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 1. С. 31.*

<sup>281</sup> См.: Там же. С. 75—76.

<sup>282</sup> Там же. С. 31.

<sup>283</sup> Там же. С. 88.

<sup>284</sup> Там же. С. 74.

<sup>285</sup> Там же. С. 76—77.

<sup>286</sup> Там же. С. 95.

<sup>287</sup> См.: *Он же. <Товарищеские воспоминания о П. И. Якуш-кине> // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 11. С. 73.*

<sup>288</sup> *Он же. Овцебык. С. 95.*

<sup>289</sup> Там же. С. 56.

<sup>290</sup> Там же. С. 58—59.

<sup>291</sup> Там же. С. 63.

<sup>292</sup> *Он же. Автобиографическая заметка. С. 12.*

<sup>293</sup> См.: *Вдовин А. В. «Неведомый мир»: русская и европейская эстетика и проблема репрезентации крестьян в литературе середины XIX века // Новое литературное обозрение. 2016. Т. 146. № 5. С. 287—315.*

<sup>294</sup> См.: *Лавринец П. Н. С. Лесков и вильнюсские литераторы // Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai: Literatūra. 1989. № 31 (2). Literatūros ir kritikos klausimai. Vilnius, 1989. С. 44—56.*

<sup>295</sup> *Лесков Н. С. Русское общество в Париже. С. 206—207.*

<sup>296</sup> Там же. С. 207.

<sup>297</sup> Там же. С. 169.

<sup>298</sup> *Анненков П. В. По поводу романов и рассказов из простонародного быта // «Современник» против «Москвитянина»: Литературно-эстетическая полемика первой половины 1850-х годов / Подг. А. В. Вдовина, К. Ю. Зубкова, А. С. Федотова. СПб., 2015. С. 361.*

<sup>299</sup> *Лесков Н. С. Некуда. С. 180.*

<sup>300</sup> См.: *Вдовин А. В. Русский народный характер как «литературный обман» (рассказ А. Ф. Писемского «Леший») // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia. Вып. XII: Мифология культурного пространства: К 80-летию Сергея Геннадиевича Исакова / Отв. ред. Л. Киселева, Т. Степанищева. Тарту, 2011. С. 301—317.*

<sup>301</sup> *Писемский А. Ф. Плотничья артель // Писемский А. Ф. Собрание сочинений: В 9 т. Т. 2. М., 1959. С. 314.*

<sup>302</sup> *Лесков Н. С. Житие одной бабы // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 1. С. 263.*

<sup>303</sup> Там же. С. 123—124.

<sup>304</sup> *Он же. Русские демономаны. С. 231.*

<sup>305</sup> *Он же. Автобиографическая заметка. С. 12.*

- <sup>306</sup> Лесков Н. С. Житие одной бабы. С. 297.
- <sup>307</sup> См.: Усов П. В. Указ. соч. // Исторический вестник. 1882. Т. 7. № 2. С. 346.
- <sup>308</sup> Подробнее о реформах А. В. Головнина см.: Любжин А. И. История русской школы императорской эпохи: В 3 т. Т. 2. Русская школа XIX столетия. Кн. 2. М., 2016. С. 73—314.
- <sup>309</sup> Лесков Н. С. О раскольниках г. Риги, преимущественно в отношении к школам // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 3. С. 398, 410.
- <sup>310</sup> Он же. Искание школ старообрядцами // Там же. Т. 6. С. 363.
- <sup>311</sup> О полемике в российской прессе, посвященной расколу, см.: Асипова Н. В. Церковный раскол в общественном мнении России: конец 1850-х — 1860-е гг.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2009.
- <sup>312</sup> Лесков Н. С. Искание школ старообрядцами. С. 350.
- <sup>313</sup> См.: Маджаров А. С. Афанасий Прокопьевич Шапов: история жизни (1831—1876) и жизнь «Истории». Иркутск, 2005. С. 56.
- <sup>314</sup> Лесков Н. С. Народники и расколоведы на службе (Nota bene к воспоминаниям П. С. Усова о П. И. Мельникове) // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 11. С. 36.
- <sup>315</sup> Цит. по: Еремин М. П. Примечания // Мельников П. И. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 7. М., 1976. С. 559.
- <sup>316</sup> См.: Усов П. С. П. И. Мельников, его жизнь и литературная деятельность. СПб., 1897. С. 222—226.
- <sup>317</sup> Лесков А. Н. Указ. соч. Т. 1. С. 244—245.
- <sup>318</sup> Лесков Н. С. С людьми древнего благочестия // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 3. С. 486.
- <sup>319</sup> Там же. С. 568.
- <sup>320</sup> См.: Ильинская Т. Б. Русское разноверие в творчестве Н. С. Лескова. СПб., 2010.
- <sup>321</sup> Лесков Н. С. С людьми древнего благочестия. С. 507.
- <sup>322</sup> Там же. С. 508—509.
- <sup>323</sup> Там же. С. 511.
- <sup>324</sup> Он же. Народники и расколоведы на службе. С. 41.
- <sup>325</sup> Он же. О раскольниках г. Риги, преимущественно в отношении к школам. С. 441.
- <sup>326</sup> Он же. Искание школ старообрядцами. С. 431.
- <sup>327</sup> См.: РГАЛИ. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 339. О коллекции старообрядческих рукописей и книг Лескова см.: Агеева Е. А. Н. С. Лесков и старообрядчество: в поисках тайны Старой Веры // Старообрядчество в России (XVII—XX вв.): Сборник научных трудов. Вып. 5. М., 2013. С. 446—456; Андреева Т. А. О коллекции документов, собранных Н. С. Лесковым // Памятники культуры: новые открытия: Ежегодник. 1984. Л., 1986. С. 70—75.
- <sup>328</sup> Н. Л. [Лесков Н. С.]. [Рецензия на:] За старообрядцев: Листок, приложение к № 169 газеты «Минута» калужского старообрядца Ф. Фалеева // Исторический вестник. 1882. Т. 7. № 1. С. 225—226.



- <sup>329</sup> См.: *Шляпкин И. А.* К биографии Лескова // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников. С. 363.
- <sup>330</sup> *Лесков Н. С.* О шепотниках и печатниках / Предисл., публ. и прим. А. М. Ранчина // *Неизданный Лесков*. Кн. 2. С. 55.
- <sup>331</sup> *Он же.* <О романе «Некуда»>. С. 168—169.
- <sup>332</sup> Цит. по: *Лесков А. Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 250.
- <sup>333</sup> Цит. по *Тотубалин Н. И.* Указ. соч. С. 721.
- <sup>334</sup> Цит. по: *Аннинский Л. А.* Лесковское ожерелье. СПб., 2012. С. 50.
- <sup>335</sup> См.: *Буренин В.* Разговор г. Стебницкого с хозяином // *Искра*. 1864. № 40.
- <sup>336</sup> Санкт-Петербургские ведомости. 1864. № 200. 11 сентября.
- <sup>337</sup> См.: *Боборыкин П. Д.* Необходимое объяснение // Библиотека для чтения. 1864. № 6; *Он же.* Ответ «Санкт-Петербургским ведомостям» // Там же. № 7.
- <sup>338</sup> См.: *Лесков А. Н.* Указ. соч. Т. 2. С. 111—130. Некоторые сведения о не слишком счастливой судьбе Веры Николаевны Ноги, урожденной Лесковой, содержатся также на сайте Музея И. С. Тургенева в Орле (URL: [http://www.xn----8sbfdicaltlar7azajf.xn--plai/leskov\\_p\\_9.html](http://www.xn----8sbfdicaltlar7azajf.xn--plai/leskov_p_9.html). Дата обращения: 28.02.2020).
- <sup>339</sup> *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 509.
- <sup>340</sup> *Он же.* Некуда. С. 185.
- <sup>341</sup> Там же. С. 195.
- <sup>342</sup> Там же. С. 350.
- <sup>343</sup> Там же. С. 297—298.
- <sup>344</sup> См.: *Он же.* Письмо А. С. Суворину. 30 ноября 1888 г. // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 116.
- <sup>345</sup> *Он же.* Некуда. С. 172.
- <sup>346</sup> Цит. по: *Фаресов А. И.* Умственные переломы в деятельности Н. С. Лескова // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников. С. 214.
- <sup>347</sup> *Лесков Н. С.* <О романе «Некуда»>. С. 168.
- <sup>348</sup> См.: *Маркадэ Ж. К.* Творчество Лескова: романы и хроники. СПб., 2006. С. 56—84.
- <sup>349</sup> *Лесков Н. С.* Некуда. С. 130.
- <sup>350</sup> Там же. С. 320.
- <sup>351</sup> Там же. С. 19, 292.
- <sup>352</sup> Там же. С. 68.
- <sup>353</sup> Там же. С. 562.
- <sup>354</sup> Там же. С. 568.
- <sup>355</sup> Там же. С. 529—530.
- <sup>356</sup> См.: *Стайс Р.* Женское освободительное движение в России: феминизм, нигилизм и большевизм. 1860—1930. М., 2004. С. 79—80.
- <sup>357</sup> Ср.: *Панаева А. Я.* Указ. соч. С. 347.
- <sup>358</sup> Н. С. Лесков по воспоминаниям сына — А. Н. Лескова (К 25[-]л[етию] со дня кончины) // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников. С. 266.

- <sup>359</sup> См.: *Волынский А. Л., Измайлов А. А.* Указ. соч. С. 145—147.
- <sup>360</sup> Русское богатство. 1897. № 10. Отд. 2. С. 194.
- <sup>361</sup> *Лесков Н. С.* Некуда. С. 190—191.
- <sup>362</sup> См.: Из донесения секретного агента М. Г. Степановой в III отделение о слежке за участниками коммуны Слепцова // Литературное наследство. Т. 71. Василий Слепцов: Неизвестные страницы. М., 1963. С. 454.
- <sup>363</sup> ГА РФ. Ф. 109. Оп. 1а. Ед. хр. 2061. Л. 1—1 об.
- <sup>364</sup> *Лесков Н. С.* Некуда. С. 413.
- <sup>365</sup> См.: *Измайлов А. А.* Лесков и его время // *Волынский А. Л., Измайлов А. А.* Н. С. Лесков: Классик в неклассическом освещении. С. 225—231.
- <sup>366</sup> *Успенский Н. В.* Из прошлого. М., 1889. С. 122.
- <sup>367</sup> Знаменская коммуна. 1. Из воспоминаний А. Г. Маркеловой. 2. Полицейские и агентурные документы / Публ. М. Л. Семановой // Литературное наследство. Т. 71. С. 443—446.
- <sup>368</sup> *Лесков Н. С.* Некуда. С. 10.
- <sup>369</sup> *Жуковская Е. И.* Записки. Воспоминания. М., 2001. С. 117—118.
- <sup>370</sup> Там же. С. 118.
- <sup>371</sup> *Лесков Н. С.* Некуда. С. 136.
- <sup>372</sup> Там же. С. 589.
- <sup>373</sup> Там же. С. 583.
- <sup>374</sup> *Жуковская Е. И.* Указ. соч. С. 261.
- <sup>375</sup> Цит. по: Там же.
- <sup>376</sup> Цит. по: Там же. С. 212.
- <sup>377</sup> *Лесков Н. С.* Некуда. С. 569.
- <sup>378</sup> Он же. Собрание сочинений. Т. 11. С. 116.
- <sup>379</sup> *Михневич В. О.* На очереди: Писательская судьба // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников. С. 585—586.
- <sup>380</sup> *Лесков Н. С.* Некуда. С. 704—705.
- <sup>381</sup> Там же. С. 705.
- <sup>382</sup> Там же. С. 707—708.
- <sup>383</sup> *Писарев Д. И.* Прогулка по садам российской словесности // *Писарев Д. И.* Сочинения: В 4 т. Т. 3. М., 1956. С. 262—263.
- <sup>384</sup> *Лесков Н. С.* О шепотниках и печатниках. С. 54.
- <sup>385</sup> Цит. по: *Фаресов А. И.* Против течений. Н. С. Лесков: Его жизнь, сочинения, полемика и воспоминания о нем // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников. С. 57.
- <sup>386</sup> См.: *Михневич В. О.* Указ. соч. С. 583—585.
- <sup>387</sup> Цит. по: *Тотубалин Н. И.* Примечания к роману «Некуда» // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 2. С. 719.
- <sup>388</sup> *Лесков Н. С.* Авторское признание: Открытое письмо к П. К. Щербальскому. 10 декабря 1884 г. // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 230.
- <sup>389</sup> Он же. Письмо И. С. Аксакову. 9 декабря 1881 г. // Там же. С. 256.
- <sup>390</sup> Цит. по: *Фаресов А. И.* Против течений. С. 57.

- <sup>391</sup> Цит. по: *Протопопов В. В.* Указ. соч. С. 604.
- <sup>392</sup> Искра. 1871. № 19. С. 580.
- <sup>393</sup> См.: *Хирьякова Е. Д.* Воспоминания о встречах с писателями // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников. С. 453.
- <sup>394</sup> Цит. по: *Шляпкин И. А.* Указ. соч. С. 360.
- <sup>395</sup> *Лесков Н. С.* Письмо в редакцию. 10 марта 1883 г. // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 222—223.
- <sup>396</sup> *Он же.* Письмо А. С. Суворину. 20 марта 1871 г. // Там же. Т. 10. С. 297—298.
- <sup>397</sup> *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 1. С. 301—302.
- <sup>398</sup> Там же. С. 302.
- <sup>399</sup> Там же. С. 304.
- <sup>400</sup> См.: Там же. С. 302—303.
- <sup>401</sup> См.: *Бубнов Н. М.* Воспоминания (фрагменты) // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников. С. 271.
- <sup>402</sup> Там же. С. 273.
- <sup>403</sup> *Лесков Н. С.* Леди Макбет Мценского уезда // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 1. С. 109.
- <sup>404</sup> Цит. по: *Маркузе И. К.* Воспоминания о В. В. Крестовском // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников. С. 302.
- <sup>405</sup> См.: Письмо Н. М. Бубнова Е. С. Бубновой. 26 ноября 1881 г. // Неизданный Лесков. Кн. 2. С. 343.
- <sup>406</sup> *Лесков Н. С.* Леди Макбет Мценского уезда. С. 96.
- <sup>407</sup> Там же.
- <sup>408</sup> *Он же.* Письмо Г. Л. Кравцову. 28 декабря 1884 г. // Привет!: Художественно-научно-литературный сборник. СПб., 1898. С. 219. См. также: *Он же.* Авторское признание. С. 229.
- <sup>409</sup> *Он же.* Письмо Ф. И. Буслаеву. 1 июня 1877 г. // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 10. С. 452.
- <sup>410</sup> *Лесков А. Н.* Как Н. С. Лесков писал «Леди Макбет» // Леди Макбет Мценского уезда: опера Д. Д. Шостаковича. Л., 1934. С. 19.
- <sup>411</sup> Цит. по: *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 1. С. 113.
- <sup>412</sup> См.: *Лесков Н. С.* Некуда. С. 178—184.
- <sup>413</sup> См.: *McLean H.* Nikolai Leskov: The Man and His Art. London, 1977. P. 146; *Коробкова А. А.* Шекспировские реминисценции в повести Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» // Русская словесность. 2006. № 2. С. 31—35.
- <sup>414</sup> См.: *McLean H.* Op. cit. P. 146.
- <sup>415</sup> См.: *Столярова И. В.* Трагическое в повести Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» // Русская литература. 1981. № 4. С. 77—94.
- <sup>416</sup> См.: *Горелов А. А.* Н. С. Лесков и народная культура. М., 1988. С. 138—145; *Гроссман Л. П.* Н. С. Лесков: Жизнь — творчество — поэтика. М., 1945. С. 224; *Гебель В. Н.* Н. С. Лесков: В творческой лаборатории. М., 1945. С. 206—208.
- <sup>417</sup> См.: *Лесков Н. С.* Леди Макбет Мценского уезда. С. 97.
- <sup>418</sup> Там же. С. 109.

- <sup>419</sup> Лесков Н. С. Леди Макбет Мценского уезда. С. 110.
- <sup>420</sup> Там же. С. 126.
- <sup>421</sup> Там же.
- <sup>422</sup> Там же. С. 106.
- <sup>423</sup> См.: Гуря А. В. Кошка, кот // Славянские древности. Т. 2. С. 637—640; Wigzell F. Russian Dream Books and Lady Macbeth's Cat // The Slavonic and East European Review. 1988. Vol. 66. № 4. P. 626—630.
- <sup>424</sup> См.: Михайлов М. Л. Указ. соч.
- <sup>425</sup> Лесков Н. С. Воительница // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 1. С. 189.
- <sup>426</sup> См.: Muller de Morogues I. «Le problème féminin» et les portraits de femmes dans l'oeuvre de Nikolaj Leskov. Bern, 1991. P. 51—165, 303—414; Стайс Р. Указ. соч.; Юкина И. Русский феминизм как вызов современности. СПб., 2007; Пантин В. О. Комментарий // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 744—746.
- <sup>427</sup> См.: Легуве Е. Вопрос о правах женщин // Библиотека для чтения. 1862. № 11; Буслаев Ф. И. Судьба женщины в народных книгах // Там же. 1864. № 3; Минаев Д. И. Допетровская женщина // Там же. № 4; Гиероглифов А. Общественное призвание женщин // Отечественные записки. 1863. № 8; Ешевский С. В. Женщина в Средние века в Западной Европе // Русский вестник. 1864. Т. 50. С. 415—460; Обличительный поэт: Эмансипация в теории и на практике // Светоч. 1861. № 3; Жуковский Ю. Затруднения женского дела // Современник. 1863. № 12 и др.
- <sup>428</sup> См.: Лесков Н. С. Русские женщины и эмансипация // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 330—350; Он же. Письма из Петербурга. С. 212—218; Он же. Специалисты по женской части // Полное собрание сочинений. Т. 5. М., 1998. С. 573—624.
- <sup>429</sup> Он же. Письмо С. А. Юрьеву. 18 декабря 1870 г. // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 10. С. 280.
- <sup>430</sup> Там же. С. 253.
- <sup>431</sup> См.: Лесков Н. С. Воительница. С. 144—221.
- <sup>432</sup> Он же. <О романе «Некуда»>. С. 169.
- <sup>433</sup> См.: Muller de Morogues I. Op. cit.; Жэри К. Чувственность и преступление в «Леди Макбет Мценского уезда» Н. С. Лескова // Русская литература. 2004. № 1. С. 104; Столярова И. В. Трагическое в повести Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».
- <sup>434</sup> Лесков Н. С. Леди Макбет Мценского уезда. С. 143.
- <sup>435</sup> См.: Lantz K. Leskov's «Lady Macbeth of Mtsensk» and Its Place in His Work // And Meaning for a Life Entire: Festschrift for Charles A. Moser on the Occasion of His Sixtieth Birthday / Ed. by P. Rollberg. Columbus, 1997. P. 247—250; Симатов А. А. Тюремная реформа в России (1860—90-е гг.): Дис. ... канд. ист. наук. Чита, 1998. С. 141—187.
- <sup>436</sup> См.: Забелин А. К. По вопросу об улучшении тюрем // Русский вестник. 1863. Т. 44. № 3. С. 353—395; Галкин М. Н. Места

заклучений во Франции. Тюремы гражданские // Там же. 1864. Т. 54. № 12. С. 487—542.

<sup>437</sup> См.: А. Ч. Темные углы // Время. 1862. № 9. С. 293—323; *Попов В. П.* Преступления и наказания: Эскизы из истории уголовного права. Статья вторая // Там же. 1863. № 4. С. 121—151.

<sup>438</sup> См.: *Чебышев-Дмитриев А.* Очерк уголовного процесса в Англии, Франции и Германии // Отечественные записки. 1861. Т. 139. № 11. С. 179—224, 397—436; № 12. С. 375—421; *Ткачев П.* Статистические этюды (Опыт разработки русской уголовной статистики) // Библиотека для чтения. 1863. Т. 179. № 10. С. 1—37.

<sup>439</sup> См.: *Львов Ф. Н.* Выдержки из воспоминаний ссыльно-каторжного // Современник. 1861. № 9. С. 107—128; 1862. № 2. С. 643—662; *Грицько.* О препровождении ссыльных на конных подводах // Там же. 1861. № 3. С. 193—216; *Незнаемый А.* По этапной дороге // Библиотека для чтения. 1863. № 11. С. 1—30.

<sup>440</sup> См.: *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 1. С. 131—132.

<sup>441</sup> См.: Лезюрк. Из уголовных дел Франции (1796—1851) (Случай судейской ошибки) // Время. 1861. Т. 2. № 4. С. 411—457; *Мадам Лафарж* (Из уголовных дел Франции) // Там же. Т. 31. № 5. С. 162—206; *Каролина английская* и *Бергами* (процесс 1820 г.) // Там же. Т. 4. № 7. С. 47—100; *Мадам Лакост* // Там же. Т. 5. № 10. С. 497—523; *Таинственное убийство* (Из уголовных дел Франции 1840 года) // Там же. 1862. Т. 7. № 1. С. 30—102; *Убийцы Пешара* (Французское уголовное дело 1857—58 г.) // Там же. № 2. С. 1—71 (Приложение). Последний очерк появился в журнале «Эпоха», созданном взамен закрытого «Времени»: Из уголовных дел Франции. *Госпожа де-Прален* (Praslin). Процесс 1847 года // Эпоха. 1864. № 1/2. С. 221—280.

<sup>442</sup> См.: *Селиванов И. В.* Провинциальные воспоминания: Из записок чудака: В 3 ч. М., 1857.

<sup>443</sup> См.: *Лесков Н. С.* Несколько слов о врачах рекрутских присутствий // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 11. М., 2012. С. 167; *Он же.* Русские люди, стоящие не у дел // Там же. С. 367.

<sup>444</sup> См.: *Абросимова В. Н.* Селиванов Илья Васильевич // Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. Т. 5. М., 2007. С. 544—545; *Пивцайкина О. А., Сульдина Л. В.* Илья Васильевич Селиванов — «Чудак», обличавший эпоху // *Селиванов И. В.* Провинциальные воспоминания: Из записок Чудака. Саранск, 2014. С. 3—50.

<sup>445</sup> Время. 1861. № 1. С. 239.

<sup>446</sup> См.: *Kucherskaya M. A.* Literary Borrowing in the Work of N. S. Leskov: A Case Study of The Spendthrift // The Russian Review. 2016. № 1. P. 67—85.

<sup>447</sup> Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников, письмах и несобранных произведениях. М., 1911. С. 67.

<sup>419</sup> *Лесков Н. С.* Старинные психопаты // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 7. С. 451.

- <sup>449</sup> См.: *Лесков Н. С.* Детские годы. С. 279.
- <sup>450</sup> *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 170.
- <sup>451</sup> *Волинский А. Л., Измайлов А. А.* Н. С. Лесков. Статья вторая // *Волинский А. Л., Измайлов А. А.* Н. С. Лесков: классик в неклассическом освещении. С. 77.
- <sup>452</sup> См.: *Жери К.* Лесковский сказ в понимании Вальтера Бенъямина («Рассказчик») // Ученые записки ОГУ. 2005. Т. 7. Вып. 1. Литературоведение. Фольклористика. С. 5—57.
- <sup>453</sup> *Беньямин В.* Рассказчик // *Беньямин В.* Маски времени. СПб., 2004. С. 406.
- <sup>454</sup> Там же.
- <sup>455</sup> См.: *Бубнов Н. М.* Указ. соч. С. 279.
- <sup>456</sup> См.: *Чуднова Л. Г.* Лесков в Петербурге. Л., 1975. С. 77.
- <sup>457</sup> *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 98.
- <sup>458</sup> *Бубнов Н. М.* Указ. соч. С. 283.
- <sup>459</sup> *Лесков Н. С.* Обойденные // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 5. С. 50.
- <sup>460</sup> Там же. С. 164.
- <sup>461</sup> Там же. С. 202.
- <sup>462</sup> Там же. С. 317.
- <sup>463</sup> *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 1. С. 358—359.
- <sup>464</sup> *Маркузе И. К.* Воспоминания о В. В. Крестовском // Исторический вестник. 1900. № 3. С. 986.
- <sup>465</sup> Цит. по: *Крестовский Вс.* Собрание сочинений: В 8 т. Т. 1. СПб., 1899. С. XI—XII.
- <sup>466</sup> См.: Там же. С. XII—XIII.
- <sup>467</sup> См.: *Быков П. В.* Фигуры литературной колоды: Странички из дневника воспоминаний // Новая жизнь. 1914. № 2. С. 110.
- <sup>468</sup> См.: Русский вестник. 1870. № 2—4, 6, 7, 10—12.
- <sup>469</sup> См.: *Буренин В. П.* О романе В. В. Крестовского «Панургово стадо» // Санкт-Петербургские ведомости. 1870. 16 января. С. 2.
- <sup>470</sup> См.: *Соловьев Н. И.* Два романиста // Всемирный труд. 1867. № 12. Декабрь. С. 35—66.
- <sup>471</sup> РГАЛИ. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 246. Л. 1—2.
- <sup>472</sup> РО ИРЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 160. Л. 1.
- <sup>473</sup> О сюжетных совпадениях между «Петербургскими трущобами» и «На ножах» см.: *Шелаева А. А.* Забытый роман // *Лесков Н. С.* На ножах. М., 1994. С. 3—12.
- <sup>474</sup> См.: *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 1. С. 472.
- <sup>475</sup> Там же. С. 361.
- <sup>476</sup> *Эйхенбаум Б. М.* Н. С. Лесков (К 50-летию со дня смерти) // *Эйхенбаум Б. М.* О прозе: Сборник статей / Сост. и подг. текста И. Ямпольского; вступ. ст. Г. Бялого. Л., 1969. С. 351.
- <sup>477</sup> См.: *Вайсман М.* «Писатель другого пошиба»: Теория и практика литературного реализма в романе А. Ф. Писемского «Взбаламученное море» (1863) // Русский реализм XIX века: мимесис, политика, экономика. С. 476—502.
- <sup>478</sup> См.: *McLean H.* Op. cit. P. 516—517.

- <sup>479</sup> Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 10. С. 295.
- <sup>480</sup> Там же. С. 309—311.
- <sup>481</sup> См.: Майорова О. Е. К истории пожизненного диалога: Из переписки Н. С. Лескова с А. С. Сувориным // НЛО. 1993. № 4. С. 78—101.
- <sup>482</sup> Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 444.
- <sup>483</sup> Очерки и картинки: Собрание рассказов, фельетонов и заметок Незнакомца (А. С. Суворина). СПб., 1875. Кн. 2. С. 208—209.
- <sup>484</sup> См.: Динерштейн Е. А., Рейтблат А. И. Суворин А. С. // Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. Т. 6. М.; СПб., 2019. С. 111.
- <sup>485</sup> См.: Лесков Н. С. Русские общественные заметки (№ 305) // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 8. М., 2004. С. 347—350; Он же. Наблюдения и заметки (№ 99) // Там же. Т. 10. С. 369, 371—374.
- <sup>486</sup> См.: Майорова О. Е. Лесков в суворинском «Новом времени» (1876—1880) // Неизданный Лесков. Кн. 2. С. 169.
- <sup>487</sup> См.: Литературный сборник XVII века «Пролог». М., 1978. С. 246. Сравнительный анализ версий Лескова и Суворина см.: Зенкевич С. Жанр святочного рассказа в творчестве Н. С. Лескова: Дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2005. С. 161—167.
- <sup>488</sup> Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 11. С. 450.
- <sup>489</sup> Там же. С. 442.
- <sup>490</sup> Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. Т. 1. С. 370.
- <sup>491</sup> Майорова О. Е. К истории пожизненного диалога. С. 81.
- <sup>492</sup> Лесков Н. С. Письмо А. С. Суворину. 12 октября 1892 г. // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 11. С. 516.
- <sup>493</sup> Он же. Письмо Е. П. Ковалевскому. 20 мая 1867 г. // Там же. Т. 10. С. 266.
- <sup>494</sup> См.: Он же. Театральная хроника. Русский драматический театр // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 5. С. 643—662.
- <sup>495</sup> Там же. С. 645.
- <sup>496</sup> Там же. С. 651.
- <sup>497</sup> Цит. по: Видуэцкая И. П. Примечания // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 5. С. 769.
- <sup>498</sup> См.: Ильинская Т. Б. Мемуарный факт «в мистическом освещении»: Неизвестный очерк Н. С. Лескова «Станный случай при смерти Дудышкина» // Русская литература. 2009. № 1. С. 153—162.
- <sup>499</sup> Лесков Н. Честное слово: Этюд из культа мертвых (К материалам «Петербургского Декамерона») // Новое время. 1879. № 1214. 17 июля.
- <sup>500</sup> См.: Столярова И. В. Н. С. Лесков в «Биржевых ведомостях» (1869—1871) // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 6. С. 673—688; Она же. Н. С. Лесков в «Русском мире» // Там же. С. 624—638.

- <sup>501</sup> См.: *Лесков Н. С.* Письмо П. К. Щебальскому. 16 апреля 1871 г. С. 310.
- <sup>502</sup> *Авсеев В. Г.* Из литературных воспоминаний // *Н. С. Лесков в воспоминаниях современников*. С. 346—347.
- <sup>503</sup> *Лесков Н. С.* Санкт-Петербург. 18 февраля // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 6. С. 473.
- <sup>504</sup> Там же. С. 471.
- <sup>505</sup> Там же. С. 493.
- <sup>506</sup> *Он же.* Наша провинциальная жизнь // Там же. Т. 10. С. 233—234.
- <sup>507</sup> Там же. С. 233.
- <sup>508</sup> *Он же.* Русские общественные заметки (№ 218) // Там же. С. 248.
- <sup>509</sup> Там же. С. 253.
- <sup>510</sup> *Он же.* Русские общественные заметки (№ 291) // Там же. Т. 8. С. 324.
- <sup>511</sup> *Он же.* Общественные заметки // Там же. Т. 10. С. 331.
- <sup>512</sup> Там же. С. 333.
- <sup>513</sup> См.: *Майорова О. Е.* Божедомы: Повесть лет временных (Рукописная редакция хроники Лескова «Соборяне») // Неизданный Лесков. Кн. 1. С. 35.
- <sup>514</sup> См.: *Лукашевич М.* Образ приходского священника в русской беллетристике 60-х—70-х годов XIX века: Дис. ... канд. филол. наук. Варшава, 2009. С. 41—47; *Она же.* «Я не враг Церкви, а ее друг... и уверенный православный»: Церковная проблематика в публицистике Николая Лескова. Варшава, 2019.
- <sup>515</sup> См.: *Лукашевич М.* Образ приходского священника в русской беллетристике 60-х—70-х годов XIX века. С. 52—106.
- <sup>516</sup> *Лесков Н. С.* Детские годы. С. 279.
- <sup>517</sup> *Он же.* Собрание сочинений. Т. 10. С. 451.
- <sup>518</sup> См.: *Marcade J. Cl.* Les premières versions du Clergé de la collégiale de Leskov: Ceux qui attendent le bouillonnement de l'eau et Les habitants de la maison de Dieu // *Revue des Études Slaves*. Vol. 58. № 3. P. 364.
- <sup>519</sup> См.: *Майорова О. Е.* Божедомы. С. 27—30.
- <sup>520</sup> См.: Протокол судебного заседания в Санкт-Петербургском окружном суде 12 августа 1869 г. // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 551—571.
- <sup>521</sup> См.: *Майорова О. Е.* Божедомы. С. 24, 35—36.
- <sup>522</sup> Там же. С. 37—38.
- <sup>523</sup> *Лесков Н. С.* Соборяне. С. 5.
- <sup>524</sup> Там же. С. 94.
- <sup>525</sup> Там же. С. 59.
- <sup>526</sup> Там же. С. 6.
- <sup>527</sup> Там же. С. 133.
- <sup>528</sup> Там же. С. 41.
- <sup>529</sup> Там же. С. 39.
- <sup>530</sup> Там же. С. 263.



<sup>531</sup> См.: *Серман И. З.* Протопоп Аввакум в творчестве Н. С. Лескова // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 14. М.; Л., 1958. С. 404.

<sup>532</sup> *Волынский А. Л., Измайлов А. А.* Указ. соч. С. 57.

<sup>533</sup> *Лесков Н. С.* Соборяне. С. 84—86.

<sup>534</sup> Там же. С. 87.

<sup>535</sup> Там же. С. 224—228.

<sup>536</sup> Там же. С. 284.

<sup>537</sup> *Он же.* Письмо П. К. Щербальскому. 8 июня 1871 г. // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 10. С. 328—329.

<sup>538</sup> *Он же.* Соборяне. С. 71.

<sup>539</sup> См.: *Толстой Л. Н.* Письмо Н. С. Лескову от 3 декабря 1890 г. // *Толстой Л. Н.* Собрание сочинений: В 22 т. Т. 19. М., 1984. С. 209.

<sup>540</sup> *Лесков Н. С.* Письмо П. К. Щербальскому. 16 апреля 1871 г. С. 305.

<sup>541</sup> *Он же.* Письмо П. К. Щербальскому. 19 декабря 1870 г. // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 10. С. 285.

<sup>542</sup> См.: *Аннинский Л.* На ножах с нигилизмом // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений: В 6 т. Т. 2. Кн. 1. М., 1993. С. 24—25. Похожую оценку романа см.: *McLean H.* Op. cit. P. 219—220.

<sup>543</sup> *Лесков Н. С.* На ножах // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 9. М., 2004. С. 521.

<sup>544</sup> См.: *Поддубная Р. Н.* Становление концепции личности у Н. С. Лескова (разновидности и функции фантастического в романе «На ножах») // Творчество Н. С. Лескова: Межвузовский сборник научных трудов. Курск, 1988. С. 27.

<sup>545</sup> *Лесков Н. С.* На ножах // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 9. С. 697.

<sup>546</sup> *Виницкий И.* Русские духи: спиритуалистический сюжет романа Н. С. Лескова «На ножах» в идеологическом контексте 1860-х годов // Новое литературное обозрение. 2007. № 5. С. 187.

<sup>547</sup> См.: *Поддубная Р. Н.* «Удивительная судьба этого Стебницкого...» («На ножах» в творческой истории «Бесов». Странники Лескова и Достоевского) // Достоевский и мировая культура: Альманах. Вып. 10. М., 1998. С. 162—179.

<sup>548</sup> *Лесков Н. С.* На ножах // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 9. С. 529.

<sup>549</sup> Там же. С. 132, 142.

<sup>550</sup> Там же. С. 25.

<sup>551</sup> Там же. С. 83.

<sup>552</sup> См.: *Горелов А. А.* Указ. соч. С. 197.

<sup>553</sup> *Лесков Н. С.* На ножах // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 9. С. 688.

<sup>554</sup> См.: *Левкиевская Е. Е.* Змей огненный // Славянские древности. Т. 2. М., 1999. С. 332—333.

<sup>555</sup> *Снегирев И. М.* Опахиванье, или изгнание Коровьей Смерти, и несколько слов о Волосе, скотием боге // Московские ведомости. 1861. № 195.

- <sup>556</sup> Лесков Н. С. На ножах. С. 700—701.
- <sup>557</sup> См.: Иванов В. В., Топоров В. Н. Мара; Марена // Мифологический словарь / Гл. ред. Е. М. Мелетинский. М., 1990. С. 337, 338.
- <sup>558</sup> Лесков Н. С. На ножах // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 9. С. 703.
- <sup>559</sup> См.: Поддубная Р. Н. Становление концепции личности у Н. С. Лескова. С. 32.
- <sup>560</sup> См.: Манасевич-Мануйлов И. Ф. Как работают наши писатели // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников. С. 609.
- <sup>561</sup> Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 10. С. 326.
- <sup>562</sup> О европейских корнях романа «На ножах» см.: Марка-дэ Ж. К. Творчество Н. С. Лескова: романы и хроники. СПб., 2006. С. 126—130, 147—148.
- <sup>563</sup> См.: Старыгина Н. Н. Комментарии // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 9. С. 800—815.
- <sup>564</sup> Там же. С. 809.
- <sup>565</sup> Лесков Н. С. Письмо П. К. Щербальскому. 14 января 1871 г. // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 10. С. 291.
- <sup>566</sup> Розанов В. В. Мимолетное. 1915 год // Розанов В. В. Собрание сочинений: В 30 т. Т. 2. М.; СПб., 1994. С. 145.
- <sup>567</sup> Лесков Н. С. Великосветский раскол: Лорд Редсток и его последователи: Очерк современного религиозного движения в петербургском обществе. 2-е изд. СПб., 1877. С. 481.
- <sup>568</sup> Он же. Запечатленный ангел // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 4. С. 352.
- <sup>569</sup> Там же. С. 363.
- <sup>570</sup> Он же. Письмо А. С. Суворину. 11 декабря 1888 г. // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 11. С. 405.
- <sup>571</sup> Достоевский Ф. М. Дневник писателя // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 21. М., 1980. С. 55.
- <sup>572</sup> Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 12. М., 2004. С. 222.
- <sup>573</sup> См.: Майорова О. Е. Опыт реинтерпретации «Очарованного странника» Н. С. Лескова // Русско-французский разговорник, или / ou Les Causeries du 7 septembre: Сборник статей в честь В. А. Мильчиной / Под ред. Е. Э. Ляминой, О. А. Лекманова. М., 2015. С. 362.
- <sup>574</sup> Лесков Н. С. Очарованный странник // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 4. С. 404.
- <sup>575</sup> Там же. С. 393.
- <sup>576</sup> Там же. С. 427.
- <sup>577</sup> См.: Дыханова Б. «Запечатленный ангел» и «Очарованный странник» Н. С. Лескова. М., 1980. С. 120—121.
- <sup>578</sup> Лесков Н. С. Очарованный странник. С. 506.
- <sup>579</sup> Там же. С. 498.
- <sup>580</sup> Там же. С. 449.
- <sup>581</sup> Там же. С. 446.

- <sup>582</sup> Там же. С. 469.
- <sup>583</sup> Он же. Наблюдения и заметки // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 12. С. 204.
- <sup>584</sup> См.: *Шор Т.* Кто виноват, или Н. С. Лесков и остзейский суд // Новое литературное обозрение. 2016. № 140. С. 151—171.
- <sup>585</sup> Цит. по: *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 1. С. 324.
- <sup>586</sup> См.: *Лесков Н. С.* Законные вреды // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 12. С. 204, 331.
- <sup>587</sup> См.: Он же. Соборяне. С. 173; Он же. Наблюдения и заметки // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 11. С. 358.
- <sup>588</sup> Он же. Собрание сочинений. Т. 10. С. 329.
- <sup>589</sup> РО ИРЛИ. Ф. 612. Ед. хр. 383. Л. 734.
- <sup>590</sup> См.: *Майорова О. Е.* «...Жаль наших православных...» (О заграничной статье Н. С. Лескова «Безбожные школы в России») // Путь. 1994. № 5. С. 183—193.
- <sup>591</sup> *Лесков Н. С.* <Сегодня мы печатаем...> // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 11. С. 350—351.
- <sup>592</sup> См.: *Сидяков Ю. Л.* Публицистика Лескова 1870-х годов: Дис. ... канд. филол. наук. Тарту, 1987. С. 20—21.
- <sup>593</sup> *Лесков Н. С.* Безбожные школы в России // Новое время. 1881. № 2044. 5 ноября. Подробнее см.: *Майорова О. Е.* «...Жаль наших православных...» С. 187—193.
- <sup>594</sup> *Лесков Н. С.* В дороге и дома // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 12. С. 360.
- <sup>595</sup> См.: Он же. Великопостные аферы // Новости и Биржевая газета. 1881. № 50.
- <sup>596</sup> См.: *Макаревич О. В.* Интерпретация религиозных текстов в творчестве Н. С. Лескова второй половины 1870-х — 1890-х гг.: вопросы проблематики и поэтики: Дис. ... канд. филол. наук. Нижний Новгород, 2014.
- <sup>597</sup> *Лихачев Д. С.* Особенности поэтики произведений Н. С. Лескова // *Лихачев Д. С.* Литература — реальность — литература. Л., 1984. С. 145.
- <sup>598</sup> См.: *Лукашевич М.* «Я не враг Церкви, а ее друг... и уверенный православный»; *Душечкина Е. В.* Н. С. Лесков о причинах «печального состояния русского духовенства» // *Homo Unversitatis: Сборник статей памяти А. Б. Муратова (1937—2005)* / Под ред. А. А. Карпова. СПб., 2009. С. 77—79.
- <sup>599</sup> *Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений. Т. 27. М., 1984. С. 46.
- <sup>600</sup> См.: [*Лесков Н. С.*] О клировом нишебродстве // Церковно-общественный вестник. 1876. № 56; *Ильинская Т.* Неизвестный очерк Н. С. Лескова «О клировом нишебродстве» // Русская литература. 2012. № 3. С. 145—152.
- <sup>601</sup> См.: [*Лесков Н. С.*] Благочестие и распойство // Петербургская газета. 1881. № 241.
- <sup>602</sup> См.: *Лесков Н. С.* Семинарские манеры: Практическая заметка // Русский мир. 1872. № 88. 5 апреля.

<sup>603</sup> См.: *Лесков Н. С.* Об уборе русского духовенства // *Новости*. 1878. № 246.

<sup>604</sup> См.: *Он же*. Протопоп Комар и две комарихи // *Новое время*. 1882. № 2437.

<sup>605</sup> См.: *Он же*. Об оригинальных попадьях (Пояснение и поправка) // *Новости и Биржевая газета*. 1883. № 154.

<sup>606</sup> См.: *Он же*. Вычегодская Диана (Попадья-охотница) // *Там же*. № 51.

<sup>607</sup> См.: *Он же*. Епархиальный суд // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 6. С. 576.

<sup>608</sup> См.: *Там же*. С. 575—576.

<sup>609</sup> *Он же*. Мелочи архиерейской жизни. С. 480.

<sup>610</sup> См.: *Рейсер С. А.* Комментарии // *Там же*. С. 662—669.

<sup>611</sup> Цит. по: *Там же*. С. 667.

<sup>612</sup> Цит. по: *Там же*. С. 664.

<sup>613</sup> *Лесков Н. С.* Письмо Л. Н. Толстому. 8 апреля 1894 г. // *Толстой Л. Н.* Переписка с русскими писателями: В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 300—301.

<sup>614</sup> Миссионер. 1874. № 1. С. 1.

<sup>615</sup> *Лесков Н. С.* Великосветский раскол. С. 296—297.

<sup>616</sup> *Он же*. На краю света // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 5. С. 517.

<sup>617</sup> См.: *Кучерская М. А.* Н. С. Лесков на краю литературы: обращение к жанру проповеди (рассказ «На краю света») // *Лесковиана: Документальное наследие Н. С. Лескова: текстология и поэтика: Тезисы докладов международной научной конференции*. М., 2011. С. 85.

<sup>618</sup> См.: *Меньшиков М. О.* Художественная проповедь. С. 510—529.

<sup>619</sup> *Лесков Н. С.* На краю света. С. 510.

<sup>620</sup> См.: *Кучерская М., Лифшиц А.* Лесков-миссионер // *Лотмановский сборник*. Вып. 4 / Ред. Л. Н. Киселева, Т. Н. Степанищева. М., 2014. С. 384—393.

<sup>621</sup> *Лесков Н. С.* На краю света. С. 506.

<sup>622</sup> См.: *Майорова О.* Маркеры русскости в имперском пространстве: парадоксы рассказа Н. С. Лескова «На краю света» // *Новое литературное обозрение*. 2017. № 2. С. 45—59.

<sup>623</sup> Цит. по: *В мире Лескова: Сборник статей*. М., 1983. С. 365.

<sup>624</sup> Цит. по: *Ильинская Т. Б.* Литературные маски Лескова // *Санкт-Петербургский вестник*. 2009. Вып. 3. С. 57.

<sup>625</sup> См.: *Венгеров С. А.* Источники словаря русских писателей: В 4 т. Т. 4. Пг., 1917. С. 44—45.

<sup>626</sup> См.: *Победоносцев К. П.* Письма к Александру III: В 2 т. М., 1926. Т. 1. С. 44; *Майорова О. Е.* Маркеры русскости в имперском пространстве. С. 45—59.

<sup>627</sup> *Лесков Н. С.* Овцебык. С. 43.

<sup>628</sup> См.: *Русские богоносцы: Религиозно-бытовые картины Н. С. Лескова*. I. На краю света. II. Владычный суд. СПб., 1880.

- <sup>629</sup> См.: ЦГИАК. Ф. 182 (Канцелярия киевского митрополита). Оп. 1. Д. 44. 1840 г. Л. 1—3 об.
- <sup>630</sup> См.: Там же. Л. 3 об.—4.
- <sup>631</sup> Там же. Л. 6.
- <sup>632</sup> См.: *Оршанский И. Г.* Законодательство о евреях: Очерки и исследования. СПб., 1877. С. 45.
- <sup>633</sup> См.: ЦГИАК. Ф. 442. Оп. 84. Д. 506.
- <sup>634</sup> *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 226.
- <sup>635</sup> *Лесков Н. С.* Евреи в России: Несколько замечаний по еврейскому вопросу. М., 1994. С. 24.
- <sup>636</sup> Там же. С. 73.
- <sup>637</sup> См.: *Державина О. А.* Пролог в творчестве русских классиков XVIII—XX вв. и в фольклоре // Литературный сборник XVII века «Пролог». М., 1978. С. 166; *McLean Н.* Op. cit. P. 431.
- <sup>638</sup> Цит.: по: *Фаресов А. И.* Против течений. С. 164.
- <sup>639</sup> См.: *Озерова Н. И.* Комментарии // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 13. С. 430—433.
- <sup>640</sup> См.: *Zelinsky В.* Roman und Romanchronik: Strukturuntersuchungen zur Erzählkunst Nikolaj Leskovs // Slavistische Forschungen. Vol. 10. Cologne; Vienna, 1970. P. 259.
- <sup>641</sup> День. 1862. 12 января. С. 1—2.
- <sup>642</sup> *Лесков Н. С.* <Внутреннее обозрение. Спор о правах и значении русского дворянства. — Мысли о его «торжественном» уничтожении в нынешнюю пору. — Манера всё доводить до крайности. — Наше мнение по дворянскому вопросу> // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 299.
- <sup>643</sup> *Он же.* Захудалый род // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 5. С. 124—125.
- <sup>644</sup> Там же. С. 10.
- <sup>645</sup> См.: *Он же.* Собрание сочинений. Т. 10. С. 388.
- <sup>646</sup> *Он же.* Пресыщение знатностью // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 186.
- <sup>647</sup> См.: *Н. С. Лесков по воспоминаниям сына — А. Н. Лескова.* С. 268.
- <sup>648</sup> *Лесков Н. С.* Захудалый род. С. 31.
- <sup>649</sup> Там же. С. 60.
- <sup>650</sup> Там же. С. 19.
- <sup>651</sup> Там же. С. 56.
- <sup>652</sup> Там же. С. 34—35.
- <sup>653</sup> Там же. С. 39.
- <sup>654</sup> Там же. С. 54—55.
- <sup>655</sup> Там же. С. 84—85.
- <sup>656</sup> Там же. С. 61.
- <sup>657</sup> Там же. С. 124—125.
- <sup>658</sup> Там же. С. 120.
- <sup>659</sup> Там же. С. 66.
- <sup>660</sup> Там же. С. 108.
- <sup>661</sup> Там же. С. 70.

- <sup>662</sup> *Лесков Н. С.* Захудалый род. С. 124.
- <sup>663</sup> Там же. С. 67.
- <sup>664</sup> Там же. С. 124.
- <sup>665</sup> Там же. С. 113—114.
- <sup>666</sup> Там же. С. 164—165.
- <sup>667</sup> Там же. С. 205.
- <sup>668</sup> Там же. С. 207.
- <sup>669</sup> Там же. С. 208.
- <sup>670</sup> *Белинский В. Г.* Письма: В 3 т. СПб., 1914. Т. 2. С. 335.
- <sup>671</sup> См.: *Феоктистов Е. М.* Указ. соч. С. 87.
- <sup>672</sup> *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 256.
- <sup>673</sup> Там же. Т. 10. С. 362—363.
- <sup>674</sup> Цит. по: *Домановский Л. В.* Комментарии // Там же. Т. 5. С. 577.
- <sup>675</sup> См.: *Озерова Н. И.* Комментарии // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 13. С. 417—420.
- <sup>676</sup> *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 10. С. 396.
- <sup>677</sup> *Тургенев И. С.* Письмо А. И. Герцену. 10 мая 1867 года // *Тургенев И. С.* Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Т. 6. Письма. 1865—1867. М.; Л., 1963. С. 252.
- <sup>678</sup> *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 10. С. 269.
- <sup>679</sup> См.: Две неизвестных статьи Лескова из «Московских ведомостей» / Предисл. и публ. В. А. Громова // *Неизданный Лесков*. Кн. 2. С. 152—160.
- <sup>680</sup> *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 10. С. 303.
- <sup>681</sup> См., например: *Он же*. Большие брани (общественная заметка) // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 7. М., 2000. С. 245—260.
- <sup>682</sup> См.: *Он же*. Письмо П. К. Щербальскому. 22 апреля 1871 г. // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 10. С. 314—315.
- <sup>683</sup> См.: *Котов А. Э.* «Подвергнуть критике феодальную точку зрения»: Славянофильство и западничество П. К. Щербальского // *Котов А. Э.* Идеология бюрократического национализма в политической публицистике 1860—1890-х годов. СПб., 2016. С. 186—204.
- <sup>684</sup> См.: *Шляпкин И. А.* Указ. соч. С. 365.
- <sup>685</sup> Цит. по: *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 1. С. 408.
- <sup>686</sup> См.: *Горелов А. А.* Указ. соч. С. 186.
- <sup>687</sup> *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 509.
- <sup>688</sup> См.: *Твардовская В.* Идеология пореформенного самодержавия. М., 1978. С. 131; *Санькова С. М.* Государственный деятель без государственной должности: М. Н. Катков как идеолог государственного национализма: Историографический аспект. СПб., 2007.
- <sup>689</sup> *Катков М. Н.* Значение дворянства в русском государственном организме // *Московские ведомости*. 1874. № 217. 1 сентября.
- <sup>690</sup> *Он же*. Пушкин // *Русский вестник*. 1856. Т. 1. № 1.

<sup>691</sup> См.: *Лесков Н. С.* Письмо П. К. Щебальскому. 29 июля 1875 г. // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 10. С. 412; *Сементковский Р.* Михаил Катков: Его жизнь и литературная деятельность // *Воспоминания о Михаиле Каткове.* М., 2014. С. 547.

<sup>692</sup> *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 10. С. 396.

<sup>693</sup> Там же. С. 433.

<sup>694</sup> См.: *Трофимова Т. А.* «Положительное начало» в русской литературе XIX века («Русский вестник» М. Н. Каткова): Дис. ... канд. филол. наук. М., 2007.

<sup>695</sup> *Толстой Л. Н.* Письмо М. Н. Каткову. 21 декабря 1874 г. // *Толстой Л. Н.* Полное собрание сочинений: В 90 т. Т. 62. М., 1953. С. 128; *Он же.* Письмо М. Н. Каткову. 4 января 1874 г. // Там же. С. 132.

<sup>696</sup> См.: *Семенов С. Т.* Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом // *Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников:* В 2 т. М., 1960. Т. 1. С. 419.

<sup>697</sup> См.: *Ваненян С. С.* Катков Михаил Никифорович. М., 1992. С. 511.

<sup>698</sup> См.: *Соколов Н.* Неизвестная статья Н. Лескова о М. Каткове // *Русская литература.* 1960. № 3. С. 163.

<sup>699</sup> *Лесков Н. С.* На смерть М. Н. Каткова // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 163.

<sup>700</sup> *Он же.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 401.

<sup>701</sup> Там же. Т. 10. С. 412.

<sup>702</sup> Там же. С. 362.

<sup>703</sup> См.: *Он же.* Автобиографическая заметка. С. 17.

<sup>704</sup> См.: *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 64.

<sup>705</sup> РГАЛИ. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 249. Л. 4—5 об.

<sup>706</sup> Цит. по: *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 1. С. 410.

<sup>707</sup> См.: *Рейсер С. А.* Н. С. Лесков и народная книга // *Русская литература.* 1990. № 1. С. 192.

<sup>708</sup> Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф. 733. Оп. 120. № 512.

<sup>709</sup> *Лесков Н. С.* Письмо П. К. Щебальскому. 10 ноября 1875 г. // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 10. С. 431.

<sup>710</sup> См.: *Соколов А. А.* Н. С. Лесков (Стебницкий) // *Н. С. Лесков в воспоминаниях современников.* С. 297.

<sup>711</sup> См.: *Рейсер С. А.* Н. С. Лесков и народная книга. С. 183.

<sup>712</sup> *Лесков Н. С.* Письмо И. С. Аксакову. 1 марта 1875 г. // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 10. С. 383.

<sup>713</sup> Сборник мелких беллетристических произведений Н. С. Лескова-Стебницкого. СПб., 1873. С. 42.

<sup>714</sup> *Лесков Н. С.* Письмо И. С. Аксакову. 23 апреля 1875 г. // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 10. С. 397.

<sup>715</sup> Цит. по: *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 67.

<sup>716</sup> См.: *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 10. С. 399.

<sup>717</sup> Там же. С. 397.

<sup>718</sup> РО ИРЛИ. Р. III. Оп. 1. № 1393. Л. 1.

- <sup>719</sup> Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. Т. 1. С. 237.
- <sup>720</sup> Лесков Н. С. Письмо И. С. Аксакову. 29 июля (10 августа) 1875 г. // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 10. С. 415.
- <sup>721</sup> См.: Лесков Н. Иезуит Гагарин в деле Пушкина // Исторический вестник. 1886. № 8. С. 269—273; Абрамович С. Л. Пушкин в 1836 году. Л., 1984.
- <sup>722</sup> См.: Мильдон В. И., Основат А. Л. Гагарин Иван Сергеевич // Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. Т. 1. М., 1989. С. 509—510.
- <sup>723</sup> Лесков Н. С. Письмо И. С. Аксакову. 29 июля (10 августа) 1875 г. С. 418.
- <sup>724</sup> Там же. С. 418—419.
- <sup>725</sup> Он же. Собрание сочинений. Т. 10. С. 411—412.
- <sup>726</sup> РГАЛИ. Т. 275. Оп. 1. Ед. хр. 148. Л. 6 (машинописная копия письма Н. А. Лескова М. А. Матавкину от 18 (30) августа 1875 г.).
- <sup>727</sup> См.: Шляпкин И. А. Указ. соч. С. 363, 699.
- <sup>728</sup> Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 10. С. 426—427.
- <sup>729</sup> Там же. С. 432.
- <sup>730</sup> См.: Рецензии Н. С. Лескова в журнале Особого отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 13. С. 331—412; Чуднова Л. Г. Лесков в Министерстве народного просвещения. С. 534—592; Рейсер С. А. Н. С. Лесков и народная книга. С. 191.
- <sup>731</sup> Н. С. Лесков по воспоминаниям сына — А. Н. Лескова. С. 262—263.
- <sup>732</sup> Либрович С. Ф. В гостях у автора «Соборян» // Там же. С. 401.
- <sup>733</sup> См.: Макаревич О. В. Н. С. Лесков и книги «для народа»: К истории издания сборника «Зеркало жизни истинного ученика Христова» // Русская литература. 2018. № 4. С. 83—91.
- <sup>734</sup> Лесков Н. С. Модный враг Церкви: Общественная заметка (Спиритизм под взглядом наших духовных писателей) // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 7. С. 280.
- <sup>735</sup> Рецензии Н. С. Лескова в журнале Особого отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения. С. 554.
- <sup>736</sup> Там же. С. 558.
- <sup>737</sup> Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 13. С. 385.
- <sup>738</sup> Ибис [Розанов В. В.]. Университет в образовании писателей // Новое время. 1900. № 8710. 28 мая. С. 2.
- <sup>739</sup> Лесков Н. С. Таинственные книги // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 12. С. 333.
- <sup>740</sup> См.: Макаревич О. В. Н. С. Лесков и книги «для народа».
- <sup>741</sup> Лесков Н. С. Таинственные книги. С. 190.
- <sup>742</sup> Достоевский Ф. М. Опять только одно словцо о спиритизме // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Т. 22. Л., 1986. С. 127.
- <sup>743</sup> См.: Веницкий И. Ю. Душа в «закрытом» обществе: эпидемия столоверчения в России 1853—1855 годов // Новое лите-



ратурное обозрение. 2009. № 100. С. 734—745; *Vinitzky I. Ghostly Paradoxes: Modern Spiritualism and Russian Culture in the Age of Realism*. Toronto, 2009.

<sup>744</sup> См.: *Сведенборг Э.* О небесах, о мире духов и об аде / Пер. с лат. А. Аксакова. СПб., 2018; *Аксаков А. Н.* Евангелие по Сведенборгу: Пять глав Евангелия от Иоанна с излож[ением] и толкованием их духовного смысла по «науке о соответствиях». Лейпциг, 1870; *Он же.* Рационализм Сведенборга: Критическое исследование его учения о Священном Писании. Лейпциг, 1870; *Он же.* Книга Бытия по Сведенборгу. Лейпциг, 1870.

<sup>745</sup> См.: *Лесков Н. С.* Наблюдения и заметки // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 11. С. 346.

<sup>746</sup> См.: *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 37—38.

<sup>747</sup> См.: *Лесков Н. С.* Аллан Кардек, недавно умерший глава европейских спиритов // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 7. С. 262—263.

<sup>748</sup> См.: *Виницкий И.* Русские духи. С. 184—213.

<sup>749</sup> См.: *Лесков Н. С.* Модный враг Церкви. С. 273.

<sup>750</sup> *Он же.* Письмо П. К. Щербальскому. 24 марта 1876 г. // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 10. С. 448.

<sup>751</sup> *Он же.* Наблюдения и заметки // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 11. С. 341.

<sup>752</sup> См.: *Стасов В. В.* Из воспоминаний об И. С. Тургеневе // И. С. Тургенев в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1983. Т. 2. С. 103—104.

<sup>753</sup> См.: *Баталин И. А.* Из воспоминаний о Н. С. Лескове // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников. С. 315.

<sup>754</sup> См.: *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 360—361.

<sup>755</sup> Цит. по: *Оболенский Л. Е.* Литературные воспоминания и характеристики // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников. С. 381.

<sup>756</sup> См.: *Либрович С. Ф.* В литературном «почти-клубе» // Там же. С. 319—341.

<sup>757</sup> *Он же.* Писатель-чтец // Там же. С. 316.

<sup>758</sup> *Он же.* «Писателей надо уважать»: Страничка из воспоминаний об авторе «Соборян» // Там же. С. 342—343.

<sup>759</sup> *Лесков Н. С.* Русские общественные заметки // *Лесков Н. С.* Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 190.

<sup>760</sup> *Фаресов А. И.* Против течений. С. 142.

<sup>761</sup> *Авсеенко В. Г.* Указ. соч. С. 347—348.

<sup>762</sup> Цит. по: *Бальмонт К. Д.* Издатель у Лескова // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников. С. 484.

<sup>763</sup> См.: *Хирьякова Е. Д.* Указ. соч. С. 448.

<sup>764</sup> Цит. по: *Либрович С.* Как жил и работал автор «Соборян» // Там же. С. 393.

<sup>765</sup> Цит. по: *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 1. С. 362.

<sup>766</sup> Там же. Т. 2. С. 98.

<sup>767</sup> Цит. по: *Левандовский Л. И.* Письма Н. М. Бубнова как источник знакомства с жизнью Лескова в Петербурге (1880-е годы) // *Неизданный Лесков*. Кн. 2. С. 347.

<sup>768</sup> Цит. по: Там же. С. 350.

<sup>769</sup> Цит. по: *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 80.

<sup>770</sup> Там же. С. 86.

<sup>771</sup> Цит. по: *Левандовский Л. И.* Письма Н. М. Бубнова как источник знакомства с жизнью Лескова в Петербурге. С. 350.

<sup>772</sup> *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 531.

<sup>773</sup> Цит. по: *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 71.

<sup>774</sup> Там же. С. 88.

<sup>775</sup> Там же. С. 92.

<sup>776</sup> *Лесков Н. С.* Житие одной бабы. С. 384.

<sup>777</sup> См.: *Он же.* О сечении розгами родителей // *Неизданный Лесков*. Кн. 2. С. 111—113.

<sup>778</sup> См.: *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 290—293; *Виноградов В. В.* Достоевский и Лесков в 70-е годы XIX века // *Виноградов В. В.* Проблема авторства и теория стилей. М., 1961. С. 487—555; *Пульхритудова Е. М.* Достоевский и Лесков (к истории творческих взаимоотношений) // *Достоевский и русские писатели*. М., 1971. С. 87—138; *Богаевская К. П.* Н. С. Лесков о Достоевском (1880-е годы) // *Литературное наследство*. Т. 86. Ф. М. Достоевский. М., 1973. С. 606—620; *Власкин А. П.* Заочный диалог Н. С. Лескова и Ф. М. Достоевского по проблемам религиозности и народной культуры // *Русская литература*. 2003. № 1. С. 16—48.

<sup>779</sup> См.: *Лесков Н. С.* По поводу «Крейцеровой сонаты» // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 32.

<sup>780</sup> См.: *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 99, 519.

<sup>781</sup> *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 249—250.

<sup>782</sup> См.: *Он же.* Письмо Ф. М. Достоевскому. Январь 1865 г. // Там же. Т. 10. С. 255; *Он же.* Письмо Ф. М. Достоевскому. 3 июля 1865 г. // Там же. С. 257.

<sup>783</sup> См.: Н. С. Лесков по воспоминаниям сына — А. Н. Лескова. С. 269.

<sup>784</sup> Цит. по: *Фаресов А. И.* Против течений. С. 200.

<sup>785</sup> *Достоевский Ф. М.* Дневник писателя. С. 77—91.

<sup>786</sup> Цит. по: *Фаресов А. И.* Против течений. С. 153.

<sup>787</sup> *Лесков Н. С.* О литературе и искусстве / Вступ. ст. И. В. Столяровой; коммент. А. А. Шелаевой. Л., 1984. С. 116.

<sup>788</sup> Цит. по: *Богаевская К. П.* Указ. соч. С. 611.

<sup>789</sup> *Лесков Н. С.* О куфельном мужике и проч. С. 150.

<sup>790</sup> *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 138—140.

<sup>791</sup> *Дмитриева В. И.* Мартовские дни // 1 марта 1881 г. Казнь императора Александра II: Документы и воспоминания. Л., 1931. С. 141.

<sup>792</sup> *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 141.

<sup>793</sup> Цит. по: Там же. С. 146.

- <sup>794</sup> Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 11. С. 251.
- <sup>795</sup> Он же. Неприятности русской либеральной партии — Люди, чересчур смелые, и люди, чересчур робкие. — По два слова тем и другим // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 633.
- <sup>796</sup> Столярова И. В. Лесков и Россия // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 61.
- <sup>797</sup> См.: Сафронова Ю. Русское общество в зеркале революционного террора. М., 2014.
- <sup>798</sup> Государство Российское: Власть и общество: С древнейших времен до наших дней: Сборник документов / Под ред. Ю. С. Кукушкина. М., 1996. С. 234.
- <sup>799</sup> Цит. по: Бухштаб Б. Я. Указ. соч. С. 499—500.
- <sup>800</sup> См.: Аннинский Л. А. Зачем «Левша» ковал «блоху»? // Аннинский Л. А. Три еретика. М., 1988. С. 310.
- <sup>801</sup> См.: Русь. 1881. № 49. 17 октября; № 50. 24 октября; № 51. 31 октября.
- <sup>802</sup> См.: Ранчин А. «Левша» Лескова и русская национальная мифология // Россия XXI. 2018. № 3. С. 114—141.
- <sup>803</sup> Цит. по: Бухштаб Б. Я. Указ. соч. С. 499.
- <sup>804</sup> См.: Он же. Об источниках «Левши» Лескова // Библиографические разыскания по русской литературе XIX в. М., 1966. С. 138.
- <sup>805</sup> См.: Он же. Комментарии // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 7. С. 498—504.
- <sup>806</sup> Вестник Европы. 1882. № 7. Обложка, четвертая сторона.
- <sup>807</sup> Цит. по: Бухштаб Б. Я. Комментарии. С. 501.
- <sup>808</sup> Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 103.
- <sup>809</sup> Лесков Н. С. Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе) // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 7. С. 58.
- <sup>810</sup> См.: Зыбин С. Происхождение оружейничьей легенды о тульском косом Левше и о стальной блохе // Оружейный сборник. 1905. № 1. Отд. 2. С. 1—58.
- <sup>811</sup> См.: Литвин Э. С. Фольклорные источники «Сказа о тульском косом Левше и о стальной блохе» Н. С. Лескова // Русский фольклор: Материалы и исследования. М.; Л., 1956. Т. 1. С. 125—134.
- <sup>812</sup> См.: Бухштаб Б. Я. Об источниках «Левши» Н. С. Лескова // Литературоведческие исследования. М., 1982. С. 72—101.
- <sup>813</sup> См.: Бертолотто Г. История блохи, содержащая в себе весьма любопытные наблюдения над сим насекомым. М., 1839; Даниэл М. Тайные тропы носителей смерти / Пер. с чеш. М., 1990. С. 86—96.
- <sup>814</sup> Бертолотто Г. Указ. соч. С. 9.
- <sup>815</sup> Цит. по: Даниэл М. Указ. соч. С. 86.
- <sup>816</sup> См.: Неклюдов С. Ю. Черненькое, маленькое, царя шевелит // Живая старина. 2005. № 4 (48). С. 32—36.
- <sup>817</sup> См.: Лесков Н. С. Религиозные обряды евреев // Петербургская газета. 1880. № 244, 245, 252, 254, 255; 1881. № 1, 8, 14, 20, 26, 38.

<sup>818</sup> См.: *Арсеньев А. В.* Старинные дела об оскорблении величества: Очерки из нравов XVIII в. 1701—1797 гг. // Исторический вестник. 1881. Т. 4. С. 580—601; *Булгаков Ф. И.* Общественное брожение и русская школа // Там же. С. 858—865; *Сафронова Ю.* Указ. соч. С. 109—151.

<sup>819</sup> *Миллер О. Ф.* Ужасная логика (1 марта 1881 г.) // Исторический вестник. 1881. Т. 4 (январь—апрель). С. 854.

<sup>820</sup> *Лесков Н. С.* Печерские антики. С. 177.

<sup>821</sup> См.: Сборник морских статей и рассказов: Приложения к журналу «Яхта. Листок для любителей морского дела». 1877. Февраль. С. 65—77; Март. С. 113—126.

<sup>822</sup> См.: *Маркадэ Ж. К.* Указ. соч. С. 363. См. также письма Лескова переводчику К. А. Гreve: *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 395, 400, 405.

<sup>823</sup> Английский табор. СПб., 1855. С. 3.

<sup>824</sup> Английские песни на русский лад. СПб., 1855. С. 7.

<sup>825</sup> Англичане и с русским петухом не сладили, или Бухта Колинги. СПб., 1854. С. 7.

<sup>826</sup> *Алферьев П.* На нынешнюю войну // Северная пчела. 1854. № 37. С. 7—8.

<sup>827</sup> Цит. по: *Орлов А. А.* «Теперь я вижу англичан вблизи...»: Британия и британцы в представлениях россиян о мире и о себе (вторая половина XVIII — первая половина XIX в.). М., 2008. С. 171.

<sup>828</sup> *Лесков Н. С.* Левша. С. 53.

<sup>829</sup> См.: Собрание песен, военных куплетов, сказок, басен и стихов про турок, англичан и французов. Выражающие чувства русских за веру, царя и отечество, в войну настоящего времени. М., 1854.

<sup>830</sup> *Лесков Н. С.* Герои Отечественной войны по гр[афу] Л. Н. Толстому // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 10. С. 108.

<sup>831</sup> См.: *Кочуков С. А.* Русско-турецкая война 1877—1878 гг. в поэтической публицистике // Известия Саратовского университета: Новая серия. Серия «История. Международные отношения». Т. 14. Вып. 1. Саратов, 2014. С. 17—24; *Золотарев В. А.* Противоборство империй: Война 1877—1878 гг. — апофеоз восточного кризиса. М., 2005. С. 12; *Brooks J.* When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861—1917. Princeton, 2003. P. 215.

<sup>832</sup> *Федотова А. А.* «Трудный рост». С. 124.

<sup>833</sup> *Лесков Н. С.* Левша. С. 36.

<sup>834</sup> *Иванов В. В.* Левый и правый // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. Т. 2. М., 1988. С. 44.

<sup>835</sup> *Лесков Н. С.* О русском левше (Литературное объяснение) // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 220.

<sup>836</sup> *Он же.* Левша. С. 55.

<sup>837</sup> Там же. С. 50.

<sup>838</sup> Там же. С. 58.

<sup>839</sup> Бубнов Н. М. Письмо Е. С. Бубновой. 26 ноября 1881 г. // Неизданный Лесков. Кн. 2. С. 343.

<sup>840</sup> Он же. Письмо В. М. Бубновой. 30 мая 1882 г. // Там же. С. 344.

<sup>841</sup> Он же. Письмо Н. С. Лескову. 29 апреля 1883 г. // Там же. С. 345—346.

<sup>842</sup> Цит. по: Маркаде Ж. К. 63 письма Н. С. Лескова // *Revue des Études Slaves*. 1986. Vol. 58. F. 3. P. 436.

<sup>843</sup> Цит. по: Ibid. P. 437.

<sup>844</sup> Цит. по: Ibid. P. 441.

<sup>845</sup> См.: Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. Т. 1. С. 332.

<sup>846</sup> Цит. по: Там же. С. 340.

<sup>847</sup> Там же. Т. 2. С. 305.

<sup>848</sup> Авсеенко В. Г. Указ. соч. С. 347.

<sup>849</sup> См.: Лесков Н. С. Письмо Ф. А. Терновскому. 12 марта 1883 г. // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 11. С. 275.

<sup>850</sup> Он же. Письмо в редакцию. 8 марта 1883 г. // Там же. С. 221.

<sup>851</sup> Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 198.

<sup>852</sup> См., например: Федоров-Омулевский И. В. Осторожный художник (очерк из мира забытых талантов) // Художественный журнал. 1882. Т. 3. № 4, 5; Он же. Слепой художник // Там же. № 3; Фозерджил Д. Художница // Там же. 1883. Т. 5; Немирович-Данченко В. И. Русскому художнику // Художественный журнал. 1882. № 4.

<sup>853</sup> Лесков Н. С. Тупейный художник: Рассказ на могиле // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 7. С. 242.

<sup>854</sup> Цит. по: Н. С. Лесков: Из творческих рукописей (незавершенные произведения) / Вступ. ст. и публ. К. П. Богаевской // Литературное наследство. Т. 87. Из истории русской литературы и общественной мысли. 1860—1890-е гг. М., 1977. С. 36.

<sup>855</sup> Там же. С. 49.

<sup>856</sup> См.: Кучерская М. А., Лифшиц А. Л. Феатр Лескова.

<sup>857</sup> См.: Гурий Эртаулов [Бурнашев В. П.]. Воспоминания о некогда знаменитом театре графа С. М. Каменского в г. Орле // Дело. 1873. № 6. С. 184—219.

<sup>858</sup> Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 11. С. 431.

<sup>859</sup> Он же. Чёртовы куклы (главы из неоконченного романа) // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 8. С. 538.

<sup>860</sup> Кюстин А. де. Россия в 1839 году: В 2 т. М., 2000. Т. 1. С. 442. См. также: Шелаева А. А. Творческая история романа Н. С. Лескова // Лесков Н. С. Чёртовы куклы / Подг. А. А. Шелаева. СПб., 2015. С. 291.

<sup>861</sup> См.: Лесков Н. С. Письмо В. А. Гольцеву. 11 мая 1891 г. // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 11. С. 488.

<sup>862</sup> См.: Лесков Н. С. Чёртовы куклы. СПб., 2015.

<sup>863</sup> Там же. С. 47.

<sup>864</sup> См.: Маркадэ Ж. К. Указ. соч. С. 165.

<sup>865</sup> Фаресов А. И. Против течений. С. 37.

- <sup>866</sup> Ясинский И. И. Н. С. Лесков. С. 432.
- <sup>867</sup> Подробнее см.: Лесков Н. С. Иродова работа: Русские картины, наблюдения, опыты и заметки. Историко-публицистические очерки по Прибалтийскому вопросу. 1882—1885 / Вступ. ст., сост., подг. текста и коммент. А. П. Дмитриева. СПб., 2010.
- <sup>868</sup> См.: Он же. Живые растения. Астры-кометы и Помпон // Неизданный Лесков. Кн. 2. С. 575—577.
- <sup>869</sup> См.: Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 226.
- <sup>870</sup> См.: Лесков Н. С. Авторское признание. С. 229.
- <sup>871</sup> Он же. Письмо Г. Л. Кравцову. 28 декабря 1884 г. С. 219.
- <sup>872</sup> См.: Старыгина Н. В. Творчество Лескова в 1880-е—1890-е годы: неосуществленные замыслы // Неизданный Лесков. Кн. 2. С. 382—398.
- <sup>873</sup> Центральный московский архив-музей личных собраний. Ф. 202. Ед. хр. 33. Л. 1 об.
- <sup>874</sup> См.: Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 256—257.
- <sup>875</sup> Цит. по: Шелаева А. А. История воспитанницы Н. С. Лескова Вари Долиной по его письмам к ее матери Е. А. Кукк // Русская литература. 1991. № 3. С. 104.
- <sup>876</sup> См.: Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 258; Левандовский Л. И. Письма Н. М. Бубнова как источник знакомства с жизнью Лескова в Петербурге. С. 348.
- <sup>877</sup> Цит. по: Шелаева А. А. История воспитанницы Н. С. Лескова Вари Долиной по его письмам к ее матери Е. А. Кукк. С. 105.
- <sup>878</sup> Цит. по: Левандовский Л. И. Письма Н. М. Бубнова как источник знакомства с жизнью Лескова в Петербурге. С. 348.
- <sup>879</sup> См.: Дюнина К. А. Краткое повествование о долгой жизни семьи Дюниных // Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 919.
- <sup>880</sup> Цит. по: Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 264.
- <sup>881</sup> Цит. по: Барт Ф. Г. де ла. Литературный кружок 90-х годов // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников. С. 443—444. См. также: Лесков Н. С. Печерские антики. С. 199—200.
- <sup>882</sup> Дубнов С. М. Книга жизни // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников. С. 379.
- <sup>883</sup> Цит. по: Рейсер С. А. Примечания // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 6. С. 641—643.
- <sup>884</sup> См.: Трофимова Т. А. Указ. соч. С. 47—89.
- <sup>885</sup> [Катков М. Н.] Кое-что о прогрессе // Русский вестник. 1861. Т. 35. № 10. С. 108.
- <sup>886</sup> Михайловский Н. К. Впережку (Фантазия, действительность, воспоминания, предсказания) // Отечественные записки. 1876. № 5. Отд. III. С. 210.
- <sup>887</sup> См.: Хализев В., Майорова О. Праведники Лескова // В мире Н. С. Лескова. М., 1983; Майорова О. Е. Рассказ Н. С. Лескова «Несмертельный Голован» и житийные традиции // Русская литература. 1987. № 3. С. 170—179; Евдокимова О. В. Живописание в структуре произведений Н. С. Лескова // Евдокимова О. В.

Русская литература и изобразительное искусство XVIII — начала XX века. Л., 1988. С. 184—202; *Косых Г. А.* Праведность и праведники в творчестве Н. С. Лескова 1870-х годов: Дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 1999.

<sup>888</sup> *Лесков Н. С.* О героях и праведниках // Церковно-общественный вестник. 1881. № 129. 28 октября.

<sup>889</sup> Цит. по: *Батюто А. И.* Примечания // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 582—583.

<sup>890</sup> *Мережковский Д. С.* О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы // *Мережковский Д. С.* Л. Толстой и Достоевский: Вечные спутники. М., 1995. С. 554. См. также: *Пильд Л. Н.* С. Лесков в оценке Мережковских // Блоковский сборник. Вып. 15. Русский символизм в литературном контексте рубежа XIX—XX вв. Тарту, 2000. С. 76—89.

<sup>891</sup> См.: *Гиппиус З.* Далекая единственная встреча // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников. С. 483.

<sup>892</sup> Цит. по: *Фаресов А. И.* Против течений. С. 204, 206.

<sup>893</sup> *Лесков Н. С.* Гора // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 373.

<sup>894</sup> *Протопопов М. А.* Большой талант // Русская мысль. 1891. № 12. С. 265, 276.

<sup>895</sup> См.: *Розанова С. А.* Лесков и семья Толстого // Неизданный Лесков. Кн. 2. С. 351—372.

<sup>896</sup> *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 344—345.

<sup>897</sup> *Он же.* Герои Отечественной войны по гр[афу] Л. Н. Толстому. С. 101.

<sup>898</sup> *Он же.* Русские общественные заметки // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 10. С. 90.

<sup>899</sup> *Он же.* Письмо И. С. Аксакову. 23 марта 1875 г. // Там же. С. 389.

<sup>900</sup> См.: *Он же.* Письмо И. С. Аксакову. 6 апреля 1875 г. // Там же. С. 395.

<sup>901</sup> См., например: *Он же.* Лучший богомолец // Новости и Биржевая газета. 1886. 22 апреля.

<sup>902</sup> См.: *Архангельская Т. Н.* Поздний Лесков в восприятии Толстого (по материалам яснополянской библиотеки) // Неизданный Лесков. Кн. 2. С. 415—426.

<sup>903</sup> *Толстой Л. Н.* Полное собрание сочинений. Т. 86. М., 2006. С. 18.

<sup>904</sup> См.: «Совестный Данила и Прекрасная Аза»: Две легенды по старинному прологу, составлены Н. С. Лесковым. М., 1889; Лев старца Герасима: Восточная легенда с рис. И. Е. Репина. Повесть о богоугодном дровоколе (по старинному прологу) Н. С. Лескова. М., 1890.

<sup>905</sup> *Толстой Л. Н.* Полное собрание сочинений. Т. 86. С. 49.

<sup>906</sup> *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 569.

<sup>907</sup> *Он же.* Письмо Л. Н. Толстому. 18 мая 1889 г. // Там же. С. 429.

- <sup>908</sup> Лесков Н. С. Письмо Л. И. Веселитской. 1 июня 1893 г. // Собрание сочинений. Т. 11. С. 534.
- <sup>909</sup> Цит. по: Фаресов А. И. Против течений. С. 168.
- <sup>910</sup> Лесков Н. С. Письмо Л. Н. Толстому. 4 января 1893 г. // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 11. С. 519—520.
- <sup>911</sup> Он же. Письмо Л. Н. Толстому. 23 июля 1888 г. // Там же. С. 392.
- <sup>912</sup> См.: Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. Т. 1. С. 410.
- <sup>913</sup> Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 51. М., 1952. С. 104.
- <sup>914</sup> Там же. Т. 65. М., 1953. С. 229.
- <sup>915</sup> См.: Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 410.
- <sup>916</sup> Цит. по: Там же. С. 263.
- <sup>917</sup> Лесков Н. С. Письмо Л. Н. Толстому. 12 июля 1891 г. // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 11. С. 494.
- <sup>918</sup> Гудзий Н. К. Толстой и Лесков // Искусство. 1928. № 1/2. С. 98.
- <sup>919</sup> Толстой Л. Н. Письмо Н. С. Лескову от 8 апреля 1894 г. // Толстой Л. Н. Собрание сочинений. Т. 19. С. 289.
- <sup>920</sup> Лесков Н. С. Письмо Л. Н. Толстому. 4 января 1893 г. // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 11. С. 519.
- <sup>921</sup> Цит. по: Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 412.
- <sup>922</sup> Цит. по: Майорова О. Е. К истории пожизненного диалога. С. 81.
- <sup>923</sup> Цит. по: Фаресов А. И. Против течений. С. 59.
- <sup>924</sup> Цит. по: Там же. С. 69.
- <sup>925</sup> Цит. по: Протопопов В. В. Указ. соч. С. 605.
- <sup>926</sup> Цит. по: Фаресов А. И. Против течений. С. 171.
- <sup>927</sup> Цит. по: Туниманов В. А. Лесков и Лев Толстой // Лесков и русская литература. С. 185.
- <sup>928</sup> Толстой Л. Н. Собрание сочинений. Т. 21. М., 1984. С. 421.
- <sup>929</sup> Лесков Н. С. Час воли Божией (сказка) // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 9. С. 14.
- <sup>930</sup> Там же. С. 27.
- <sup>931</sup> Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 65. С. 198.
- <sup>932</sup> Переписка Н. С. Лескова с Л. Н. Толстым. М., 2014. С. 11.
- <sup>933</sup> Толстой Л. Н. Собрание сочинений. Т. 22. М., 1985. С. 90.
- <sup>934</sup> См.: Петербургская газета. 1890. № 354. 15 декабря.
- <sup>935</sup> Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 87. М., 1937. С. 68.
- <sup>936</sup> Там же. Т. 65. С. 235.
- <sup>937</sup> Лесков Н. С. Под Рождество обидели // Лесков Н. С. Сочинения: В 3 т. М., 1988. Т. 3. С. 205.
- <sup>938</sup> Он же. Письмо Л. Н. Толстому. 8 января 1891 г. // Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 11. С. 475.
- <sup>939</sup> Письмо Н. С. Лескова Л. Н. Толстому от 18 мая 1894 г. // Письма Толстого и к Толстому. Л., 1928. С. 167.
- <sup>940</sup> См.: Туниманов В. А. Указ. соч. С. 195.



<sup>941</sup> См.: *Булгаков В. Ф.* О Толстом: Воспоминания и рассказы. Тула, 1978. С. 320—321.

<sup>942</sup> См.: *Алексеева Т. А.* Лесков в «Петербургской газете» (1879—1895) // *Неизданный Лесков*. Кн. 2. С. 205.

<sup>943</sup> *Лесков Н. С.* Письмо Л. Н. Толстому. 4 января 1891 г. // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 472.

<sup>944</sup> См.: *Черемисина К. А.* Публицистика Н. С. Лескова как художественная система: Дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2013. С. 137.

<sup>945</sup> Цит. по: *Лесков Н. С.* Старых баб философия, или Изъяснение необыкновенных приключений в природе и жизни человеческой // *Неизданный Лесков*. Кн. 2. С. 226—227.

<sup>946</sup> См., например: *Он же.* Русские силачи в современном роде // *Петербургская газета*. 1882. № 238.

<sup>947</sup> См.: *Алексеева Т. А.* Указ. соч. С. 204—251.

<sup>948</sup> См.: *Лесков Н. С.* Из жизни // *Петербургская газета*. 1882. № 27.

<sup>949</sup> См.: *Он же.* Повторение Лизаветы Воробей // Там же. 1883. № 299.

<sup>950</sup> См., например: *Он же.* Религиозные обряды евреев; *Он же.* Обряды и суеверия евреев // *Петербургская газета*. 1881. № 68; *Он же.* У евреев // Там же. 1884. № 251; *Он же.* Еврейская грация (Вербный день у евреев) // Там же. № 265; *Он же.* Радостный день у евреев (Последний праздник осени) // Там же. № 268; *Он же.* Религиозная иллюминация у евреев // Там же. № 348; *Он же.* Новозаветные евреи // Там же. 1885. № 4.

<sup>951</sup> См.: *Он же.* Об опасном человеке // Там же. 1884. № 341; *Он же.* Где ты? // Там же. № 343; *Он же.* Уймись волнения страсти // Там же. № 349; *Он же.* К сведению больших газет // Там же. № 353; *Он же.* Он или она? // Там же. № 356; *Он же.* Занимательная особа в сумасшедшем доме // Там же. № 358; *Он же.* О пропаже психопатки Семеновой // Там же. 1885. № 250; *Он же.* Еще о психопатке // Там же. № 251; *Он же.* История с Семеновой // Там же. 1885. № 255.

<sup>952</sup> См.: *Он же.* Необходимость праздничного отдыха для детей // Там же. № 12; *Он же.* Еще о детях // Там же. № 53; *Он же.* Об образке загубленного ребенка // Там же. № 57; *Он же.* Образок-обличитель // Там же. № 255; *Он же.* Незаконнорожденные дети // Там же. № 159; *Он же.* Брошенные на улицу // Там же. № 266.

<sup>953</sup> См.: *Он же.* Печальная грамотка о маленькой Лиде // Новое время. 1885. № 3497; *Он же.* Ответ анониму // Там же. № 3500; *Он же.* Письмо в редакцию // Там же. № 3514; *Он же.* Мирская лепта для маленькой Лиды // Там же. № 3521.

<sup>954</sup> См.: *Он же.* Письмо А. С. Суворину. Ноябрь 1885 г. // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 305.

<sup>955</sup> См.: *Он же.* Добавки праздничных историй // *Неизданный Лесков*. Кн. 2. С. 247—251.

- <sup>956</sup> Боговедение баснописца // В мире Лескова. С. 365.
- <sup>957</sup> Цит. по: *Протопопов В. В.* Указ. соч. С. 605.
- <sup>958</sup> См.: *Лесков Н. С.* Письмо А. С. Суворину. 14 мая 1887 г. // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 342.
- <sup>959</sup> См.: *Он же.* Письмо в редакцию. Об обеде Н. С. Лескову // Там же. С. 228; *Он же.* Авторское признание. С. 229—231; *Он же.* Товарищеский подарок (письмо в редакцию) // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 238—239; *Он же.* Дружеская просьба (письмо в редакцию) // Там же. С. 244.
- <sup>960</sup> См.: *Он же.* Юбилейные школьничества // РГАЛИ. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 95; *Он же.* Юбилей и тризны // Там же. Ед. хр. 86; *Он же.* О юбилейном посилье // *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 1. С. 295—297; *Он же.* «О юбилее Л. Н. Толстого» // Огонек. 1956. № 9.
- <sup>961</sup> См.: *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 381.
- <sup>962</sup> Цит. по: *Рейсер С. А.* Примечания. С. 667.
- <sup>963</sup> *Лесков Н. С.* Некуда. С. 327—328.
- <sup>964</sup> Цит. по: *Айзеншток И. Я.* Примечания // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 668.
- <sup>965</sup> Цит. по: Там же.
- <sup>966</sup> См.: *Либрович С. Ф.* В гостях у автора «Соборян». С. 398—399.
- <sup>967</sup> Письмо Л. Н. Толстому от 12 января 1893 г. // Переписка Н. С. Лескова с Л. Н. Толстым. С. 41.
- <sup>968</sup> *Лесков Н. С.* Письмо А. С. Суворину. 9 декабря 1889 г. // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 447.
- <sup>969</sup> См.: *Гроссман Л. П.* Указ. соч. С. 202.
- <sup>970</sup> См.: *McLean Н.* Op.cit. Р. 634; *Виницкий И. В.* Духовный карцер: Н. С. Лесков и палата № 6 // Вопросы литературы. 2006. № 4. С. 310—322; *Шелаева А. А.* Н. С. Лесков в жизни и творчестве А. П. Чехова: к вопросу о литературном геноме А. П. Чехова // Русская литература и журналистика в движении времени: Ежегодник. М., 2017. С. 202—215.
- <sup>971</sup> *Чехов А. П.* Полное собрание сочинений и писем. Письма. Т. 1. С. 88.
- <sup>972</sup> См.: *Фидлер Ф. Ф.* Указ. соч. С. 488.
- <sup>973</sup> См.: *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 109—130.
- <sup>974</sup> См.: *Ковалова А. О.* Внучка Лескова и дореволюционное кино // Киноведческие записки. 2011. № 98. С. 41—51.
- <sup>975</sup> *Маркаде Ж. К.* 63 письма Н. С. Лескова. С. 469.
- <sup>976</sup> Там же. С. 484.
- <sup>977</sup> *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 488.
- <sup>978</sup> См.: *Мейлах М.* Эвтерпа, ты?: Художественные заметки. Беседы с артистами русской эмиграции. В 2 т. Т. 1. Балет. М., 2008. С. 107—116.
- <sup>979</sup> *Чехов А. П.* Письмо Немировичу-Данченко Вл. И. 29 января 1899 г. // *Чехов А. П.* Полное собрание сочинений и писем. Письма. Т. 8. М., 1980. С. 58.

<sup>980</sup> Цит. по: *Иванов В. С.* Часовые советских границ: Краткий очерк истории пограничных войск СССР. М., 1983. С. 38—39.

<sup>981</sup> См.: *Симаков Г., Степанов Е.* Опытный штабист, специалист пограничного дела: К 140-летию А. Н. Лескова // *Вестник границы России*. 2007. № 3 (134). С. 79.

<sup>982</sup> См.: *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 505.

<sup>983</sup> Цит. по: *Айзеншток И. Я.* Примечания // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 772—773.

<sup>984</sup> См.: *Розанова С. Микулич В.* // *Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь*. Т. 4. М., 1999. С. 50.

<sup>985</sup> *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 526.

<sup>986</sup> *Микулич В.* [*Веселитская Л. И.*] Мимочка: Очерк. СПб., 1892. С. 22, 41.

<sup>987</sup> *Толстой Л. Н.* Полное собрание сочинений. Т. 66. М., 1953. С. 323.

<sup>988</sup> *Толстой Л. Л.* Опыт моей жизни. М., 2014. С. 54.

<sup>989</sup> Цит. по: *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 385, 388.

<sup>990</sup> *Веселитская Л. И.* Письма Н. С. Лескова // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников. С. 513—514.

<sup>991</sup> *Лесков Н. С.* Письмо Л. И. Веселитской. 11 января 1893 г. // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 522—523.

<sup>992</sup> Цит. по: *Хирьяков А. М.* Отрывки из воспоминаний. Н. С. Лесков // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников. С. 463.

<sup>993</sup> *Лесков Н. С.* Письмо Л. И. Веселитской. 8 июня 1893 г. // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 11. С. 535—536.

<sup>994</sup> Неизданный Лесков. Кн. 2. С. 390.

<sup>995</sup> Цит. по: *Веселитская Л. И.* Письма Н. С. Лескова. С. 533.

<sup>996</sup> Там же. С. 539.

<sup>997</sup> Цит. по: *И. Л. Икс* [*Амфитеатров А.*]. Николай Семенович Лесков // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников. С. 710.

<sup>998</sup> *Веселитская Л. И.* Письма Н. С. Лескова. С. 544—545.

<sup>999</sup> Там же. С. 548.

<sup>1000</sup> См.: РО ИРЛИ. Ф. 44; РГАЛИ. Ф. 101.

<sup>1001</sup> *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 10. С. 395.

<sup>1002</sup> *Он же.* Письмо в редакцию. 10 марта 1883 г. С. 222.

<sup>1003</sup> Неизданный Лесков. Кн. 1. С. 423—424.

<sup>1004</sup> *Лесков Н. С.* Загон. С. 356.

<sup>1005</sup> См.: *Груздев А. И., Груздева С. И.* Примечания // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 605—606.

<sup>1006</sup> Цит. по: *Фаресов А. И.* Против течений. С. 153.

<sup>1007</sup> См.: *Груздев А. И., Груздева С. И.* Указ. соч. С. 606.

<sup>1008</sup> См.: *Бухштаб Б. Я.* Тайнопись позднего Лескова (Рассказ «Зимний день») // *Бухштаб Б. Я.* Фет и другие: Избранные работы. СПб., 2000. С. 239—252.

<sup>1009</sup> Цит. по: *Фаресов А. И.* Против течений. С. 200—201.

<sup>1010</sup> Цит. по: *Соболев Л. И.* Комментарии // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников / Сост., подгот. текста, коммент. Л. И. Соболева, Л. С. Даниловой, В. В. Соминой; предисл. А. М. Ранчина. М., 2018. С. 676—677.

<sup>1011</sup> *Чехов А. П.* Письмо Суворину А. С. 11 марта 1892 г. // *Чехов А. П.* Полное собрание сочинений и писем. Письма. Т. 5. М., 1977. С. 21—22.

<sup>1012</sup> См.: *Лесков Н. С.* Письмо С. Н. Шубинскому. 26 декабря 1885 г. // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 10. С. 305; *Он же.* Письмо А. С. Суворину. 28 декабря 1885 г. // Там же. С. 305—308.

<sup>1013</sup> *Волынский А. Н.* С. Лесков // Северный вестник. 1897. № 3. С. 272—273.

<sup>1014</sup> Цит. по: *Шляпкин И. А.* Указ. соч. С. 364.

<sup>1015</sup> *Лесков Н. С.* Заячий ремиз. Наблюдения, опыты и приключения Оноприя Перегуда из Перегудов // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 588.

<sup>1016</sup> Там же. С. 591.

<sup>1017</sup> См.: *Sperre Ch. I.* The Organic Worldview of Nikolai Leskov. Northwestern University Press, Evanston, IL, 2002. P. 195—198.

<sup>1018</sup> *McLean H.* Op. cit. P. 634.

<sup>1019</sup> См.: *Левандовский Л. И.* К творческой истории повести «Заячий ремиз» // Русская литература. 1971. № 4; *Анкудинова О. В.* Сюжетно-композиционное своеобразие повести Н. С. Лескова «Заячий ремиз» // Научные труды Курского государственного педагогического института. Т. 213. Творчество Н. С. Лескова. Курск, 1980. С. 24—40; *Она же.* К вопросу о поэтике повести Н. С. Лескова «Заячий ремиз» // Русская литература. 1981. № 3. С. 150—153.

<sup>1020</sup> *Хлебников В.* Лебедя будущего // *Хлебников В.* Собрание произведений: В 5 т. Т. 3. Л., 1931. С. 68—69. См. также: *Сазонова Л. И.* Память культуры: Наследие Средневековья и барокко в русской литературе Нового времени. М., 2012. С. 383—389.

<sup>1021</sup> См.: *Аверинцев С. С.* Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. С. 207.

<sup>1022</sup> См.: *Сазонова Л. И.* Память культуры. С. 387.

<sup>1023</sup> См.: *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 187.

<sup>1024</sup> См.: *Фаресов А. И.* Против течений. С. 86—90.

<sup>1025</sup> См.: *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 222—223.

<sup>1026</sup> Цит. по: Там же. С. 492—493.

<sup>1027</sup> *Смирнова-Сазонова С. И.* Указ. соч. С. 377.

<sup>1028</sup> См.: *Борхсениус Е. И.* Мои воспоминания о Николае Семёновиче Лескове // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников. С. 496.

<sup>1029</sup> Письмо Н. С. Лескова А. Н. Лескову от 12 июня 1884 г. // *Маркаде Ж. К.* 63 письма Н. С. Лескова. С. 437.

<sup>1030</sup> См.: Н. С. Лесков по воспоминаниям сына // Вестник литературы. 1919. № 4/5—7. Впоследствии воспоминания

А. Н. Лескова были перепечатаны в сборнике «Воспоминания о Н. С. Лескове».

<sup>1031</sup> Симаков Г., Степанов Е. Указ. соч. С. 80.

<sup>1032</sup> РГАЛИ. Ф. 1527. Оп. 1. Ед. хр. 473. Л. 6.

<sup>1033</sup> См.: Н. С. Лесков в пространстве современной филологической мысли. М., 2010. С. 131—146.

<sup>1034</sup> Воспоминания о Н. С. Лескове. С. 272.

<sup>1035</sup> См.: Н. С. Лесков в пространстве современной филологической мысли. С. 131—132.

<sup>1036</sup> См.: Горелов А. Единственная книга Андрея Лескова // Звезда. 1983. № 7. С. 160—165.

<sup>1037</sup> Горький М. Собрание сочинений: В 30 т. Т. 30. М., 1956. С. 582.

<sup>1038</sup> См.: РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 2. Ед. хр. 589. Л. 1 (письмо А. Н. Лескова С. Н. Дурылину от 24 мая 1946 г.).

<sup>1039</sup> Узилевский А. Н. Дом книги: Записки издателя. Л., 1990. С. 30.

<sup>1040</sup> РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 2. Ед. хр. 589. Л. 1.

<sup>1041</sup> См.: Гуревич Л. Я. Девятое января. Харьков, 1926; Она же. Творчество актера. М., 1927; Она же. К. С. Станиславский. М., 1929; Она же. История русского театрального быта. М.; Л., 1939.

<sup>1042</sup> Ясинский И. И. Роман моей жизни. Кн. 1. С. 339.

<sup>1043</sup> РГАЛИ. Ф. 131. Оп. 2. Ед. хр. 225. Л. 25—27 об.

<sup>1044</sup> См.: Неизданный Лесков. Кн. 2. С. 345.

<sup>1045</sup> См.: Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. Т. 2. С. 263.

<sup>1046</sup> РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 2. Ед. хр. 589. Л. 1.

<sup>1047</sup> Там же. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 762. Л. 3 (письмо А. Н. Лескова А. А. Фадееву от 25 июля 1943 г.).

<sup>1048</sup> См.: Фадеев А. А. Письма и документы. М., 2001. С. 116, 247; «Мы предчувствовали полыханье...»: Союз советских писателей СССР в годы Великой Отечественной войны. Июнь 1941 — сентябрь 1945: Документы и комментарии: В 2 кн. М., 2015. Кн. 1. С. 577—578.

<sup>1049</sup> Соловьев В. С. Н. С. Лесков // Н. С. Лесков в воспоминаниях современников. С. 589.

<sup>1050</sup> См.: Михайловский Н. К. Литература и жизнь. С. 97—116; Богданович А. И. Лесков — писатель-анекдотист // Мир Божий. 1897. № 1. С. 7.

<sup>1051</sup> Северный вестник. 1892. № 1. С. 172—173.

<sup>1052</sup> Волынский А. А. Лесков. Пг., 1923.

<sup>1053</sup> См.: Лесков Н. С. Полное собрание сочинений: В 36 т. СПб., 1902—1903.

<sup>1054</sup> Цит. по: С. Н. Дурылин и его время. Кн. 1. Исследования / Сост. и ред. А. Резниченко. М., 2010. С. 274.

<sup>1055</sup> Кузмин М. О прекрасной ясности // Аполлон. 1910. № 4. С. 8.

<sup>1056</sup> См.: Лесков Н. С. Тупейный художник: Рассказ на могиле / Рис. М. Добужинского. Пг., 1922; Он же. Тупейный художник.

М., 1923; *Он же*. Избранные рассказы / Под ред. Л. П. Гроссмана. Л., 1926 (серия «Русские и мировые классики» под ред. А. В. Луначарского, Н. К. Пиксанова); *Он же*. Левша. М., 1926; *Он же*. Зверь: Рассказ в переработке Н. Жбанковой / Рис. Б. Кустодиева. М.; Л., 1926; *Он же*. Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе / Предисл. и словарик; рис. К. И. Лебедева. М., 1927; *Он же*. Левша (серия «Дешевая библиотека классиков»). М.; Л., 1928; *Он же*. Тупейный художник. М.; Л., 1928; *Он же*. Леди Макбет Мценского уезда. М.; Л., 1928; *Он же*. Тупейный художник. Л., 1931; *Он же*. Левша: Сборник рассказов / Ст. Б. Эйхенбаума; рис. Н. Купреянова. М., 1931; *Он же*. Очарованный странник / Вступ. ст. В. И. Невского. М.; Л., 1932; *Он же*. Человек на часах / Рис. Б. Дехтерева. М., 1934; *Лесков Н.* Человек на часах / Рис. Б. Дехтерева. М.; Л., 1937; *Он же*. Тупейный художник. Орел, 1938; *Он же*. Левша. Тупейный художник. Иваново, 1938; *Он же*. Человек на часах. Тупейный художник. Левша. Архангельск, 1939. Об истории изданий Лескова см.: *Аннинский Л. А.* Лесковское ожерелье. С. 427—475; *Kucherskaya M. A.* Comrade Leskov: How a Russian Writer was integrated into the Soviet National Myth // *Russian National Myth in Transition. Acta Slavica T. 6. Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia Estonica* / Отв. ред. Л. Киселева. Вып. 14. Тарту, 2014. Р. 187—207.

<sup>1057</sup> РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 1. Ед. хр. 420. Л. 15.

<sup>1058</sup> См.: *Лесков Н. С.* Избранные сочинения / Ред. и коммент. Б. Эйхенбаума; вступ. ст. Л. Цырлина. М.; Л., 1931. См. также: *Он же*. Очарованный странник / Вступ. ст. В. И. Невского. М.; Л., 1932; *Он же*. Человек на часах / Рис. Б. Дехтерева. М., 1934; *Он же*. Избранные сочинения / Подг. текста, ст. и коммент. Б. Другова. М.; Л., 1937.

<sup>1059</sup> См.: Библиографический указатель литературы о Н. С. Лескове. 1917—1996 / Под общ. ред. И. В. Столяровой; библиограф. ред. М. Д. Эльзона. СПб., 2003. С. 9—10.

<sup>1060</sup> См.: *Лесков Н. С.* Избранные сочинения / Подг. текста, ст. и коммент. Б. Другова. М.; Л., 1937.

<sup>1061</sup> См.: *Он же*. Штопальщик / Рис. Б. Кустодиева. Пг., 1922; *Он же*. Леди Макбет Мценского уезда / Рис. Б. Кустодиева; предисл. Б. Эйхенбаума. Л., 1930.

<sup>1062</sup> См.: *Радлов С.* БДТ в 1920-е: Игра. Судьба. Контекст. СПб., 2019. С. 164—177.

<sup>1063</sup> См.: *Самойлова Е. П.* От «Левши» к «Блохе»: пути трансформации пьесы Е. И. Замятина «Блоха» (1926—1929 гг.) // *Филологические науки: Вопросы теории и практики*. Тамбов, 2016. № 6 (60): В 3 ч. Ч. 1. С. 46—49.

<sup>1064</sup> См.: РГАЛИ. Ф. 1527. Оп. 1. Ед. хр. 473. Л. 9 об.—10.

<sup>1065</sup> Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 17. Оп. 133. Ед. хр. 369. Л. 78. См. также: РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 3. Ед. хр. 249.

<sup>1066</sup> Центральный государственный архив личных собраний. Ф. 225. Оп. 1. Д. 73. Л. 10.

<sup>1067</sup> См.: Русский балет «Левша»: Беседа с Б. А. Александровым // Советская культура. 1955. № 3. С. 3; *Христианен Л.* Балет «Левша» в Свердловске // Советская музыка. 1955. № 7. С. 76—83.

<sup>1068</sup> *Захаров Ю.* «Левша» на сцене // Правда. 1976. 23 мая; *Уральская В.* Здравствуй, Левша! // Советская культура. 1976. № 46. 8 апреля; *Эльяш Н.* Образы русского сказа // Известия. 1976. № 138; Новое знакомство с Левшой // Вечерний Ленинград. 1976. № 119. 21 мая.

<sup>1069</sup> См.: *Шостакович Д. Д.* О моей опере // *Шостакович Д. Д.* Катерина Измайлова: Опера в 4-х действиях и 9 картинах: Либретто. М., 1934. С. 11.

<sup>1070</sup> См.: *Острецкий А.* Катерина Измайлова // Там же. С. 5—7; *Он же.* Россия 1840-х // Там же. С. 8.

<sup>1071</sup> См.: *Лесков Н. С.* Железная воля / Подг. текста и предисл. А. Н. Лескова // Звезда. 1942. № 3/4. С. 112—152.

<sup>1072</sup> *Он же.* Железная воля // *Лесков Н. С.* Собрание сочинений. Т. 6. С. 7.

<sup>1073</sup> См.: *Аннинский Л. А.* Лесковское ожерелье. С. 209—211.

<sup>1074</sup> *Гроссман Л. П.* Замечательный русский писатель: К 50-летию со дня смерти Н. С. Лескова // Комсомольская правда. 1945. № 54. 6 марта. С. 4.

<sup>1075</sup> См.: *Бахметьев В.* Николай Семенович Лесков: К 50-летию со дня смерти: 1831—1895 // Красноармеец. 1945. № 2. С. 11; *Белецкий А. Н. С.* Лесков: К 50-летию со дня смерти // Правда Украины. 1945. № 45. 6 марта. С. 3; *Бухштаб Б. Я. Н. С.* Лесков: К 50-летию со дня смерти // Ленинград. 1945. № 4/5. С. 28; *Вальбе Б. Н. С.* Лесков // Красный флот. 1945. № 54. 6 марта; *Гебель В. Н. С.* Лесков: К 50-летию со дня смерти // Московский большивик. 1945. № 53. 4 марта. С. 2; *Гроссман Л. П.* Замечательный русский писатель. С. 4; *Он же.* Лесков и родина // Новый мир. 1945. № 2/3. С. 200—203; *Он же.* Лесков о романе: К 50-летию со дня смерти писателя (1895—1945) // Литературная газета. 1945. № 11. 10 марта. С. 3; *Дурылин С. Н. Н. С.* Лесков: К 50-летию со дня смерти // Вечерняя Москва. 1945. № 53. 5 марта. С. 3; *Храбровицкий А.* Лесков // Сталинское знамя. 1945. 18 сентября. С. 2; *Эйхенбаум Б. М. Н. С.* Лесков: К 50-летию со дня смерти // Звезда. 1945. № 3. С. 134—136.

<sup>1076</sup> *Горький М.* Собрание сочинений. Т. 24. М., 1953. С. 235.

<sup>1077</sup> *Гроссман Л. П.* Н. С. Лесков. С. 200.

<sup>1078</sup> *Дурылин С. Н. Н. С.* Лесков. С. 3.

<sup>1079</sup> Там же.

<sup>1080</sup> См.: *Лесков А. Н. Н. С.* Лесков о немцах // Знамя. 1945. № 2. С. 174—182; *Он же.* Странички из биографии Н. С. Лескова // Сталинское знамя. 1945. № 44. 5 марта; *Он же.* Из воспоминаний о Лескове // *Лесков Н. С.* Левша. М., 1945; *Он же.* Ко-

Лыванский случай (об одном эпизоде из жизни Н. С. Лескова) // Смена. 1945. № 3/4.

<sup>1081</sup> См.: *Евнин Ф. И.* Н. С. Лесков: Очерк жизни и творчества. 1831—1895. М., 1945.

<sup>1082</sup> См.: *Гроссман Л. П.* Н. С. Лесков; *Гебель В. А.* Н. А. Лесков: В творческой лаборатории.

<sup>1083</sup> Стенограмму редакционного совещания по вопросу обсуждения проспекта и плана издания собрания сочинений Н. С. Лескова см.: РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 8. Ед. хр. 205.

<sup>1084</sup> *Бранденбергер Д. Л.* Национал-большевизм: Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931—1956). СПб., 2009. С. 234.



## ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Н. С. ЛЕСКОВА

- 1831, 4 февраля — в селе Горохове Орловского уезда Орловской губернии у отставного коллежского асессора Семена Дмитриевича Лескова и его жены Марии Петровны (урожденной Алферьевой) родился сын Николай.
- 1833, 15 февраля — поступление отца заседателем «по выбору дворянства» в Орловскую палату уголовного суда.
- 1834, август — приобретение в Орле одноэтажного деревянного дома на Третьей Дворянской улице.  
Ноябрь, вторая половина — переезд семьи в Орел.
- 1839, 24 января — выход отца в отставку.  
Переезд семьи на Панин хутор Кромского уезда Орловской губернии.
- 1841, сентябрь — поступил в первый класс Орловской губернской гимназии.
- 1846, 20 августа — не сумев сдать выпускные экзамены за третий класс гимназии, в котором провел два года, получил свидетельство о пройденных в двух классах науках.
- 1847, 30 июня — поступил на службу в Орловскую палату уголовного суда канцеляристом второго разряда.
- 1848, 28 июля — произведен в канцеляристы первого разряда.  
Июль — смерть отца.  
27 сентября — назначен помощником столоначальника Орловской палаты уголовного суда.
- 1849, 7 сентября — получив двухмесячный отпуск, уехал в Киев.  
28 сентября — подал прошение в Киевскую казенную палату «о перемещении в оную на службу».  
31 декабря — официально переведен в штат Киевской казенной палаты.
- 1850, 24 февраля — зачислен помощником столоначальника по рекрутскому столу ревизского отделения Киевской казенной палаты.  
Весна—лето — переехал в Киев.
- 1853, 6 апреля — обвенчался с дочерью киевского купца Ольгой Васильевной Смирновой.  
11 июня — произведен в чин коллежского регистратора.  
9 октября — назначен столоначальником Киевской казенной палаты.
- 1854, 23 декабря — рождение первенца Дмитрия, прожившего не больше двух лет.
- 1855, 8 марта — появление на свет дочери Веры.  
7 июля — произведен в чин губернского секретаря.
- 1857, 1 мая — получив четырехмесячный отпуск, отправился в село Райское Городищенского уезда Пензенской губернии на службу в коммерческую компанию «Шкотт и Вилькенс».

*Май—июнь* — участвовал в перевозе орловских крестьян графа Перовского в Саратовскую губернию.

*9 сентября* — подал в Киевскую казенную палату прошение об увольнении со службы «по болезни».

*30 октября* — уволен из Киевской казенной палаты.

*1857—1859* — жил с семьей в Райском, постоянно разъезжал по России по делам компании «Шкотт и Вилькенс».

*1859, 9 апреля* — опубликовал в «Московских ведомостях», по-видимому, свою первую заметку о борьбе крестьян с повышением цен на водку, подписанную «Н. Г-в».

*1860, 28 апреля* — завершил в Одессе «Очерки винокуренной промышленности» (Пензенская губерния), которые называл «первой пробой пера».

*Между 1 и 15 мая* — вернулся с семьей в Киев.

*20 мая* — отправил в «Санкт-Петербургские ведомости» заметку о продаже Евангелия.

*Конец мая* — начал систематически печатать в «Указателе экономического» анонимные заметки о жизни Киева.

*21 июня* — опубликовал в «Санкт-Петербургских ведомостях» заметку «О продаже Евангелия на русском языке по возвышенным ценам», впервые подписанную своим полным подлинным именем.

*15 сентября* — принят на службу в канцелярию киевского военного губернатора И. И. Васильчикова; опубликовал в «Современной медицине» заметку «Несколько слов о врачах рекрутских присутствий» о коррупции в медицинских кругах.

*6 октября* — опубликовал в «Современной медицине» заметку «Несколько слов о полицейских врачах в России».

*1 ноября* — запрос министра внутренних дел С. С. Ланского киевскому военному губернатору И. И. Васильчикову с требованием прекратить врачебные злоупотребления, а если «статья заключает в себе лишь одну клевету», подвергнуть взысканию ее автора и редактора газеты.

*29 ноября* — уволен из канцелярии военного губернатора «по болезни».

*1861, январь* — приехал в Петербург, остановился у профессора И. В. Вернадского на Моховой улице, дом 28. Навестил Т. Г. Шевченко, принял в дар его «Букварь южно-русский».

*Февраль—ноябрь* — регулярно печатал статьи и заметки в газете «Русская речь», издававшейся Е. В. Салиас.

*28 февраля* — присутствовал на похоронах Т. Г. Шевченко.

*15 марта* — опубликовал в «Отечественных записках» статью «Сводные браки в России», «О найме рабочих людей», «Практическая заметка».

*Апрель* — опубликовал в «Отечественных записках» «Очерки винокуренной промышленности».

*Между началом мая и началом июля* — познакомился с приехавшим из Англии революционером и публицистом Артуром Бенни — героем своего будущего очерка «Загадочный человек».

*1, 8 июня* — опубликовал в газете «Русская речь и Московский вестник» статью «Русские женщины и эмансипация».

*Июнь—июль* — переехал в Москву.

*Сентябрь* — приезд в Москву жены и дочери. Разорвал отношения с редакцией «Русской речи».

*Ноябрь—декабрь* — переехал в Петербург.

*1862, 1 января* — дебютировал в газете «Северная пчела» анонимной передовой статьей «С новым годом, с новым счастьем!».

*6 января* — опубликовал в журнале «Время» статью «О русском расселении и политико-экономическом комитете».

*Март—май* — впервые под псевдонимом М. Стебницкий опубликовал первые рассказы: в «Веке» — «Погасшее дело», в «Северной пчеле» — «Разбойник» (отдельным изданием — около 10 мая), «В тарантасе».

*1 апреля* — опубликовал в «Веке» статью «О переселенных крестьянах».

*14 апреля* — опубликовал в «Северной пчеле» очерк «Страстная суббота в тюрьме».

*13 мая* — беседовал с писателем и критиком В. Ф. Одоевским.

*24—30 мая* — пожары в разных частях Петербурга.

*30 мая* — опубликовал в «Северной пчеле» «пожарную» статью. Начало травли либеральными изданиями.

*6 сентября* — по поручению редакции «Северной пчелы» отправился в большое заграничное путешествие с целью выяснить преимущества строительства Белостокско-Пинской железной дороги.

*21 ноября — 3 декабря* — в Праге перевел «арабеску» М. Бродского «От тебя не больно».

*Между 23 ноября и 7 декабря* — прибыл в Париж, поселился в Латинском квартале.

*28 ноября — 10 декабря* — написал первый большой рассказ «Овцебык».

*10 декабря* — начал публиковать в «Северной пчеле» очерки о путешествии «Из одного дорожного дневника».

*1863, 7 января* — закончил рассказ «Ум свое, а чёрт свое» (опубликовал в «Северной пчеле» 18 января).

*Март* — вернулся в Петербург, поселился в доме 82 на Невском проспекте, затем в доме 3 на Владимирской.

*21 апреля* — представил министру народного просвещения А. В. Головнину записку с выражением готовности совершить поездку по России для изучения школ раскольников.

*1 мая* — получил от министра отказ, мотивированный недостатком средств.

*11 мая* — опубликовал в «Отечественных записках» рассказ «Овцебык».

*Май—июнь* — опубликовал в «Якоре» рассказ «Язвительный».

*13 июня* — начал публикацию в «Библиотеке для чтения» «Писем к редактору» («Русское общество в Париже»).

*12 июля* — по заданию Министерства народного просвещения выехал из Петербурга в Псков и Ригу для изучения старообрядческих начальных школ.

*19 августа* — выпустил сборник «Три рассказа М. Стебницкого. 1. История одного умопомешательства. 2. Разбойник. 3. В тарантасе».

*20 августа* — прибыл в Ригу.

*Между 22 и 30 августа* — вернулся в Петербург.

*8 сентября* — начал печатать в «Библиотеке для чтения» повесть «Житие одной бабы».

*23 сентября* — закончил составление докладной записки в Министерство народного просвещения «О раскольниках г. Риги, преимущественно в отношении к школам».

*Октябрь* — выпустил одноименную брошюру.

*17 декабря* — опубликовал в «Библиотеке для чтения» первое «письмо к редактору» «С людьми древлего благочестия» (выпустил отдельным изданием в конце декабря).

*1864, январь—декабрь* — печатал в «Библиотеке для чтения» роман «Некуда» под псевдонимом М. Стебницкий.

*Между 20 и 25 апреля* — задержка цензурой выхода апрельского и майского номеров «Библиотеки для чтения» из-за романа «Некуда».

*Около 20 июня* — возобновление выхода «Библиотеки для чтения».

*Июнь—июль* — уехал к родственникам в Киев.

*Июль* — познакомился с Екатериной Степановной Бубновой, урожденной Савицкой.

*29 августа* — опубликовал в «Библиотеке для чтения» «Объяснение г-на Стебницкого» по поводу «Некуда».

*26 ноября* — завершил работу над рассказом «Леди Макбет Мценского уезда».

*7 декабря* — отправил рукопись «Леди Макбет...» в петербургский журнал «Эпоха».

*1865, 11 января* — напечатал в «Библиотеке для чтения» последние главы «Некуда» и «Объяснение г. Стебницкого».

*13 февраля* — опубликовал в «Эпохе» «Леди Макбет...».

*Февраль* — вернулся в Петербург.

*21 марта* — выпустил отдельным изданием роман «Некуда».

*24 апреля* — выход в «Русском слове» статьи критика Д. И. Писарева «Прогулка по садам российской словесности» с крайне резким отзывом о Лескове.

*Сентябрь—декабрь* — публиковал в «Отечественных записках» роман «Обойденные».

Начал жить вместе с Е. С. Бубновой.

1865—1866 — писал повесть «Островитяне».

1866, январь—июль — работал над первой частью хроники «Чающие движения воды» (впоследствии «Соборяне»).

4 апреля — опубликовал в «Отечественных записках» очерк «Воительница».

Апрель—август — написал ответ на статью Ю. Г. Жуковско-го «Вопросы молодого поколения» (отдана в «Отечествен-ные записки», но не вышла в свет и, по-видимому, не со-хранилась).

12 июля — рождение сына Андрея.

15 сентября — провел день на даче у С. С. Дудышкина в Пав-ловске.

16 сентября — скоропостижная смерть Дудышкина.

19 сентября — присутствовал на похоронах Дудышкина и от волнения не смог выступить.

Сентябрь—декабрь — опубликовал в «Отечественных запи-сках» три статьи «Русский драматический театр в Петербурге».

Осень — поселился с Е. С. Бубновой и ее детьми на Фур-штатской улице, дом 60.

Ноябрь—декабрь — опубликовал в «Отечественных запи-сках» повесть «Островитяне».

1867, 15 января — опубликовал «Островитян» отдельным изданием.

11 марта — напечатал в «Отечественных записках» четвер-тую статью цикла «Русский драматический театр в Петер-бурге».

29 марта — начал публиковать в «Отечественных записках» хронику «Чающие движения воды».

26 мая — завершил драму «Расточитель».

Август — опубликовал в «Литературной библиотеке» драму «Расточитель» (отдельным изданием — в 1868 году). Пре-крашение публикации хроники «Чающие движения воды» в «Отечественных записках» из-за разногласий между авто-ром и издателем А. А. Краевским.

18 сентября — опубликовал в «Литературной библиотеке» статью «Летопись литературных странностей и безобразий. I. Литератор-красавец» о повести В. П. Авенариуса «Ты зна-ешь край».

Октябрь — напечатал в «Литературной библиотеке» пятую статью цикла «Русский драматический театр в Петербурге».

1 ноября — премьера драмы «Расточитель» в Александрин-ском театре.

15 декабря — смерть А. Бенни в римском госпитале Святой Агаты от раны, полученной в гарибальдийском отряде.

Декабрь — опубликовал в «Литературной библиотеке» ше-стую статью цикла «Русский драматический театр в Петер-бурге».

1868, февраль — выпустил первый том «Повести, очерки, расска-зы М. Стебницкого».

*Февраль—март* — напечатал в «Литературной библиотеке» первые восемь глав хроники «Божедомы» (впоследствии «Соборяне»).

*Июнь* — вел переговоры с В. В. Кашпирёвым о печатании «Божедомов» в организуемом им журнале «Заря».

*20 декабря* — постановка «Расточителя» в московском Малом театре.

*1869, январь* — начал регулярно сотрудничать с газетой «Биржевые ведомости».

*6 марта* — начал публикацию в «Русском вестнике» хроники «Старые годы в селе Плодомасове».

*9 марта* — начал печатать в «Биржевых ведомостях» серию статей «Герои Отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому».

*Апрель* — выпустил второй том сборника «Рассказы Стебницкого (Н. С. Лескова)».

*12 августа* — отклонение Санкт-Петербургским окружным судом иска В. В. Кашпирёва и встречного иска Лескова по поводу аванса за «Божедомов».

*3 декабря* — опубликовал в «Биржевых ведомостях» очерк «Популярные русские люди. М. А. Милорадович. А. П. Ермолов».

*1870, февраль* — опубликовал в «Биржевых ведомостях» очерк «Загадочный человек».

*Июнь* — отправился с семьей в Ревель.

*Ночь на 23 июля* — вступил в потасовку с местными жителями, защищая честь русской нации. Инцидент рассматривался Эстляндским губернским, а затем сенатским судом.

*Октябрь—декабрь* — начал печатать в «Русском вестнике» роман «На ножах».

*18 декабря* — в письме С. А. Юрьеву предложил план сотрудничества с его новым журналом «Беседа».

*1871, январь—май* — опубликовал в «Современной летописи» повесть «Смех и горе».

*Январь—октябрь* — публиковал в «Русском вестнике» роман «На ножах».

*4 марта* — присутствовал на организационном собрании Литературно-художественного кружка в гостинице Демута с участием 160 представителей литературы и искусства, в том числе И. С. Тургенева, П. В. Анненкова, М. О. Микешина, П. Д. Боборыкина, А. Г. Рубинштейна, М. А. Балакирева и др.

*9 марта* — выехал из Петербурга в Москву, где продал «Божедомов» М. Н. Каткову для «Русского вестника» и передал С. А. Юрьеву для публикации в «Беседе» письма Д. П. Журавского и Л. А. Нарышкина «Из глухой поры».

*19 марта* — вернулся в Петербург.

*Июнь* — выпустил отдельным изданием очерк «Загадочный человек».

*Конец июня* — выпустил отдельным изданием «Смех и горе».  
*Конец октября* — начал регулярно сотрудничать с газетой «Русский мир».

*Ноябрь* — выпустил отдельное издание романа «На ножах».

1872, *апрель—июль* — публиковал в «Русском вестнике» хронику «Соборяне».

*Начало июня* — путешествовал по Ладожскому озеру на острова Коневец и Валаам.

*Август—сентябрь* — выпустил «Соборян» отдельным изданием.

*Октябрь* — выпустил «Сборник мелких беллетристических произведений Н. С. Лескова-Стебницкого».

*Ноябрь* — выход в свет перевода романа В. Гюго «Труженики моря», «приспособленного для детей М. Стебницким».

1873, *17 января* — опубликовал в «Русском вестнике» рассказ «Запечатленный ангел».

*Между январем и мартом* — отправил в «Русский вестник» первую редакцию повести «Очарованный странник» под названием «Черноземный Телемак» (отвергнут редакцией).

*Январь—ноябрь* — написал хронику «Захудалый род».

*19 февраля* — публикация в «Гражданине» фрагмента «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского с отзывом о «Запечатленном ангеле».

*19 марта* — предложил через В. П. Мещерского напечатать «Очарованного странника» в журнале Достоевского «Гражданин» (не принят редакцией).

*Июнь—июль* — провел лето в Новом Петергофе.

*8 августа — 8 сентября* — опубликовал в «Русском мире» серию путевых заметок «Монашеские острова на Ладожском озере».

*15 октября — 23 ноября* — опубликовал в «Русском мире» повесть «Очарованный странник, его жизнь, опыты, мнения и приключения».

*Декабрь* — выпустил сборник «Запечатленный ангел. Монашеские острова на Ладожском озере» и отдельное издание повести «Очарованный странник».

*Конец года* — прекратил регулярное сотрудничество с «Русским миром».

1874, *1 января* — назначен членом Особого отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения по рассмотрению книг, издаваемых для народа.

*Между 8 и 15 июня* — выехал через Москву в Киев навестить родных.

*Июль—октябрь* — начал публиковать в «Русском вестнике» хронику «Захудалый род».

*Между 1 и 10 августа* — вернулся в Петербург.

*Октябрь* — разойдясь с Катковым во взглядах на дворянство, отказался дописывать «Захудалый род».

*Ноябрь* — искал должность в торговой конторе. Написал для крупного предпринимателя В. А. Кокорева специальную работу о добыче и производстве нефти, услышал от него историю, легшую в основу рассказа «На краю света».

*1875, 1 января* — начал публикацию в «Ниве» рассказа «Блуждающие огоньки» (впоследствии «Детские годы: Из воспоминаний Меркула Праотцева»).

*Около 15 марта* — познакомился с филологом и историком искусства И. А. Шляпкиным, показал ему свою библиотеку. Выпустил отдельным изданием хронику «Захудалый род», исправленную после искажений, внесенных Катковым.

*9 мая* — выехал через Москву за границу.

*Конец мая — начало июня* — во время пребывания в Париже познакомился с бывшим российским дипломатом князем И. С. Гагариным, беседовал с ним о Пушкине.

*Между 24 и 27 июня* — присутствовал на заседании Национального собрания в Версале, слушал речь депутата-республиканца Л. Гамбетты.

*3 июля* — выехал из Парижа.

*4 июля* — приехал в Мариенбад для лечения водами.

*Конец июля* — начал роман «Чёртовы куклы».

*8 августа* — выехал в Прагу.

*9—15 августа* — находился в Праге.

*18 августа* — прибыл в Дрезден.

*Около 1 сентября* — вернулся в Петербург.

*28 декабря* — начал публиковать в «Гражданине» рассказ «На краю света».

*1876, 15 января* — признался в письме П. К. Шебальскому, что больше не может писать из-за «убивающей критики» в печати.

*Январь* — продолжил публикацию в «Гражданине» рассказа «На краю света».

*8 февраля* — завершил публикацию «На краю света».

*13 февраля* — вместе с Ф. М. Достоевским, П. Д. Боборыкиным, А. М. Бутлеровым, Н. П. Вагнером участвовал в спиритическом сеансе в доме А. Н. Аксакова.

*29 апреля* — опубликовал в «Гражданине» репортаж «Медиумический сеанс».

*Между 9 и 14 мая* — выпустил «На краю света» отдельным изданием.

*Сентябрь—октябрь* — опубликовал в «Кругозоре» рассказ «Железная воля».

*Между 20 и 25 сентября* — начал печатать в «Православном обозрении» очерк «Великосветский раскол».

*1877, январь—февраль* — опубликовал в «Страннике» рассказ «Владычный суд».

*Между 12 и 15 февраля* — выпустил «Великосветский раскол» отдельным изданием.



3 июня — причислен к Министерству государственных имуществ «с оставлением на службе и по Министерству народного просвещения».

Между 16 и 31 июля — выпустил «Владычный суд» отдельным изданием.

Начало августа — окончательно разорвал отношения с Е. С. Бубновой, переехал с сыном в Кузнечный переулок, дом 15.

Начало сентября — переехал с сыном на Невский проспект, дом 61 (ныне дом 63).

1 ноября — принят на службу чиновником особых поручений при министре государственных имуществ П. А. Валуеве.

Между 1 и 15 декабря — выпустил отдельное издание рассказа «Некрещеный поп».

1878, 16 марта — душевнобольная супруга помещена в петербургскую больницу Святого Николая Чудотворца в Петербурге.

28 июня — переехал на лето на курорт Сестрорецк под Петербургом.

Июль — август — свел знакомство с помощником начальника оружейного завода Н. Е. Болониным, под влиянием бесед с которым родился замысел «Левши».

14 сентября — начал публикацию в «Новостях» «картинок с натуры» «Мелочи архиерейской жизни».

20 ноября — завершил публикацию «Мелочей архиерейской жизни».

16 декабря — начал публикацию в «Новостях» очерка «Русское тайнобрачие».

1879, 8 января — вместе с А. П. Милюковым, А. Н. Майковым, Н. А. Лейкиным, Ф. Н. Бергом, В. В. Крестовским участвовал в заседании литературного кружка, где представил И. А. Шляпкина.

28 января — завершил публикацию в «Новостях» очерка «Русское тайнобрачие».

15 февраля — выпустил отдельным изданием «Мелочи архиерейской жизни».

Около 15 июля — выпустил сборник «Русские богоносцы: Религиозно-бытовые картины Н. С. Лескова. I. На краю света. II. Владычный суд» (в выходных данных стоит 1880 год).

Лето — написал рассказы «Однодум» и «Шерамур».

20—27 сентября — опубликовал в «Еженедельном новом времени» рассказ «Однодум».

25 декабря — напечатал в «Новом времени» рассказ «Рождественский вечер у ипохондрика» (впоследствии «Чертогон»).

1880, 1 января — опубликовал в «Историческом вестнике» рассказ «Кадетский монастырь».

Между 15 и 25 марта — выпустил сборник рассказов «Три праведника и один Шерамур».

*Начало мая* — перенес воспаление легких.

*1 июня* — опубликовал в «Историческом вестнике» очерки «Из мелочей архиерейской жизни»: «I. Случай с генералом у митрополита. II. Владычий взгляд на военное красноречие» и статью «Митрополит Исидор в его литературных интересах».

*12 июня* — опубликовал в «Новостях» очерк «Духовный суд» (впоследствии «Епархиальный суд»).

*1 июля* — опубликовал в «Историческом вестнике» очерк «Анекдот об императоре Александре I».

*Между 16 и 23 июля* — выпустил второе, значительно дополненное издание «Мелочей архиерейской жизни».

*Около 20 июля* — уехал в Киев. Общался с профессором Киевской духовной академии, историком и богословом Ф. А. Терновским, старыми друзьями и родными.

*Между 1 и 10 августа* — ездил в Канев.

*19 августа* — вернулся в Петербург.

*1 декабря* — опубликовал в «Историческом вестнике» рассказ «Несмертельный Голован».

*23 декабря* — уволен из Министерства государственных имуществ «согласно прошению».

*25 декабря* — напечатал в «Новом времени» рассказ «Белый орел».

*Декабрь* — решением сенатского суда по делу о ревельском инциденте 1870 года приговорен к трем неделям гауптвахты.

*1881, 6 января* — опубликовал в «Игрушечке» рассказ «Христос в гостях у мужика».

*28 января* — смерть Ф. М. Достоевского.

*31 января* — провожал гроб с телом Достоевского от его квартиры в Кузнечном переулке до Александро-Невской лавры.

*Между 24 и 31 мая* — выпустил сборник «Русская рознь: Очерки и рассказы (1880 и 1881)».

*Июнь — 21 июля* — гостил в Киеве и Каневе.

*17, 24 и 31 октября* — опубликовал в «Руси» «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе».

*Осень—зима* — в первую субботу каждого месяца устраивал у себя литературные вечера, где бывали Н. А. Лейкин, А. Н. Майков, С. Н. Шубинский, М. И. Пыляев и др.

*Декабрь* — начал писать роман «Соколий перелет».

*1882, февраль* — прекратил работу над «Соколым перелетом».

*19 марта* — на литературно-музыкальном вечере Пушкинского кружка читал «Левшу».

*1 апреля* — опубликовал в «Историческом вестнике» очерк «Иродова работа».

*Между 16 и 23 апреля* — выпустил отдельным изданием «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе».

*11 июня* — опубликовал в «Новом времени» заметку «О русском Левше».

*Между 16 и 30 июня* — написал статью «О шепотниках и печатниках (Из литературных воспоминаний)» (при жизни автора не напечатана).

*Конец сентября — начало октября* — написал статью «Русские деятели в Остзейском крае».

*1883, 1 февраля* — опубликовал в «Историческом вестнике» статью «Поповская чехарда и приходская прихоть».

*11 февраля* — начал публиковать в «Киевской старине» очерк «Печерские антики».

*19 февраля* — завершил рассказ «Тупейный художник».

*19 февраля* — смерть издателя М. О. Вольфа в день, когда он должен был подписать соглашение об издании собрания сочинений Лескова.

*21 февраля* — по указанию министра народного просвещения И. Д. Делянова отчислен из особого отдела Ученого комитета.

*Февраль* — опубликовал в «Газете Гатцука» начальные главы романа «Соколий перелет».

*6 марта* — опубликовал в «Художественном журнале» рассказ «Тупейный художник».

*8 марта* — написал письмо в редакцию «Новостей и Биржевой газеты» об обстоятельствах своего увольнения из Министерства народного просвещения (напечатано 10 марта).

*12 марта* — опубликовал в «Газете Гатцука» IX—X главы романа «Соколий перелет».

*1 и 3 апреля* — опубликовал в «Новостях и Биржевой газете» статью «Граф Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский как ересиархи».

*7 апреля* — поручил директору Орловской гимназии передать свою золотую медаль за работу в комиссии Министерства народного просвещения «беднейшему из воспитанников», оканчивающих гимназию в 1884 году.

*13 апреля* — завершил публикацию «Печерских антиков» в «Киевской старине».

*1 мая* — опубликовал в «Историческом вестнике» заметку «Коварный прием» по поводу своего увольнения из Министерства народного просвещения — ответ на напечатанную в «Вестнике Европы» статью К. К. Арсеньева «Из общественной хроники».

*10 сентября* — опубликовал в «Газете Гатцука» рассказ «Путимец».

*10 октября* — выехал в Москву.

*12 октября* — познакомился с А. П. Чеховым, подарил ему книги «Сказ о тульском косом Левше...» и «Соборяне».

*19 октября* — вернулся в Петербург.

*Конец ноября* — появление в квартире Лескова четырехлетней Вари Кукк, ставшей его воспитанницей.

*24 декабря* — опубликовал в «Задушевном слове» рассказ «Неразменный рубль».

- 25 декабря — напечатал в рождественском приложении к «Газете Гатцука» рассказ «Зверь».
- 1884, 14 января — начал публиковать в «Газете Гатцука» серию рассказов «Заметки неизвестного».
- Около 5 февраля — выпустил книгу «Еврей в России».
- 5 февраля — опубликовал в «Новостях и Биржевой газете» статью «Как дорожат писаниями графа Льва Толстого».
- 7 апреля — по настоянию начальника Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистова прекращена публикация в «Газете Гатцука» рассказов «Заметки неизвестного».
- 31 мая — отправился на курорт Мариенбад через Варшаву и Дрезден развлекаться и полечиться.
- 4 июня — прибыл в Мариенбад.
- 5 июля — публикация высочайшего повеления от 5 января об изъятии из библиотек 125 произведений, в том числе «Мелочей архиерейской жизни».
- 18—28 июля — выехал из Мариенбада в Дрезден, Прагу, Вену, Варшаву.
- 31 июля — вернулся в Петербург.
- 15 октября — написал письмо в редакцию «Новостей и Биржевой газеты» об отказе от обеда в честь двадцатилетия своей литературной деятельности.
- 1 ноября — опубликовал в «Нови» первые 26 глав неоконченного романа «Незаметный след».
- 15 декабря — опубликовал в «Варшавском дневнике» «Авторское признание».
- 1885, начало января — опубликовал в «Нови» рассказ «Жемчужное ожерелье», в «Историческом вестнике» — очерк «Один из трех праведников».
- 15 января — опубликовал в «Нови» рассказ «Александрит».
- Между 8 и 15 мая — выпустил отдельным изданием рассказ «Христос в гостях у мужа».
- 10 июня — переехал на лето в Дуббельн.
- Между 15 и 25 июля — посетил в Дуббельне известного юриста А. Ф. Кони.
- Между 18 и 21 августа — вернулся в Петербург.
- 22 августа — присутствовал на открытии бюста на могиле Тургенева на Волковом кладбище.
- 30 октября — опубликовал в «Нови» рассказ «Пагубники».
- Между 23 и 27 ноября — постановление Санкт-Петербургского цензурного комитета вырезать из двенадцатого номера «Исторического вестника» и уничтожить статью Лескова «Бракоразное забвение».
- Между 9 и 15 декабря — выпустил сборник «Святочные рассказы Н. С. Лескова».
- 1886, 16 апреля — смерть матери в Киеве.
- 30 апреля — запрещение Санкт-Петербургским цензурным комитетом «Повести о богоугодном дровосеке».

- Май — 15 (?) июня — написал повесть «Скоморох Памфалон».  
 1 июня — опубликовал в «Историческом вестнике» статью «Геральдический туман».  
 4 июня — начал публикацию в «Новостях и Биржевой газете» статьи «О куфельном мужике и о проч.».  
 9 июня — опубликовал в «Новостях и Биржевой газете» статью «Откуда заимствован сюжет пьесы графа Л. Н. Толстого “Первый винокур”».  
 1 августа — опубликовал в «Историческом вестнике» статью «Иезуит Гагарин в деле Пушкина».  
 20 декабря — опубликовал в «Русской мысли» «Сказание о Феодоре-христианине и о друге его Абраме-жидовине».  
 Между 24 и 31 декабря — выпустил сборник «Рассказы кста-ти».  
 25 декабря — опубликовал в «Новом времени» статью «О художном муже Никите и о совоспитанных ему» об изографе Н. С. Рачейскове.  
 Работал над сборником «Обозрение Прологов» — описанием женских типов XII—XIII веков (не опубликован).  
 1887, 1 марта — опубликовал в «Историческом вестнике» повесть «Скоморох Памфалон».  
 18 апреля — в письме Л. Н. Толстому попросил о встрече во время своего ближайшего приезда в Москву.  
 19 апреля — выехал в Москву.  
 20 апреля — посетил Толстого в его доме в Хамовниках.  
 Между 22 и 30 апреля — вернулся в Петербург.  
 Апрель — 12 мая — написал рассказ «Антука».  
 20 июля — смерть М. Н. Каткова.  
 Между 22 и 24 июля — написал сатирическую заметку по поводу смерти Каткова (при жизни автора не опубликована).  
 Июль — начал работать над повестью «Зенон-златокузнец».  
 Между 1 и 8 августа — выпустил сборник «Повести и рассказы Н. С. Лескова. Книга I: I. Скоморох Памфалон. II. Спасение погибавшего».  
 Осень — переехал в свою последнюю квартиру на Фурштатской улице, дом 50.  
 Между 1 и 8 ноября — выпустил сборник «Повести и рассказы Н. С. Лескова. Книга II. Очарованный странник».  
 20 ноября — опубликовал в «Русской мысли» очерк «Бытовые апокрифы».  
 6 декабря — опубликовал в «Книжках “Недели”» рассказ «Грабеж».  
 Между 24 и 31 декабря — выпустил сборник «Повести и рассказы Н. С. Лескова. Книга III. Запечатленный ангел».  
 1888, 19 января — начал публикацию в «Новом времени» статьи «Пресыщение знатностью».  
 3 февраля — опубликовал в «Новом времени» легенду «Совестный Данила».

*7 февраля* — опубликовал в «Неделе» заметку «Бибиковские меры».

*Февраль — 15 марта (?)* — писал легенду «Прекрасная Аза».

*1 апреля* — опубликовал в журнале «Игрушечка» рассказ «Лев старца Герасима» с рисунками И. Е. Репина.

*5 апреля* — опубликовал в «Новом времени» легенду «Прекрасная Аза».

*22 апреля* — в письме поблагодарил А. С. Суворина за предложение издать Полное собрание сочинений.

*Между 9 и 16 августа* — выпустил сборник «Старые годы в селе Плодомасове».

*30 сентября* — выход составленной критиком П. В. Быковым «Библиографии сочинений Н. С. Лескова с начала его литературной деятельности — 1860 г. по 1887 г. (включительно)».

*Ноябрь* — цензурный запрет публикации в «Русской мысли» повести «Зенон-златокузнец».

*Конец ноября — начало декабря* — трижды позировал И. Е. Репину, после чего работа над портретом не возобновлялась.

*11 декабря* — опубликовал в «Книжках “Недели”» рассказ «Колыванский муж».

*1889, между 9 и 15 января* — выпустил отдельным изданием рассказ «Котин доилец».

*Между 16 и 23 января* — выпустил отдельным изданием рассказы «Инженеры-бессребреники».

*23 февраля* — читал в художественной мастерской И. Е. Репина в большом обществе повесть «Зенон-златокузнец».

*Между 9 и 15 марта* — выход в свет первых трех томов собрания сочинений тиражом 2200 экземпляров, отпечатанных в типографии А. С. Суворина.

*Между 24 и 30 апреля* — выпуск четвертого тома собрания сочинений.

*Между 18 и 20 мая* — принял книгопродавца Н. И. Свешникова, приобрел у него рукопись его воспоминаний.

*Между 9 и 15 июня* — выход пятого тома собрания сочинений.

*14 августа* — предоставление типографией Суворина в цензурный комитет экземпляров шестого тома собрания сочинений Лескова, напечатанного без предварительной цензуры.

*16 августа* — получив известие об аресте отпечатанного шестого тома собрания сочинений, перенес первый приступ стенокардии на лестнице суворинской типографии.

*18 августа* — в «Русской мысли» напечатан очерк Н. И. Свешникова «Спиридоны-повороты», отредактированный Лесковым.

*28 сентября* — донесение Санкт-Петербургского цензурного комитета в Главное управление по делам печати с возражениями против выхода шестого тома собрания сочинений Лескова.

17 октября — указание Санкт-Петербургского цензурного комитета старшему инспектору типографий об «исключении» всех экземпляров шестого тома.

19 октября — в типографии Суворина арестован тираж шестого тома.

17 ноября — опубликовал в «Русской мысли» рассказ «Аскалонский злодей».

Ноябрь — выход в свет седьмого тома собрания сочинений.

1890, 17 января — опубликовал в «Русской мысли» первую часть романа «Чёртовы куклы».

24 января — вместе с издателем и редактором В. Г. Чертковым приехал в Тулу, где был встречен Толстым и отвезен в Ясную Поляну.

26 января — сопровожден Толстым до Тулы.

27 января — приехал в Москву, присутствовал на торжественном обеде в честь десятилетия «Русской мысли».

30 января — вернулся в Петербург.

Январь—март — опубликовал в «Живописном обозрении» повесть «Гора» с иллюстрациями И. Е. Репина, С. С. Соломко и др.

22 мая — переехал на лето на эстляндский курорт Шмеек.

Май — позировал художнику И. А. Банистеру.

15 августа — вернулся в Петербург.

25 декабря — опубликовал в «Петербургской газете» рассказ «Под Рождество обидели».

Написал рассказ «По поводу “Крейцеровой сонаты”».

1891, 19 января — принял религиозного мыслителя и публициста В. С. Соловьева, отдал ему рукопись рассказа «Полуношники» для публикации в «Вестнике Европы».

6 июня — опубликовал в «Сборнике “Нивы”» рассказ «Юдоль».

1 ноября — опубликовал в «Вестнике Европы» рассказ «Полуношники».

16 декабря — выход в «Русской мысли» статьи М. А. Протопопова о Лескове «Большой талант».

23 декабря — в письме поблагодарил Протопопова за статью. Работал над повестью «Оскорбленная Нетэта».

1892, 6 июня — опубликовал в «Сборнике “Нивы”» рассказ «Юдоль».

Июнь—август — написал рассказы «Импровизаторы» и «Пустоплясы».

Между 1 и 8 июля — выпустил отдельное издание рассказа «Невинный Пруденций».

5 сентября — рождение внука Юрия.

11 октября — возвратил А. С. Суворину его письма.

2 декабря — написал завещание «Моя посмертная просьба».

1893, 1 января — опубликовал в «Северном вестнике» рассказ «Пустоплясы».

*11 января* — познакомился с молодой писательницей Л. И. Веселитской.

*23 мая* — переехал на лето на курорт Меррекюль на берегу Финского залива.

*Между 9 и 14 июня* — выход в свет одиннадцатого тома собрания сочинений.

*9—14 июля* — принимал в Меррекюле Л. И. Веселитскую, А. М. Хирьякова и М. О. Меньшикова; каждый вечер читал с гостями рукописный трактат Л. Н. Толстого «Царство Божие внутри нас».

*15 августа* — вернулся в Петербург.

*7 ноября* — напечатал в «Книжках “Недели”» рассказ «Загон».

*9 ноября* — вывоз полицией из типографии Суворина тиража запрещенного шестого тома собрания сочинений Лескова.

*1894, конец февраля — начало марта* — работа В. А. Серова над портретом Лескова.

*16 апреля* — опубликовал в «Петербургской газете» рассказ «Сошествие во ад».

*18 апреля* — выпустил «Сошествие во ад» отдельным изданием.

*22 мая* — переехал на лето в Меррекюль.

*20 или 21 августа* — вернулся в Петербург.

*20 сентября* — опубликовал в «Русской мысли» рассказ «Зимний день».

*16 декабря* — опубликовал в «Русской мысли» рассказ «Дама и фефёла».

*1895, 30 января* — принял А. П. Чехова.

*Между 1 и 10 февраля* — получил от М. М. Стасюлевича отказ печатать в «Вестнике Европы» рассказ «Заячий ремиз» из-за цензуры.

*12 февраля* — принял своего давнего недруга Т. И. Филиппова, попросившего прощения.

*17 февраля* — открытие XXIII передвижной выставки в Академии художеств, на которой выставлен портрет Лескова работы Серова.

*18 февраля* — выехал на прогулку вокруг Таврического сада, последствием которой стало обострение болезни легких.

*21 февраля, 1 час 20 минут* — скончался.

*23 февраля* — похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища.



## БИБЛИОГРАФИЯ

- Аннинский Л. А.* Лесковское ожерелье. СПб., 2012.
- Ашихмина Е. Н.* В этом странном городе...: В 3 кн. Орел, 2012.
- Виницкий И.* Русские духи: Спиритуалистический сюжет романа Н. С. Лескова «На ножах» в идеологическом контексте 1860-х годов // Новое литературное обозрение. 2007. № 5. С. 84—213.
- Горелов А. А.* Н. С. Лесков и народная культура. М., 1988.
- Гроссман Л. П.* Пушкин. Достоевский. Лесков. М., 2018.
- Ильинская Т. Б.* Русское разноеверие в творчестве Н. С. Лескова. СПб., 2010.
- Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова: По его личным, семейным и несемейным записям и памятям: В 2 т. М., 1984.
- Неизданный Лесков / Отв. ред. К. П. Богаевская, О. Е. Майорова, Л. М. Розенблюм // Литературное наследство. Т. 101. Кн. 1. М., 1997; Кн. 2. М., 2000.
- Лукашевич М.* «Я не враг Церкви, а ее друг... и уверенный православный»: Церковная проблематика в публицистике Николая Лескова. Варшава, 2019.
- Майорова О.* Маркеры русскости в имперском пространстве: парадоксы рассказа Н. С. Лескова «На краю света» // Новое литературное обозрение. 2017. № 2. С. 45—59.
- Маркадэ Ж. К.* Творчество Лескова: романы и хроники. СПб., 2006.
- Н. С. Лесков в воспоминаниях современников / Сост., подгот. текста, коммент. Л. И. Соболева, Л. С. Даниловой, В. В. Соминой; предисл. А. М. Ранчина. М., 2018.
- Н. С. Лесков: классик в неклассическом освещении. СПб., 2011.
- Федотова А. А.* «Трудный рост»: рецепция в прозе Н. С. Лескова. Ярославль, 2018.
- Эйхенбаум Б. М.* «Чрезмерный писатель»: К 100-летию со дня рождения Н. С. Лескова // *Эйхенбаум Б. М.* О прозе: Сборник статей. М., 1969. С. 327—345.
- McLean H.* Nikolai Leskov: The Man and His Art. L., 1977.

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Аболимов П. Ф. 533  
*Абрамович С. Л.* 574  
*Абросимова В. Н.* 563  
 Аввакум, протопоп 299, 300, 567  
 Авдеев М. В. 124  
 Авенариус В. П. 207, 595  
*Аверинцев С. С.* 586  
 Аверкиев Д. В. 146, 249  
 Авсеенко В. Г. 207, 286, 382, 401, 445, 461, 566, 575, 579  
*Агеева Е. А.* 558  
*Айзеншток И. Я.* 276, 548, 584, 585  
 Аксаков А. Н. 387—394, 412, 575, 598  
 Аксаков И. С. 164, 230, 334, 349, 361, 362, 368, 370, 371, 375, 377—379, 421—423, 435, 503, 547, 548, 560, 573, 574, 581  
 Александр I, имп. 20, 183, 347, 422, 428, 600  
 Александр II, имп. 91, 98, 99, 111, 144, 156, 160, 164, 165, 174, 194, 195, 331, 335, 341, 369, 372, 405, 415, 418, 419, 421, 428, 576  
 Александр III, имп. 417, 420, 421, 428, 484, 503, 570  
 Александров Б. А. 533, 534, 589  
 Александров П. К. 41  
*Алексеев В. П.* 547  
*Алексеева Т. А.* 583  
*Алексина Р. М.* 546, 554  
 Алексинский П. С. 547  
 Алферьев П. 578  
 Алферьев П. С. 23, 29, 44, 64, 139  
 Алферьев С. П. 57, 63, 64, 71, 78, 99, 104, 548  
 Алферьева А. В. 20, 64, 182  
 Алферьева А. П. 87, 88, 113  
 Алферьева М. П. — см. Лескова М. П.  
 Алферьева Н. П. 23, 29, 30, 54, 310  
 Альбрехт И. Ф. Э. 450  
 Амфитеатров А. В. 585  
 Андреев Л. А. 21  
*Андреева Т. А.* 558  
 Андросов И. И. 200  
*Анкудинова О. В.* 586  
 Анненков П. В. 188, 189, 396, 461, 557, 596  
 Анненский И. Ф. 496  
*Аннинский Л. А.* 555, 559, 567, 577, 588, 589, 607  
 Апель И. А. 105  
 Аренсберг Л. фон 287  
 Ариосто Л. 43  
 Аристофан 450  
*Арсеньев А. В.* 578  
 Арсеньев К. К. 601  
*Архангельская Т. Н.* 581  
*Асипова Н. В.* 558  
 Аскоченский В. И. 67—69, 128, 548  
 Ахматова А. А. 466  
 Ахматова Е. Н. 421  
*Ашихмина Е. Н.* 11, 13, 546—548, 554, 607  
 Бабель И. Э. 529  
 Бакунин М. А. 461  
 Балабин И. П. 158  
 Балакирев М. А. 396, 596  
 Баллод П. Д. 555  
 Бальмонт К. Д. 575  
 Банистер И. А. 514, 605  
*Барт Ф. Г. де ла* 580  
 Бартенев П. И. 126  
 Баталин И. А. 575  
*Батюто А. И.* 581  
*Бахметьев В.* 589  
 Беккер С. 482  
*Белецкий А.* 589  
 Белинский В. Г. 133, 223, 360, 461, 518, 572  
 Беллюстин И. С. 157, 289  
 Беляев З. Л. 200  
 Бенедиктов В. Г. 78  
 Бенни А. И. 119, 120, 134, 155, 162, 208, 217, 218, 272, 285, 552, 593, 595

- Беньямин В.* 256, 257, 564  
 Берг Ф. Н. 396, 599  
 Берлиоз Г. 427  
 Бертенсон Л. Б. 455, 486  
 Бертолотто Г. 426, 577  
 Бетховен Л. ван 427  
 Бибииков Д. Г. 67, 72—74, 548, 549  
 Бирюков П. И. 468  
 Бичер-Стоу Г. 112  
 Благовещенский Н. А. 140, 290  
*Благоволина Ю. П.* 515  
 Благосветлов Г. Е. 266, 267  
 Блок А. А. 98, 420  
 Боборыкин П. Д. 204, 206, 219, 278, 281, 387, 390, 392, 393, 396, 559, 596, 598  
 Бобринский А. П. 397  
*Богаевская К. П.* 13, 249, 576, 579, 607  
 Богданович А. И. 528, 587  
 Богородский С. О. 65  
 Богушевич Ю. М. 278  
 Бодлер Ш. 176  
 Бокль Г. Т. 397  
 Болонин Н. Е. 423, 424, 599  
 Болотов А. Т. 320  
 Бомарше П. О. К. де 448, 449  
 Боровиковский В. Л. 401  
 Борхсениус Е. И. 161, 518, 525, 586  
 Борхсениус Н. Ф. 514, 518, 524  
 Боткин В. П. 124, 360  
 Боткин С. С. 259  
*Бранденбергер Д. Л.* 540, 590  
 Бродский М. 170, 593  
 Брюллов К. П. 450  
 Бубнов М. Н. 236, 237  
 Бубнов Н. М. 237, 259, 403, 439, 440, 526, 561, 564, 576, 579, 580  
 Бубнова (Савицкая) Е. С. 235—238, 258, 284, 372, 376, 380, 381, 398, 402, 403, 405, 439, 524, 561, 579, 594, 595, 599  
 Бубнова В. С. 236  
 Булгаков В. Ф. 480, 583  
 Булгаков М. А. 555  
 Булгаков Ф. И. 578  
 Булгарин Ф. В. 133, 134  
 Бунаков Н. Ф. 140, 290  
 Бунин И. А. 21, 98  
 Бурдалу Л. 142  
 Буренин В. П. 160, 161, 206, 276, 488, 518, 559, 564  
 Бурнашев В. П. 448, 579  
 Буслаев Ф. И. 126, 292, 377, 386, 561, 562  
 Бутлеров А. М. 388—392, 394, 598  
*Бухштаб Б. Я.* 425, 548, 577, 585, 589  
 Буяновская В. И. 11  
 Быков П. В. 114, 138, 552, 564, 604  
 Вагнер Н. П. 388—390, 392, 394, 598  
*Вайсман М.* 556, 564  
*Валескалн П. И.* 555  
 Валуев П. А. 197, 375, 599  
*Вальбе Б.* 589  
 Вальтер А. П. 102, 104, 105, 108, 113, 115, 116  
*Ваненян С. С.* 573  
 Варнеке Б. В. 161  
 Васильев П. В. 396  
 Васильчиков И. И. 74, 78, 104, 108, 343, 592  
 Васильчиков Н. В. 27  
*Вдовин А. В.* 556, 557  
 Вебер К. М. фон 105  
 Вейнберг П. И. 397  
 Величкин В. Г. 385  
*Венгеров С. А.* 324, 570  
 Вергилий 26, 41, 43, 338, 339  
 Верлен П. М. 176  
 Вернадская (Шигаева) М. Н. 110, 115, 116, 118, 551  
 Вернадский В. И. 118  
 Вернадский И. В. 109, 112—118, 592  
 Веселитская Л. И. 405, 457, 495—503, 518, 582, 585, 606  
 Веселовский К. С. 162  
 Виардо П. 14, 122

Вигура И. М. 65  
*Видуэцкая И. П.* 134, 555, 556, 565  
 Вилинская М. А. 56, 112, 134, 191  
 Вильде Н. Е. 397  
*Виницкий И. Ю.* 307, 567, 574, 575, 584, 607  
 Винклер 325  
*Виноградов В. В.* 576  
 Вишневецкая М. А. 11  
*Власкин А. П.* 576  
 Вовчок М. — см. Вилинская М. А.  
 Волков Н. П. 200  
 Вольнский А. Л. 161, 217, 255, 301, 506, 508, 528, 546, 552, 560, 564, 567, 586, 587  
 Вольф М. О. 204, 396, 601  
 Всеволожский Н. А. 89, 90  
 Вяземский А. А. 264  
  
 Гагарин И. С. 378, 379, 574, 598, 603  
 Галкин М. Н. 562  
 Гамбетта Л. М. 378, 598  
 Гаршин В. М. 496  
*Гебель В. А.* 538, 561, 589, 590  
 Гегель Г. В. Ф. 65, 360  
 Гедеонов С. А. 279  
 Георгиевский А. И. 383, 443, 543  
 Герцен А. И. 119, 122, 151, 154, 174—176, 196, 211, 360, 363, 378, 448, 472, 475, 545, 554, 556, 572  
 Герье В. И. 246  
 Гёте И. В. фон 189, 326, 427, 438  
 Гиероглифов А. 562  
 Гинцбург Г. О. 344  
 Гиппиус З. Н. 466, 527, 529, 581  
 Гладстон У. Ю. 513  
 Глинка Ф. Н. 432, 433  
*Глинский Б. Б.* 552  
 Гнедич Н. И. 327  
 Гоголь Н. В. 12, 60, 67, 78, 106, 190—192, 223, 253, 279, 287, 305, 309, 397, 410, 538, 539, 545  
*Головачева О. А.* 556

Головнин А. В. 178, 194—198, 200, 373, 558, 593  
 Гольцев В. А. 451, 508, 554, 579  
 Гончаров И. А. 10, 112, 363, 397, 398, 538  
 Гораций 26, 41, 42  
 Горбунов И. И. 473, 479  
 Горбунов И. Ф. 397  
*Горелов А. А.* 561, 567, 572, 587, 607  
 Горький М. 522, 523, 538, 539, 587, 589  
 Готье Т. 176  
 Гофман Э. Т. А. 252, 449—451, 504  
 Грановский Т. Н. 121, 123, 124, 360  
 Грече К. А. 578  
 Греч Н. И. 133, 134  
 Грибанов В. И. 508  
 Грибоедов А. С. 219, 253, 395  
 Григорович Д. В. 112, 185, 187, 192, 245, 385, 397, 398  
 Григорьев А. А. 97, 98, 146, 190, 228, 249  
 Гриневский И. И. 415  
 Громека С. С. 102, 105, 107  
*Громов В. А.* 554, 572  
*Громов П. П.* 550  
*Гроссман Л. П.* 489, 537, 538, 561, 584, 588—590, 607  
*Груздев А. И.* 585  
*Груздева С. И.* 585  
*Гудзий Н. К.* 472, 582  
 Гудовский И. В. 82  
 Гумилев Н. С. 496  
*Гура А. В.* 562  
 Гуревич Л. Я. 8, 457, 471, 496, 497, 522, 524, 546, 587  
 Гюго В. 176, 597  
  
 Даленбург И. Ф. 41  
 Даль В. И. 129, 134, 185, 190, 195, 397, 437, 529  
 Дандас Дж. У. И. 431, 433  
 Данилевский Г. П. 396, 397  
*Даниэл М.* 577  
 Дарвин Ч. Р. 512

- Делоне Е. Э. 360  
 Делянов И. Д. 445, 512, 601  
 Демерт Н. А. 146  
 Деньковский Г. Д. 104  
 Де-Пуле М. Ф. 128, 131, 549, 553  
 Державин Г. Р. 236  
*Державина О. А.* 571  
 Десницкий В. А. 522, 523  
 Дикий А. Д. 533  
 Диккенс Ч. Д. Х. 112, 399, 426  
*Динерштейн Е. А.* 565  
 Дмитриев А. П. 580  
*Дмитриева В. И.* 576  
 Добров А. И. 325, 326  
 Добролюбов Н. А. 126, 147, 223, 461, 536  
 Добужинский М. В. 530, 587  
 Должиков П. П. 67, 69  
 Долина В. И. 457, 472, 491, 495, 500—502, 516, 526, 580, 601  
*Домановский Л. В.* 572  
 Доргомыжский (Даргомыжский) А. С. 327  
 Достоевская А. Г. 408, 526  
 Достоевский М. М. 97, 247, 249, 407  
 Достоевский Ф. М. 6, 10, 14, 97, 136, 163, 176, 207, 213, 246, 247, 249, 251, 264, 308, 309, 315—317, 324, 330, 363, 365, 385, 388—390, 392, 393, 396, 398, 404, 407—415, 461, 464, 476, 496, 517, 523, 526, 528, 555, 567—569, 574, 576, 581, 597, 598, 600, 601, 607  
 Дружинин А. В. 245  
 Дубнов С. М. 6, 580  
 Дудышкин С. С. 102, 104, 178, 272, 273, 281—286, 565, 595  
*Дурьлин С. Н.* 523, 527, 529, 546, 587, 589  
*Душечкина Е. В.* 569  
*Дыханова Б.* 568  
 Дюканж В. 279  
*Дюнина К. А.* 457, 580  
 Евграфова Е. 82  
*Евдокимова О. В.* 580, 581  
 Евневич Т. А. 11  
*Евнин Ф. И.* 538, 590  
 Елисеев Г. З. 119, 206  
 Елшина О. А. 482  
 Емельянов И. П. 415  
*Еремин М. П.* 558  
 Ермолов А. П. 21, 596  
 Ешевский С. В. 562  
 Жадовская Ю. В. 248  
 Жанлис С. Ф. 394  
 Жданов А. А. 522, 523  
 Желобовский А. А., прот. 327  
 Желябов А. И. 420  
*Жери К.* 562, 564  
 Жуковская Е. И. 222—226, 560  
 Жуковский Ю. Г. 222, 562, 595  
 Журавский Д. П. 70, 71, 356, 357, 548, 596  
*Жэри К.* — см. *Жери К.*  
 Забелин А. К. 562  
 Загоскин М. Н. 146  
 Заичневский П. Г. 153  
*Зайончковский П. А.* 125, 550  
 Зайцев В. А. 206, 219  
 Замятин Е. А. 10, 529, 533, 534, 588  
 Зандрок Н. Ф. 515, 516  
 Зарин Е. Ф. 282, 284, 285  
 Засецкая Ю. Д. 414  
 Засодимский П. В. 324  
*Захаров Ю.* 589  
*Зенкевич С. И.* 551, 565  
*Зимица Г. В.* 515  
 Зичи М. А. 396  
 Златовратский Н. Н. 324  
*Золотарев В. А.* 578  
 Золя Э. 347  
 Зотов В. Р. 397  
 Зошенко М. М. 529  
*Зубков К. Ю.* 557  
 Зубов Н. Н. 279  
*Зыбин С. А.* 425, 577  
 Иванов В. С. 585  
*Иванов Вяч. Вс.* 437, 568, 578  
 Иванова Н. С. 47

- Иванов-Вано И. П. 439  
 Ивановский А. В. 533  
 Измайлов А. А. 8, 127, 221, 546, 552, 560, 564, 567  
*Ильинская Т. Б.* 558, 565, 569, 570, 607  
 Иоанн Кронштадтский, прот. 482, 487, 499, 505  
 Исидор (Никольский), митр. 332, 600  
 Ицкович И. 549  
  
 Калиновский В. К. 267  
 Калядина А. С. (Аннушка) 24, 25, 30, 31  
 Каменский М. Ф. 17, 446, 448, 449, 532, 579  
 Кант И. 65  
 Карамзин Н. М. 188  
 Кардек А. 394, 575  
 Карнович Е. П. 248, 398  
 Карпова (Головина) К. Г. 505  
 Катков М. Н. 65, 123, 157, 209, 275, 288, 356, 360—373, 376, 410, 420, 461, 462, 472, 486, 572, 573, 580, 596—598, 603  
 Кашпирёв В. В. 293, 596  
 Кельсиев И. И. 165, 208  
 Кетчер Н. Х. 124  
*Ким Ю. Л.* 312  
 Киреевская Е. Ф. 36  
 Киреевский В. А. 36  
 Киреевский Н. В. 36  
 Киреевский П. В. 55, 56  
 Кирилл Белозерский, преп. 345  
 Киров С. М. 534  
*Киселева Л. Н.* 557, 570, 588  
*Клигер И.* 556  
 Клодт М. К. 396  
 Клодт М. П. 396  
 Клушин Д. Н. 48  
 Ключарев А. К. 75  
 Ключевский В. О. 386  
 Ключников В. П. 207, 219  
 Кобец Н. К. 63, 64  
 Ковалевский Е. П. 565  
*Ковалова А. О.* 584  
 Ковмир Н. И. 534  
 Кожанчиков Д. Е. 177, 178  
*Козьмин Б. П.* 552, 554  
 Кок П. де 115  
 Кокорев В. А. 337, 375, 377, 598  
 Комиссаров О. И. 147  
*Конечный А. М.* 148  
 Кони А. Ф. 518, 602  
 Константин Николаевич, вел. кн. 194  
 Константин Павлович, вел. кн. 41  
 Константинов Л. И. 29, 405  
 Константинова Н. П. — см. Алферьева Н. П.  
 Константинович А. П. 118  
 Коптева М. Н. 217, 218, 222—224, 226  
 Корейша И. Я. 370  
 Коробкова Е. С. 11, 35  
*Коробкова А. А.* 561  
 Короленко В. Г. 483  
 Коротынский В. А. 185  
*Косых Г. А.* 581  
 Котляревский И. П. 235  
*Котов А. Э.* 572  
 Кочубей А. В. 27  
*Кочуков С. А.* 578  
 Коробкова Е. С. 11, 35  
 Коротынский В. А. 185  
 Кравцов Г. Л. 454, 561, 580  
 Краевский А. А. 102, 104, 125, 177, 178, 194, 281, 284, 556, 595  
 Крестовская В. Д. 269  
 Крестовский В. В. 124, 207, 238, 263—272, 282—283, 396, 461, 561, 564, 599  
 Кривцов А. И. 28, 29, 33  
 Крохин Н. П. 486  
 Крохина О. С. — см. Лескова О. С.  
 Крылов И. А. 327  
 Кудрявцев П. П. 548  
 Кузмин М. А. 529, 587  
 Кукк В. И. — см. Долина В. И.  
 Кукк Е. А. 455, 580  
 Кулиш П. А. 54

Курочкин В. С. 146  
Кустодиев Б. М. 533, 578  
Кушелев С. Е. 366, 372—375  
Кушелев-Безбородко Г. А. 267  
Кушевский И. А. 146  
Кьеркегор С. 370  
Кюстин А. де 450, 579

*Лавринец П.* 557

Лавров В. М. 449, 451  
Лампи И. Б. 349  
Ланской С. С. 106, 592  
Лаун Ф. А. 105  
Лаунерт О. И. 403, 404, 491, 492  
*Левандовский Л. И.* 551, 576, 580, 586  
Левитов А. И. 112, 123, 124, 128, 129, 131, 134, 136, 145, 146, 187, 192, 208, 210, 211, 226, 553  
Левкеева Е. И. 278  
*Левкиевская Е. Е.* 567  
Легуве Е. 562  
Лейкин Н. А. 398, 409, 480, 483, 489, 518, 554, 599, 600  
Леонтьев К. Н. 363, 411, 412, 469  
Лермонтов М. Ю. 209, 229, 236, 378, 397  
Леруа-Болье П. П. 414  
Лесков А. Д. 34, 38  
Лесков А. Н. 9, 24, 46, 50, 81, 82, 85, 138, 159, 161, 237, 240, 255, 258, 263, 268, 274, 310, 325, 327, 375, 402—407, 415, 416, 420, 423, 424, 439—443, 457, 471, 491—494, 514, 515, 519, 520, 522—527, 533, 536, 539, 547—551, 554—556, 558, 559, 561, 563—565, 568, 569, 571—577, 579, 580, 582, 584—587, 589, 595, 599, 607  
Лесков А. С. 27, 30, 46, 234, 235, 237, 441, 443, 455, 517  
Лесков В. С. 46, 268, 327, 402, 442  
Лесков Д. П. 34, 36, 37, 39, 43  
Лесков М. С. 33, 46

Лесков П. Т. 34  
Лесков П. С. 27  
Лесков С. Д. 21, 24—30, 32—34, 36—40, 42—48, 50, 51, 82, 90, 122, 192, 328, 591  
Лесков Ю. А. 490, 491, 493, 605  
Лесков Я. А. 491  
Лескова К. Д. 443, 455  
Лескова В. Н. 9, 85, 86, 98, 130, 208, 490, 491, 517, 559, 591  
Лескова Е. А. — см. Медем Е. А.  
Лескова М. И. 34, 37  
Лескова М. П. 21—25, 27, 29, 30, 32, 33, 44—47, 192, 443, 455, 591, 602  
Лескова М. С. 46, 193  
Лескова Н. С. 27, 30, 517  
Лескова О. В. — см. Смирнова О. В.  
Лескова О. И. — см. Лаунерт О. И.  
Лескова О. С. 46, 486, 491  
Лескова П. Д. 28, 34, 36  
Лескова Т. Ю. 493  
Либрович С. Ф. 383, 384, 397—399, 574, 575, 584  
Ливен В. К. 201, 203  
Лист Ф. 73  
*Литвин Э. С.* 425, 577  
Литов С. И. 67, 99, 100  
*Лифшиц А. Л.* 556, 570, 579  
*Лихачев Д. С.* 569  
*Локшин А. Е.* 549  
Ломоносов Г. С. 201  
Лорис-Меликов М. Т. 417, 421  
*Лукашевич М.* 140, 554, 566, 569, 607  
Львов А. 22, 140, 144  
Львов Ф. Н. 251, 563  
*Любжин А. И.* 558  
Любимов Н. А. 315, 363, 366  
*Маджаров А. С.* 558  
Майков А. Н. 110—112, 282, 284, 309, 382, 396—398, 599, 600  
Майков В. Н. 112  
Майков Л. Н. 282

- Майорова О. Е. 274, 277, 565,  
 566, 568—570, 580, 582, 607  
 Макаревич О. В. 379, 550, 569, 574  
 Макарова О. Е. 549  
 Макеев М. С. 11, 509  
 Максимов С. В. 146, 397, 398,  
 518  
 Максимович И. К. 177  
 Максимович П. П. 382  
 Макулова Е. А. 208  
 Макшеев З. А. 515, 516, 518  
 Манасевич-Мануйлов И. Ф. 568  
 Мандельштам О. Э. 466  
 Манн Т. 347  
 Манчестер Л. 43  
 Мардовина Е. П. 56  
 Мария Александровна, имп.  
 335, 372, 375  
 Марк Аврелий, имп. 498  
 Маркаде Ж. К. — см. Марка-  
 дэ Ж. К.  
 Маркадэ Ж. К. 292, 559, 568,  
 578, 579, 584, 586, 607  
 Маркевич Б. М. 207, 364, 366,  
 372, 374  
 Маркелова А. Г. 222, 224, 560  
 Маркович А. В. 54—57, 114, 272  
 Маркс А. Ф. 518, 528, 529  
 Маркузе И. К. 265, 561, 564  
 Мартынцева Н. В. 547  
 Масальский К. П. 47, 349  
 Матавкин М. А. 378, 380, 574  
 Машукова А. В. 11  
 Медем Е. А. 493  
 Мейлах Б. 584  
 Мельников П. И. 134, 162, 196,  
 197, 203, 397, 558  
 Менделеев Д. И. 388, 393, 394  
 Меньшиков М. О. 6, 338, 454,  
 496, 500, 502, 528, 546, 570,  
 606  
 Мережковский Д. С. 10, 466,  
 518, 529, 581  
 Мериме П. 176  
 Мермзон М. 549  
 Мессерер Б. А. 534  
 Мешерский В. П. 275, 365, 597  
 Микешин М. О. 265, 596  
 Миллер О. Ф. 429, 578  
 Миль Дж. 552  
 Милорадович М. А. 596  
 Мильдон В. И. 574  
 Мильчина В. А. 11, 172, 556, 568  
 Милюков А. П. 263, 378, 395,  
 396, 398, 599  
 Милютин Д. А. 405  
 Минаев Д. Д. 231, 397, 480  
 Минаев Д. И. 562  
 Михайлов М. Л. 127, 245—247,  
 552, 562  
 Михайлов-Другопольский Е. В. 555  
 Михайловский Н. К. 323, 461,  
 528, 546, 580, 587  
 Михаловский Д. Л. 252, 253  
 Михневич В. О. 226, 560  
 Мицкевич А. 486  
 Модестов В. И. 397  
 Монахов Н. Ф. 533  
 Монументов В. — см. Буре-  
 нин В. П.  
 Морозов С. Т. 505  
 Муравьев С. В. 35  
 Мусоргский М. П. 427  
 Мэксэнзи У. 414  
 Навиль Э. 379  
 Надеждин Н. И. 122, 123  
 Нарден З. В. 398  
 Нарышкин Л. А. 70, 71, 548,  
 596  
 Небольсин П. И. 162, 187, 192  
 Нейпир Ч. Дж. 431  
 Неклюдов С. Ю. 577  
 Неклюдова М. С. 11  
 Некрасов Н. А. 88, 112, 126,  
 147, 185, 190, 226, 254, 283,  
 286, 324, 368, 517, 563  
 Немирович-Данченко Вас. И.  
 397, 518, 579  
 Немирович-Данченко Вл. И.  
 494, 536, 584  
 Немцова Б. 170  
 Нестеровская Л. Р. 493  
 Нефедов Ф. Д. 324, 385  
 Никитенко А. В. 117, 155, 555  
 Никитин В. Н. 549



- Никифоров Л. П. 232  
 Никодим (Быстрицкий), еп. 28  
 Николай I, имп. 72, 75, 76, 111, 342, 421, 450, 451, 549  
 Никон, патр. 196  
 Нил (Исакович), архиеп. 337  
 Нил Сорский, преп. 330  
 Нильский А. А. 279  
 Ничипоренко А. И. 118—120, 165, 208, 211, 218, 222  
 Новосильцева Е. В. 130, 131, 208, 552  
 Новосильцева С. В. 130, 131, 208  
 Нога В. Н. — см. Лескова В. Н.  
 Нос С. Д. 548  
  
 Оболенский Л. Е. 575  
 Овидий 41, 510  
 Овчаров С. М. 439  
 Огарев Н. П. 119, 122, 124, 552  
 Одоевский В. Ф. 144, 145, 163, 523, 554, 593  
*Озерова Н. И.* 571, 572  
*Оксман Ю. Г.* 552  
 Олеша Ю. К. 529  
*Орлов А. А.* 578  
 Орлова А. А. 362  
*Оршанский И. Г.* 571  
 Осокин М. И. 290  
*Осват А. Л.* 574  
*Осват К. А.* 556  
*Острецкий А.* 589  
 Островский А. Н. 219, 241, 247, 249, 253, 279, 281, 397, 536  
  
 Палаузов С. Н. 162  
 Пален К. И. 344  
 Панаева А. Я. 155, 164, 221, 225, 555, 559  
 Панкук Ш. Ж. 171  
*Пантин В. О.* 562  
 Панчулидзе А. А. 282  
 Пастернак Б. Л. 466  
 Пейкер А. И. 444  
 Пейкер М. Г. 341, 444  
 Петров Г. С., прот. 500  
 Перов В. Г. 446  
 Перовская С. Л. 415, 420  
 Перовский Л. А. 87, 88, 90, 91, 592  
 Перозио Н. П. 162  
 Петр I, имп. 196, 332  
 Петров Н. И. 546  
 Петрово-Соловово Е. В. 121  
*Петровский-Штерн Й.* 549  
 Печерский А. — см. Мельников П. И.  
*Пивцайкина О. А.* 563  
*Пильд Л. Л.* 581  
 Пильняк Б. А. 11, 529  
 Пильский П. М. 8, 546  
 Пилянкевич Н. И. 65  
 Пименов П. А. 200  
 Пирогов Н. И. 104  
 Писарев Д. И. 147, 206, 228, 229, 249, 560, 594  
 Писемский А. Ф. 185, 188, 189, 192, 207, 219, 228, 272, 283, 366, 397, 398, 459, 482, 523, 557, 564  
 Платов М. И. 425  
 Платон 181, 498  
 Плещеев А. Н. 397  
 По Э. 252  
 Победоносцев К. П. 328, 341, 417, 420, 428, 444, 481, 484, 486, 488, 570  
 Погорельский А. (Перовский А. А.) 252  
 Погосский А. Ф. 385  
*Поддубная Р. Н.* 567, 568  
 Подолинский А. И. 70  
 Подшебякина А. И. (Лескова) 494  
 Полевой П. Н. 206, 397  
 Поло М. 401  
 Полозова А. В. 11  
 Полонский Я. П. 286, 395, 397  
 Помяловский Н. Г. 39, 145, 146, 271, 289  
 Попов В. П. 563  
 Попов Е. А., прот. 329  
 Попов И. А. 386  
 Потехин А. А. 185  
 Прейс А. Г. 536  
*Пресняков А. Е.* 552  
 Протасов Н. А. 342

- Протопопов В. В. 231, 474, 546,  
 550, 561, 582, 584  
 Протопопов М. А. 209, 230,  
 367, 407, 468, 581, 605  
 Прудон П. Ж. 120  
*Пульхритудова Е. М.* 576  
 Путилин И. Д. 266  
 Пушкин А. С. 21, 67, 78, 126,  
 148, 223, 236, 239, 245, 363,  
 367, 378, 395, 397, 572, 574,  
 598, 603, 607  
 Пыляев М. И. 398, 600  
 Пыпин А. Н. 226  
  
 Радлов С. 588  
 Разин С. Т. 17  
 Раич С. Е. 40—43, 122, 328, 547  
 Ракеев Ф. С. 155  
*Ранчин А. М.* 559, 577  
 Рарей Дж. С. 319  
 Рачейсков Н. С. 603  
 Редсток Г. 336, 385, 414, 568  
*Рейсер С. А.* 163, 554, 555, 570,  
 573, 574, 580, 584  
*Рейтблат А. И.* 125, 565  
*Рейфилд Д.* 549  
 Ремизов А. М. 10, 479, 529  
 Ренан Э. 465  
 Репин И. Е. 514, 581, 604, 605  
 Решетников Ф. М. 134, 140,  
 145, 146, 192, 290  
 Розанов В. В. 10, 315, 386, 568,  
 574  
*Розанова С. А.* 581, 585  
 Розенберг П. Л. 344, 453  
*Розенблюм Л. М.* 607  
 Россини Дж. 448  
 Ростопчин Ф. В. 89, 434, 550  
 Ротчев А. Г. 162  
 Рубинштейн А. Г. 395, 396, 596  
*Рудницкая Е. Л.* 554  
 Рысаков Н. И. 415  
  
*Сазонова Л. И.* 586  
 Салиас Е. А. 552  
 Салиас-де-Турнемир Е. В. 117,  
 121—126, 128—132, 208, 211,  
 219, 220, 274, 485, 526, 552,  
 553, 592  
 Салтыков-Щедрин М. Е. 125,  
 147, 324, 347, 363, 526, 528,  
 539  
 Самойлов В. В. 396  
*Самойлова Е. П.* 588  
 Санд Ж. 123, 176, 245, 552  
*Санькова С. М.* 572  
 Сарду В. 400  
 Сафонов Е. И. 34, 35  
*Сафронова Ю.* 577, 578  
 Сведенборг Э. 387, 393, 575  
 Свешников Н. И. 604  
 Свириденко М. Я. 177, 178  
 Северянин И. 10, 529  
 Селиванов И. В. 96, 97, 105,  
 251, 252, 563  
 Селиванов Ф. И. 96  
*Семанова М. Л.* 560  
*Семенов С. Т.* 573  
*Семенова М. Л.* 549  
 Сементковский Р. И. 528, 573  
 Сент-Илер К. К. 382  
 Сентимер Е. 69  
 Сент-Клер 388—393  
 Сергеев К. М. 534  
 Сергеенко П. А. 480  
 Сергиев И. И. — см. Иоанн  
 Кронштадтский, прот.  
*Серман И. З.* 567  
 Серов В. А. 514, 606  
*Сидяков Ю. Л.* 569  
 Сильвестров Я. 41  
*Симаков Г.* 585, 587  
*Симатов А. А.* 562  
 Симашко Ю. И. 179, 182, 382, 557  
 Скабичевский А. М. 152, 157,  
 164, 554, 555  
 Сковорода Г. С. 511  
 Скотт В. 115, 292  
 Слепцов В. А. 119, 123, 124,  
 128, 134, 208, 210, 211, 216,  
 221—225, 560  
*Слуцкая Т. К.* 11, 547  
 Случевский К. К. 395, 518  
 Смирнов В. Е. 82  
 Смирнова О. В. 81—86, 130,  
 172, 525, 591  
 Смирнова-Сазонова С. И. 7,  
 120, 517, 546, 552, 586

- Снегирев И. М. 567  
 Соболев Л. И. 11, 586  
 Соколов А. А. 573  
 Соколов Б. В. 555  
 Соколов Н. И. 557, 573  
 Соколова Т. В. 552  
 Соколовский Н. М. 251  
 Сократ 189  
 Соллогуб А. В. 507  
 Соллогуб В. А. 201  
 Соловьев А. К. 369  
 Соловьев В. С. 308, 419, 420, 518, 528, 587, 605  
 Соловьев Н. И. 267, 282, 564  
 Соловьев С. М. 126  
 Сологуб Ф. К. 523  
 Соломко С. С. 605  
 Софокл 189  
 Спиноза Б. 498  
 Сребницкий И. М. 138  
 Стайс Р. 559, 562  
 Сталин И. В. 534, 536  
 Станиславский К. С. 524, 587  
 Станиславский М. 549  
 Станкевич Н. В. 360  
 Старыгина Н. Н. 314, 568, 580  
 Стасов В. В. 575  
 Стасова-Комарова В. Д. 522  
 Стасюлевич М. М. 422, 507, 606  
 Стеклова И. А. 148  
 Степанищева Т. Н. 557, 570  
 Степанов Е. 585, 587  
 Степанова М. С. 220, 560  
 Степнова М. Л. 11  
 Стерн Л. 299  
 Столярова И. В. 556, 561, 562, 565, 577, 588  
 Стоюнин В. Я. 382, 384  
 Страхов М. А. 22, 23, 44, 64, 310, 464  
 Страхов Н. Н. 248, 249, 257, 447  
 Струговщиков А. Н. 473  
 Субботин Н. И. 481  
 Суворин А. С. 85, 120, 123—125, 128, 130—133, 206, 208, 225, 232, 274—277, 370, 376, 422, 459, 462, 473, 483, 484, 489, 508, 518, 528, 546, 549, 552, 553, 559, 561, 565, 568, 583, 584, 586, 604—606  
 Суворов А. А. 201  
 Сульдина Л. В. 563  
 Сурнин А. М. 425  
 Сурнина И. А. 117  
 Сухово-Кобылин А. В. 253, 279  
 Сытин И. Д. 473  
 Сю Э. 264, 265, 315  
 Тассо Т. 43  
 Твардовская В. 572  
 Теккерей У. М. 315  
 Терновский Ф. А. 272, 579, 600  
 Терпигорев С. Н. 278, 347, 397, 398, 448, 480, 501, 518  
 Тимирязев В. А. 282  
 Тихонравов Н. С. 126, 204, 386  
 Ткачев П. Н. 563  
 Толбин В. В. 162  
 Толиверова А. Н. 217  
 Толстая С. А. 473  
 Толстая Т. Л. 499  
 Толстой А. К. 292, 373, 381, 414  
 Толстой Д. А. 304, 361, 373, 374, 443, 444  
 Толстой Л. Н. 7, 10, 14, 21, 176, 187, 212, 213, 272, 286, 306, 316, 324, 334, 363, 369, 385, 386, 398, 408, 411, 412, 414, 415, 428, 434, 465, 468—482, 486, 492, 495, 496, 498—501, 504, 505, 512, 525, 526, 528, 538, 539, 553, 567, 570, 573, 578, 581—585, 596, 601—603, 605, 606  
 Толстой Л. Л. 496  
 Топоров В. Н. 568  
 Тотубалин Н. И. 559, 560  
 Третьяков А. П. 549  
 Третьяков П. М. 514  
 Трофимова Т. А. 573, 580  
 Труайя А. 347  
 Трубецкой П. И. 54  
 Труфанова С. И. 11  
 Тузов И. Ф. 200, 201  
 Туниманов В. А. 582  
 Тур Е. — см. Салиас-де-Турнемир Е. В.

- Тургенев А. И. 123  
 Тургенев И. С. 10, 14, 30, 67, 78, 122, 123, 176, 185, 189, 190, 219, 241, 261, 283, 290, 326, 363, 395—398, 415, 465, 528, 538, 539, 559, 572, 575, 580, 596, 602  
 Тургенев С. Н. 21  
 Тютчев Д. Н. 21  
 Тютчев Ф. И. 40, 65, 133, 236, 286, 360, 378, 547  
*Узилевский А. Н.* 587  
*Уральская В.* 589  
 Усов П. С. 133, 162, 197, 397, 553, 558  
 Успенский Г. И. 146, 324, 554  
 Успенский Н. В. 136, 145, 146, 187, 188, 192, 221, 226, 312, 560  
 Фадеев А. А. 527, 539, 587  
 Фаресов А. И. 231, 346, 400, 410, 411, 506, 507, 524, 559, 560, 571, 575, 576, 579, 581, 582, 585, 586  
 Федоров-Омулевский И. В. 579  
*Федотов А. С.* 557  
*Федотова А. А.* 436, 546, 556, 578, 607  
 Фенелон Ф. 142  
 Феоктистов Е. М. 123, 125, 127, 131, 208, 484—486, 552, 572, 602  
 Фет А. А. 21, 65, 236, 301, 585  
 Фидий 294  
 Фидлер Ф. Ф. 490, 546, 550, 554, 584  
 Филарет (Амфитеатров), митр. 40—44, 78, 316, 332, 341—343, 547  
 Филарет (Дроздов), митр. 366  
 Филарет Милостивый, св. 40  
 Филиппов Т. И. 444, 445, 488, 512, 513, 606  
 Флексер Х. Л. — см. Волинский А. Л.  
 Флобер Г. 176, 399, 465, 504  
 Фовицкий И. М. 41  
 Фозерджил Д. 579  
 Фофанов К. М. 147  
 Фрич Й. В. (Бродский М.) 170  
 Фурье Ш. 120, 216, 260  
*Хализев В. Е.* 580  
 Хамитов М. Р. 11  
 Хант Д. Г. 465  
 Хвошинская Н. Д. 290  
 Херасков М. М. 236  
 Хирьякова Е. Д. 500, 561, 575, 585, 606  
 Хлебников В. В. 511, 586  
 Хмелинский В. Н. 199  
 Холмогорова Е. С. 11  
*Храбровицкий А.* 589  
 Худяков С. Н. 369  
 Цветаева М. И. 466  
 Цертелев Д. Н. 504  
 Цехновицер О. В. 523  
 Цырлин Л. В. 532, 588  
 Чаадаев П. Я. 378, 395  
 Чебышев-Дмитриев А. П. 563  
*Черемисина К. А.* 583  
 Чернавин В. В. 495  
 Чернышевский Н. Г. 113, 120, 165, 176, 179, 216, 248, 260, 267, 287, 475  
 Чернявский Н. Ф. 281  
 Чертков В. Г. 469, 470, 479, 605  
 Чехов А. П. 6, 226, 406, 480, 489, 490, 494, 496, 508, 538, 546, 584, 586, 601, 606  
 Чижев Ф. В. 112  
*Чуднова Л. Г.* 550, 564, 574  
 Чумаковская Е. 279  
*Шаблоновский Е. С.* 181  
 Шаликова (Каткова) С. П. 360  
 Шамиль, имам 14  
 Шевченко Т. Г. 54, 73, 82, 114, 118, 126, 181, 551, 592  
 Шекспир У. 187, 189, 241, 245, 311

*Шелаева А. А.* 555, 564, 576, 579, 580, 584

*Шеллинг В. Ф. Й.* 65, 461

*Шеншин В. П.* 21

*Шервинский С. В.* 26

*Шестериков С. И.* 208

*Шигаева М. Н.* — см. Вернадская М. Н.

*Шилль И. Н.* 162

*Шишов И. П.* 532

*Шкотт А. П.* — см. Алферьева А. П.

*Шкотт А. Я.* 87—91, 93—99, 113, 114, 117, 147, 198, 199, 375

*Шкотт Д. Д.* 87

*Шляпкин И. А.* 365, 509, 559, 561, 572, 574, 586, 598, 599

*Шор Т.* 569

*Шостакович Д. Д.* 8, 536, 561, 589

*Шперль К.* 510

*Шпигель М.* 549

*Шпильгаген Ф.* 399

*Шрейер Ю. О.* 397

*Шубинский С. Н.* 398, 417, 421, 453, 508, 518, 586, 600

*Шапов А. П.* 196, 198, 558

*Шебальский П. К.* 230, 272—274, 304, 306, 315, 327, 363—365, 371, 376, 378, 379, 381, 382, 395, 480, 547, 560, 566—568, 572, 573, 575, 598

*Щедрин Р. К.* 439

*Эберс Г.* 465

*Эджертон У.* 208, 552

*Эйхенбаум Б. М.* 520, 522, 532, 533, 550, 564, 588, 589, 607

*Эккартсгаузен К.* 338

*Эльяш Н.* 589

*Энгельгардт С. В.* — см. Новосильцева С. В.

*Энгельс Ф.* 370

*Эпиктет* 405

*Ювенал* 50

*Юкина И.* 562

*Юм Д.* 393

*Юнг А. фон* 69

*Юркевич П. И.* 161

*Юрьев С. А.* 562, 596

*Якубовский И. Ф.* 65

*Якушкин В. И.* 54, 146

*Якушкин П. И.* 55, 56, 87, 104, 134, 136, 144, 182, 185, 187, 192, 557

*Ясинский И. И.* 85, 131, 526, 550, 553, 555, 580, 587

*Bihl-Willette L.* 556

*Brooks J.* 578

*Hillairet J.* 556

*Lantz K.* 562

*Marcade J. Cl.* 566

*McLean H.* 272, 561, 564, 567, 571, 584, 586, 607

*Muller de Morogues I.* 562

*Sperre Ch. I.* 586

*Wigzel F.* 562

*Zelinsky B.* 571

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие</i> .....	5
<i>Глава первая. ДОРОЖНЫЕ СНЫ</i> .....	13
Проводы. ....	13
Старинный город .....	17
Панин хутор .....	25
Севск: бурса. ....	33
Глухов—Киев .....	48
<i>Глава вторая. КИЕВСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ</i> .....	60
Лестница в небо .....	60
Столоначальник Лесков .....	71
Призвание .....	78
Муж. ....	81
Коммерсант. ....	86
Вольный стрелок .....	99
<i>Глава третья. ЖУРНАЛИСТ</i> .....	110
У Вернадского. ....	110
В пылу либерализма. ....	118
«Русская речь». ....	121
«Северная пчела» и третий путь. ....	132
Первые рассказы .....	136
Лесков и разночинцы .....	144
Горим!. ....	148
«Пожарная» статья. ....	151
Катастрофа?.....	159
За границей .....	167
<i>Глава четвертая. ПОСТОРОННИЙ</i> .....	171
Париж. ....	171
Ответный удар. ....	177
Адюльтерный роман .....	185
«С людьми древнего благочестия». ....	194
«Испытай и виждь» .....	204
«Фотографические снимки». ....	219
Некуда деваться .....	227
<i>Глава пятая. МАСТЕР</i> .....	234
Охотник .....	234
На пути к совершенству .....	238
Собрать все книги бы.....	245
Рассказчик. ....	254

На Фурштатской.....	258
Попытки дружбы.....	263
Театральный роман.....	278
Странный случай.....	282
Крепостничество духовное.....	285
Сказка о трех богатырях.....	289
«Дыхание холода тонка».....	300
«На ножах».....	305
«Запечатленный» и «Очарованный».....	315
<i>Глава шестая. ПРОПОВЕДНИК.....</i>	<i>323</i>
Драка в Ревеле.....	323
Друг Церкви.....	327
Миссионер.....	335
Еврейский вопрос.....	341
Реквием.....	346
Ссора с Катковым.....	360
В поисках заработка.....	371
Вторая граница.....	376
В Ученом комитете.....	382
Theodore.....	387
<i>Глава седьмая. КОСОЙ ЛЕВША.....</i>	<i>395</i>
«Писателей надо уважать».....	395
Коллекционер.....	400
Разрыв.....	402
По поводу Достоевского.....	407
Гибель царя.....	415
О блохах, англичанах и русском характере.....	419
Дронушка.....	439
Художник и власть.....	443
<i>Глава восьмая. МОЗАИКА И ЧЕЧЕТКА.....</i>	<i>452</i>
«Сиротка» Варя.....	452
Праведники.....	459
Святочные рассказы и легенды.....	463
Факел и плошка.....	468
300 тысяч лакеев.....	480
<i>Глава девятая. ЗАВЕЩАНИЕ.....</i>	<i>483</i>
Грузочки и яблочко.....	483
Внук и сын.....	490
Последняя любовь.....	495
Содом и Гоморра.....	503
Прощальная повесть.....	509
«Посмертная просьба».....	512

<i>Глава десятая. НАЧАТКИ И КОНЧАТКИ</i> .....	519
Прощение и труд .....	519
Забвение .....	527
<i>Эпилог</i> .....	541
Примечания .....	546
Основные даты жизни и творчества Н. С. Лескова .....	591
Библиография .....	607
Указатель имен .....	608



**Кучерская М. А.**

**К 96** Лесков: Прозёванный гений / Майя Кучерская. — 2-е изд., испр. — М.: Молодая гвардия, 2021. — 622[2] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1890).

**ISBN 978-5-235-04466-1**

Прозу Николая Лескова читали все, но знают его по двум-трем текстам. Названный Львом Толстым писателем будущего, самый недооцененный русский классик XIX столетия и человек-скандал прокладывал свой путь в стороне от исхоженных дорог русской словесности и сознательно выламывался из привычных схем, словно нарочно делал всё, чтобы перед ним закрылись двери гостиных и редакций, а его книги не встретились с читателем. С Крестовским он посещал петербургские трущобы, с Чеховым — значные места. Недоучившийся гимназист прошел на государственной службе путь от письмоводителя до члена министерского Ученого комитета, ненавидел и нигилистов, и обер-прокурора Синода Победоносцева. Современники подозревали его в связях с тайной полицией, а советские пролетарии считали своим. Любя всё диковинное и яркое и в жизни, и в литературе, он сконструировал собственный сочный лексикон, работой с языком предвосхитил авангардные эксперименты начала XX века.

Книга Майи Кучерской, написанная на грани документальной и художественной прозы, созвучна произведениям ее героя — непревзойденного рассказчика, очеркиста, писателя, очарованного странника русской литературы.

**УДК 821.161.1.0(092)**  
**ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8**

знак информационной  
продукции **16+**

**Кучерская Майя Александровна**  
**ЛЕСКОВ: ПРОЗЁВАННЫЙ ГЕНИЙ**

**Редактор Е. А. Никулина**  
**Художественный редактор А. С. Козаченко**  
**Технический редактор М. П. Качурина**  
**Корректоры Т. И. Маляренко, Г. В. Платова**

Подписано в печать с готовой электронной версии 12.05.2021. Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Newton». Усл. печ. л. 32,76+1,68 вкл. Тираж 3000 экз. Заказ 5564.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127055, Москва, Сушевская ул., 21. Internet: <http://gvardiya.ru>. E-mail: [dsel@gvardiya.ru](mailto:dsel@gvardiya.ru)

Отпечатано с готовых файлов заказчика  
в АО «Первая Образцовая типография»,  
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»  
432980, Россия, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**ISBN 978-5-235-04466-1**

---

# ИНФОРМАЦИЯ

---

# ДЛЯ ОПТОВЫХ

---

# ПОКУПАТЕЛЕЙ

---

*Склад  
издательства «Молодая гвардия»  
находится в центре Москвы  
по адресу:  
Сущевская ул., д. 21  
ст. м. «Новослободская», «Менделеевская»*



**В отделе реализации действует  
гибкая система скидок**



**Доставка книг по территории  
Москвы и Московской области  
БЕСПЛАТНО**

**ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА РЕАЛИЗАЦИИ**

**8(495) 787-64-20**

**8(495) 787-62-92**

**ТЕЛЕФОНЫ СКЛАДА**

**8(495) 787-65-39    8(495) 787-63-64**



# Майя Кучерская



Майя Кучерская — писатель, автор книг «Константин Павлович» (серия «Жизнь замечательных людей»), «Современный патерик: чтение для впавших в уныние», «Тетя Мотя». Кандидат филологических наук, академический руководитель магистратуры «Литературное мастерство» НИУ «Высшая школа экономики», глава литературных мастерских Creative Writing School.

Отдыхала глазами на густевшем закате,  
Опустив на колени том глубинных листков,  
Вопрошая в раздумьи, есть ли кто деликатней,  
Чем любовным вниманьем воскрешенный Лесков?

Это он восхищался деликатностью нищих,  
Независимый, гневный, надпартийный, прямой.  
Потому-то любое разукрасят жилище  
Эти книги премудрости вечной самой.

А какие в них ритмы! А какая в них залежь  
Слов ядреных и точных русского языка!  
Никаким модернистом ты Лескова не свалишь  
И к нему не посмеешь подойти свысока.

Достоевскому равный, он — прозёванный гений.  
Очарованный странник катакомб языка!  
Так она размышляла, опустив на колени  
Воскрешенную книгу, созерцая закат.

*Игорь Северянин. На закате. 1928 г.*

книга упакована  
в биоразлагаемую пленку  
ISBN 978-5-235-04466-1



9 785235 044661 >

М О Л О Д А Я   Г В А Р Д И Я